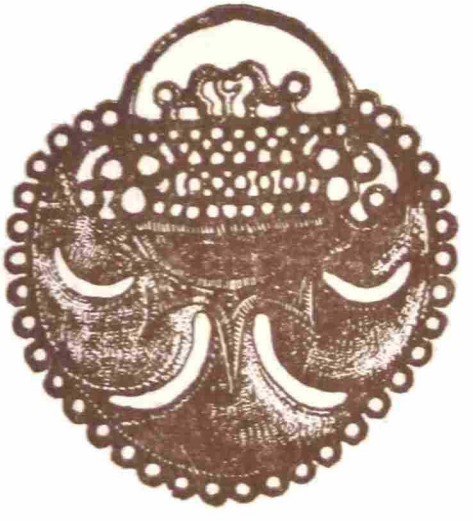
ISSN 0038-5034

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

СОВЕТСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ



3
1989

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ
МОСКВА

1989 3

СОВЕТСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Журнал основан в 1957 году

Выходит 4 раза в год

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. А. Плетнева (главный редактор)

А. А. Аскаров, А. В. Виноградов, В. И. Гуляев, А. П. Деревянко, О. М. Джапаридзе, В. И. Козенкова (отв. секретарь), Г. А. Кошеленко, В. П. Любин, Т. И. Макарова, В. М. Массон, Н. Я. Мерперт, Э. С. Мугуревич, Р. М. Мунчаев, Т. М. Потемкина, Д. С. Раевский, Б. А. Рыбаков, В. В. Седов, П. П. Толочко, Е. Н. Черных (зам. главного редактора), В. Л. Янин

СОДЕРЖАНИЕ

Смирнов А. С. (Москва) Памятники раннего неолита Десны 5

Козенкова В. И. (Москва). Инновации и процесс формотворчества в кобанской культуре Кавказа (на примере зооморфных браслетов) 27

Засецкая И. П. (Ленинград) Проблемы сарматского звериного стиля (историографический обзор) 35

Барбарунова З. А. (Москва). Некоторые проблемы истории ранних сарматов (по памятникам Южного Приуралья и Нижнего Поволжья) 48

Щукин М. Б. (Ленинград). Фибулы типа «Алезия» из Среднего Поднепровья и некоторые проблемы римско-варварских контактов на рубеже нашей эры 61

Фехнер М. В. (Москва). Бобровый промысел в Волго-Окском междуречье 71

Леонтьев А. Е. (Москва) Тимерево. Проблема исторической интерпретации археологического памятника 79

Авдусина Т. Д., Владимирская Н. С., Панова Т. Д. (Москва). Некоторые итоги археологического изучения Московского Кремля (1974 — 1982 гг.) 87

Публикации

Трусов А. В. (Москва) Верхнепалеолитическая стоянка Шатрищи на Средней Оке 96

Хлопин И. Н. (Ленинград). Могильник Пархай II (некоторые итоги исследования) 113

Юдин А. И., Лопатин В. А. (Саратов). Погребение мастера эпохи бронзы в степном Заволжье 131

© Издательство «Наука»,
«Советская археология», 1989 г.

Сидоров Е. А. (Новосибирск). Скотоводство лесостепного Приобья в I тыс. до н. э. 141
Беспалый Е. И., Головкова Н. Н., Ларенок П. А. (Азов, Москва). Поминальные памятники IV в. до н. э.— III в. н. э. Доно-Кагальницкого водораздела 154
Бажан И. А., Каргапольцев С. Ю. (Ленинград). Об одной категории украшений-амулетов римского времени в Восточной Европе . . 163
Безуглов С. И., Копылов В. П. (Ростов-на-Дону). Катакомбные погребения III — IV вв. на Нижнем Дону . 171
Чариков А. А. (Калинин). Новые находки средневековых изваяний в Казахстане . . 184
Достиев Т. М. (Баку). Поливная керамика средневекового города Шабрана (XI — XIII вв.) 193

Дискуссии

Захарук Ю. Н. (Москва). Археология: наука историческая или источниковедческая? 207
Генинг В. Ф. (Киев). Археология — целостная научная система или «дилетантские вылазки» и «полуфабрикат знания»? (По поводу концепции объекта и предмета археологии Л. С. Клейна) 215

Заметки

Уткин А. В. (Иваново) Неолитическая стоянка Ивановское VI . . 229
Шишлина Н. И. (Москва). Погребение эпохи бронзы с глиняной маской из Калмыкии 231
Сергацков И. В. (Волгоград). Погребение среднесарматского времени у села Царев 236

История науки

Дэвлет М. А. (Москва). И. Т. Савенков как исследователь петроглифов Енисея 241
Борисковский П. И. (Ленинград). Петр Петрович Ефименко. Воспоминания ученика 253

Критика и библиография

Антонова Е. В. (Москва). *В. А. Алекшин.* Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ (по археологическим материалам Средней Азии и Ближнего Востока) Л., 1986 . 260
Дмитриева Т. Н., Аникович М. В. (Ленинград). *В. Р. Кабо.* Первобытная доземледельческая община. М., 1986 . 267
Плетнева С. А. (Москва). *Д. Димитров.* Прабългарите по Северното и Западното Черноморите. Варна, 1987 . . 272
Халиков А. Х. (Казань). *Д. Димитров.* Прабългарите по Северното и Западното Черноморите. Варна, 1987 277

Хроника

Герасимова М. М. (Москва). Конференция «Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии» (к 80-летию М. М. Герасимова) (Иркутск, 1987) 281
Супруненко А. Б. (Полтава). Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения М. Я. Рудинского (Полтава, 1987) . 284
Седов В. В. (Москва). Международный симпозиум «750-летие Берлина — предпосылки и основы городского развития в Средней Европе и начало европейских феодальных городов» (Берлин, 1987) . . . 286
Авилова Л. И., Терехова Н. Н. (Москва). Советско-американский симпозиум «Древнейшая металлургия Старого Света» (Тбилиси — Сигнахи, 1988) . 290
Кирпичников А. Н. (Ленинград). Памяти Павла Александровича Раппопорта 297

Технический редактор *Е. В. Синицина*

Сдано в набор 15.07.88 Подписано к печати 8.07.89 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Офсетная печать Усл. печ. л. 24,7 Усл. кр.-отт. 87,7 тыс. Уч.-изд. л. 30,3 Бум. л. 9,5
Тираж 3531 экз. Зак. 2860

Адрес редакции 117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19. Телефон 124-34-42
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY
MOSCOW

1989 3

SOVIET ARCHAEOLOGY

Editor-in-Chief
S. A. PLETNEVA

Founded in 1957
Published quarterly

CONTENTS

Smirnov A. S. (Moscow) The Early Neolithic Sites on the Desna River 5
Kozenkova V. I. (Moscow) On the Origin of the So-Called Zoomorphic Bangles of the Eastern Variant of the Koban Culture 27
Zasetskaya I. P. (Leningrad). Problems of the Sarmatian Zoomorphic Style 35
Barbarunova Z. A. (Moscow) Some Problems of the History of the Early Sarmatians (the South Urals and Lower Volga Sites) 48
Shchukin M. B. (Leningrad). Fibulae of the Alezia Type in the Middle Dnieper Area and Some of the Problems of the Roman-Barbarian Contacts at the Turn of A. D. 61
Fekhner M. V. (Moscow) Beaver Hunting in the Volga-Oka Interfluve 71
Leontiev A. E. (Moscow) Timerevo. Historical Interpretation of an Archaeological Site 79
Avdusina T. D., Vladimirskaya A. S., Panova T. D. (Moscow). Some Results of Archaeological Studies of the Moscow Kremlin (1974—1982) 87

Publications

Trusov A. V. (Moscow). Shatrishchi, an Upper Palaeolithic Camp Site on the Oka River 96
Khlopin I. N. (Leningrad) The Parkhai II Burial Ground (some research results) 113
Yudin A. I., Lopatin V. A. (Saratov). A Burial of a Craftsman of the Bronze Age in the Steppe Volga Area 131
Sidorov E. A. (Novosibirsk). Cattlebreeding in the Forest-Steppe Belt of the Ob Basin in the First Millennium B. C. 141
Bespaly E. I., Golovkova N. N., Larenok P. A. (Azov, Moscow) Cenotaphs of the 4th Century B. C.— 3rd Century A. D. in the Don-Kagalnik Interfluve 154
Bazhan I. A., Kargapoltsev S. Y. (Leningrad). On One of the Categories of Amulets of the Roman Time in Eastern Europe 163
Bezuglov S. I., Kopylov V. P. (Rostov-on-Don). Catacomb Burials of the 3rd—4th Centuries A. D. on the Lower Don 171
Charikov A. A. (Kalinin) New Finds of Mediaeval Statues in Kazakhstan 184
Dostiev T. M. (Baku) Glazed Pottery from the Mediaeval Town of Shabran (the 11th—13th cc. A. D.) 193

Discussions

Zakharuk Y. N. (Moscow). Whether Archaeology is a Historical or a Source Study Science 207
Gening V. F. (Kiev) Whether Archaeology is an Integral System of Knowledge or "Dilettante Attempts" and "Semi-Finished" Knowledge (On L. Klein's Concept of the Object and Subject of Archaeology) 215

Notes

Utkin A. V. (Ivanovo). Ivanovskoe VI, a Neolithic Camp Site 229
Shishlina N. I. (Moscow). A Burial with a Bronze Age Mask from the Kermen-Tolga (Kalmyk ASSR) 231
Sergatskov I. V. (Volgograd). A Burial of the Middle Sarmatian Time at the Village of Tsarev 236

History of Science

Devlet M. A. (Moscow). I. I. Savenkov, a Student of Enisei Petroglyphs 241
Boriskovsky P. I. (Leningrad). Petr Efimenko (Reminiscences of a Pupil) 253

Book Reviews and Bibliography

Antonova E. V. (Moscow). *V A. Alekshin.* The Social Structure and Burial Rite of the Early Landtilling Societies (On Archaeological Materials from Central Asia and the Near East). Leningrad, 1986 260
Dmitrieva T. N., Anikovich M. V. (Leningrad). *V R. Kabo.* The Primitive Pre-Agricultural Community, Moscow, 1986 267
Pletneva S. A. (Moscow). *D. Dimitrov.* Proto-Bulgarians in the Northern and Western Black Sea Area, Varna, 1987 272
Khalikov A. Kh. (Kazan). *D. Dimitrov.* Proto-Bulgarians in the Northern and Western Black Sea Area, Varna, 1987 277

Chronicle

Gerasimova M. M. (Moscow). "Problems of Anthropology and Archaeology of the Stone Age in Eurasia" Conference (On the 80th Birth Anniversary of M. Gerasimov), Irkutsk, 1987 281
Suprunenko A. B. (Poltava). Conference Dedicated to the Centenary of Birth of M. Rudinsky (Poltava, 1987) 284
Sedov V. V. (Moscow). International Symposium "Berlin — 750th Anniversary — Premises and Basis of Urban Development in Central Europe and Beginning of European Feudal Towns" (Berlin, 1987) 286
Avilova L. I., Terekhova N. N. (Moscow). The Soviet-American Symposium on "The Earliest Metallurgy of the Old World" (Tbilisi — Signakhi, 1988) 290
Kirpichnikov A. N. (Leningrad). In Memory of Pavel A. Rappoport 297

Адрес редакции

117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19

Телефон 124-34-42

Зав. редакцией *Е. В. Бубнова*

А. С. СМИРНОВ

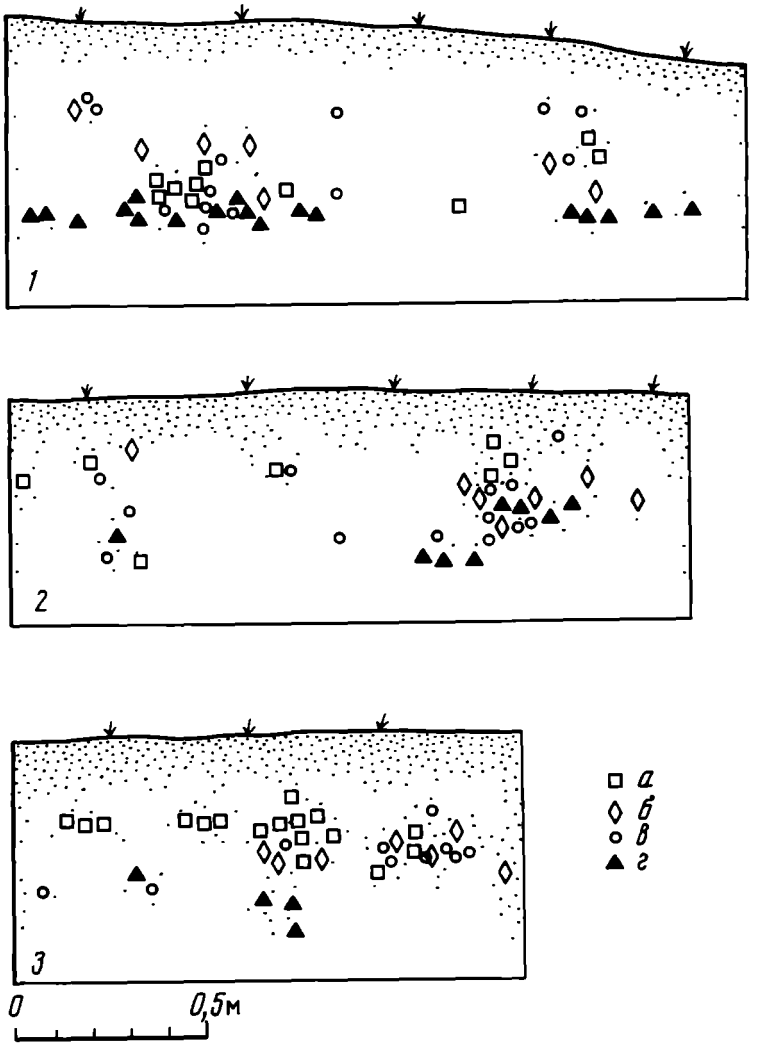
ПАМЯТНИКИ РАННЕГО НЕОЛИТА ДЕСНЫ

Эпоха раннего неолита до последнего времени оставалась наименее изученным периодом в истории новокаменного века Подесенья и Верхнего Поднепровья в целом. Отсутствие ранненеолитических памятников в этом регионе, разделяющем известные уже многие годы днепро-донецкую, верхневолжскую и среднедонскую культуры, не позволяло создать законченную картину взаимодействия и развития культур на начальных этапах неолита в центре европейской части СССР. Существовавшая культурно-географическая лакуна давала возможность предполагать на этой территории корни различных неолитических культур, в том числе с традициями ямочно-гребенчатой орнаментации.

Бассейн Десны в силу своего географического положения близ границы лесной и лесостепной полосы, практически неподвижной с эпохи раннего голоцена [1, с. 362; 2, с. 120; 3, с. 119], давно привлекал внимание ученых. Исследованиями занимались М. В. Воеводский [4], И. Г Розенфельдт [5—7], М. Е. Фосс, В. П. Левенок [8, 9] и др. Их внимание сосредоточивалось на памятниках с гребенчато-ямочной и ромбоямочной керамикой развитого и позднего неолита. Присутствие сосудов с накольчатой и гребенчатой орнаментацией приписывалось воздействию днепро-донецкой культуры [10] Некоторые авторы считали возможным существование ранненеолитических стоянок с ромбоямочной орнаментацией керамики в сочетании с кремневым инвентарем с мезолитическими традициями. Л. Я. Крижевская в качестве таких комплексов называет Песочный Ров, Черепеньки и Пристань [11, с. 23, 25] Четких доказательств об отнесении Песочного Рва к неолитическому времени нет, керамики не найдено. Памятник в настоящее время датируется средним мезолитом [12, с. 124]. Подобная ситуация и на стоянке Черепеньки. В нижнем, стратиграфически выраженном горизонте действительно обнаружен кремневый инвентарь мезолитического облика, но при полном отсутствии керамики [13, с. 68] Фрагменты неолитических сосудов, которые никак не составляют чистого ромбоямочного комплекса, залегают во втором, поздненеолитическом слое памятника совместно с ромбовидными двусторонне обработанными наконечниками копий, топорами, а также обломками горшков эпохи бронзы. Стоянка Пристань известна лишь по незначительным сборам и не может быть опорным памятником.

В. П. Третьяков [14, с. 5, 6] выделяет в качестве ранненеолитических стоянку в устье р. Свень близ г. Брянска и стоянку у д. Снопот на Верхней Десне. На первой обнаружена керамика с ромбическими вдавлениями и серия кремневых изделий из ножевидных пластин при отсутствии орудий с двусторонней обработкой. На второй собрана исключительно круглоямочная керамика. Однако оба памятника исследованы с помощью сборов, давших незначительные коллекции, что не может гарантировать их хронологическое и культурное единство.

Периодизация, предложенная В. П. Левенком [9, с. 190—192], также не обладает бесспорными комплексами, сочетающими ромбоямочную керамику и архаичные кремневые орудия. Мы можем констатировать отсутствие в Подесенье ранненеолитических стоянок с сосудами, украшенными ямочным узором.



В настоящее время большинство исследователей признают существование на Русской равнине ранненеолитических памятников, для которых свойственна керамика с накольчато-гребенчатой орнаментацией и орудийный инвентарь с традициями мезолитической индустрии. В Подесенье подобные памятники обнаружены лишь в последние годы. Они показали сложный, многокомпонентный путь формирования местного раннего неолита.

Находки ранненеолитического времени отмечены на 13 стоянках из раскопанных в лесном Подесенье, а также на ряде обследованных памятников. Наиболее информативные коллекции происходят с поселений Витховка I и III, Чернетово I, Жеренская Протока и Жерено III. Близкие ранненеолитические материалы обнаружены на стоянках верхнеокского левобережья, культурно и географически связанного с Деснинским бассейном. Из них раскопаны Красное VI и X и Рессета III, расположенные практически на Деснинско-Окском водоразделе.

Основанием для выделения материалов с накольчато-гребенчатой орнаментацией керамики в самостоятельный, хронологически ранний комплекс послужили данные горизонтальной и вертикальной стратиграфии.

Представления о традиционной, археолого-литологической стратиграфии мало применимы к полесским памятникам р. Десны. Вмещающие слои обычно представлены однородными песчаными и супесчаными отложениями. В этом случае горизонты залегания находок выявляются путем инструментальной нивелировки и точной фиксации в плане всех без исключения находок с последующим вынесением их отметок на профили согласно поквадратной (1×1 м) сетке раскопа как в продольном, так и в поперечном направлении. Подобная методика выявляет объективно существующие уровни концентраций материала, помогает обнаружить стерильные прослойки, нередко весьма незначительные и распространенные на ограниченной площади, дает возможность даже на смешанных памятниках найти участки с ненарушенной стратиграфией. Применение подобной методики фиксации на широких площадях дает основание объективно проследить последовательность изменения материальной культуры.

Наиболее определенно стратиграфическое положение материалов с накольчато-гребенчатой керамикой в нижней части культурного слоя нами зафиксировано на стоянках Витховка III и Красное X, где толщина вмещающих напластований составляет около 0,6 м (рис. 1) На этих памятниках удалось обнаружить участки с непотревоженной стратиграфией, показывающей последовательное залегание находок от раннего до позднего неолита.

В свое время факт нахождения керамики с накольчатой орнаментацией в основании культурных напластований отмечался В. П. Левенком на стоянке Холм [10, с. 108], где мощность вмещающих слоев превышает 1м [15, с. 5, рис. 2], и Кветунский Борок [16, с. 15, 16].

Планиграфически находки ранненеолитического облика выделяются на стоянках Витховка I и III, Чернетово I, Жерено III. Существуют комплексы с преимущественно накольчато-отступающей орнаментацией керамики, комплексы с явным преобладанием керамики с гребенчатым узором и комплексы, сочетающие в керамическом инвентаре черты накольчатого и гребенчатого орнаментов.

Керамика, украшенная в накольчато-отступающей технике, встречена на стоянке Витховка I (вскрыто около 100 м^2) и Красное VI (вскрыто 223 м^2), где она концентрируется в восточных частях раскопов. В последнем случае хорошо прослеживается планиграфическое разделение с черепками сосудов, украшенных лапчатым штампом. Аналогичная ситуация отмечена на стоянке Жерено III (вскрыто 182 м^2), где фрагменты с отступающим узором тяготеют к центру раскопа.

Сосуды с гребенчатой орнаментацией хорошо локализуются на поселении Витховка III (в общей сложности вскрыто свыше 400 м^2), залегая отдельно от фрагментов с четким ромбоямочным орнаментом.

На стоянке Чернетово I (раскопанной на площади более 700 м^2) керамика как с гребенчатым, так и с накольчато-отступающим орнаментом совместно залегает в наиболее пониженной части памятника, что позволяет говорить о ее синхронности. Это подтверждает употребление единых орнаментальных и технологических приемов.

В то же время на памятниках с преобладанием керамики с накольчато-отступающим орнаментом, как правило, присутствует незначительное число фрагментов с гребенчатым узором (Витховка I). На памятниках с преимущественно гребенчатой орнаментацией керамики обнаружены черепки с накольчатым рисунком (Витховка III). Это предполагает культурное, а не хронологическое различие этих двух приемов, хотя их преимущественное употребление может иметь временное различие. В подобной ситуации стоянки со смешанной накольчато-гребенчатой традицией украшения сосудов предстают как хронологически более поздние памятники по отношению к поселениям с преимущественно накольчато-отступающей или гребенчатой орнаментацией керамики.

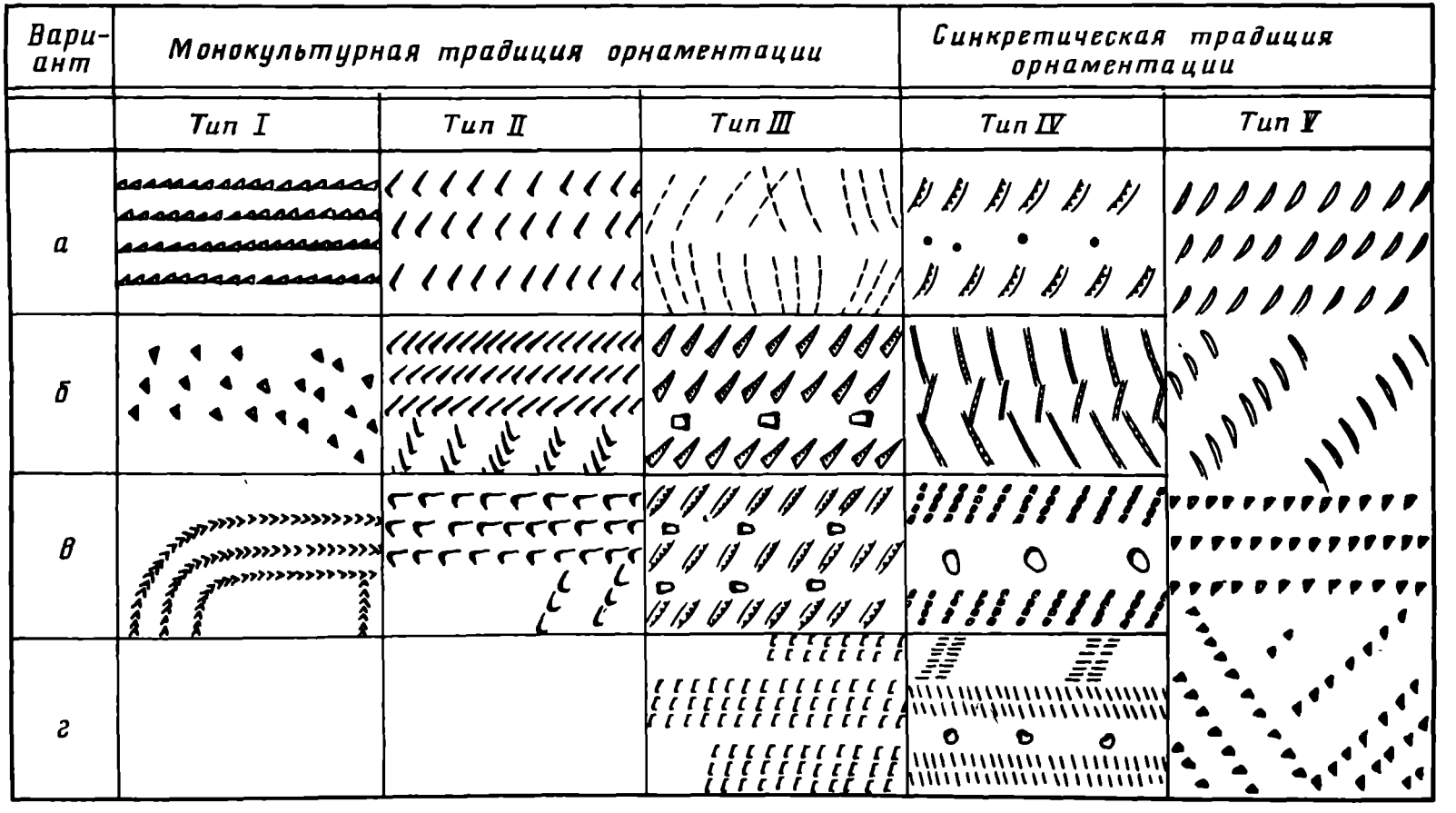


Рис. 2. Типы орнаментации ранненеолитической керамики. Тип I – треугольный накол; тип II – отступающая лопаточка; тип III, IV — гребенчатый орнамент; тип V — накольчато-отступающий орнамент

Ранненеолитическая керамика представлена округлодонными сосудами с цилиндрической или несколько суженной верхней частью, округлым туловом. Плоскодонных и профилированных горшков не обнаружено. Сосуды выполнены из рыхлого, иногда комковатого теста с различной органической примесью, как правило, в сочетании с шамотом различной крупности [1] Поверхность горшков чаще заглажена, хотя иногда носит следы гребенчатых расчесов. Наиболее ярко типологические различия сосудов проявляются в орнаментации, которая в ряде случаев коррелируется с технологическими и морфологическими особенностями.

Среди сосудов с накольчато-отступающей орнаментацией прослеживаются различия, существование которых подтверждается распределением керамики на памятниках. Выделяются два основных варианта — с узорами, выполненными треугольными наколами и оттисками отступающей лопаточки (рис. 2).

Керамика, украшенная треугольными наколами, наиболее полно представлена на стоянке Витховка I (рис. 3, *1—9*), составляя типологически единый комплекс, включающий подавляющее большинство фрагментов ранненеолитического времени (89%—80 фр.). Горшки с цилиндрической или едва суженной верхней частью, венчики слегка утонченные. В качестве примеси использовалась органика и мелкий шамот. Внешняя поверхность заглажена, изнутри встречаются следы гребенчатых расчесов. Орнамент наносился при помощи сливающихся треугольных наколов, выполненных в отступающей технике и располагающихся горизонтальными лентами, иногда разделенными поясами, свободными от наколов. Реже наколы составляют орнаментальные зоны, разделяющиеся направлением заполняющих лент. Никаких добавочных элементов по верху сосудов не встречено, но присутствуют разреженные наколы. Орнамент начинается от края горшка или несколько отступя (тип Iа), (таблица 1).

Узор иного облика встречен на сосудах стоянки Жеренская Протока. Он представлен поясами редких раздельных треугольных наколов (тип Iб) (рис. 3, *10, 11*) либо достаточно сложными геометрическими композициями, нанесенными мелкими сливающимися наколами (тип Iв) (рис. 3, *12*)

Сосуды, украшенные отступающей лопаточкой, как правило, покрывались отпечатками штампа, поставленного под углом к направлению движения, — «угловой» отступающей лопаточкой. Наиболее архаично выглядит небольшой комплекс керамики стоянки Партизанское IV (20 фр.). Сосуды с прямым верхом и чуть утонченным, округлым сверху венчиком. Тесто рыхлое, с обильной примесью органики. Поверхность заглажена. Вверху сосудов отсутствуют орнаментальные дополнения, за исключением крупных треугольных наколов. Горшки украшены горизонтальными лентами разреженных угловых отпечатков отступающей лопаточки (тип. IIа).

Наиболее полно керамика с орнаментацией отступающей лопаточкой представлена на стоянках Жеренская Протока (150 фр.) и Жерено III (220 фр.), где составляет большинство (рис. 4). Сосуды с цилиндрическим верхом, закрытой формы с округлым туловом. Изготовлены из теста с примесью органики и шамота средней крупности. Поверхность горшков может быть как заглаженной, так и покрытой гребенчатыми расчесами. Сливающиеся отпечатки «угловой» отступающей лопаточки составляют горизонтальные или диагональные ряды, формируя орнаментальные зоны, различающиеся направлением заполняющих полос. Верх сосудов украшался двумя-тремя рядами глубоких треугольных наколов, часто достаточно крупных, изредка дополненных глубокими цилиндрическими ямками. Орнамент наносился непосредственно под орнаментальным фризом и покрывал все тело сосуда (тип IIб).

На стоянке Жерено III помимо описанной керамики присутствуют сосуды с отпечатками более аморфной отступающей палочки, встречаются неорнамен-

---

Анализ керамики произведен Ю. Б. Цейтлиным.

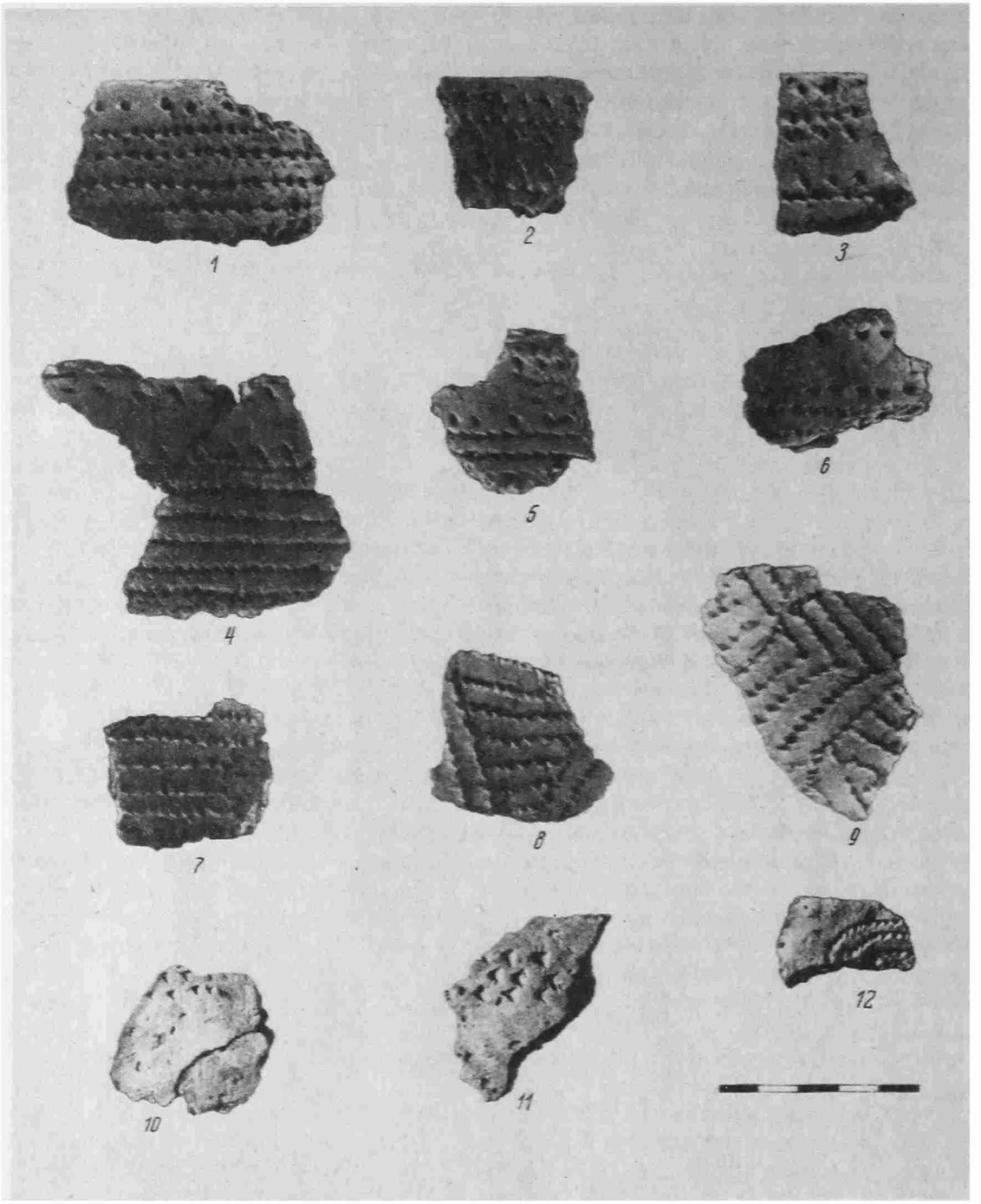


Рис. 3. Керамика с накольчатым орнаментом. *1—9* — Витховка III; *10—12* — Жеренская Прото-
ка

тированные зоны (рис. 4, *10—20*) Исчезают крупные треугольные вдавления по верху, уступая место цилиндрическим ямкам (тип IIа). Показательно, что близкие по облику фрагменты встречены на стоянке Чернетово I совместно с накольчато-гребенчатой керамикой.

Сравнивая описанные выше два типа керамики, можно отметить ряд отличий в орнаментации, морфологии и технологии сосудов. Горшки, украшенные накольчатым орнаментом (тип Витховки I), характеризуются преимущественно цилиндрической верхней частью, обильными органическими отощителями в тесте в сочетании с мелким шамотом, а также отсутствием дополнительных

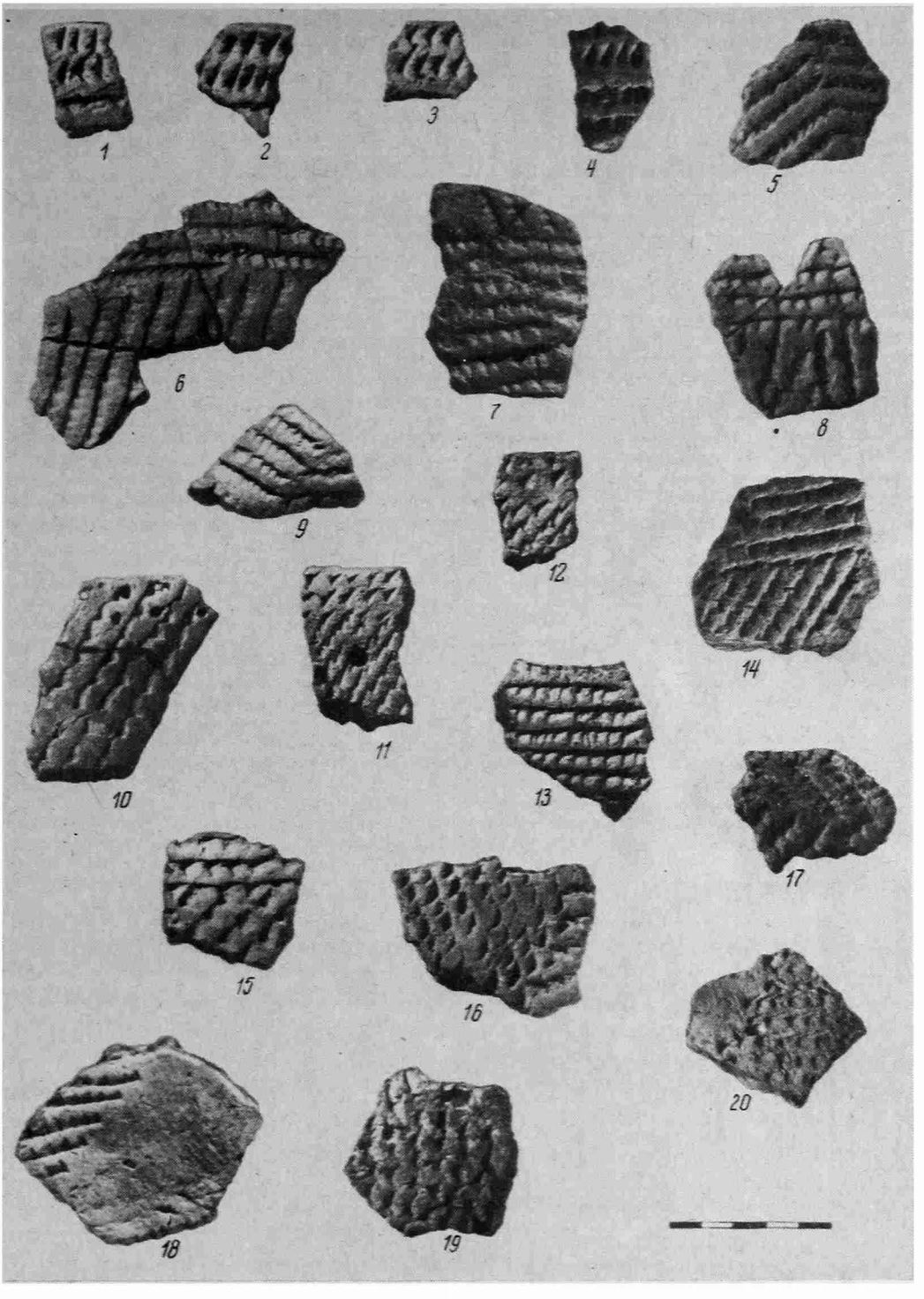


Рис. 4. Керамика, украшенная отступающей лопаточкой. *1—9* — Жеренская Протока; *10—20* — Жерено III

элементов орнамента под венчиком. Сосуды, украшенные угловой отступающей лопаточкой, бывают закрытой формы, изготовлены из теста с меньшим количеством органики и более крупными зернами шамота. Появляется орнаментальный фриз под венчиком, выполненный иным штампом, усложняются композиционные приемы.

Сосуды первой группы обладают типологически более простыми морфологическими и орнаментальными решениями, что позволяет предположить более раннее время их существования.

Признаки ранненеолитической керамики Подесенья

Тип, вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Iа	+		+		+		+		+
Iб	+			+	+				
Iв		+	+		+		+		
IIа	+		+		+				+
IIб	+	+	+		+		+	+	
IIв	+	+	+		+		+	+	
IIIа	+			+		+	+		
IIIб	+			+	+		+		
IIIв		+		+	+			+	+
IIIг		+		+	+			+	
IVа		+		+	+			+	+
IVб	+			+	+			+	+
IVв		+		+	+			+	
IVг		+		+	+			+	
V	+			+	+			+	

Примечание. Форма сосудов: 1 — с цилиндрическим верхом; 2 — закрытой формы. Примеси: 3 — органическая (тип А), 4 — органическая (тип Б); 5 — шамот; 6 — дресва. Обработка поверхности: 7 — заглаженная; 8 — гребенчатые расчесы. Форма венчика: 9 — утонченный; 10 — округлый; 11 — срезанный. Оформление верха сосудов: 12 — орнамент от венчика; 13 — ряд треугольных наколов под венчиком; 14 — ряд ямок под венчиком. Композиция орнамента: 15 — равномерная по всей поверхности; 16 — неорнаментированные зоны; 17 — разреженная; 18 — в сочетании с ямками; 19 — присутствие оттисков на внутренней стороне венчика.

В раннем неолите Подесенья керамика с гребенчатой орнаментацией менее распространена, нежели с накольчато-отступающей.

На стоянке Витховка I имеется небольшая серия черепков, принадлежащих сосудам с цилиндрическим верхом и чуть уплощенным венчиком (рис. 5, *12*). Сосуды изготовлены из теста с примесью органики и дресвы, в ряде случаев возможна примесь шамота. Обе поверхности заглажены. По верху горшков иногда наносился ряд неправильных глубоких ямок. Тело сосудов украшалось по всей поверхности разреженными оттисками тонкозубого гребенчатого штампа, формирующими горизонтальные ленты, реже елочкообразные узоры (тип IIIа). Морфологически эти сосуды близки к горшкам с накольчатым орнаментом с этого поселения.

В настоящее время единственным памятником в лесном Подесенье с практически чистым комплексом гребенчатой керамики (257 фр.) является стоянка Витховка III (рис. 5, *1—11*). Все сосуды изготовлены из глины с примесью органики и шамота средней крупности. Различия в морфологии сосудов невелики, главным образом они заключаются в орнаментальных приемах, что позволяет выделить три типа.

Часть горшков покрыта глубокими оттисками мелкозубого гребенчатого штампа, напоминающего насечки (тип IIIб). Следующая группа сосудов украшена мелкозубым гребенчатым штампом в положении «на боку» в технике, близкой к отступающей (тип IIIв). Существуют горшки с оттисками редкой крупнозубой гребенки (тип IIIг). Композиционно орнамент чаще всего

Таблица 1

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		+			+				
+		+					+		
	+	+				+	+		
		+	+		+				
+			+	+	+				
+				+		+			
	+		+						
	+			+	+			+	
+				+	+	+		+	
+				+	+			+	+
				+	+			+	+
+				+	+				+
+				+	+			+	+
				+	+			+	+
		+		+	+	+		+	

представляет собой горизонтальные ленты, нередко разделенные ямочными вдавлениями различной формы. Аналогичные вдавления встречаются и по верху сосудов.

С точки зрения взаимоотношения керамики с гребенчатой и накольчато-отступающей орнаментацией показателен комплекс поселения Чернетово I (всего 240 фр.). Встречены сосуды с гребенчатым орнаментом в сочетании с дополнительными накольчатыми элементами и сосуды с узором, выполненным отступающим штампом в сочетании с гребенчатыми оттисками, что говорит об интеграции двух традиций (рис. 6). Горшки с цилиндрическим верхом или сведенными сверху стенками изготовлены из теста с примесью органики и шамота. В большинстве случаев поверхность носит следы гребенчатого сглаживания. По верху часто наносился один, редко два ряда небольших глубоких ямок или вдавлений неправильной формы. На внутренней стороне венчика имеются гребенчатые отпечатки.

По характеру и способу нанесения гребенчатых штампов можно выделить несколько вариантов. Большинство сосудов украшено отпечатками короткого мелкозубого штампа в положении на боку, составляющими горизонтальные ленты, изредка сочетающиеся с мелкими ямками (тип IVа). Вторая по количеству группа керамики украшалась оттисками длинного гребенчатого штампа, расположенного под углом друг к другу (тип IVб). Изредка посуда орнаментировалась редкими поясами крупнозубого короткого штампа, нанесенного поверхностно в сочетании с неглубокими ямчатыми вдавлениями (тип IV в). Несколько

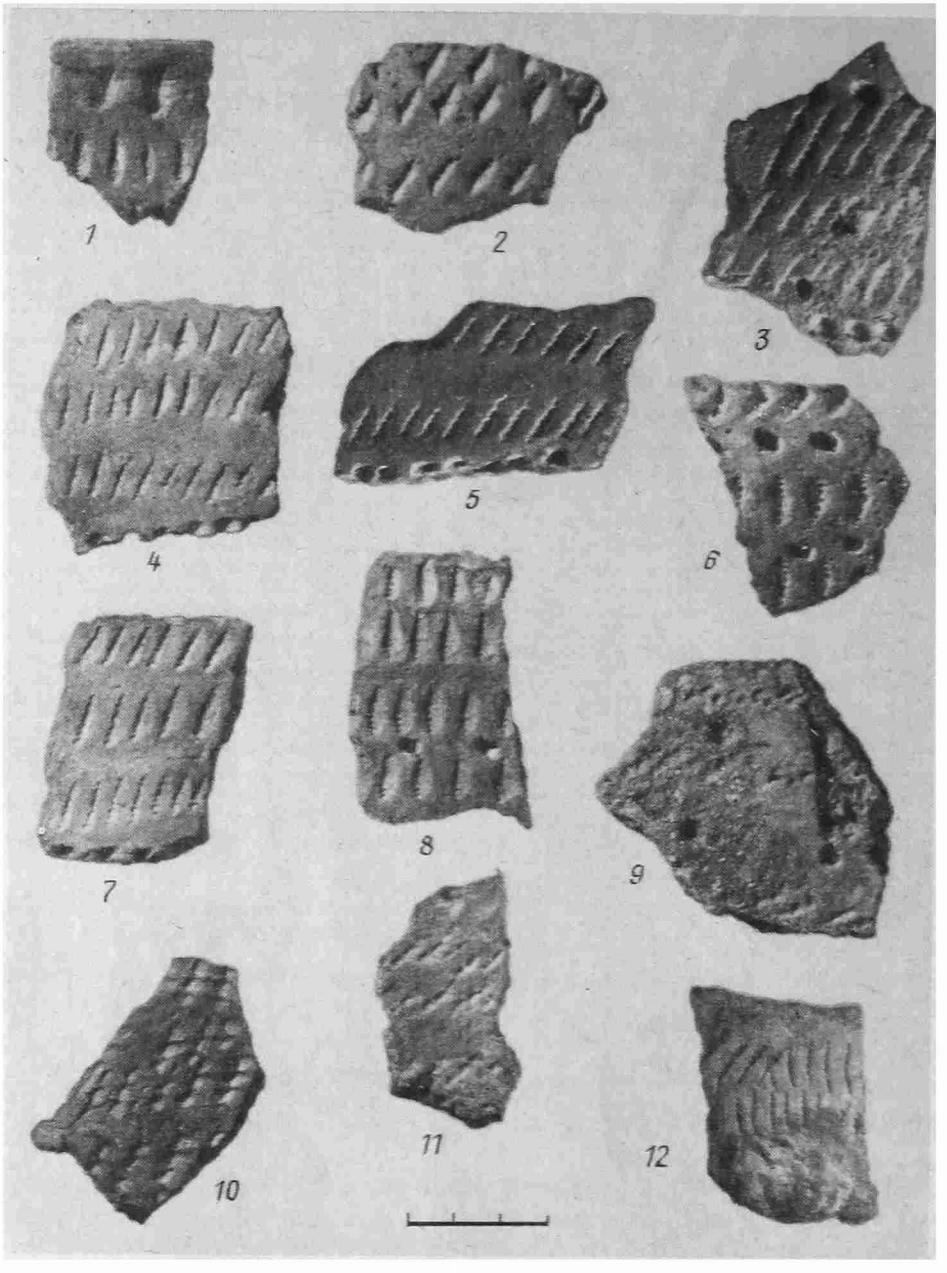


Рис. 5. Керамика с гребенчатым орнаментом. *1—11* — Витховка III; *12* — Витховка I

черепков покрыто поясами короткого тонкозубого штампа и поясками аморфных ямок (тип IVг).

Сосуды с накольчато-отступающим орнаментом разнообразны по характеру штампов и вариантов их нанесения, что затрудняет выделение конкретных типов. Композиционно-стилистическая близость орнаментации позволяет характеризовать керамику суммарно (тип V). Подавляющая масса сосудов украшена раздельными оттисками достаточно широкого отступающего штампа, иногда напоминающего наколы. Оттиски покрывают все тело сосуда или только часть, составляя неорнаментированные пространства. Композиционные приемы просты, но встречаются геометрические узоры, составленные из различающихся своим направлением полос. В незначительном количестве присутствуют фрагменты горшков, украшенные глубокими раздельными треугольными наколами. Главная особенность накольчато-отступающей керамики Чернетово I — раздельное, часто разреженное нанесение оттисков.

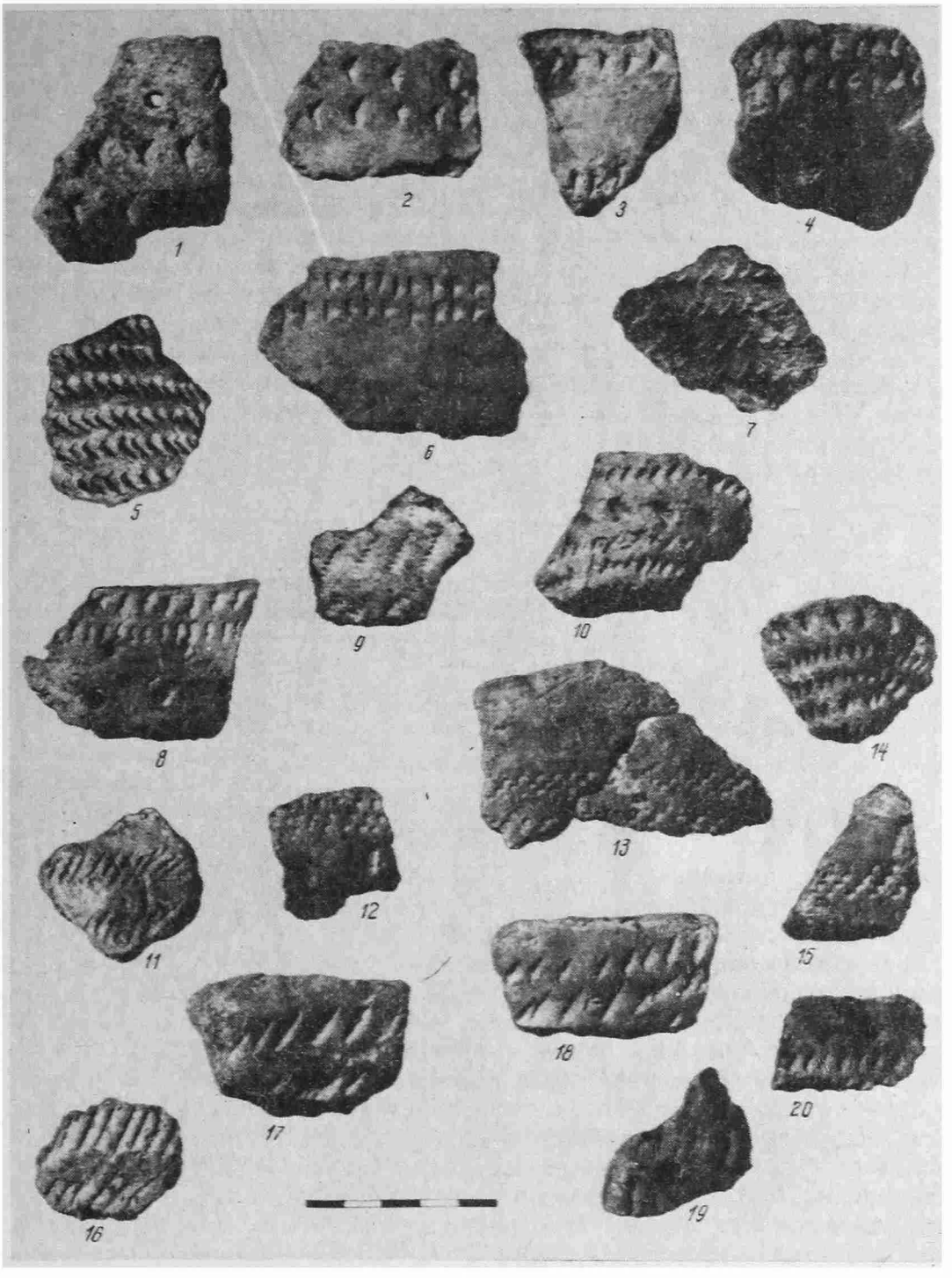


Рис. 6. Керамика с накольчато-гребенчатым орнаментом. Чернетово I

Разработка периодизации раннего неолита Десны сталкивается с целым рядом трудностей, главным образом обусловленных отсутствием четко стратифицированных многослойных памятников этого периода, позволяющих объективно проследить динамику их существования.

Типологический анализ позволяет выделить в качестве наиболее поздних памятники со смешанной накольчато-гребенчатой традицией, но оставляет открытым вопрос о сосуществовании или хронологической последовательности комплексов с накольчато-отступающими или гребенчатыми традициями.

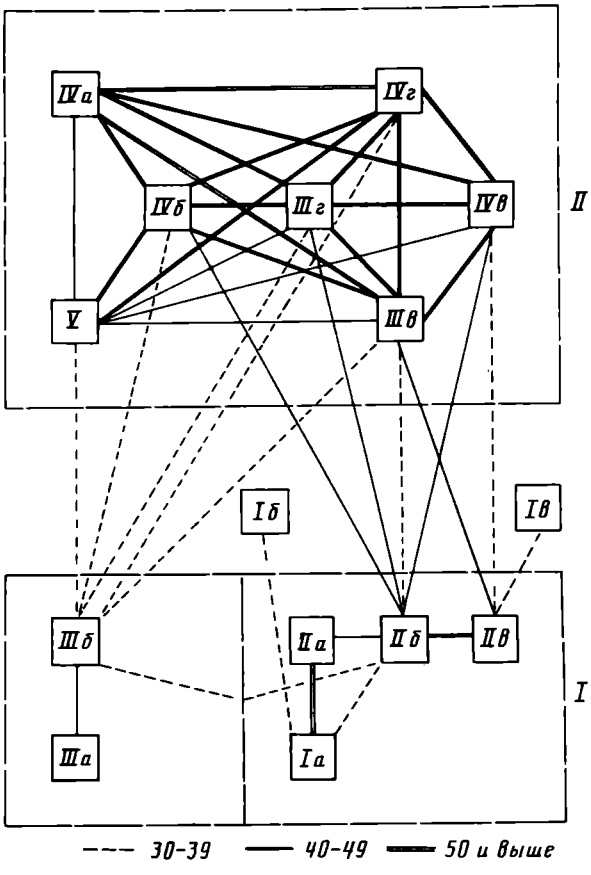


Рис. 7 Граф степени сходства ранненеолитической керамики

В результате обработки всех типов ранненеолитической керамики по степени сходства [2] (табл. 2) построен граф (рис. 7), анализ которого говорит о следующем. Весь массив подразделяется на три замкнутые системы, внутренние связи которых превалируют над внешними. В одну из них (II) попали все типы керамики памятников с накольчато-гребенчатой традицией орнаментации (типы IV, V) и наиболее многочисленные типы гребенчатой керамики (типы IIIв, IIIг). Высокая степень сходства этих типов позволяет говорить об их хронологической близости и, следовательно, позднем возрасте в пределах раннего неолита.

Две оставшиеся группы включают керамику с накольчато-отступающей орнаментацией (типа I и II) и часть сосудов с гребенчатым узором (типы IIIа и IIIб). Для последних характерна цилиндрическая форма верха сосудов, заглаживание поверхности, равномерное распределение орнамента по всей поверхности, т. е. признаки ранней керамики, наиболее полно прослеженные в материалах Витховки I.

Связи этих комплексов отмечены только с материалами поздней группы, что позволяет предположить параллельное существование памятников с накольчато-отступающей керамикой и наиболее ранних типов гребенчатой керамики. Подобное заключение подтверждается совместным залеганием фрагментов с гребенчатой орнаментацией (тип IIIа) в массе накольчатой керамики стоянки Витховка I и единичных фрагментов с отступающим орнаментом (тип IIб) среди комплекса гребенчатых сосудов стоянки Витховка III.

---

[2] Использована формула $\sigma = S^2/kl$.

Таким образом, массив накольчато-отступающей керамики и часть гребенчатой можно синхронизировать и отнести к первому этапу раннего неолита. По всей видимости, керамика стоянки Витховка I (типы Iа и IIIа) является наиболее ранней, о чем помимо типологического анализа говорит односторонняя направленность связей.

Особняком стоит небольшая серия накольчатой керамики со стоянки Жеренская Протока (типы Iб, Iв), связь которой с основным массивом незначительна. Подобная керамика близка материалам поволжских стоянок типа Орловка и представляется привнесенной в среду деснинских памятников.

Мы можем говорить, что в раннем неолите Подесенья выделяются два периода. Для первого характерна керамика с накольчато-отступающим орнаментом и наиболее архаичные типы сосудов с гребенчатым узором. Горшки обычно с цилиндрической верхней частью, утонченным, округлым сверху венчиком. Поверхность заглаживалась, гребенчатые расчесы употреблялись редко. В качестве примеси широко использовались органические добавки. В орнаментации присутствуют мотивы горизонтальной зональности и треугольно-геометрические построения.

На втором этапе превалируют традиции употребления гребенчатого штампа, что привело к формированию памятников с синкретической накольчато-гребенчатой орнаментацией. Более широкое распространение получают закрытые формы сосудов. Уменьшается количество органических добавок в тесте. Часто используется прием гребенчатого сглаживания. Распространяется украшение верхней части сосудов одним или несколькими рядами крупных наколов, ямочных вдавлений или цилиндрических ямок. Дополнительные элементы появляются и на тулове сосуда, чаще всего в качестве разделителей орнаментальных зон. Композиционные приемы более просты, нежели на первом этапе, и подчинены обычно горизонтальной зональности.

По этому же принципу происходит развитие ранненеолитических памятников Верхней Оки. На стоянке Красное VI керамика (268 фр.) украшена накольчато-отступающими приемами [17, рис. 2, *1—9*]. Это сосуды с цилиндрическим верхом и слегка закрытые, с округлым дном, венчики округлые или слегка утонченные. Выполнены из теста с примесью органики и шамота. Поверхность заглажена или носит следы гребенчатых расчесов. Сосуды украшены широкой отступающей палочкой, создающей геометрические композиции. Часть горшков покрыта ложношнуровым и тычковым узором [17, рис. 2, *9*]. Последние два типа орнамента не характерны для стоянок Подесенья, но широко распространены на памятниках верхневолжской культуры.

На стоянке Красное X и Рессета III сосуды украшались гребенчатым штампом. В первом случае (136 фр.) это короткий крупно- или мелкозубый гребенчатый штамп, употребляемый в положении «на боку», напоминающий деснинский [17, рис. 3, *2, 3*] Керамика стоянки Рессета III (130 фр.) покрыта оттисками длинного гребенчатого штампа в сочетании с горизонтальными поясками ямок [17, с. 15] и практически неотличима от материалов Волго-Окского междуречья.

Ранненеолитические материалы Верхней Оки свидетельствуют о большем распространении по сравнению с Подесеньем традиций гребенчатой орнаментации и присутствии орнаментов, характерных для памятников верхневолжской культуры.

Главное своеобразие ранненеолитического керамического инвентаря стоянок Верхней и Средней Десны, особенно на первом этапе, заключается в широком использовании накольчато-отступающих приемов орнаментации. Это вынуждает в поисках аналогий в первую очередь обратиться к регионам, для которых подобные традиции наиболее древние и характерны на всем протяжении неолита. В настоящее время такими районами представляются Среднее Подонье, где возникает и развивается среднедонская культура, и памятники Нижнего Поволжья и Прикаспия.

Накольчатая керамика в Поднепровье, часто сопоставляемая с носителями

Степень сходства ранненеолитической керамики Подесенья

Тип, вариант	Iа	Iб	Iв	IIа	IIб	IIв	IIIа
Iа							
Iб	33						
Iв	29	29					
IIа	88	29	25				
IIб	36	23	20	45			
IIв	25	25	35	22	71		
IIIа	18	18	7	29	23	6	
IIIб	29	29	14	25	31	22	45
IIIв	13	13	11	11	36	40	6
IIIг	6	14	6	6	40	31	6
IVа	14	6	5	13	28	20	6
IVб	25	25	1	22	40	31	14
IVв	6	14	6	6	40	31	6
IVг	7	7	6	6	31	22	7
V	14	25	13	23	28	31	14

азово-днепровской культуры, известна лишь в развитом неолите — энеолите. Ее появление интерпретируется как результат воздействия или миграции с более восточных территорий, из Доно-Волжского бассейна [18, с. 280—283; 19, с 36—40; 20, с. 73—74; 21, с. 7; 22, с. 23—27; 23].

Наиболее представительным комплексом раннего этапа среднедонской культуры является стоянка Монастырская I, керамика которой имеет с деснинской ряд общих признаков [24, с. 56—66]. Это использование органических примесей, хотя на Десне они применялись более широко, гребенчатого сглаживания поверхности. Близка форма сосудов — с цилиндрической верхней частью, утонченным венчиком и «незаполненным» дном. В орнаментации сходство проявляется в господстве накольчато-отступающих приемов, хотя прямых аналогий мы не найдем. Керамика Монастырской I по сравнению с наиболее ранней деснинской (тип Витховки I) выглядит менее архаичной. Об этом говорит большее разнообразие штампов, сложное геометрическое построение узоров, обязательное употребление пояса вдавлений под венчиком, а иногда и на тулове сосуда, орнаментация среза венчика и даже его внутренней части. Керамика Монастырской I стоянки ближе сосудам Жерено III — Жеренской Протоки, относимым к более позднему времени.

Накольчатая керамика Витховки I имеет определенное сходство с материалами поселений типа Джангар [25, 26]. В обоих случаях употреблялся треугольный накол, нанесенный в отступающей манере. Близки композиционные решения и оформление верхней части сосудов.

Деснинские сосуды, украшенные «угловой» лопаточкой, более всего напоминают керамику среднедонской культуры, в первую очередь характерным отступающим штампом, существованием орнаментального пояса под венчиком, округлым, а не утонченным венчиком, а также закрытой формой сосудов в сочетании с падением роли органических отощителей.

Близкие по приемам украшения сосудов ранненеолитические стоянки известны в Пензенской области [27] Сходная керамика встречена в материалах Щербетьской стоянки [28, с. 52, рис. 13]

Нам представляется возможным синхронизировать первый этап деснинской ранненеолитической культуры, характеризуемый керамикой с накольчато-отступающим орнаментом, с ранним комплексом Джангара и первым этапом среднедонской культуры, в свою очередь сопоставимым с первым этапом днепро-донецкой [24, с. 141, 142]. Это подтверждается тем, что на стоянке Витховка I — памятнике с хорошо выраженным накольчатым комплексом имеются фрагменты сосудов, украшенных мелкозубой гребенкой — орнаментом, характерным для

Таблица 2

IIIб	IIIв	IIIг	IVа	IVб	IVв	IVг	V
31							
35	71						
22	71	79					
35	54	61	61				
35	71	100	79	61			
39	61	89	89	50	89		
35	40	44	44	61	44	50	

первого этапа днепро-донецкой культуры. В то же время в материалах стоянки Никольская Слободка, датируемой ранним этапом днепро-донецкой культуры, встречена накольчатая керамика, сходная с деснинской [3]

Возможно, что некоторые типы керамики, украшенные накольчато-отступающим орнаментом, существовали и в более позднее время. В пользу этого предположения говорит длительность употребления подобного орнамента в среднедонской культуре, аналогии в поздненеолитических памятниках Поволжья типа Алтата [29, рис. 2], Орловка [30, рис. 1] и др. [31, рис. 8]. Показательно, что на Десне (стоянка Жерненская Протока) совместно с керамикой, украшенной отступающей лопаточкой, присутствуют фрагменты сосудов с разреженными, отдельно нанесенными треугольными наколами (рис. 3, *10, 11*), характерными для второго этапа днепро-донецкой культуры. Помимо этого встречены горшки закрытой формы, с округлым туловом, украшенные по всей поверхности разреженными треугольными наколами и рядом цилиндрических ямок поверху. Венчик гофрирован оттискам палочки со шнуром — приемом, характерным для поздненеолитической керамики.

На стоянке Курочкино 3 (Курская обл.) обнаружена керамика с накольчато-отступающим орнаментом, которая по технолого-морфологическим свойствам и ряду орнаментальных приемов сопоставляется с имеющейся на этом памятнике ромбоямочной керамикой [32, с. 83, рис. 2] и сосудами энеолитических памятников лесостепи.

При раскопках поселения Красное X в верховьях Оки найдены фрагменты горшков с высокой конической шейкой, сходных с энеолитическими, украшенные геометрическим орнаментом, выполненным отступающей палочкой.

Деснинская ранненеолитическая керамика с гребенчатой орнаментацией в своем наиболее распространенном варианте близка материалам второго этапа днепро-донецкой культуры, ее киево-волынского варианта [33, с. 91—96]. Их сближает ряд технологических особенностей: уменьшение роли органических отощителей и увеличение минеральных, в частности дресвы, повсеместное заглаживание внутренней поверхности гребенчатым штампом. Сходство отмечается в композиционных моментах — преобладании горизонтальной зональности, появлении ямок под венчиком. Имеются параллели в технике нанесения узора — частое употребление гребенчатого штампа в положении «на боку», в отступаю-

[3] Коллекция ИА АН УССР, № 163.

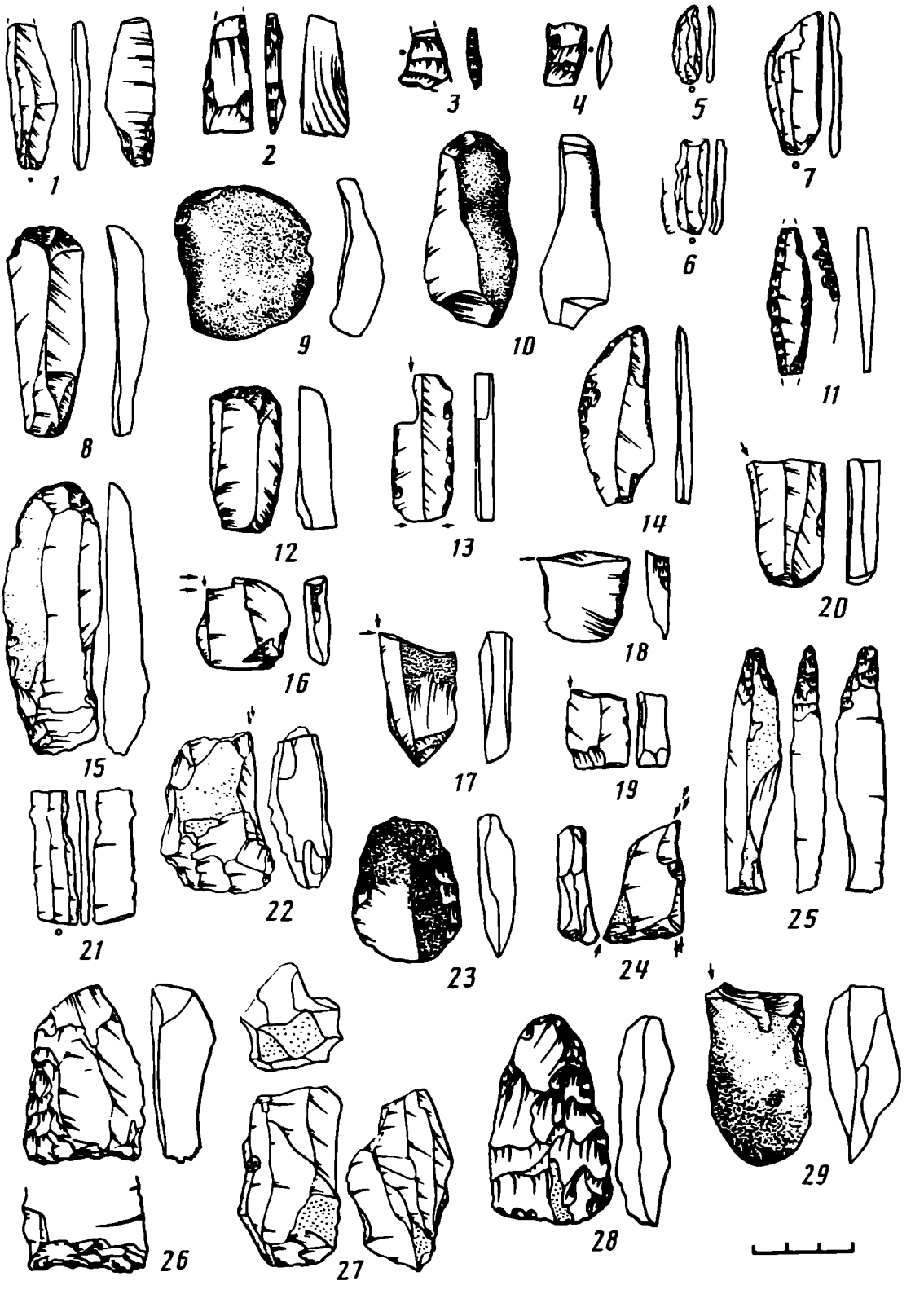


Рис. 8. Кремневые орудия. *1, 2, 4, 8—11, 13, 14, 17, 20, 29* — Жерено III, *3, 12, 16, 18, 23* — Жеренская Протока; *5—7, 15, 19, 21, 22, 24—28* — Витховка I

щей манере. В обоих случаях характерно использование короткого штампа. Одним из подтверждений сказанному может быть керамика стоянки Грини на Днепре [4] [33, рис. 34, *9*]

Отличительной особенностью гребенчатой орнаментации деснинских сосудов является частое употребление в качестве дополнительного элемента не цилиндрических, а ямочных вдавлений неправильной, нередко подпрямоугольной формы, что свойственно среднедонской культуре.

Определенное сходство имеется с керамикой верхневолжской культуры, в особенности с орнаментированной коротким гребенчатым штампом, распространенным на раннем этапе. Подобные сосуды имеются на стоянках Сахтыш II [34, с. 51], Сахтыш VIII [35, рис. 1]. Свойственный поздней верхневолжской культуре, длиннозубый штамп [35, с. 143, 144] для Десны не характерен.

Для кремневого инвентаря ранненеолитических стоянок Подесенья характерен малый индекс пластинчатости (около 4%), хотя и несколько больший, нежели в развитом неолите (0,5%). Среди изделий со вторичной обработкой процент пластинчатых заготовок еще достаточно высок. Наконечники стрел черешковые и бесчерешковые, изготовлены почти все на пластинах с ретушью по основанию и острию, реже по всему периметру орудия (рис. 8, *1*; 9, *1—6*). Плоская ретушь имеется лишь с брюшка, спинка, как правило, не обработана. Довольно велика доля пластинчатых заготовок среди режущих орудий и перфораторов (рис. 8, *14, 25*). Последние часто изготовлялись на высоких, в ряде случаев ребристых пластинах, ретушью формировалась лишь рабочая часть. Скребки, как правило, концевые, реже подокруглые, изготовлены на укороченных пластинах и отщепах. Среди этого типа орудий встречаются заготовки случайных форм, первичные отщепы (рис. 8, *9, 10*). Рубящие орудия тесловидные, топоров немного (рис. 8, *26—29*; 9, *21, 24, 25*), оформлены грубыми сколами без серьезной дополнительной подправки лезвия. Наряду с двусторонними формами присутствуют изделия на массивных отщепах. В качестве заготовок резцов помимо пластин использовались отщепы и нуклевидные куски кремня. Представлены все типы резцов при значительном количестве боковых и нуклевидных (рис. 9, *16—20, 23*) Присутствуют серии высоких трапеций. Среди них встречаются неправильные, грубо выполненные формы, что отличает их от изделий мезолитического времени. Среди нуклеусов помимо ядрищ от отщепов с бессистемными сколами присутствуют торцовые и призматические от пластин (рис. 8, *26, 27*; 9, *26, 27*)

В отличие от керамического инвентаря кремневый комплекс выглядит менее выразительным для детальных типолого-хронологических построений. Можно отметить лишь некоторые закономерности. Рубящие орудия, изготовленные на отщепах с односторонней обработкой, встречены на памятниках с накольчато-отступающей керамикой (Витховка I, Жеренская Протока, Жерено I) (рис. 8, 23, 24). На памятниках с гребенчатой керамикой (Чернетово I, Витховка III) все рубящие орудия двусторонние (рис. 9, *21, 24, 25*). На этих стоянках имеются хорошо выраженные треугольно-черешковые наконечники, листовидные и ромбовидные наконечники с ретушью по всему периметру орудия (рис. 9, *1—5*)

Представляется, что сосуды с гребенчатым и накольчато-гребенчатым орнаментом сопровождаются более развитым по своему облику кремневым инвентарем, нежели стоянки с накольчато-отступающей керамикой.

Кремневый инвентарь ранненеолитического времени имеет своей подосновой памятники деснинского мезолита, своеобразие которого отмечалось уже свыше 50 лет назад [36, с. 51] В последние годы раскопана серия памятников, материалы которых позволили детально и обоснованно рассмотреть историю и инвентарь мезолита Десны [37—41]

---

[4] Коллекция ИА АН УССР, № 554.

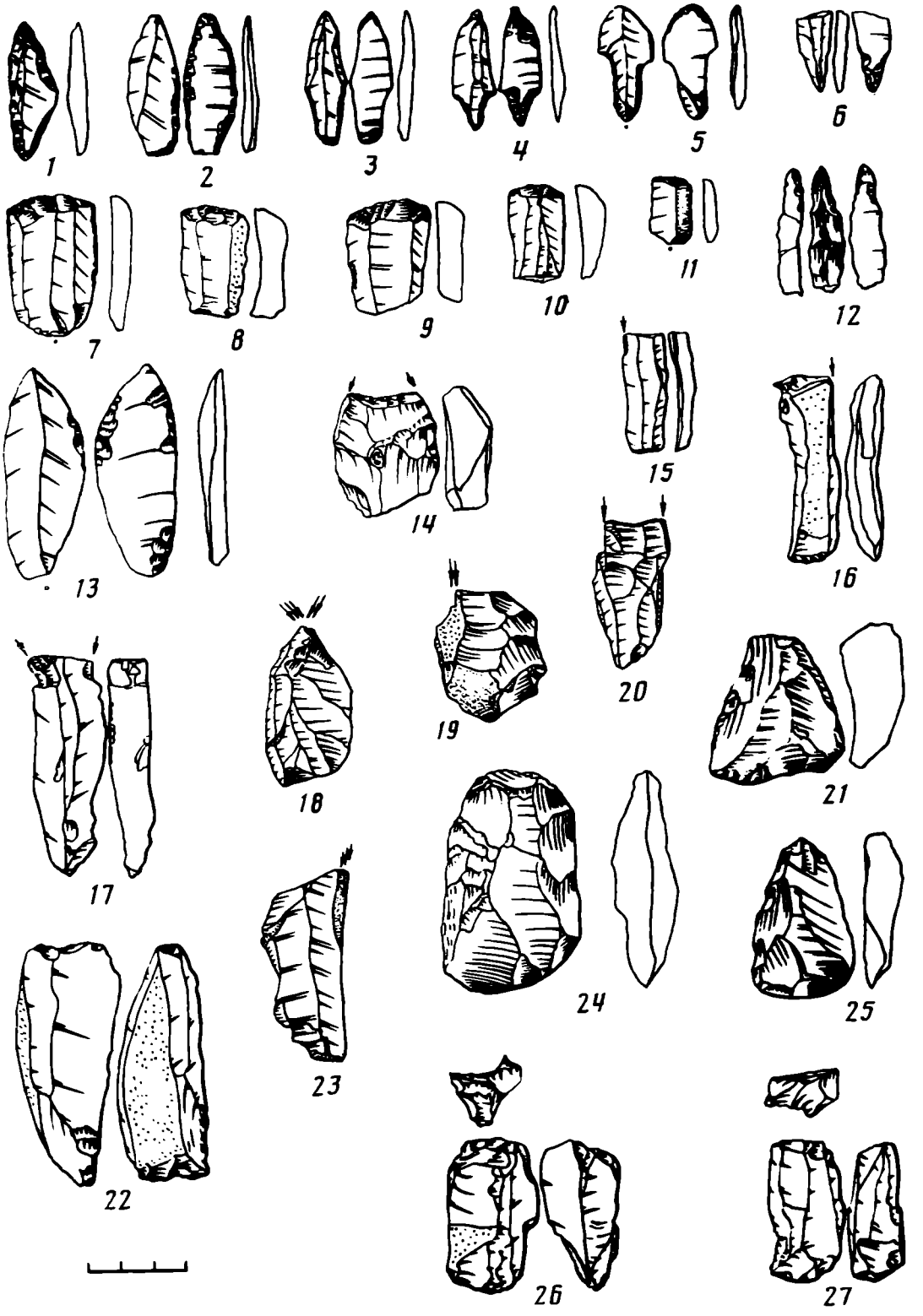


Рис. 9. Кремневые орудия. *1—5, 7, 9—11, 13, 18—21, 23—25* — Чернетово I; *6, 8, 12, 14—17 22, 26, 27* — Витховка III

Сформировавшийся на аренсбургской основе при участии носителей свидерской культуры мезолит Десны представлен в своей заключительной фазе стоянками типа Студенок [38], в инвентаре которых имеется ряд параллелей с мате-

риалами раннего неолита. Это господство отщеповой техники при спорадическом использовании пластинчатой, присутствие на ряде неолитических стоянок высоких трапеций, наконечников стрел на пластинах. Много общего в облике рубящих орудий, скребков, часто изготовленных на аморфных отщепах, пластинчатых режущих орудий, перфораторов на высоких пластинах. Употребление на некоторых ранненеолитических орудиях, в особенности на наконечниках, плоской ретуши, нанесенной с брюшка, можно расценивать как переживание свидерских приемов обработки.

Время существования памятников раннего неолита Подесенья на основании аналогий может быть определено V — первой половиной IV тыс. до н. э. Как было сказано выше, мы считаем возможным синхронизировать стоянки с накольчато-отступающей керамикой с первым этапом среднедонской культуры, нижней датой которой является первая половина V тыс. до н. э. [24, с. 142]. Последний в свою очередь сопоставим с ранним этапом днепро-донецкой культуры — серединой V тыс. до н. э. [33, с. 199] Не исключено, что можно будет удревнить нижнюю дату деснинского неолита. Верхневолжская культура, для которой характерна на раннем этапе накольчато-тычковая орнаментация керамики, граничащая с памятниками Подесенья, существовала в конце VI тыс. до н. э. [42, с. 269] Ранние стоянки Поволжья и Заволжья с накольчатой керамикой также имеют нижние даты в пределах VI тыс. до н. э. [25, с. 89; 43, с. 10; 44, с. 13]

Памятники второго этапа раннего неолита Подесенья с гребенчатой орнаментацией сопоставляются с памятниками второго этапа среднедонской и днепро-донецкой культур, что дает основание датировать его первой половиной, возможно, серединой IV тыс. до н. э. [24, с. 142; 33, с. 198, 245] Первой половиной IV тыс. до н. э. датируется заключительный этап верхневолжской культуры, для которого характерна керамика с гребенчатыми узорами [42, с. 269]

Характерной чертой раннего деснинского неолита является накольчато-отступающая керамика, близкая материалам Среднего Подонья и Поволжья. На заключительных этапах раннего неолита в Подесенье прослеживается влияние днепро-донецкой культуры. Тем самым в значительной степени решается вопрос о взаимодействии деснинских и днепро-донецких памятников.

Существует мнение, что на левобережье Среднего Поднепровья существовала еще одна ранненеолитическая культура — лисогубовская выделеннаяв 1971 г. В. И. Неприной на материалах эпонимного поселения [45] Правомерность выделения лисогубовских материалов некоторыми исследователями воспринимается критически [46, с. 288] Автору представляется, что Лисогубовка в основной своей массе достаточно поздний памятник, датируемый развитым, поздним неолитом и частично энеолитом. В его инвентаре отразились следы активных этнокультурных процессов, происходивших на пограничье леса и лесостепи в конце IV — начале III тыс. до н. э. В то же время часть керамического инвентаря Лисогубовского поселения действительно выглядит достаточно архаичной. Это относится к керамике, украшенной пунктирным и гребенчатым штампом. Культурным своеобразием она не обладает и аналогична ранненеолитическим материалам Киевского Поднепровья.

На западе распространение деснинских памятников ограничивается деснинско-сожским водоразделом. Наиболее ранний известный памятник в Посожье — стоянка Добродеевка II [47] На ней обнаружен однородный керамический комплекс, представленный фрагментами сосудов с органической примесью и украшенных поверхностными оттисками «псевдорубчатого» штампа и чуть изогнутой мелкозубой гребенки. Кремневый инвентарь достаточно архаичен по своему облику. Ранненеолитические памятники Посожья и Верхнего Поднепровья отличны от деснинских и относятся к кругу культур северо-запада, более всего напоминая стоянки Понеманья.

Важным является вопрос о взаимодействии деснинских и верхневолжских ранненеолитических памятников. Сосуды верхневолжской культуры широкогорлые, суживающиеся к острому или округлому дну [48] Венчики большей

частью заострены или скошены внутрь, изредка с прямым срезом и в единичных случаях отогнуты наружу. В бассейне Десны сосуды также цилиндрической формы, но донья только округлые. Венчики чаще всего прямые, с округлым верхом.

Горшки верхневолжской культуры изготовлялись из теста с примесью шамота, песка и дресвы, иногда растительной или ракушечной. Поверхность красновато-коричневого или коричнево-желтого оттенка с ангобированием, изнутри нередко штриховка. Внешний облик ранненеолитической деснинской керамики сходен с верхневолжской, что проявляется в цвете сосудов, использовании гребенчатого сглаживания. Но на Десне иной подбор примесей, где значительную роль играют органические добавки в тесте.

В орнаментации верхневолжской керамики прослеживаются три основных узора: тычково-накольчатый, гребенчатый, нарезной. Наряду с ними встречается пунктирный, ямочный, ложношнуровой. На Десне наиболее разнообразен накольчато-отступающий орнамент, характернейшей чертой которого является употребление треугольных наколов и «угловой» отступающей лопаточки. В материалах верхневолжской культуры фрагменты с треугольными наколами единичны (Маслово Болото VIII, Мышецкая). Не характерна для нее и «угловая» отступающая лопаточка. На Верхней Волге штамп расположен перпендикулярно к направлению движения или создает ложношнуровой узор, что не свойственно стоянкам Подесенья. В отличие от Верхней Волги на Десне отсутствует нарезной и тычковый орнамент. Больше общности прослеживается в гребенчатых приемах орнаментации, особенно в узорах, выполненных коротким штампом.

Своеобразной чертой ранненеолитической деснинской керамики является частое употребление узоров, выполненных гребенчатым штампом в положении «на боку», в отступающей манере.

Ряд параллелей можно найти в композиционном решении орнаментации сосудов Подесенья и Поволжья, однако техника их нанесения часто различна. Так, композиции на деснинских сосудах, украшенных треугольными наколами, близки верхневолжским, орнаментированным отступающей палочкой.

Показательно, что на стоянках Верхней Оки, находящихся на границе распространения деснинских ранненеолитических памятников и верхневолжской культуры, в керамике прослеживаются черты, характерные для обоих регионов. На стоянке Красное VI наряду с сосудами, украшенными отступающей лопаточкой, близкими деснинским, имеются горшки с характерным верхневолжским ложношнуровым и тычковым узором. Орнаментация сосудов гребенчатым штампом на поселении Красное X выполнена в типично деснинских традициях. Керамика с гребенчатыми оттисками Рессеты III аналогична волго-окской. Сосуды на верхнеокских стоянках с округлыми донышками, что характерно для Подесенья.

Кремневый инвентарь верхневолжской культуры имеет мезолитоидный облик с выраженными постсвидерскими традициями. Основная масса орудий изготовлена на пластинах. На поздних этапах развития прослеживается переход к двусторонним формам. В то же время на ряде памятников верхневолжской культуры встречаются кремневые комплексы, где отщеповая техника играет значительную роль. Существует точка зрения, что пластинчатая техника была распространена лишь на ранних этапах развития верхневолжской культуры, на поздних превалирующую роль занимала отщеповая индустрия. Такие комплексы встречены на стоянках Боринка II, Берендеево IIа, Золоторучье III.

Кремневый инвентарь деснинских ранненеолитических памятников не всегда позволяет детально провести сравнение с верхневолжской кремневой индустрией. Главные различия заключаются в большей роли отщеповой техники на Десне, что определило и ряд конкретных отличий в формах орудия.

Отмечая известное сходство верхневолжской культуры с материалами раннего деснинского неолита, мы не считаем возможным объединять их. Деснинские стоянки несомненно ближе к памятникам Подонья, Среднего и Нижнего Поволжья с их своеобразной накольчатой керамикой.

Ранненеолитические памятники Десны разнокультурны по своему происхождению. Они сформировались на основе местного мезолитического населения, при активном воздействии южных неолитических культур Волжско-Донского бассейна, а в последствии развивались под влиянием лесных культур с традициями гребенчатой орнаментации.

Накольчатая керамика практически во всем регионе распространения сосуществует с пластинчатой, часто микролитической индустрией. Пластинчатая техника распространена и в лесных ранненеолитических культурах, в частности в верхневолжской. Деснинское же население этого периода сохранило традиции преимущественного использования отщепа в качестве заготовки и другие приемы кремнеобработки, сложившиеся в мезолитическое время и существующие в последующие периоды.

Говоря о культурах Доно-Волжского бассейна, мы не можем пока назвать прямых аналогий древнейшей деснинской накольчатой керамике. По мере развития она проявляет все больше сходства с материалами среднедонской культуры.

Наиболее ранняя гребенчатая керамика Подесенья напоминает как гребенчатую керамику первого этапа днепро-донецкой культуры, так и керамику с короткозубчатым орнаментом верхневолжской культуры. Однако наиболее массовая керамика с гребенчатым орнаментом, появляющаяся на втором этапе раннего неолита Десны, ближе всего к памятникам киево-волынского варианта днепро-донецкой культуры.

На рубеже раннего и развитого неолита в Подесенье прослеживается резкая смена материальной культуры. Традиции накольчато-гребенчатой орнаментации сменяются приемами ямочного узора, что сопровождается изменениями в технологических приемах и морфологических признаках сосудов. Определенная трансформация произошла в характере кремневого инвентаря.

Столь резкое изменение материальной культуры, появление традиций, не имеющих корней в инвентаре более ранних памятников, позволяет говорить о смене населения описываемого региона на рубеже раннего и развитого неолита. Немаловажным аргументом в пользу этого заключения является факт аналогичной смены культурных традиций на значительной части юга лесной полосы Восточной Европы. В то же время можно предполагать существование части ранненеолитического населения, сохранившего традиции накольчато-отступающей орнаментации керамики в развитом и позднем неолите.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Нейштадт М. Н.* История лесов и палеогеография СССР в голоцене. М.: Изд-во АН СССР, 1957
2. *Марков К. К., Гричук В. П., Чеботарев Н. С.* Взаимодействие леса и степи в историческом освещении // Вопр. географии. 1950. № 23.
3. *Хотинский Н. А.* Трансконтинентальная корреляция этапов истории растительности и климата Северной Евразии в голоцене //.Проблемы палинологии. М.: Наука, 1973.
4. *Воеводский М. В.* Памятники каменного века на Десне // КСИИМК. 1949. Вып. XXVI.
5. *Розенфельдт И. Г* Стоянка Мыс Очкинский // КСИИМК. 1950. Вып. XXXI.
6. *Розенфельдт И. Г* К вопросу о связях древнего населения бассейнов рек Десны и Оки в конце III — начале II тыс. до н. э. // КСИИМК. 1959. Вып. 75.
7. *Розенфельдт И. Г* Стоянки близ с. Неготино Брянской области // СА. 1974. № 2.
8. *Левенок В. П.* Неолит верхнего участка бассейна Средней Десны // КСИИМК. 1948. Вып. XXIII.
9. *Левенок В. П.* Неолитические племена лесостепной зоны европейской части СССР // МИА. 1973. № 172.
10. *Левенок В. П.* Памятники днепро-донецкой культуры в лесостепной полосе РСФСР // КСИА. 1971. Вып. 126.
11. *Крижевская Л. Я.* Хронология неолита степной и лесостепной зоны европейской части СССР // МИА. 1973. № 172.
12. *Неприна В. И., Зализняк Л. Л., Кротова А. А.* Памятники каменного века Левобережной Украины. Киев: Наук. думка, 1986.
13. *Заверняев Ф. М.* Неолитическая стоянка Черепеньки под Брянском // КСИИМК. 1957 Вып. 67
14. *Третьяков В. П.* Неолит Верхнего Подесенья // СА. 1985. № 2.
15. *Левенок В. П.* Неолитическая стоянка Холм на реке Неруссе (рукопись) // Архив ЛОИА. Ф. 35. Оп. № 2. № 1116.

16. *Левенок В. П.* Археологический отчет о работах Верхне-Донской экспедиции в 1963 г. // Научный архив ИА АН СССР. Р-1. № 2812.
17. *Смирнов А. С.* Белеевская культура (проблемы неолита Верхней Оки) // СА. 1986. № 4.
18. *Формозов А. А.* Об историческом месте неолитической культуры Левобережья Украины // СА. 1970. № 1.
19. *Даниленко В. И.* Энеолит Украины. Киев: Наук. думка, 1974.
20. *Формозов А. А.* Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории европейской части СССР. М.: Наука, 1977.
21. *Мерперт Н. Я.* Проблемы энеолита лесостепи Восточной Европы // Энеолит Восточной Европы. Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1980.
22. *Васильев И. Б., Синюк А. Т* Энеолит Восточно-Европейской лесостепи. Куйбышев: Изд-во КГПИ 1985.
23. *Кротова Н. С.* Керамика азово-днепровской культуры // Проблемы неолита степной и лесостепной зоны Восточной Европы. Оренбург, 1986.
24. *Синюк А. Т* Население бассейна Дона в эпоху неолита. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986.
25. *Кольцов П. М.* Поселение Джангар в Сарпинской низменности // Эпоха меди юга Восточной Европы. Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1984.
26. *Кольцов П. М.* Неолитическое поселение Джангар // Проблемы неолита степной и лесостепной зоны Восточной Европы. Оренбург, 1986.
27 *Третьяков В. П.* Ранненеолитические стоянки в междуречье Суры и Мокши // КСИА, 1982. Вып. 169.
28. *Халиков А. Х.* Древняя история Среднего Поволжья. М.: Наука, 1969.
29. *Деревягин Ю. В., Третьяков В. П.* Неолитическое поселение у с. Алтата в Саратовской области // СА. 1974. № 4.
30. *Мамонтов В. И.* Поздненеолитическая стоянка Орловка // СА. 1974. № 4.
31. *Телегін Д. Я.* Неолітичні нам"ятки Подоння і Степового Поволжя // Археологія. 1981. Вып. 36.
32. *Крижевская Л. Я.* Курочкино 3 — новый памятник каменного века в Восточно-Европейской лесостепи // КСИА. 1983. Вып. 173.
33. *Телегін Д. Я.* Дніпро-донецька культура. Київ: Наук. думка. 1968.
34. *Костылева Е. Л.* Остатки ранненеолитической верхневолжской культуры на стоянке Сахтыш II // КСИА. 1984. Вып. 177
35. *Костылева Е. Л.* Ранненеолитический верхневолжский комплекс стоянки Сахтыш VIII // СА. 1986. № 4.
36. *Ефименко П. П.* Мелкие кремневые орудия геометрических и иных своеобразных очертаний в русских стоянках ранненеолитического возраста // РАЖ. 1924. Т. 13. Вып. 3/4.
37. *Сорокин А. Н.* Новые данные по неолиту Десны // Актуальные проблемы археологических исследований в УССР. Киев, 1981.
38. *Зализняк Л. Л.* Деснянска мезолітична культура // Археологія. 1984. 46.
39. *Сорокин А. Н.* Комягино 2Б — новый мезолитический памятник в бассейне р. Десны // Тр. ГИМ. 1985. Вып. 60.
40. *Зализняк Л. Л.* Мезолит Юго-Восточного Полесья. Киев: Наук. думка, 1984.
41. *Сорокин А. Н.* Мезолит бассейнов Десны и Оки // КСИА. 1986. Вып. 188.
42. *Крайнов Д. А., Кольцов Л. В.* 25 лет Верхневолжской экспедиции Института археологии Академии наук СССР // СА. 1983. № 4.
43. *Моргунова Н. Л.* Неолит лесостепного Заволжья и Южного Приуралья // Проблемы эпохи неолита степной и лесостепной зоны Восточной Европы. Оренбург, 1986.
44. *Мелентьев А. И.* К вопросу о времени и генезисе раннего неолита Северного Прикаспия // Проблемы археологии Поволжья и Приуралья. Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1976.
45. *Неприна В. И., Беляев А. С.* Поселение и могильник новой неолитической культуры на Северной Украине // СА. 1974. № 2.
46. *Третьяков В. П.*//СА. 1983. № 3. Рец. на кн.: В. И. Неприна. Неолит ямочно-гребенчатой керамики на Украине. Киев, 1976.
47. *Смирнов А. С.* О раннем неолите Верхнего Поднепровья // СА. 1986. № 1.
48. *Крайнов Д. А., Хотинский Н. А.* Верхневолжская ранненеолитическая культура//СА. 1977. № 3.

A. S. Smirnov

THE EARLY NEOLITHIC SITES ON THE DESNA RIVER

Summary

The author singles out two historical stages in the Early Neolithic materials first identified by him in the forest part of the Desna basin. The first stage is marked by the pottery decorated with pit ornaments; the second by vessels with the comb and pit-and-comb patterns. The flint industry is based mainly on flake technology. On the whole, the Early Neolithic sites along the Desna is a cultural mixture. Based on the local Mesolithic culture they were greatly influenced by the southern Neolithic cultures of the Volga and Don basins; at a later period the sites were exposed to the forest cultures with the comb pattern traditions.

В. И. КОЗЕНКОВА

ИННОВАЦИИ И ПРОЦЕСС ФОРМОТВОРЧЕСТВА В КОБАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАВКАЗА

(на примере зооморфных браслетов)

Задача углубленного изучения специфики восточного варианта кобанской культуры, уточнения механизма его сложения, периодизации, относительной и абсолютной хронологии по-прежнему остается актуальной в кавказоведении. Перспективным направлением в связи с этим представляется детальный анализ некоторых категорий вещей, важных для раскрытия диалектики развития культуры восточнокобанской группы.

Особую значимость представляют те категории, в которых очевидно разновременные вещи составляли серии, позволяющие, на мой взгляд, уловить переходные фазы в их типологическом развитии. В этом случае легче просматриваются черты и признаки более ранних исходных форм, которые не смогли раствориться даже в широких рамках сиюминутной моды, характерной для синхронного однопорядкового «блока» культур. Отчетливее прослеживаются признаки постепенного сдвига первоначальной модели формы в сторону ее качественного переоформления в результате технологических новаций.

Такую неоспоримую и давно опубликованную серию (более 60 экз.) составляют бронзовые, отлитые в индивидуальных литейных формах массивные браслеты с острыми «зооморфными» концами (VI тип по моей классификации) В этой форме, как ни в какой другой, проявляется неповторимое своеобразие культуры восточнокобанских памятников раннего этапа [1, с. 179, 182; 2, с. 55; 3, с. 47] В настоящее время они представлены в пяти могильниках лесистых предгорий междуречья Хулхулау — Аксая близ сел. Сержень-юрт, Шали, Майртуп, Зандак [4, с. 68; 5, с. 60]. Их облик и сейчас поражает одновременно дикой красотой и одухотворенностью (рис. 1, *12—17*) Литые манжетовидные браслеты были украшены с лицевой стороны, по краям и в центре поясами из выпуклых шишечек-«перлов». Иногда таких поясов было два, чаще три и очень редко четыре. Концы браслетов из Шали, Сержень-юрта, Зандака и некоторых из Майртупа завершались опасно острыми отростками и выступами, в целом напоминавшими стилизованные изображения морд каких-то животных. Р. М. Мунчаев, обнаруживший такие браслеты в 1958 г. в могильнике Сержень-юрт, первым отметил эту «зооморфность». Стилизация не позволяла определить, каких именно животных пытались изобразить здесь первобытные художники. Трактовка их как «змее-баранов», предложенная В. Б. Виноградовым [6, с. 118, 119], представляется мне сомнительной. В случаях, где изображение относительно реалистично, можно предположить хищника с острой мордой и клыками, нечто вроде вепря.

Местное изготовление браслетов VI типа северокавказскими бронзолитейщиками документируется находками обломков литейных форм в слое Сержень-юртовского поселения первого этапа его существования. Фрагменты глиняных форм с четкими отпечатками рельефных поясов из «перлов» свидетельствуют о литье с утратой формы — способе, принятом на Кавказе в эпоху поздней бронзы при изготовлении предметов со сложным рельефом поверхности (рис. 2, *2*)

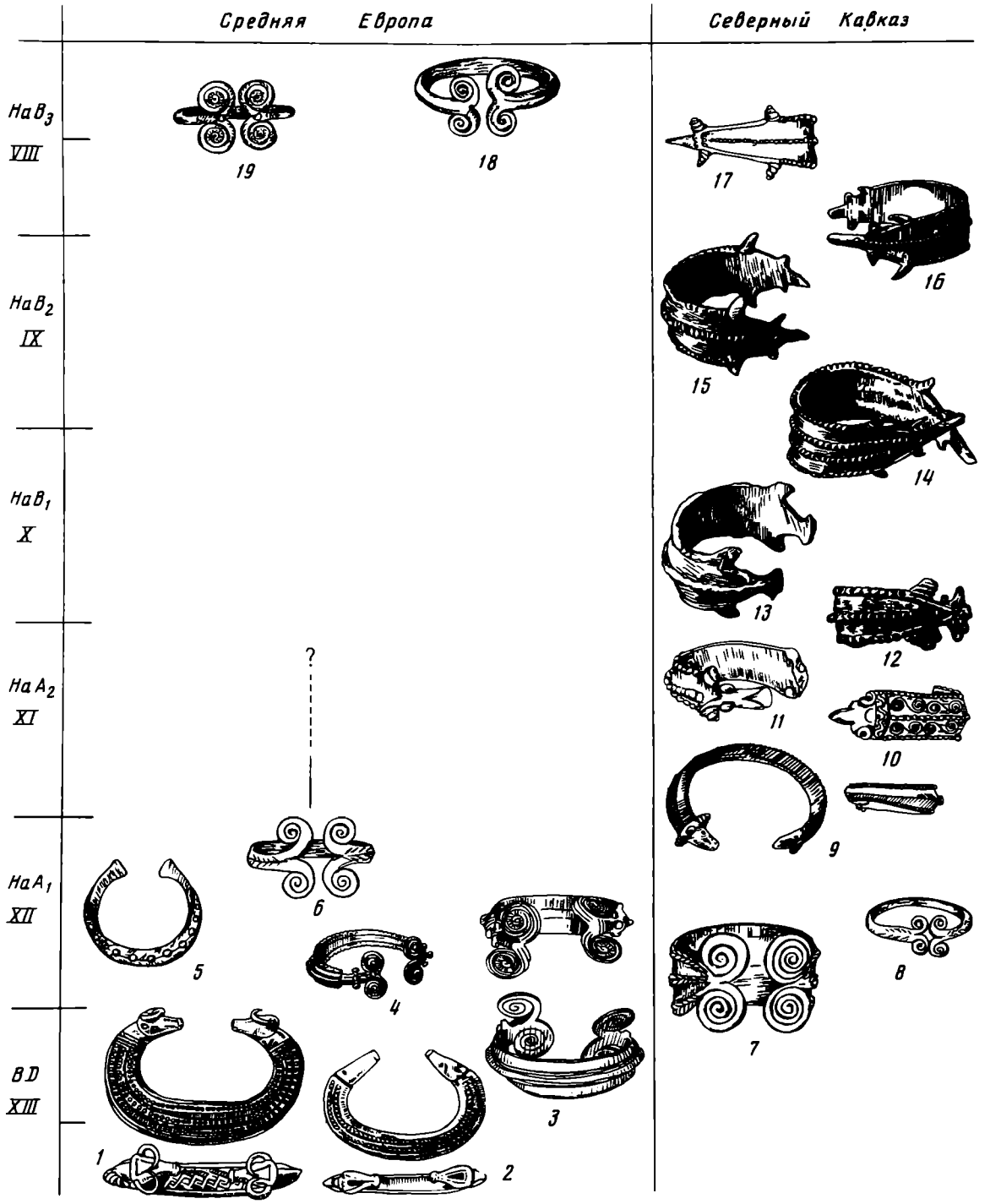


Рис. 1 Схема появления и развития, на материалах Северного Кавказа, браслетов VI и VII типов (хронология в веках до н. э.). *1, 2* — Тыргу Муреш; *3* — Перецеи; *4* — Акиш; *5, 6* — Ниредьхаза-Буятош; *7* — Верхняя Рутха; *8* — Былым; *9* — Бачи-юрт; *10* — Хасав-юрт; *11, 12* — Майртуп; *13—16* — Сержень-юрт, *17* — Шали; *18* — Михалково; *19* — Фокору

Истоки формы «зооморфных» браслетов VI типа отсутствуют в более ранних культурах Северо-Восточного Кавказа. Вопрос ее генезиса не находит пока однопланового решения у исследователей.

В 1975 г. мною была высказана гипотеза, что такая необычная и сложная форма не могла возникнуть конвергентно, как и всякая вещь, наделенная чертами самобытности. В то же время, несмотря на оригинальность формы, в ней уга-

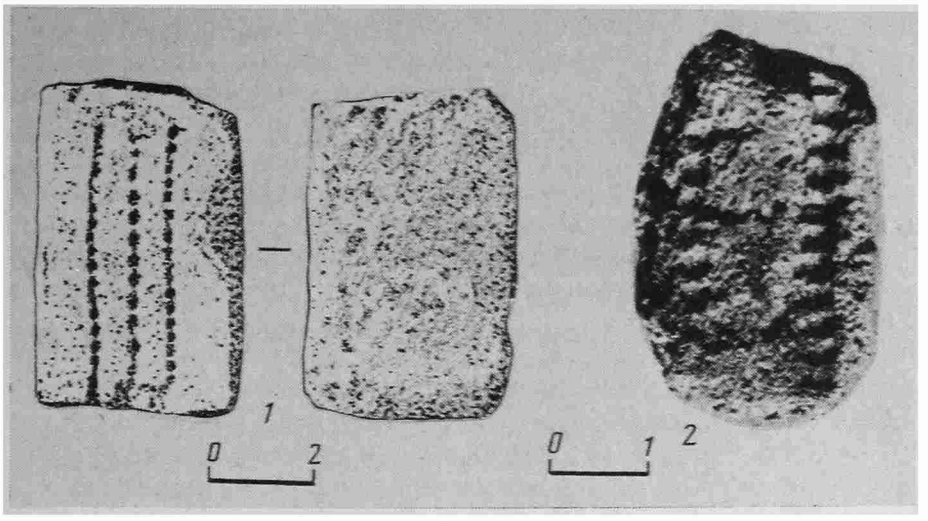


Рис. 2. Литейные формы для браслетов VI и VII типов. *1*—клад Шолдвадькерт (Венгрия); *2* — поселение Сержень-юрт (Чечня)

дывалась определенная, возможно, длительная предыстория. При всем бросающемся в глаза их своеобразии нельзя было не ощутить и не разглядеть матрицу опыта предшествующих поколений художников-бронзолитейщиков Средней Европы, главным образом Карпато-Дунайского региона [2, с. 56] Прототипами для восточнокобанских браслетов, по моему мнению, могли послужить определенные разновидности браслетов периода бронзы С и D (по Рейнеке), причем не одного какого-то типа, а двух. От них сложным путем кавказские экземпляры унаследовали составные морфологические элементы. Главные из них — манжетовидность, реалистически и стилизованно оформленные зооморфные концы, пояса из выступающих шишечек — оказались теми «строительными» признаками, синкретическое слияние которых в новых условиях способствовало появлению новой формы, продолжившей в дальнейшем самостоятельное развитие на новой территории. С подобными взаимоотношениями инноваций и традиционной культуры исследователи постоянно сталкиваются при анализе материальной культуры не только древних периодов, но и близкого к нам времени.

Предпосылки для предположения о среднеевропейском генезисе формы зооморфных браслетов не возникли на голом месте, а были обусловлены на первых порах немногочисленными, а позднее численно возросшими и продолжающими возрастать свидетельствами проникновения на Северный Кавказ вещей или их форм, прямо сопоставимых с центральноевропейскими эпохи поздней бронзы. Такими, например, как наконечники копий с продольными ребрышками на пере (Сержень-юрт), имеющими аналогии в кладах бронз Трансильвании и Среднего Подунавья. Выявлены формы сосудов типа «псевдовилланова» (Сержень-юрт, Зандак, Бамут, Змейская), бронзовые наконечники стрел (Сержень-юрт, Муштский клад), трубчатые псалии типа Хаслау — Регельсбрунн. В связи с этим были более пристально рассмотрены и проанализированы и другие известные находки из старых раскопок, ранее не вписывавшиеся в определенный контекст имевшихся разрозненных представлений и остававшиеся в тени. Наиболее выразительные из них — антропоморфные подвески типа Ноа из Чми, обломок щитковой фибулы из Кобани, поясные пряжки архаичного типа из Верхней Рутхи, глиняные пиксиды. Из новейших данных, наиболее выразительно подтверждающих северокавказско-центральноевропейские контакты второй половины — конца II тыс. до н. э., безусловно следует назвать клад из станицы Упорной, в составе которого находились предметы бесспорно среднеевропейского происхождения.

В связи с вышесказанным я полагала и продолжаю придерживаться того мнения, что появление браслетов с «зооморфными» концами в кобанской культуре обусловлено глубоко традиционными северокавказско-трансильванскими связями и представляет собой один из аспектов взаимосвязей культуры с окружающим миром наряду с Закавказьем и Передним Востоком.

«Зооморфные» браслеты при ближайшем рассмотрении выступают как наиболее поздняя и территориально самая восточная модификация западноевропейских образцов, ранее выразительно представленных, например, золотыми браслетами в кладах Подунавья группы Форро и Опайа BIV (по А. Можолич) [7, табл. 99—102].

В 1980 г. В. Г Котович и О. М. Давудов опубликовали итоги исследования проблемы периодизации и хронологии материалов эпохи бронзы и раннего железа Северо-Восточного Кавказа, где были рассмотрены и интересующие нас группы вещей [8, с. 42, 45, рис. 1, *12*] Недостатком этой работы является схематизм и отсутствие развернутого обоснования при выделении периодов и групп, что уже получило весьма критическую оценку в отдельных публикациях [9, с. 310] Авторы не согласились с моей точки зрения относительно истоков формы рогатых браслетов типа VI. Они полагали, что подобные браслеты можно возводить к браслету из Хасав-юрта, считая его априори значительно старше серженьюртовских. Без каких-либо серьезных конкретных обоснований предполагалось его северокавказское происхождение. Поскольку и в другой работе В. Г Котовича гипотеза о северокавказских истоках указанного браслета (VII тип по моей классификации) не получила дополнительного подкрепления и разъяснения [10, с. 24], критический разбор ее не представляется возможным.

Интерес к «зооморфным» браслетам пробудился в связи с новыми находками памятников типа Сержень-юрта в междуречье Хулхулау — Аксая. Выдающимся среди них по праву может быть назван могильник Майртуп 2, расположенный на восточной границе кобаноского ареала. Здесь в 1980—1981 гг. С. Л. Дударев и его коллеги обнаружили оба типа браслетов с «зооморфными» концами вместе. А точнее, в материалах одного и того же памятника в закрытых комплексах как в фокусе сошлись вместе практически все известные модификации типологического ряда: браслеты, близкие экземплярам из могильника Бачиюрт 3 [11, с. 124], экземпляры, близкие хасавюртовскому, но без спирального орнамента, и те, что представлены в Сержень-юрте и Шали [4, с. 67, рис. 2, *4, 6*].

По мнению С. Л. Дударева и его коллег, майртупские браслеты — самые ранние из известных [12, с. 24—27; 13, с. 31]. Возможный регион истоков их формы они, полемизируя со мной, указывают расплывчато, фактически присоединяясь к В. Г Котовичу и О. М. Давудову, то ли на Северо-Восточном Кавказе, то ли в Дагестане, то ли в Закавказье. Но поскольку ни конкретные закавказские памятники, ни соответствующие литературные отсылки, где были бы приведены данные об аналогичных предметах, в статьях не были указаны, рассматривать эту точку зрения, а тем более отвечать на полемику не было оснований. Потому не представляется возможным пока присоединиться и к умозрительному заключению, полученному лишь на сравнении с предметом, обнаруженным случайно, при неизвестных обстоятельствах, каковым является браслет из Хасав-юрта. Имеются и другие публикации, а точнее, тезисы докладов, в которых столь же бездоказательно и все с той же отсылкой к мнению В. Г Котовича подвергается сомнению моя точка зрения [14, с. 39].

В свое время В. Б. Виноградов опубликовал сведения о комплексной находке из Бачи-юрта браслета с реалистически трактованными бараньими головками на концах и поясами с рядами «перлов» по краям. Браслет был найден в комплексе с бронзовым кинжалом раннекобанского типа [15, с. 257]. Справедливо указав на родство этого браслета с серженьюртовскими, В. Б. Виноградов не допускал возможности датировать данный комплекс ранее конца IX—VIII в. до н. э. именно на основе присутствия кобанского кинжала, тем самым постулируя синхронность экземпляра из Бачи-юрта и серженьюртовских VI типа. В настоя-

щее время с хронологией дело обстоит иначе, но два момента в его анализе представляются мне верными: 1) безусловное морфологическое родство бачиюртовских и серженьюртовских экземпляров; 2) совпадение появления тех и других на северо-востоке Кавказа с распространением кобанской культуры.

Майртупские находки не только подтверждают оба момента, но и указывают на возможные хронологические рамки, в которых проходил процесс трансформации изделий. Благодаря им все варианты браслетов VI и VII типов: как новые находки, так и уже известные давно в других памятниках, комплексные и разрозненные — выстраиваются в более строгий типолого-хронологический ряд.

В погребениях Майртупского могильника 2 обнаружены браслеты VI типа, концы которых «венчают головки баранов, трактованные в весьма реалистической манере» (рис. 1, *11*), и браслеты той же степени стилизации, что и некоторые серженьюртовские (рис. 1, *12*). Сопоставление экземпляров из обоих памятников показало, что браслеты из погребений 49 и 57 могильника Сержень-юрт являлись прямыми аналогами некоторых майртупских. Значит, стилистически часть браслетов из Майртупа относилась к тому же эволюционному звену, отличаясь разве несколько другим негативом литейной формы. Составы комплексов Майртупа 2 не показывают значительного хронологического разрыва между разными могилами, т. е. свидетельствуют об относительной синхронности браслетов VI и VII типов. Это не значит, однако, что они буквально одновременны. Безусловно литейные формы браслетов VII типа, судя по логике развития формы, возникли несколько раньше, чем формы для литья браслетов VI типа. Другой вопрос — насколько? По нашим наблюдениям, разрыв этот незначительный и допускает параллельное сосуществование на определенном отрезке разных модификаций.

Для ранних погребений могильника Сержень-юрт мною предложена дата X—IX вв. до н. э. с указанием возможных параллелей среди предметов самого конца II тыс. до н. э. [16, с. 78] Завершающий этап исследования могильника в 1974—1975 гг. [17, с. 126, 127] выявил погребения, в комплексах которых имелись модификации изделий несомненно более ранние (булавка гвоздевидной формы, булавки с волютами, близкие поздним среднебронзовым, крупный бронзовый нож раннего типа и т. п.), что заставило нижнюю хронологическую грань могил отодвинуть до конца XI в. до н. э.

Материалы из Майртупа, такие, как бронзовый наконечник копья с прорезями на лопастях пера, роговая месяцевидная бляха, также указывает на время в пределах рубежа II—I тыс. до н. э. (т. е. XI—X вв. до н. э.). В данном случае вряд ли можно говорить о XII в. до н. э., так как роговые конские бляхи, подобные обнаруженной в Майртупе [12, рис. 1*б*], появляются в памятниках Северного Причерноморья в конце белозерского этапа [18, с. 192, рис. 97, *12*] и бытуют главным образом в черногоровский период киммерийской культуры (по А. И. Тереножкину). Большинство аналогий наконечнику копья с прорезным пером также не выходит за пределы XI—X вв. до н. э. [19, с. 128—130].

Таким образом, именно в диапазоне конца XI — самого начала X в. до н. э., в период начала формирования и стабилизации основных особенностей восточного варианта, браслеты VI и VII типов оказываются материальным выражением особенности локальной группы на востоке ареала кобанской культуры.

Сопряженность браслетов VI и VII типов с белозерскими предметами в Майртупе 2 представляется мне еще одним из веских доказательств именно северопричерноморского пути появления первоначальных вариантов интересующих нас браслетов из Подунавья.

Поиски прототипов браслетам VI типа из Сержень-юрта среди материалов Средней Европы не случайны. Кроме наконечников копий трансильванского типа есть еще свидетельства, прямо указывающие на это, а не какое-либо другое (переднеазиатское, закавказское) направление поисков. К таким находкам относится наконечник стрелы из погр. 35 могильника Сержень-юрт, близкий ранним среднеевропейским наконечникам периода бронзы C и D (по Рейнеке) и бе-

лозерским (например, наконечнику из слоя Каховского поселения). Упомяну кроме того манжетовидные браслеты III типа с рифленой поверхностью и утолщенными концами, близкие браслетам Подунавья эпохи поздней бронзы; ножницевидные подвески к поясу — своеобразную реминисценцию подвесок культуры Ноа, бронзовый наконечник копья из погр. 6 (мог. Сержень-юрт) не кавказского облика. Литейные формы для близких изделий двух последних категорий известны в кладах белозерского периода, например в Никополе и кладах круга Кардашинки [20, табл. 15А, 151а, 157а]

На связь с западной группой металла указывает и химико-технологический состав меди наконечников копий погр. 6, 42, 56. По мнению Т. Б. Барцевой, наиболее близкие соответствия металл этих изделий находит на территории Балкано-Карпатского региона [21, с. 47].

В свете высказанной гипотезы логично вписываются в общую линию развития и «зооморфные» браслеты Бачиюртовского могильника каякентско-хорочоевской культуры. Они обнаружены М. Х. Ошаевым в самой поздней, второй группе могил, особенностью погребальных комплексов которых было появление в них вещей, близких серженьюртовским [22, с. 12]. Морфологически браслеты из Бачи-юрт весьма близки браслетам из Тыргу Муреш (рис. 1, *2, 9*). Являясь несомненно более поздними, чем трансильванские, и более ранними, чем майртупские с реалистически трактованными головками, они по времени соответствуют протокобанской группе центральной части Северного Кавказа. Не исключено, что они представляют редкое свидетельство самых первых контактов местной культуры Северо-Восточного Кавказа с новым культурным компонентом.

Во избежание искаженного толкования моей гипотезы, как это очевидно из изложения ее сути, например, С. Л. Дударевым [12, с. 24—27], еще раз повторю основанные на фактических данных предпосылки, позволившие сформулировать основную идею.

1. Близость формы и декора браслетов VI и VII типов с аналогичными позднебронзовыми изделиями Карпато-Дунайского бассейна не получает удовлетворительного объяснения лишь на основе представлений о конвергентности развития.

2. Наличие бесспорных данных о местном производстве восточнокобанских браслетов (литейные формы, состав металла) не позволяет говорить об импортном характере изделий.

3. Бесспорно точные прототипы браслетов VI и VII типов отсутствуют в более ранних культурах Северо-Восточного Кавказа, Дагестана и Закавказья.

4. Морфологически браслеты VI и VII типов находят ряд соответствий с некоторыми северокавказскими экземплярами начального периода формирования кобанской культуры в центральной части Кавказа (манжетовидные браслеты с волютами из Верхней Рутхи и Былыма и ребристые браслеты из Беахне-куп). Однако эти последние, не будучи напрямую связанными с восточнокобанскими, сами по себе представляли местную разновидность, весьма близкую к золотым и бронзовым оригиналам, массово представленным в кладах периода бронзы С и D, возможно $Ha A_1$, Подунавья, Трансильвании, Карпато-Балканского региона и даже Западной Европы. Среди них встречались и такие, которые без натяжки можно относить к прототипам восточнокобанских. В первую очередь речь идет о браслетах с реалистически выполненными головками быка (Тыргу Муреш) или со стилизованными изображениями рогов барана (Сыкуени, Акыш, Бихаркерестеш и т. п.) на концах и украшенными дополнительно двумя или тремя продольными поясами из выпуклых шишечек-«перлов» [23, рис. 130, *2*, 136, *1*; 24, с. 16, рис. 4]. Можно упомянуть также клад каменных литейных форм ступени Опай BIV из местечка Шолдвадькерт, Венгрия), в котором имелся экземпляр формы для браслетов с поясами из шишечек [7, табл. 109, *6*]. Их изображения на негативе близки серженьюртовским (рис. 2, *1*).

5. Этапы эволюции браслетов VI типа могут быть реконструированы следую-

щим образом. Наиболее ранние их прототипы известны в культурах эпохи поздней бронзы Средней Европы (конец XIII — начало XII в. до н. э.). Появление близких им форм, но местного северокавказского варианта (Верхняя Рутха, Былым) — и в протокобанской группе древностей (конец XIII — первая половина XII в. до н. э.).

Далее эпизодическое проникновение на восток раннекобанских модификаций браслетов, близких образцам из могильника Бачи-юрт 3, сопровождавшееся и другими изделиями раннекобанского типа (кинжалы, булавки и т. п.) может быть определено концом XII — началом XI в. до н. э.

И наконец, возникновение модификаций типа Майртуп 2 — Сержень-юрт — Шали в процессе становления и стабилизации признаков восточного варианта кобанской культуры фиксируется в конце XI — начале X в. до н. э. (т. е. на рубеже II—I тыс. до н. э.).

Массовое появление различных модификаций (вариабельная стереотипизация), в том числе и таких же, как экземпляр из Хасав-юрта, и исчезновение браслетов VI—VII типов прослеживается примерно в IX— первой половине VIII в. до н. э. Этот этап совпадает с черногоровско-камышевахским этапом киммерийской культуры (по А. И. Тереножкину) и периодом HaB_2 западноевропейской хронологической шкалы [25, с. 22, рис. 7; 26, рис. 41; 27, с. 96].

Таков возможный, на мой взгляд, вариант схемы возникновения и развития одного из самых оригинальных украшений кобанской культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Козенкова В. И.* Раннекобанский могильник у села Сержень-юрт // СА. 1969. № 4.
2. *Козенкова В. И.* Связи Северного Кавказа с Карпато-Дунайским миром (некоторые археологические параллели) // Скифский мир. Киев: Наук. думка, 1975.
3. *Козенкова В. И.* Типология и хронологическая классификация предметов кобанской культуры. Восточный вариант // САИ. 1982. Вып. В2-5.
4. *Даутова Р. А., Дударев С. Н., Власова Т. Н.* К изучению материалов рубежа II—I — начала I тысячелетия до н. э. из плоскостной Чечено-Ингушетии // Новые памятники эпохи бронзы в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1982.
5. *Мунчаев Р. М.* Новые данные по археологии Чечено-Ингушетии (из работ СКАЭ в 1958 г.) // КСИИМК. 1961. Вып. 84.
6. *Виноградов В. Б.* Зооморфные «превращения» в искусстве древних горцев // Природа. 1979. № 2.
7. *Mozsolics A.* Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depofund-horizonte von Forró und Ópályi. Budapest, 1973.
8. *Котович В. Г., Давудов О. М.* О периодизации и хронологии памятников поздней бронзы — раннего железа на Северо-Восточном Кавказе // СА. 1980. № 4.
9. *Козенкова В. И.* Совещание по хронологии — периодизации памятников Кавказа // СА. 1980. № 4.
10. *Котович В. Г* Проблемы культурно-исторического и хозяйственного развития древнего Дагестана. М.: Наука, 1982.
11. *Ошаев М. Х.* Новые могильники каякентско-хорочоевской культуры // АО — 1974. М., 1975.
12. *Дударев С. Н.* О хронологии некоторых памятников конца II — начала I тысячелетия до н. э. из Чечено-Ингушетии // Проблемы хронологии погребальных памятников Чечено-Ингушетии. Грозный, 1986.
13. *Дударев С. Н.* Бронзовые зооморфные браслеты конца II — начала I тыс. до н. э. из Чечено-Ингушетии // Конференция по археологии Северного Кавказа. XII Крупновские чтения. Тез. докл. М., 1982.
14. *Скорый С. А., Рахимкулова Ф. Б.* К вопросу о контактах Северного Кавказа и Карпато-Подунавья в эпоху поздней бронзы — раннего железа // Археология и краеведение — вузу и школе. Тез. докл. Грозный, 1985.
15. *Виноградов В. Б.* Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время. Грозный, 1972.
16. *Козенкова В. И.* Вопросы хронологии восточного варианта кобанской культуры в свете новых раскопок в Чечено-Ингушетии // Древние памятники северо-восточного Кавказа. Махачкала, 1977.
17. А. О.— 1975. М., 1975.
18. *Тереножкин А. И.* Киммерийцы. Киев: Наук. думка, 1976.
19. *Аптекарев А. З., Козенкова В. И.* Клад эпохи поздней бронзы из станицы Упорной (Краснодарский край) // СА. 1986. № 3.
20. *Bočkarev V. S., Leskov A. M.* Jung- und spätbronzezeitliche Gussformen im nördlichen Schwarzmeergebiet // PBF. 1980. Abt. XIX. B. 1.

21. *Барцева Т. Б.* Химический состав наконечников копий Северного Кавказа VIII—VII вв. до н. э. // КСИА. 1985. Вып. 184.
22. *Ошаев М. Х.* Исследование могильника 3 у селения Бачи-юрт (Чечено-Ингушетия) // X Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. М., 1980.
23. *Popescu D.* Cercetâri arheologice in Transilvania. // Materiale si cercetâri. V. 11. Bucurest, 1956.
24. Археология Венгрии / Ред. Титов В. С., Эрдели И. М.: Наука, 1986.
25. *Vinski-Gasparini K.* Kultura polja sa žarama u sjeveroj Hrvatsoj. Zadar, 1973.
26. *Kossack G.* Tli Grab 85 // Bemerkungen zum Beginn des skythenzeitlichen Formenkreises im Kaukasus. Beitrage zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie. KAVA. B. 5. Bonn, 1983.
27 *Kemenczei T* Die spatbronzezeit Nordostungarns. Budapest, 1984.

V I. Kozenkova

ON THE ORIGIN OF THE SO-CALLED ZOOMORPHIC BANGLES OF THE EASTERN VARIANT OF THE KOBAN CULTURE

Summary

The author describes several bronze bangles found in the burial grounds near the villages of Serzhen-yurt, Mairtup, Zandak and Shali. She has identified the traits and features that belong to the earlier forms not rooted in the Caucasian Bronze Age cultures. The author has been able to trace their origins to the Carpathian-Danube basin of the second half of the second millennium B. C. They were brought to the Central Caucasus by the tribal movements inside the timber-grave cultural-historical entity. She looks at the history of the objects which were a new modification in the Northern Caucasus and one of the elements of the proto-Koban group (the late 13th-early 12th cc. B. C.). At a later period such bangles became an element of the eastern variant of the Koban culture. The eastwards movement of the early Koban modifications of Type VII, according to Kozenkova's classification, that were analogous to the bangles from the Bachi-yurt-3 burial ground introduced them into the Kayakent-Khorochoi cultural milieu together with other early Koban objects (daggers, pins and other decorations) in the late 13th-early 11th cc. B. C. Further development of zoomorphic bangles and the emergence of other, though similar, types are dated between the late 9th and 10th cc. B. C. A wide use of stylised modifications of zoomorphic bangles and their disappearance from the set of antiquities of the eastern variant of the Koban culture occurred in the 9th and the first half of the 8th centuries B. C. in the period that coincided with the Chernogorovsko-Kamyshevakhskii period of the Cimmerian culture (according to A. Terenozhkin) and HaB_3 of Central Europe.

И. П. ЗАСЕЦКАЯ

ПРОБЛЕМЫ САРМАТСКОГО ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ
(историографический обзор)

В отличие от скифского искусства, о котором написаны и опубликованы многочисленные работы, сарматскому искусству в археологической литературе уделено минимальное внимание. В настоящее время мы фактически не располагаем ни одним специальным обобщающим трудом. Советская библиография на эту тему исчерпывается лишь несколькими наименованиями, не считая отдельных высказываний авторов в связи с постановкой общих вопросов о зверином стиле в искусстве евразийских племен и публикаций комплексов, содержащих предметы с зооморфными сюжетами.

Ознакомившись с литературой, посвященной предметам «сарматского звериного стиля», мы пришли к выводу, что, прежде чем решать такие сложные вопросы, как происхождение и этнокультурная принадлежность подобных изделий, следует конкретизировать само понятие термина «сарматский звериный стиль». Нам представляется необходимым в первую очередь предложить читателям историографический обзор по сарматскому искусству, который не только познакомит нас с существующими точками зрения и противоречивыми взглядами исследователей на данный предмет, но и позволит выявить вопросы и проблемы первостепенной важности и наметить пути к их разрешению. Подобного обзора в нашей литературе нет.

Наиболее полно вопросы сарматского искусства были освещены в трудах известного русского историка М. И. Ростовцева, посвященных искусству скифо-сарматского периода евразийских степей и опубликованных в 20-х годах нашего столетия.

М. И. Ростовцев выделяет среди изделий зооморфного характера скифской эпохи серию предметов, которую он относит к раннему сарматскому звериному стилю, и связывает их с появлением сарматов в степях Северного Причерноморья: «...новая эпоха в истории местного искусства Южной России открывается с приходом в южнорусские степи в III в. до н. э. нового, иранского происхождения народа, которому вслед за античными авторами мы даем родовое имя сарматов» [1, с. 84] К выделенному им раннесарматскому звериному стилю он относит золотые пластины Сибирской коллекции Петра I и «знаменитый» майкопский пояс, оказавшийся, как впоследствии убедительно доказал А. А. Иессен, всего лишь подделкой начала XX в. [2, с. 163—177]. Но именно на анализе стилистических особенностей последнего М. И. Ростовцев развернул целую цепь доказательств, объясняющих возникновение и распространение сарматского звериного стиля в южнорусских степях в конце IV—III в. до н. э. и его взаимосвязь со скифским искусством [3, с. 41] Что же касается сибирской коллекции, то она, как мы знаем, справедливо отождествляется с культурой сакских племен [4, с. 37, 38; 5, с. 124] Однако суждения М. И. Ростовцева о художественных достоинствах и стилистических особенностях данного собрания заслуживают внимания в свете проблемы происхождения полихромных изделий с зооморфными изображениями из сарматских памятников I—II вв. н. э.

М. И. Ростовцев отмечает, что «сибирские пластины» отражают искусство, отличное от «предшествующего скифского» как по мотивам, так и стилистическим приемам, и прежде всего наличием полихромии, в чем он видит влияние Востока. Указывая на ближайшие аналогии среди изделий Амударьинского клада и позднеахеменидских могил в Сузах, М. И. Ростовцев приходит к выводу об иранском происхождении звериного стиля «сибирских пластин» [1, с. 83—87; 6, с. 201, 202] Однако подчеркивая специфику сибирского искусства, М. И. Ростовцев указывает на ряд черт, которые он рассматривает как результат воздействия скифского изобразительного творчества. В данном случае имеются в виду характерные для скифского звериного стиля приемы, когда части тела или концы ног одного животного дополняются изображениями головы или фигуры другого, а также превращение рогов оленя в орнамент. К раннесарматскому звериному стилю также иранского происхождения М. И. Ростовцев относит изображение голов фантастического зверя на гривне из первого Прохоровского кургана Оренбургской обл., датированного им III—II вв. до н. э. Указывая на отличие этого изображения от голов животных, украшающих концы гривен греко-иранского стиля из скифских комплексов, М. И. Ростовцев объединяет сюжет на прохоровском шейном обруче с зооморфными образами на золотых гривнах из Ставропольского клада, Курджипского кургана, Буеровой могилы, Ахтанизовского погребения и браслетах из Саломатинской находки [7, с. 34—36, 80]

Однако такое сопоставление представляется несколько произвольным и неаргументированным. М. И. Ростовцев не дает стилистического анализа изображений. В то же время даже на первый взгляд улавливается существенное различие в ходожественном оформлении указанных выше украшений. Например, как справедливо показала Л. К. Галанина, курджипская гривна полностью выпадает из этого ряда находок и по конструкции, и по стилю, и по времени изготовления [8, с. 37]. К предметам другого художественного направления относится и браслет (М. И. Ростовцев ошибочно называет его гривной) из Саломатинского погребения [9, с. 37—41]. И уж бесспорным своеобразием отличаются фигуры хищников на гривнах из Ставропольского клада, дата которых в настоящее время неясна [10, с. 107—109, табл. 7, 8]. Возможно, дальнейшее исследование стилистических особенностей чудовищ на прохоровской гривне и сравнительный анализ с другими аналогичными изображениями позволит отнести их к определенному кругу художественных изделий. Но все это требует специального исследования, без которого вопрос о происхождении прохоровской гривны остается открытым.

С массовым переселением сарматских племен в южнорусские степи в III—II вв. до н. э. связывает М. И. Ростовцев и распространение нового конского снаряжения, украшенного круглыми фаларами с различного рода сценами, в том числе и с зооморфными мотивами, сочетающимися с растительными орнаментами [3, с. 44]. Имеются в виду находки типа Старобельского, Янчокракского, Таганрогского и других так называемых «кладов». Они составляют специфическую группу изделий, выделенную К. Тревер как серия украшений греко-бактрийского искусства [11, с. 45—57, табл. 1, 2]

Далее М. И. Ростовцев отмечает, что «параллельно этим особенным предметам торевтики украшения II—I вв. до н. э. продолжают развитие предшествующего времени. Полихромия все более становится господствующей» [6, с. 44] Среди полихромного стиля он выделяет несколько направлений, в частности к одному из них относит вещи типа Новочеркасского клада из кургана «Хохлач» и золотой пластины с фигурой крылатого чудовища из Прикубанья [12, с. 131—140, рис. 151—164]. Отмечая стилистическую преемственность последних от раннесарматского искусства, имея в виду «сибирские золотые пластины» и майкопский пояс, М. И. Ростовцев подчеркивает также и новые элементы в художественном оформлении данных предметов, полагая, что мастера, которые изготовляли эти изделия, хорошо усвоили

полихромную традицию, но в то же самое время, используя новые мотивы, создали новый художественный стиль [6, с. 46—50; 13, с. 583, 584] Появление «нового звериного стиля» в южнорусских степях он сопоставляет с новыми волнами движения сарматских племен иранского происхождения. При этом исследователь предполагает, что область, где могли создаваться такие вещи и откуда периодически сарматские племена предпринимали свои походы в южнорусские степи, приходится на районы Бактрии и Парфии, где персидские украшения имели всегда широкое распространение. «Очевидно, — пишет М. И. Ростовцев, — новые волны сарматов, подобно тем, которые достигли южнорусских степей в III в. до н. э., пришли из пределов Бактрийского царства, в прошлом провинции Персидской империи» [6, с. 44, 45] Это высказывание представляет определенный интерес в свете новых открытий богатейших погребений «местных царей» рубежа нашей эры, обнаруженных в гробницах на территории Афганистана, в той его части, которая в древности называлась Бактрией [14].

Предполагая иранское происхождение сарматского полихромного звериного стиля, М. И. Ростовцев считал, однако, что центром изготовления многих вещей, особенно распространенных на Кубани и в Подонье, был Пантикапей, где изготовлялись золотые украшения для сарматской знати [13, с. 585] При этом в художественном оформлении и технике изделий боспорские мастера, как и в скифскую эпоху, использовали элементы античного искусства.

После работ М. И. Ростовцева «сарматский звериный стиль» как самостоятельная тема на долгие годы исчезает со страниц специальной литературы. Вновь она возникает лишь в 60—70-х годах в диссертации Л. Я. Маловицкой и в докладах К. Ф. Смирнова, А. П. Манцевич и Л. С. Клейна, прочитанных в 1972 г. на всесоюзной конференции в Институте археологии АН СССР, посвященной зооморфному искусству древних племен и народов. В 1976 г. доклады в качестве статей были опубликованы в сборнике «Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии».

Наш обзор мы продолжим разбором статьи К. Ф. Смирнова, которая носит обобщающий характер и включает достаточно широкий материал савромато-сарматской эпохи VI в. до н. э. —II в. н. э. [15, с. 74—89]

В «савромато-сарматском» искусстве К. Ф. Смирнов выделяет два последовательных в своем развитии этапа: I этап (VI—IV вв. до н. э.) отражает искусство савроматов Нижнего Поволжья и Южного Приуралья, которое он рассматривает как поволжско-уральский вариант скифо-сибирского звериного стиля; II этап (III в. до н. э. — II в. н. э.) относится им ко «времени сложения новых военно-политических союзов сарматов и их расселения на запад, вплоть до Дунайских провинций Римской империи». Второй этап, согласно периодизации Б. Н. Гракова савромато-сарматской культуры, охватывает два периода — раннесарматский III—II вв. до н. э. и среднесарматский I в. до н. э.—II в. н. э. [16, с. 100—122]. В этой же хронологической последовательности характеризует предметы искусства в своей статье К. Ф. Смирнов.

К изделиям раннесарматского периода, известного в литературе как время распространения в южнорусских степях прохоровской археологической культуры, он относит изделия с зооморфными изображениями, исполненные в разнообразной художественной манере. В некоторых из них К. Ф. Смирнов видит «значительную преемственность от савроматского звериного стиля». Например, как продолжение савроматского искусства им рассматриваются мотивы на бронзовых и костяных бляшках, подвесках, пронизках и ложечках, найденных в комплексах Нижнего Поволжья и Южного Приуралья [15, с. 86, рис. 6, *1—12*] При этом бронзовая пронизь в виде стилизованной головы хищной птицы из Нижнего Поволжья и изображение на ложечке из Южного Приуралья из комплексов IV в. до н. э. отражают не продолжение савроматского звериного стиля, а являются его непосредственными образцами [15, с. 86, рис. 6, *2, 12*]

Что же касается остальных предметов, происходящих из комплексов IV—III вв. до н. э. с маловыразительными зооморфными и большей частью схематичными изображениями, то вряд ли их можно рассматривать как дальнейшее поступательное развитие яркого и своеобразного савроматского звериного стиля. Скорее они могут свидетельствовать о его полнейшей деградации, если допустить существование генетической взаимосвязи между ними. Характерные же для комплексов прохоровской культуры III—II вв. до н. э. костяные гребни, увенчанные схематичными головками лошади (?) и других непонятных животных и птиц, иногда якобы «зубастых», и, по мнению К. Ф. Смирнова, «ведущих свое происхождение от прежних савроматских грифонов», в действительности также очень далеки от художественных образов савроматского искусства [15, с. 86, рис. 6, *15—23*]

Вторым веком до нашей эры датируются находки ажурных бронзовых пряжек с неподвижным язычком-выступом в виде прямоугольной рамки и вписанной в нее фигурой животного — верблюда или хищника [15, с. 86, рис. 6, *13, 14*]. К. Ф. Смирнов абсолютно прав, характеризуя их как новое явление, не связанное с предшествующей культурой. Несомненно новым — и это также подчеркивает автор — является находка уже упомянутой выше золотой гривны из первого Прохоровского кургана. К. Ф. Смирнов отмечает, что «гривны и браслеты с зооморфными окончаниями не были характерны для савроматской торевтики — здесь новое восточное и юго-восточное влияние, которое имело свои истоки еще в ахеменидском искусстве Средней Азии и Персии V—IV вв. до н. э.», т. е. в этом случае его точка зрения совпадает с мнением М. И. Ростовцева об иранском происхождении художественного образа на прохоровской гривне [15, с. 83].

Таким образом, если не считать нескольких предметов, которые можно в той или иной мере отождествить с искусством савроматской эпохи, то те немногочисленные и, в свою очередь, не представляющие между собой стилистического единства изделия с зооморфными мотивами раннесарматского периода не могут рассматриваться как непосредственное продолжение савроматского звериного стиля, так же как и не могут считаться прототипами для изделий звериного стиля следующего периода. Однако К. Ф. Смирнов находит связующее звено между предметами искусства раннесарматского и среднесарматского периодов. Таким звеном он считает золотую гривну III в. до н. э. из Прохоровского кургана, которую он сопоставляет с браслетами рубежа I в. до н. э. — начала II в. н. э. из погребений Нижнего Поволжья и Прикубанья. В частности, он указывает на браслеты из случайной находки у с. Саломатино и погребения у с. Верхнее Погромное в Нижнем Поволжье, а также на часть гривны и наконечник гривны из курганов у станиц Ладожской и Усть-Лабинской в Прикубанье [15, с. 86, 87, рис. 6, *5—7, 7, 5, 6*] Но кроме того, что эти предметы украшены на концах головками или фигурками животных, ни в мотивах, ни в стилистических, ни в технологических особенностях между ними нет единства.

«Новый расцвет зооморфного прикладного искусства, — как пишет далее К. Ф. Смирнов, — наблюдается на рубеже нашей эры и в первые века нашей эры, когда сарматы вместе с другими народами юга Восточной Европы достигают высокого мастерства в торевтике и ювелирном деле» [15, с. 83] К этому времени он относит золотые бляшки и фалары с зооморфными изображениями, украшенные цветными вставками и происходящие из прикубанских древностей. При этом К. Ф. Смирнов указывает, что «в украшении предметов торевтики предпочтение отдается хищникам и драконообразным существам с сильно изогнутыми телами, часто с „вывернутым задом", как это представлено в искусстве древнего Алтая и пазырыкской культуры. Мускулы животных часто подчеркнуты цветными вставками... сцены борьбы животных, терзания хищником травоядных исключительно динамичны» [15,

с. 88]. Все эти высказывания и наблюдения вполне справедливы и не идут вразрез с мнением других авторов. Однако, вопреки сказанному выше, К. Ф. Смирнов делает совершенно неоправданный вывод о заимствовании сюжета — борьбы животных — из савроматского искусства Южного Приуралья. Там действительно встречаются единичные случаи подобного изображения, но оно исполнено в иной стилистической манере, в другом материале и при участии других видов животных. Зато сцены борьбы зверей и терзания широко представлены в сибирских древностях, и в частности на золотых пластинах, украшенных вставками бирюзы и кораллов. В этой связи непонятно, почему К. Ф. Смирнов не включил в иллюстративный материал наиболее показательные и яркие примеры сарматского полихромного звериного стиля первых веков нашей эры, каковыми являются золотые украшения Новочеркасского клада из кургана «Хохлач» на Дону.

Таким образом, К. Ф. Смирновым были объединены предметы широкого хронологического диапазона, относящиеся к различным художественным направлениям, с одним лишь общим признаком — наличием зооморфных изображений. Между выделенными К. Ф. Смирновым группами изделий отсутствует традиционная связь, которая обычно проявляется в стилистических и технологических приемах, в сюжетах и мотивах изображений. Поэтому мы полагаем, что введенный в научный оборот К. Ф. Смирновым термин «савромато-сарматский звериный стиль» как понятие, отражающее однородное явление, неправомочен. Ошибочная, на наш взгляд, точка зрения К. Ф. Смирнова основана на его приверженности спорной концепции о непосредственном происхождении сарматов от савроматов, выдвинутой Б. Н. Граковым и долгие годы остававшейся господствующей, несмотря на существующее в литературе противоположное мнение, высказанное еще М. И. Ростовцевым. Последний, не считая сарматов прямыми потомками савроматов, отрицал генетическую связь между ними. Он полагал, что сарматы, появившись в южнорусских степях в конце IV в. до н. э., завоевали савроматов, которые фактически исчезли с исторической арены и упоминались лишь как пережиток литературной традиции [6, с. 113] Эта гипотеза подтверждается всем комплексом раннесарматской культуры, появление которой в южнорусских степях совпадает с первыми упоминаниями в письменных источниках имени сарматов и которая характеризуется новыми, по сравнению с савроматскими памятниками, формами археологического материала, в том числе, как мы видели, и предметами искусства [17]. В настоящее время мнение М. И. Ростовцева приобретает все большую популярность. В этой связи наиболее интересна работа Д. А. Мачинского, который на базе письменных источников доказывает, что савроматы и сарматы — разные народы, ведущие свой род от разных корней [18, с. 48—54].

Другой обобщающей работой, посвященной искусству савромато-сарматской эпохи, является диссертация Л. Я. Маловицкой. Эта работа пока является единственной сводкой, в которой представлен весь имеющийся к тому времени (1960-е годы) материал по данной теме. При этом впервые автором сделана попытка систематизировать зооморфные изображения на основе стилистического анализа [19; 20, с. 189—196]. Л. Я. Маловицкая, так же как и К. Ф. Смирнов, придерживаясь концепции Б. Н. Гракова [16, с. 100—121], утверждает последовательность в развитии искусства савроматов и сарматов. Не случайно поэтому ее первая глава, в которой анализируется звериный стиль савроматской эпохи, называется «формирование сарматского звериного стиля». Предметы с зооморфными изображениями раннесарматского периода IV—II вв. до н. э. выделяются ею как переходная группа от савроматского (VI—IV вв. до н. э.) к среднесарматскому (I в. до н. э.—II в. н. э.) искусству. При этом в качестве доказательства автор использует одну из специфических категорий вещей IV в. до н. э. — колчанные крючки, исполненные в зверином стиле и происходящие из памятников Среднего Подонья. Про-

исхождение последних до сих пор не совсем ясно, однако большинство исследователей определяют их как предметы скифской культуры, что представляется более вероятным, чем отождествление их с прохоровской культурой раннесарматского периода.

Рассматривая искусство сарматских племен I в. до н. э.—I в. н. э., времени, на которое, как справедливо отмечает автор, падает расцвет сарматского звериного стиля, Л. Я. Маловицкая выделяет локальные группы, отождествляя их с определенной этнокультурной средой, подчеркивая появление в нем, по сравнению с предшествующими эпохами, новых элементов, связанных с передвижением новых волн кочевников сарматского происхождения с Востока.

Золотые украшения из Нижнего Поволжья, в которых Л. Я. Маловицкая отмечает традиции савроматского искусства наряду с влиянием скифосибирского творчества, определяются ею как образцы искусства аорсов. Она предполагает, что они были изготовлены в каком-то среднеазиатском центре, «где в искусстве I в. до н. э.—I в. н. э. тесно переплетаются сарматские, сибирские и переднеазиатские тенденции».

Находки в Прикубанье Л. Я. Маловицкая рассматривает как отражение сиракской культуры, считая, что «основным поставщиком вещей, изготовляемых по заказу сиракской верхушки, были ювелирные мастерские Кавказа». Но, включив в данную группу, по собственному заключению автора, вещи разнообразных художественных направлений, Л. Я. Маловицкая указывает и на другие возможные центры производства. Так, например, золотые гривны из Ставропольского клада, которые в отличие от М. И. Ростовцева автор относит не к раннесарматскому, а к среднесарматскому периоду, и золотая пластина из основного погребения кургана «Острый» близ ст-цы Ярославской в Прикубанье, по мнению Л. Я. Маловицкой, были сделаны в мастерских Иберии и Армении. Ряд зооморфных изделий римской эпохи автор определяет как продукцию ювелиров Северного Причерноморья.

Украшения звериного стиля из Подонья, такие, как золотые предметы из курганов «Хохлач» и «Садовый», сосуд из ст-цы Мигулинской, Л. Я. Маловицкая связывает с роксоланами и предполагает их античное и переднеазиатское происхождение.

Несмотря на ряд интересных и, вероятно, справедливых высказываний автора, не со всеми выводами Л. Я. Маловицкой можно согласиться. Прежде всего представляется неверной, как мы уже показали на примере разбора статьи К. Ф. Смирнова, точка зрения о единой линии развития савроматосарматского искусства. Достаточно проблематично выглядит и такое уж жесткое разграничение золотых украшений звериного стиля по территориям, так же как и отождествление их с искусством конкретных племен. Если некоторые нижневолжские и прикубанские находки можно предположительно относить непосредственно к культуре аорсов и сираков, населявших эти области, как сообщают античные писатели, во II в. до н. э.—I в. н. э., то роксоланское происхождение изделий из Подонья представляется весьма сомнительным. Данное предположение опровергается как письменными, так и археологическими источниками [21, с. 122—132; 22, с. 105—121] Следует также указать на неоднородность локальных групп, в которые вошли вещи с различными стилистическими характеристиками, что свидетельствует о принадлежности их к разным культурным центрам. При этом некоторые изделия одной локальной группы находят себе прямые аналогии в других локальных группах. Как отмечает и сам автор, например, золотой конский набор из кургана 28 Жутовского могильника в Нижнем Поволжье несомненно аналогичен подобным предметам из кургана «Садовый» на Подонье, что, на наш взгляд, позволяет относить их к одной этнокультурной среде.

Проделанный Л. Я. Маловицкой искусствоведческий анализ зооморфных изображений савромато-сарматской эпохи недостаточен для того, чтобы разра-

ботать строгую классификацию предметов по их стилистическим и технологическим признакам, недостаточен и иллюстративный материал, который мог бы подтвердить выводы автора.

Однако, учитывая состояние проблемы «савромато-сарматского искусства» к моменту написания работ Л. Я. Маловицкой и К. Ф. Смирнова, значение их исследований не вызывает сомнения. Оба автора взяли на себя труд рассмотреть и проанализировать все зооморфные изображения, найденные на широкой территории южнорусских степей савромато-сарматской эпохи, включающей различные этапы восьмивековой истории варварского мира юга нашей страны. Работы Л. Я. Маловицкой и К. Ф. Смирнова являются первой ступенью в исследовании этой сложной проблемы в археологической науке советского периода.

Оригинальное решение проблемы происхождения вещей полихромного сарматского звериного стиля I—II вв. н. э. предложила А. П. Манцевич в своей статье, посвященной публикации находки золотых украшений, обнаруженных в разрушенном кургане у пос. Кичкас близ г. Запорожья [23, с. 164—193]. Находка представлена: браслетом, двумя парными поясными бляхами и круглыми небольшими фаларами от конского убора. Предметы украшены зооморфными изображениями с цветными вставками, подчеркивающими мышцы, глаза, уши и другие детали тела и головы животных.

Опираясь на стилистический анализ вещей, А. П. Манцевич справедливо приходит к выводу, что ближайшие аналогии им можно найти в синхронных памятниках сарматской культуры Нижнего Поволжья и Подонья и в более ранних изделиях Сибирской коллекции. Далее в качестве аналогии ко всем южнорусским находкам А. П. Манцевич приводит золотой наконечник от ножен меча, обнаруженный в кургане Рошева Драгана в Болгарии. На наконечнике, по мнению А. П. Манцевич, изображен олень с головой в фас и туловищем в профиль. Глаза оленя, а также копыта и мышцы тела обозначены эмалью и стеклянной пастой в гнездах такой же формы, как и на запорожских предметах. На основании этой находки А. П. Манцевич делает вывод, «что источником предметов полихромного звериного стиля могла быть обильная драгоценными металлами страна с богатыми художественными и техническими традициями, откуда в Северное Причерноморье поступали предметы торевтики в сарматскую эпоху, так же как в предыдущую скифскую» [23, с. 179, 182] По мнению А. П. Манцевич, подобная страна находится на севере Балканского полуострова. При этом такой вывод делается не только относительно сарматских вещей, но и предметов Сибирской коллекции. Далее, возражая М. И. Ростовцеву и Н. И. Веселовскому, которые считали, что центром изготовления некоторых полихромных украшений звериного стиля был Пантикапей, А. П. Манцевич пишет, что «В Пантикапее не было ни развитого художественного ремесла, ни установившихся традиций, а главное, не было драгоценного сырья — основной предпосылки для появления ремесла и формирования традиций» [23, с. 189]

Что же касается понятия «сарматский звериный стиль», то А. П. Манцевич видит в нем не этнокультурное определение, а лишь термин, указывающий на время бытования изделий подобного стиля. С такого рода выводами автора трудно согласиться, да они и не подтверждаются археологическими материалами. Как отмечает сама А. П. Манцевич, находка, подобная наконечнику ножен, на Балканах встречена однажды, ссылка на то, что «причина этого кроется в недостаточной изученности территории Болгарии», не может быть принята во внимание в данном случае. Прежде всего следует отметить, что полихромные изделия звериного стиля сарматской эпохи представлены в настоящее время достаточным количеством находок, как целыми комплексами, так и отдельными предметами, обнаруженными на всей территории распространения сарматской культуры первых веков нашей эры. Это в основном

степи Нижнего Поволжья, Подонья и Прикубанья, а также и более западные районы — Поднепровье и Поднестровье [12, с. 132—140, рис. 151—165; 13, с. 164—193, 559—576, 583—585; 24, с. 42—45; 25, с. 462—464; 26, с. 150; 27, с. 256—258]. Во-вторых и что самое главное, истоки полихромного звериного стиля I—II вв. н. э. коренятся даже не в южнорусских степях, где раньше господствовал скифский звериный стиль, а в древностях Сибири и Средней Азии. На территории же Болгарии в предшествующую сарматскому времени эпоху ничего подобного не известно, а потому у нас нет никаких оснований предполагать, что полихромные зооморфные изображения первых веков нашей эры из Южной России изготовлялись на Балканах, тем более невероятным представляется такое заключение относительно сибирских золотых пластин.

Нельзя также согласиться с той характеристикой, которую дает А. П. Манцевич Пантикапею, якобы лишенному всяких художественных и технических традиций. Мы, напротив, полагаем, что боспорские мастера, как в скифскую эпоху, так и в сарматскую, изготовляли золотые украшения по заказу варварской кочевой знати. В этом отношении примечательна, на наш взгляд, техника запорожских находок. Поясные бляхи и фалары состоят из бронзового или железного пластинчатого основания и рельефного покрытия. Рельеф оттиснут на золотом листе и с внутренней стороны заполнен смолистой массой, края листа загнуты и плотно прилегают к основанию. В подобной же технике исполнено большинство изделий полихромного стиля сарматской эпохи из южнорусских степей. На Боспоре такая техника существовала издавна. Многие предметы торевтики скифского и античного искусства сделаны аналогичным способом. Это обстоятельство позволяет предполагать, что золотые украшения с зооморфными изображениями из сарматских погребений, исполненные в описанной выше технике, изготовлены в одном из античных центров и, вполне возможно, в Пантикапее. Не противоречит этому и техника, в которой выполнены головки животных на концах браслета из Запорожского комплекса, состоящие из двух спаянных полых половин с оттиснутым изображением и заполненные внутри «мастикой». В сарматскую эпоху подобные полые наконечники гривен и браслетов, пришедшие на смену аналогичным литым украшениям греко-скифского стиля, были широко распространены по всему Северному Причерноморью. Таким же образом изготовлялись и миниатюрные фибулы с различного рода сюжетами, в том числе и зооморфного характера, находимые в могилах варварской и боспорской знати.

И, наконец, последнее возражение А. П. Манцевич. Нам представляется, что нет никаких предпосылок лишать сарматов творческой деятельности. Как и все другие народы, сарматские племена имели собственное искусство, посредством которого выражали свои представления и свою идеологию. Термин «сарматский звериный стиль», как мы уже отмечали, включает в себя не только временно́е понятие, но и этнокультурное.

Другая точка зрения на происхождение вещей сарматского звериного стиля высказана Л. С. Клейном в статье, посвященной, казалось бы, частному вопросу — анализу одного из образов сарматского искусства [28, с. 228—234]

Л. С. Клейн разбирает сюжет на фаларах из кургана Садовый на Дону, передающий сцену нападения грифона и какое-то фантастическое животное, по мнению автора, тарандра — мифического оленя, соединившего четырех разных животных, и находит ему аналогии в изделиях V—III вв. до н. э. из Сибирской коллекции Петра I, на золотой застежке из Улан-Удэ и на деревянной застежке из Катандинского кургана. Отмечая, что сюжет на восточных находках по сравнению со сценами на фаларах из кургана Садовый «более чистый и ясный по смыслу», Л. С. Клейн приходит к выводу, что непосредственным и исходным районом были Поиртышье и Поишимье, откуда и происходили миграции сарматских племен на запад. Предполагая, что памятники Подонья, в которых были найдены золотые украшения звериного стиля,

относятся к среднесарматскому периоду (I в. до н. э.—I в н. э.), Л. С. Клейн допускает, что они принадлежали аорсам — одному из сарматских племен, господствующему в южнорусских степях во II в. до н. э. — первой половине I в. н. э. Далее на основании письменных источников автор пытается доказать происхождение аорсов от геродотовских исседонов, локализуя последних в степях от р. Урала до бассейна рек Исети, Тобола и Ишима, подчеркивая при этом, что именно на этом месте была собрана западная часть Сибирской коллекции V—I вв. до н. э.

Впервые точка зрения о принадлежности некоторых золотых украшений звериного стиля сарматской эпохи аорсам высказана В. П. Шиловым в 1956 г. в связи с публикацией двух богатых погребений I в. до н. э.—I в. н. э., раскопанных им на могильниках у сел Калиновки и Верхнего Погромного Волгоградской обл. [24, с. 42—45; 25, с. 462—464]. Принадлежность данной территории в указанный хронологический период аорсам признана всеми исследователями сарматской археологии. Полагая, таким образом, что золотые украшения из упомянутых выше погребений принадлежит аорсской знати, В. П. Шилов в своей публикации ставит вопрос о их происхождении. В поисках аналогий он, как и предыдущие авторы, обращается к Сибирской коллекции Петра I, происходящей большей частью из междуречья Оби и Иртыша [29, с. 63—69], где, как пишет В. П. Шилов, «по соседству имеются богатые золотые прииски, эксплоатировавшиеся в глубокой древности». В результате он приходит к выводу, что «древние сибирские племена Алтая и междуречья Оби и Иртыша являлись творцами большинства золотых предметов коллекции Петра I и предметов, найденных при раскопках Калиновского отряда» [24, с. 42]. Если принадлежность поволжских изделий аорской культуре представляется вполне вероятной, то вопрос о центре их производства пока остается весьма проблематичным и требующим более углубленного исследования и на более широком материале.

Позднее, в работе 1983 г., посвященной вторичной публикации запорожского комплекса у пос. Кичкас, В. П. Шилов вновь поднимает вопрос об аорсском происхождении золотых украшений сарматского звериного стиля, происходящих уже не только из нижневолжских, но и донских и поднепровских погребений, которые он датирует I в. до н. э.— первой половиной I в. н. э. Однако такое заключение вряд ли абсолютно верно применительно к каждому комплексу в отдельности, тем более что предложенные В. П. Шиловым датировки их, играющие немаловажную роль в доказательствах автора, спорны и требуют уточнения [30, с. 178—192]. Думается, что не все богатые комплексы южнорусских степей следует рассматривать лишь как погребения аорсской знати. Некоторые из них, как убедительно доказал Б. А. Раев, относятся ко времени появления на юге России племен аланов, т. е. ко второй половине I—первой половине II в. н. э., и могут принадлежать не аорсской, а аланской знати [31, с. 89—93; 32, с. 201—211].

Последней работой на тему о сарматском зверином стиле была наша статья, написанная в ответ на публикацию Л. С. Клейна и посвященная также одному из образов сарматского искусства — пантере, участвующей в сценах на фаларах, рассматриваемых Л. С. Клейном, из кургана Садовый [33, с. 46—55]

На основе стилистического анализа изображений этого образа мы пришли к выводу, что, несмотря на некоторые отличия их в композициях, стилистических приемах и технике исполнения, они представляют собой один художественный образ, повторяющийся в сарматском искусстве, который имеет свою иконографию и традиционные изобразительные средства для его воплощения. Отсюда возникает вопрос: где сформировался этот образ, т. е. каково его происхождение?

Указав, что изделия с изображением пантеры происходят из памятников

Нижнего Поволжья, Подонья и Прикубанья, где в скифскую эпоху обитали савроматы, а затем сарматские племена, оставившие памятники раннесарматской культуры, мы полагаем, что ни своеобразный образ хищника кошачьей породы савроматского искусства, ни тем более зооморфные маловыразительные изображения раннесарматского периода не могут служить прототипами для образа пантеры в сарматском зверином стиле.

Ближайшие аналогии мы находим в тех же сибирских бляхах, на которые ссылается Л. С. Клейн, и в изделиях скифского звериного стиля. Отсюда вывод, что прообразом «сарматской пантеры» является «сибирский тигр». Мотив же свернувшейся по кругу пантеры восходит к скифо-сибирским прототипам, но более близок образу, воплощенному в скифском искусстве Северного Причерноморья. Этот мотив как бы вновь возрождается здесь спустя три-четыре столетия в творчестве сарматских племен. Далее мы подчеркиваем близость сарматского звериного стиля с передневосточным искусством, что проявилось в композициях, передающих шествия зверей, в распространении фантастических образов-монстров и в стилистическом приеме — использовании цветных вставок, и указываем, что все эти факты свидетельствуют о теснейшей связи его с иранским миром. Появление же в южнорусских степях подобных украшений в уже готовом, сформировавшемся виде мы связываем, как и предыдущие авторы, с новой волной переселения племен ираноязычного происхождения [33, с. 54]. Но в отличие от Л. С. Клейна мы предполагаем, что такими племенами могли быть не аорсы, а скорее аланы — «бывшие массагеты», как их называют античные источники, которые со второй половины I в. н. э. и вплоть до нашествия гуннов в 370-е годы занимали господствующее положение среди варварских племен Северного Причерноморья. Этому предположению не противоречат и находки изделий полихромного звериного стиля, обнаруженные в погребениях сарматской знати, датирующиеся не I в. до н. э.—I в. н. э., как полагает Л. С. Клейн, а I—II вв. н. э. [31, с. 89—93].

Однако высказанная нами точка зрения на аланское происхождение этих памятников пока так же проблематична, как и выводы Л. С. Клейна и В. П. Шилова о принадлежности их аорсам. Обе гипотезы имеют права на существование, и не исключено, что одни изделия звериного стиля, особенно нижневолжские, являются отражением культуры аорсов, а другие типа Новочеркасского клада (курган «Хохлач») — образцами аланского искусства [33, с. 55]

Мысль о возможно аланском происхождении группы изделий «сарматского звериного стиля» была высказана также в докладе Б. А. Раева, прочитанном на конференции в Кемерово в 1984 г., посвященной культуре и памятникам скифо-сибирского мира [34, с. 133—135].

Возвращаясь к нашей работе, следует указать, что кроме проблемы происхождения сарматского звериного стиля мы затрагиваем и вопросы центров производства этих изделий. Опираясь на технические особенности некоторых из них, мы выделяем серию предметов, которые, по нашему мнению, являются продукцией античных мастеров Боспорского царства. Это — изделия, исполненные в традиционной для Боспора технике тиснения с использованием специальной массы, заполняющей с внутренней стороны рельеф. Снизу рельеф закрывался бронзовой или реже железной пластиной, составляющей основу предмета.

Таким образом, историографический обзор по проблемам сарматского звериного стиля прежде всего показал отсутствие систематического изучения данного предмета. За исключением исследований М. И. Ростовцева, остальные указанные выше работы носят случайный, выборочный характер.

В литературе нет четкого определения понятия термина «сарматский звериный стиль». В одних случаях под ним подразумеваются все зооморфные изображения сарматской эпохи, в других — конкретная группа украшений оп-

ределенного периода. Неясно также, является ли термин «сарматский звериный стиль» только временны́м понятием или же он отражает искусство конкретного народа.

Нет общего мнения и по вопросу происхождения вещей звериного стиля сарматской эпохи. И хотя все авторы без исключения видят аналогии им в сибирских и переднеазиатских древностях, тем не менее их непосредственное развитие ведут из разных источников. Я имею в виду точки зрения К. Ф. Смирнова и Л. Я. Маловицкой о савроматском происхождении сарматского звериного стиля и А. П. Манцевич, которая считает, что вещи с зооморфными сюжетами из сарматских памятников происходят с Балканского полуострова, где они, по ее мнению, не только изготовлялись, но и формировались как произведения искусства определенного стиля, не имеющего отношения к сарматскому творчеству.

Неоднозначно решается и вопрос о центрах производства этих изделий. Большинство авторов склонны видеть в золотых украшениях звериного стиля из сарматских комплексов южнорусских степей продукцию античных мастеров Боспора. Наряду с этим имеются высказывания о сибирском, кавказском, среднеазиатском и фракийском центрах изготовления подобных вещей.

А самое главное, без чего, как мы полагаем, ни одна из выдвигаемых исследователями гипотез не найдет ответа, — это отсутствие полноценного анализа стилистических и технологических особенностей зооморфных изображений сарматской эпохи и его семантического значения, т. е. отсутствие анализа самого источника. Вместе с тем изучение предметов искусства в указанном направлении позволит выделить группы вещей одного стиля, одного центра производства, что в свою очередь позволит определить и тот круг художественных изделий, который бы соответствовал понятию «сарматский звериный стиль». Лишь после этого можно ставить и решать вопросы происхождения и этнокультурной принадлежности предметов изобразительного творчества племен и народов сарматского происхождения, населявших южнорусские степи на протяжении десяти веков.

В заключение мы хотели бы предложить ввести в научный оборот ряд определений для обозначения отдельных групп предметов искусства с зооморфными изображениями сарматской эпохи.

Широкий хронологический диапазон бытования изделий зооморфного характера (III в. до н. э.—II в. н. э.), которые, как мы видели, не оставались неизменными в течение этого длительного периода, как не оставалась неизменной и сарматская культура в целом, позволяет выделить хронологические группы.

Несмотря на разнообразие стилистических и технологических особенностей, характеризующих предметы искусства раннесарматского периода III—II вв. до н. э., они, однако, представляют собой самостоятельную хронологическую группу зооморфных изображений, не связанную традиционно с предшествующим и последующим этапами савромато-сарматского искусства. Поэтому нам представляется, что они могут быть обозначены единым термином «раннесарматские зооморфные изображения». В данном случае этот термин будет отражать этновременно́е понятие в широком смысле слова, указывая на принадлежность изделий искусству сарматских племен раннесарматского периода, согласно периодизации Б. Н. Гракова.

Основу же сарматского искусства составляют золотые украшения, орнаментированные звериными мотивами, чаще всего представляющими собой сцены борьбы зверей или терзания, бытовавшие на протяжении среднесарматского периода I в. до н. э.—II в. н. э. Именно эти, и только эти предметы полностью отвечают термину «сарматский звериный стиль», широко применя́емому и́сследователями в археологической литературе, характерными признаками которого являются́ своеобразная стилизация и орнаментальность, подчеркивание частей тела и головы животных с применением цветных вставок

для передачи мышц, глаз, ушей, копыт и др. При этом наиболее часто в качестве материала для вставок использовались бирюза или паста голубого цвета, имитирующая бирюзу.

Яркими образцами такого стиля являются уже упомянутые находки из курганов «Хохлач» (Новочеркасский клад), «Садовый» на Дону, у ст. Жутово в междуречье Волги и Дона, у пос. Кичкас в Запорожье и из катакомбных погребений на могильниках Прикубанья. Все эти комплексы относятся к одному периоду (I—II вв. н. э.). Для них характерны одинаковые по содержанию и композициям сюжеты с участием одних и тех же образов зверей, исполненных в единой художественной манере, что проявляется в общих стилистических приемах и технологических особенностях.

Нам представляется, что золотые украшения типа «Садово-Новочеркасского» следует выделить в особую группу, обозначив ее термином «сарматский полихромно-бирюзовый звериный стиль». Этот термин будет отражать принадлежность подобных украшений к конкретному хронологическому периоду (середина I— первая половина II в. н. э.), определенной этнокультурной среде сармато-аланской общности, а также подчеркивать специфические признаки стиля — звериные мотивы, инкрустацию бирюзой, определяющие одно из главных художественных направлений в сарматском искусстве. В свете изложенного хотелось бы напомнить, что еще М. И. Ростовцев использовал термин «сарматский полихромный звериный стиль» по отношению к предметам Новочеркасского клада из кургана «Хохлач», тем самым выделяя их из общей массы предметов искусства звериного стиля сарматской эпохи, с одной стороны, и объединяя с полихромными изделиями звериного стиля из Сибирской коллекции Петра I и знаменитыми находками Амударьинского клада — с другой [35].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Rostovtzeff M.* L'art gréco-sarmate et l'art chinois de l'epoque de Hun // Arethuse. 1924. № 3.
2. *Иессен А. А.* Так называемый «майкопский пояс» // АСГЭ. 1961. Вып. 2.
3. *Rostovtzeff M.* The Animal Style in South Russia and China. L., 1929.
4. *Руденко С. И.* Сибирская коллекция Петра I // САИ. 1962. Вып. ДЗ-9.
5. *Артамонов М. И.* Сокровища саков. М.: Искусство, 1973.
6. *Rostovtzeff M.* Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1922.
7. *Ростовцев М. И.* Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма // МАР. 1918. № 37.
8. *Галанина Л. К.* Курджипский курган. Л.: Искусство, 1980.
9. *Берхин И. П. (Засецкая И. П.).* Сарматское погребение у с. Саломатина // СГЭ. 1959. Вып. 15.
10. *Придик Е.* Новые кавказские клады // МАР. 1914. № 34.
11. *Тревер К. В.* Памятники греко-бактрийского искусства. М.: Изд-во АН СССР, 1940.
12. *Толстой И., Кондаков Н.* Русские древности в памятниках искусства. Вып. 3. СПб., 1890.
13. *Ростовцев М. И.* Скифия и Боспор. Л., 1925.
14. *Сарианиди В. И.* Афганистан: сокровища безымянных царей. М.: Наука, 1983.
15. *Смирнов К. Ф.* Савромато-сарматский звериный стиль // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.: Наука, 1976.
16. *Граков Б. Н.* Пережитки матриархата у сарматов // ВДИ. 1947 № 3.
17. *Мошкова М. Г* Памятники прохоровской культуры // САИ. 1963. Вып. Д1-10.
18. *Мачинский Д. А.* О времени первого активного выступления сарматов в Поднепровье по данным письменных свидетельств // АСГЭ. 1971. Вып. 13.
19. *Маловицкая Л. Я.* Сарматский звериный стиль: Автореф. дис. канд. искусств. Л., 1967
20. *Маловицкая Л. Я.* Сарматское искусство // История искусства народов СССР. 1971. Т. 1.
21. *Мачинский Д. А.* Некоторые проблемы этнографии восточноевропейских степей во II в. до н. э. // АСГЭ. 1974. Вып. 16.
22. *Засецкая И. П.* Диагональные погребения Нижнего Поволжья и проблема определения их этнической принадлежности // АСГЭ. 1974. Вып. 16.
23. *Манцевич А. П.* Находка в Запорожском кургане (к вопросу о Сибирской коллекции Петра I) // Скифо-сибирский звериный стиль народов Евразии. М.: Наука, 1976.
24. *Шилов В. П.* Погребение сарматской знати I в. до н. э.—I в. н. э. // СГЭ. 1956. Вып. 9.
25. *Шилов В. П.* Калиновский курганный могильник // МИА. 1959. № 60.

26. *Шилов В. П.* Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Л.: Наука, 1975.
27. *Kaposhina S. I.* Sarmation Royal Burial Grave at Novocherkassk // Antiquity. 1963. V 148.
28. *Клейн Л. С.* Сарматский тарандр и вопрос о происхождении сарматов // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М.: Наука, 1976.
29. *Завитухина М. П.* К вопросу о времени и месте формирования Сибирской коллекции Петра I // Культура и искусство Петровского времени. Л.: Аврора, 1977
30. *Шилов В. П.* Запорожский курган (к вопросу о погребении аорсской знати) // СА. 1983. № 1.
31. *Раев Б. А.* Металлические сосуды кургана «Хохлач» // Проблемы археологии. Вып. II. Л., 1978.
32. *Раев Б. А.* Новое погребение с римским импортом в Нижнем Подонье // СА. 1979. № 4.
33. *Засецкая И. П.* Изображение «пантеры» в сарматском искусстве // СА. 1980. № 1.
34. *Раев Б. А.* Пазырык и «Хохлач» — некоторые параллели // Тез. докл. II Археол. конф. «Скифо-сибирский мир». Кемерово, 1984.
35. *Зеймаль Е. В.* Амударьинский клад. Каталог выставки. Л.: Искусство. 1979.

I. P. Zasetskaya

PROBLEMS OF THE SARMATIAN ZOOMORPHIC STYLE
(Historiographic survey)

Summary

A historiographic review shows that there was no systematic study of the subject, that scholars disagree on many issues and that (and this is most important) there is no a clear-cut definition of the term "Sarmatian zoomorphic style" In fact, it is perceived as a blainket term for stylistically varied zoomorphic representations related to different historical periods (from the 3rd century B. C. to the 2nd century A. D.). The wide chronological framework of these objects that naturally changed together with the Sarmatian culture permits us to identify certain chronological groups. Despite their stylistic and chronological diversity the artistic objects of the Early Sarmatian period (the 3rd —2nd cc. B. C.) form a separate chronological group of zoomorphic representations that can be termed "early Sarmatian zoomorphic representations" The term indicates the ethnic and chronological frames and points out that they belong to the art of the early Sarmatians. The second chronological group (the 1st century B. S. —2nd century A. D.) embraces gold objects inlaid with coloured plates, zoomorphic subjects including scenes of animal fights and renditions. Precisely these objects should be regarded as belonging to the "Sarmatian animal style" Objects inlaid with torquoise or blue paste described as objects of the "Sarmatian polychrome animal style" should be regarded as an independent group. It points to a specific chronological period (mid-1st century-the first half of the 2nd century) and to a certain ethnic milieu (the Sarmatian-Alan entity). Regrettably, no works have appeared so far that would deal with an analysis of the stylistic, technological and other specific features of zoomorphic representations that hampers a more profound study of the cardinal problems of Sarmatian art.

З. А. БАРБАРУНОВА

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РАННИХ САРМАТОВ
(по памятникам Южного Приуралья и Нижнего Поволжья)

В степях Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в IV—III вв. до н. э. обитали кочевые ираноязычные племена, известные нам под собирательным именем «сарматы». В IV в. до н. э. на всей территории расселения носителей савроматской культуры появляется новая археологическая культура — прохоровская (раннесарматская) Ее окончательное сложение относится к концу IV в. до н. э. Новые союзы сарматских племен сменили в IV—III вв. до н. э. в степях Нижнего Поволжья и Южного Приуралья родственных им савроматов [1, с. 286—288; 2, с. 5. сл.]

Изучение сарматских памятников началось еще во второй половине XIX в. и успешно продолжается до настоящего времени. Исследователи считают, что прохоровская культура — явление общее для всего мира кочевников, прежних носителей савроматской культуры. В этом отношении она является общесарматской независимо от племенного деления [3, с. 156]. По материалам погребального обряда наблюдается бóльшее по сравнению с савроматским временем единство прохоровской культуры, несмотря на сохранение двух больших локальных вариантов (Волго-Донского и Самаро-Уральского). Также отмечаются нечетко фиксируемые на материале погребений группировки могильников, отражающие какие-то особенности погребального обряда. Сарматское население в IV—II вв. до н. э., так же как и в предыдущий период, представляет собой союзы родственных племен. В погребальном обряде прохоровской культуры бытуют некоторые традиции савроматского времени и появляются черты, характерные для следующего, среднесарматского этапа. Кажущаяся нивелировка прохоровской культуры конца III—II вв. до н. э. означает лишь заметную стандартизацию некоторых категорий инвентаря [2, с. 5].

Опираясь на статистический анализ погребального обряда части могильников раннесарматской культуры из Нижнего Поволжья и Южного Приуралья, была проделана работа по выделению группы близких с точки зрения характеристики погребального обряда памятников. Установлен также набор признаков, определивших единство этих памятников и их отличие от других. Попутно удалось уточнить некоторые вопросы, касающиеся раннесарматской культуры IV—II вв. до н. э. В работе использована методика статистической характеристики и сравнительного анализа погребального обряда, предложенная В. Ф. Генингом и В. А. Борзуновым [4, с. 42—72].

Для достоверности статистического анализа из массива раскопанных в данном регионе погребений (около 5 тыс.) достаточно иметь более 200 единиц выборки [5, с. 57] Используя выделенные М. Г Мошковой территориальные группы раннесарматских могильников, было выделено пять зон в Поволжье и Приуралье, из которых отобраны памятники для анализа [2, с. 23, рис. 1]. Критерием отбора памятников служили количество погребений в могильнике (желательно более 10) и доступность для работы. За единицу фиксации взято неограбленное погребение одного человека (парное погребение — 2 единицы фиксации и т. д.). Таким образом, анализу подверглись 15 могильников: Нежинский (12 погребений), Новый Кумак (11 погребений), Герасимовка (10 погребений), Старые Киишки (55 погребений), Калмыково (12 погребений),

Таблица 1

Основные разделы списка признаков

Фаза	Категория	Единица совокупности
«А» Подготовка места захоронения	I. Характеристика общего плана кургана	Последовательность захоронения, стратиграфическое положение погребений в кургане, система расположения погребений в плане кургана, количество раннесарматских погребений в кургане
	II. Характеристика могильной ямы	Вид внутримогильных деревянных конструкций, форма могильной ямы, размеры, наличие ступеньки, ниши, ориентировка
«Б» Подготовка тела умершего к захоронению	III. Соответствует названию фазы	Погребальное ложе, украшения, бусы
«В» Захоронение	IV Характеристика останков погребенного	Ориентировка скелета, пол, возраст, количественный состав в одной могиле, поза
«Г» Сопровождающий инвентарь	V Керамика	Наличие сосудов, количество, тип, местонахождение по отношению к погребенному
	VI. Оружие	Меч, стрелы
	VII. Прочий инвентарь	Орудия труда, нож, зеркала, наличие сопровождающего инвентаря в целом
«Д» Ритуальные остатки	VIII Кости животных	Наличие в могильной яме, вид, часть туши
	IX Остатки кострища	Кострище на месте, на стороне
	X Ритуальные предметы и вещества	Мел, «камень», предметы культа
«Е» Завершение захоронения	XI Тризна	
	XII Надмогильные сооружения	

Джангалинская группа (19 погребений), Илекская группа (27 погребений), Политотдельское (18 погребений), Бережновка (56 погребений), Быково (20 погребений), Новоникольский 1 (13 погребений), Калиновский (45 погребений), Заплавное (10 погребений), 15-й поселок (7 погребений), Кривая Лука (48 погребений). Всего 365 единиц для расчета. Вся выборка условно датируется раннесарматским этапом.

Были составлены два варианта списка признаков, подробный и более общий. Кстати, признаки по второму варианту списка несколько позже были проанализированы для выявления их информативности [6, с. 118 сл.]. К счастью, согласно данному анализу, практически все признаки составленного списка оказались значимыми с точки зрения эффективности их использования для анализа погребального обряда и классификации памятников по обряду погребения (табл. 1,

Таблица 2

Нормированная информативность единиц совокупности признаков (вес) раннесарматского погребального обряда

№ п. п.	Ранг	Вес	Единица совокупности
1	1	2,5	Место керамики
2	2	2,4	Форма могильной ямы
3	2	2,4	Ориентация скелета
4	3	2,2	Размер могильной ямы
5	3	2,2	Положение рук
6	4	2,0	Количество погребенных в одном кургане
7	5	1,9	Пол погребенного
8	5	1,9	Типы керамики
9	6	1,8	Оружие
10	7	1,7	Система расположения могильных ям на плане кургана
11	7	1,7	Количество сосудов
12	7	1,7	Предметы погребального культа
13	8	1,6	Разные конструкции погребального ложа
14	9	1,5	Наличие украшений
15	10	1,4	Вид внутримогильных сооружений
16	10	1,4	Положение ног погребенного
17	11	1,3	Число погребенных в могильной яме
18	12	1,2	Орудия труда в могильной яме
19	12	1,2	Кости животных при захоронении
20	12	1,2	Наличие мела в захоронении
21	13	1,1	Последовательность захоронения (основное центральное, впускное)
22	14	1,0	Стратиграфическое расположение погребений в кургане
23	14	1,0	Пол погребенного
24	14	1,0	Использование огня при захоронении

2). Результаты статистической обработки обоих списков признаков практически не отличаются, как будет показано ниже; вниманию читателя представляется анализ погребального обряда на основе первого, более подробного варианта списка признаков (163 признака). Расчеты производились на ЭВМ.

В ходе статистической обработки проведен анализ парного сходства памятников по погребальному обряду с последующим построением графов сходства. Интересно заметить, что на 85%-ном уровне достоверности сходства получился почти замкнутый граф [1] (рис. 1). Это, по-видимому, свидетельствует о тесном единстве раннесарматской культуры. А незамкнутые связи отражают скорее всего хронологическую разницу, например Нежинский (начало IV—I в. до н. э.) и Герасимовка (III—II вв. до н. э.). Интересен тот факт, что могильник Бережновский связан со *всеми* остальными 14 памятниками. Могильник 15-й поселок включен в граф только благодаря сходству с Бережновским.

Основным результатом этого этапа работы явилось выделение группы из шести памятников, близких по погребальному обряду: Бережновка, Калмыково, Илек, Новоникольский 1, Кривая Лука, Политотдельское. Причем могильники находятся как в Нижнем Поволжье, так и в Южном Приуралье. Такое объединение произошло на 95%-ном уровне достоверности сходства (рис. 2, *1*). Данная группа была названа Бережновской по памятнику, находящемуся в центре графа.

На следующем этапе работы были установлены черты погребального обряда (набор признаков), объединившие шесть могильников и обособившие их от остальных анализируемых памятников. Остановимся подробнее на том, как были выделены эти признаки.

[1] Подробно технику расчетов и терминологию см. в работе В. Ф. Генинга и В. А. Борзунова [4, с. 42—66]

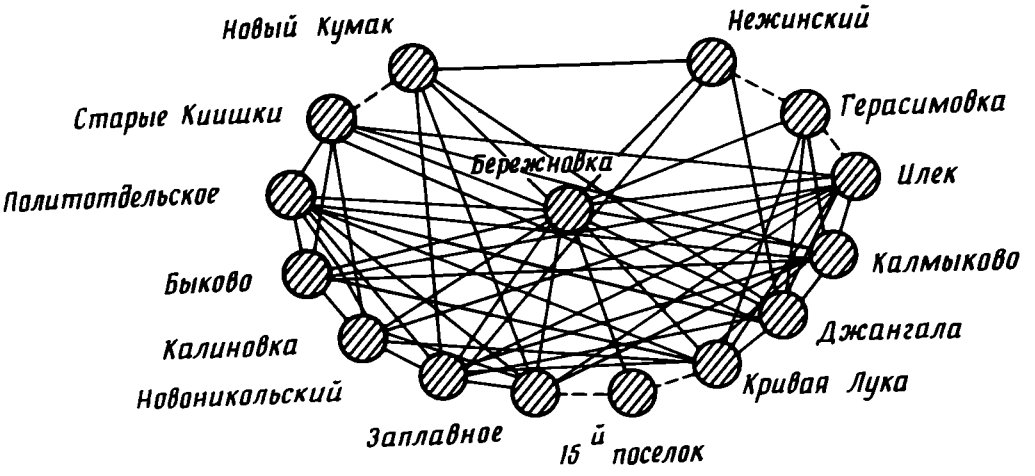


Рис. 1. Граф при 85%-ном уровне достоверности сходства памятников

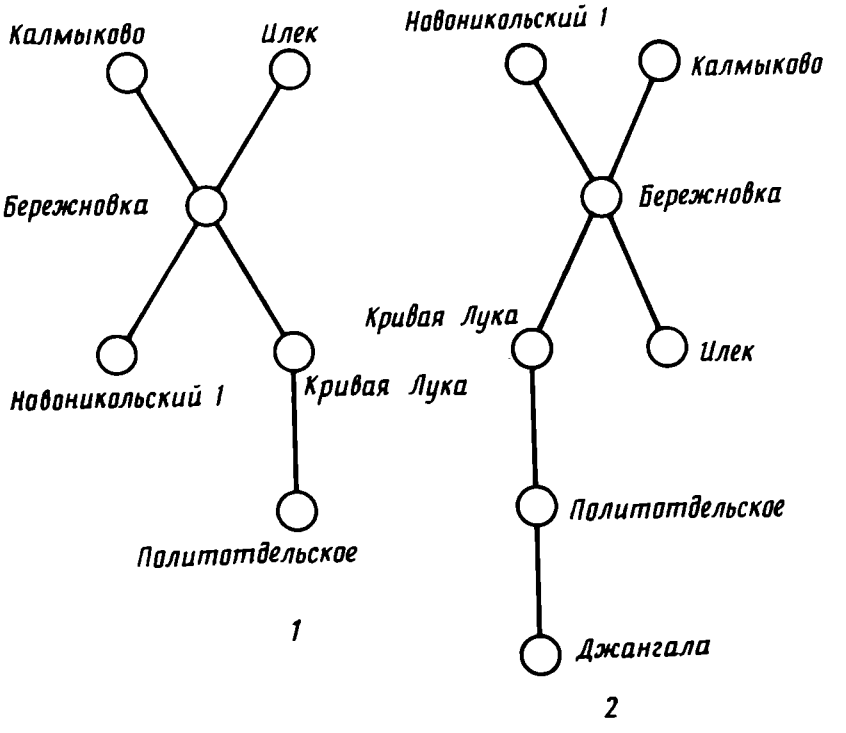


Рис. 2. Граф при 95%-ном уровне достоверности сходства памятников. *1* — первый вариант списка признаков; *2* — второй вариант списка признаков

Признаки, описывающие погребальный обряд, принято разделять на три группы [4, с. 66]: 1) всеобщие (встречаются на всех памятниках) объединяют погребения в единую археологическую культуру (табл. 3); 2) локальные (минимум два памятника, максимум все без одного) несут в себе потенциал территориальных или каких-то других различий памятников; 3) частные (встречаются на одном памятнике, на других же крайне редко) характеризуют исключительную особенность отдельного могильника. Таким образом, признаки, выделившие Бережновскую группу из памятников раннесарматской культуры, относятся к группе локальных.

Сами локальные признаки неоднородны. Одни встречаются чаще, другие реже. В опубликованных ранее работах, использующих данную методику, отсут-

Таблица 3

Всеобщие признаки. Сравнение всеобщих признаков с локальными по одной единице совокупности

Всеобщий признак	Норма распределения, %	Локальный признак в той же единице совокупности	Норма распределения, %
Впускное периферийное погребение	80,3	Основное	8,8
		Центральное	11,1
Грунтовое погребение	83,0	В насыпи	10,1
		На древней дневной поверхности	6,8
С—Ю ориентировка могильной ямы	46,8	З—В ориентировка могильной ямы	8,2
Средний размер могильной ямы	36,7	Большой размер	16,4
		Малый размер	14,0
Четырехугольная широкая могильная яма	39,0	Квадратная	1,4
		С заплечиками могильная яма	6,3
		Подбой	29,0
		Катакомба	2,7
Погребение взрослого	71,5	Неопределенное, детское	28,5
Погребение женщины	34,8	Неопределенное, мужское, детское	65,2
Погребение мужчины	31,2	Остальные женские, детские	68,8
Одиночное погребение	73,4	Парное	17,1
		Коллективное	9,3
Южная ориентировка скелета	51,8	Северная	2,7
		Западная	6,3
		Восточная	4,1
Руки вытянуты вдоль тела	63,6	Одна рука согнута	11,8
		Обе руки согнуты	4,4
		Одна рука отставлена	6,6
		Обе руки отставлены	2,2
		Кисти под тазом, руки вдоль	11,2
Вытянутое положение ног	74,5	Сближены в голенях, перекрещены	12,1
		Одна нога согнута	1,9
		Обе ноги согнуты	3,9
		Сближены в стопах	7,1
Наличие керамики	49,6	Отсутствие	50,0
Горшок (тип)	39,7	Кувшин	11,5
		Миска	0,8
Наличие инвентаря	88,8	Отсутствие	11,2
Кости животных в могильной яме	51,0	»	49,3
Кости овцы	47,4	Лошади	2,7
		Коровы	1,6
		Птицы	0,8
Часть туши (передняя нога)	39,4	Туша, туша без головы	1,9
		Череп животного	1,0
		Кости ног животного	3,0

ствует, на наш взгляд, единая и четкая система выделения и классификации локальных и частных признаков. Поэтому для данного исследования разработана и использована следующая система классификации признаков.

Признак считался локальным, если выполнялось хотя бы одно из трех следующих условий: а) наличие этого признака у нескольких памятников, но не у всех; б) частность совокупности у одного памятника не больше чем на $50 \pm 1\%$ этой величины у другого памятника, т. е. должна равномерно распределяться; в) тенденция признака положительна у большинства памятников с этим признаком, причем тенденция признака, равная нулю (т. е. норме распределения признака), считается положительной.

По подгруппам локальные признаки распределяются таким образом: 1) чистые — выполнены три требования локальности; 2) минимально условные

Таблица 4

Упорядоченное распределение локальных признаков, встреченных только на памятниках Бережновской группы

Ранг	Признак	Частота признака, %	Подгруппа	Тенденция признака		Общее количество памятников с этим признаком
				+	—	
1	Два погребения в кургане	85	Чистый	5	1	9
2	Ю—В ориентировка скелета	75	»	6	—	10
2	Согнутые руки	75	»	5	1	10
3	Подбой	73	Условно-минимальный	4	2	13
4	СЗ—ЮВ ориентировка ямы	66	Чистый	5	1	10
5	Разбитое зеркало	64	»	5	1	13
6	Бессистемное расположение	62	Условно-минимальный	4	2	14
7	Сосуд у головы	60	»	5	1	13
7	Кувшин	60	Чистый	4	2	13
8	Малый размер ямы	59	»	4	2	13
9	Сосуд у ног	58	»	4	2	14
10	3—9 погребений в кургане	57	Условно-минимальный	4	2	14
11	ЮЗ ориентировка скелета	55		4	2	14
11	ЮЗ—СВ ориентировка ямы	55	»	3	3	13
12	Один сосуд	53	»	3	3	14
13	Погребение ребенка	51	»	3	3	114
13	Один меч	51	»	1	5	14
14	Деревянное перекрытие ямы	50	Чистый	3	3	12
15	Курильница	49	Условно-минимальный	3	3	13
16	Концентрическое расположение	46	»	3	3	13
17	Стрелы	43	»	5	1	13
18	Нож	38	Чистый	1	5	14

локальные — не выполнено одно требование; 3) максимально условные локальные — не выполнены два требования.

При этом первая подгруппа чистых локальных признаков более значима. При увеличении выборки чистые локальные признаки могут стать всеобщими. Соответственно менее значимые признаки распределяются во второй подгруппе и т. д.

В данной выборке насчитывается 107 локальных признаков (80,5% всех положительных признаков, фиксирующих наличие явления), из них чистых — 87 (81%), минимально условных локальных — 17 (16%), максимально условных локальных — 3 (3%). К сожалению, объем статьи не позволяет с должной полнотой дать внутригрупповой анализ локальных признаков. Будут представлены лишь те признаки, которые в той или иной степени способствовали объединению шести памятников первого графа и отделению их от остальных. Поскольку анализ частных признаков ничего существенного не добавляет для изучения погребального обряда исследуемой Бережновской группы, мы его опускаем.

Итак, произведен внутригрупповой анализ локальных признаков погребального обряда. Эта часть работы позволила затем определить набор локальных признаков, объединивших памятники в Бережновскую группу. Для этого все локальные признаки рассмотрены с точки зрения их встречаемости: 1-й отдел — на всех памятниках данной группы; 2-й отдел — не на всех памятниках; 3-й отдел — только на памятниках Бережновской группы.

Признаки 1-го отдела представлены в табл. 4. Из нее следует, что в Бережновской группе сосредоточивается половина и более объектов по большинству (78%) локальных признаков этого отдела. Например, признак «наличие подбоя» в данной выборке встречен на 13 памятниках, при этом встречаемость данного признака такова, что 6 могильников Бережновской группы имеют

73% всех объектов с данным признаком, а остальные 7 могильников — 27% объектов с этим признаком.

Поведение тенденции признака позволяет утверждать, что подавляющее большинство (87%) этих признаков типично для Бережновской группы, т. е. тенденция признака положительна у большинства объектов на этих памятниках.

Локальных признаков 2-го отдела —82, т. е. 77% всех локальных признаков. Внутри отдела эти признаки наиболее тесно группируются по категориям, характеризующим последовательность и стратиграфическое размещение погребений в кургане, конструкции внутри могильной ямы, погребальное ложе, позу погребенного (особенно положение ног), место сосудов, а также предметы культа (подвески-амулеты, раковины) и остатки тризны.

Кое-что в своеобразии погребального обряда Бережновской группы проясняют признаки, встреченные только в этой группе, правда, не во всех могильниках (3-й отдел: «яма с заплечиками по всему периметру», «кострище в могильной яме», «череп животного»).

Подведем итоги. Основные черты погребального обряда раннесарматской культуры намечены еще Б. Н. Граковым [7, с. 112—119] и К. Ф. Смирновым [1, с. 286—291; 8, с. 206—322; 9, с. 252—258], а затем подробно рассмотрены М. Г Мошковой [2, с. 19 сл.]. Впоследствии изучались этими и другими авторами.

Что же добавил к имеющимся сведениям данный статистический анализ? Для описания погребального обряда прохоровской культуры исследователи пользовались обычно далеко не полным простым перечислением признаков погребального обряда. При этом вместе со всеобщими, наиболее значимыми признаками, ставились на первый взгляд яркие, но порой редко встречающиеся, частные, менее значимые признаки. Статистическая обработка признаков погребального обряда позволила выделить из простого перечня признаков всеобщие, объединяющие погребения в единую прохоровскую культуру (табл. 3).

Эти признаки характеризуют раннесарматский погребальный обряд следующим образом. Наблюдается преобладание впускных грунтовых ям средних размеров, четырехугольных, широких, такая форма была широко распространена в савроматское время и бытовала на протяжении всего прохоровского этапа. Наиболее распространено вытянутое положение погребенного, головой на юг. Встречаются в большинстве случаев одиночные захоронения взрослых людей с сопроводительным инвентарем, представленным в основном керамикой (горшками), у женщин — пряслицами и бусами. Характерно также положение напутственной пищи (передняя нога с лопаткой барана).

Сумма данных признаков составляет ядро погребального обряда прохоровской культуры. За редким исключением, это обязательный обрядовый комплекс ранних сарматов.

Не менее существенным результатом работы явилось выделение из массива раннесарматских памятников Бережновской группы. Яркой особенностью памятников этой группы, отличающей ее от остальных, является господство подбойных захоронений на всех памятниках и нетипичность такой распространенной (всеобщей) формы могильной ямы, как четырехугольная широкая. На памятниках Бережновской группы сосредоточено 73% всех подбоев данной выборки и только 41% четырехугольных широких ям, причем тенденция признака «четырехугольная широкая могильная яма» отрицательна у четырех из шести бережновских памятников. Кроме того только в данной группе засвидетельствованы могильные ямы с заплечиками по всему периметру. Таким образом, в Бережновской группе преобладают формы могильной ямы, появившиеся у сарматов лишь на прохоровском этапе, и редко встречается характерная для савроматского и всего раннесарматского этапов четырехугольная широкая яма. Столь же характерные для сусловской культуры квадратные ямы в Бережновской группе полностью отсутствуют. Для этой группы характерно наличие в кургане от двух до девяти погребений, с чем, по-видимому, следует связать и не-

большое количество курганов с концентрической в плане группировкой погребений. Бережновским могильникам свойственно наличие разных видов деревянных конструкций в могильной яме и разных видов погребального ложа. Такая категория, как деревянные конструкции внутри могильной ямы, представлена в пяти могильниках, кроме Калмыково. Скорее всего это связано с географическими особенностями зоны полупустыни, где находился этот памятник, отсутствие там дерева для погребальных сооружений. Под деревянными конструкциями имеются в виду перекрытия из досок и жердей в шахте могильной ямы и на заплечиках (Бережновка, Илек, Кривая Лука, Политотдельское —78% [2]), всевозможные заслоны из бревен, досок, циновок, закрывающие вход в камеру (Бережновка, Илек, Новоникольский 1, Кривая Лука —70%). Нет ни одного могильника в Бережновской группе, где бы такая категория, как погребальное ложе, не была бы представлена. Во всех могильниках этой группы обнаружены органические подстилки и покровы. Найдены также деревянные гробовища: ладьевидные долбленые; из брусков, скрепленных рамой (нет лишь в Новоникольском 1)—62%. Легкое ложе (решетчатый гроб, катафалк из жердей и прутьев) встречено в могильниках Кривая Лука, Илек, Политотдельское —94%, в этих же могильниках зафиксировано покрытие покойного корой, саркофаг из коры —70%.

На памятниках Бережновской группы распространен обычай придавать телу покойного позу с обеими согнутыми в локтях руками, с согнутыми в коленях ногами, а также с согнутыми и ногами, и руками. При всеобщей распространенности у сарматов такого типа керамики, как горшки, в бережновских могильниках часто встречаются кувшины (60%), которые в большинстве случаев ставились у головы покойного. Типичным является положение в могилу деформированного или разбитого зеркала (64%), курильницы (49%). В качестве заупокойной пищи клали переднюю ногу с лопаткой барана, но на некоторых памятниках данной группы (Политотдельское, Илек, Кривая Лука, Бережновка) довольно часто находят кости черепа (100%) и ног животного. Что касается предметов вооружения, то типична находка стрел (43%). По сравнению с другими памятниками в исследуемой группе распространено положение меча с кинжалом (66,6%) или одного меча (52%) при погребенном. Кстати, 77% всех женских вооруженных погребений из данной выборки принадлежит Бережновской группе.

К сожалению, антропологический материал из интересующих нас районов в эпоху IV—II вв. до н. э. очень фрагментарен. Но и он тоже может кое-что прояснить. Не раз отмечалось общее сходство антропологического материала из могильников Нижнего Дона, Нижнего Поволжья, Западного Казахстана и некоторых районов Приуралья [10, с. 167 сл.; 11, с. 424; 12, с. 189] Однако сходство не означает однородности. Ученые предположили, что родственные в целом группы сарматов складывались на основе различных антропологических компонентов [12, с. 189]. Интересующие нас могильники (Бережновка и Политотдельское) находятся в промежуточной волгоградской группе, имеющей большое сходство с астраханской. Значительное сходство сарматов астраханской группы с сарматами Нижнего Дона прослеживается по сериям черепов ранних сармат из нижнедонских могильников [11, с. 424] Интересно близкое сходство астраханской группы черепов с памиро-ферганским типом, представленным в могильниках Оренбуржья (Прохоровка) и Западного Казахстана (Калмыково, Джангала). И еще один факт, в какой-то мере иллюстрирующий правильность выделения Бережновской группы. Такие близко расположенные могильники, как Новоникольский 1 и Калиновский, имеют наименьшее сходство и по погребальному обряду, и по антропологическому материалу. Кроме того, В. В. Гинзбург

[2] Даны проценты от общего числа объектов с данным признаком.

отметил существенное отличие черепов из Калиновского могильника от серии черепов астраханской группы и некоторых могильников Дона [13, с. 575]. Эти выводы, на наш взгляд, также подтверждают достоверность результатов статистической обработки.

И пожалуй, самый сложный вопрос: что же представляет собой выделенная группа памятников? Можно было бы предположить, что данные шесть памятников оставлены какой-то определенной группой родоплеменной структуры раннесарматского общества. Из этого следует, что эта группа (социальная категория) появилась в V в. до н. э. внутри савроматского мира, в степях Южного Приуралья [1, с. 288]. Затем эта группа распространила присущие ей черты погребального обряда на всю территорию расселения ранних сарматов в IV—II вв. до н. э. Ведь такие черты, как южная ориентировка скелетов, наличие подбоев и ям с заплечиками, встречаются в каждом раннесарматском могильнике. Сомнительно, что такую роль могла бы сыграть какая-то социальная группа.

Возможно, данная группировка памятников отражает какое-то племенное деление кочевников прохоровской культуры. Письменных источников, описывающих события IV—II вв. до н. э. на интересующей нас территории, не имеется. Но исследователи неоднократно использовали данные из «Географии» Страбона, жившего с 66 г. до н. э. по 20 г. н. э. [14, XI, V, *8*]

Так, Страбон помещал сарматские племена, названные «аорсами», между Меотидой, Танаисом и Каспием. Согласно его описанию, некоторые племена аорсов кочевали по р. Танаис. Эти танаисские аорсы — «беглецы из среды живущих выше народов... и они севернее аорсов» [14, XI, V, *8*]. Северные аорсы, т. е. «верхние аорсы», как именует их Страбон, были еще более могущественными, так как «они владели более обширной страной и господствовали над наибольшей частью Каспийского побережья, так что даже торговали индийскими и вавилонскими товарами... Благодаря богатству они носили золотые украшения» [14, XI, V, *8*].

Существуют две трактовки данного источника. Они изложены в работах К. Ф. Смирнова [15, с. 129—139; 16, с. 77; 17, с. 16, 17, 116 сл.] и В. П. Шилова [18, с. 190, 191; 19, с. 112, 113, 124—134; 20, с. 36—46].

К. Ф. Смирнов пришел к выводу, что ведущую роль в сложении нового союза приуральских племен сыграли могущественные роды бассейна р. Илек [1, с. 288] Они уже в конце V в. до н. э. хоронили своих покойников в подбойных могилах головой на юг. А «именно перечисленные археологические признаки стали характерными для прохоровской культуры» в районах Нижнего Поволжья, принадлежащих страбоновым верхним аорсам [1, с. 288]. Бытование этих племен зафиксировано в Южном Приуралье в конце V в. до н. э. (савроматская культура) и в IV—II вв. до н. э. (раннесарматская культура). Поэтому К. Ф. Смирнов назвал илекские роды конца V в. до н. э. «протоаорсами», а племенные объединения ранних сарматов IV—II вв. до н. э., кочевавшие в Нижнем Поволжье и междуречье Дона и Волги,— аорсами. Исследователь считал верхних аорсов ядром прохоровского объединения, а не единственными создателями и носителями раннесарматской культуры. К. Ф. Смирнов отождествлял их с сарматами, оставившими памятники типа Илекской группы, Калмыково (Южное Приуралье), а также хут. Попов и др. в Волго-Донском междуречье [1, с. 288].

По мнению В. П. Шилова, территорию верхних аорсов, согласно Страбону, следует искать в Нижнем Поволжье и междуречьи Дона и Волги. Сходство ряда черт погребального обряда памятников Южного Приуралья и Нижнего Поволжья автор объясняет инфильтрацией небольших групп исседонов из Южного Приуралья в Нижнее Поволжье и донские степи, а также возможным проникновением отдельных групп ранних сарматов из Нижнего Поволжья в Южное Приуралье [19, с. 131, 132]. Опираясь на сообщение Страбона о богатстве аорсов, В. П. Шилов отождествляет с нижними (танаисскими) аорсами ряд погребений на Есауловском Аксае [20, с. 36—46]. Автор относит богатые погребения

в широких ямах, раскопанные на Есауловском Акасае к захоронениям аорсской знати, а рядовые подбойные (!) захоронения III в. до н. э.—I в. н. э. в этих же могильниках — к простым аорсам [20, с. 46]. Кстати, самое раннее из богатых аксайских погребений, которое В. П. Шилов относит к III в. до н. э., совершено в подбое. Это погр. 4, кург. 27 Жутовского могильника [18, с. 190, 191].

Что же добавил к решению данной проблемы проведенный статистический анализ? Его результаты, на наш взгляд, можно интерпретировать таким образом.

В среде южноприуральских сарматских племен с участием других, зауральских и, возможно, приаральских на рубеже V—IV вв. до н. э. и в начале IV в. до н. э. сложился новый племенной союз [17, с. 116]. С его образованием и развитием связано начало сарматских миграций на запад (главное направление), на северо-восток и на юг [17, с. 116 сл.] В процессе миграции на запад следует различать два этапа: первый — в начале IV в. до н. э., а второй, наиболее мощный, датируется концом III—I в. до н. э. [17, с. 118]. Предположительно, первый этап можно отождествить с таким этногенетическим процессом, как межэтническая интеграция, второй — с этногенетической миксацией [21, с. 84 сл.].

Бережновская группа памятников оставлена мигрантами второго этапа (III—II вв. до н. э.). Эту группу, вероятно, следует отождествлять с племенным объединением ранних сарматов, ядро которых сформировалось в Южном Приуралье, в районе р. Илек. Передвигаясь на запад, в Нижнее Поволжье, это племенное объединение вытеснило часть кочевавших там савроматов на Дон и в Прикубанье. Оставшиеся в Нижнем Поволжье савроматы постепенно вовлекались в сложный процесс взаимодействия с южноприуральскими сарматами. В результате окончательно сложилась единая раннесарматская культура III—I вв. до н. э.

О сложности процесса взаимодействия свидетельствует наличие в Нижнем Поволжье памятников (Бережновка, Новоникольский 1, Политотдельское), сохранивших в более «чистом» виде традиции погребального обряда приуральской Илекской группы, а также одновременное существование, порой в непосредственной близости (Новоникольский 1— Калиновский) памятников типа Калиновский, Быково, менее подвергшихся влиянию пришельцев. Более ранние нижневолжские могильники (Заплавное, 15-й поселок) еще в меньшей степени испытали влияние южноприуральских сарматов. Могильники Заплавное, 15-й поселок, Калиновский, Быково сохранили больше черт, присущих савроматской культуре (господство четырехугольной широкой могильной ямы, небольшое количество или отсутствие типичной прохоровской керамики, определенное количество широтной ориентировки погребенных и т. п.).

Кстати, само Южное Приуралье не было единым. Еще К. Ф. Смирнов отмечал существенную разницу между археологическими памятниками р. Илек и междуречья Демы и Белой (могильник Старые Киишки) [3, с. 175]. Разница между Илекской группой и могильником Старые Киишки, не столь существенная при рассмотрении комплексов инвентаря, весьма заметна при анализе погребального обряда.

Итак, выделенная Бережновская группа раннесарматских памятников характеризуется таким набором черт погребального обряда, как погребения в подбоях (преимущественно) и в ямах с заплечиками, использование деревянных конструкций внутри могильной ямы, наличие разных видов погребального ложа, положение погребенных с согнутыми руками и ногами, с раскинутыми в стороны руками, а также характеризуется оставлением у головы или ног погребенного кувшина, курильницы, наличием большого количества оружия (более типично положение меча с кинжалом).

Эта группа из трех могильников из Южного Приуралья — Илек, Калмыково и Джангала вошла в граф при расчетах по второму варианту списка признаков (рис. 2, *2*), тесно связана с четырьмя нижневолжскими могильниками (Береж-

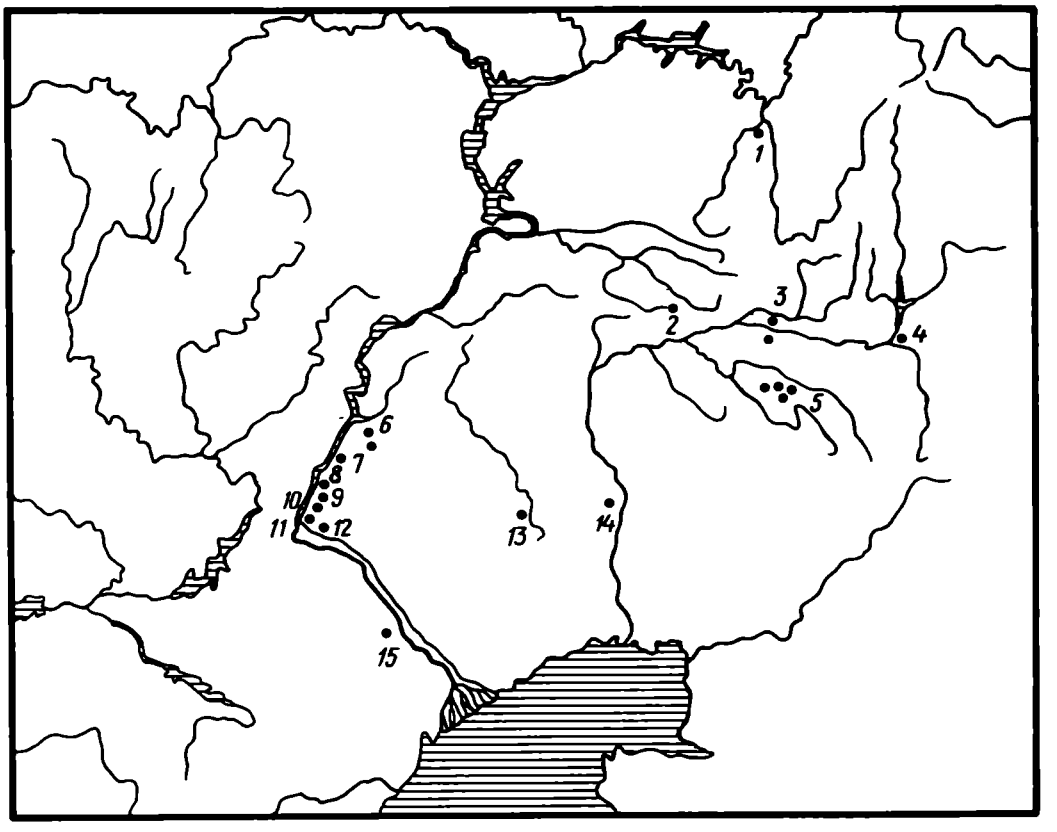


Рис. 3. Раннесарматские памятники, отобранные для анализа. Бережновская группа. Могильники: *1* — Старые Киишки; *2* — Герасимовка; *3* — Нежинский; *4* — Новый Кумак; *5* — Илек; *6* — Бережновка; *7* — Политотдельское; *8* — Быково; *9* — Новоникольский 1; *10* — Калиновка; *11*—15-й поселок; *12* — Заплавное; *13* — Джангала; *14* — Калмыково; *15* — Кривая Лука

новка, Новоникольский 1, Политотдельское, Кривая Лука). Таким образом, территория расселения племенного объединения, оставившего памятники Бережновской группы, простиралась от района р. Илек в Южном Приуралье (Илекская группа), через междуречье Эмбы и Волги (Калмыково, Джангала) до Нижнего Поволжья, южнее устья р. Еруслан (Бережновка, Политотдельское, Новоникольский 1, Кривая Лука) и скорее всего далее, на Дон (рис. 3). Каковы границы этого племенного объединения на западе, в Подонье, а также на востоке и юго-востоке, это вопрос дальнейшего исследования.

Вернемся к данным Страбона, согласно которым К. Ф. Смирнов и В. П. Шилов локализуют верхних аорсов в степях Нижнего Поволжья. И хотя данные Страбона, по мнению К. И. Неймана и М. И. Ростовцева, базировались на трудах Артемидора Эфесского (конец II в. до н. э.) или Типсикрита из Амиса (I в. до н. э.), бытование верхних аорсов по данным письменных источников, в районах Нижнего Поволжья можно отнести к II—I вв. до н. э., т. е. к концу раннесарматского периода [20, с. 43]. Но во II в. до н. э. и ранее, в III в. до н. э., в Нижнем Поволжье нами локализуется часть Бережновской группы, в археологическом комплексе которой никакого разрыва между III в. и II—I вв. до н. э. нет. Таким образом, археологические данные свидетельствуют о возможности расширить хронологические рамки существования верхних аорсов в Нижнем Поволжье до III в. до н. э. включительно. Иными словами, Бережновская группа памятников нами отождествляется с раннесарматским племенным объединением, возглавляемым верхними аорсами в конце II—I вв. до н. э. или «протоаорсами», когда речь идет о сарматах III в. до н. э.

Все имеющиеся результаты статистической обработки раннесарматских памятников подтверждают, на наш взгляд, гипотезу К. Ф. Смирнова о миграции племен прохоровской культуры из Южного Приуралья на Волгу и Дон в IV—III вв. до н. э. [1, с. 288; 8, с. 318].

Результаты анализа также наглядно свидетельствуют в пользу существующей гипотезы о возможном пути миграций сарматских племен из Южного Приуралья через р. Урал в районе Калмыково, затем по Большому и Малому Узеням (Джангала) в район от устья р. Ахтубы (Новоникольское 1, Кривая Лука) до устья р. Еруслана (Бережновка и Политотдельское). Вертикальные связи нижневолжских могильников Бережновской группы (Бережновка, Политотдельское, Новоникольский 1, Кривая Лука), вероятно, отражают маршруты сезонного кочевания этой группы сарматов.

Хочется обратить внимание и на сам могильник Бережновка. Выше отмечалось, что этот могильник является центральным не только для пяти (шести) памятников, объединенных в граф на 95%-ном уровне, но и для *всех* остальных исследуемых памятников, объединенных в граф при 85%-ном уровне достоверности сходства. Интересно, что К. Ф. Смирнов в статье «Курганы у сел Иловатка и Политотдельское» [8, с. 318] предположил факт перенесения в III—II вв. до н. э. племенных центров сарматов прохоровской культуры из Южного Приуралья в Нижнее Поволжье в связи с миграцией ранних сарматов на запад. Одним из наиболее вероятных мест для племенного центра он назвал район нижнего течения р. Еруслан (могильники Бережновка, Политотдельское, Молчановка). Следовательно, Бережновский могильник находился на территории древнего племенного центра ранних сарматов III—II вв. до н. э.

Таким образом, с помощью статистической обработки материала по методу В. Ф. Генинга и В. А. Борзунова из массива раннесарматских погребений Южного Приуралья и Нижнего Поволжья (III—II вв. до н. э.) выделены: обязательный комплекс признаков погребального обряда раннесарматской культуры; Бережновская группа памятников раннесарматской культуры, предположительно соотносимая с племенным объединением протоаорсов (III—II вв. до н. э.). Подтверждена гипотеза К. Ф. Смирнова о миграции раннесарматских племен из Южного Приуралья в Нижнее Поволжье в IV—III вв. до н. э., намечен маршрут миграционного движения кочевников, а также маршруты сезонных перекочевок сарматов нижневолжской части Бережновской группы. Уточнено местоположение племенного центра ранних сарматов III—II вв. до н. э. Статистически достоверные выводы о большей или меньшей степени сходства археологического материала исследованных могильников нашли свое подтверждение в исследованиях антропологов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Смирнов К. Ф.* Савроматы. М.: Наука, 1964.
2. *Мошкова М. Г* Памятники прохоровской культуры // САИ. 1963. Вып. Д1-10.
3. *Смирнов К. Ф.* Сарматы на Илеке. М.: Наука, 1974.
4. *Генинг В. Ф., Борзунов В. А.* Методика статистической характеристики и сравнительного анализа погребального обряда // ВАУ 1975. Вып. 13.
5. *Железчиков Б. Ф.* Экология и некоторые вопросы хозяйственной деятельности сарматов Южного Приуралья и Заволжья в IV—I вв. до н. э. // История и культура сарматов. Саратов, 1983.
6. *Федоров-Давыдов Г А.* Статистические методы в археологии. М.: Изд-во МГУ, 1987
7. *Граков Б. Н.* Пережитки матриархата у сарматов // ВДИ. 1947. № 3.
8. *Смирнов К. Ф.* Курганы у сел Иловатка и Политотдельское Сталинградской области // МИА. 1959. № 60.
9. *Смирнов К. Ф.* Быковские курганы // МИА. 1960. № 78.
10. *Дебец Г Ф.* Черепа из курганов эпохи бронзы и сарматского времени // МИА. 1958. № 62.
11. *Вуич Л. Г* Черепа из курганов эпохи бронзы и сарматского времени // МИА. 1958. № 62.
12. *Фиртейн Б. Ф.* Антропологические материалы из разновременных курганных могильников Волгоградской области // *Шилов В. П.* Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Л.: Наука, 1975.

13. *Гинзбург В. В.* Этногенетические связи древнего населения Сталинградского Заволжья // МИА. 1950. № 60.
14. *Страбон.* География Страбона в 17 книгах / Пер. Мищенка Ф. Г М., 1879.
15. *Смирнов К. Ф.* Савроматы и сарматы // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М.: Наука, 1977.
16. *Смирнов К. Ф.* Кочевники Северного Прикаспия и Южного Приуралья скифского времени // Этнография и археология Средней Азии. М.: Наука, 1979.
17 *Смирнов К. Ф.* Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М.: Наука, 1984.
18. *Шилов В. П.* Запорожский курган (К вопросу о погребении аорсской знати) // СА. 1983. № 1.
19. *Шилов В. П.* Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Л., 1975.
20. *Шилов В. П.* Аорсы (историко-археологический очерк) // История и культура сарматов. Саратов, 1983.
21. *Бромлей Ю. В.* Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М.: Наука, 1987

Z. A. Barbarunova

SOME PROBLEMS OF THE HISTORY OF THE EARLY SARMATIANS (THE SOUTH URALS AND LOWER VOLGA SITES)

Summary

The author uses the methods suggested by V Gening and V Borzunov to analyse the style of the archaeological materials obtained from fifteen early Sarmatian burial grounds in the Southern Urals and the Lower Volga. The results provide a fuller idea on the burial rite of the tribes of the Early Sarmatian culture as a whole and its local specific features. This analysis, in particular, helped identify the Berezhnovo group of sites left, in all probability, by a proto-Aoric tribal union. An archaeological description is also provided. Some of the other suggestions on the history of the early Sarmatians (the 3rd-2nd cc. B. C.) have been confirmed.

М. Б. ЩУКИН

ФИБУЛЫ ТИПА «АЛЕЗИЯ» ИЗ СРЕДНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РИМСКО-ВАРВАРСКИХ КОНТАКТОВ НА РУБЕЖЕ НАШЕЙ ЭРЫ

Памяти В. П. Петрова

В предвоенные годы по инициативе и под руководством В. П. Петрова коллектив археологов Украины подготовил материал к фундаментальному корпусу «Памятники культуры „полей погребений" последних веков до нашей эры и первых веков нашей эры на территории УССР». Задачей этого многотомного издания являлась полная публикация и интерпретация древностей латенской и римской эпох, среди которых основное место занимали зарубинецкие и черняховские памятники лесостепной Украины. К началу 1941 г. был отредактирован и подготовлен к печати первый том корпуса, посвященный общим проблемам исследования указанных древностей, картографированию памятников, а также публикации коллекций Киевского государственного исторического музея (КГИМ). Помимо статьи С. В. Коршенко о Черняховском могильнике корпус включал серию статей о материалах из раскопок и сборов в окрестностях различных пунктов Среднего Поднепровья, в том числе и сделанное В. П. Петровым описание обширной коллекции фибул латенского и римского времени, иллюстрированное рисунками и фотографиями более чем 300 предметов (Научный архив ИА АН УССР, ф. 12, № 40—48; ф. 16, № 33, 34, 53, 60, 85).

Часть этой коллекции и поныне хранится в КГИМ, но многие уникальные предметы во время войны оказались утраченными. Война воспрепятствовала выходу в свет подготовленного корпуса, и лишь частично материалы были использованы в послевоенных публикациях. К сожалению, текст статьи о фибулах не сохранился, но в архиве В. П. Петрова, переданном после смерти ученого в Институт археологии АН УССР, имеются подготовительные рисунки и фотографии [1]

Среди них привлекают внимание изображения трех фибул крайне редкого и необычного типа для древностей Украины (Научный архив ИА АН УССР, ф. 16, № 60, фото 1—2, 7—8; 25—26; 34—55). Судя по фотографиям, это фибулы из цветных сплавов, с шарнирными креплениями игл, оси которых продеты во втулки, образованные загнутыми краями головок. Спинки их пластинчатые, круто изогнутые в профилях, «дуговидные», подтреугольные в плане, украшенные композициями из рельефных валиков и прорезей. Ножки узкие, короткие, с небольшими пластинчатыми приемниками. Обнаружение таких застежек в Поднепровье столь неожиданно, что ставит вопрос о далеких западных кон-

[1] Фотографии рассматривающихся в данной статье фибул были обнаружены Е. Л. Гроховским, предоставившим их рисунки, архивные данные и описания в распоряжение автора, за что последний приносит ему глубокую благодарность.

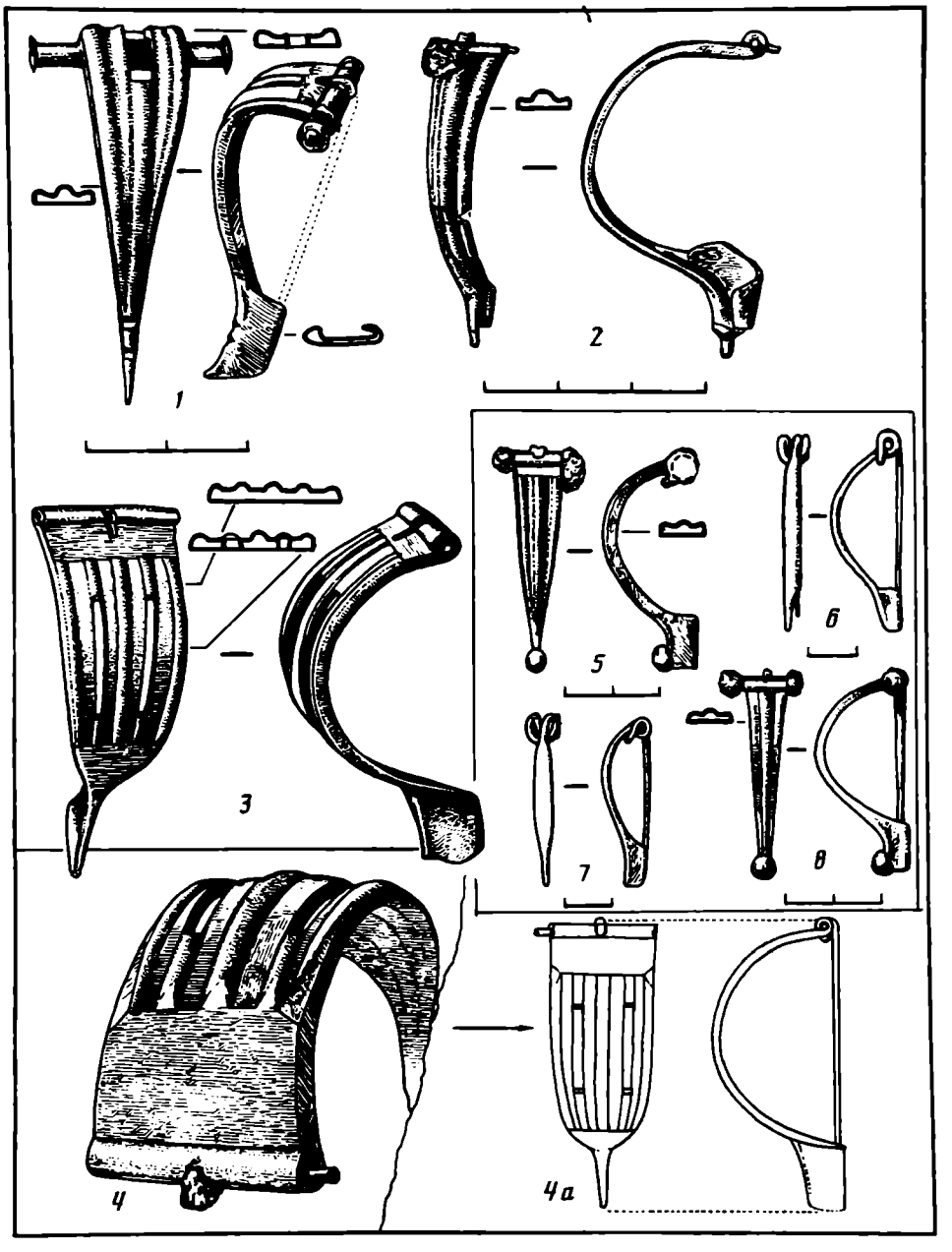


Рис. 1 Фибулы типа «Алезия» из Среднего Поднепровья и фибулы из могильника Николаевка на нижнем Днепре. *1*—Научный архив ИА АН УССР, ф. 16, № 60, фото 1—2, 7—8; *2*—там же, фото 25—26; *3* — там же, фото 54—55; *4* — по рисунку из альбома Ф. Ф. Кундеревича, Научный архив ИА АН УССР, ф. 14, № 101, ломаной линией показан обрыв таблицы; *4а* — реконструкция фибулы из коллекции Ф. Ф. Кундеревича; *5* — Николаевка, могила 98, погр. 4; *6* — там же, погр. 2; *7* — там же, из заполнения могилы; *8* — Николаевка, могила 79. *1—3* — прорисовки по фотографиям из архива В. П. Петрова

тактах населения этого региона. Поэтому трем фибулам мы решили посвятить специальную статью.

К сожалению, сведений о конкретных пунктах и условиях их находок обнаружить пока не удалось, музейные номера на снимках неразличимы. Однако принадлежность фибул к данному географическому региону несомненна. Все определимые фибулы других типов, помещенные на снимках В. П. Петрова, как сохранившиеся в музейных фондах, так и утраченные, но идентифицированные по инвентарным номерам, различным на фото, происходят исключительно из

разных пунктов лесостепного Поднепровья, преимущественно с территории бывших Киевской, Полтавской и отчасти Черниговской губерний. Сам принцип подбора иллюстраций к корпусу предполагал выбор вещей, найденных в ареале «полей погребений», который, по довоенным представлениям, в основном приходился на Среднее Поднепровье.

Негативы описанных фотографий разыскать пока не удалось, а качество снимков непригодно для документального воспроизведения, поэтому мы публикуем прорисовки, выполненные по снимкам художником П. Л. Корниенко.

Фибула 1 (рис. 1, *1*). Игла утрачена. Корпус подтреугольный в плане. Головка широкая со втулкой, где различима ось иглы с шишечками-ограничителями на концах. Спинка пластинчатая, рифленая, с продольными желобками и валиками, образующими композицию, повторяющую очертания треугольного корпуса. В широкой части спинки вырезано продольное отверстие. Профиль спинки асимметричный, крутой у головки и более плавный у перехода к ножке. Ножка рифленая, с поперечными бороздками и валиками, несколько загнутая на конце. Приемник короткий, подпрямоугольный. Судя по масштабу на фото, длина фибулы около 52, ширина головки 15 мм.

Фибула 2 (рис. 1, *2*). Игла не сохранилась. Корпус более узкий, меньших размеров. Спинка с отчетливой дуговидной профилировкой, с продольным рельефным валиком, ограниченным двумя желобками по краям. Ножка с маленькой шишечкой на конце. Приемник короткий, подтреугольный, длина около 23, ширина головки 10 мм. Высота спинки в профиле 12 мм.

Фибула 3 (рис. 1, *3*). Игла также утрачена. Корпус крупнее и шире, нежели у фибул 1, 2. Головка украшена поперечными желобками и валиками. Спинка «парусовидная», с продольными бороздками и валиками. Средний валик, наиболее выразительный и высокий, ограничен по сторонам двумя продольными прорезями. Переход к ножке резкий, приемник короткий. Длина фибулы около 23, ширина головки 18 мм. Фибула, аналогичная этой, изображена на акварельном рисунке вещей из коллекции Ф. Ф. Кундеревича (Научный архив ИА АН УССР, ф. 14, № 101). К сожалению, край таблицы оборван и часть рисунка с ножкой утрачена. К тому же он ракурсный, и отчетливо не выявлены отверстия на спинке, так как краски несколько расплылись. Поэтому тождество предметов на рисунке и фотографии установить сложно. Но учитывая, что коллекция Кундревича после революции поступила в КГИМ, такое отождествление не исключается.

Описанные фибулы настолько характерны и выразительны во всех своих деталях, что типологически хорошо определяются и по фотографиям. Их можно отнести к так называемому типу «Алезия» выделенному в западноевропейской литературе и названному по кельтскому оппидуму Алезия, где произошла последняя битва восставших галлов Верцингеторикса с легионами Юлия Цезаря. Здесь раскопками 1871 г. был раскрыт ров с останками павших в битве воинов вместе со всей их экипировкой. Все найденные вещи были в употреблении в 52 г. до н. э., и Алезия считается одним из самых надежных пунктов, имеющих твердую абсолютную дату в системе относительной хронологии европейских древностей.

Впервые на интересующий нас тип обратил внимание О. Альмгрен в 1913 г. в специальной публикации фибул из Алезии [1]. В дальнейшем большинство специалистов рассматривали эти фибулы как один из вариантов «шарнирных дуговидных фибул» (Scharnierbogenfibel) или как один из вариантов типа «Ауцисса» [2].

---

[2] Правильнее было бы, наверное, называть их «аукисса», потому что именно так должна была бы произноситься в I в. до н. э. имеющаяся на некоторых из них надпись «AVCISSA». Так произносят это слово и европейские специалисты. Но мы сохраняем принятое в советской литературе написание.

Элизабет Эттлингер в своей капитальной работе по римским фибулам Швейцарии характеризует тип «Алезия» как «шарнирные фибулы с широкой пластинчатой спинкой» (Scharnierfibel mit breitem Blechbugel) и обозначает под № 28. Она рассматривает их или как разновидность самых ранних форм типа «Ауцисса» (№ 29, по ее классификации), или как две параллельные формы, восходящие к общему прототипу из среды пружинных застежек [2, с. 29—30].

В 1974—1975 гг. сразу два исследователя, работая параллельно и независимо друг от друга, обратились к изучению этих фибул. Сабина Рикхофф посвятила им большой экскурс в работе о фибулах римского лагеря Хюфинген [3], а Ален Дюваль — специальную статью [4]. Мнения их о датировке и происхождении этого типа разошлись, а работа Люсьена Лера по каталогизации всех фибул, найденных в Алезии, не принесла нового решения. Добавился еще один экземпляр, не известный А. Дювалю [5].

Уже О. Альмгрену было ясно, что фибулы типа «Алезия» в основном цезаревского времени и что сама шарнирная конструкция появляется в Галлии с приходом римлян. По данным С. Рикхофф, тип этот сложился на основе целой серии разнообразных застежек «отдельных форм» (Sonderformen), так или иначе содержащих элементы «Алезии» — треугольный корпус, шарнирную конструкцию, узкую ножку со сплошным приемником. Эти «отдельные формы» распространены в основном в Восточной Галлии, Северной Италии и Далмации, т. е. в районах, откуда рекрутировались или где действовали легионы Цезаря. Однако, по мнению исследовательницы, тип «Алезия» был создан в местной галльской среде еще до походов Цезаря.

Такое утверждение С. Рикхофф не случайно. Своей статьей она включалась в происходившую в 70-е годы дискуссию о хронологии позднего латена и раннего римского времени. Дело в том, что в ряде комплексов тип «Алезия» сочетается с пружинными наухаймскими фибулами [3, с. 22], тоже имеющими подтреугольную спинку и внешне напоминающими «Алезии». Наухаймские фибулы тогда датировали второй половиной I в. до н. э. [6]. Обоснованием этой даты служило отсутствие их в Алезии и обилие в материалах кельтского оппидума Манхинг в Баварии. Считалось, что оппидум был разрушен в 15 г. до н. э. во время оккупации Рэции римлянами, и это было отправной точкой для всех хронологических расчетов. Однако появилась серия статей, где этот тезис ставился под сомнение и доказывалось, что разрушение Манхинга произошло раньше, в связи с событиями 60—58 гг. до н. э. [7, 8]. Но тогда и наухаймские фибулы оказывались более ранними. Их отсутствие в Алезии объяснялось тем, что они женские и поэтому не попали в ров с телами воинов. С. Рикхофф поддержала идею ранней даты и внесла свою лепту в дискуссию [3, с. 28—32]. Заметила она также, что фибулы типа «Алезия» отсутствуют в лагерях, построенных Августом в 15—10 гг. до н. э. Так, в Оберхаузене среди 40 раннеримских фибул — 28 «Ауцисс» и ни одной «Алезии»; в Халтерне найдено 102 фибулы, одну треть составляют «Ауциссы» и нет «Алезий»; в Асберге — 298 фибул, и лишь одна «отдельная форма», близкая «Алезии»; та же картина в Дангштеттене: на 259 фибул всего дюжина переходных форм от «Алезий» к «Ауциссам» и т. д. [3, с. 22].

А. Дюваль подошел к проблеме происхождения фибул типа «Алезия» проще. Он считает их родиной Испанию, поскольку именно там раньше всего появилась и широко распространилась шарнирная конструкция фибул. В Галлию же они, по его мнению, безусловно попали вместе с легионерами Цезаря [4]. В Алезии они найдены не на самом оппидуме, а во рву римского лагеря у горы Реа [4, с. 67; 9, с. 90] На одной из них имеется изображение пальмовой ветви, кадуцея и латинская надпись AXI [4, рис. 4]. Имена людей именно с такой сигнатурой А. Дюваль находит в надписях Иберийского полуострова [4, с. 73]. Другая фибула из Алезии украшена изображениями взлетающего орла, дельфина и пучком молний Зевса — символами легионов со времен Мария [4, рис. 5]. Сочетание же всех трех символов вместе встречается лишь единожды — на

монетах, чеканенных проквестором помпеянской армии в Испании Варроном [4, с. 73—75]. Таким образом, связь находок в Алезии с римским воинским контингентом, возможно стоявшим до того в Испании, представляется вполне правдоподобной. Как известно, в 53 г. до н. э. Помпей «дружески» послал один из испанских легионов Цезарю (Цезарь. Галльские войны, 6, 1).

Число закрытых надежно датированных комплексов с фибулами типа «Алезия», по А. Дювалю, невелико, и они дают следующие даты: Тулуза — третья четверть I в. до н. э.; Губиаско — с монетой Октавиана 41—46 гг. до н. э.; могильник Педемонт — между 20 гг. до н. э. —10 г. н. э. В результате французский исследователь датировал эти фибулы второй половиной I в. до н. э. вплоть до начала I в. н. э. [4, с. 72].

В итоге можно сказать, что надежных прототипов не удалось отыскать ни тому, ни другому. Вопрос о происхождении фибул типа «Алезия» остается открытым. Позиция А. Дюваля в отношении обстоятельств их появления в Галлии выглядит убедительнее, если допустить, что застежки этого рода были распространены не столько в римской регулярной армии, сколько в среде галльских или испанских ауксиляриев. Хотя пик бытования наухаймских фибул и предшествует типу Алезия, но в цезаревское время они сосуществовали. Попадание их в одни комплексы неудивительно.

В отношении же верхней даты более убедительна позиция С. Рикхофф. Поскольку фибул типа «Алезия» нет в лагерях, построенных в ходе германской кампании 15—9 гг. до н. э., причем построенных легионами, переброшенными именно из Испании, можно думать, что застежки этого типа к 15 г. до н. э. уже вышли в их среде по большей части из моды.

В целом фибулы «Алезия» являются одним из проявлений широко распространенной моды на треугольные пластинчатые застежки, конструкция которых варьировала в зависимости от среды, где они бытовали. Это и упоминавшиеся наухаймские, и весьма своеобразные дакийские [10, рис. 27, 33, 34, 40], и наши зарубинецкие поздних вариантов [11] В римскую провинциальную солдатскую культуру эта латенская мода пришла с некоторым запозданием и выразилась в виде фибул типа «Алезия». Они имеют достаточно надежную узкую дату: появились где-то перед 52 г. до н. э. и были в ходу приблизительно до 15 г. до н. э., трансформировавшись постепенно за последние два десятилетия I в. до н. э. в тип «Ауциссы». У нас нет особых оснований думать о сколько-нибудь широком бытовании их ранее 50-х годов до н. э., за исключением, быть может, Испании, и позже рубежа новой эры, за исключением, быть может, Далмации, где З. Марич относит их к фазе Ub, датируемой 35 г. до н. э.— 10/20 гг. н. э. [12, с. 47—48, табл. XVIII, *7, 31, 41*].

Их распространение достаточно хорошо увязывается с политической ситуацией и передислокациями римских войск. С армиями Цезаря или Помпея они могли попасть в Грецию [13, табл. 65, *1142*] во время гражданской войны в 48 г. до н. э. Единственная находка в Румынии [14, с. 108, табл. 5, *11*] может оказаться свидетельством участия дакийских контингентов на стороне Марка Антония в войне против Октавиана в 31 г. до н. э. Во время завоевания Среднего Подунавья Тиберием в 15—12 гг. до н. э. они могли попасть на территорию современной Венгрии [14, с. 194, табл. 5, *12—13*] и Словакии [15, табл. X, 7], в том числе и к носителям пуховской культуры [16, рис. 3, *4*, с. 289]. За время бытования фибул типа «Алезия» у римлян было несколько столкновений с германцами, и находка такой фибулы в Дании не вызывает удивления [17, с. 36, рис. 8].

Конечно, пути проникновения этих вещей к варварам могли быть самыми разнообразными. Их связь непосредственно с историческими событиями отнюдь не обязательна, хотя и не исключена. Дальше догадок здесь пойти невозможно.

Каким же образом фибулы типа «Алезия» оказались в Среднем Поднепровье? Можно предположить по крайней мере четыре варианта.

1. Они могли быть занесены во время рейда Марка Красса Младшего в глубь территории бастарнов в 29 г. до н. э. Это еще не означает, однако, что легионы Красса достигали и Среднего Поднепровья.

2. Фибулы могли попасть и через сарматов, впервые прорвавшихся через дунайскую границу империи в 16 г. до н. э. Не являются ли свидетельством их глубокого рейда по территории Мёзии находки ложечковидной норико-паннонской золотой фибулы с ажурным приемником в сарматском погребении «Соколова могила» на Южном Буге [18, рис. 5, *15*] и двух бронзовых той же группы из района Козырки близ Ольвии (экспозиция Археологического музея АН УССР, зал 2)? Об этом же, вероятно, могут свидетельствовать еще две находки фибул типа «Алезия» в Поднепровье (рис. 1, *5, 8*). Они обнаружены при раскопках некрополя Николаевского городища на Нижнем Днепре в могилах 79 и 98 [19, табл. II] При этом в склепе 98 фибула «Алезия» происходит из более раннего погребения (рис. 1, *5*), тогда как более позднее содержало пластинчатую дуговидную позднелатенскую «воинскую фибулу» (рис. 1, *6*). Следовательно, в Поднепровье интересующий нас тип застежек попадает не позднее, нежели здесь были в моде разные варианты «воинских» фибул, характерных и для зарубинецкой культуры.

3. Скорее всего именно носители этой культуры были последними владельцами публикуемых нами «Алезий» в Среднем Поднепровье. Зарубинецкая культура как раз переживала последнюю пору своего расцвета. Именно в это время обнаруживается ряд свидетельств о контактах с далекими областями Верхнего Подунавья и Порейнья. О них свидетельствуют, например, находки шарнирных щипцовых фибул [20, табл. 27, *2*], одна из которых обнаружена в погр. 152 Чаплинского могильника [21, рис. 47, *12*] По С. Рикхофф, щипцовые фибулы в зоне юго-восточных Альпийских предгорий, в верховьях Рейна и Дуная характеризуют «переходный горизонт» от этапа с наухаймскими фибулами, заканчивающегося событиями 60—58 гг. до н. э. (изгнание бойев и теврисков даками Буребисты, нашествие германцев Ариовиста и начало римского завоевания Галлии), к горизонту раннеримских лагерей, построенных в ходе первой германской кампании Августа (13—9 гг. до н. э.). К переходному горизонту, судя по корреляционной таблице С. Рикхофф, относятся и фибулы типа «Алезия». Датирует она его 60—20 гг. до н. э. [4, рис. 8, с. 30].

Автор предлагает именовать этот «переходный горизонт» ступенью A_1 римского времени, а следующий — ступенью A_2. Римское влияние тогда было ощутимо только на левом берегу Рейна и на правом берегу Верхнего Дуная. Остальная варварская Европа продолжала жить еще в эпоху латена D и «позднего предримского времени». Для нее римское время наступит лишь со ступенью B_{1a}, после договора царя маркоманнов Маробода с римлянами в 6 г. н. э., когда первая «чешская» волна римских импортов хлынула в Европу [22]. Для территории Словакии римское время наступит несколько позже, после краха Маробода в 19 г. н. э., со второй, «словацкой» волной импорта, а для территории Польши (и, вероятно, Украины) еще позже — в 40—60-х годах н. э. [23—25].

О контактах носителей зарубинецкой культуры во второй половине I в. до н. э. с варварами междуречья верхнего Рейна и Дуная свидетельствует еще одна находка — обломок ажурного поясного крючка второй группы, по классификации Т. Фойгта [26], из погр. 3 Субботовского могильника [27, табл. XXV, *1*]. Крючки эти во второй половине I в. до н. э. были широко распространены в междуречье Эльбы и Рейна, в Чехии и в Верхнем Подунавье (рис. 2).

Возможно, с этим же культурным импульсом связан переход носителей зарубинецкой культуры к фибулам позднелатенской конструкции, являющимся, с одной стороны, дериватом прогнутых центральноевропейских фибул вариантов M—N—O, по Ю. Костшевскому [28, рис. 23, 24], с другой стороны, напоминающим меньшей прогнутостью дужки и сплошным приемником простые одночленные «проволочные» римские фибулы упомянутой ступени A [4, рис. 4].

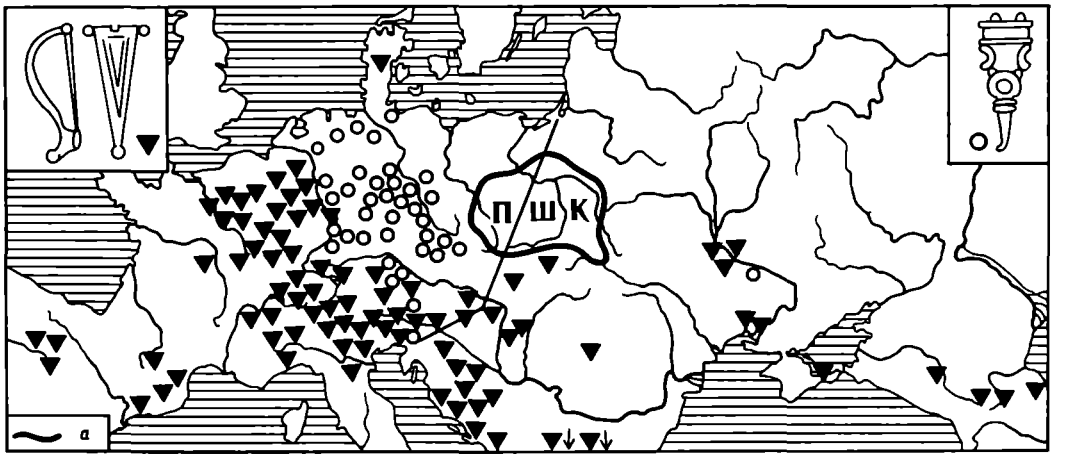


Рис 2. Схема распространения фибул типа «Алезия» (по С. Рикхофф, с добавлениями автора) и поясных ажурных крючков (по Т Фойгту) *ПШК* — пшеворская культура; *а*—янтарный пу

Осуществлялись эти контакты и позже, непосредственно на рубеже эр и в первые десятилетия I в. н. э. Они фиксируются находками так называемых «фибул бойев» в Велемичах [29, рис. 19, *23, 24*], фибулами «Альмгрен 68» в Грищинцах [30, рис. 8, *5*], а также фибулой «Альмгрен 236» в Марьяновке и «Ауциссой» в Рахнах на Южном Буге [31, рис. 3, *13*, 7, *2*], и длинной восьмерковидной пряжкой типа U, по К. Раддатцу [32], в Почепе [33, рис. 14, *23*]

Автор уже высказывал предположение, что перечисленные факты могут объясняться попытками жителей Верхнего и Среднего Подунавья найти обходной путь по Днепру — Березине — Неману за прибалтийским янтарем, минуя территорию пшеворской культуры [34], которая по каким-то причинам на поздних стадиях «позднего предримского времени», синхронных в данном случае ступени B_{1a} более южных районов, представляла собой замкнутое культурное единство без выраженных южных связей. Традиционный янтарный путь оказывался перекрытым [23, с. 145—146]

Ситуация изменилась лишь к середине I в. н. э.: зарубинецкая культура пострадала от сарматского нашествия, и обстановка в Поднепровье сложилась, вероятно, напряженная [35] Буферное «государство» Ванния на территории Словакии было разбито северными соседями гермундурами и лугиями (Тацит. Анналы, XII, 29, 30), вошедшими в непосредственный контакт с римлянами. Затем нероновской администрации путем специальных дипломатических усилий удалось возобновить торговлю по старому янтарному пути (Плиний, XXXVII, 45) [36, 37] Необходимость поиска обходных путей отпала.

Некоторые наблюдения типологического характера позволяют в какой-то мере уточнить и возможное время попадания фибул типа «Алезия» в Среднее Поднепровье. Если все три фибулы — результат одного и того же культурного импульса, то попали они сюда уже в конце существования этого типа. Из них лишь одна (№ 1) представляет классический вариант «Алезий». Две другие несут на себе черты, свойственные уже фибулам типа «Ауцисса». Треугольная форма спинки уже не так выражена, прогиб ее более симметричен, у одной из них (№ 3) отчетливо выделена пластинка на головке, где позже появится надпись. Продольные прорези на спинке характерны для варианта «Ауцисс», называемых типом «Багендон» и относящихся к I в. н. э. [38, с. 61, рис. 23, *10*] Таким образом, можно допустить, что фиксируемый публикуемыми фибулами контакт обитателей Среднего Поднепровья с далеким западом приходится на 20—10-е годы I в. до н. э.

4. На этом загадки распространения фибул типа «Алезия» не кончаются. Целая серия их засвидетельствована в Осетии и Дагестане [20, табл. 4, *22, 23*,

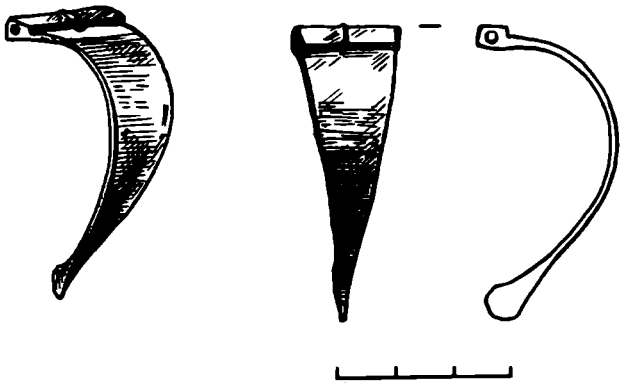


Рис. 3. Фибула из кург 1 Зубовского хутора

с. 27] Та же треугольная спинка с продольным рифлением, та же шарнирная конструкция («с откидной иглой»).

Условия находки их в Камунте и Кумбулте неизвестны, а ряд экземпляров из Карабудахкентского могильника К. Ф. Смирнов [39] и А. К. Амброз относили ко II—III вв. н. э. Подозревать конвергентное возникновение и развитие такой формы и конструкции трудно, и встает вопрос о пересмотре начальной даты этого могильника, тем более что большая часть интересующих нас фибул происходит из разрушенных погребений — из «слоя могильника» [39, с. 171, рис. 4, *53, 157,* 37, *5*]. Или их положение в погребении неопределенно [39, с. 214, рис. 39, *130*] Но тогда возникает вопрос и о пересмотре ранней даты причерноморских сильнопрофилированных фибул варианта 1—3, по А. К. Амброзу [20, с. 41], поскольку одна из них найдена в Карабудахкенте вместе с «Алезией» [39, рис. 38, *110, 111*]. Или же придется допустить, что здесь мы имеем дело с переживанием и более поздней имитацией провинциально-римских застежек. Их различает и одна мелкая деталь: у галльских трубочка для крепления оси шарнира чаще загнута вниз, а у кавказских вверх. Имеются, впрочем, и исключения.

Можно лишь догадываться, каким образом застежки плащей римских ауксиляриев попали на Кавказ. Их не было еще во время митридатовских войн и операций на Кавказе Помпея в 66—63 гг. до н. э., и они уже вышли из моды к тому времени, когда с середины I в. н. э. присутствие римлян на Боспоре и Кавказе становится ощутимым. Остаются две возможности: или неудачный парфянский поход Марка Антония в 36 г. до н. э., действовавшего в северной Армении, или попытка Митридата Пергамского, союзника и друга Юлия Цезаря, захватить в 46 г. до н. э. боспорский трон, предназначенный ему диктатором. Войско Митридата, куда могли входить и вспомогательные соединения цезаревской армии, было разбито в горах Кавказа боспоритами и местными племенами.

Вероятно, с последними событиями можно было бы связать и находку в Пантикапее в кургане Ак-Бурун еще одной фибулы типа «Алезия», золотой, с крупным шаром на конце ажурной ножки. Близкая аналогия ей — в Мон Берни во Франции [4, рис. 2, *5*]. Включение этой фибулы, хранящейся в Античном отделе Особой кладовой Эрмитажа (Инв. № АК-Б. 13), в состав комплекса IV в. до н. э. из Ак-Буруна, очевидно, результат недоразумения.

Еще одна бронзовая фибула типа «Алезия» (рис. 3) оказалась в комплексе известного Зубовского кургана на Кубани [40, с. 94—100] (Инв. № ГЭ ОИПК 2234/22).

Е. Л. Гороховский, изучая пути поступления римских провинциальных фибул в Северное Причерноморье, заметил, что самые ранние из них — «Ауциссы», круглые и ромбические броши, фибулы «Альмгрен 67 и 236» («Алезии» в этом контексте не рассматривались) — сосредоточены по преимуществу на

Кавказе и Боспоре. В Крыму, Ольвии и Тире они единичны. Первая стадия проникновения римских фибул датируется им первой половиной — серединой I в. н. э. [41]. В таком случае римские вещи, найденные в Среднем Поднепровье, могли попасть туда и кружным путем: они были занесены сарматами, победившими около середины I в. н. э. племена зарубинецкой культуры и занявшими часть их земель. В сарматских погребениях Среднего Поднепровья римский импорт представлен достаточно обильно [35, 42]. Если учесть введение римских войск в Пантикапей в 45 г. н. э. и участие их в аорсо-сиракском конфликте 49 г. н. э. (Тацит. Анналы, XII, 15), то такое предположение о пути проникновения импорта становится достаточно реальным. В движении на запад могли участвовать и те сарматские группировки Северного Кавказа, где уже употреблялись и имитировались полученные ранее фибулы типа «Алезия».

Ни одна из четырех предложенных версий пути попадания фибул типа «Алезия» в Среднее Поднепровье еще не может удовлетворить нас полностью. Автор, однако, и не ставил перед собой такой задачи. Он хотел лишь привлечь внимание исследователей к этим интересным находкам и к связанным с ними проблемам, в частности к вопросу о далеких западных связях зарубинецкой культуры на рубеже нашей эры.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Almgren O.* Fibules d'Alesia et de Bibracte // Opuscula Archeologica. Oscari Montelio septuagenario digata. Halmiai, 1913.
2. *Ettlinger E.* Die römische Fiibeln in der Schwiz. Bern, 1973.
3. *Rieckhoff S.* Münzen und Fibeln aus dem Vicus des Kastells Hüfingen // Saalburg Jahrb. 1975. B. 32.
4. *Duval A.* Un type particuler de fibule gallo-romaine précoce: la fibule «Alesia» // Antiquite Nationales. 1974. V. 6.
5. *Lerat L.* Les fibules d'Alesia. Dijon, 1979.
6. *Werner J.* Die Naucheimer Fibel // JRGZM. 1955. Jg 2.
7. *Glusing P.* Frühe Germanen südlich der Donau. Zu ethnischen Deutung der spätlatènezeitlichen Grabfunde von Uttenhoffen und Kronwinkl in Niederbayern // Offa. 1964—1965. B. 21—22.
8. *Christlein R.* Datierungsfragen der spätlatènezeitlichen Brandgräber Südbayerns // Bayerische Vorgeschichtsbl. 1964. Jg 29. Hf. 1—2.
9. *La Gall J.* Alesia. Archeologie et histoire. Fayard, 1963.
10. *Florescu R.* Arta Dacilor Bucureşti: Editura Merediana, 1968.
11. *Каспарова К. В.* О фибулах зарубинецкого типа // АСГЭ. 1977 Вып. 18.
12. *Marič Z.* Japodske necropole u dolini Une // Glasnik zemalskogo Musea Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Archeologia. N. S. 1968. Sv. 23.
13. *Furtwangler A.* Die Bronzen und übriegen kleineren Funde von Olympia // Olympia. 1890. B. 4.
14. *Patek E.* Verbreitung und Herkunft der römischen Fibeltypen in Pannonien. Budapest, 1942.
15. *Lamiová-Schmiedlová M.* Spony z doby rimskey na Slovensku // Študijne zvesti AUSAV 1961. Č. 5.
16. *Pieta K.* Zu Besiedlungsproblem in der Slowakei an der Wende der Zeitrechnung. Symposium: Ausklang der Latène-Zivilization und Anfänge der Germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet. Bratislava, 1977
17. *Klindt-Jensen O.* Foreign Influences in Denmark's Early Iron Age. København, 1949.
18. *Ковпаненко Г. Т.* Сарматское погребение в Соколовой могиле (предварительная публикация) // Скифия и Кавказ. Киев: Наук. думка, 1980.
19. *Сымонович Э. А.* Отчет о работах Тилигуло-Днепровского отряда Института археологии АН СССР. Николаевский могильник на Нижнем Днепре // Архив ИА АН УССР Ф. 3. 1969/67. № 5569.
20. *Амброз А. К.* Фибулы юга европейской части СССР // САИ. 1966. Вып. Д1-30.
21. *Поболь Л. Д.* Славянские древности Белоруссии (могильники раннего этапа зарубинецкой культуры). Минск, 1973.
22. *Wołągiewicz R.* Naplyw improtów rzymskich do Europy na pólnoc od środkowego Dunaju // Archeol. Polski. 1970. T. 15. Z. 1.
23. *Liana T.* Ksztaltowanie sie stylu B_1 w kulturze przeworskiej // ZNUJ. 1976. T 422. Prace Archeol. Z. 22.
24. *Dąbrowska T.* Początek okresu wpływów rzymskich w Polsce Wschodniej // ZNUJ. 1976. T 422. Prace Archeol. Z. 22.
25. *Каспарова К. В.* Зарубинецкая культура в хронологической системе культур эпохи латена // АСГЭ. 1984. Вып. 25.

26. *Voigt T* Zwei Formengruppen spätlatènezeitlicher Gürtel // JMV 1971. B. 55.
27 *Максимов Е. В.* Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. Киев: Наук. думка, 1972.
28. *Kostrzewski J.* Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit // Mannus-Bibliothek. 1919. № 18—19.
29. *Каспарова К. В.* Зарубинецкий могильник Велемичи II // АСГЭ. 1972. Вып. 14.
30. *Петров В. П.* Зарубинецкий могильник (По материалам раскопок В. В. Хвойки) // МИА. 1969. № 70.
31. Хавлюк П. І. Пам'ятки зарубинецької культури на Побужжі // Археологія, 1971. Вип. 4.
32. *Raddatz K.* Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmuck // Offa-Bücher. 1957. B. 13.
33. *Заверняев Ф. М.* Почепское селище // МИА. 1969. № 160.
34. *Щукин М. Б.* Зарубинецкая культура, янтарный путь и венеды // Краткие тез. докл. науч. конф. Отд. истории первобытной культуры «Контакты и взаимодействия древних культур». Л., 1981.
35. *Щукин М. Б.* Сарматские памятники Среднего Поднепровья и их соотношение с зарубинецкой культурой // АСГЭ. 1972. Вып. 14.
36. *Okulicz J.* Powiązania pobrzeża wschodnieigo Baltiku i centrum sambijskego z poludniem w podokresie wczesnorzymskim // ZNUJ. 1976. T. 422. Prace Archeol. Z. 22.
37. *Kolnik T.* Rimski napis z Boldogu // SlA. 1977. R. 25—2.
38. *Collis J.* Defended Sites of the Late La Tène // BAR. 1975. Suppl. Ser. 2.
39. *Смирнов К. Ф.* Грунтовые могилы албано-сарматского времени у села Карабудахкент // Материалы по археологии Дагестана. Т. 2. Махачкала, 1961.
40. Раскопки курганов на Зубовском хуторе Кубанской области // ИАК. 1901. Вып. 1.
41. *Гороховский Е. Л.* Римские провинциальные фибулы в Северном Причерноморье (хронология и периодизация) // Проблемы исследования Ольвии. Тез. докл. и сообщений семинара. Парутино, 1985.
42. *Симоненко А. В.* Сарматы в Среднем Поднепровье // Древности Среднего Поднепровья. Киев, 1981.

M. B. Shchukin

FIBULAE OF THE ALEZIA TYPE IN THE MIDDLE DNIEPER AREA AND SOME OF THE PROBLEMS OF THE ROMAN-BARBARIAN CONTACTS AT THE TURN OF A. D.

Summary

The author publishes three fibulae known from the photographs from V. Petrov's archives who, before the Second World War, collected materials of the Roman time in the Middle Dnieper. Nobody knows where the original fibulae are found. They were popular between 52 and 15 B. C. with Gaulic and Spanish auxilaria of the Roman army from whom barbarians got them. The fibulae might have gotten to the Dnieper basin by one of four ways: (1) during Mark Crassus' march inside the Bastarnae territory in 29 B. C.; (2) through the Sarmatae who in 16 B. C. broke through into the Empire territory; (3) through the population of the Upper and Middle Danube which in the second half of the 1st century B. S. were reconnoitering a new amber route to avoid the territory of the Przeworsk culture; (4) with the westward movement of the Caucasian Sarmatae who, in their turn, got the fibulae when the army of Mithridates of Pergamum was defeated in 46 B. C.

М. В. ФЕХНЕР

БОБРОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ В ВОЛГО-ОКСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ

Речной бобр является самым крупным из всего отряда грызунов. Длина его несколько более метра, средний вес составляет 18—20 кг. Этот массивный неуклюжий зверь, неповоротливый на суше, замечательно приспособлен к водной среде, легко и быстро плавает, прекрасно ныряет. Живут бобры предпочтительно по медленно текущим рекам с богатой прибрежной древесной, кустарниковой и водной растительностью, с берегами, приспособленными для рытья земляных нор и сооружения «хаток» из ветвей, ила и земли. Основной их пищей являются побеги и кора мягких лиственных пород — осины, ивы, березы, тополя.

Бобры издавна были объектом охотничьего промысла. Уже в памятниках эпохи неолита, где определен остеологический материал, кости бобра найдены в значительном количестве. Так, в междуречье Оки и Волги на стоянках Владыченская Береговая, Черная Гора, Володары костные остатки бобра составляют от 6,2 до 13, 9% общего количества находок. На стоянке Володары, что следует особо подчеркнуть, кости бобра найдены в слое охры ритуального клада рядом с горшком и кремневым ножом, а в ритуальном захоронении на той же стоянке находилась булавка, изготовленная из локтевой кости бобра [1; 2, с. 424; 3] На стоянке Сахтыш I в землянке обнаружен горшок, наполненный черепами бобров, рядом с которым лежал еще один череп с вонзившимся в него гарпуном, а на святилище стоянки Сахтыш II находился полностью сохранившийся скелет бобра [4; 5, с. 84, 85]

Обстоятельства находок бобровых костей на перечисленных стоянках указывают, что бобр для многих неолитических племен являлся не только объектом охоты, дающим много мяса и теплые шкуры, но и почитаемым животным. Об этом свидетельствуют также миниатюрные скульптуры плывущих бобров, места находок большинства которых приходятся на бассейн Волги: стоянки Сахтыш I и Панфилово, близ Казани и Пензы. Аналогичные фигурки известны и на территории Прибалтики [6, с. 93, 100, рис. 4,9; 7, с. 104, 106, рис. 1,3; 8, табл. 6, 7, 9]

В этих скульптурах схематично, но четко переданы характерные особенности бобра: относительно небольшая с закругленной мордой голова, маленькие уши, едва выступающие из густой шерсти, короткая мало заметная шея, широкие короткие лапы и плоский лопатообразный хвост — один из наиболее ярких признаков грызуна (рис. 1, *1, 2*). Почти лишенный волос и покрытый роговыми пластинами, он служит рулем при плавании. Громко шлепая им по воде, зверь предупреждает об опасности. Набитый жиром хвост используется как подстилка, предохраняющая от холода [9, с. 7, 11, 23, 24]

Культовый характер этих скульптур в настоящее время не вызывает сомнений [6, с. 100]. Почитание бобра связано с его большим значением в хозяйстве неолитических племен, охота на него значительно легче, чем на других пушных зверей. Поселения, как известно, были расположены вблизи водных артерий, и для охотников обнаружить колонии бобров не представляло значительного труда. Такого беспомощного зверя, как бобр, застигнутого врасплох, легко можно было убить любым орудием, а также выбить целиком все бобровое семейство, состоящее нередко из двух-трех поколений. Однако такая примитивно-промысловая охота привела бы к полному истреблению бобров из-за их оседлости, малой подвижности и относительно слабой размножаемости: на самку в среднем

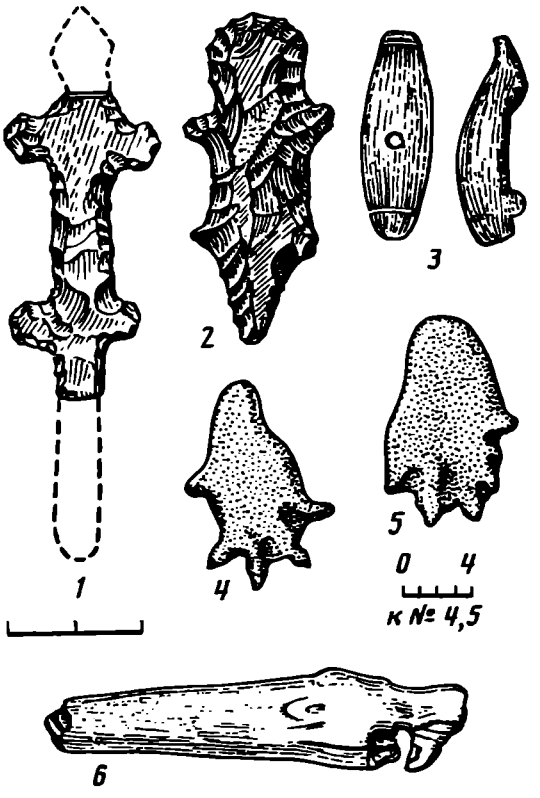


Рис. 1 Изделия из кремня и рога, изображающие бобров и глиняные перепончатые задние лапы бобров

приходится в год по два щенка. Равновесие в использовании естественного прироста промыслового зверя неизбежно нарушается, если не принимаются меры к его охране и размножению.

В обстоятельной монографии о речных бобрах Северной Азии В. Н. Скалон пришел к обоснованному заключению, что уже издавна принимались меры к охране бобра. Видимо, существовали какие-то запреты относительно сроков охоты на него, без чего эти грызуны на рассматриваемой территории были бы полностью истреблены [10, с. 105, 106]

Уже на поселениях дьяковской культуры бассейна Оки и Верхней Волги прослеживаются элементы охотничьего хозяйства, т. е. организованной, регламентированной какими-то правилами добычи бобров. Так, на Старшем Каширском городище и на городище близ Калязина, обитаемых несколько веков подряд, кости бобра в течение всего этого времени неизменно занимали первое место среди костных остатков пушных зверей. Это свидетельствует, с одной стороны, что для населения городищ бобры являлись постоянным объектом охоты, а с другой — что эта охота, несомненно, была ограничена сроками и способами лова, так как без этих мер бобры еще в самом начале существования данных поселений исчезли бы из пределов досягаемости их обитателей [10, с. 105; 11, с. 38, 104, 105; 12, с. 64] Следует отметить, что на Старшем Каширском городище кости бобра встречены не в пищевых отбросах, а находились в землянках, что указывает на придание им особого значения. Культ бобра, вера в его сверхъестественные свойства и ведение бобрового хозяйства перешли к финно-угорским племенам последующей эпохи.

Две роговые подвески в виде плывущих бобров найдены в культурном слое поселения X в. у д. Городище на берегу Шексны, где бобровый промысел имел важнейшее значение (рис. 1, *3*). За пять сезонов раскопок на этом памятнике кости бобров составили до 97% всех найденных костей диких животных. Эти подвески-амулеты, близкие стилистически и по размерам, сделаны в косторезной мастерской здесь же на поселении [13, с. 26]

К этому же времени относятся обнаруженные в Тимеревском могильнике близ Ярославля три скульптуры в виде головы бобра, которые завершают круглые роговые стержни. С предельной точностью изображена голова зверя с мощными резцами по два в каждой челюсти, составляющими одну из интереснейших особенностей грызуна. Они настолько велики, что выступают наружу, даже когда рот у бобра закрыт (рис. 1, *6*) [14, с. 87, рис. 52]

С почитанием бобров связаны также амулеты-обереги из просверленных его астрагалов. Их носили среди нагрудных украшений и цельными ожерельями, а также подвешенными к поясу. Такие амулеты типичны для финно-угорских племен Прикамья и Приуралья, частой находкой они являются и в погребениях Прибалтики.

Не может быть поставлено под сомнение и культовое значение глиняных бобровых лап из курганов IX — начала XI в. в окрестностях Ярославля, Ростова, Переяславля-Залесского, Юрьева-Польского, Суздаля и Старицы (рис. 1, *4, 5*) Одна лапа случайно находилась в одном из погребений Шестовицкого могильника [14, с. 87, 88; 15, с. 116; 16, с. 188—190; 17, с. 86] Из приведенной локализации находок лап вытекает, что они являлись элементом финно-угорской культуры (рис. 2).

В археологической литературе последних лет вновь поднят вопрос об идентификации глиняных лап: что представляют они — конечности медведя или бобра [18, с. 20—28]

В начале 40-х годов Н. Н. Воронин, располагая в то время небольшим количеством находок лап, на основании этнографических данных о медвежьем культе, характерном для ряда северных народов Европы и Азии, считал эти глиняные поделки изображениями лап медведя [19, с. 49, 50] Данная точка зрения, широко распространенная в течение многих лет, не вызывала сомнений у историков и археологов. Однако за последние 25 лет число находок лап резко возросло и они были детально обследованы А. Н. Формозовым, большим знатоком млекопитающих, и Е. Г. Андреевой, которая ряд лет работала с бобрами в Воронежском заповеднике. По таким типичным для этих грызунов признакам, как веерообразное расположение пяти сильно развитых пальцев на лапах, из которых передние напоминают детскую руку, и наличие широкой плавательной перепонки между пальцами задних лап, исследователи пришли к заключению, что эти глиняные изделия без сомнения являются изображениями конечностей бобров.

Что же касается медвежьих лап, то строение их сильно отличается от бобровых. Они массивнее и длиннее; пять пальцев, менее подвижных, чем у бобра, расположены на одном уровне, и плавательная перепонка между ними отсутствует.

Несмотря на определение зоологов, традиционная точка зрения, связывающая глиняные лапы с культом медведя только на основе этнографических данных, к сожалению, не искоренена и проявляется еще до сих пор в некоторых работах [20, с. 38, 39].

В настоящее время общее количество найденных лап равно 113. Принимая во внимание, что глиняные лапы обычно не обжигались или же подвергались слабому обжигу и находились исключительно в трупосожжениях, можно предполагать, что в могильниках действительное их число было значительно большим. Из общего числа находок 92 лапы обнаружены в Ярославских курганах, в том числе в Тимереве, в одном из наиболее хорошо сохранившихся и изученном памятнике этого времени. В 63 курганах найдены в целом и фрагментарном виде

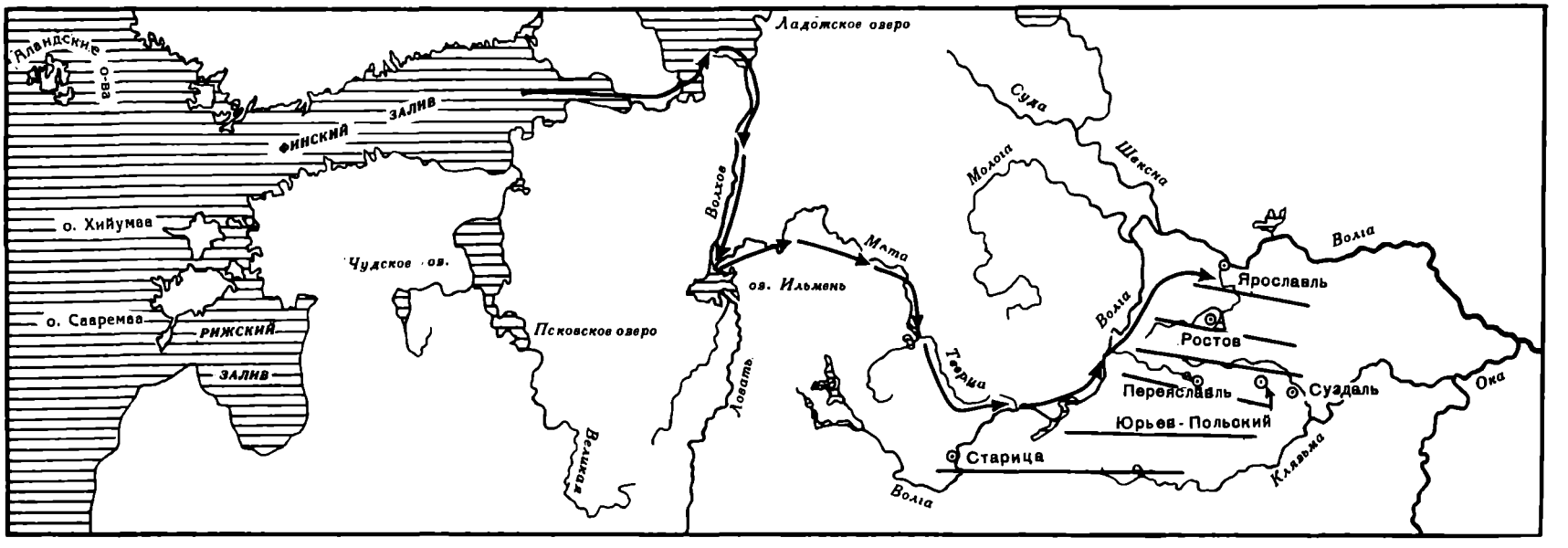


Рис. 2. Схема распространения глиняных лап на северо-востоке Руси

68 экз., что доказывает широкое распространение бобровой охоты среди местного населения.

Нахождение бобровых лап только в погребениях, где они, имея ритуальное значение, занимали особое положение, дает основание предполагать их связь с промысловым культом — особой формой почитания животных, развитым у многих племен, занятых охотничьим промыслом [21, с. 44] Лапы, очевидно, являлись своеобразным талисманом, приносящим охотнику удачу на промысле. Их находили преимущественно в мужских захоронениях, но они встречаются и в погребениях женщин и детей, в той или иной мере связанных с охотой на бобра и обработкой шкур.

Судя по материалам ярославских могильников, действовавших около 150 лет, в течение которых погребения содержали большое число глиняных лап, а обнаруженные в них кости бобра занимали первое место среди костных остатков диких животных, можно заключить, что население, оставившее эти памятники, занималось правильно организованным бобровым хозяйством, ограниченным в интересах сохранения бобровых угодий определенными, выработанными веками сроками и способами лова. Процветание этой отрасли хозяйства было возможно лишь при условии постоянной заботы и бережного отношения к объекту промысла. На это, в частности, указывает специальная статья «Русской Правды», касающаяся штрафа за кражу бобра в размере 12 гривен, т. е. в 4 раза превышающего штраф за кражу лошади [22, с. 434].

Продукция бобрового хозяйства использовалась как для внутрихозяйственных нужд и пищи, так и для экспорта в страны Востока и Средиземноморья. Мех и шерсть бобра относились к числу важнейших статей международной торговли. Особенно высоко ценилась бобровая струя, содержавшаяся в парных мешочках, связанных с половыми железами зверя. Обладая сильным стойким запахом и неприятным горьким вкусом, бобровая струя применялась в магических целях и как лечебное средство, помогающее от самых различных тяжелых недугов. Любопытно, что вплоть до первой половины XIX в. она сохранила значение чудодейственного лекарства.

В Кондо-Сосвинском водоразделе, по этнографическим данным, ханты и манси брали с собой на промысел порошки, полученные из высушенной бобровой струи. Они носили их в особой сумочке, куда обязательно помещали еще амулет (коготь рыси или медвежий зуб) и печенье в виде сушки или сдобного калачика [10, с. 156, 157] Это наводит на мысль, не являются ли загадочные глиняные кольца, встречаемые нередко в погребениях совместно с лапами, имитациями подобного печенья. Из 92 находок лап в ярославских курганах в 39 случаях они найдены вместе с глиняными кольцами.

Звериные глиняные лапы, полностью идентичные ярославским, известны кроме Волго-Окского междуречья еще на Аландских островах, расположенных в Балтийском море у входа в Ботнический залив. Здесь пролегал водный торговый путь из Скандинавии в Восточную Европу через Финский залив — Ладожское озеро — Волхов на Волгу и далее в страны востока; он играл большую роль в развитии русско-скандинавских отношений IX—X вв.

Известная финская исследовательница Э. Кивикоски, проводившая в Аландии обширные раскопки, нашла более чем в 10 могильниках 67 глиняных лап, еще одна обнаружена в Седерманланде — части Скандинавского полуострова, смежной с Аландским архипелагом.

Отмечая, что у наиболее хорошо сохранившихся лап четыре пальца расположены на одном уровне, а пятый стоит перпендикулярно к ним, Э. Кивикоски пришла к ложному заключению, что такая форма лап типична для Аландии и представляет собой специфический элемент местной культуры [23, с. 34, 50, 51].

Выше отмечалось, что подобной формы лапы являются одной из особенностей строения бобровых конечностей. Следует при этом принять во внимание, что Аландия никогда не входила в зону обитания речного бобра из-за отсутствия

там подходящих водоемов с прибрежными зарослями мелких лиственных пород — основного корма грызунов, а скалистые их берега непригодны для рытья земляных нор и постройки «хаток». В материковой же Финляндии, за исключением лишь ее северной части — Лапландии, бобровые поселения также не отмечаются [24, с. 37; 25, с. 285].

Итак, бобры были неизвестны населению Аландии, и связывать происхождение глиняных бобровых лап с Аландскими островами представляется необоснованным.

Мало убедительно также предположение И. В. Дубова, что глиняные лапы, которые он связывает с культом медведя, могли заменить в погребениях Аландии настоящие лапы из-за отсутствия там медведей, а в Волго-Окском междуречье — в связи с трудностями добычи этого зверя [18, с. 99].

Примечателен тот факт, что глиняные лапы обнаружены, с одной стороны, на Аландских островах в погребениях IX—X вв., с другой — в бассейне Верхней Волги в трупосожжениях того же времени. Он указывает на существование прямых контактов между населением двух областей. Это документировано в ярославских курганах и такими находками, характерными для Аландии, где в середине I тыс. н. э. сложилась фенно-скандинавская культура, как железные шейные обручи магического значения, фибулы различных типов, ланцетовидные стрелы, подкурганные каменные конструкции. Ряд погребений оставлен в ярославских кладбищах фенно-скандинавами. Они топографически не обособлены от захоронений местного населения Верхней Волги, среди которого они в рассматриваемое время жили, возможно в одних и тех же поселках. В некоторых из этих погребений предметы инвентаря и погребальная обрядность аландского происхождения сочетались с вещами, типичными для населения Ярославского Поволжья, в том числе с глиняными бобровыми лапами и кольцами. Последние в Аландии неизвестны.

Одной из причин, вызвавшей предполагаемое переселение части населения с Аландского архипелага на Северо-Восток Руси, по-видимому, явилась связь с бобровым промыслом, подобно тому как проникновение скандинавов из Средней Швеции в Аландию обусловлено было тюленьим промыслом, продукция которого, как и бобрового, высоко ценилась на международном рынке [26, с. 128, 129]

Контакты Руси с Аландией представляют значительный интерес при анализе русско-скандинавских отношений IX—X вв. Они отражают экономическую сторону этих связей.

Согласно нумизматическим данным IX—X вв., один из возможных путей следования аландских переселенцев проходил из Финского залива через Ладожское озеро по Волхову, оз. Ильмень и далее по рекам Мсте и Тверце в бассейн Верхней Волги [27, с. 106—108].

Промышляли бобров, видимо, поздней осенью, когда подрастал молодняк, что подтверждается грамотой 1391 г. митрополита Киприана крестьянам Константиновского монастыря: «... на бобры им в осенине поити ...» [28, № 201]. Не исключено, что охотились и зимой в декабре — феврале, как это наблюдалось в Сибири в XVII—XVIII вв. Это было время, по мнению фармакологов, наибольшего наполнения мешочков струей [10, с. 102]. Убитого зверя охотники тотчас же замораживали, кладя брюхом кверху, чтобы не вытекала драгоценная струя.

Небезынтересно отметить в связи с предположением об использовании собак в охоте на бобров, что из 78 ярославских захоронений с нерасчлененными тушками небольших собак типа лайки в 30 находились глиняные лапы. О ловле бобров при помощи собак сохранилось письменное свидетельство, правда более позднего времени,— уставная грамота Витовта 1453 г. Вскрыв жилище бобра, охотники пускали специально натасканных для этих целей собак, которые вытаскивали зверя наружу.

По совместным находкам лап с наконечниками стрел можно судить, что в бобров, очевидно, стреляли также из лука.

В эпоху раннего феодализма бобровый промысел, судя по находкам глиняных лап, прослеживается в Волго-Окском междуречье с конца IX — начала X в., достигая значительного развития во второй половине этого столетия. В ярославских могильниках найдено 6 лап в захоронениях конца IX и первой половины X в. (Тимерево, кург. 470, 83, 351а, 390; Петровское, кург. 73; Михайловское, кург. 7 — 1897 г.), 40 лап — в курганах второй половины X в. и рубежа X—XI вв. и 46— в погребениях, широко датируемых X в.

Значительная часть этих курганов (83%) являлась, видимо, захоронениями рядовых общинников с небогатым погребальным инвентарем, состоящим из железных поделок, отдельных бронзовых украшений, нескольких стеклянных бус, обломков глиняных сосудов и сравнительно небольшого количества жертвенных животных. Около 17% находок лап обнаружено в погребениях местной феодализирующейся знати второй половины X в. и рубежа X—XI вв., отличающихся от предыдущих погребений не только размерами кострищ, обилием и разнообразием видового состава жертвенных животных, но и характером погребального инвентаря. Фрагменты мечей, кольчуга, весы для малых взвешиваний и гири, предметы восточного и средиземноморского импорта (поясные наборы, бусы из стекла с металлической прокладкой и др.), найденные в них, подчеркивают особое экономическое положение погребенных, принадлежность их к определенной социальной группе населения; вполне допустимо, что среди них были владельцы лучших бобровых угодий. Как известно, в конце I и во II тыс. н. э. широко распространились феодальные ограничения права охоты, и богатые охотничьи угодья, в том числе и бобровые гоны, становятся собственностью князей и монастырей [29, с. 138, 139].

В заключение отметим, что бобровое хозяйство благодаря своей доходности, вместе с тем несложное в эксплуатации, играло заметную роль в жизни населения Волго-Окского междуречья. Эта отрасль хозяйства получила дальнейшее развитие и в последующие эпохи. В XIV—XV вв. на Клязьме и ее притоках насчитывалось до 25 населенных пунктов, основным занятием жителей которых являлся бобровый промысел [10, с. 116]

ЛИТЕРАТУРА

1. *Цветкова И. К.* Неолитические жилища на стоянке Володары // СА. 1958. Т. 1. Вып. 2.
2. *Цветкова И. К.* Скульптура лося с неолитической стоянки Володары // SIA. 1961. R. XII. Č. 2.
3. *Андреева Е. Г.* Фауна древней стоянки Черная Гора // Бюл. МОИП. 1974. Т 29.
4. *Крайнов Д. А.* Отчет Верхневолжской экспедиции за 1974 г // Архив ИА АН СССР. Р-1, № 5992.
5. *Крайнов Д. А.* Новые исследования стоянки Сахтыш II // КСИА. 1982. Вып. 169.
6. *Замятнин С. И.* Миниатюрные кремневые скульптуры в неолите Северо-Восточной Европы // СА 1948. Т. X.
7. *Крайнов Д. А.* Кремневые и костяные скульптуры со стоянок Верхнего Поволжья // Древняя Русь и славяне. М.: Наука, 1978.
8. Archeologija un Etnografija. Riga, 1970.
9. *Федюшин А. В.* Речной бобр, его история, жизнь и опыты по размножению. М., 1935.
10. *Скалон В. Н.* Речные бобры Северной Азии. М.; Л., 1951.
11. *Городцов В. А.* Старшее Каширское городище // Изв. ГАИМК. 1934. Вып. 85.
12. *Третьяков П Н.* Древнейшие городища Верхнего Поволжья // СА. 1947 Т. IX.
13. *Голубева Л. А.* Зооморфные украшения финно-угров // САИ. 1979. Вып. Е1-59.
14. *Фехнер М. В.* Предметы языческого культа // Ярославское Поволжье X—XI вв. М.: Сов. Россия, 1963.
15. *Плетнев В. А.* Об остатках древности и старины в Тверской губ. Тверь, 1903.
16. *Уваров А. С.* Меряне и их быт по курганным раскопкам. М., 1872.
17. *Бліфельд Д. І.* Давньоруські пам'ятки Шестовиці. Київ: Наук. думка, 1977
18. *Дубов И. В.* Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.
19. *Воронин Н. Н.* Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI в. // Краеведческие записки. Вып. IV Ярославль, 1960.

20. *Дубов И. В.* Глиняные лапы в погребальном обряде курганов Аландских островов и Волго-Окского междуречья // Новое в археологии СССР и Финляндии. Л.: Наука, 1984.
21. *Соколова З. П.* Культ животных в религиях. М.: Наука, 1972.
22. Русская Правда. Т. I. М.; Л., 1940.
23. *Kivikoski E.* Långangsbacken. Helsingfors, 1980.
24. *Майнандер К.* Биармы // Финно-угры и славяне. Л.: Наука, 1979.
25. *Кеппен Ф.* О прежнем и нынешнем распространении бобра в пределах России // ЖМНП. 1902, июль. Ч. 342. № 7.
26. *Kivikoski E.* Kvarnbäcken. Helsinki, 1963.
27 *Носов Е. Н.* Нумизматические данные о северной части Балтийско-Волжского пути конца VIII—X вв. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. VIII в. Л.: Наука, 1976.
28. Акты феодального землевладения и хозяйства XIV—XVI вв. Т. 1. М., 1951.
29. *Цалкин В. И.* Материалы для истории скотоводства и охоты в древней Руси // МИА. 1956. № 51.

M. V Fekhner

BEAVER HUNTING IN THE VOLGA-OKA INTERFLUVE

Summary

The archaeological material is used to trace down the emergence of beaver hunting among the Finno-Ugric population in the Oka and Volga interfluve. The author also touches on the problem of the cultural and economic ties between the Upper Volga and the Aland islands in the late 9th and 10th centuries.

А. Е. ЛЕОНТЬЕВ

ТИМЕРЕВО. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА

Комплекс раннесредневековых археологических памятников у дер. Тимерево в окрестностях Ярославля хорошо известен. Он состоит из большого селища и крупной курганной группы, насчитывавшей более 400 насыпей. Раскопки курганов были начаты еще в прошлом столетии и привлекли внимание богатством и разнообразием инвентаря некоторых погребений. В настоящее время полное изучение памятника завершено экспедицией ГИМ под руководством М. В. Фехнер. Результаты работ опубликованы [1, с. 5—23; 2, с. 101—115; 3, с. 70—89; 4, с. 90—102]. Исследование поселения, на котором вскрыта площадь около 6000 м^2, проводила экспедиция Ленинградского университета, возглавляемая И. В. Дубовым. Таким образом, оба памятника изучены с достаточной полнотой и представляют собой первоклассный археологический источник по ранней истории Руси. Не случайно ссылки на материалы Тимерева встречаются не только в сугубо археологических, но и в обобщающих исторических работах.

Концепция исторического развития тимеревского поселения принадлежит И. В. Дубову и изложена в многочисленных статьях и нескольких книгах [5, с. 16—20; 6, с. 110—118; 7, с. 103—110; 8, с. 124—188; 9 и др.] Основные выводы исследователя сводятся к следующему: 1) поселение возникло в IX в., имело торгово-ремесленный характер, являлось протогородом и играло «важную роль в трансевропейских связях, являясь ключевым пунктом на Великом Волжском пути» [7, с. 96]; 2) согласно развиваемой автором теории «переноса городов», Тимерево было непосредственным предшественником Ярославля, «перенесенного» на новое место.

В работах И. В. Дубова рисуется облик мощного исторического центра Северо-Восточной Руси, значимость которого измеряется масштабами не только государства, но и Европы. При этом на задний план отходят такие старейшие среди городов Северо-Востока, как Ростов и Суздаль. В дальнейшем Тимерево рассматривается уже как один из возможных центров Арсы — таинственного района или города Руси, упоминаемого арабскими источниками [10, с. 205; 11, с. 3—23].

Однако, предлагая свою интерпретацию памятника, И. В. Дубов в редких случаях подтверждает ее конкретными аргументами. Опубликованные материалы раскопок поселения никак не комментируются [8, с. 148—187, рис. 5—47], а статьи сопровождаются лишь изображениями отдельных находок. Анализ источников заменен авторской схемой, отчего выводы автора отнюдь не кажутся бесспорными, а в некоторых случаях противоречат материалам.

Как ни странно, до сих пор остается загадкой истинная площадь поселения. В текстах большинства публикаций она определяется в 10 га. Однако на переходящем из статьи в статью единственном плане размеры селища примерно в 2 раза меньше и составляют 5—6 га [6, с. 111, рис. 1; 8, с. 202, рис. 5; 9, с. 167, рис. 4, и др.] И это не ошибка из-за путаницы с масштабом. Размещенная на том же плане курганная группа, размеры которой всегда, начиная с раскопок А. И. Кельсиева, определялись в 4—4,5 га [6, с. 112; 12, с. 11], позволяет легко

определить немногим большую площадь поселения. Непосредственное знакомство с памятником подтверждает, что истинные размеры селища не превышают 6 га, а это согласуется и с изначальными данными И. В. Дубова, приведенными в его первой публикации [13, с. 66].

Для поселений IX—X вв. и эта цифра достаточно весома. Но в сравнении с другими широко известными и, как принято считать, аналогичными памятниками Руси Тимерево выглядит скромно: размеры Гнездовского селища 16 га [14, с. 6], Старой Ладоги —16—18 га [10, с. 192] Территория географически близкого Ростова вначале XI в. составляла не менее 15 га, а в округе города существовали поселения, не уступавшие по обширности Тимереву [15, с. 26—32]. Не менее крупные селища известны на Плещеевом озере и в округе Суздаля.

Отличают Тимерево особенности топографии и внутренней структуры. Все без исключения раннегородские торгово-ремесленные центры возникали непосредственно на побережье — вблизи моря, озер или крупных судоходных рек. Таковы Бирка, Волин, Ральсвик и др. в Скандинавии и странах Балтики, Старая Ладога, Гнездово — на Руси. Аналогичные топографические особенности отличают и некоторые старейшие русские города: Новгород, Ростов, Белоозеро. Низинное, во многом небезопасное и неудобное расположение объясняется структурой экономики и связанным с ней укладом жизни. Поселения были ориентированы на торговлю, служившую мощным стимулом и для развития производственной деятельности [16, с. 8—89, рис. 22, 27—30, 37; 17, с. 163—167, рис. 61—64]

Независимо от конкретных, порой непредсказуемых событий истории во всех раннегородских центрах на каком-то этапе развития строились укрепления. Другой характерной чертой их структуры является многочисленность групп погребальных памятников, не составлявших единого массива. Существование раздельных кладбищ отражало этнические, социальные и религиозные различия групп населения [18, с. 72—84, 105, рис. 18, 23]

Тимерево не имеет ни одного из перечисленных признаков. Селище расположено в труднодоступном месте в 12 км от Волги, на высоком коренном берегу р. Которосли в 3 км от ее русла. Протекающая у подножия речка Сечка, приток Которосли, настолько мала, что даже в древности при полном водосборе не могла быть судоходной. Поселение не имело укреплений. Трактовка выявленной на одном из раскопов линии неглубоких столбовых ям как остатков мощной ограды [8, с. 165, рис. 21] неубедительна и едва ли правомерна. Курганы при всем разнообразии отдельных черт погребального обряда составляют единый примыкающий к поселению массив. Связь с поселением двух находившихся в отдалении курганных групп у дер. Малое Тимерево (7 насыпей) и Гончарово (12 насыпей) [19, с. 211, № 495] проблематична. Малые курганные могильники характерны для более позднего времени — второй половины XI—XII в. В данном случае эта датировка подтверждается раскопанными погребениями по обряду ингумации при одном возможном случае сожжения [13, с. 65]

Нет оснований рассматривать Тимерево как крупный ремесленный центр. Несмотря на большую исследованную площадь, следы производственной деятельности немногочисленны. Найдено несколько мелких слесарных (?) инструментов, кузнечные заготовки, железный шлак, обломки льячек и литейные формочки, опиленный лосиный рог. Отмечены вероятные следы одной металлообрабатывающей мастерской. Занятия жителей кузнечным, бронзолитейным, костерезным делом несомненны, но, судя по всем данным, степень развития этих ремесел не превышала уровень, обычный для большинства поселений рассматриваемого времени. Говорить о широком товарном производстве не приходится.

Нет достоверных данных и о типах строений и планировке поселка, которые могли бы дать дополнительную информацию о хозяйстве и занятиях жителей. Предложенная реконструкция построек воспринимается как курьез: поселение

предстает в облике охотничьего стойбища с амбарами на столбах для защиты от хищных зверей и полуземляночными жилищами-коридорами.

Поселок не отличался многолюдностью. Число жителей Тимерева по принятой системе подсчета на основании количества захоронений и времени функционирования могильника определяется в пределах 130 человек. Для сравнения население Бирки оценивается в 500—600 человек, а Хедебю — в 1000 человек [2, с. 114].

Таким образом, Тимерево по своим сравнительно небольшим размерам, особенностям топографии, простоте поселенческой структуры, числу жителей и уровню развития ремесел не может рассматриваться как ранне- или протогородской центр на уровне широко известных центров стран Балтики, Скандинавии и Древней Руси. Очевидно, для конкретного анализа специфики поселения нужно изменить масштаб исследования и от европейской карты перейти к карте Северо-Восточной Руси.

Здесь крупные селища периода расцвета Тимерева — середины X— начала XI в., расположенные в сходных топографических условиях, обычны для всех центральных районов Ростово-Суздальской земли [15; 20, с. 147—148]. Таковы, например, Воскресенское на р. Которосли, Угодичи, Шурскол II, Кустерь, Согило I на оз. Неро, Городище, «Слуда», Криушкино, «Ботик» на Плещеевом озере, Гнездилово и Васильки у Суздаля. Географически близки к Тимереву Михайловское и Петровское, известные благодаря своим курганным группам, идентичным по материалам тимеревскому некрополю. Приведенный список далеко не полон, и каждый год приносит открытия новых крупных древнерусских селищ. Сравнение материалов тимеревского поселения с результатами раскопок других памятников свидетельствует об одинаковом уровне и в целом близком облике материальной культуры населения [20, 21] Не выделяется на общем фоне коллекция тимеревского селища спецификой и богатством «импортов». Аналогичные изделия — костяные односторонние гребни, «курганные» ножи с трехслойной структурой клинка, ланцетовидные наконечники стрел, гончарная болгарская керамика и т. д. к началу XI в. достаточно широко использовалась в быту населения Северо-Восточной Руси [22, с. 67—79]. Привлечение в этой связи инвентаря погребальных комплексов Тимеревского могильника — не корректно в научном отношении, так как обращение к материалам иного типа археологического источника требует и соответствующих источников для сравнения. Но у абсолютного большинства древнерусских поселений Северо-Восточной Руси некрополи не сохранились. Впрочем, известная коллекция владимирских курганов показывает, что инвентарь ранних захоронений ростовских, суздальских и плещеевских (переславских) курганов по разнообразию не уступал тимеревским [23, с. 129—162]

Приведенные факты свидетельствуют, что интерпретация Тимерева как протогородского и, следовательно, во многом уникального по своему облику и исторической роли поселения в археологическом контексте подтверждения не находит. В противном случае пришлось бы признать, что весь центр Ростово-Суздальской земли был насыщен протогородами, особенно в округе городов истинных.

Требует внимательного рассмотрения и тезис о ведущей роли Тимерева как торгового центра. По концепции И. В. Дубова, это торговые ворота на волжском пути в Ростовскую землю. Как весомый аргумент в пользу значимости поселения используются два клада куфических монет 60—70-х годов IX в. И тот и другой относятся к начальному периоду существования поселка, так как говорить о его возникновении в первой половине столетия нет оснований [24, с. 285]. Общая датировка поселения определяется прежде всего курганными материалами, а наиболее ранние погребения относятся к концу IX в. [1, с. 8; 3, с. 70—88]

При рассмотрении всей группы верхневолжских кладов и других известных находок импорта тимеревские находки оказываются относительно поздними,

«вторичными». В район оз. Неро арабское серебро, найденное в составе трех кладов (Угодичи, Сарское), попало еще в начале IX столетия. Рубежом VIII—IX вв. датируются первые вещевые импорты Сарского городища [25, с. 141—149]. В глубине Волго-Клязьминского междуречья, около будущего Юрьева на р. Колокше (городище Выжегша), обнаружены клад куфических монет и свинцово-оловянистые слитки, оставленные в 40-х годах IX в. [26, с. 149, 150]. Совершенно очевидно, что торговые связи Ростовской земли оформились задолго до возникновения Тимерева, еще в эпоху самостоятельного существования мери.

К этому следует добавить, что клады IX в. Верхнего Поволжья не отражают степень развития торговли, и, в частности, насыщенность рынка арабским серебром. Если для IX столетия в бассейнах Клязьмы, Которосли, Мологи и Шексны известно 11 кладов, то для периода X—XI вв. — всего 2, хотя пик распространения куфических монет в Восточной Европе, доставляемых благодаря именно волжской торговле, приходится как раз на это время [27, с. 14, 15]

Таким образом, верхневолжские клады, в том числе и тимеревский, не могут служить доказательством существования постоянных торговых дорог с Востока. Там, где действительно существовали пути и торжища, сокровища попадали в землю на протяжении всего периода их функционирования. Примером тому служат Старая Ладога и Новгород в Поволховье, Гнездово в Верхнем Поднепровье, Киев в Среднем Поднепровье, Борки в рязанском Поочье.

Анализ источников показывает, что в IX в. прямой транзитной торговли по Волге (Каспий — Балтика) не было. Операции восточных купцов велись через Хазарию и ограничивались территориями низовьев Волги и Камой. В славянские земли основной путь шел по Дону с выходом на Оку. Волга выше устья Камы оставалась пустынной. Не существовали и внутренние сквозные дороги с Оки в Волго-Клязьминском междуречье [28, с. 1—6; 29, с. 16—19].

Этот регион, как показывает состав импорта, по крайней мере с рубежа VIII—IX вв. оказался включенным в сферу балтийской торговли [25; 28; 29, с. 18]. Что касается куфических монет в кладах IX в. Верхнего Поволжья, то их появление также связано с Северной Русью и европейской торговлей. Такой неожиданный на первый взгляд вывод ничуть не противоречит письменным и археологическим источникам и вполне исторически объясним. Арабское серебро с конца VIII в. служило единым стоимостным эквивалентом во всей Восточной и Северной Европе, и нет ничего удивительного в том, что оно попадало через посредников и в Верхнее Поволжье. Не случайно во всех поддающихся проверке случаях в комплексы кладов либо входили предметы европейского происхождения, либо подобные изделия находились в синхронных слоях поселений или в погребениях того же времени, [26, с. 149; 28, с. 1—6]. Явную связь тимеревского серебра с севером Европы подчеркивают рунические граффити на монетах.

Становление прямой восточной торговли Ростовской земли происходит в X в., преимущественно во второй его половине. В это время меняется география торговых путей. Основным международным центром на Волге становится Волжская Булгария, а значение традиционного пути по Дону с падением Хазарии уменьшается. Появляется дорога с Волги по Оке в глубь уже древнерусского междуречья, однако первоначально не по Клязьме, как принято считать, а через Муром и далее через знаменитые муромские леса к суздальскому ополью [30, с. 11, 97]. В результате возникает постоянный волжский путь, в системе которого Северо-Восточная Русь явилась звеном, объединившим ранее существовавшие сферы западной и восточной торговли. Процесс складывания к началу XI в. единого волжского рынка надежно документирован археологическими материалами Руси и Волжской Булгарии [31, с. 167—172; 32; 33, с. 139—145; 34, с. 20—37; 35, с. 76, 88; 36, с. 178]. Юридическое оформление сложившиеся экономические отношения получили в русско-болгарских договорах 986 и 1006 гг. [37, с. 10—14].

В свете выявленной динамики развития торговых связей Северо-Восточной Руси роль Тимерева как ведущего торгового центра оказывается весьма сомнительной. Во всяком случае, историческая реальность IX—X вв. никак не обусловливала развития за счет торговли не слишком удобно расположенного населенного пункта. Средоточием жизни всегда был густозаселенный район оз. Неро. Первоначально здесь существовали обширные мерянские поселения во главе с Сарским городищем, а к концу X в. сложилась мощная древнерусская округа Ростова [15, с. 26—32; 38, с. 61, 62]. При столь интенсивном развитии центральной области северо-востока Руси и отмеченном летописью внимании первых князей к Ростову возникновение еще одного сопоставимого по значению центра всего в 30 км от границы ростовской округи едва ли было возможным. К тому же благодаря развитию прямого пути с Оки Тимерево оказывается «передовым пунктом» лишь в пределах своего «волжского угла» — в районе будущего Ярославля.

В развитие идеи о торговых функциях Тимерева была высказана мысль, что поселение являлось контрольным или опорным пунктом «княжеско-дружинной администрации» на волжском пути в IX— начале X в. Вместе с Тимеревым в эту систему включены селище у с. Городище на Плещеевом озере и городище с прилегающим древнерусским селищем у с. Васильки на р. Нерль [10, с. 214, 215] Но, как показали исследования последних лет, селище на Плещеевом озере — одно из многих равноценных в округе, а городище у с. Васильки является памятником раннего железного века. Что касается расположенного здесь селища, то расцвет этого поселения приходится на более позднее время —XI—XIII вв. Таким образом, предложенная умозрительная схема совершенно произвольна, не имеет доказательств и к тому же явно модернизирует историю, перенося в раннюю эпоху явления, свойственные развитому государственному строю. Дани Олега, погосты Ольги, полюдье Игоря, походы Святослава достаточно ярко характеризуют основные направления и формы политики первых князей в конце IX—X в. и уж никак не ранее этого времени. Первое княжеское деяние государственного значения на северо-востоке Руси — основание Ярославом Мудрым города своего имени в устье Которосли в начале XI в., что и ознаменовало окончательное установление княжеской власти на ранее освоенной территории поблизости от ростовской округи.

Итак, в рассмотренной концепции о месте и роли Тимеревского поселения в истории Руси ни один из выдвинутых тезисов не подтверждается конкретными данными истории и археологии. Изменим еще раз масштаб исследований и обратимся теперь непосредственно к памятникам ярославского течения Волги — ближайшему окружению Тимерева. В этой связи вызывает интерес выдвинутая И. В. Дубовым теория «переноса городов», частным случаем которой, по мнению автора, являются исторические взаимоотношения поселений в устье Которосли [9, с. 98] Речь идет о переходе роли социально-экономического центра от Тимерева к Ярославлю. Теоретическое обоснование идеи сформулировано им следующим образом: «„Перенос“ городов имеет место в тех случаях, когда новый нарождающийся класс феодалов не в состоянии полностью переломить племенную знать, отчаянно цепляющуюся за свою власть, основанную на родовых устоях и порядках. Этот класс пока не имеет возможности целиком подчинить себе все сферы жизни и деятельности старых сформировавшихся центров» [9, с. 31].

Выдвинутое положение, в котором справедливо отмечены противоречия эпохи сложения классового общества, претендует на универсальность и отражение общей исторической закономерности, но едва ли что проясняет в понимании исторической реальности IX—X вв. Само название процесса — «перенос городов» — представляется неудачным. Слово «перенос» подразумевает перемещение под действием какой-либо силы, и его использование придает всей идее излишнюю механистичность. Кроме того, для «переноса» города необходимо его существование. В контексте же речь идет о смене догородских поселений собственно городами.

Приведенная формулировка противоречит авторской концепции Тимерева-протогорода. О какой «отчаянно цепляющейся за власть племенной знати» можно говорить, если само возникновение раннегородских центров означало качественно новый этап общественного развития [16, с. 83—86; 18, с. 100—119], разрушавшего родоплеменные устои. Для племенной знати в таких поселениях места не было. Но главное заключается в том, что Северо-Восточная Русь не являлась собственно славянской территорией и в рассматриваемую эпоху была колонизуемой окраиной государства. Это в значительной степени должно было определять специфику местной социально-экономической структуры, одной из особенностей которой было отсутствие исторически сложившихся племенных общностей и, следовательно, ослабление или исчезновение пережитков прежней племенной организации. Исключение составляет автохтонное население — меря, но считать верхневолжские поселения типа Тимерева мерянскими нет никаких оснований.

Положение в исконно славянских областях могло быть иным, с другими свойственными им особенностями. Именно многообразие во всех аспектах раннего периода русской истории делает невозможным сведение всех вероятных путей развития городов к единой формуле. Для решения проблемы необходимы историко-археологические исследования конкретных исторических районов, что далеко не везде сделано и не всегда пока возможно.

Недостаточно изученной остается и округа Ярославля. Современный рост города уже сейчас сделал невозможным составление подробной археологической карты. Но даже имеющиеся сведения заставляют усомниться в роли Тимерева как прямого предшественника Ярославля. В ярославском Поволжье известны три синхронных археологических комплекса: Тимерево, Михайловское, и Петровское. Материалы принадлежавших поселениям курганных кладбищ позволяют говорить о тождестве всех трех памятников и ничем не подтверждает приоритетное положение Тимерева. Площади самих поселений примерно одинаковы, схожи и топографические условия их расположения. При полном равенстве основных археологических характеристик и отсутствии каких-либо иных источников кажется неясным: какому же поселению по княжеской воле должен был наследовать Ярославль?

Очевидно, понимая слабость аргументации предложенного «переноса города», в одной из последних работ И. В. Дубов исправил свою схему. Теперь Ярославль перенимает от Михайловского функции социального центра (вспомним оружие в курганах), а от Тимерева — экономического. Петровскому остается роль большого села [9, с. 98] Комментировать очередной вариант излишне. Это явный пример авторского произвола, разрушающий по сути дела и прежнюю концепцию сменяющих друг друга двух центров. С тем же успехом можно «передать» Ярославлю и сельскохозяйственные функции Петровского селища, которое, кстати, по своим размерам едва ли не превышало Тимерево [9, рис. 6]

Отмеченное существование нескольких однотипных поселений не дает оснований предполагать наличие среди них какого-то особого, предшествовавшего Ярославлю центра. Можно лишь утверждать, что еще до основания города земли в устье Которосли и по ближним волжским берегам были достаточно хорошо освоены.

Что касается места Тимерева в иерархии поселений, то справедливым кажется мнение М. В. Фехнер и Н. Г Недошивиной, оценивающих его как один из центров округи на территории ярославского Поволжья [2, с. 114; 3, с. 88] Аналогичными по значению могли быть Петровское и Михайловское селища. Как известно, в ранней административно-территориальной системе древнерусского государства опорными пунктами княжеской власти на местах являлись погосты. Такая трактовка роли тимеревского поселения достаточна для того, чтобы объяснить присутствие вооруженных дружинников и занятие

торговлей жителей поселения, сосредоточение в их руках определенного богатства или, более широко, прибавочного продукта. Однако и предложенная интерпретация потребует в будущем дополнительных аргументов. Необходим сравнительный материал раскопок новых памятников.

Именно невнимание к сравнительному материалу составляет, на наш взгляд, основной методический недостаток концепции Тимерева-протогорода—центра торговли. Памятник рассматривался вне своего «археологического контекста». Это повлекло за собой смещение оценок. *Источниковедческая* значимость хорошо изученного памятника была воспринята как свидетельство *исторической* значимости самого поселения. В результате оказалось нетрудным, не мучаясь сомнениями, включить Тимерево в систему трансевропейских центров и возвести его в ранг протогорода.

В заключение несколько слов о многоэтничном составе населения Тимерева. Считается, что многоэтничность — один из признаков протогородского центра. Этот вопрос решается в основном на материалах погребений и требует особого рассмотрения. Однако отметим, что сочетание различных по происхождению элементов погребального обряда и инвентаря отнюдь не является особенностью только тимеревских курганов. Аналогичные черты известны в захоронениях других ярославских и владимирских курганных могильников. В этом отношении показательно широкое распространение таких характерных культовых предметов, как глиняные лапы и кольца. Они встречены в курганах под Ростовом, Суздалем, Ярославлем, Переславлем — во всех наиболее ранних по времени освоения районах Северо-Восточной Руси. Пестрый этнический состав населения Северо-Востока в конце IX— начале XI в. является закономерным следствием проходившего процесса освоения новой территории. Не случайно разнородный материал древнерусских селищ не дает возможности вычленить «славянский комплекс» материальной культуры этого времени, хотя славянский приоритет в сложении древнерусского населения в доказательствах не нуждается.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Фехнер М. В.* Тимеревский могильник // Ярославское Поволжье X—XI вв. М., 1963.
2. *Недошивина Н. Г Фехнер М. В.* Погребальный обряд Тимеревского могильника // СА. 1985. № 2.
3. *Фехнер М. В., Недошивина Н. Г* Этнокультурная характеристика Тимеревского могильника по материалам погребального инвентаря // СА. 1987 № 2.
4. *Смирнова Л. И.* Лепная керамика Тимеревских курганов и проблема этнической атрибуции // СА. 1987 № 2.
5. *Булкин В. А., Дубов И. В.* Тимерево и Гнездово // Из истории феодальной России. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.
6. *Дубов И. В.* Тимеревский комплекс — протогородской центр в зоне славяно-финских контактов // Финно-угры и славяне. Л.: Наука, 1979.
7. *Дубов И. В.* Тимерево (итоги и перспективы исследований) // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.
8. *Дубов И. В.* Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.
9. *Дубов И. В.* Города, величеством сияющие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.
10. *Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г С.* Русь и варяги (русско-скандинавские отношения домонгольского времени) // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс, 1986.
11. *Мачинский Д. А.* Ростово-Суздальская Русь в X в. и «три группы Руси» восточных авторов // Материалы к этнической истории европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 1985.
12. *Кельсиев А. И.* Раскопки, проведенные в Ярославской и Тверской губерниях в 1878 г // Оттиск протоколов заседаний по устройству Антропологической выставки. № 38. М., 1878.
13. *Добровольский И. Г., Дубов И. В.* Комплекс памятников у дер. Большое Тимерево (по археологическим и нумизматическим данным) // Вестн. ЛГУ 1975. Вып. 2, № 2.
14. *Пушкина Т А.* Гнездовское поселение в истории Смоленского Поднепровья IX—XI вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06. М.: МГУ, 1974.
15. *Леонтьев А. Е.* Поселения мери и славян на оз. Неро // КСИА. 1984. Вып. 179.
16. *Херрман Й* Славяне и скандинавы в ранней истории Балтийского региона // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс, 1986.

17. *Нюлен Э.* Эпоха викингов и раннее средневековье в Швеции // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс, 1986.
18. *Лебедев Г С.* Эпоха викингов в Северной Европе. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.
19. Очерки по истории русской деревни X—XIII вв. // Тр. ГИМ. 1956. Вып. 32.
20. *Лапшин В. А.* Начальный этап освоения Суздальского ополья древнерусским населением // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. Тез. докл. конф. М.: Наука, 1987
21. *Исланова И. В.* Селище Шурскол II близ Ростова Великого // СА. 1982. № 2.
22. *Леонтьев А. Е., Рябинин Е. А.* Этапы и формы ассимиляции летописной мери // СА. 1980. № 2.
23. *Спицын А. А.* Владимирские курганы // ИАК. 1905. Вып. 15.
24. *Куза А. В., Леонтьев А. Е., Пушкина Т. А.* Рец: Булкин В. А., Дубов И. В., Лебедев Г С. Археологические памятники Древней Руси IX—XI вв. Л., 1978 // СА. 1982. № 2.
25. *Леонтьев А. Е.* Скандинавские вещи в коллекции Сарского городища // Скандинавский сборник. XXVI. Таллин, 1981.
26. *Леонтьев А. Е.* Городище Выжегша // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. Тез. докл. конф. М.: Наука, 1987.
27. *Фомин А. В.* Источниковедение кладов с куфическими монетами IX—X вв. (по материалам Восточной Европы): Автореф. дис. канд. ист. наук. 07.00.06. М.: МГУ, 1982.
28. *Леонтьев А. Е.* Волжский путь в IX в. // КСИА. 1986. Вып. 193.
29. *Булкин В. А., Мачинский Д. А.* Русь конца VIII— начала X в. на Балто-Волжском и Балто-Донском путях // Финно-угры и славяне (проблемы историко-культурных контактов). Сыктывкар, 1986.
30. *Седова М. В.* Ярополч-Залесский. М.: Наука, 1978.
31. *Смирнов А. П.* Древняя Русь и Волжская Болгария // Славяне и Русь. М.: Наука, 1968.
32. *Фехнер М. В.* Некоторые сведения археологии и истории русскovосточных экономических связей // Международные связи России до XVII с. М., 1961.
33. *Фехнер М. В.* К истории торговых связей Руси со странами Востока в домонгольское время (по материалам шелковых тканей) // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. М.: Наука, 1981.
34. *Валеев Р. М.* Торговые связи Волжской Булгарии и Руси в домонгольский период // Волжская Булгария и Русь, Казань, 1986.
35. *Казаков Е. П.* О ранних контактах волжских булгар со славянами и поволжскими финнами по археологическим материалам // Волжская Булгария и Русь. Казань, 1986.
36. *Голубева Л. А.* Весь и славяне на Белом озере. М.: Наука, 1973.
37. *Халиков А. Х.* Волжская Булгария и Русь (этапы политических и культурно-экономических связей в X—XIII вв.) // Волжская Булгария и Русь. Казань, 1986.
38. *Леонтьев Л. А.* Ростов (предпосылки образования древнерусского города) // Тез. докл. сов. делегации на V Международном конгрессе славянской археологии. М.: Наука, 1985.

A. E. Leontiev

TIMEREVO. HISTORICAL INTERPRETATION OF AN ARCHAEOLOGICAL SITE

Summary

The author looks at Timerevo, one of the best studied settlements of the 9th-11th centuries in North-Eastern Russia and the mounds connected with it. His comparative analysis has led him to the conclusion that Timerevo's role in the history of North-Eastern Russia as a proto-town and a trade and economic centre was greatly exaggerated. He sides with M. Fekhner and N. Nedoshivina who regard it as one of the centres of a comparatively small area in the Volga basin near Yaroslavl between the late 9th and early 11th centuries.

Т. Д. АВДУСИНА, Н. С. ВЛАДИМИРСКАЯ, Т. Д. ПАНОВА

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ (1974—1982 ГГ.)

В условиях такого большого и бурно развивающегося города, каким является Москва, все труднее получать информацию о древнейшем периоде ее истории. Тем больший интерес представляют результаты археологических раскопок, проведенных на территории Кремля в 1974—1982 гг. Как и в предшествовавшие годы, археологические наблюдения, за небольшим исключением, не являлись специально запланированными работами и осуществлялись в местах вскрытия культурного слоя для определения технического состояния грунтов и на трассе городского коммунального хозяйства. К настоящему времени археологически изучено около 15% территории Кремля. Несмотря на кажущийся небольшой объем, эти исследования дали значительные и интересные результаты. Итоги работ 1959—1973 гг. на территории Кремля обобщены в трудах М. Г Рабиновича [1] и Н. С. Шеляпиной [2]. По итогам исследований последних 10 лет опубликован ряд статей, в основном по отдельным категориям археологических находок [3—6] Цель настоящей статьи — ввести в научный оборот данные некоторых наблюдений и раскопок 1974—1982 гг., являющихся одной из стадий накопления и изучения археологических материалов.

Как показали археологические работы последних лет в Московском Кремле, верхняя часть культурного слоя представляет собой отложения XV—XVII вв., нарушенные поздними строительными перекопами. Их подробная характеристика в настоящей публикации опущена, основное внимание уделяется материалам раннего периода. Отложения домонгольского времени были зафиксированы на Соборной и Ивановской площадях, в северной и юго-западной частях территории Кремля. Это типичный жилой слой, характерный для всех древнерусских городов. В нем встречены остатки жилых и хозяйственных построек, следы мощения из дерева и камня, захоронения. Слой насыщен щепой, навозом, костями животных, скорлупой орехов, зернами злаков и т. д. В нем зафиксированы пожарные прослойки.

Между зданиями Оружейной палаты и Большого Кремлевского дворца культурный слой был прозондирован в основном возле восточного фасада Оружейной палаты (рис. 1, *1*). Наблюдения в траншеях и котлованах показали, что древнейшие отложения находились на небольшой глубине и были незначительны по мощности, так как в середине XIX в. на этой территории проводились большие нивелировочные работы. Нижние горизонты этого района датируются серединой XII — началом XIII в. на основании находок стеклянных браслетов и керамики «курганного» типа [7, с. 2] Среди индивидуальных находок можно отметить деревянный двусторонний гребень с глазчатым орнаментом. При наблюдениях у юго-западного угла Большого Кремлевского дворца раскопками были зафиксированы остатки рва, следы которого отмечены еще в работах 1960 г. [8, с. 265]. Дно рва, обнаруженное на отметке —4, 2— —4, 45 м, устлано мелкими валунами. В нижних горизонтах затянувшего его слоя найдено несколько черепков «курганной» керамики [9, с. 19]

Продолжались наблюдения на Соборной площади Кремля, раскопки в северной части которой дали в 60-х годах богатый вещевой материал. Интересные

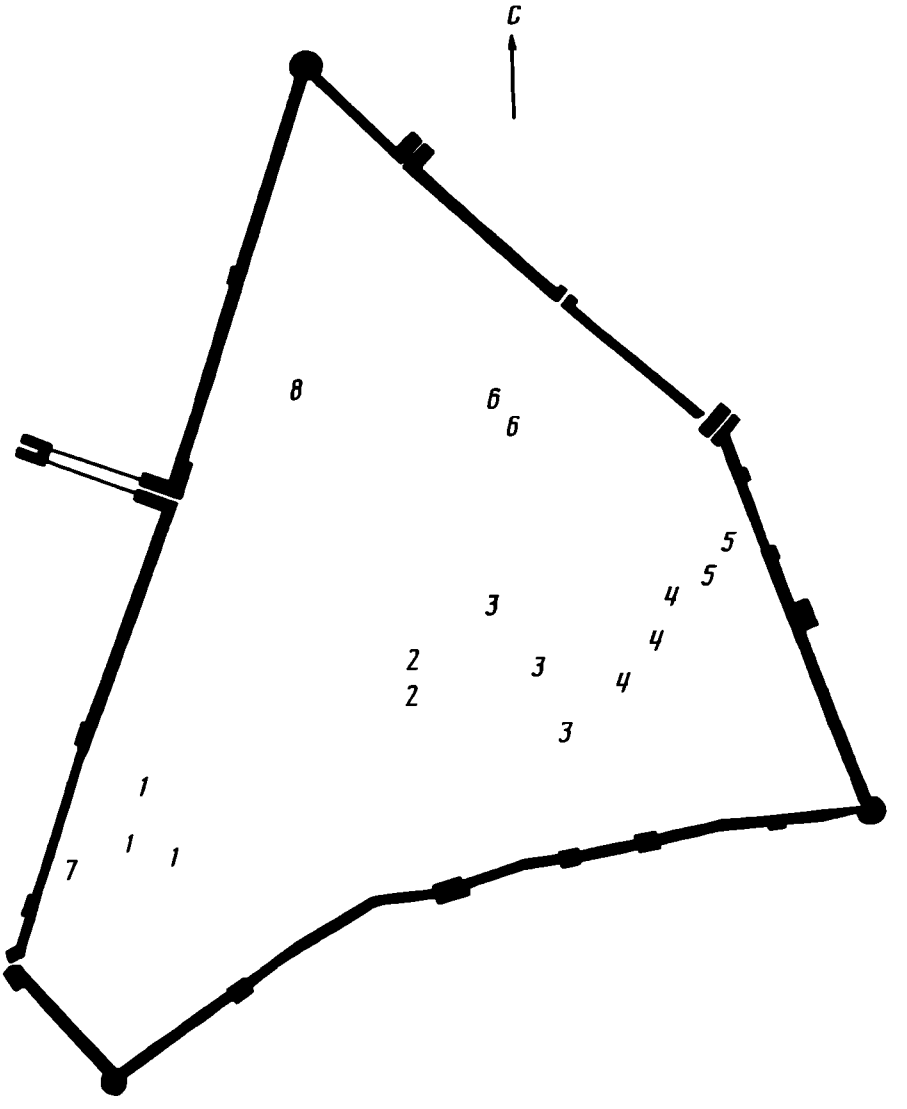


Рис. 1. Схема территории Московского Кремля с указанием мест раскопок и наблюдений

данные были получены в шурфах у северо-восточного и юго-западного углов Успенского собора, где культурный слой был прозондирован до материка (рис. 1, *2*) Ниже горизонтов, связанных с периодом строительства собора в 70-х годах XV в., сохранились участки с ненарушенной стратиграфией. В их верхней зоне были найдены фрагменты золотоордынской полихромной посуды второй половины XIII—XIV в. и бронзовый двустворчатый крест-энколпион, имеющий множество аналогий в собраниях русских археологических древностей XIII в. Ниже отложения, в которых зафиксированы находки «курганной» керамики и стеклянных браслетов, датируются серединой XII—XIII в. В траншеях, пересекших всю территорию Соборной плащади и имевших неглубокое заложение, отмечены в основном следы поздних строительных работ [7, 10]

Культурный слой на Ивановской площади изучен слабо (рис. 1, *3*). Все проводившиеся на ней земляные работы не достигли материковых отложений. До отметки —4 м в котлованах прослежены остатки строительных работ XVII—XIX вв., нарушивших более ранние отложения. Незначительный керамический материал датирует слой XVI—XVII в. Среди вещевого материала можно выделить бахтерец XVI в., пластины которого украшены инкрустацией золотом и серебром, и звездчатую шпору XIII в. [3, с. 224] Наиболее интересные материалы были зафиксированы при наблюдениях за роботами, проводив-

шимися вдоль южного фасада здания Президиума Верховного Совета СССР и на территории Кремлевского сада. На этих участках прослежена одна из особенностей древнего рельефа Боровицкого холма (рис. 1, *4*). Это естественный овраг, самая глубокая точка которого находилась на глубине —8,3 м [11, с. 200, 201] Западина имела довольно пологий склон и дно округлой формы; ширина ее достигала 70 м.

Заполнение оврага представляет собой жилой слой раннемосковского поселения, в котором обнаружены фрагменты серой и «курганной» керамики, обычной для городских слоев XII—XIII вв., и вещевой материал — стеклянные браслеты и медный разливной черпачок с причеканенным донцем. Здесь же найден уникальный меч середины XII в. с подписным двусторонним клеймом [9] В юго-западной части Ивановской площади в одной из траншей на отметке —2,5 ÷ — 4 м выявлены напластования с вещевыми находками XII—XIV вв. Среди них фрагменты золотоордынской поливной и штампованной посуды XIII—XIV вв., половина стеклянной пастовой бусины бирюзового цвета с пластинчатой черно-белой инкрустацией (XIII—XIV вв.). Из других находок выделяется яичко-писанка, покрытое черной непрозрачной поливой с металлическим блеском. По классификации Т. И. Макаровой [12, с. 144], ранние писанки данной группы производились в Новгороде в середине XI—30-х годах XII в.

К югу от здания Президиума Верховного Совета СССР слой достигал мощности 6—7 м (рис. 1, *5*). Его нижние горизонты не были нарушены перекопами, что позволило проследить стратиграфию данного участка. При наблюдениях здесь также зафиксирован древний ров-овраг. Нижние отложения датируют обломки керамики «курганного» типа, нож-пакет, обломок шпоры с прямоугольной петлей (1150—1250 гг.), железный трубчатый замок XIII в. с волнистым орнаментом по краям цилиндра [7]

Проведенные в 1982 г. в районе здания Совета Министров СССР наблюдения дали интересные результаты, несмотря на то что культурный слой исследованных участков был частично уничтожен поздними строительными работами XVIII—XX вв.

В котловане возле восточной стены здания Совета Министров СССР (рис. 1, *6*) мощность слоя достигала 5 м, причем отмечено понижение уровня материка к западу, в сторону Арсенала. Перепад составляет около 1 м. Древнейший слой этого района сильно нарушен впущенными в него погребениями кладбища, существовавшего при церкви Козьмы и Демьяна Чудова монастыря. Керамика (ранняя красная —41,8%, «курганная»—58,2%) и находки стеклянных браслетов дают возможность предварительно датировать горизонт концом XII—XIII в. Второй котлован находился в 35 м северо-западнее первого. Здесь материк отмечен на глубине 6,6—6,7 м. На этом участке по техническим причинам удалось детально исследовать только самые нижние, не нарушенные перекопами слои (отметка 6,0—6,7 м) Эти отложения содержат щепу, солому, зерна злаков, скорлупу лесных орехов, кости диких и домашних животных (лошадь, кабан). Керамика представлена фрагментами «курганной» (96%) и серой (4%) посуды. Наличие в слое преимущественно «курганной» керамики позволяет датировать его XII в. В 30 см над материком встречен обломок крученого браслета, перевитого нитью желтого цвета. Подобные украшения являются одними из древнейших и датируются по новгородским материалам серединой — второй половиной XII в. [13, с. 173] На глубине 6,4—6,5 м отмечена прослойка отходов кожевенного ремесла. Здесь же найден целый поршень и три верха обуви, орнаментированные проколами. На отметке 6,5—6,7 м встречен слой пожара и остатки обгоревших деревянных конструкций. Возможно, это следы единственного зафиксированного древнерусскими летописями пожара Москвы XII в. (1176 г.).

Таким образом, на небольшом участке в малом дворике здания Совета Министров СССР (глубина 6,0—6,7 м) были исследованы древнейшие напластования, относящиеся к середине — второй половине XII в. Из находок этого участ-

ка интересен шлем сфероконической формы, обнаруженный на глубине 5 м. Отметим, что за последнее время это третье боевое наголовье, найденное на территории Кремля. Датировка находки затруднена тем, что слой, в котором она была зафиксирована, исследовать не удалось. Косвенные признаки позволяют датировать шлем рубежом XV—XVI вв.

Из работ последних лет на территории Московского Кремля значительный интерес представляют собственно археологические раскопки, проведенные в 1979 и 1982 гг. на мысу Боровицкого холма во дворе Оружейной палаты (рис. 1, 7). Необходимо сказать, что на этом участке территории Кремля уже велись археологические наблюдения. В 1965 г. здесь проводились земляные работы с целью исследования фундаментов стен крепости [14, с. 46—49] Наблюдение за слоем при этом было значительно затруднено как ускоренными темпами работ, так и климатическими условиями (работы проводились зимой). Несомненно, что раскопы 1979 и 1982 гг., проведенные с соблюдением требований археологической методики, дали более полные и точные результаты.

Мыс Боровицкого холма является той территорией, с которой многие исследователи Москвы связывали зарождение города. Мы не будем останавливаться на предположениях, высказанных по этому поводу историками XIX—начала XX в., поскольку базировались они на данных случайных находок, использование которых в наше время при наличии значительных археологических материалов может привести к весьма произвольным допущениям.

Раскопки в Московском Кремле в 1959—1969 гг., активизировавшие на некоторое время интерес к исследованиям древней истории Москвы, привели к появлению специальных и популярных публикаций, в которых важное место отводилось мысовой части Боровицкого холма. Именно с этой территорией связывали место расположения древнейшей мысовой крепости, ограниченной с севера рвом, обнаруженным в 1960 г. возле юго-западного угла Большого Кремлевского дворца [15, с. 18] Самое раннее укрепление на Боровицком холме реконструировалось как мысовое, а время появления его относили к концу XI в. [16, с. 20; 17, с. 62; 18, с. 41; 19, с. 259]. Высказанное в начале 60-х годов предположение об освоении мысовой части холма в XI в., казалось бы, очень удачно подтверждала находка в 1965 г. во дворе Оружейной палаты вислой свинцовой печати — единственной на сегодняшний день домонгольской буллы в археологическом материале Москвы, наиболее вероятной датой которой является 1093—1113 гг [20, с. 149, 150] Общеизвестно, что на основании единичных находок нельзя делать масштабные выводы о датировке культурного слоя. Об этом же писал в предварительном заключении о свинцовой печати В. Л. Янин, предостерегая «от поспешных выводов относительно датировки слоя с помощью этой печати» [14, прил. 2]. Тем более, что печать скрепляла документ, который мог храниться длительное время. Сама булла могла попасть в культурный слой значительно позднее.

Проверить и уточнить данные археологических наблюдений 60-х годов удалось при раскопках 1979 и 1982 гг. на участках в непосредственной близости от места наблюдений 1965 г.

Общая площадь раскопов 1979 и 1982 гг. составила около 30 м ^{2} На исследуемой территории до глубины 2,8—3,3 м прослежен слой строительного мусора, образовавшийся в результате работ на этом участке в XV—XIX вв. До материка (глубина 6,05 м) был прослежен культурный слой темно-коричневого цвета с обычными для древнерусских городов включениями. За время раскопок найдено около 200 предметов из стекла, металла, дерева, кожи, глины, камня, кости и прочих материалов. В коллекции имеются изделия как русского производства, так и привозные. Среди них определенную группу составляют датирующие находки: керамика, стеклянные браслеты, пряслица, фрагменты амфор и др. [21, 22]

Из всего собранного при раскопках керамического материала выделяются три основные датирующие группы (рис. 2). Красная керамика наибольшее

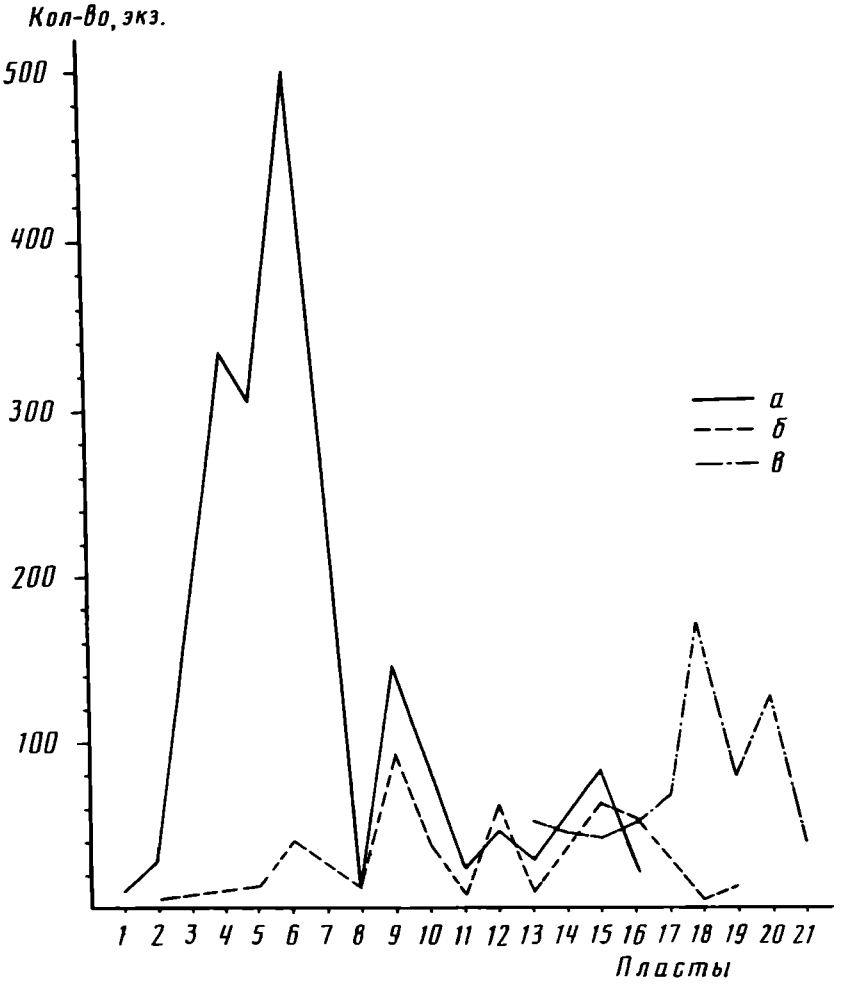


Рис. 2. График распределения керамики (раскопки 1979 и 1982 гг.)
а — красная; *б* — серая; *в* — «курганная»

распространение имеет в пластах 6, 7 В Москве эта посуда датируется XIII—XVII вв., а самое широкое употребление имела с конца XIV до конца XV в. [23, с. 22], т. е. пласты 6, 7 мы можем отнести к концу XIV в. Серая керамика распространена во всех пластах относительно равномерно, но в пласте 7 ее фрагментов больше всего. По М. Г Рабиновичу, керамика этого типа широко использовалась в Москве со второй половины XII в. до конца XIV в. [23, с. 119] Керамика так называемого «курганного» типа датируется концом X—началом XIV в. [23, с. 24] Эта посуда была найдена в раскопах в пластах 13—21. Такое распределение не противоречит тому, как эта керамика обычно распространена в слоях древней Москвы.

Для построения хронологии раскопов были привлечены стеклянные браслеты (54 экз.). Они встречены в пластах 10—20, но больше всего их найдено в пласте 17 (рис. 3). В древнерусских городах стеклянные браслеты чаще всего встречаются в слоях второй половины XII—первой половины XIII в. [24, с. 122] Следовательно, материал пластов 17, 18 можно датировать рубежом XII—XIII вв., а пласт 13— первой половиной — серединой XIII в.

Принимая за основу датировки, полученные при исследовании массового керамического материала и стеклянных браслетов, мы можем уточнить их, привлекая другие категории вещей и единичные находки. В пластах 7—9 найдены обломки поливной золотоордынской и китайской посуды, характерной для XIII—XIV вв. [25, с. 39] Здесь же найдена керамическая плитка пола со ско-

шенными бортиками и квадратным углублением. Такие плитки хорошо известны в Кремле в начале XIV в. [4, с. 203]. Четыре фрагмента амфор киевского типа из пласта 12 датируются по новгородским материалам не позднее второй половины XIII в. [26, с. 242, 244]. В пластах 13—17 найдены: железный ключ второй половины XII—XIII в. [27, с. 87, рис. 70], обломок железной стрелы середины XI—XIV в. [28, с. 170], перстень латунный со щитком XII—XIII вв. [29, с. 264]

Пласты 18—21 датируют железная стрела XII— первой половины XIII в. [30, с. 63], фрагменты вятических височных колец второй половины XII—XIII в. [31, с. 140], латунные перстнеобразные кольца XIII в. [32, с. 134],

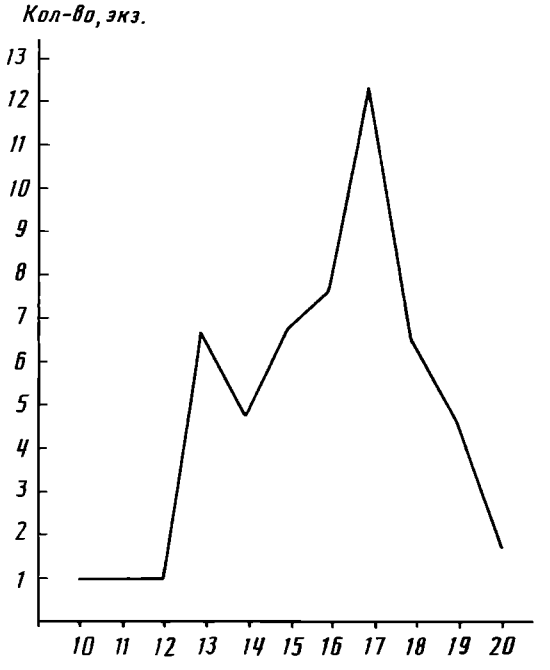


Рис. 3. График распределения стеклянных браслетов (раскопки 1979 и 1982 гг.)

керамические и шиферные пряслица второй половины XII—XIII в. [33, с. 222, 223], массивный серебряный печатный перстень XIII в. [22, с. 3]. Интересны находки двух бусин. Одна из них — редко встречающаяся керамическая рыбовидной формы с темно-зеленой поливой — сделана в Полоцке в конце XII в. Вторая — билоновая, пятигранная бипирамидальная — также датируется XII в. [32, с. 139, 150]

Таким образом, можно распределить слои по векам и определить для них хронологические рамки. Пласты 6—8 датируются XIV в. на основании находок керамической плитки пола и восточной поливной посуды. Пласты 9—11 мы относим ко второй половине XIII в. В пользу этого свидетельствует кресало конца XIII в., западноевропейские стеклянные перстни XIII—XIV вв., браслет. Наиболее мощные отложения дали пласты первой половины XIII в. (12—17). О верхней границе этого слоя говорят находки «курганной» керамики, фрагменты амфор и стеклянных браслетов. В нижней зоне этого слоя (первой половины XIII в.) найдены ключ, латунный перстень, фрагменты посуды киевского типа с темно-зеленой поливой, стеклянные браслеты. Пласты 18—21 датируются второй половиной XII в. Об этом свидетельствуют обломки височных колец, керамические и шиферные пряслица, билоновая и керамическая бусины.

Таким образом, материалы раскопок 1979 и 1982 гг. позволили впервые создать следующую хронологическую таблицу для культурного слоя южной оконечности Боровицкого холма.

В результате проведенных работ впервые было выяснено, что заселение данного участка территории Кремля началось в середине XII в. Об интенсив-

ности освоения территории говорит длительное существование здесь нескольких ремесленных мастерских, следы которых зафиксированы во время раскопок. Это косторезная мастерская, о наличии которой можно судить по большому количеству костяных поделок, спилов кости, отходов косторезного ремесла. Существовала она, судя по стратиграфии, во второй половине XII—XIII в. Неподалеку находилась мастерская кожевника или, быть может, сапожника. Здесь найдено очень много обрезков кожи и фрагментов кожаной обуви. Существовала эта мастерская примерно в тот же период, что и косторезная. Вероятно, где-то в этом же районе находилась и ювелирная мастерская — об этом свидетельствуют обрывки медной и серебряной проволоки, небольшие слитки олова и

Таблица

Глубина, м	Пласт	Дата
2,8	6—8	XIV в.
3,4	9—11	Вторая половина XIII в.
4,0	12—17	Первая половина XIII в.
5,2	18—21	Вторая половина XII в.
6,0		материк

железа, кусочки янтаря. Но из-за отсутствия датирующего материала говорить о времени бытования такой мастерской пока невозможно.

В последние годы ценные данные получены при археологических работах в северо-западной части Кремля, во дворе Арсенала (рис. 1, *8*). Здесь впервые был изучен жилой слой, мощность которого достигала 7 м. Земляные работы позволили выявить на территории Арсенала остатки деревянных жилых и хозяйственных построек в слое, насыщенном типичными для напластований древнерусских городов включениями. Подошва культурных отложений на данном участке работ датируется серединой XII—XIII в. Полученные данные позволяют утверждать, что освоение этой территори произошло в домонгольское время. До сих пор из-за отсутствия археологических материалов считалось, что участки Кремля севернее Троицких ворот были заселены не ранее XIV в. [8, с. 266]

Как уже отмечалось, среди находок последних лет есть изделия как местного производства, так и привозные, свидетельствующие о продолжительных и интенсивных связях средневековой Москвы с городами Древней Руси, Азии и Западной Европы.

Широкую картину связей ранней Москвы с городами Руси дают различные категории вещей из хорошо датированных слоев XII— первой половины XIII в. Даже среди относительно небольшого числа привозных вещей русского производства выделяется группа предметов, образующих «южный» импорт. Среди них обычные для культурного слоя Москвы овручские шиферные пряслица, обломки глиняных амфор, фрагменты киевской поливной посуды, стеклянные браслеты, ювелирные изделия. Эти находки значительно расширяют круг вещей южнорусского импорта. К ним же принадлежит найденная ранее вислая свинцовая печать 1093—1113 г Как следует из приведенной выше таблицы, горизонт —5,35 м, в котором она была найдена, датируется второй половиной XII в. Интересно прослеживаются по находкам последних лет связи ранней Москвы с Новгородом. Поливное яичко-писанка и медный черпачок относятся к наиболее ранним вещам в археологической коллекции музеев Кремля. Свидетельством расширения отношений с западнорусскими землями служит поливная керамическая бусина, центр производства которых находился в Полоцке, и стеклянные браслеты, сделанные в Смоленске.

Среди привозных изделий большое место занимает восточная поливная керамика, редко встречающаяся в слоях древнерусских городов. Особенно широк ее ассортимент в отложениях середины XIII—первой половины XIV в. Основными центрами, откуда поступала восточная посуда в Москву, были Хорезм и Сарай, располагавшие крупными керамическими мастерскими и являвшиеся важными торговыми пунктами на караванном пути из Крыма в Китай. В культурном слое Кремля найдены фрагменты кашинных изделий с полихромной подглазурной росписью (с рельефом и без него), с ультрамариновой глазурью, обломки сосудов из серой глины со штампованным орнаментом и частичной глазуровкой. Единичными фрагментами представлены поливные изделия мастерских средневекового Ирана. В Хорезм из подчиненного Чингизидами Китая поступала дорогостоящая селадоновая посуда. И, как показали наблюдения и раскопки последних лет, уже во второй половине XIII в. эти изделия появились в Москве.

В ранний период истории Москвы импорт из Западной Европы представлен в археологическом материале незначительным числом находок. В основном это обломки стеклянных перстней, довольно часто встречающиеся в Москве в слоях XIII—XIV вв. Уникальной находкой является меч с подписным двусторонним клеймом, вышедший из мастерских Западного Рейна в 1130—1170 гг.

Топография предметов импорта является тведым признаком социального и имущественного расслоения городского населения средневековой Москвы. В Кремле большинство дорогостоящих импортных изделий найдено на территории, традиционно занимаемой великокняжеским двором.

Итак, раскопки и наблюдения 1974—1982 гг. на территории Кремля выявили мощные напластования культурного слоя, в которых зафиксированы остатки жилых и хозяйственных построек, мостовые, фундаменты каменных зданий, массовый керамический материал и вещевые находки. Эти данные позволяют уточнить и значительно расширить наши представления о развитии Москвы в ранний период ее истории, о ее торговых и культурных связях. На основании новых материалов самые ранние четко датированные по керамическим и вещевым находкам слои в Московском Кремле относятся к середине XII в.

Важно отметить высокую насыщенность слоя вещевым материалом и остатками древнего строительства, относительно хорошую сохранность древнейших напластований, диктующую необходимость и целесообразность широкомасштабных археологических исследований. Именно эти работы дадут возможность окончательно решить вопрос о датировке и топографии раннемосковского поселения на Боровицком холме. Почти полное зондирование культурного слоя по всей территории Кремля позволяет теперь четко планировать целенаправленное его археологическое изучение в будущем.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Рабинович М. Г* Материальная культура и быт населения Москвы XI—XVI вв.: Автореф. дис. докт. ист. наук. М., 1963.
2. *Шеляпина Н. С.* Археологическое изучение Московского Кремля. Древняя топография и стратиграфия: Автореф. дис. канд. ист. наук. 07.00.06. М., 1974.
3. *Шеляпина Н. С., Панова Т Д., Авдусина Т Д.* Предметы воинского снаряжения и оружие из раскопок в Московском Кремле // СА. 1979. № 2.
4. *Авдусина Т Д., Владимирская Н. С., Панова Т Д.* Русская поливная керамика из раскопок в Московском Кремле // СА. 1984. № 2.
5. *Панова Т Д.* Восточная поливная керамика из раскопок в Московском Кремле // СА. 1986. № 1.
6. *Панова Т Д.* Ювелирные изделия из раскопок в Московском Кремле // СА. 1988. № 2.
7. *Шеляпина Н. С.* Отчет об археологических наблюдениях на территории Московского Кремля в 1976 г. // Архив ИА АН СССР Р-1. № 6491.
8. *Воронин Н. Н., Рабинович М. Г* Археологические работы в Московском Кремле // СА. 1963. № 1
9. *Шеляпина Н. С.* Отчет об архитектурно-археологических наблюдениях в Московском Кремле в 1975 г // Архив ИА АН СССР Р-1. № 6127
10. *Шеляпина Н. С.* Отчет об архитектурно-археологических наблюдениях в Московском Кремле в 1977 г // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 6832.

11. *Шеляпина Н. С.* Меч из раскопок в Московском Кремле // Древняя Русь и славяне. М.: Наука, 1978.
12. *Макарова Т И.* О производстве писанок на Руси // Культура Древней Руси. М.: Наука, 1966.
13. *Полубояринова М. Д.* Стеклянные браслеты древнего Новгорода // МИА. 1963. № 117.
14. *Шеляпина Н. С.* Отчет об археологическом наблюдении за земляными работами в Московском Кремле в 1963—1965 гг. // Архив ГММК. № 282.
15. *Рабинович М. Г* О древней Москве. М.: Наука, 1964.
16. *Рабинович М. Г* Не сразу Москва строилась. М.: Моск. рабочий, 1982.
17. *Федоров В. И.* К вопросу об архитектурно-археологическом исследовании Московского Кремля // Средневековая Русь. М.: Наука, 1976.
18. *Векслер А. Г* Москва в Москве. М.: Моск. рабочий, 1982.
19. Памятники архитектуры Москвы. М.: Искусство, 1982.
20. *Янин В. Л.* Актовые печати древней Руси. X—XV вв. Т. I. М.: Наука, 1970.
21. *Владимирская Н. С.* Отчет об археологических раскопках в Кремле в 1979 г // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 7901.
22. *Владимирская Н. С.* Отчет об археологических раскопках в Кремле в 1982 г. // Архив ИА АН СССР Р-1. № 9283.
23. *Рабинович М. Г* Культурный слой центральных районов Москвы // МИА. 1971. № 167
24. *Колчин Б. А.* Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа // МИА. 1956. № 55.
25. *Квердфельдт Э. К.* Керамика Ближнего Востока. Л.: Тип. Гос. Эрмитажа, 1947
26. *Смирнова Г П.* Опыт классификации керамики древнего Новгорода // МИА. 1956. № 55.
27 *Колчин Б. А.* Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого // МИА. 1959. № 65.
28. *Медведев А. С.* Оружие Новгорода Великого // МИА. 1959. № 65.
29. *Недошивина Н. Г* Перстни // Очерки по истории русской деревни XI—XIII вв. М., 1967.
30. *Медведев А. С.* Ручное метательное оружие // САИ. 1966. Вып. Е1-36.
31. *Равдина Т В.* Технология и хронология лопастных височных колец // Славяне и Русь. М.: Наука, 1968.
32. *Арциховский А. В.* Курганы вятичей. М., 1930.
33. *Розенфельд Р. Л.* О производстве и датировке овручских пряслиц // СА. 1964. № 4.

T D. Avdusina, A. S. Vladimirskaya, T D. Panova

SOME RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL STUDIES OF THE MOSCOW KREMLIN (1974—1982)

Summary

The authors aim at acquainting the archaeological community with the newly discovered facts obtained through archaeological investigations in the Moscow Kremlin. The pre-Mongolian layers have been discovered in the Sobornaya and Ivanovskaya squares (the northern and north-western parts) They are dwelling layers typical of all mediaeval Russian towns. Traces of the moat already known from the investigations of the 1960s came to light in the south-western corner of the Great Kremlin Palace [8, p. 265]. A natural ravine crossed the Ivanovskaya Square. The diggings of 1979 and 1982 have revealed the fact that this part of the Kremlin was first populated in the mid-12th century

Публикации

А. В ТРУСОВ

ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА ШАТРИЩИ НА СРЕДНЕЙ ОКЕ

Верхнепалеолитическая стоянка Шатрищи расположена на правом берегу р. Оки, на юго-западной окраине с. Шатрищи (Рязанская обл., Спасский р-н), на овражном мысу, образованном двумя сливающимися ручьями речки Черной, протекающей по днищу большого древнего оврага и впадающей в р. Оку. Расстояние от этого овражного мыса до р. Оки около 0,5 км (рис. 1).

Открытию стоянки предшествовало нахождение летом 1967 г. в овраге р. Черной, в промоине овражного мыса, бивня мамонта. Находка сделана местными ребятами, бивень извлекли школьники, работавшие на археологических раскопках Старорязанского городища.

Летом 1977 г место находки было осмотрено автором статьи, проведена его шурфовка [1] В шурфе 1×2 м (шурф 1) найдены расколотые кости животных и несколько кремней, залегавшие в иловатых суглинках на глубине 1,25—2 м. Наличие расколотых несомненно еще в древности костей и, по-видимому, не случайное расположение этого местонахождения с учетом особенностей рельефа (на удобном овражном мысу) требовало продолжения исследований.

В 1978 г. в различных местах на мысу было заложено три шурфа [2] Шурф 2 (2×2 м) заложен в 18 м к востоку от шурфа 1 (1977 г.), шурф 3 (2×1 м) — в 16 м к северо-западу — западу от шурфа 1, шурф 4 (2×3 м) — в 9 м к северу — северо-западу от шурфа 1 (рис. 2). Эти шурфы затронули слабо насыщенную находками периферийную или сильно разрушенную часть местонахождения и четкого ответа на вопрос о его происхождении не дали. М. П. Гласко, изучавшая разрез на месте шурфа 1, отнесла (как потом выяснилось, ошибочно) образование горизонта, содержащего фауну, ко времени формирования третьей террасы Оки, ко второй половине периода днепровского оледенения (175—210 тыс. лет назад) [3, с. 101].

В 1979 г была предпринята еще одна попытка разобраться в происхождении данных фаунистических находок. Раскоп 2,5×5 м был заложен рядом с шурфом 1 (1977 г.) на краю промоины, заполненной позднейшими сильно гумусированными отложениями и сельским мусором, в которой в 1967 г был найден бивень. Раскопом был задет край довольно крупной западины (длина около 3, глубина до 0,5 м), которая первоначально принималась нами за остатки возможного жилища. В ней была собрана основная масса всех фаунистических остатков, встреченных в раскопе, а также расщепленные кремни и кремневые орудия [4; 5, с. 85]

В 1981 г. к раскопу 1979 г. был прирезан новый участок с таким расчетом, чтобы вскрыть оставшуюся неисследованной часть западины, а также часть прилегающей к ней площадки. Общая площадь раскопа, включая площадь раскопа 1979 г составила 46 м^2 В раскоп 1981 г. вошел также шурф 1977 г. Сюда же пришлось включить и находившуюся поблизости промоину, так как заинтересовавшая нас западина, содержавшая культурные остатки, могла уходить

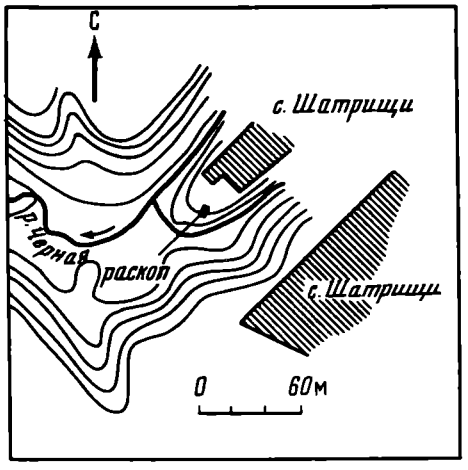


Рис. 1. Схематический план расположения стоянки (горизонтали даны через 2 м)

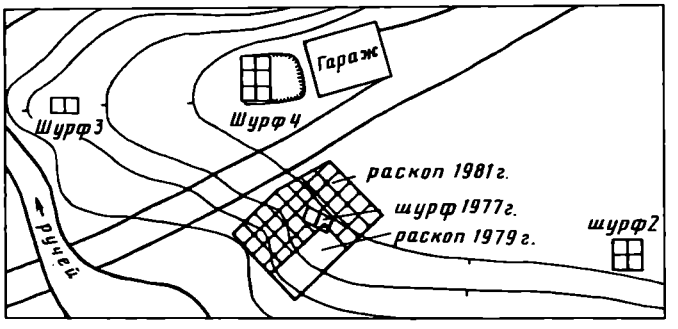


Рис. 2. Стоянка Шатрищи. План расположения раскопа и шурфов на овражном мысу

в нее. Как выяснилось позже, этой промоиной, вероятно несколько расширенной школьниками при извлечении бивня мамонта в 1967 г., было уничтожено около 12 м^2 площади содержащего находки слоя [6; 7, с. 93]

Высота площадки мыса, на котором располагалась стоянка, около 13 м над уровнем Оки, что, по Н. И. Кригеру, соответствует уровню первой надпойменной террасы Оки — 8—12 м (высота второй —18—23 м) [8, с. 83] По А. А. Асееву, уровень первой террасы — 9—17 м [9, с. 34].

Современная дневная поверхность на участке, где был разбит раскоп, имеет довольно сильный уклон в сторону русла речки, и разница высот верхних и нижних квадратов раскопа составляет более 1,5 м, соответственно мощность перекрывающих культурные остатки отложений возрастает от 0,8 м в нижних до 2 м в верхних квадратах.

Стратиграфия вскрытых раскопом отложений следующая (замеры глубин залегания слоев даны по северо-восточной стенке раскопа — квадрат М-6) (рис. 3):

0. 0—0,1 м — дерн.

1. 0,1—0,66 м — темно-серая гумусированная супесь — позднейший селищный слой. Контакт с нижележащим слоем четкий, но линия контакта очень неровная из-за сильных перекопов, проникающих в нижележащий слой. Мощность слоя от 0,3 до 1,3 м в местах перекопов.

2. 0,66—0,91 м — слой светло-серого мелкозернистого слоистого песка (аллювий р. Черной?). Его мощность от 0,2 до 0,62 м, ниже по склону этот слой выклинивается (результат размыва склона). Контакт с нижележащим слоем четкий.

3. 0,91—1,08 м — слой темно-серых (иловатых) слоистых суглинков и глин. Его мощность от 0,14 до 0,37 м. Он, как и предыдущий слой, ниже по склону выклинивается. Контакт с нижним слоем четкий.

4. 1,08—1,46 м — прослои темно-бурого рыхлого торфа, перемежающиеся с прослоями и линзами сильно разложившегося ракушечника. Мощность торфяных прослоев от 0,1 до 0,2 м, в западине в районе квадрата М-10 она увеличивается до 0,48 м. Мощность всей толщи торфяника, включая прослойки ракушечника, от 0,35 до 0,6 м. Контакт с нижележащим слоем четкий, но очень неровный — вероятно, результат размыва поверхности подстилающего слоя.

5. Бурый суглинок. В раскопе 1979 г. он отмечен как переходный слой, залегающий между слоем 1 и лежащими ниже иловатыми суглинками. Этот суглинок прослежен в нижней половине раскопа (выше по склону выклинивается), его мощность до 0,5 м. Контакт со слоем 1 нечеткий, с нижним слоем четкий. На контакте с нижним слоем отмечены (как результат перемыва его поверхности) линзы желтовато-серых слоистых песков. В нижней части этих линз, как правило, включаются крупнозернистый песок, мелкий гравий, обломки ракушек.

6. 1,46—2,03 м — слой серого иловатого суглинка со следами довольно сильного ожелезнения по корням в виде вертикально расположенных железистых трубочек. Мощность его из-за значительной разрушенности верхней части слоя эрозией колеблется от 0,1 до 0,6 м. В нижней части слоя ожелезнение местами выражено особенно сильно. Контакт с подстилающим слоем четкий. На нижнем контакте прослеживаются линзочки слоистых песков и линзочки песка, включающего мелкий гравий и илистую крошку (еще один уровень размыва). К этому уровню (контакту слоя 6 и лежащих ниже иловатых суглинков) и приурочена основная часть культурных остатков эпохи верхнего палеолита.

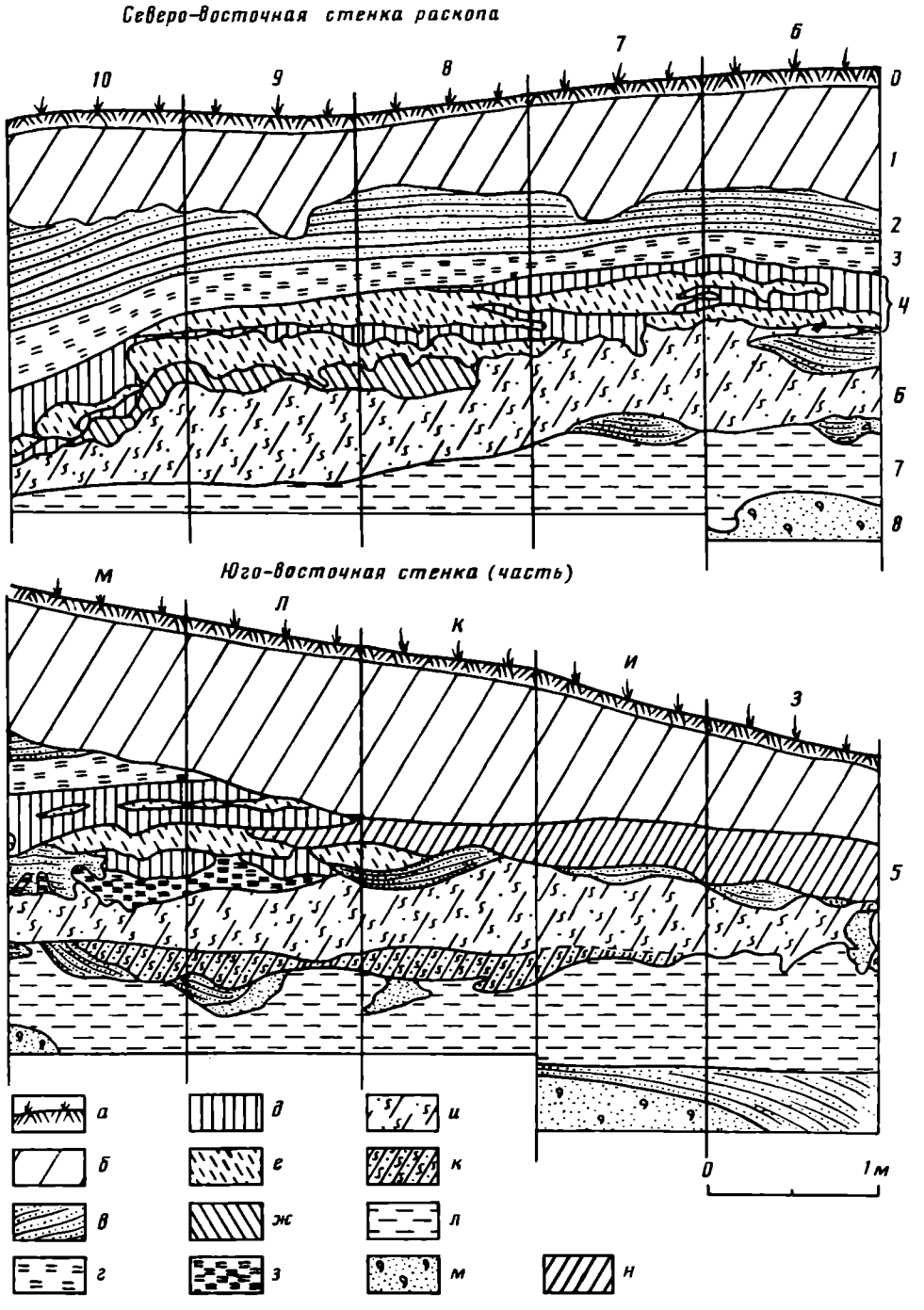


Рис. 3. Профили стенок раскопа. *а* — дерн; *б* — темно-серая супесь — селищный слой; *в* — слоистый песок; *г* — темно-серые иловатые слоистые суглинки и глины; *д* — торф; *е* — ракушечник; *ж* — темно-серый суглинок с примесью ракушки; *з* — черная глина; *и* — серый иловатый суглинок со следами ожелезнения; *к* — сильно ожелезненный иловатый суглинок; *л* — иловатый серый легкий суглинок; *м* — травянисто-зеленые верхнемеловые пески; *н* — бурый суглинок

7 2,03—2,4 м — иловатые серые суглинки, их мощность 0,4—0,6 м. В верхней части слоя встречаются отдельные находки костей и расщепленных кремней.

8. 2,4 м и ниже — травянисто-зеленые (раннемеловые?) пески. На контакте с верхним слоем встречаются довольно крупные конкреции сильно ожелезненного песчаника. Наблюдается падение поверхности этих песков в сторону русла р. Черной (местами до 45°) — древний размыв коренных отложений речкой Черной. Образовавшаяся ложбина заполнена желтовато-серыми слоистыми песками (аллювий р. Черной). В этих песках при контрольной прокопке в 1979 г. найдена пластина зуба мамонта и кость какого-то крупного животного.

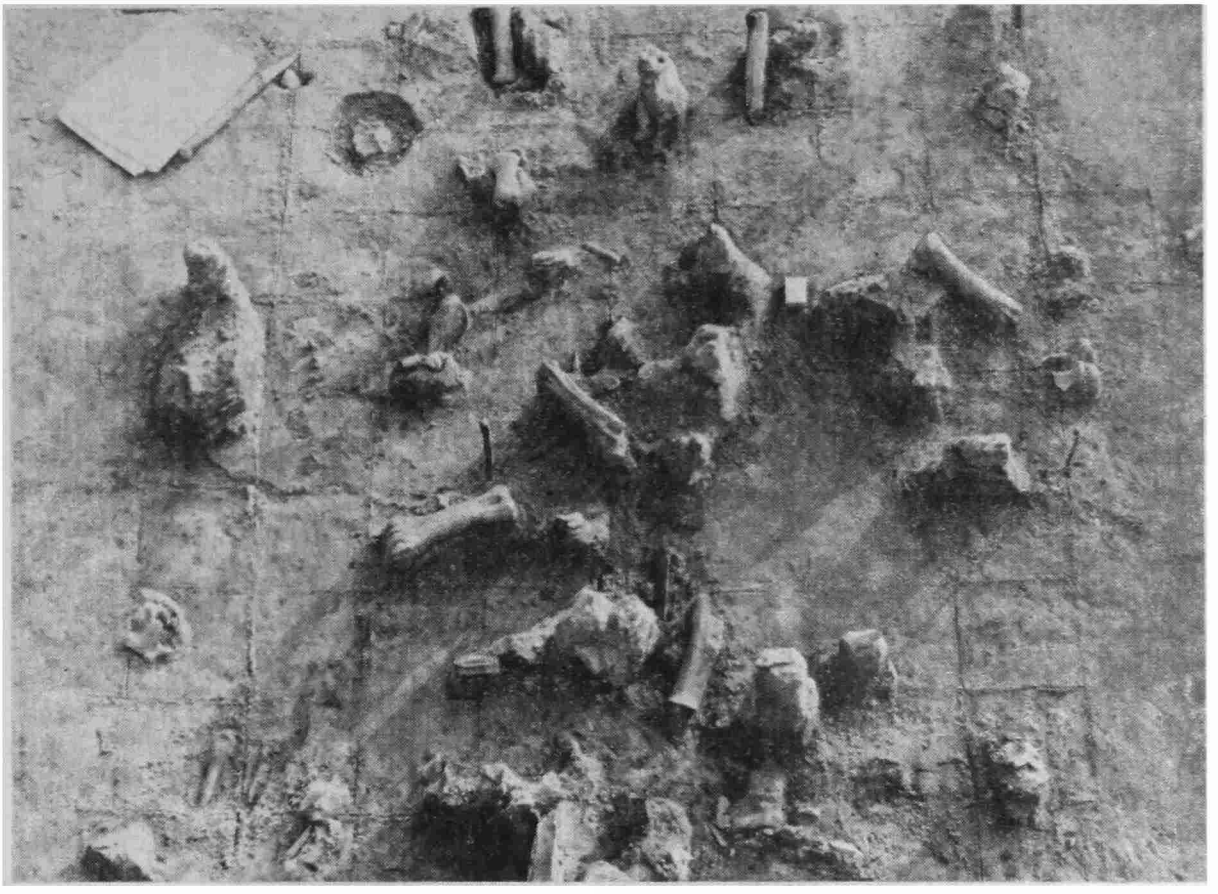


Рис. 4. Расположение костного материала на площадке перед западиной (квадраты Л-6, Л-7, К-6, К-7)

Как отмечалось выше, горизонт залегания находок приурочен в основном к контакту слоев 6 и 7 Он простирается почти горизонтально в направлении от верхних квадратов к нижним (вдоль длинной юго-восточной стенки раскопа) Перепад составляет не более 20—30 см. Более сильное падение его наблюдается в направлении северного угла раскопа (до 40 см по северо-восточной стенке раскопа).

Материал распределен по площади раскопа неравномерно. Значительная часть костей и ряд расщепленных кремней происходят с относительно ровной площадки у восточного угла раскопа (квадраты М, Л, К-6,7) (рис. 4). Большая же часть костного и кремневого материала собрана в примыкающей к этой площадке с западной стороны довольно значительной (4×2,5 м, глубина 0,5 м) западине (квадраты К-8; К-7; И, З, Ж, Е-7, 8, 9) (рис. 5). На остальной площади раскопа находки костей и расщепленных кремней единичны.

Вероятно, в результате процесса размыва культурный слой существовавшей здесь стоянки был сильно попорчен, а археологический материал в значительной степени переотложен.

Культурные остатки концентрируются в основном у восточного и северо-западного краев западины. В западине сосредоточено до половины всего костного материала, собранного на раскопе, и до $^{2}/_{3}$ изделий из кремня. Относительно правильная форма этой западины при достаточно крупных ее размерах, большое количество содержавшихся в ней культурных остатков как будто говорят о ее искусственном, пусть даже сильно измененном дальнейшими естественными процессами сооружении (жилище?). Однако отсутствие каких-либо более веских доказательств, а также приуроченность западины к горизонту размыва и преимущественное ее аллювиальное заполнение ставят под сомне-

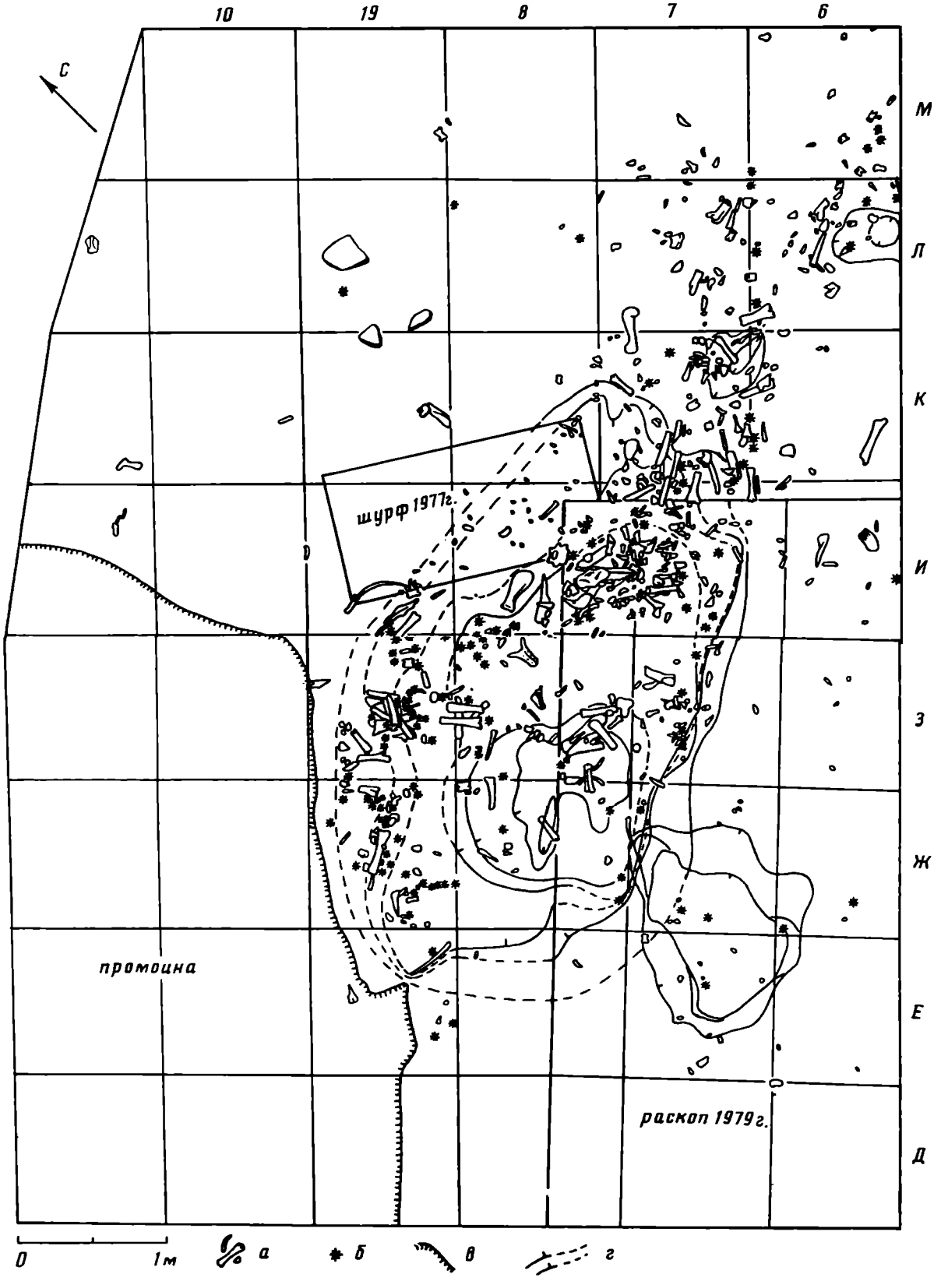


Рис. 5. План раскопа. *а* — кости; *б* — изделия из кремня; *в* — граница промоины; *г* — границы западины

ние возможность ее искусственного происхождения. Западина могла быть просто промоиной, в которой скопились смываемые с поверхности культурные остатки.

Из шурфов, заложенных на стоянке, самым неудачным оказался шурф 3. Он был заложен слишком низко. Слои, в которых можно было ожидать культурные остатки эпохи палеолита, здесь выклинивались.

Шурф 4 заложен в старой известковой яме (зачищены стенки и несколько углублено дно). Некоторое количество расщепленных костей встречено на глубине 1,4—2,0 м в слое светло-серого (в нижней части желтоватого) песка с известковистыми включениями и прослоечками торфа. Мощность этого слоя 0,18—0,55 м.

Среди фаунистических остатков здесь, как и в раскопе, по нашим наблюдениям, преобладали обломки костей лошади. Кроме костей в этом слое обнаружено два мелких кремневых отщепа и, что особенно интересно, фрагмент прямого, слегка утолщенного венчика сосуда без орнамента и фрагмент стенки сосуда также без орнамента (керамика лепная с обильной примесью дресвы). Такая керамика в Окском бассейне обычна для поселений позднебронзового и раннего железного веков. Весь этот материал, без сомнения переотложен, о чем свидетельствует окатанность костей, керамики и кремней. Благодаря находке фрагментов керамики можно предполагать и время по крайней мере одного из этапов разрушения и переотложения культурного слоя верхнепалеолитической стоянки (II — начало I тыс. до н. э.). Какого-либо перекопа, в результате которого керамика могла попасть в слой с костями, не отмечено. Залегает этот слой, как и в раскопе, на слое иловатого суглинка. Здесь также отмечена прослойка торфа, лежащая несколько выше слоя с находками, т. е. стратиграфически положение слоя с находками в шурфе 4 практически аналогично его положению в раскопе.

В шурфе 2 слой, содержащий фаунистические находки, залегал на глубине 1,6—2,46 м. Он представлял собой толщу желтовато-серого иловатого суглинка.

Этот шурф, очевидно, единственный, где мы можем предполагать залегание находок in situ. Так, в верхней части слоя с фауной на глубине 1,65 м найдено несколько позвонков и ребрышек (предположительно песца) в анатомическом порядке. Находок из данного шурфа немного — 18 костей (включая обломки) и два не совсем достоверных кремневых отщепа.

Судя по всему, шурфом 2, наиболее удаленным от оконечности мыса, была задета периферийная часть стоянки, в меньшей степени подвергшаяся размыву. Центральная же часть (раскоп), где собрано наибольшее количество костных остатков и практически весь кремень, пострадала больше. Однако подавляющее большинство фрагментов костей не несет заметных следов окатывания.

В 1981 г. при вскрытии западины в центральной части раскопа были взяты образцы на спорово-пыльцевое определение. Анализы, проведенные Н. И. Филиной, свидетельствуют о том, что в образцах, взятых из суглинка, подстилающего слой с фауной (слой 7), и непосредственно из слоя с фауной (образец взят из западины, заполненной костным и кремневым материалом), присутствуют как раннемеловые (аптские?), так и плейстоценовые споры и пыльца практически в равной пропорции. В слое, непосредственно перекрывающем слой с фауной, преобладают раннемеловые споры и пыльца, а зерна плейстоценовой пыльцы единичны, что указывает на сильное ускорение переотложения делювия [10, с. 208—210]

Плейстоценовые спорово-пыльцевые спектры из слоя с фауной и подстилающего слоя сходны по составу и типичны для плейстоценовой тундростепи. Преобладает пыльца трав и кустарничков, в том числе гречишных (до 28,8%), полыней (до 25,6%), осок (до 24,2%), злаков (до 20%). Пыльцы деревьев мало (8,1—2,0%), споры единичны. Увеличение в слое стоянки по сравнению с подстилающим процента спор гречишных (с 4,1 до 28,8%) при одновременном уменьшении вклада осок (с 24,2 до 9,0%) тоже, очевидно, свидетельствует об

Таблица

Изделия	Количество	%
Нуклевидные	13	8,2
Отщепы и осколки	45	28,3
Пластины	50	31,4
Ребристые пластины	2	1,3
Резцовые отщепки	4	2,5
Отщепы с ретушью	5	3,1
Пластины с ретушью	17	10,7
Орудий	23	14,5
Всего	159	100

ускорении стока и размыва и об увеличении площади рудеральных элементов ландшафта [10, с. 208—210]

Состав фауны из шурфа 2 несколько отличается от состава фауны из раскопа. Так, в шурфе представлены кости следующих животных [1]: Alopex lagopus L. (песец) — левая ветвь нижней челюсти, большая берцовая кость, позвонки — 2 шт.; мелкий хищник (возможно, песец) — группа костей в анатомическом порядке (ребра и позвонки); Equus caballus L. (лошадь) — плюсневая кость, обломок большой берцовой кости; Bison sp. (бизон) — обломок пястной кости; Alces sp. (лось?) — пяточная кость [2]

Определимые кости из раскопа принадлежат следующим животным: Mammutus primigenius Blum. (мамонт) — 10 костей, в основном осколки; Equus caballus Latipes V Grom. (широкопалая лошадь) — 216; Coelodonta antiquitatis Blum. (шерстистый носорог) — 3; Sus scrofa L. (кабан) — 1; Rangifer tarandus L. (северный олень) — 13; Bison priscus Boj (первобытный бизон) — 53; Saiga tatarica L. (сайга) — 1 [10, с. 208—210]

Материалы из раскопа существенно дополняют немногочисленные сборы из шурфа 2, однако в раскопе среди довольно большого числа костных остатков отсутствуют встреченные в шурфе кости песца. Возможно, подобное явление объясняется хозяйственной спецификой участка стоянки, на который пришелся шурф. Так, И. Г Шовкопляс отмечает, правда в основном относительно анатомических групп костей песца, что они в Мезине находились вне пределов сосредоточения жилых и бытовых комплексов стоянки, в ее юго-восточной части, где происходило расчленение туш животных [11, с. 99]

Всего на стоянке собрано 159 кремневых изделий, не считая 14 мелких осколков и чешуек. Соотношение между основными группами изделий представлено в таблице.

Почти половина представленных изделий выполнена из пластичного желтокоричневого полупрозрачного или слабопрозрачного кремня. До трети изделий сделаны из серого полупрозрачного также высококачественного кремня. Встречено три изделия из черного полупрозрачного кремня. Каких-либо выходов, содержащих подобный высококачественный кремень, в ближайших окрестностях стоянки не отмечено. Остальной кремень несколько более худшего качества, в основном различных оттенков коричневого цвета, непрозрачный, вероятно, из поверхностных сборов.

В группу нуклевидных вошли девять нуклеусов, три нуклевидных обломка и один осколок с ребра нуклеуса. Среди нуклеусов имеется два плоских односторонних косоплощадочных, из которых один имеет две площадки на противоположных концах изделия (рис. 6,1), другой одноплощадочный (рис. 6, *2*). Один двухплощадочный нуклеус со слабоскошенными площадками, расположенными на противоположных концах заготовки, также имел уплощенную форму. Скалывание пластин проводилось с обеих сторон нуклеуса — для каждой ударной площадки своя плоскость скалывания (рис. 6, *3*). Подконических нуклеусов с попытками кругового скалывания от грубых пластин и отщепов — два

[1] Определение выполнено Э. А. Вангенгейм и М. В. Сотниковой.

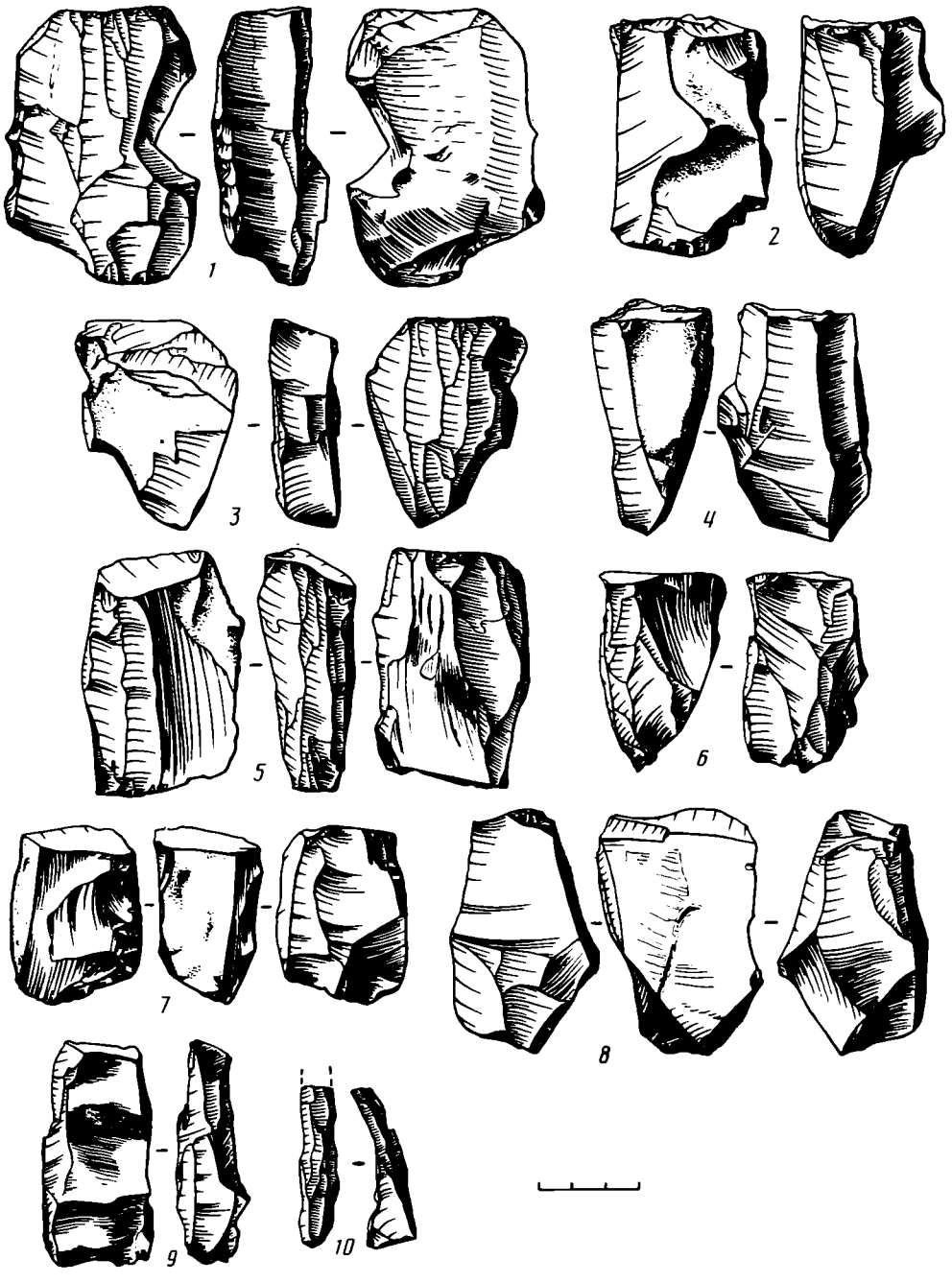


Рис. 6. Нуклеусы

(рис. 6, *4, 5*). Имеется также нуклеус первоначально, видимо, подконический, от грубых пластин и отщепов, впоследствии поверхность одного из сколов была использована в качестве второй сильноскошенной ударной площадки (рис. 6, *6*). Кроме того, встречено два одноплощадочных нуклеуса от отщепов и грубых пластин. У одного скалывание заготовок проводилось преимущественно по одному фасу (рис. 6, *7*), у другого — по двум противоположным, наиболее узким сторонам заготовки (рис. 6, *8*) Один нуклеус из осколка кремня, распавшегося по трещинам, был торцового типа, плоскостью скалывания для довольно правильных и узких ножевидных пластин у него послужила одна из длинных и узких сторон заготовки (рис. 6, *9*)

Основной заготовкой для орудий на данной стоянке служили пластины. Так, пластин со вторичной обработкой или следами утилизации — 33 экз. (73%), от-

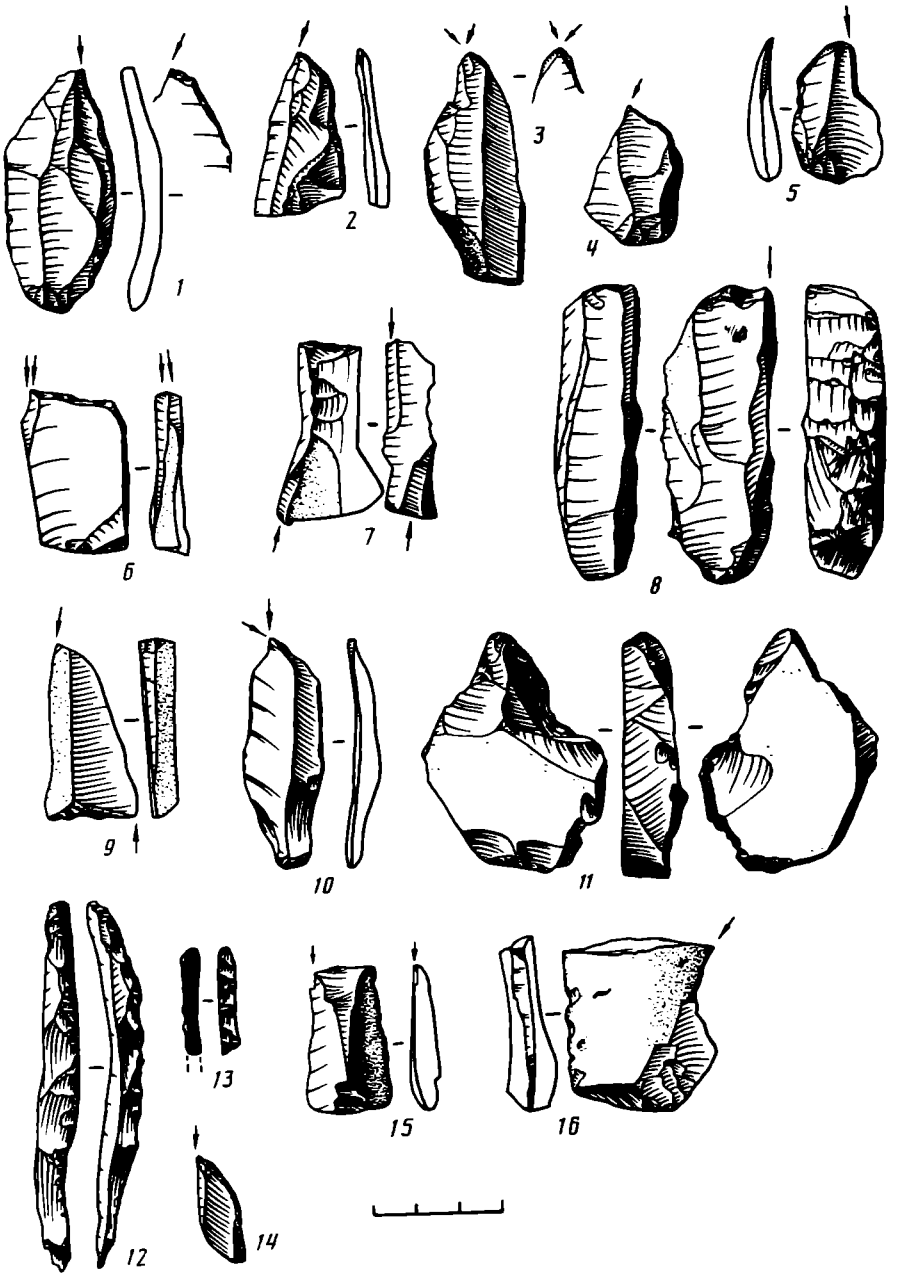


Рис. 7 Резцы (*1—11, 15, 16*), резцовые отщепы (*12—14*)

щепов со вторчной обработкой или следами утилизации — 12 экз. (27%). В целом пластин (включая орудия и пластины со следами утилизации) — 83 экз. (59%), отщепов (включая орудия и отщепы со следами утилизации) — 57 экз. (41%)

Размеры пластин колеблются от 31×13 до 74×17 мм. Размеры отщепов в большинстве не превышают 30×40 мм (самый крупный — 61×56 мм) Преобладают удлиненные пропорции отщепов (длина превышает ширину)

Самой многочисленной категорией орудий являются резцы, их 13 экз. (38,2% орудий, включая сколы с ретушью и следами утилизации) Среди них преобладают ретушные — 7 экз. Из них косоретушные 5 экз. (три изготовлены на пластинах, рис. 7, *1—3*; два — на отщепах, рис. 7, *4, 5*), поперечноретушных 2 экз. (рис. 7, *6, 7*).

Среди косоретушных резцов у одного ретушь, скашивающая конец изделия, нанесена не на спинку, как это характерно для ретушных резцов, а на брюшко (рис. 7, *1*). Один резец интересен тем, что у него ретушь, скашивающая конец пластины, частично снята поперечным резцовым сколом, вероятно, в результате поправки рабочей кромки резца (рис. 7, *3*).

Из поперечноретушных резцов один изготовлен на отщепе (рис. 7, *6*). Другой резец, двойной, изготовлен на обломке ребристой пластины (рис. 7, *7*) Он имеет две круто ретушированные крупной ретушью площадки для снятия резцовых сколов на противоположных концах заготовки (одна площадка ретуширована на спинку, другая — на брюшко)

Имеется один комбинированный резец (поперечноретушный угловой) на обломке пластины (рис. 7, *9*). У него площадкой углового резцового скола послужил скол поперечноретушного резца, рассекший пластину наискось.

Изделий с резцовым сколом на углу облома — два. Одно, наиболее выразительное, изготовлено на отщепе (рис. 7, *16*). На его резцовой кромке заметны следы сработанности в виде мельчайшей ретуши. Другое изделие, обломок пластины с резцовым сколом на углу, вряд ли является резцом. Его тонкий и короткий резцовый скол имеет скорее всего случайный характер (рис. 7, *15*).

Срединный резец один. Он изготовлен на конце ножевидной пластины, по краям имеется очень мелкая полукрутая ретушь на спинку, вероятно, приобретенная в результате работы краями (рис. 7, *10*).

Возможно, к резцам следует отнести еще два изделия. Одно, относительно массивное, изготовлено на снятой с нуклеуса ударной площадке и использовалось первоначально, видимо, в качестве вторичного нуклеуса. Рабочая кромка, как у боковых (ретушных) резцов, получена путем снятия пластинчатых сколов с круто ретушированной на спинку площадки. По самой кромке заметны следы довольно сильной замятости и мелкая ретушь, получившиеся в результате работы этим орудием по твердому материалу (рис. 7, *8*). Другое изделие, которое можно было бы отнести к нуклевидным многофасеточным резцам, выполнено на осколке нуклеуса, распавшегося по трещинам. Его рабочая кромка несет явные следы сработанности в виде замятости и мельчайших фасеток ретуши (рис. 7, *11*).

Скребков — два. Один из них концевой на укороченной пластине с дугообразным рабочим краем (рис. 8, *2*). Другой, в сочетании с поперечноретушным резцом изготовлен на кремневой плитке со следами естественных расколов на плоскостях, имеет слабодугообразное скошенное лезвие, оформленное полукрутой крупной ретушью с подправкой края лезвия более тщательной мелкой ретушью. Противоположный скребковому лезвию конец заготовки обработан крупной отвесной ретушью. С полученной таким образом ретушированной площадки нанесен резцовый скол. Резцовая кромка подправлена небольшим поперечным сколом (рис. 8, *1*).

К скобелям можно отнести три предмета, один на отщепе (рис. 8, *4*) и два (один в обломке) на пластинах (рис. 8, *3, 5*). Мелкая крутая ретушь последних двух изделий, вероятнее всего, приобретена ими в процессе их утилизации.

Пластинок с притупленным ретушью краем — две. Одна имеет частично притупленный крутой ретушью край (рис. 8, *7*). Другая пластинка обработана более тщательно (рис. 8, *6*). Один из ее краев полностью обработан практически вертикальной, частично обрубающей края пластинки ретушью, переходящей у дистального конца на противоположный край и образующей как бы микроскребковое лезвие. Бугорковая часть обломана, и здесь крутой ретушью выполнена небольшая выемка.

Пластинок со скошенным ретушью концом 3 экз. Два из них выполнены крутой ретушью на спинку (рис. 8, *8, 9*) и одно — на брюшко. Рабочими кромками в данном случае являются выделенное таким образом острие и часть прилегающего к нему неретушированного острого края пластинки, на которых имеются

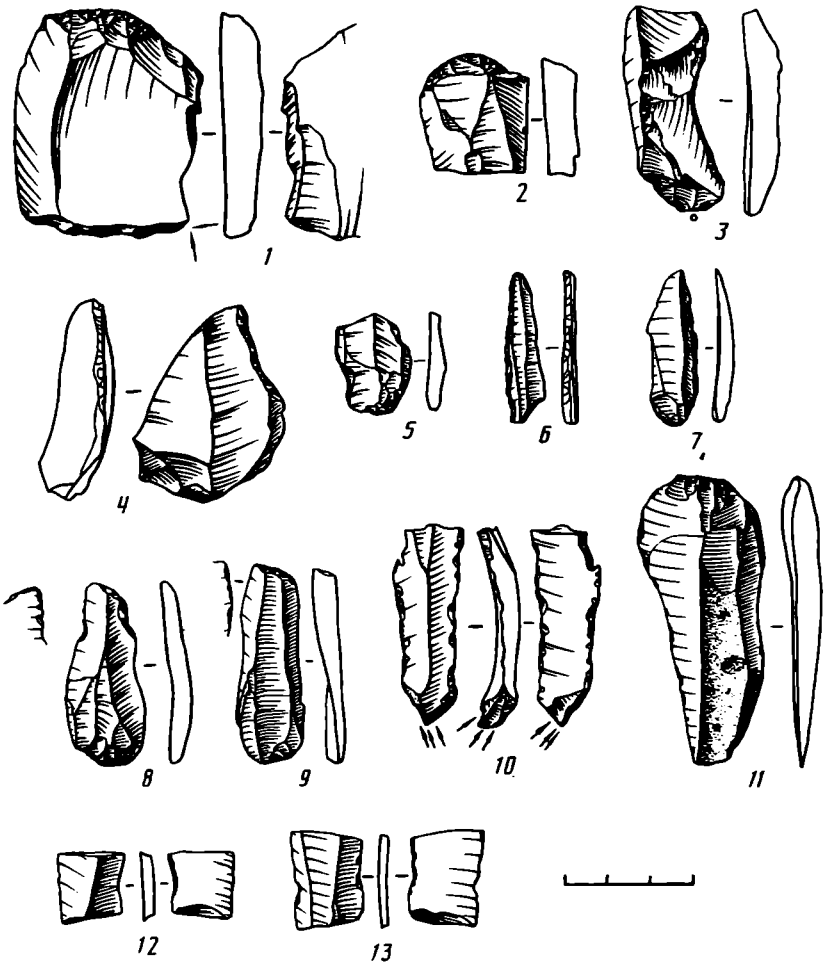


Рис. 8. Кремневые орудия

следы сработанности в виде мельчайшей нерегулярной ретуши и залощенности. Эти изделия, вероятно, можно отнести к так называемым режущим остриям, подобным режущим остриям Мезинской стоянки [11, с. 160—161, табл. XXV] И. Г Шовкопляс отмечает подобные изделия на стоянках Супонево, Елисеевичи, Погон, Бугорок, Новгород-Северская, Юдиновская, Чулатовская I, Юровичская (верхний слой) и считает, что подобные изделия являются специфической формой для памятников позднего палеолита Среднеднепровского бассейна, в частности мадленских, относящихся к выделяемой им мезинской культуре [11, с. 164]

Кроме того, на стоянке встречено 17 пластин и пять отщепов с ретушью или следами работы по краям. Среди них надо отметить пару пластин со следами изношенности по краям (мельчайшая нерегулярная ретушь, залощенность). Они вполне могли использоваться в качестве мясных ножей, где заготовка, имеющая достаточно длинный прямой и острый край, могла использоваться без дополнительной обработки, при этом следы работы, как правило, незначительны (рис. 8, *11*) [12, с. 154]

Среди пластин с ретушью найдена одна, края которой имеют сильную изношенность в виде нерегулярной ретуши, фасетки которой различного размера и направленности заходят как на спинку, так и на брюшко изделия (рис. 8, *10*). Такая выкрошенность лезвий обычно наблюдается у орудий с режуще-пилящим характером использования по твердым волокнистым материалам [13, с. 28, рис. 6, I, *4*, II, *3, 7*, с. 59, рис. 12]

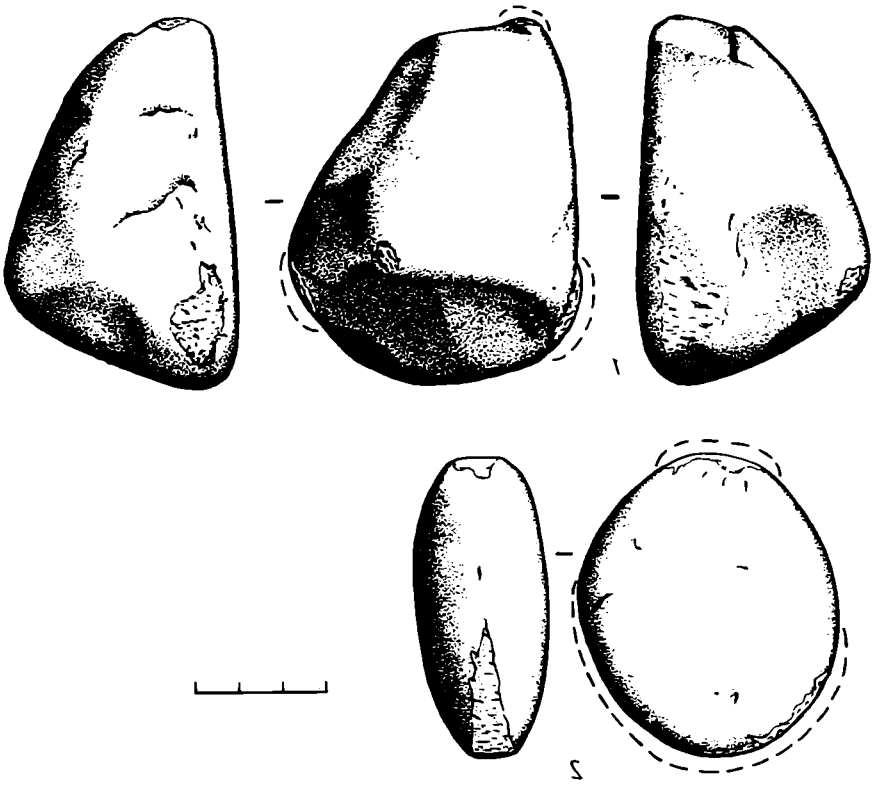


Рис. 9. Отбойники (кварцитовый песчаник)

Отбойники представлены 2 экз. В качестве одного использован хорошо окатанный валун кварцитового песчаника (рис. 9, *1*), в качестве другого — галька кварцитового песчаника (рис. 9, *2*). Наиболее интенсивные следы изношенности у обоих предметов (побитость, выкрошенность) наблюдаются на выступающих частях их поверхности.

На стоянке встречено также несколько изделий из кости. Это прежде всего крупная (29×2—2, 4×0,4—0,5 см) пластина из бивня мамонта. У нее ровные, вертикально обрезанные края, плоскости же получены в результате расщепления бивня по слою и не несут каких-либо заметных следов обработки. Пластина имеет искривленную в плане и профиле форму, частично из-за естественной формы бивня, частично из-за последующих деформаций самой пластины (рис. 10, *4*).

Обломки подобных пластин имеются на Тимоновской I стоянке. По мнению Л. В. Греховой, их отделение от бивня проводилось посредством скалывания предполагаемой пластины, предварительно выделенной с двух сторон продольными надрезами глубиной 0,5—0,6 см [14, с. 84]

Обломок бивня с продольными глубокими параллельными канавками расчленения отмечен также на стоянке Елисеевичи [15, с. 129, рис. 50]

Подобный прием обработки бивня наблюдался на Пенской стоянке «в миниатюрном исполнении» [16, с. 174]

Значительное число обломков бивня и пластин из него с надрезами, связанными с его продольным расчленением, встречено на Мезинской стоянке [11, с. 180—182]

А. К. Филиппов, опираясь на материалы стоянки Мальта, считает, что расчленение бивня и получение пластин значительно облегчаются, если сырой бивень подвергнуть быстрому высыханию, в результате чего образуется сеть трещин и даже расслаивание по возрастным кольцам. Тонкие длинные пластины снимаются участками, как кора с дерева [13, с. 18] Возможно, знаменитый ши-

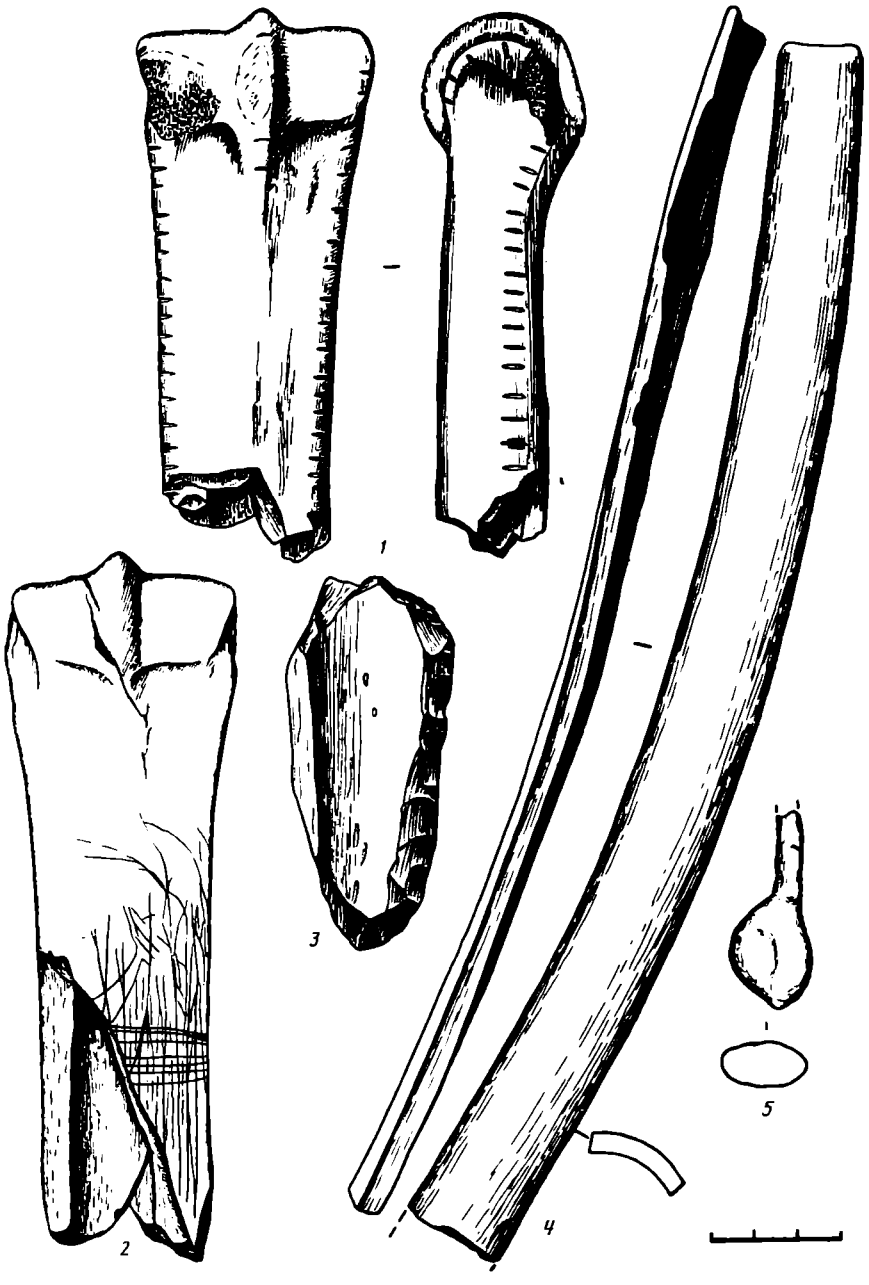


Рис. 10. Изделия из кости

рокий мезинский браслет с меандровым узором [11, с. 237, табл. L, *1*] является одним из наиболее ярких примеров использования древним мастером именно этого свойства бивня как поделочного сырья. Не исключено, что и отделение пластины, найденной в Шатрищах, было произведено с бивня, предварительно подвергнутого такой сушке. По наблюдению Л. В. Греховой, скалывание пластин в Тимоновке производилось по сырому бивню, в результате чего пластины чаще отделялись не по всей их длине, определяемой надрезом, а ломались. Длина их при этом относительно небольшая — 7,5—10,5 см [14, с. 84—86, рис. 1, *1*]

Другое изделие из кости представляет собой обломок пястной кости лошади с рядами коротких нарезок по боковым краям и головке (рис. 10, *1*) Подобные предметы (кости животных и изделия из костей с рядами нарезок по краям) имеют чрезвычайно широкое распространение в верхнем палеолите Европы.

Довольно интересен другой обломок пястной кости лошади с тонкими, едва различимыми процарапанными линиями на поверхности. Сохранилось около $^3/_4$ кости, включая головку. Противоположный конец, судя по характеру облома, отбит еще в древности. Поверхность кости слегка залощена. На верхней, более выпуклой ее стороне прослеживаются многочисленные, в основном параллельные различной ширины (от волосяных до 1 мм) поверхностные следы (рис. 10, *2*). Подобные следы могли получиться при скоблении кости в продольном направлении скребком или недостаточно ровным краем кремневого отщепа. В средней части кости поперек отмеченных следов имеются семь очень тонких параллельных линий. Эти линии в отличие от продольных следов строго одинаковой ширины и глубины, нанесены последовательно, на некотором расстоянии одна от другой очень тонким инструментом. Одна из линий, которую, видимо, пытались подправить, раздваивается на конце.

Среди обломков трубчатых костей в материалах Шатрищинской стоянки встречались и такие, края которых были как бы приострены несколькими сколами. В большинстве случаев из-за невыразительности изделий и грубой обработки трудно определить, имело ли место целенаправленное действие. Однако серия определенно целенаправленных приостряющих сколов фиксируется на одном из краев обломка трубчатой кости (рис. 10, *3*). Такое изделие при необходимости вполне можно было использовать в качестве скребла или режущего инструмента.

Еще одно изделие из кости имело вид стерженька диаметром 5—6 мм с овально-уплощенным утолщением на конце. Другой конец обломан. Максимальные размеры изделия 45×19×10 мм (рис. 10, *5*). По своему виду оно несколько напоминает некоторые из так называемых «фаллических» фигурок Мезинской стоянки [11, с. 234, табл. L, *2, 3*] Относительно возможной интерпретации подобных фигурок следует добавить, что мы в целом согласны с мнением И. Г Шовкопляса, подробно разбиравшего этот вопрос, что мезинские скульптурные фигурки, в том числе и «фаллические», являются стилизованными изображениями женских фигур [11, с. 245—248].

В Окском бассейне кроме Шатрищинской стоянки из более или менее изученных нужно отметить прежде всего Сунгирь под Владимиром, Карачаровскую у г. Мурома и стоянку в г. Зарайске.[2]

Сравнение материалов Шатрищинской стоянки с материалами вышеупомянутых памятников показало своеобразие ее кремневого комплекса. Так, для Сунгиря характерна примитивность в технике расщепления кремня и соответственно очень небольшое число ножевидных пластин (2,8%) по отношению к отщепам (97%). Отсюда и преобладание орудий на отщепах — 87%. Среди изделий со вторичной обработкой преобладают режущие орудия (пластины и отщепы с приостряющей ретушью по краям). Надо отметить также преобладание скребков над резцами и практически полное отсутствие резцов регушных и довольно значительное количество долотовидных орудий [18, с. 117, 141] В противоположность этому для Шатрищинской стоянки вполне можно констатировать развитую технику расщепления кремня со значительным преобладанием пластин над отщепами и преобладание орудий на пластинах, среди орудий — преобладание резцов, среди резцов — орудий ретушных типов. В противоположность Сунгирю здесь нет (вряд ли случайно) двусторонних форм орудий, а также долотовидных изделий.

Зарайская стоянка [19; 20, с. 91—92], по ряду признаков сближающаяся с памятниками костенковско-авдеевской культуры, так же имеет мало общего

---

[2] Уже после написания данной статьи стало известно о новой стоянке Заозерье I обнаруженной А. С. Фроловым в Подмосковье, которая по облику кремневого инвентаря, как нам кажется, имеет некоторое сходство с Шатрищенской [17, с. 75—83], что требует особого рассмотрения.

с Шатрищинской стоянкой. Для Зарайской стоянки, как и для Шатрищинской, характерна пластинчатая техника расщепления кремня и преобладание орудий на пластинах, а также преобладание резцов над другими типами орудий. Однако по пропорциям орудия Зарайской стоянки приблизительно вдвое крупнее. Хорошо выраженные в Шатрищинской стоянке ретушные типы резцов в Зарайске практически отсутствуют. Преобладающим типом резцов являются двугранные (срединные), часто многофасеточные. Кроме того, раскопки 1982—1983 гг. выявили на Зарайской стоянке целую серию ножей костенковского типа, отсутствующих в Шатрищах.

Сложнее сравнение с Карачаровской стоянкой ввиду ее слабой изученности, но, судя по опубликованным материалам, ретушные типы резцов для нее не характерны, преобладают же резцы срединные и на углу сломанной пластины. Имеются изделия с двусторонней обработкой, а также подработанные с брюшка [21, с. 5—14; 22, с. 21, 22, 23, рис. 1, 3, 4] Эти особенности более сближают Карачаровскую стоянку с Зарайской и другими памятниками с близким набором соответствующих изделий (Костенки I верхний слой, Гагарино и др.), чем с Шатрищами.

Таким образом, для Окского бассейна Шатрищинская стоянка в культурном отношении явление пока уникальное. Тем не менее имеется целая группа, по-видимому, близких по характеру памятников, которым присущи те же, что и для Шатрищинской стоянки, особенности кремневого комплекса. Это группа среднеднепровских мадленских памятников, ближайшие из которых (Тимоновка, Супонево, Карачиж) отстоят приблизительно на 400 км к юго-западу — западу от стоянки Шатрищи.

И. Г Шовкопляс на основании сравнения инвентаря, типов орнаментов, устройства жилищ объединяет все мадленские памятники Среднеднепровья «в единую специфическую группу памятников, составляющих локальный вариант культуры мадленской поры в Восточной Европе, который с полным основанием может быть назван мезинской культурой» [11, с. 300] С выводами И. Г Шовкопляса относительно выделяемой им культуры в той или иной степени не согласны различные исследователи [23, с. 198, 199; 24, с. 498, 499; 25] С. Н. Бибиков соглашается с тем, что «Мезин вместе с другими памятниками бассейна Десны (Супонево, Елисеевичи, Тимоновка, Юдиново) составляет группу близких по времени и культурно-историческим признакам памятников», но оговаривается, что «каждый из них обладает определенными особенностями» [26, с. 35].

Рассматривая кремневый комплекс стоянки Тимоновка II, Л. В. Грехова выделяет в бассейне Среднего Днепра группу памятников, объединяющихся такими признаками, как общая бедность форм кремневой индустрии, преобладание боковых резцов, отсутствие серий орудий с двусторонней обработкой и подтеской концов, использование высокой притупляющей ретуши. К этой группе она относит и Тимоновку II, ближайшие аналогии которой находит среди комплексов стоянок Тимоновка I (особенно первый комплекс), Карачиж, Юдиново, Бугорок, Рабочий Ров [27, с. 102]. Именно эти признаки, как мы видели, характерны для кремневого комплекса Шатрищинской стоянки. К перечисленным выше памятникам можно добавить также Мезин, Супонево, Елисеевичи, Чулатово I—II и некоторые другие, для которых также характерно преобладание в кремневом комплексе резцов бокового типа, использование высокой притупляющей ретуши, нехарактерность двусторонних форм орудий и изделий с подтеской с брюшка на конце [11; 15, с. 37—139; 28, с. 177—178; 29, с. 123—148; 30, с. 286—290]

Среди донских памятников наибольший интерес для нас представляют средний и особенно нижний горизонты стоянки Боршево II. Для кремневых комплексов этих слоев характерны те же особенности, что и отмеченные для Шатрищинской и некоторых мадленских стоянок Среднеднепровья [31, с. 219—222] Наличие определенного сходства инвентаря и возможной связи Боршево II со среднеднепровскими мадленскими памятниками отмечалось еще И. Г. Шовкоплясом,

который в нижнем горизонте Боршево II видел ближайшее продолжение Супоневской стоянки. А П. И. Борисковский в нижнем горизонте Боршево II видел связующее звено между группой Мезин — Супонево — Тимоновка и группой нижний горизонт Боршево II — Гонцы — верхний горизонт Боршево II [32, с. 59].

О близком времени и сходной природной обстановке Боршево II и Шатрищ могут, вероятно, говорить и проведенные С. П. Масловым и Е. Е. Антипиной промеры костей лошади Шатрищинской стоянки. В соответствии с этими измерениями среди памятников Костенковско-Борщевского района только на стоянке Боршево II, особенно в нижнем и среднем слоях, встречены кости лошади наиболее близкой лошади Шатрищинской стоянки, отличающейся небольшим даже для позднеплейстоценовых лошадей ростом в сочетании с большой шириной метаподиев.

Для Шатрищинской стоянки Л. Д. Сулержицким по локтевой кости молодого мамонта получена абсолютная дата 14360±150 (ГИН — 2913). Подавляющее большинство из имеющихся у нас дат по приведенным выше памятникам эпохи мадлена также укладывается в период между 13—16 тыс. лет назад [33, с. 356, 357]

Новая верхнепалеолитическая стоянка Шатрищи, как мы видим, в известной степени дополняет наши представления о верхнем палеолите Волго-Окского междуречья, добавляя к известным уже памятникам стрелецкой (стоянка Сунгирь) и костенковско-авдеевской (Зарайская стоянка) культур памятник иного типа, основными своими чертами сходный как с нижним слоем стоянки Боршево II, так и с некоторыми мадленскими памятниками Среднеднепровья.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Трусов А. В.* Отчет о разведке и раскопках в Рязанской и Московской областях в 1977 году // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 6565.
2. *Трусов А. В.* Отчет о работе в Спасском районе Рязанской области и о работах на стоянке Альба I в Московской области в 1978 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 7021.
3. *Фоломеев Б. А., Гласко М. П., Свирина А. Б., Трусов А. В. и др.* Работы в бассейне Средней Оки // АО — 1978. М., 1979.
4. *Трусов А. В.* Отчет о разведках и раскопках в Рязанской и Московской областях в 1979 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 7676.
5. *Фоломеев Б. А., Трусов А. В., Гаврилов А. Н.* Работы в бассейне Средней Оки // АО — 1979. М., 1980.
6. *Трусов А. В.* Отчет об археологических раскопках верхнепалеолитической стоянки Шатрищи (Рязанская область, Спасский район, с. Шатрищи) в 1981 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 8854.
7. *Трусов А. В.* Раскопки верхнепалеолитической стоянки Шатрищи // АО — 1981. М., 1983.
8. *Кригер Н. И.* К геологии следов палеолита в бассейне Оки // БКИЧП. 1947. № 10.
9. *Асеев А. А.* Палеогеография Средней и Нижней Оки в четвертичный период. М.: Изд-во АН СССР, 1959.
10. *Маслов С. П., Антипина Ек. Е.* Природная обстановка и биоценотические комплексы среднего течения Оки в конце плейстоцена // VIII Всесоюзная зоогеографическая конференция. Ленинград, 6—8 февраля 1985 г. Тез. докл. М.: Изд-во МГУ, 1984.
11. *Шовкопляс И. Г.* Мезинская стоянка. Киев: Наук. думка, 1965.
12. *Семенов С. А.* Развитие техники в каменном веке. Л.: Наука, 1968.
13. *Филиппов А. К.* Проблема технического формообразования орудий труда в палеолите // Технология производства в эпоху палеолита. Л.: Наука, 1983.
14. *Грехова Л. В.* Обработанная кость Тимоновской стоянки // Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы. Л.: Наука, 1977.
15. *Поликарпович К. М.* Палеолит Верхнего Поднепровья. Минск: Наука и техника. 1968.
16. *Григорьева Г. В., Филиппов А. К.* Пенская позднепалеолитическая стоянка (Курская область) // СА. 1978. № 4.
17. *Фролов А. С.* Стоянка Заозерье I на Москве-реке // КСИА, 1987 Вып. 189.
18. *Бадер О. Н.* Сунгирь. Верхнепалеолитическая стоянка. М.: Наука, 1978.
19. *Трусов А. В.* Зарайская верхнепалеолитическая стоянка. (Предварительное сообщение) // СА. 1985. № 3.
20. *Трусов А. В.* Раскопки Зарайской палеолитической стоянки // АО — 1982. М., 1984.

21. *Замятнин С. Н.* Карачаровская палеолитическая стоянка // Тр. ГАИМК. 1929. Вып. 1.
22. *Грехова Л. В.* Памятники эпохи палеолита и мезолита // Тр. ГИМ. 1970. Вып. 44.
23. *Рогачев А. Н., Аникович М. В.* Поздний палеолит Русской равнины и Крыма // Палеолит СССР. М.: Наука, 1984.
24. *Гвоздовер М. Д., Рогачев А. Н.* Развитие верхнепалеолитической культуры // Лёсс — перигляциал — палеолит на территории Средней и Восточной Европы. М.: Наука, 1969.
25. *Гладких М. И.* Поздний палеолит лесостепного Приднепровья: Автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.06. Л.: ЛОИА АН СССР, 1973.
26. *Бибиков С. Н.* Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта. Киев: Наук, думка, 1981.
27. *Величко А. А., Грехова Л. В., Губонина З. П.* Среда обитания первобытного человека Тимоновских стоянок. М.: Наука, 1977
28. *Шовкопляс І. Г.* Супоневська палеолітична стоянка // Археологія 1950. Т. IV
29. *Воєводський М. В.* Крем'яні і кістяні вироби палеолітичної стоянки Чулатів I // Палеоліт і неоліт України. Т. 1. Київ, 1947
30. *Борисковский П. И.* Чулатово II (Рабочий Ров) // МИА. 1953. № 40.
31. *Борисковский П. И., Дмитриева Т. Н.* Борщево II // Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону 1879—1979. Некоторые итоги полевых исследований. Л.: Наука, 1982.
32. *Борисковский П. И.* Палеолитическая стоянка Борщево II (нижний культурный слой) // МИА. 1941. № 2.
33. Палеолит СССР. М.: Наука, 1984.

A. V Trusov

SHATRISHCHI, AN UPPER PALAEOLITHIC CAMP SITE ON THE OKA RIVER

Summary

The camp site is found on the right bank of the Oka river at the village of Shatrishchi (Ryazan Region, Spassk District), at the distance of 0.5 km from the river on a cape elevated by about 13 metres above the river (the first fluvial terrace above flood-plain?) (Fig. 1, 2). The camp was excavated between 1977 and 1979 and in 1981 with about 50 sq m opened. The finds come from the silt loam layer (from the depth between 1.5 and 2.5 m). The cultural layer was repeatedly damaged by water. The fauna comprised mammothes, horses, rhinoceroses, boars, reindeer, elks, bisons, saiga, and Arctic foxes. All in all 159 flints have been gathered, 23 of them being implements and 22 blades and retouched flakes. The complex is marked by flake technology with implements on flakes predominating. Burins form the most numerous group (13 pieces), with side burins predominating. There are also and scrapers, racloirs, retouched blades and blades with beveled sides (Fig. 7, 8). Two plates made of quartzite sandstone (Fig. 9, 1, 2) and several bone artefacts (Fig. 10) were also found. The closest analogies to the Shatrishchi complex are found among the Magdalenian sites in the Dnieper basin (Timonovka I—II, Mezin, Eliseevichi, Chulatovo I—II, Suponevo, Karachizh) and the lower layer of Borshevo II on the Don. The absolute date determined by a young mammoth bone is 14360±150 (GIN-2913).

И. Н. ХЛОПИН

МОГИЛЬНИК ПАРХАЙ II
(некоторые итоги исследования)

В 1977 г. на западной окраине пос. Кара-Кала (Красноводская обл., Туркменская ССР) был открыт грунтовый могильник. После первого сезона раскопок выяснилось, что он содержал погребения большого временно́го диапазона [1, с. 75—80; 2, с. 251—258]. Ранее такие памятники на территории Южной Туркмении не были известны; более того, их было даже трудно предвидеть. До настоящего времени могильник Пархай II является ежегодным объектом совместного исследования Сумбарской экспедиции ЛОИА АН СССР и ЮТАКЭ АН ТССР. Раскопки его еще не окончены, но материалы могильника и некоторые результаты их предварительного изучения уже нашли отражение в печати [3, с. 3—34; 4, с. 101—105; 5, с. 86—91], а также использованы для ряда историко-культурных реконструкций [6, с. 84—87; 7, с. 143—145; 8, с. 59—70, 130—133].

В течение восьми полевых сезонов на площади около 1600 м^2 раскопано 170 погребальных сооружений, глубина залегания которых колебалась от 0,4 до 3,5 м. Они были расположены настолько тесно, что постоянно встречались случаи перекрывания и нарушения одних могил другими; это явилось основанием для установления относительной хронологии погребальных комплексов. Это же свидетельствует о том, что кладбище неоднократно забрасывали, перенося его с одного края холма на другой; некоторые могилы были сооружены тогда, когда о существовании нижележащих было полностью забыто. Полевые наблюдения и формально-типологический метод исследования позволили расчленить все множество раскопанных могил на семь последовательных групп, соответствовавших семи культурно-историческим периодам. Но не все могилы (чаще всего из-за плохой сохранности или недостаточности материала) могли быть учтены, а только 116 из них (68,2% от общего количества). Для обозначения этих периодов, нумерация которых идет сверху вниз из-за того, что наиболее древние периоды еще неизвестны, принята аббревиатура ЮЗТ (Юго-Западная Туркмения) и номер периода римскими цифрами.

Период ЮЗТ-VII [9, с. 23—27] — семь погребальных камер, сохранность которых в целом неудовлетворительная (рис. 1). Погребальное сооружение было полуподземным склепом с боковым входом; в двух случаях сохранились вертикально поставленные каменные плиты, отделявшие склеп от входной ямы. В камерах найдены останки погребенных; в пяти — 2—6 скелетов, в двух — 18 и 37. Кости последних погребенных сохранились плохо, что не позволило определить их пол, да и положение скелетов нарушено. Большое количество скелетов в двух склепах объясняется их длительным функционированием, захватившим также период ЮЗТ-VI. При захоронении очередного покойника кости предыдущего отодвигали к задней стенке; иногда черепа аккуратно выставлены в ряд.

Всего найдено 49 керамических сосудов; две трети их изготовлены из светлого теста с растительной или минеральной примесью, треть посуды — сероглиняная. Многие сосуды первой группы покрыты непрочным красным ангобом, по которому изредка нанесена бурой краской роспись геометрического характера. К диагностическим формам периода относятся: светлоглиняный с растительной

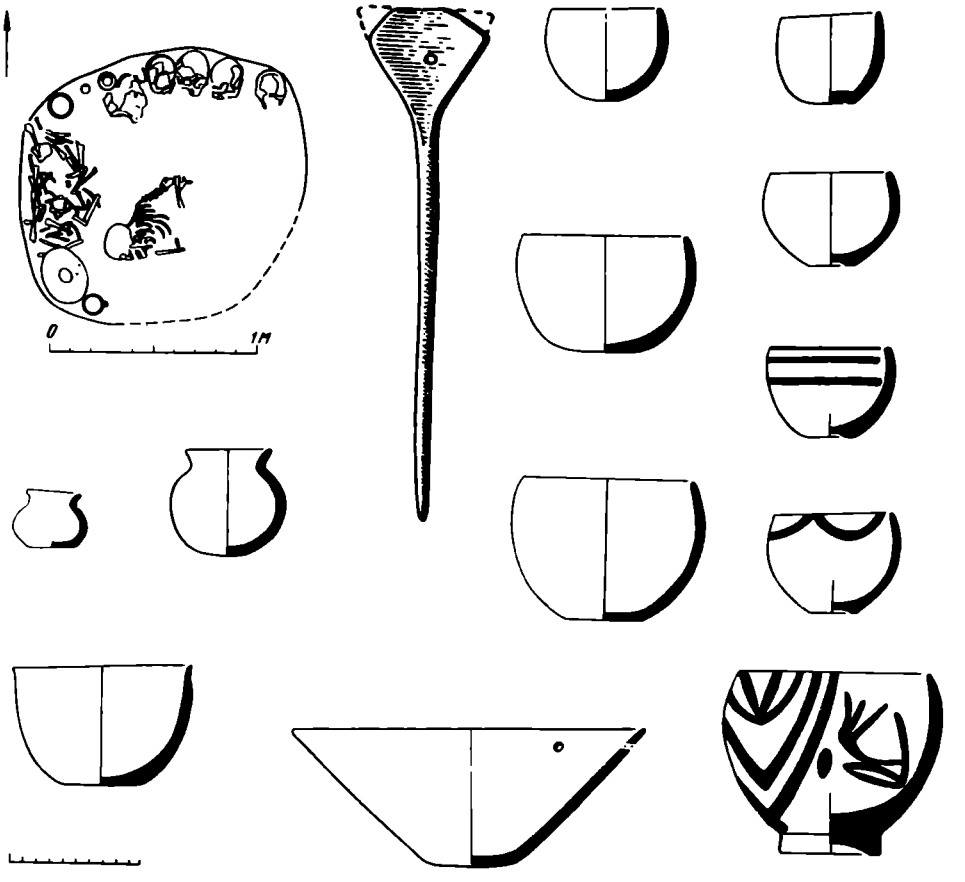


Рис. 1. Период ЮЗТ-VII. Комплекс раннего энеолита

примесью тюльпановидный сосуд на низком поддоне, сероглиняные пиала и кубок. У ряда сосудов, особенно сероглиняных пиал, на внешней поверхности четкие следы отступающей лопаточки, а изнутри глубокие концентрические полосы-бороздки; эти следы формовки встречены только на керамике периода ЮЗТ-VII. К ним следует добавить пятна на поверхности сосудов от неравномерного обжига в примитивных обжигательных устройствах, где на одном уровне располагались и топливо, и обжигаемая продукция.

Сосудами, связывающими керамические комплексы ЮЗТ-VII и ЮЗТ-VI, являются чаши глубокие сферические с ангобированной поверхностью и росписью и сферические горшочки из светлого теста с растительной или минеральной примесью. Горшочки, покрытые ангобом, имеют роспись. В количественном отношении эти сосуды распределяются по периодам в равных количествах; только в период ЮЗТ-VII они преимущественно расписные и с пятнами, а в период ЮЗТ-VI почти не имеют этих признаков.

Металлических и каменных изделий мало. Найдена одна бронзовая булавка с треугольным щитком и отверстием в нем, а также проволочный браслет в полтора оборота. Бусы мелкие, в основном из мраморовидного известняка; есть одна трапециевидная бусина из полированного камня коричневого цвета. В двух камерах этого периода найдены ядра для пращи из обожженной глины.

Несмотря на ограниченность материалов периода ЮЗТ-VII, все же можно сделать некоторые, во многом предположительные выводы. Малое количество погребенных в склепах и крупные сосуды при них позволяют думать, что в предшествующем неолитическом периоде местное население практиковало одиночные погребения в ямах с крупными хозяйственными сосудами. Остальные категории погребального инвентаря были тогда, вероятно, весьма редки. Примитив-

ный облик сероглиняной керамики и бедный ассортимент ее форм при общем малом ее количестве позволяют предположить, что в период ЮЗТ-VII она только что появилась, т. е. раньше конца V — начала IV тыс. до н. э. ее искать не следует.

Период ЮЗТ-VI [10, с. 83—87] — 17 погребальных камер. Из них 13 — одиночные полуподземные склепы с коллективными захоронениями. У части из них большая предвходная яма с вертикальной каменной плитой, закрывавшей вход. Некоторые склепы использованы дважды в тех же границах; верхний ярус костей отделен от нижнего прослойкой земли. Остальные объединены в группы из трех или двух склепов с общей входной ямой большого диаметра. Все входы были закрыты вертикальными каменными плитами, укрепленными в этом положении крупными обломками больших сосудов. Принцип захоронения остался прежним: перед входом скелет последнего погребенного на боку с согнутыми ногами; его кости не всегда сохраняются настолько, чтобы определить пол и возраст, даже поза не всегда восстановима. У задней стенки склепа скопление костей и сосудов более ранних погребений. В камере бывает от 5—6 до 34 скелетов, в среднем их 13.

Всего найдено 103 керамических сосуда, в среднем по 6 сосудов в камере (рис. 2) Коллекция состоит из светлоглиняной посуды с примесью растительного или минерального отощителя в тесте (44 экз.— 42,7% от общего числа) и сероглиняной (59 экз.— 57,3%). Количество серой посуды значительно возросло по сравнению с предыдущим периодом. Выявлены основные диагностические формы этого керамического комплекса: вазы светлоглиняные расписные и нерасписные и вазы сероглиняные; они могут быть на монолитной или полой ножке, а также на поддоне; все они имеют прямой венчик и одно-два отверстия чуть ниже его края; чаши с прямыми стенками из тех же сортов глиняного теста; на чашах с растительной примесью часто нанесена роспись бурой краской; миски из теста с растительной или минеральной примесью.

Три керамические формы распределены, как уже говорилось, поровну между комплексами ЮЗТ-VII и ЮЗТ-VI, чем связывают эти два последовательных периода. Это чаша сферическая глубокая, с растительной или минеральной примесью в тесте; в период ЮЗТ-VI расписные чаши найдены только в трех камерах. Затем чаша сферическая мелкая из такого же теста, иногда с росписью. Наконец, горшочек сферический из такого же теста, может быть покрыт ангобом и иметь иногда роспись. Несколько форм сосудов связывают керамический комплекс ЮЗТ-VI с последующим комплексом ЮЗТ-V: чаша сферическая, горшочек сферический и двойной сосуд — все сероглиняные.

Роспись в основном геометрическая. Так, единственная ваза расписана с двух сторон: дуги на внешней поверхности и крест из двух линий, пространство между которыми заполнено отрезками зигзага, на внутренней. Чаши украшены дугами, отрезками прямых линий, рядами заштрихованных треугольников (в одном случае между ними помещен рисунок булавки с биспиральным навершием). На одном сферическом горшочке поверхность разделена вертикальными лентами на четыре сектора, а в каждом по три рисунка солнца из двух концентрических кругов.

В 10 камерах найдены предметы, ставшие характерными для многовековой эпохи энеолита и ранней бронзы Юго-Западной Туркмении,— бронзовые булавки с биспиральными навершиями; число витков в них доходит до шести — восьми. В меньшем количестве есть булавки с навершиями того же профиля, но раскованными в щиток. Синхронность этих предметов доказывает булавка из камеры № 145, снабженная обоими навершиями. Дважды встречены булавки с треугольным щитком и отверстием в центре — типологически более ранний образец. Есть еще бронзовые изделия: массивный браслет в полтора оборота, стержни, гвоздики с большими шляпками, колечко с несомкнутыми концами и бусы. Мелкие бусы из сердолика связаны бронзовой проволокой.

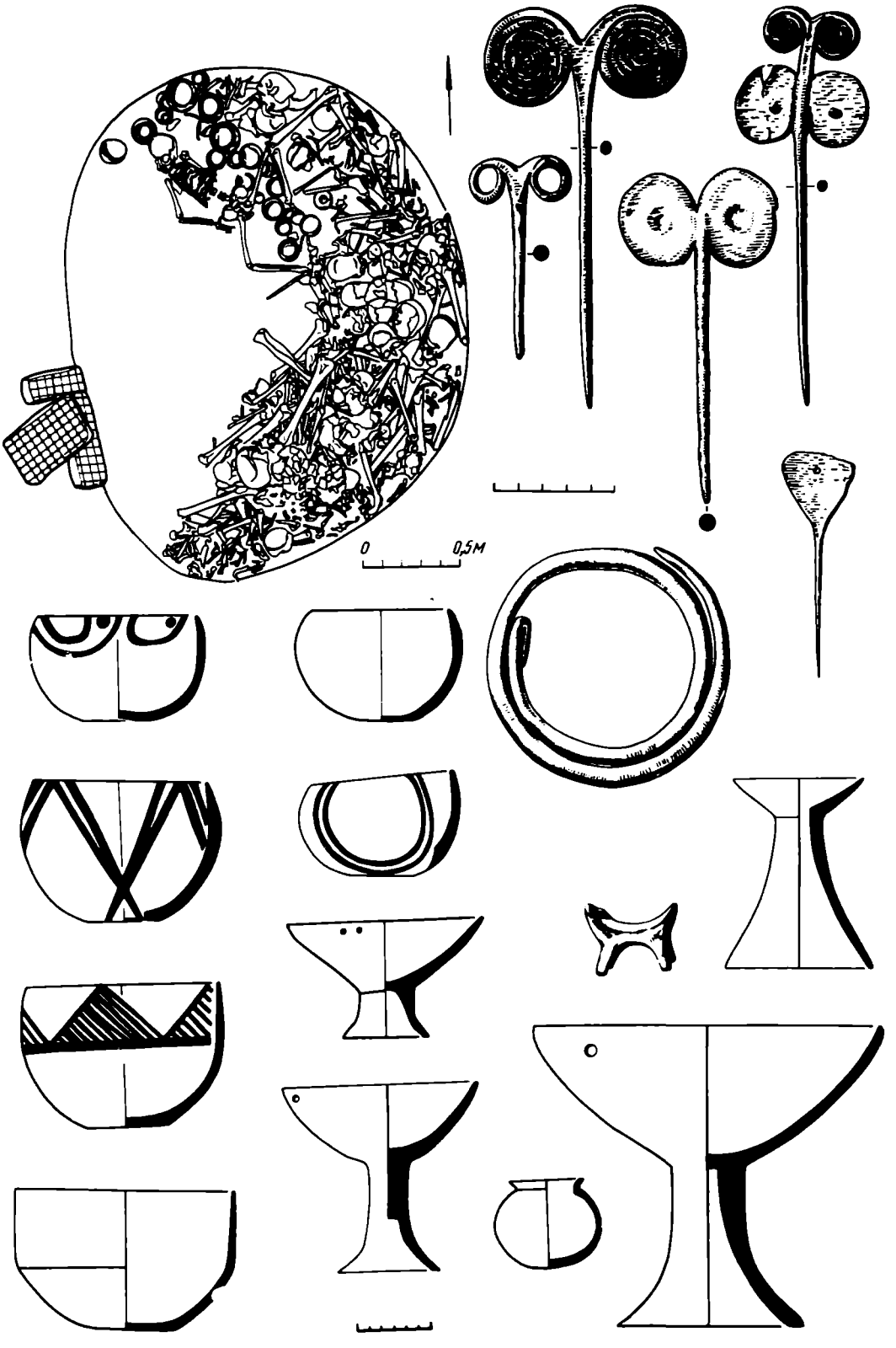


Рис. 2. Период ЮЗТ-VI. Комплекс развитого энеолита

Привлекают внимание несколько изделий из обожженной глины, которые не относятся к посуде. Это подставка на четырех ножках с изогнутой наподобие седла поверхностью. А главное, вазообразные изделия, как расписные, так и нерасписные, с мелким резервуаром и высокой полой ножкой раструбом вниз; ре-

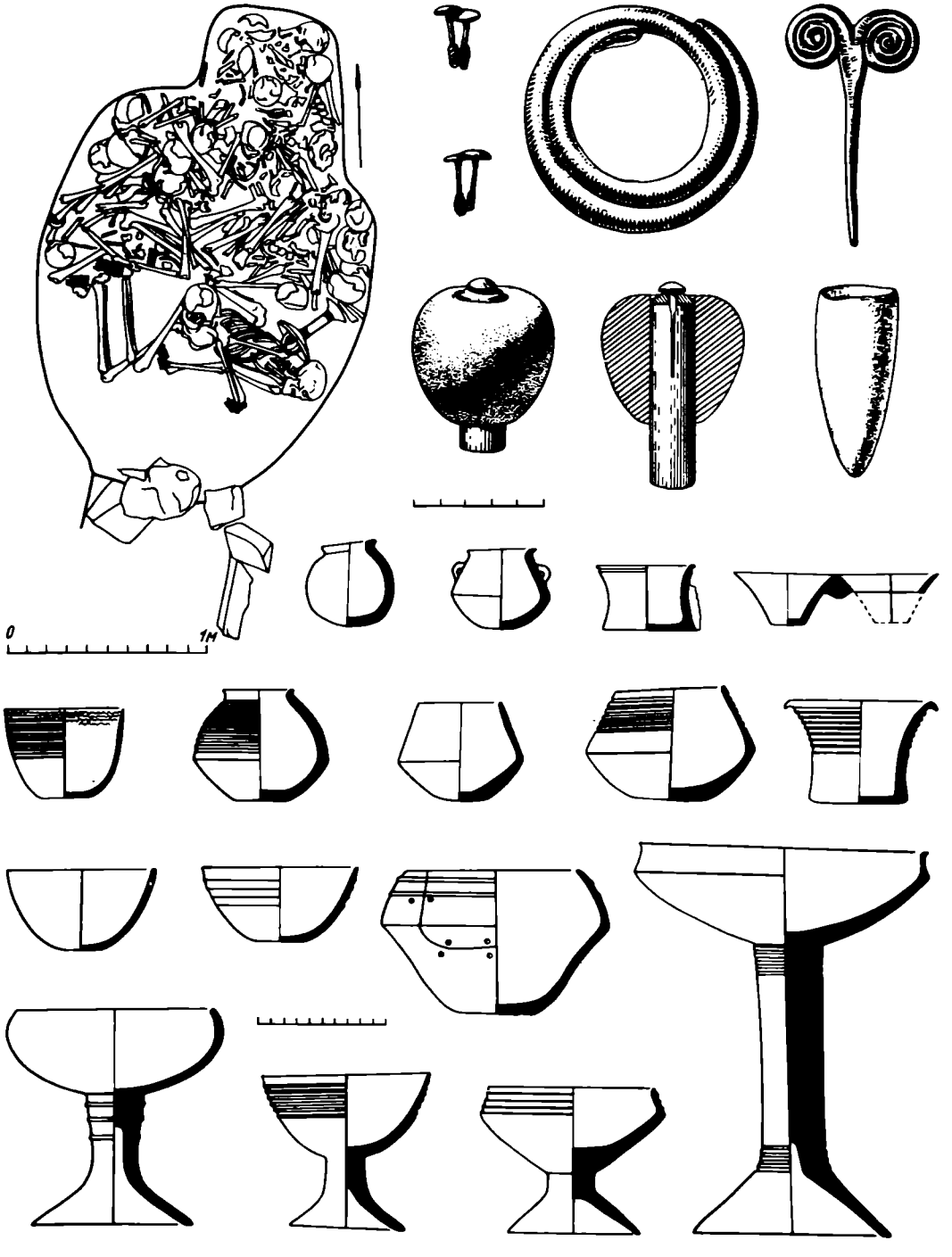


Рис. 3. Период ЮЗТ-V Комплекс позднего энеолита

зервуар имеет широкое отверстие, через которое содержимое вазы должно было сквозь ножку проливаться вниз. Предмет напоминает ритуальные воронки для «поения» земли во время каких-то магических действий [11, с. 186] Это древнейший жертвенник для обращения с молениями к Матери-Земле, которые были призваны обеспечить продуктивность земледелия и его процветание.

Период ЮЗТ-V [12, с. 81—84] — 35 погребальных камер (рис. 3). В конструктивном отношении они не отличаются от полуподземных склепов с боковым входом предыдущего периода, разве только бо́льшими размерами из-за возросшего числа погребенных в камере (в среднем 16—17 человек). В этот период на-

считывается четыре группы склепов, объединенных одной входной камерой; в плане такие группы напоминают клеверный лист. Остальные склепы использовались поодиночке. Среди них есть такие, в которых расчищены только скопления костей без последнего погребенного. Вероятнее всего, эти пять камер уменьшенных размеров служили для перехоронения костей из других склепов.

Обычно в камере перед входом лежал непотревоженный скелет последнего погребенного; иногда можно было понять, как лежали один — три предшествующих покойника. Остальные скелеты были беспорядочно отодвинуты к задней стенке склепа еще в период его использования и там спрессованы в толстый слой костей (50—60 см).

Скелеты, половую принадлежность которых можно было установить, позволяют выявить некоторые тенденции в положении в могилу мужчин и женщин. Так, 13 мужчин были при погребении уложены следующим образом: на правый бок лицом ко входу и головой влево от входа — 5 случаев; на правый же бок, но спиной ко входу и головой вправо от него — 2; на левый бок лицом ко входу, головой вправо от входа — 6 (в одной камере). 10 женщин были уложены: на левый бок лицом ко входу и головой вправо от входа — 6 случаев; на левый бок спиной ко входу и головой влево от входа — 3 (в одной камере); на правый бок спиной ко входу и головой вправо от него — 1. Скорее всего правилом надо считать положение мужчин на правом боку, а женщин — на левом. Именно от пола покойного зависела ориентировка скелетов относительно входа в камеру.

В 35 камерах найдено 188 керамических сосудов. Вся керамика сероглиняная, и лишь 9 экз. (около 5%) изготовлены из светлой глины (в традиции предшествующего времени). Как уже говорилось, связующими формами с предыдущим периодом являются чаша сферическая, горшочек сферический и двойной сосуд, которые в керамическом комплексе этого периода занимают достойное место — 46,2% от всего количества. Эти формы органически входят в оба последовательных керамических комплекса. Диагностическими же формами периода ЮЗТ-V, которые встречены в 28 камерах, являются вазы трех разновидностей (с загнутым венчиком, с прямым венчиком и особенно с резким перегибом венчика) и биконический сосуд. Эти сосуды были не только в одной камере, но часто вставлены один в другой. Следует добавить, что отмечается продолжение определенной традиции, возникшей в период ЮЗТ-VI; там наблюдалось сочетание вазы и чаши с прямыми стенками, здесь — ваза с биконическим сосудом или с чашей сферической и (или) сферическим горшочком. Как видно, ассортимент форм, возникших в этот период, невелик. Только к его концу появляются архаическая чаша раструбом и орнаментированная пиала, которые вместе со всеми остальными керамическими формами перейдут в период ЮЗТ-IV.

Примерно 47% всех сосудов покрыто простым линейным орнаментом; техника его нанесения различна. Наиболее древние узоры — горизонтальные каннелюры. Поверхность большинства сосудов покрыта горизонтальными лентами из вдавленных полос. Их количество, ширина и расстояния между ними произвольны. Ножки трех ваз украшены выдавленными валиками. Примерно 17% сосудов имеют на дне знаки различной сложности — скорее всего метки собственности.

Изделий из других материалов сравнительно немного. Это яйцевидная булава из полированного зеленого камня, у которой сохранился бронзовый гвоздь и известняковая «шайба» для ее закрепления на деревянной рукояти; каменный конический сосудик; крупный браслет из бронзы в два витка; девять бронзовых булавок с биспиральными навершиями; многочисленные бронзовые гвоздики, многие из которых были в челюстях черепов погребенных женщин, кольцевидные серьги и различные каменные бусы, преимущественно из сердолика и лазурита; есть нитка глиняных бус, изготовленных из красных и серых черепков.

Вазы и биконические сосуды найдены на поселениях северной подгорной равнины Копетдага, особенно в двух верхних строительных горизонтах Кара-Тепе у Артыка [13, с. 363, табл. XXVIII, XXX; 14, с. 46]. Это свидетельствует не только о распространении серой керамики из Юго-Западной Туркмении далеко на

северо-восток, но и синхронизирует период ЮЗТ-V с периодами позднего Намазга II — раннего Намазга III (конец IV — первая половина III тыс. до н. э.).

Период ЮЗТ-IV [15, с. 82—86] — 22 погребальные камеры (рис. 4). В конструктивном отношении они полностью повторяют более ранние, однако почти все склепы сгруппированы по три с общей входной ямой. Среднее количество погребенных в склепе достигает 45, что говорит о сильном увеличении численности населения в долине Сумбара в названный период.

Поскольку склепы полностью заполнены костями, бывает трудно выяснить положение последнего погребенного, так как его кости часто оказывались смешанными с останками ранее погребенных. Пока можно говорить только о семи случаях, которые показывают сохранение правила, принятого для раннего времени: мужчина на правом боку, женщина — на левом. Кроме того, есть эпизодические случаи укладывания покойника на спину с подогнутыми под тазовые кости пятками.

Керамическая коллекция насчитывает 454 сосуда. Все они серого цвета разной интенсивности (до черного) и изготовлены без применения гончарного круга из хорошо отмученной глины. Есть 16 сосудов из так называемого кухонного теста (с примесью песка), т. е. 3,5% от всего количества. Из 19 форм три были известны еще в период ЮЗТ-VI, семь форм в полном составе перешли из периода ЮЗТ-V в комплекс ЮЗТ-IV, девять форм возникли именно в этом периоде, четыре из них перешли в комплекс ЮЗТ-III. Однако в количественном отношении все выглядит несколько иначе: сосуды ранних форм в комплексе ЮЗТ-IV составляют 27,6%. Сосуды тех пяти форм, которые характерны только для этого периода, составляют лишь 11%. Следовательно, сосуды, которые переходят в комплекс периода ЮЗТ-III, составляют 61,4%.

К сосудам, характерным исключительно для периода ЮЗТ-IV, относятся: плоский ковш, кубок с отогнутым венчиком, биконический сосуд с венчиком и подкосом, стакан раструбом и цилиндрический сосуд. Все эти формы, кроме стакана раструбом, найдены в малом количестве. Практически только в это время существовали приземистые орнаментированные кубки: они найдены в 16 камерах из 22; они известны также из шести камер периода ЮЗТ-III (эти могли сохраниться в употреблении в более позднее время). Но сосуды остальных трех форм — грушевидный сосуд, приземистый неорнаментированный кубок и графин, появившись в изобилии в период ЮЗТ-IV, будут играть существенную роль в керамическом комплексе периода ЮЗТ-III.

Диагностическими формами комплекса являются: стакан раструбом, цилиндрический сосуд и приземистый орнаментированный кубок. Что же касается грушевидного сосуда и приземистого неорнаментированного кубка, то они, безусловно, характерны для этого комплекса, но могут быть отнесены к нему только в сочетании с теми формами, которые характерны исключительно для него, а также с более архаичными, уходящими в периоды ЮЗТ-V и ЮЗТ-VI.

Примерно половина сосудов покрыта орнаментом, преимущественно геометрическим, нанесенным разной техникой: горизонтальные валики, образованные при формовке сосуда; широкие полосы, создающие гофрированную поверхность; узоры, прорезанные острым предметом — ножом или иглой; узоры, нанесенные лощением при помощи гладкого, вероятно костяного, стержня. Встречаются сочетания узоров, выполненных в разной технике. Кажущееся разнообразие композиций на самом деле незначительно (они различаются лишь разнообразным сочетанием одних и тех же элементов). Поверхность сосудов как бы делится на несколько зон, украшенных по-разному. В верхней зоне обычен зигзаг или волна, средняя занята гофрированными или лощеными полосами, нижняя часто разделена на треугольные поля.

Выделяется сюжетная композиция, нанесенная лощением на несколько грушевидных сосудов и приземистый кубок: парные профильные изображения козлов, обращенных мордами к вертикальному двойному зигзагу, который можно трактовать как изображение воды (небесной влаги, дождя) или молнии. Между

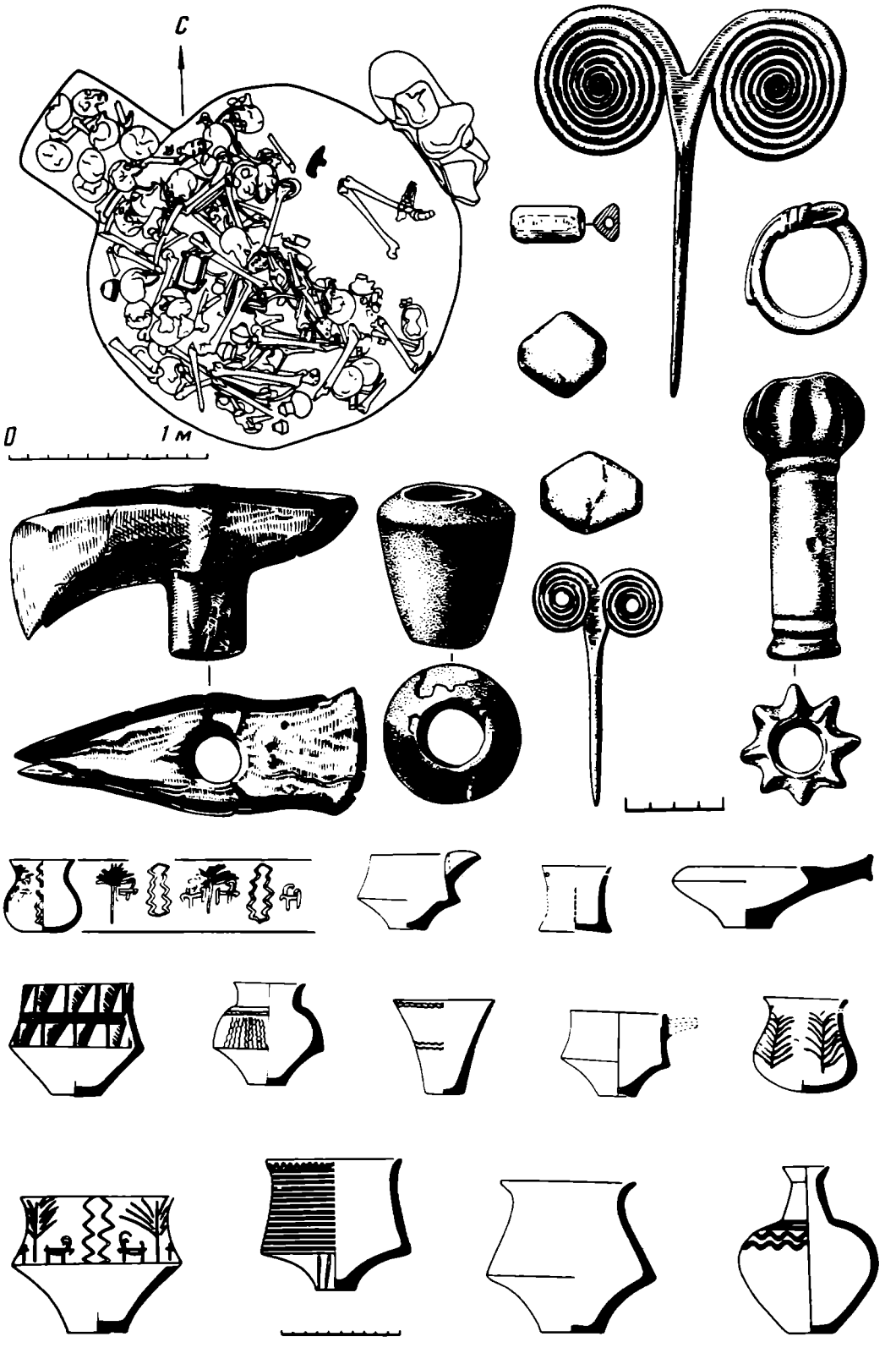


Рис. 4. Период ЮЗТ-IV Комплекс ранней бронзы

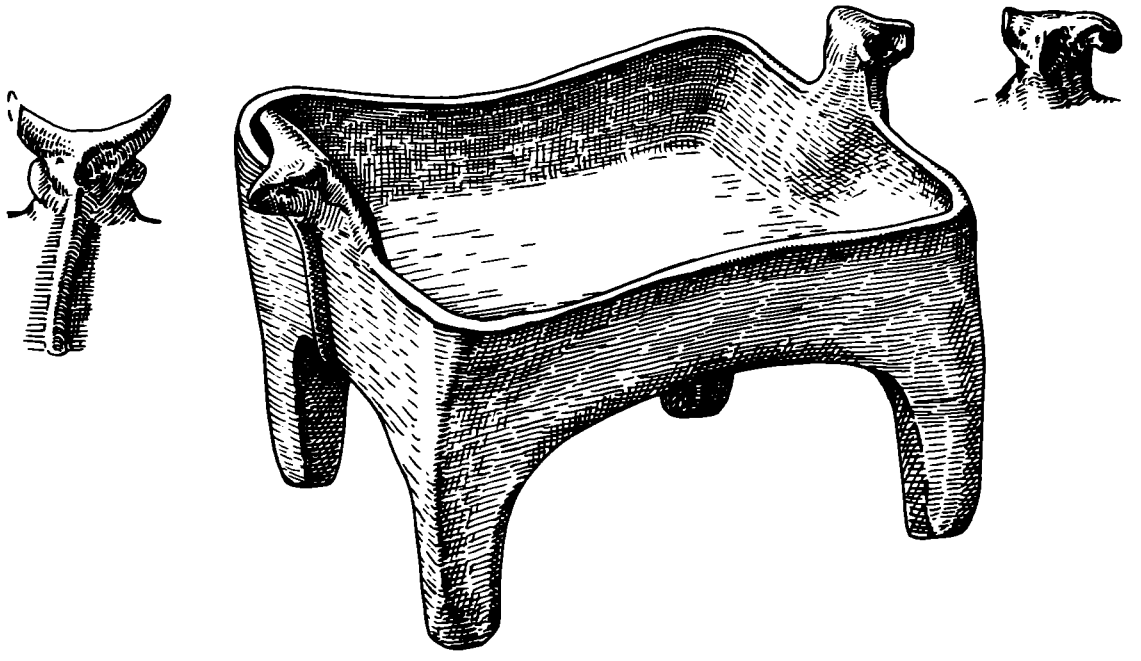


Рис. 5. Керамический жертвенник периода ЮЗТ-IV

этими композициями помещены два рисунка дерева с пальмовидной кроной. Расшифровка сюжета пока затруднительна, но его повторяемость говорит о его популярности.

Уникальными предметами из обожженной глины, которые до раскопок могильника Пархай II были неизвестны, являются прямоугольные жертвенники на четырех ножках (рис. 5). Всего их найдено 32 экз., 16 из них совершенно целые, при этом только три совершенно однаковых. По верхнему краю они украшены различными сочетаниями чашечек, голов баранов и быков; их наружные плоскости и ножки покрыты изображениями змей и других символов, расположенных в определенной системе. Внутренняя поверхность гладкая и не имеет следов использования огня. Их культовое назначение не вызывает сомнений.

В склепах найдены крупные и массивные металлические изделия: топор-тесло 13 см в длину на трубчатой втулке (высота 8 см), звездчатое восьмилучевое навершие посоха на длинной втулке (11 см) и яйцевидное навершие булавы. Все они литые, что является значительным шагом вперед в развитии металлургии. Наряду с ними продолжаются твердые энеолитические традиции: бронзовые булавки с биспиральными навершиями, кольцевидные серьги, бронзовые бусы, иглы и т. п. Бусы разной величины и формы изготовлены из многих сортов камня. Особенно важны три крупные лазуритовые пронизки (две ромбические и одна призматическая), поскольку они определяют абсолютные даты периода: такие же предметы найдены в Царском некрополе в Уре [16, т. I, с. 88, т. II, табл. 143] и в слое IIIA Тюренг-Тепе [17, с. 86; 18, с. 14] Эти предметы позволяют датировать склепы периода ЮЗТ-IV серединой и второй половиной III тыс. до н. э.

Насыщенность склепов периода ЮЗТ-IV покойниками указывает на то, что в это время в Юго-Западной Туркмении (особенно в долине Сумбара) сложилась относительная перенаселенность. Единственным способом ее снижения и тем самым повышение жизненного уровня населения было проведение общественной сегментации. И действительно, на поселениях северной подгорной равнины Копетдага времени Намазга IV обнаружена в массовом количестве серая керамика, во многом идентичная комплексу ЮЗТ-IV Такое ее распространение можно объяснить переселением туда части населения из Юго-Западной Турк-

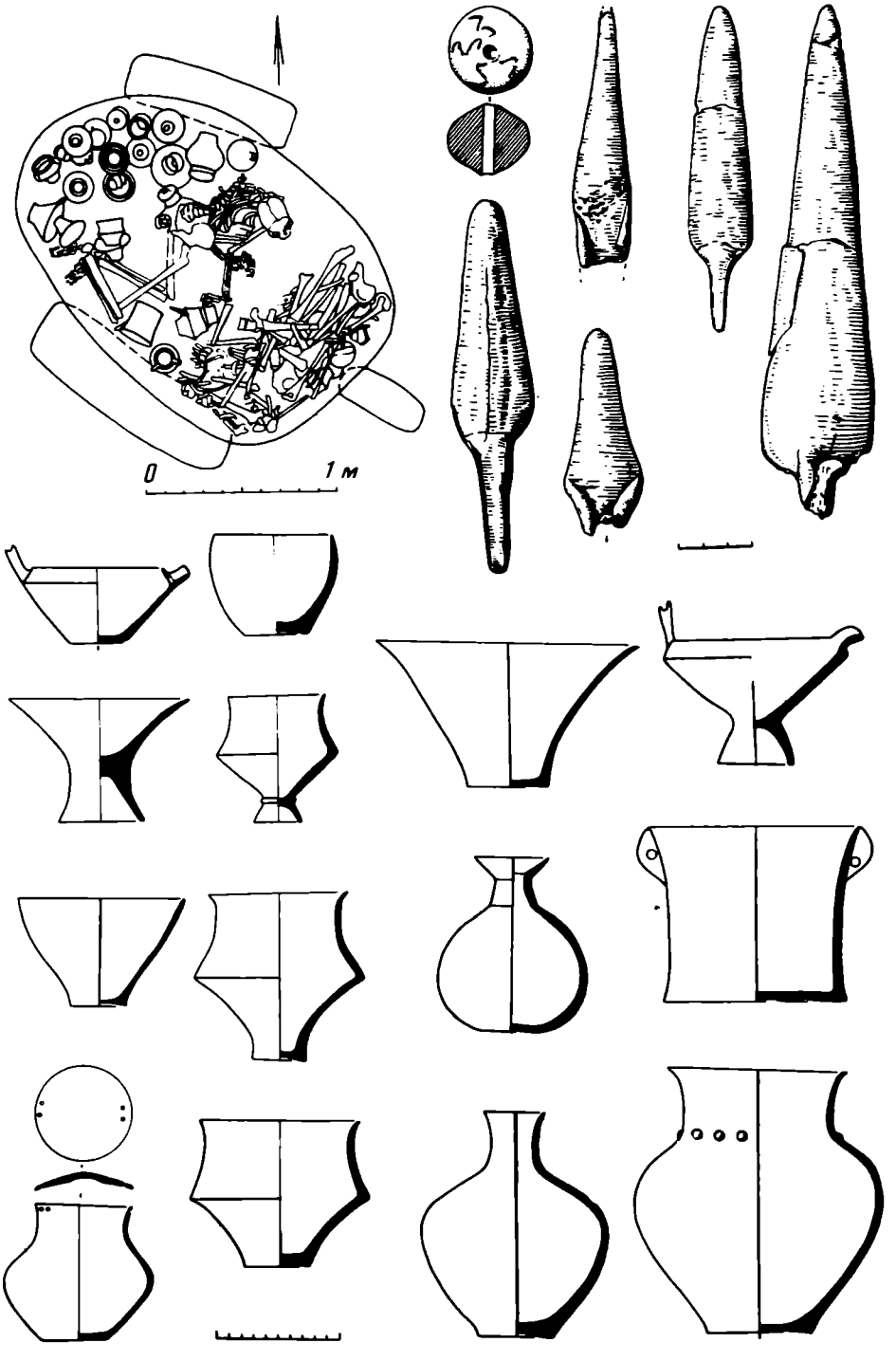


Рис. 6. Период ЮЗТ-III. Комплекс развитой бронзы

мении, принесшего с собой свою посуду. Тем самым относительное перенаселение долины Сумбара было ликвидировано.

Период ЮЗТ-III [19, с. 83—89] — 31 погребальная камера (рис. 6). По наборам посуды камеры могут быть разделены на два этапа, вернее, на две группы, которые имеют не хронологическое, а социальное значение. К группе А относятся 18 камер, к группе Б — 13. В отличие от склепов предыдущего времени камеры периода ЮЗТ-III не объединены в группы и, главное, содержат малое количе-

ство погребенных — в среднем шесть-семь. Многие камеры можно рассматривать как разрушенные катакомбы, сооруженные еще неглубоко от дневной поверхности. Часто вход в них и контуры могильной ямы проследить невозможно, но перед плохо сохранившимися скелетами встречены кучи камней и крупных кусков сырцовых кирпичей — остатки пробок во входе в катакомбу.

В каждом одиночном склепе (катакомбе) найдено несколько скелетов, как правило, в анатомическом порядке. Это позволило установить, что мужчины были погребены преимущественно на правом боку лицом (есть случаи — спиной) ко входу; женщины, наоборот,— на левом боку лицом ко входу.

Керамическая коллекция периода ЮЗТ-III содержит 314 сероглиняных сосудов (в склепах группы А — 142, группы Б — 172). Комплекс группы А состоит из трех форм посуды (грушевидный сосуд, приземистый неорнаментированный кубок и графин), которые возникли в период ЮЗТ-IV Две первые формы присутствуют в $^1/_3$ могил группы Б. Главное различие наборов посуды заключается в том, что во всех могилах группы Б есть сосуды двух форм — кубок вытянутый и чаша раструбом, причем в бо́льшом количестве (в 13 камерах найдено 68 кубков и 40 чаш). Кроме того, в этих же склепах найдены: пиалы, прямоугольная «салатница», цилиндрический сосуд с двумя ручками (идентичен тем, что найдены в слое IIа поселения Шах-Тепе), чаша сферическая глубокая, горшок, сосуд с открытым носиком и ваза. Четыре последние формы переходят в следующий период — ЮЗТ-II, а через него в керамический комплекс сумбарской культуры (ЮЗТ-I). Туда же переходит и чаша раструбом, постепенно трансформируясь в чашу с ручкой у дна.

Таким образом, диагностическими формами керамического комплекса группы А являются грушевидный сосуд и приземистый неорнаментированный кубок, при полном отсутствии вытянутых кубков и чаш раструбом. Но именно две последние формы являются диагностическими для керамического комплекса группы Б.

Разительные изменения произошли в составе остального погребального инвентаря; если бы не было объективного показателя непрерывности развития культуры Юго-Западной Туркмении — эволюции местной керамики, можно было бы рассматривать вариант смены культур в Юго-Восточном Прикаспии. Однако для такой постановки вопроса нет объективных свидетельств археологии. Тем не менее полностью изменился набор металлических вещей: в мужских погребениях найдены только наконечники копий (или ножи), всего 9 экз.; в женских погребениях вместо традиционных головных украшений — булавок с биспиральным навершием — впервые обнаружены орудия для обработки шерсти — веретена с сероглиняными биконическими пряслицами (одно из них украшено процарапанными изображениями змей). Названные предметы свидетельствуют о том, что именно в период ЮЗТ-III возникли элементы, определившие впоследствии сумбарскую культуру.

Период ЮЗТ-II [19, с. 88, 89] — четыре погребения (рис. 7) в катакомбах, три из них одиночные, одно — двойное. Покойники были уложены на бок в скорченном положении лицом (3 случая) или спиной (2 случая) ко входу.

Найдено 27 серых сосудов восьми форм. Пять из них перешли из комплекса ЮЗТ-III, а три появились только здесь: тонкостенный стакан, сосуд со сложным носиком и хумча. Все эти сосуды войдут в керамический комплекс сумбарской культуры, но по внешнему виду ни один из них еще не достиг по каким-то признакам этого комплекса. Так, коническая чаша еще не имеет ручки у дна; горшочек, сопровождающий хумчу, еще не имеет открытого носика; сложный носик, причем в зародышевом состоянии, прикреплен не только к чайнику, но и к коническому сосуду.

Остальной погребальный инвентарь крайне незначителен: одно биконическое пряслице из мраморовидного известняка, бронзовый инструмент в виде стержня с поперечным полукруглым лезвием на одном конце, крестовидные известняковые бусы. Последние идентичны найденным в разрушенных могилах эпохи брон-

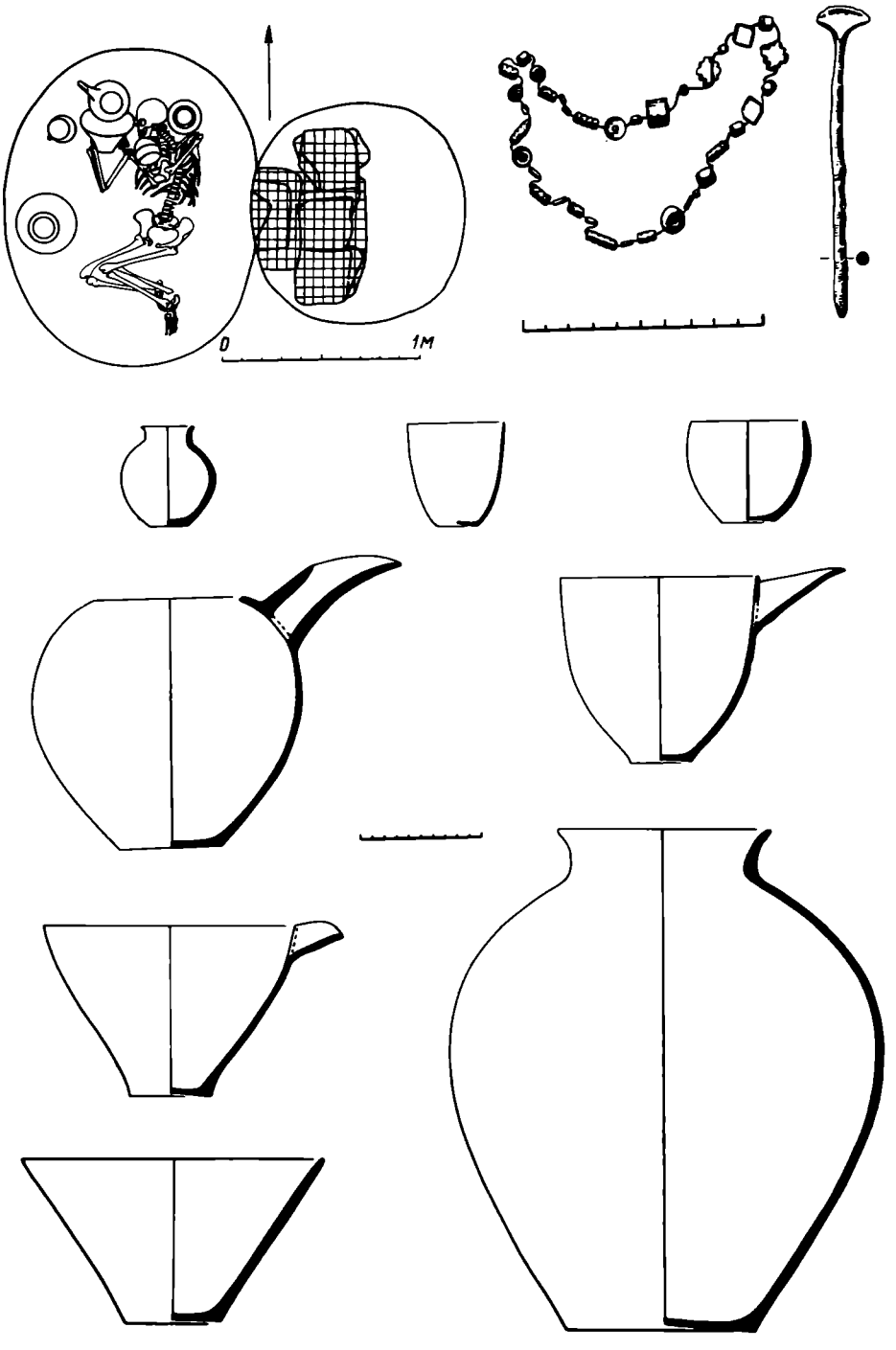


Рис. 7 Период ЮЗТ-II. Комплекс ранней фазы поздней бронзы

зы Северного Афганистана [20, с. 23—28] и в могильнике Заманбаба [21, с. 99—110]. При существующих точках зрения на датировку этих бус (и культуры Заманбаба в целом) их обнаружение в период ЮЗТ-II, который является предсумбарским, позволит более объективно определить их датировку, а вместе с тем и датировку памятников, в которых они были найдены. По всей вероятности, дата этих бус не моложе середины II тыс. до н. э.

Период ЮЗТ-I, который соответствует сумбарской культуре поздней бронзы, на холме Пархай II представлен только одним погребением (рис. 8). Это катакомба с каменным закладом входа. Погребальная камера в задней части среза-

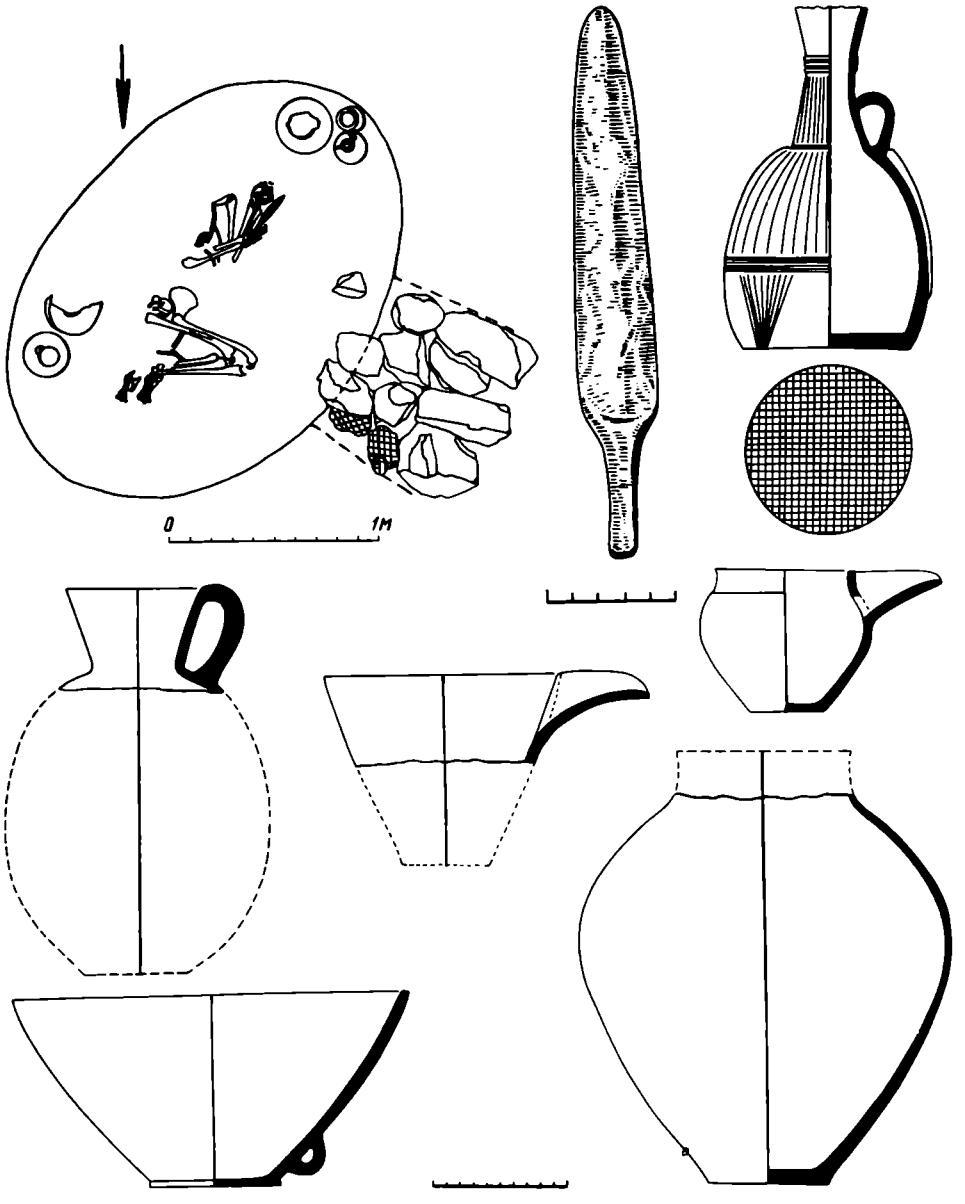


Рис. 8. Могильник Пархай II. Инвентарь могилы 20 эпохи поздней бронзы

на норой. В камере лежал скелет взрослого мужчины в скорченном положении на левом боку, лицом ко входу, головой вправо от входа, на юго-запад. В головах стояла хумча, горшочек с открытым носиком и графин с одной ручкой, украшенный валиками и лощением; в ногах были чаша с ручкой у дна, обломки сосуда со сливом и кувшина с одной ручкой. В кисти правой руки находился прекрасный бронзовый наконечник копья, длина древка 1,5 м.

Как можно видеть, материал могильника Пархай II огромен, а главное, принципиально нов и оригинален. В узких рамках статьи нет возможности остановить внимание на всем спектре проблем, которые возникают в связи с его анализом. Поэтому мы ограничимся только теми, которые, на наш взгляд, представляют сейчас наибольший интерес.

1. Проблема происхождения серой керамики и ее распространения по территории Ирана и южной зоне Средней Азии до сих пор остро дискуссионна, поскольку принято считать, что она связана с расселением ираноязычного населения (сводку мнений см. [22, с. 245—273]). Не отрицая принадлежности этой ке-

рамики древним иранцам (индоиранцам), хочется на базе новых материалов прояснить вопрос о ее происхождении.

Керамический комплекс наиболее древних периодов культуры Юго-Западной Туркмении представлен расписной керамикой, в то время как сероглиняная только что появилась. В одних и тех же склепах периода ЮЗТ-VI, т. е. в закрытых и строго одновременных комплексах, были встречены сосуды одинаковой формы (чаши сферические глубокие и мелкие, чаши с прямыми стенками, вазы и ритуальные сосуды для «поения» земли), выполненные из разного теста и обожженные в разных технологических режимах. Эти сосуды отчетливо представляют процесс перехода от расписной керамики из рыхлого теста с растительной примесью к сероглиняной из тонко отмученной глины с какой-то другой органической примесью в качестве отощителя (возможно, мелко нарезанной шерстью). При этом экспериментальный поиск оптимальной присадки к глине длился какое-то время, поскольку были испробованы разные составы глиняной массы, в том числе и с минеральными отощителями; один из них впоследствии характеризовал так называемое кухонное жаропрочное тесто.

Следовательно, есть основа для решения вопроса о происхождении и дальнейшей судьбе серой керамики Среднего Востока. В начале IV тыс. до н. э. на поселениях древних земледельцев в Юго-Восточном Прикаспии (в частности, на северной подгорной равнине Эльбурса, в долинах Атрека и Горгана и в районах Западного Копетдага, которые тяготеют к бассейну Каспийского моря) была получена посуда серого цвета из-за случайного применения восстановительного обжига без доступа кислорода. На смежных территориях это явление неизвестно. В течение нескольких столетий (в первой половине IV тыс. до н. э.) прежняя керамика сосуществует с новой в одинаковых формах. Примерно в середине IV тыс. до н. э. серая керамика окончательно побеждает и становится единственной на многие века. Ее присутствие на памятниках иных культур показывает пути ее распространения из Юго-Восточного Прикаспия сначала на северную подгорную равнину Копетдага, затем — в долины Атрека и Горгана, на южную подгорную равнину Туркмено-Хорасанских гор [23, с. 19—32]. Влияние этой керамики ощущается в первобытных памятниках Хорезма [24, с. 149—151]. Наконец, во II тыс. до н. э. серая керамика характерных прикаспийских форм начинает появляться в Северном Иране, отмечая пути продвижения древних иранцев. Ее распространение носило столь массовый характер, что могло быть осуществлено только за счет передвижения населения.

2. Существование в период развитой и поздней бронзы такого единственного типа погребального сооружения, как катакомба, заставляет вспомнить о том, что так называемая катакомбная культура южнорусских степей не имеет от Днепра до Северного Кавказа видимых истоков, несмотря на большие археологические исследования последних десятилетий. Разумеется, даже постановка вопроса о возможных истоках катакомбной культуры в южном земледельческом поясе Средней Азии представляется пока преждевременной. Но нельзя не указать на то, что именно в Юго-Западной Туркмении имеется генетический ряд этого погребального сооружения от его истоков.

С конца V тыс. до н. э. в течение двух тысяч лет единственным погребальным сооружением в этих местах был полуподземный склеп с боковым входом и деревянно-земляным перекрытием. Сначала эти склепы были одиночны, с небольшим количеством погребенных. Затем они стали групповыми и количество погребенных в них увеличилось во много раз. Кульминация этого явления, когда количество только черепов в одном склепе доходило до 100 и более, приходится на период ЮЗТ-IV (вторая половина III тыс. до н. э.). Затем произошел какой-то катаклизм, приведший к многократному сокращению численности населения — снова стали использовать одиночные склепы с малым (в среднем шесть-семь) количеством погребенных. При сохранении общей эволюции местной культуры и отсутствии следов влияния со стороны это явление следует объяснить только уходом значительного количества людей в другие области, вызванным нарушением

баланса между массой населения и ресурсами этого района. И серая керамика указывает некоторые направления этого исхода. Однако не все они имеют четкую фиксацию, возможно, из-за плохой изученности археологических памятников; к таковым относится северное направление вдоль берегов Каспийского моря с последующим выходом в степной пояс. Именно здесь, как предполагал Н. Я. Мерперт [25, с. 56, 57], мог проходить путь связей, которые привели к сложению производящего хозяйства в степной полосе. Добавим, что вне участия людей в то время эти связи существовать не могли [26, с. 54—58], а осуществляли их предки населения, оставившего памятники ямной культуры.

Население, оставшееся в местах своего первоначального проживания, продолжало хоронить своих покойников в таких же, как и прежде, полуподземных склепах. Наблюдается уменьшение количества погребенных, а само сооружение все глубже опускается под землю. Примерно к середине периода ЮЗТ-III относятся первые и наиболее ранние катакомбы — только так можно объяснить наличие камеры с одним-двумя скелетами и со скоплением камней и сырцовых кирпичей (остатками заклада входа) перед ним. Это относится к началу II тыс. до н. э. А что касается погребений, относящихся к периоду ЮЗТ-II (середина II тыс. до н. э.), то они совершены уже в настоящих катакомбах.

Мы пока не можем связать напрямую культуру Юго-Западной Туркмении III тыс. до н. э. с культурами эпохи бронзы южнорусских степей. Однако генезис катакомбы в первом ареале и полное его отсутствие во втором является археологическим фактом. Там, где можно проследить ее корни, она может считаться местной, а там, где нельзя, они пришлая. Возможно, в дальнейшем это позволит решить вопрос о происхождении катакомбной культуры в целом.

3. До раскопок в долине Сумбара оставалось невыясненным место производства бронзовых булавок с биспиральными навершиями, несколько экземпляров которых было известно из разных памятников Переднего Востока и Средней Азии. Теперь положение изменилось: из раскопок могильника Пархай II известно более трех десятков таких изделий, найденных в погребальных камерах большого отрезка времени: периоды ЮЗТ-VI — ЮЗТ-IV (середина IV — середина III тыс. до н. э.). Такая концентрация одного типа бронзового предмета на сравнительно узкой территории позволяет поставить вопрос о существовании в IV—III тыс. до н. э. в Средней Азии еще одного очага металлургии. Окончательно это предположение сможет подтвердить серия специальных анализов. Если оно окажется правильным, то многие предметы из бронзы, в первую очередь крупные и массивные, могут оказаться изготовленными в Юго-Восточном Прикаспии.

4. Появление на археологической карте Среднего Востока новой культурной провинции в Юго-Западной Туркмении, где представлена полная культурно-историческая колонка с конца V по конец II тыс. до н. э., неизбежно должно повлечь проверку относительных и абсолютных дат отдельных памятников и культурных этапов прежде всего в южном земледельческом поясе Средней Азии. Эта культурная провинция расположена в географическом отношении между Месопотамией с абсолютными датами ее памятников, установленными письменными источниками и астрономическими явлениями, и северо-восточной периферией, чьи культуры датированы по памятникам Месопотамии и Северного Ирана (а последние датированы по той же месопотамской хронологии).

Новые археологические факты помогли уточнить ряд вопросов хронологии, хотя общая картина, установленная четверть века тому назад, и сохранилась. Ранние периоды культуры Юго-Западной Туркмении хорошо синхронизируются с периодами земледельческой культуры северной подгорной равнины Копетдага. В коррекции нуждаются лишь принятые ныне рамки эпохи развитой бронзы, периода Намазга V.

Период Намазга V, датируемый 2300—1850 гг. до н. э., оказался как бы вырванным из непрерывной культурно-исторической эволюции памятников первобытности северной подгорной равнины Копетдага [27, с. 92—95]; основным аргументом для этих дат являются радиокарбоновые анализы. Этот метод опреде-

ления дат вовсе не бесспорен и не может отвергнуть старый и испытанный сравнительно-исторический метод датирования. Новые археологические факты стали в противоречие с предложенными датами. Так, сероглиняная импортная ваза из погребения в слое 6 раскопа 5 на Алтын-Тепе по типу соответствует сосудам, найденным в камере 33 могильника Пархай II (период ЮЗТ-III — развитая бронза — первая половина II тыс. до н. э.). По принятым для Алтын-Тепе датам, этот сосуд (и могила, в которой он был найден) должен быть отнесен к середине III тыс. до н. э. А это невозможно, поскольку к указанному времени относятся камеры более раннего периода — ЮЗТ-IV, что подтверждается найденными в них лазуритовыми пронизками, которые в свою очередь идентичны найденным в Царском некрополе в Уре (середина III тыс. до н. э.). Следовательно, если сбалансировать все данные, для периода Намазга V остается отрезок времени примерно в 200 лет где-то во второй четверти II тыс. до н. э.

5. Материалы могильника Пархай II содержат сведения об элементах духовной культуры древнего населения Юго-Западной Туркмении в эпоху энеолита и бронзы. В частности, это круглые и прямоугольные керамические жертвенники; первые найдены в камерах периодов ЮЗТ-VI и V, вторые — периодов ЮЗТ-IV и III (здесь они явный пережиток). К сожалению, решить вопрос об их синхронности пока невозможно, поскольку материалы могильника не отражают всего облика культуры древнего населения.

Круглые жертвенники, упомянутые выше лишь в самых общих чертах, известны в расписном и сероглиняном исполнении. Они отражают комплекс действий, связанных с вымаливанием небесной влаги у могущественных богов, в частности у Матери-Земли, для обеспечения урожая. Призывая воду для орошения полей и их оплодотворения, люди сопровождали это магическими действиями — лили воду в бездонный сосуд, из которого она тотчас уходила в землю. Круглую форму жертвенника нельзя не сопоставить с круглыми солнечными алтарями из энеолитических святилищ поселений Геоксюрского оазиса.

Прямоугольные жертвенники своей формой противопоставлены круглым. Если круг символизировал бесконечность неба и непрерывность движения Солнца, то прямоугольник — конечность Земли, ее ограниченность. Содержимое круглого жертвенника сразу же исчезало в земле; прямоугольный резервуар на ножках не позволял его содержимому даже касаться земли. Прямоугольную форму жертвенника можно сопоставить с прямоугольными алтарями из святилищ огня на энеолитических поселениях Геоксюрского оазиса и северной подгорной равнины Копетдага. Естественно, сейчас затруднительно предлагать реконструкцию обрядов, в которых применяли эти предметы, но можно быть уверенным, что они были направлены на обеспечение благополучия людей.

Тем не менее пути для этого наметить можно. Так, всю совокупность этих предметов можно разделить на последовательные группы. И сразу будет заметна тенденция их развития от крупных, богато орнаментированных жертвенников к мелким неорнаментированным. Более ранние украшены налепными змеями, солнечными кругами и изображениями козлов; по их верхнему краю прилеплены головы баранов и быков мордами наружу; на углах резервуара и, реже, в середине противоположных сторон укреплены чашечки. Более поздние украшены значительно беднее и имеют все признаки вырождения. При совершении магических обрядов на чашечки помещали какие-то сферические предметы, вероятнее всего плоды мандрагоры, целебные и наркотические свойства которых были издавна известны древнему населению. Это таинственное растение — не что иное, как священное растение древних иранцев и индийцев, известное под названием хаома (сома) [28 с. 70—75; 29, с. 223—231; 30, с. 40—43]. Общий облик прямоугольных жертвенников отражает представления древнего населения Юго-Западной Туркмении о структуре мира и вселенной, которое можно расшифровать, опираясь на данные Авесты. Прямоугольный план предмета символизировал четыре каршвара, расположенных в горизонтальной плоскости, т. е. четыре стороны света. Остальные три каршвара были расположены в вертикаль-

ной плоскости: небо, где летали птицы и совершало свой бег солнце; подземный мир, откуда выползали змеи; поверхность земли, населенная людьми и животными [31, с. 79—86].

6. Последний вопрос, который может быть поставлен в этой статье,— кем считать людей, которые оставили после себя своеобразную культуру эпохи энеолита и бронзы. Совокупность данных говорит о том, что это было исконно местное население, которое тут жило еще при переходе к производящему хозяйству. В своем историческом развитии оно выработало своеобразный комплекс серой посуды, и его обнаружение среди других культурных комплексов позволяет говорить о реальном распространении населения из Юго-Западной Туркмении. Элементы духовной культуры, которые удалось выделить из культурного комплекса, могут быть однозначно объяснены и реконструированы на базе священных книг древних иранцев и древних индийцев. Все вместе взятое позволяет выдвинуть точку зрения о том, что древнее население Юго-Восточного Прикаспия было индоиранским. Оно обитало там изначально, а не заселило эти территории в результате миграции из своей восточноевропейской прародины. Не было ни этой прародины, ни соответственно миграции оттуда. Уж скорее за прародину следует признать южный земледельческий пояс Средней Азии, откуда в IV—III тыс. до н. э. происходили выплески избыточного населения главным образом в северном и восточном направлениях. В итоге оно достигло Великого Пояса степей и распространилось по нему как на восток, так и на запад.

Население южного земледельческого пояса Средней Азии было неоднородно по структуре, что позволяет видеть в этом разные племенные образования древних иранцев, отраженные в Авесте. Имеются основания для предположения, что население северной подгорной равнины Копетдага, древней дельты Теджена и древней дельты Мургаба можно считать объединением арийских племен и стран, перечисленных в I фаргарде Видевдата. В таком случае население Юго-Восточного Прикаспия следует считать турами — извечными соперниками арийских племен. Так археологические исследования последних лет в Юго-Западной Туркмении открывают новые горизонты в исследовании основной проблемы индоевропеистики — локализации древних иранских племен и народов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Хлопин И. Н., Хлопина Л. И.* Могильник Пархай II в долине Сумбара // Изв. АН ТССР. Сер. общ. наук. 1979. № 5.
2. *Хлопин И. Н., Хлопина Л. И.* Могильник эпохи ранней бронзы Пархай II в Туркмении // СА. 1980. № 1.
3. *Khlopin I. N.* The Early Bronze Age Cemetery of Parkhai II: The first two seasons of excavations, 1977—1978 // The Bronze Age Civilisation of Central Asia. N. Y., 1981.
4. *Хлопин И. Н., Хлопина Л. И.* Второй сезон раскопок могильника Пархай II // КСИА. 1983. Вып. 176.
5. *Хлопин И. Н.* Изучение могильников эпохи энеолита и бронзы в долине реки Сумбар // Археология Средней Азии и Ближнего Востока (тез. докл.). Ташкент: Фан, 1983.
6. *Хлопин И. Н.* Происхождение и развитие катакомбных захоронений в Юго-Западной Туркмении // Преемственность и инновации в развитии древних культур (тез. докл. конф.). Л.: Наука, 1981.
7. *Хлопин И. Н.* К происхождению культуры серой керамики раннего железного века Северного Ирана // Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа (тез. докл.). Ереван, 1982.
8. *Хлопин И. Н.* Юго-Западная Туркмения в эпоху поздней бронзы. Л.: Наука, 1983.
9. *Хлопин И. Н., Хлопина Л. И.* Ранний энеолит Юго-Западного Туркменистана // Изв. АН ТССР. Сер. общ. наук. 1986. № 2.
10. *Хлопин И. Н., Хлопина Л. И.* Развитой энеолит Юго-Западной Туркмении // Изв. АН ТССР Сер. общ. наук. 1983. № 4.
11. *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М.: Наука, 1981.
12. *Хлопин И. Н., Хлопина Л. И.* Поздний энеолит Юго-Западного Туркменистана // Изв. АН ТССР Сер. общ. наук. 1984. № 3.
13. *Массон В. М.* Кара-депе у Артыка // Тр. ЮТАКЭ. 1961. Т. X.
14. *Хлопин И. Н.* Верхний слой поселения Кара-депе // КСИИМК. 1959. Вып. 76.

15. *Хлопин И. Н., Хлопина Л. И.* Эпоха ранней бронзы Юго-Западного Туркменистана // Изв. АН ТССР. Сер. общ. наук. 1985. № 3.
16. *Wooley L.* The Royal Cemetery // Ur Excavations. V. 1—2. N. Y., 1934.
17. *Deshayes J.* Rapport préliminaire sur les troisième et quatrième campagnes de fouille a Tureng Tepe // IA, 1965. V 5.
18. *Deshayes J* New Evidence for the Indo-Europeans from Tureng Tépé, Iran // Archaeology. 1969. V 22. № 1.
19. *Хлопин И. Н., Хлопина Л. И.* Эпоха развитой бронзы Юго-Западного Туркменистана // Изв. АН ТССР. Сер. общ. наук. 1987 № 1.
20. *Сариани́ди В. И.* К вопросу о культуре Заманбаба // Этнография и археология Средней Азии. М.: Наука, 1979.
21. *Аскаров А. А.* К передатировке культуры Заманбаба // Культура и искусство древнего Хорезма. М.: Наука, 1981.
22. *Грантовский Э. А.* «Серая керамика», «расписная керамика» и индоиранцы // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н. э.). М.: Наука, 1981.
23. *Сариани́ди В. И.* Древние связи Южного Туркменистана и Северного Ирана // СА. 1970. № 4.
24. *Виноградов А. В.* Неолитические памятники Хорезма // МХЭ. 1969. Вып. 8.
25. *Мерперт Н. Я.* Древнейшая история населения степной полосы Восточной Европы (III — нач. II тыс. до н. э.): Автореф. дис. докт. ист. наук. М.: ИА АН СССР, 1968.
26. *Хлопин И. Н.* Проблема происхождения культур степной бронзы // КСИА. 1970. Вып. 122.
27. *Массон В. М.* Алтын-депе // Тр. ЮТАКЭ. 1981. Т. 18.
28. *Хлопин И. Н.* Мандрагора туркменская в истории народов Востока // Изв. АН ТССР. Сер. биол. наук. 1979. № 1.
29. *Khlopin I. N.* Mandragora turcomanica in der Geschichte der Orientalvölker // OLP. 1980. № 11.
30. *Хлопин И. Н.* Хаома — священное растение древних иранцев // Природа. 1986. № 11.
31. *Хлопин И. Н.* Семь каршваров Авесты // Klio. 1973. Т. 55.

I. N. Khlopin

THE PARKNAI II BURIAL GROUND
(some research results)

Summary

The article sums up the results of eight years of diggings of the Parkhai II burial ground in the Sumbar valley near the Kara Kala settlement (Krasnovodsk District, Turkmenian SSR). This unique burial ground was used uninterruptedly throughout more than three millennia. The rich and varied materials obtained from it can be divided into successive complexes that correspond to the cultural-historical periods of the Early Eneolithic (Fig. 1), the mature (Fig. 2) and Late Eneolithic (Fig. 3), the Early (Fig. 4) and the developed Bronze Age (Fig. 6) and the Late Bronze Age (Figs. 7 and 8). The diggings permitted archaeologists to establish the chronological sequence of the local culture and to correlate it to the Mesopotamian and Central Asian sequences. They also shed light on some of the patterns of social development in the early period. Original rectangular ceramic sacrificial altars placed on four legs (Fig. 5) clarify certain features of the spiritual culture of the third millennium B. C. An analysis of the entire set of materials suggests that the newly discovered culture of the landtilling communities of the South-West of Turkmenistan belonged to the early Iranians, or, to be more exact, to the Tures, the centuries-old enemies of the Avesta Aryans.

А. И. ЮДИН, В. А. ЛОПАТИН

ПОГРЕБЕНИЕ МАСТЕРА ЭПОХИ БРОНЗЫ В СТЕПНОМ ЗАВОЛЖЬЕ

В 3 км к юго-востоку от с. Новая Квасниковка Старополтавкинского р-на Волгоградской обл., на первой надпойменной террасе левого берега р. Еруслан, находится курганная группа, состоящая из восьми насыпей. В 1982 г. экспедицией Саратовского государственного университета здесь было исследовано два кургана (4 и 8), которые содержали шесть разновременных погребений. В погребении 5 кургана 4 был захоронен мастер по изготовлению древков и кремневых наконечников стрел.

Диаметр насыпи 16, высота 0,3 м. Основное погребение 5 находилось в юго-западном секторе кургана. На светлой материковой глине хорошо выделялось могильное пятно округлой формы размерами 3,9×3,7 м, ориентированное более длинной стороной по линии восток — запад. В пределах ямы, на глубине 0,6—0,7 м от уровня материка, по всему ее периметру устроена ступенька шириной от 0,55 до 0,9 м. Ступенька и соответствующий ей уровень заполнения могилы перекрыты тонкой (до 1 см) углистой прослойкой. Погребальная камера подквадратной формы с округлыми углами (размерами 2,3×1,9, глубиной 1,4 м от уровня материка) и входная яма ориентированы по направлению восток — запад (рис. 1).

На глинистом дне могилы четко заметны отпечатки полозьев деревянных саней, на которых и было совершено захоронение. Передней частью сани направлены на юг, к реке. Судя по отпечаткам, концы полозьев загибались вверх. Длина отпечатка восточного полоза 1, 3, западного —1, 4 м. Расстояние между ними 0,97 м. Под давлением могильной засыпки сани накренились к восточной стенке ямы, в результате чего в глине отпечатались не только нижние, но и боковые грани полозьев. Захоронение и погребальный инвентарь, находившиеся на санях, сместились в ту же сторону (рис. 2, *I*).

В промежутке между полозьями расчищен плохо сохранившийся скелет взрослого человека, погребенного скорченно на спине, головой к востоку. Руки протянуты вдоль туловища, ноги, первоначально согнутые коленями вверх, упали на грудь. На них заметны следы красной краски. На позвоночнике и ребрах отмечены следы огня.

В северо-западной части пространства, ограниченного полозьями, обнаружен развал лепного сосуда биконической формы с округлыми боками. Утолщенный венчик резко отогнут наружу, шейка четко выделена. Внешняя поверхность светло-коричнего цвета, слегка подлощена (рис. 3).

Весь остальной погребальный инвентарь был условно разделен на три группы в соответствии с местом расположения в могиле. Около развала горшка узкой полосой вдоль западного полоза размещалась первая выделенная группа (рис. 2, *II*). Предметы располагались без видимой системы, часть из них лежала в толстом слое красной охры и желтого порошкообразного вещества. Находки первой группы представлены кремневым сырьем, орудиями труда и готовой продукцией.

К производственному сырью и заготовкам отнесены 13 отщепов и сколов из кремния, один кварцитовый скол, кремневое ядрище и обитая галька.

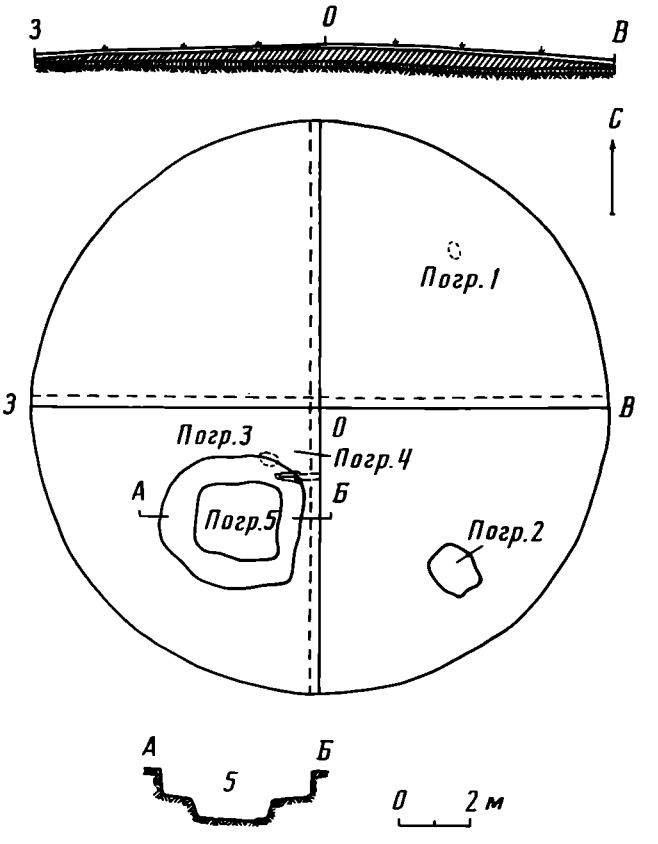


Рис. 1. Курган 4 у с. Новая Квасниковка

В комплексе обнаружены следующие орудия труда: 1— орудия подтреугольной формы с краевой ретушью —5 экз. (рис. 4, *1—5*). Возможно, часть предметов этого типа — заготовки наконечников стрел; 2— овальное орудие на массивном отщепе с ретушированной гранью (рис. 4, *6*); 3— подтреугольной формы вставной кремневый резец с костяной полированной рукоятью (рис. 4, *7*); 4— овальный в сечении каменный пест с грубо ограненной вершиной (рис. 5, *1*); 5— медный (?) однозубый крюк квадратного сечения со слегка выделенной приостренной пяткой (рис. 6, *1*); 6 — медный (?) листовидный нож с коротким черешком, плавно переходящим в лезвие (рис. 6, *2*); 7— четыре выпрямителя древков стрел (рис. 7, *1—4*). Два из них имеют неглубокий расплывчатый желобок. Вероятно, на последней стадии использования они служили в качестве оселков. Инструменты изготовлены из светло-серого и розоватого песчаника. Судя по ширине желобка, обрабатываемые древки стрел были не толще 7—9 мм.

Готовая продукция представлена тремя кремневыми наконечниками стрел с выемчатыми основаниями и опущенными вниз жальцами и обломком кварцитового экземпляра (рис. 8, *1—4*). Разные по длине жальца одного из них придают ему асимметричную форму.

Кроме вышеназванных предметов в первой условной группе обнаружены четыре ископаемые раковины.

Вторая группа орудий располагалась вдоль восточного полоза, с внутренней стороны (рис. 2, *III*). Она также состоит из сырья, орудий труда и готовой продукции. Здесь найдены 10 отщепов, сколов и нуклеус отщепного типа. Вместе с ними обнаружены галька-отбойник белого цвета с забитыми торцами, а также другие орудия.

1— скребок овальной формы с ретушью на 3/4; 2— три острия подтреугольной формы с двусторонней обработкой; 3— два крупных, частично ретушированных отщепа со скобелевидными выемками (рис. 4, *8—14*); 4— два выпрямителя

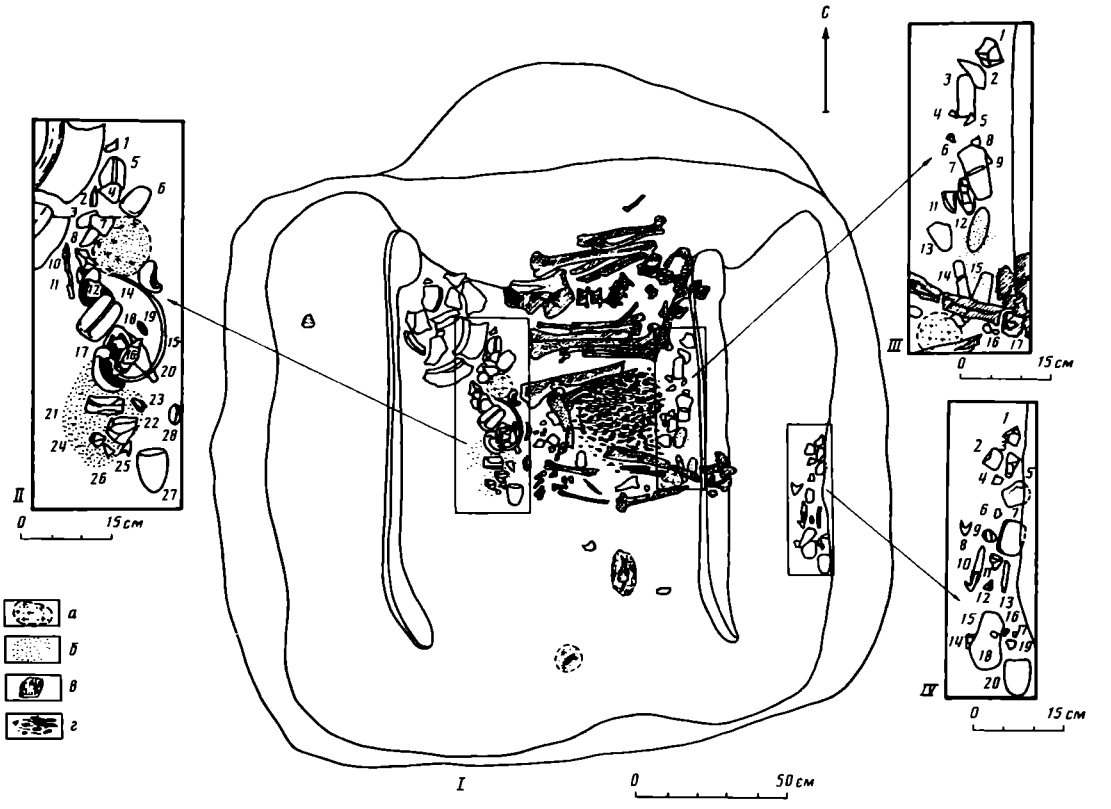


Рис. 2. *I* — погребение 5 кургана 4 у. с. Новая Квасниковка; *II* — первая группа погребального инвентаря: *1* — отщеп; *2, 4* — орудие подтреугольной формы; *3, 16, 19, 22—24* — отщепы и сколы; *5—7, 14* — выпрямители древков стрел; *9* — отщеп с ретушью; *10, 11* — кремневый резец с костяной рукоятью; *12, 13, 17, 18* — ископаемые раковины; *15* — бронзовый крюк; *20* — нож; *21* — кремневое ядрище; *25, 26* — наконечники стрел; *27* — пест; 28 — обитая галька; *III* — вторая группа погребального инвентаря: *1* — отщеп с ретушью; *2* — ископаемая раковина, *3, 14* — оселки; *4, 6, 9, 10, 17* — отщепы и сколы; *5, 8* — острия; *7* — обломок топора; *11* — нуклеус; *12* — отбойник; *13, 16* — выпрямители древков стрел; *15* — пест; *IV* — третья группа погребального инвентаря: (*1—6, 9, 11, 12, 14—17, 19* — отщепы и сколы; *7* — выпрямитель древков стрел; *8, 10* — наконечники; *13* — костяная рукоять; *18* — абразивная плитка; *20* — пест). *а* — желтое вещество, *б* — охра, *в* — перегнившее дерево; *г* — пережженные кости, зола и угли

древков стрел из белого песчаника. Функционально близко им орудие, изготовленное на обломке диоритового топора. Возможно, оно применялось для полировки древков стрел (рис. 7, *5, 7*); 5— два абразивных инструмента типа оселков из белого песчаника (рис. 5, *3, 4*); 6— овальный в сечении пест из твердого камня (диорит ?) с обитыми в процессе работы торцами (рис. 5, *2*).

Среди орудий и заготовок в плотном слое охры залегали кремневые наконечники. Четыре небольших экземпляра имели подтреугольную форму и выемчатое основание (рис. 8, *6, 7, 9, 11*). Здесь же встречены наконечник стрелы с более длинными, загибающимися внутрь жальцами (рис. 8, *8*), наконечник асимметричной формы (рис. 8, *10*) и обломок с длинным жальцем (рис. 8, *12*).

Как и в первой группе, здесь найдена створка ископаемой раковины.

В центральной части погребального комплекса под слоем угля, охры и обожженных костей лежали 103 предмета из кремня, большинство из которых составляли отщеты и заготовки. Некоторые заготовки частично отретушированы (рис. 4, *20, 22*; 9, *4 5*).

Частично обработанные отщепы, непохожие по форме на заготовки стрел, по-видимому, являлись орудиями скоблящего и режущего типов (рис. 4, *16, 19, 21, 24;* 9, *3, 6*). Среди орудий выделяются сверло-развертка подтреугольной формы и скобель на массивном сколе (рис. 4, *23;* 9, *1*). Среди костей погребенного, около левого локтевого сочленения, зафиксировано крупное кварцитовое скребло концевого типа (рис. 9, *7*).

Отдельно от групп находок, между загибающимися концами полозьев, залегали еще четыре предмета. Под кусочком древесной трухи расчищено бронзовое шило (рис. 6, *4*). Оно слегка изогнуто, имеет квадратное сечение и приостренную пятку. Аналогично сформована пятка крюка. Там же находились кремневый отщеп, сверло-развертка листовидной формы с заполированным от долгого употребления острием и обломок обушковой части диоритового (?) топора с двумя пересекающимися желобками (рис. 7, *9*).

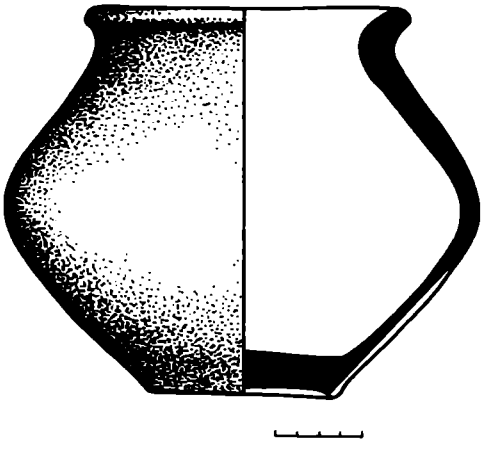


Рис. 3. Глиняный сосуд из погребения 5 кургана 4

Напротив раздавленного черепа, около восточной стенки могилы, размещалась еще одна группа инвентаря (рис. 2, *IV*). Эта группа включала два режущих орудия на кремневых отщепах (рис. 4, *15, 17*), костяную полированную рукоять для вставных орудий (рис. 4, *18*), два выпрямителя древков стрел из песчаника, один из которых имел желобки с обеих сторон (рис. 7, *6, 8*), каменный плоский пест со следами сработанности на боковых и торцовых гранях и абразивное орудие в виде плоской песчаниковой плитки (рис. 5, *5, 6*).

Здесь же обнаружены 17 кремневых отщепов и сколов, часть которых являлась заготовками для наконечников стрел. Наконечники представлены стрелами с глубокими выемчатыми основаниями (2 экз.) и гарпуном составной конструкции (рис. 8, *5, 13, 14*). Кремневый наконечник гарпуна относится к одной из разновидностей так называемых асимметричных наконечников. Наличие костяной пластинки для крепления черешка к древку непосредственно указывает на функциональное назначение предмета. Не исключено, что асимметричные наконечники, найденные в первых двух группах находок, также принадлежат к этому типу орудий (рис. 8, *3, 10, 12*).

В северной части погребального комплекса расчищены остатки второго скелета со следами явного трупорасчленения. Первоначально он помещался на краю ступеньки. Под давлением засыпного грунта кости вместе с частью ступеньки сползли в погребальную камеру (рис. 2, *I*). Среди расчлененных костей лежал бронзовый нож с ромбовидным лезвием и длинным черешком (рис. 6, *3*). Здесь же найден обломок ножной кости быка. На костях отмечены следы красной краски.

Поза основного погребенного (скорченно на спине, головой на восток), посыпка охрой, обширная могильная яма со ступенькой по всему периметру характерны для погребальных памятников ямной культуры. Особенно часты ямы подобной формы в Калмыкии: правый берег Восточного Маныча (кург. 23, погр. 4); Чограй 1 (кург. 24, погр. 7); Чограй 2 (кург. 21, погр. 3, 4; кург. 26, погр. 8) [1, с. 35, 82, 87, 125, 126]. По мнению В. А. Сафронова, эти погребения стратиграфически предшествуют раннекатакомбным [2, с. 32, 33]. Еще раньше подобные захоронения были выделены Н. Я. Мерпертом в финальный этап для ямной культуры и датированы XXI—XIX вв. до н. э. [3, с. 72].

Если обряд захоронения типичен для ямной культуры, то многочисленный набор погребального инвентаря более всего характерен для волго-манычской катакомбной культуры.

Сосуды, подобные горшку из Новой Квасниковки, известны в материалах из кургана у с. Соломенка в Кабардино-Балкарии, отнесенных к началу II тыс. до н. э. [4, с. 40, 41], а также в могильнике Ажиновский —1 (кур., погр. 5) на Нижнем Дону [5, с. 14]. Причем в ажиновском катакомбном погребении умерший лежал на спине с подогнутыми ногами. В целом квасниковский сосуд

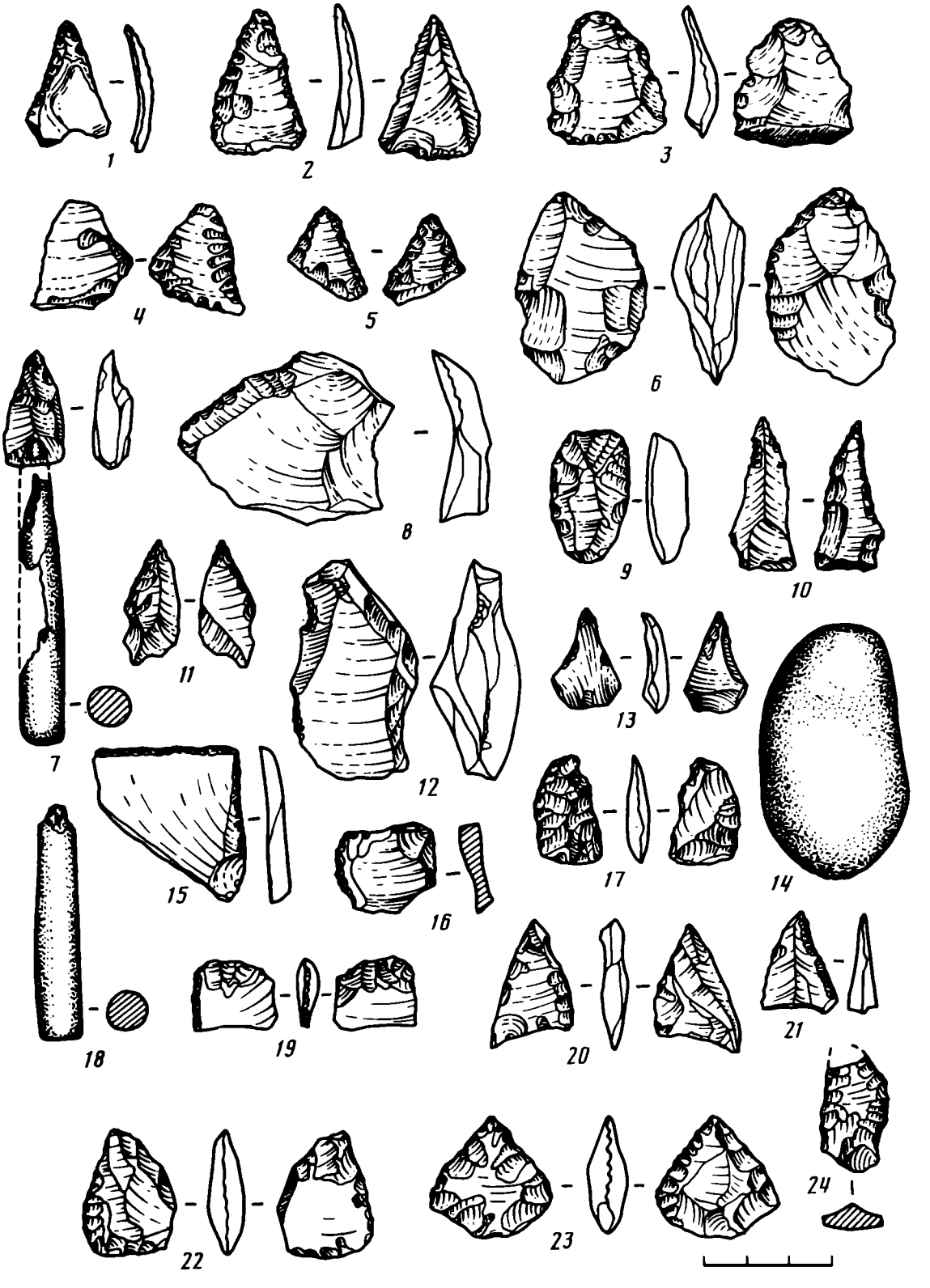


Рис. 4. Орудия и заготовки из погребения 5 кургана 4. *10* — кремень, кость, *18* — кость, остальное кремень

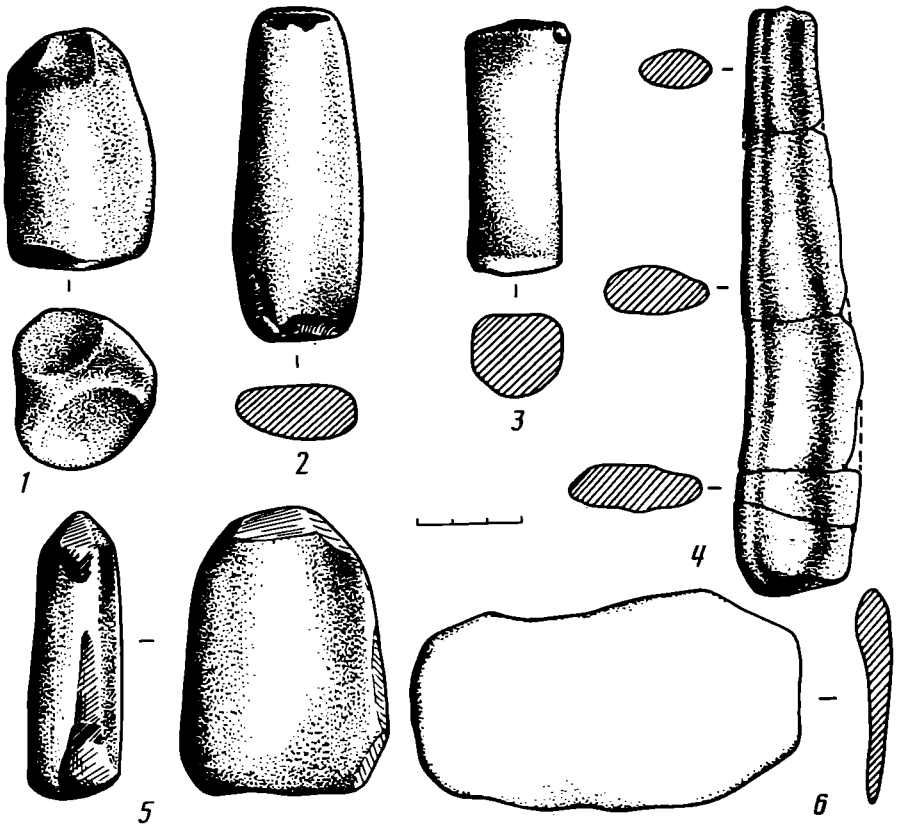


Рис. 5. Орудия из погребения 5 кургана 4. *1, 2, 5* — диорит (?), *3, 4, 6* — песчаник

близок к реповидным горшкам с короткой шейкой, отличаясь от них соотношением диаметров днища и устья.

Бронзовые ножи с ромбовидным лезвием найдены в Элистинском могильнике (кург. 5, погр. 8), в могильнике Чограй 2 (кург. 13, погр. 2) [6, с. 42; 7, с. 69, 86], а также в Ажиновском III могильнике (кург. 1, погр. 26), датируемом рубежом III—II тыс. до н. э. [8, с. 114].

Полная аналогия бронзовому однозубому крюку встречена в Калиновском могильнике в Нижнем Поволжье (кург. 55, погр. 13), отнесенном к первой половине II тыс. до н. э. [9, с. 15].

Песчаниковые выпрямители древков стрел имеют очень широкий хронологический и территориальный диапазон. Но наибольшая их концентрация наблюдается именно на территории катакомбной культурно-исторической общности, где они датируются первой половиной II тыс. до н. э. [10, с. 82]. Пример вторичного использования орудия в качестве выпрямителя известен по раскопкам Л. Л. Галкина у с. Луговское на р. Еруслане (кург. 4, погр. 4). Здесь встречены обломок каменной булавы с желобком на внешней поверхности, каменный пест и три наконечника стрел, аналогичные квасниковским. В этом погребении Первого Луговского могильника вновь отмечено сочетание ямного погребального обряда с типично катакомбным инвентарем [11, с. 60].

Кремневые наконечники стрел с глубокими выемками в основаниях и длинными, приостренными жальцами широко встречаются в катакомбных культурах и не могут служить хронологическим указателем в эпоху средней бронзы.

Рассмотрев характерные особенности погребального обряда и инвентаря, можно сделать вывод о четко выраженном синкретичном облике захоронения из Новой Квасниковки. Сочетание позднеямного обряда с раннекатакомбным

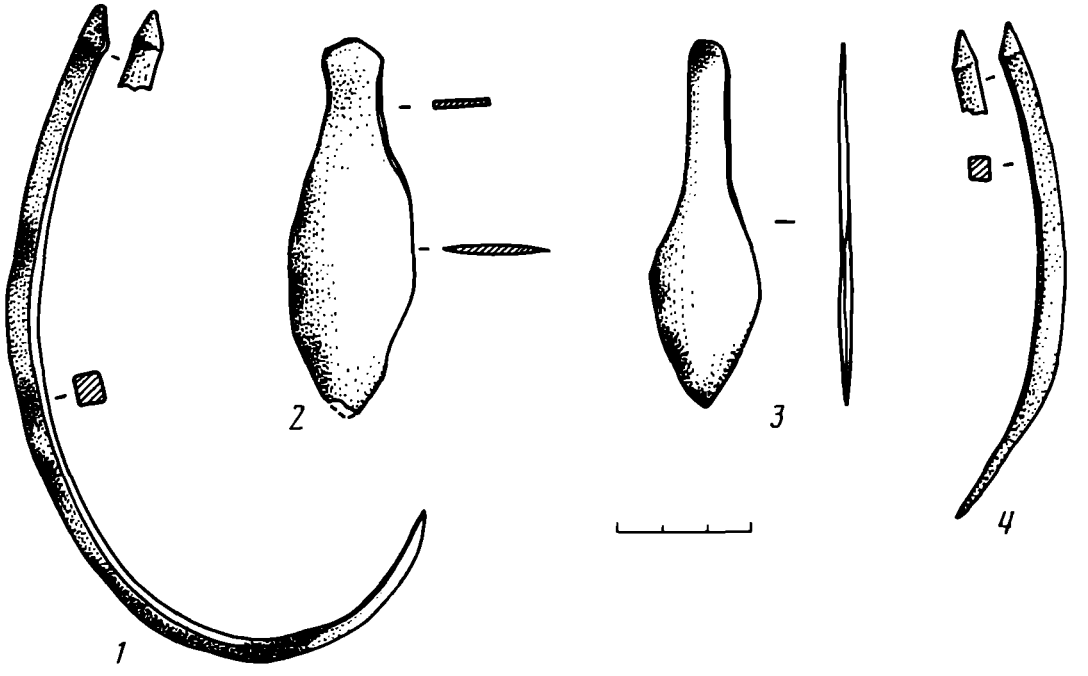


Рис. 6. Бронзовые орудия из погребения 5 кургана 4

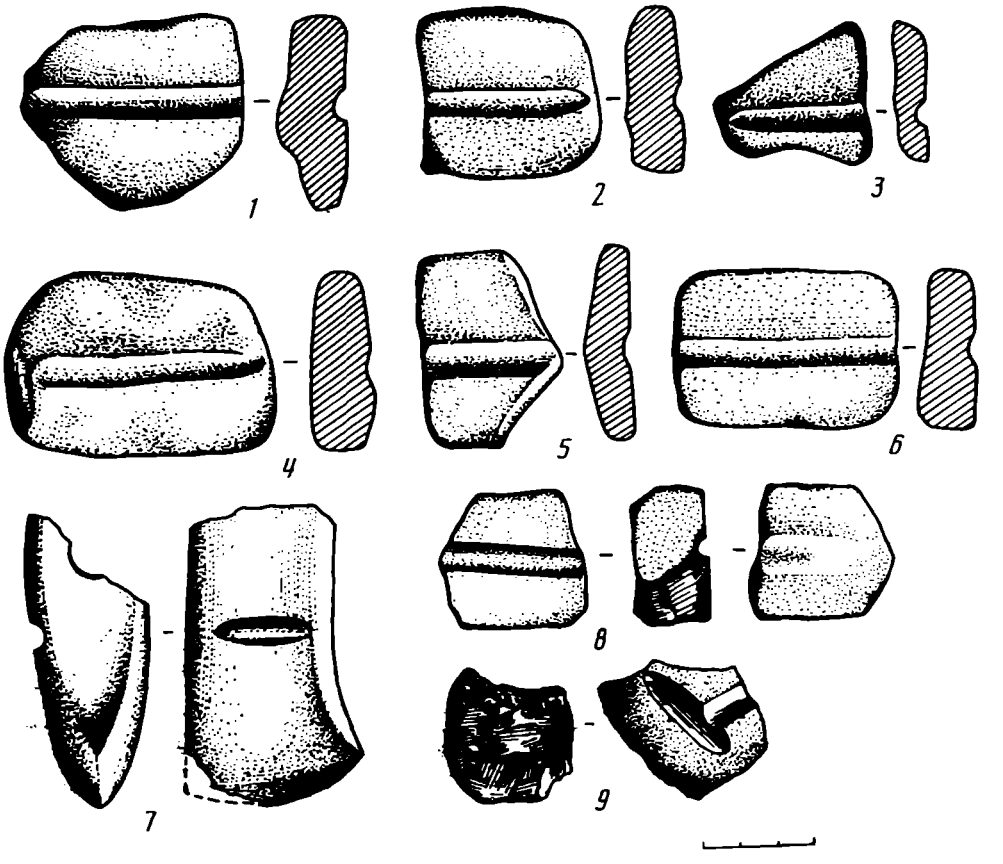


Рис. 7 Выпрямители древков стрел из погребения 5 кургана 4. *1—6, 8* — песчаник, *7, 9* — диорит (?)

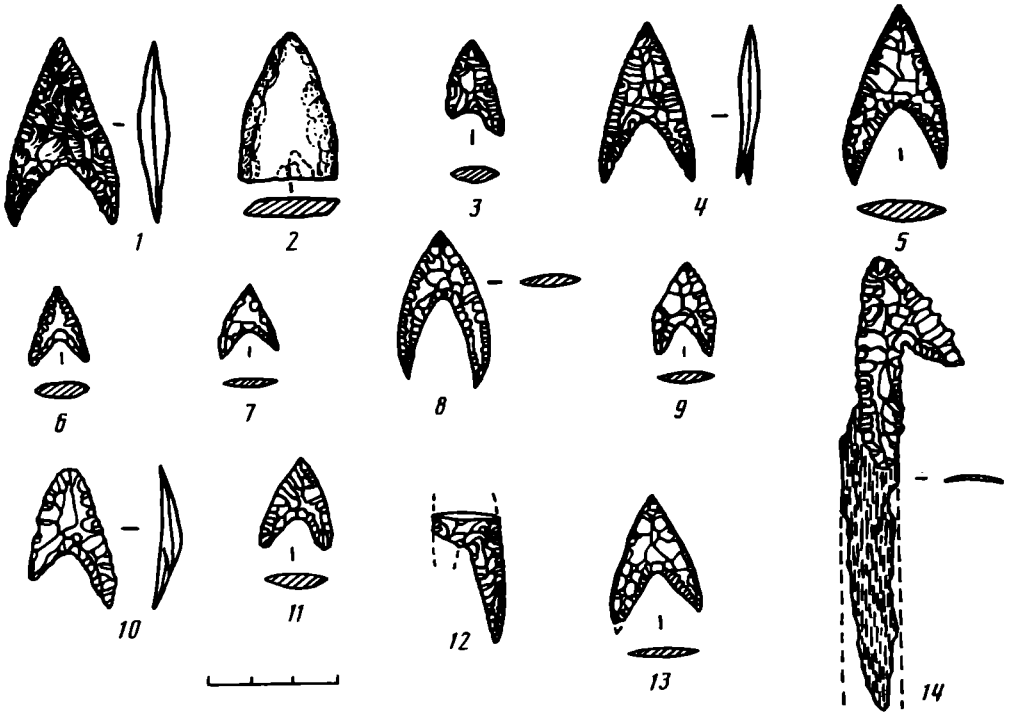


Рис. 8. Наконечники из погребения 5 кургана 4. *2* — кварцит, *14* — кремень, кость, остальное кремень

инвентарем позволяет датировать его рубежом III—II тыс. до н. э. Не исключено также доведение верхней даты до конца первой четверти II тыс. до н. э.

Интереснейшей особенностью данного погребения является совершение обряда в санях. Прямой аналогии в ямно-катакомбных памятниках нам неизвестно. Но у этих племен практиковался обряд захоронения в повозках и с повозками, причем зачастую могилы, содержащие повозки, были оборудованы «заплечиками», идентичными квасниковским. Сочетание этих двух признаков отмечено в Архаринском могильнике (кург. 28, погр. 5) в Калмыкии [12, с. 97, 98], в кургане «Сторожевая могила», в кургане 8 у совхоза «Аккермень» на Украине [13, с. 183; 14, с. 70] и даже в Закавказье [15, с. 76, 78].

Остатки самих саней известны только по раскопкам торфяниковых стоянок — Горбуновский [16, с. 15], Шигирской [17, с. 57], I и II Висских [18, с. 160, 167] Представление о конструкциях древних саней мы можем также получить по двум глиняным моделькам из материалов раннего и среднего Триполья [19, с. 127, 128]. Глиняные модели «повозочек» без колес из Ульского аула (кург 5, погр. 1) и могильника Чограй 1 (кург. 58, погр. 1 [4, с. 30, 31; 7, с. 59, 60] мы склонны считать символическими изображениями саней.

Погребения со средствами передвижения неоднократно привлекались исследователями для постановки и решения вопроса о социальной дифференциации древнейшего индоиранского общества [20, с. 86, 87]. О высоком общественном положении человека, погребенного в новоквасниковском кургане, свидетельствует не только обилие погребального инвентаря и наличие саней, но и сопровождающее его трупорасчленение. Кроме того, на его костях отмечены следы огня. Эти своеобразные детали погребального обряда не раз отмечались различными исследователями как показатели особого положения умерших при жизни.

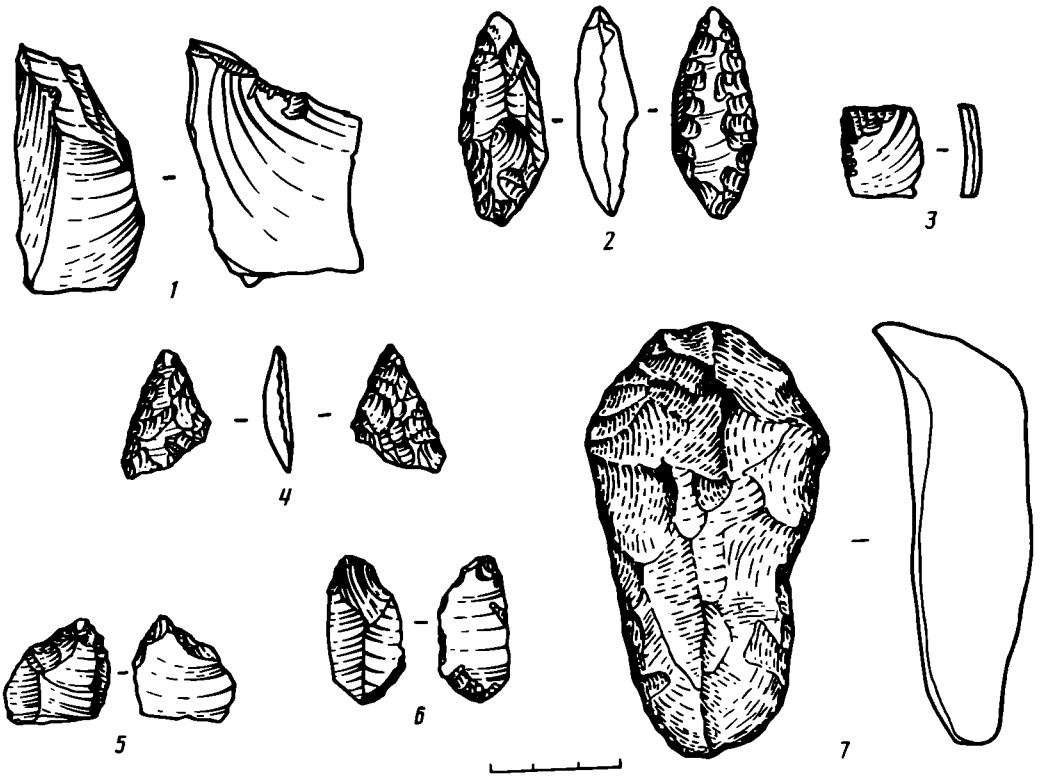


Рис. 9. Каменные орудия и заготовки из погребения 5 кургана 4. *7* — кварцит, остальное кремень

Анализируя погребения эпохи бронзы со специфическими наборами погребального инвентаря (литейные формы, льячки, тигли, сопла, каменные песты), В. П. Шилов пришел к выводу о том, что они отражают начавшийся процесс «выделения мастеров металлообработки» в родовом обществе [9, с. 20].

В. С. Бочкарев определил, что специализированные погребения характерны только для немногих культур эпохи бронзы, в том числе для катакомбной, что подчеркивает своеобразие погребального обряда этих культур. Он предположил, что этот погребальный обряд должен отражать прижизненную специализацию не только литейщиков, но и мастеров других сфер производства, в частности изготовителей стрел и плотников [21, с. 52, 53].

Погребения мастеров по изготовлению стрел были выделены Ю. А. Смирновым в среде катакомбных культур. По его мнению, элементы, определяющие погребение мастера, должны быть технологически связаны, т. е. необходимо наличие следующих признаков: сырье + специализированный инструмент + готовая продукция или произвольное сочетание двух из них [22, с. 170].

Все три указанных признака сочетаются в погребении из Новой Квасниковки. Это позволяет нам без сомнений относить его к группе захоронений мастеров-изготовителей древков и наконечников стрел. Более того, как было показано выше, погребенный в квасниковском кургане занимал достаточно высокое социальное положение. При интерпретации подобных погребений обычно придерживаются двух основных точек зрения: либо умершего относят к представителям племенной знати, либо признают высокое положение мастеров в родовом обществе [23, с. 56; 24, с. 165—172]. Вполне возможно, что в среде ямно-катакомбного населения Нижнего Поволжья наиболее квалифицированные мастера становились членами родоплеменной верхушки, что являлось одной из специфических черт начальной стадии социальной и производственной дифференциации.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Синицын И. В.* Древние памятники Восточного Маныча. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978.
2. *Сафронов В. А.* Классификация и датировка памятников бронзового века Северного Кавказа // Вопросы охраны, классификации и использования археологических памятников. Сообщения НМС. 1974. Вып. 7.
3. *Мерперт Н. Я.* Древнейшие скотоводы Волго-Уральского междуречья. М.: Наука, 1974.
4. *Марковин В. И.* Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тыс. до н. э.). М.: Наука, 1960.
5. *Мошкова М. Г., Максименко В. Е.* Работы Багаевской экспедиции в 1971 г. // Археологические памятники Нижнего Подонья. Т. 2. М.: Наука, 1974.
6. *Кореневский С. Н.* О металлических ножах ямной, полтавкинской и катакомбной культур // СА. 1978. № 2.
7 *Синицын И. В., Эрдниев У. Э.* Археологические раскопки в Калмыцкой АССР в 1961 году // Тр. КРКМ. 1963. Вып. 1.
8. *Рябова В. А.* Работы Ажиновского отряда в 1976 г. // Древности Дона. М.; Наука, 1983.
9. *Шилов В. П.* О древней металлургии в Нижнем Поволжье // МИА. 1959. № 60.
10. *Крайнов Д. А.* Древняя история Волго-Окского междуречья. М.: Наука, 1972.
11. *Галкин Л. Л.* Отчет о раскопках в 1976 году // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 5843.
12. *Синицын И. В., Эрдниев У Э.* Новые археологические памятники на территории Калмыцкой АССР // Тр. КНИИЯЛИ и КРКМ. 1966. Вып. 2.
13. *Тереножкин А. И.* Курган «Сторожевая могила» / Археология. 1951. № 5.
14. *Тереножкин А. И.* Раскопки курганов в долине Молочной // КСИИМК. 1956. Вып. 63.
15. *Джапаридзе О. М.* Археологические раскопки в Триалети. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1973.
16. *Раушенбах В. М.* Среднее Зауралье в эпоху неолита и бронзы // Тр. ГИМ. 1956. Вып. 29.
17. *Дмитриев П. А.* Шигирская культура на восточном склоне Урала // МИА. 1951. Т. II. № 21.
18. *Буров Г. М.* Археологические находки в старичных торфяниках бассейна. р. Вычегда // СА. 1966. № 1.
19. *Кравец В. П.* Глиняные трипольские модельки саночек и челна в коллекциях Львовского музея // КСИИМК. 1951. Вып. 39.
20. *Кузьмина Е. Е.* Колесный транспорт и проблема этнической и социальной истории древнего населения южнорусских степей // ВДИ. 1974. № 4.
21. *Бочкарев В. С.* Погребения литейщиков эпохи бронзы // Проблемы археологии. 1978. Вып. 2.
22. *Смирнов Ю. А.* Погребения мастеров — изготовителей древков и кремневых наконечников стрел // Древности Дона. М.: Наука, 1983.
23. *Васильев И. Б.* Могильник ямно-полтавкинского времени у с. Утевка в Среднем Поволжье // Археология восточноевропейской лесостепи. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980.
24. *Синюк А. Т* Курганы эпохи бронзы Среднего Дона. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1983.

A. I. Yudin, V A. Lopatin

A BURIAL OF A CRAFTSMAN OF THE BRONZE AGE IN THE STEPPE VOLGA AREA

Summary

A craftsman who had made shafts and flint arrowheads was buried in burial 5, mound 4 at the village of Novaya Kvasnikovka (Staropoltavkino District, Volgograd Region). The burial rite was typical of the pit-grave culture, while the grave goods point to the Volga-Manych variant of the catacomb-grave culture. There were raw material and blanks among the grave goods and also labour implements (Figs. 4—7) and finished goods (Fig. 8). Judging by the traces of sledge runners the craftsman was buried in a sledge (Fig. 2). The site is dated to the turn of the second millennium B. C. Numerous grave goods, sledges and the rite of dismembering the body testify to the craftsman's high social status. Probably, the most skilled craftsmen entered the clan or tribe top circles.

Е. А. СИДОРОВ

СКОТОВОДСТВО ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИОБЬЯ В I ТЫС. ДО Н. Э.

Пастушеское скотоводство появляется в лесостепном Приобье еще во II тыс. до н. э. Но, к сожалению, пока нет достаточных публикаций и исследований по кротовской и андроновской культурам этого региона, и поэтому мы вынуждены начать обзор с материалов еловской и ирменской культур. Верхняя дата — конец I тыс. до н. э. — обусловлена тем, что к первым векам новой эры завершается эра пастушеского скотоводства и начинается переход к отгонному.

История скотоводства лесостепного Приобья освещена в ряде специальных статей и монографий. Впервые скотоводство племен эпохи поздней бронзы было описано в работах М. П. Грязнова [1, с. 40]. Он дал его характеристику как пастушеского. В стаде преобладал крупный рогатый скот, а лошадь и мелкий рогатый скот играли второстепенную роль. Автор отметил, что в зимнее время скот содержался в жилищах. М. П. Грязнов считал, что переход к кочевому скотоводству на рубеже II и I тыс. до н. э. произошел не только в степной, но и в лесостепной зоне [2, с. 26].

В. И. Матющенко, характеризуя хозяйство еловско-ирменской культуры, считал, что этот вид хозяйства появляется на севере лесостепи вместе с проникновением туда носителей андроновской культуры, в конце II тыс. до н. э. [3, с. 91—93]. На еловском этапе оно находилось на стадии становления, а ведущей отраслью экономики становится лишь на ирменском этапе. Он полагал, что состав ирменского стада и роль скотоводства в хозяйстве одинаковы и на севере, и на юге лесостепной зоны.

Определенным вкладом в разработку проблемы явилась статья Т. Н. Троицкой, в которой на основании остеологических коллекций и анализа культурного слоя памятников прослежено развитие скотоводства в лесостепном Приобье с начала I тыс. до н. э. до середины I тыс. н. э. [4, с. 155—165]. Автор работы пришла к заключению, что с проникновением на юг северных племен удельный вес скотоводства в хозяйстве значительно сокращается. Т. Н. Троицкая историю рассматриваемого вида хозяйственной деятельности разбила на три этапа: 1) примитивное пастушеское скотоводство с содержанием скота в жилищах в зимний период времени (ирменская культура); 2) то же с содержанием скота на поселении (большереченская и кулайская культуры); 3) отгонное скотоводство с содержанием скота за пределами поселений (одинцовская культура).

Важным этапом в изучении хозяйства Западной Сибири явилась монография М. Ф. Косарева [5]. Автор выделяет предтаежный хозяйственно-культурный тип, в основе которого находилось комплексное многоотраслевое хозяйство, и рассматривает его особенности, в том числе и в скотоводстве [5, с. 111—123]. Обобщены имеющиеся сведения по этому виду хозяйства юга Западно-Сибирской равнины.

Вместе с тем ряд вопросов развития скотоводства в лесостепном Приобье еще не ясен. В частности, не прослежены изменения, происходившие в структуре стада отдельных археологических культур, не выяснено, как оно развивалось в разных природно-климатических подзонах. Не ясны реальная структура стада и роль скотоводства среди других видов хозяйственных занятий населения лесостепного Приобья. Имеющиеся данные позволяют уже сейчас осветить

Остеологический материал лесостепного Приобья в I тыс. до н. э.

Наименование памятника	Лошадь		Крупный рогатый скот		Мелкий рогатый скот	
					овца	
	количество	%	количество	%	количество	%
Еловское поселение	446 / 11	29,1 / 14,7	800 / 41	52,3 / 54,6		
Ирмень-1	81 / ?	10,1 / ?	349 / ?	46,2 / ?		
Красный Яр 1	79 / 5	18,7 / 21,7	201 / 9	47,5 / 39,15		
Милованово-3	263 / 16	30,8 / 26,2	322 / 24	37,7 / 39,3	2	0,2
Кротово-18	179 / 19	26,3 / 25,3	184 / 24	29,8 / 32	184 / 22	29,8 / 29,3
Завьялово-5	130 / 17	53,5 / 47,2	54 / 11	22,2 / 30,6	59 / 8	24,3 / 22,2
Бл. Елбаны-1	+		+		+	
Ордынское-9	? / 11	? / 29	? / 10	? / 26,3		
Городище Каменный Мыс	? / 6	? / 25	? / 9	? / 37,4		
Кижирово	? / ?	? / 80		? / 6,6		
Милованово-3а	85 / 6	66,6	11 / 2	22,2	3 / 1	11,1
Дубровинский Борок-3	? / 1		? / 1			

Примечания. 1. Числитель — количество костей, знаменатель — количество особей. 2. Еловское поселение — раскопки В. И. Матющенко, определения В. И. Цалкина; Ирмень-1, Бл. Елбаны-1 — раскопки М. П. Грязнова, определения его же; Красный Яр 1, Быстровка-4 — раскопки А. В. Матвеева, определения И. Е. Гребнева и Н. Д. Оводова; Милованово-3 — раскопки Е. А. Сидорова, определения Н. Д. Оводова; Кротово-18 — раскопки Е. А. Сидорова, определения А. В. Гальченко; Завьялово-5 — раскопки Т. Н. Троицкой и Е. А. Сидорова, определения А. В. Гальченко; Ордынское-9, Каменный Мыс, Дубровинский Борок-3 — раскопки Т. Н. Троицкой, определения Л. А. Антоновой и Н. Д. Оводова.

некоторые из этих проблем. Весь остеологический материал, которым мы оперируем, сведен нами в табл. 1.

Рассматриваемые археологические культуры представлены крайне неравномерно. Лучше всех в этом плане изучена ирменская культура. Материалы вновь раскопанных ирменских поселений Милованово-3, Кротово-18, Быстровка-4 позволяют не только скорректировать имеющиеся сведения по ирменскому скотоводству, но и рассматривать этот вопрос на качественно новом уровне.

Остеологическая коллекция Еловского поселения по-прежнему является единственным источником для изучения скотоводства еловской культуры. Значительный костный материал получен при раскопках городища Завьялово-5, он впервые используется в данной работе.

Накопление материала по раннему железному веку происходило гораздо менее интенсивно. Раскопки на поселении Милованово-3а березовского этапа большереченской культуры дали небольшую остеологическую коллекцию (100 обломков костей от 10 особей). Несмотря на это, есть необходимость вернуться и к старым материалам, так как изложенная М. Ф. Косаревым концепция развития хозяйственно-культурных типов в Западной Сибири позволяет по-новому посмотреть на сложившиеся традиционные представления о развитии хозяйства в Приобской лесостепи.

С методической точки зрения используемый нами материал очень разнородный. В остеологической коллекции поселения Ирмень-1 определены только кости животных, без пересчета на минимальное количество особей. По большин-

Таблица 1

Мелкий рогатый скот				Свинья		Итого	Собака
коза		общий					
количество	%	количество	%	количество	%	количество	количество
		281/22	18,4/29,4	4/1	2,6/1,33	1531/75	100/6
+		326/?	43,7/?	—		756/?	2/?
		143/9	33,8/39,15	—		423/23	—
1	0,1	266/21	31,2/34,5	—		851/61	3/2
71/10	11,5/13,3	255/32	41,26/42,7			618/75	—
		59/8	24,5/22,2	—		243/36	31/6
+				—		?/?	+
		?/16	?/42	?/1	?/2,6	?/38	1
		?/8	33,3	?/1	?/4,16	?/24	1
		?/?	?/6,6	?/?	?/6,6	?/?	+
		3/1	11,1	—		102/9	
		?/4		—		?/6	

ству памятников раннего железного века в источниках приводятся данные только по особям, а сведения по количеству костей опущены. Ни одна из коллекций не подвергалась остеометрической обработке, что не позволяет судить о размерах и породности скота. Выгодно отличаются от остальных материалы поселения Милованово-3, где приведены определения возраста забитых животных, а коллекция разбита по хозяйственно-жилым комплексам. Эти сведения позволили нам проследить изменения, происходящие в ирменском стаде, определить его реальную структуру и количество голов, приходящееся на одно жилище.

Методика статистической обработки остеологической коллекции Милованово-3 строилась с учетом имеющихся в литературе разработок по этому вопросу Е. И. Горюновой [6, с. 60—65], В. И. Громовой [7, с. 113—123], К. Л. Паавера [8, с. 277—290], В. И. Цалкина [9, с. 63—82] Неоднократно отмечалось, что показатель «минимальное количество особей» близок реальному только в случае накопления костного материала в сравнительно короткое время и не являлся слишком раздробленным или диффузионно распределенным [8, с. 228]. Материалы Миловановского поселения вполне соответствуют указанным требованиям.

Эпоха поздней бронзы. Новые материалы в какой-то мере входят в противоречие с существующими традиционными представлениями о составе ирменского стада [1, с. 40]. Большинство новых остеологических коллекций дает сравнительно стабильное соотношение видов домашних животных, несколько отличающееся от данных, полученных на Ирмени-1, где, в частности, количество

Таблица 2

Соотношение овец и коз в ирменских остеологических коллекциях *

Памятник	Овца		Коза	
	количество	%	количество	%
Милова́ново-3	2	66,6	1	33,3
Кротово-18	184	—	71	—
	22		10	

* См. примечание к табл. 1.

крупного рогатого скота в стаде оказалось несколько завышенным. В большей части памятников оно колеблется в пределах 31—39%. Новые остеологические коллекции имеют большее количество костей лошади, чем Ирмень-1. Оно составляет 18—32%, а в пересчете на особи 16—26%. Что касается овец и коз, то их количество в стаде было менее устойчивым и колебалось от 34 до 52% по количеству особей, хотя по количеству костей вариации значительно меньше (31—43%). Имеющиеся данные позволяют впервые найти соотношение овец и коз среди мелкого рогатого скота у ирменцев: овец было в 2 раза больше, чем коз (табл. 2).

Довольно значительное количество коз в стаде является, по-видимому, характерной особенностью ирменской культуры. В. И. Цалкин отмечал, что для степного и лесостепного скотоводства эпохи поздней бронзы характерно значительное преобладание овец над козами [10, с. 27]. Существенной была роль козы в животноводстве античных городов Северного Причерноморья [9, с. 29]. По-видимому, близкие показатели встречены на поселении Саргары [11, с. 211—226]. Наши остеологические коллекции подтвердили отсутствие свиньи в ирменской культуре.

Подобное соотношение видов животных в домашнем стаде отмечено С. С. Черниковым на Верхнем Иртыше, на поселениях Усть-Нарым и Трушниково [12, с. 89, табл. А]. Примерно такие же данные получены и при изучении остеологических коллекций саргаринской (алексеевской) культуры. Сходство, выразившееся в одинаковом процентном соотношении видов домашних животных (крупного и мелкого рогатого скота, лошади) и отсутствии свиньи, является неслучайным. Оно свидетельствует об общности происхождения скотоводства этих культур, восходящего к андроновскому. Особенности скотоводства эпохи поздней бронзы на территории Казахстана и Западной Сибири были отмечены В. И. Цалкиным, который впервые выделил ее в особую зону, отличающуюся от других (Северное Причерноморье и Поволжье, Восточно-Европейская лесостепь [10, с. 28, 29]). Это сходство, по-видимому, сохранилось и усилилось за счет контактов, которые существовали между носителями ирменской и алексеевской культур. Эти контакты проявлялись не только в материальной культуре, но и в возможном обмене скотом и навыками ведения скотоводческого хозяйства.

Впервые появилась возможность охарактеризовать ирменское скотоводство в динамике его развития по материалам поселения Милованово-3, где имеются жилища быстровского и ирменского этапов ирменской культуры. Для него характерны определенные изменения. На позднем этапе существования поселения несколько возрастает количество лошадей и овец в стаде за счет некоторого уменьшения количества крупного рогатого скота (табл. 3). Однако эти изменения незначительны и существовали, скорее, в виде тенденции, чем серьезной перестройки структуры стада.

Такие же изменения в скотоводстве происходят, по наблюдениям С. С. Черникова, на территории Восточного Казахстана [12, с. 88, 89]. В нашем пересчете цифры явно свидетельствуют о некотором росте поголовья мелкого рогатого скота и лошадей, если судить по количеству особей.

Таблица 3

Распределение остеологического материала Милованово-3*

Вид	Ранние комплексы, жилища 4—7		Поздние комплексы, жилища 2,8	
	количество	%	количество	%
Лошадь	110 8	26,1 25,8	84 5	36,5 27,8
Крупный рогатый скот	160 13	38 41,9	69 5	30 27,8
Мелкий рогатый скот	151 10	39,5 32,2	77 8	33,5 44,4

* См. примечание к табл. 1.

Таблица 4

Определение возраста у домашних животных из поселения Милованово-3

Вид	Взрослые	Молодые	Итого
Лошадь	9 69,2	4 30,8	13 100
Крупный рогатый скот	14 73,7	5 26,3	19 100
Мелкий рогатый скот	8 51,8	9 48,2	17 100

Незначительность изменений в составе стада в эпоху поздней бронзы Центрального Казахстана отмечает и С. Я. Зданович [13, с. 46, 47] Т. М. Потемкина, проанализировав остеологические коллекции Притоболья, пришла к несколько иным выводам [14, с. 313] Она отмечает значительный рост лошадей в стаде за счет сокращения количества крупного рогатого скота. Однако на позднем этапе бронзового века количество лошадей не превышает таковое у ирменцев. В Притоболье процессы структурного изменения в стаде более заметны, поскольку прослеживаются на материалах начиная с середины II тыс. до н. э. М. Ф. Косарев отметил, что подобная тенденция характерна для всего южносибирского ареала. В это время происходит «процесс накопления внутри пастушеско-земледельческого хозяйства новых качеств, позволивших перейти на рубеже бронзового и железного веков к кочевому скотоводству» [5, с. 56].

Интересные результаты получены при анализе возрастных определений Миловановской остеологической коллекции (табл. 4).

Из приведенной таблицы следует, что всего лишь 1/4 коров забивалась на мясо в молодом возрасте, а остальные 3/4 сохранялись для воспроизводства стада. Такое большое количество половозрелого крупного рогатого скота в стаде характерно, например, для городищ дьяковской культуры [15, с. 10] В комплексах ананьинской культуры, наоборот, преобладают кости молодых животных [16, с. 179]. Близкий ирменскому возрастной состав крупного рогатого скота отмечен А. Г Петренко в материалах приказанской культуры [17, с. 190] и Л. А. Макаровой на поселении Саргары [11, с. 213]. Такое соотношение взрослых и молодых особей не характерно для преимущественно мясного использования крупного рогатого скота и свидетельствует о том, что у носителей ирменской культуры большую роль играло молочное скотоводство. Не исключена возможность использования быков в качестве тягловой силы. Наличие молочного скотоводства подтверждается и другими материалами. В частности, в коллекции поселения Быстровка-4 имеется костяная трубочка, которую на основании аналогии можно считать приспособлением для раздаивания коров [18, с. 186—192]. Интересно, что соотношение взрослых и молодых особей лошади на поселении Милованово-3 почти такое же, как и крупного рогатого

скота. Только третья часть этого вида забивалась на мясо в молодом возрасте. Это свидетельствует о том, что лошади разводились не только для получения мяса, но и для интенсивного хозяйственного использования в качестве тягловой силы и верховой езды. Следует предположить также использование в пищу кобыльего молока.

Широкое использование лошади для верховой езды документируется массовыми находками псалиев на ирменских поселениях, что неоднократно привлекало внимание исследователей [3, с. 59; 19, с. 74; 20, с. 67]

Мелкий рогатый скот на поселении Милованово-3 представлен в равной степени остатками взрослых и молодых особей. Это соотношение характерно для многих археологических культур, в том числе и саргаринской [11, с. 218]. Однако в рассматриваемой коллекции отсутствуют кости самого раннего возраста, что свидетельствует о том, что ягнята в пищу не употреблялись. Овцы и козы в ирменской культуре использовались не только в пищу, но и для получения шерсти. Шерстяные ткани были обнаружены нами в курганном могильнике Милованово-1.

Собака на ирменских поселениях, как и в других позднебронзовых культурах, встречается сравнительно редко, единичные особи имеются в коллекциях Милованово-3, Ирмень-1, Батурино-1. Имеющийся материал не позволяет судить об ее использовании. Однако отмеченное сходство в скотоводческом хозяйстве на территории юга лесостепной зоны Западной Сибири позволяет привлечь для решения вопроса материалы этого ареала. В этом плане представляют интерес таблицы остеологических определений из Притоболья, опубликованные Т. М. Потемкиной [14, с. 309, 310] Они указывают на определенную взаимосвязь, существующую между количеством костей мелкого рогатого скота и собаки в коллекциях. Такое соотношение позволяет утверждать, что собака в эпоху поздней бронзы в первую очередь использовалась как пастушеская, для охраны стад мелкого рогатого скота. По-видимому, такая же роль отводилась ей у ирменцев. Использование собаки во время охоты скорее всего играло второстепенную роль. Судя по некоторым окуневским изображениям, пастушеская собака в Сибири появляется задолго до рубежа II и I тыс. до н. э. [21, с. 121, табл. XXX, *5*]

Отмеченная зависимость между поголовьем мелкого рогатого скота и собак свидетельствует о существовании повидового разделения стада. В эпоху поздней бронзы, по-видимому, существовали отдельные отары овец, табуны лошадей, стада крупного рогатого скота. Охрана отар специальными пастушескими собаками характерна уже для отгонной организации выпаса скота.

Остеологические коллекции свидетельствуют о характере употребления в пищу домашнего скота: помимо мяса ели и костный мозг. Значительная часть трубчатых костей разрублена поперек или вдоль диафиза. Часто встречаются скопления дробленых костей, некоторые из них — со следами огня, что, с нашей точки зрения, свидетельствует об их, возможно, неоднократном вываривании для получения питательного бульона. Вместе с тем иногда в хозяйственных ямах или углах жилищ встречаются скопления костей, расположенных в анатомическом порядке, с нерасчлененными суставами. Не исключено, что эти сочленения являлись остатками кусков мяса, которые были своего рода подношениями — жертвенной пищей для духов — покровителей жилища. Эти наблюдения позволяют сделать заключение, что в основном носители ирменской культуры проводили полную утилизацию мясных продуктов. В быту в пищу чаще употреблялась говядина. На ритуальных церемониях и празднествах, по-видимому, предпочтение отдавалось конине и баранине. Об этом свидетельствуют раскопки кургана 4 могильника Милованово-3, где во рву обнаружены остатки пяти баранов и лошади, по-видимому, съеденных во время погребения умершего. Второе наблюдение сделано на поселении Милованово-3; в жилище 11 была обнаружена хозяйственная яма, буквально забитая костями, которые плотно прилегали друг к другу. Здесь находилось 594 обломка кости, которые

Таблица 5

Состав ирменского стада, %

Вид	По остеологической коллекции	Реальное стадо
Крупный рогатый скот	39,3	50
Мелкий рогатый скот		
овцы	23	14
козы	11,5	7
Лошадь	26,2	29

так переплелись между собой, что не вызывает сомнения, что это яма разового заполнения. Кости принадлежали не менее чем двум особям лошади и одному жеребенку, одному барану. Скорее всего в яму были спрятаны остатки пиршества, в котором приняли участие все обитатели поселка.

Материалы поселения Милованово-3 позволяют произвести пересчет костных остатков для реконструкции реального стада. За основу нашей реконструкции мы приняли методику, предложенную Ю. А. Красновым [22, с. 143] При условии простого, а не расширенного воспроизводства стада весь прирост поголовья употреблялся в пищу. Зная, что только 25% молодых особей крупного рогатого скота забивалось, а остальные сохранялись для замены взрослых особей, можно реконструировать примерную структуру стада. При условии ежегодного получения 10 телят она может выглядеть следующим образом: телята до 1 года — 9, молодняк 1—2 лет — 7, нетели — 4—6, коровы — 10—12, быки — 2—3. Всего 33—35 особей [23, с. 161]

50% особей мелкого рогатого скота шло в пищу в молодом возрасте. При условии, что матки приносили приплод один раз в год, для воспроизводства 10 ягнят необходимо 18—20 особей.

Учитывая, что 69% лошадей забивалось на мясо уже взрослыми, а время случки у кобыл наступает в возрасте 3 года [23, с. 123], для воспроизводства 10 жеребят необходим табун из 38—40 лошадей.

Приведенные нами расчеты позволяют реконструировать реальный состав ирменского стада (табл. 5).

Сделанный нами пересчет костей из остеологических коллекций на реальное стадо убедительно подтверждает тезис об оседлом, пастушеском характере ирменского скотоводства. Преобладание крупного рогатого скота объясняется как молочной направленностью ирменского скотоводства, так и тем, что для коровы нужен значительно меньший запас корма на зиму, чем для лошади. Коровы меньше подвержены эпизоотиям, чем другие виды домашнего скота [5, с. 66, 67]

Определение процентного соотношения видов домашних животных в реальном стаде позволяет сделать расчет и количества голов скота, которые содержались в одном жилище. В этом плане большой интерес представляют данные, полученные нами о содержании скота в зимний период времени в жилище. Площадь подсобных помещений, приспособленных для этого на поселении Милованово-3, колеблется в пределах 100—180 м^2 (в среднем 150 м^2 на жилище). Определенные трудности представляет определение площади, необходимой для содержания одной головы скота. В этнографической литературе, как правило, такие данные очень отрывочны, и нам они не подходят.

Современная сельскохозяйственная литература рекомендует следующие нормы: для крупного рогатого скота необходимо помещение объемом 18—20 м^3 [24, с. 11], для мелкого рогатого скота, для овцы 2—2,3 м^2, для молодняка 0,9 м^2 [23, с. 57] Для наших расчетов мы сократили имеющиеся нормы на 1/3, исходя из того, что в древности они должны были быть меньше. Для содержания крупного рогатого скота — 5 м^2, для лошади — такая же площадь, для мелкого рогатого скота — 1,5 м^2 Примерно такие же нормы существовали и в античных государствах; ширина стойла для вола — не менее 9 футов [25,

с. 133]. Исходя из указанных норм, в жилище должно было содержаться в зимний период времени 35 голов скота — 7 овец и коз, 10 лошадей и 18 коров.

Полученные данные мы можем проверить с помощью других расчетов. Каждое жилище содержало обломки костей не менее чем от 7—12 особей домашних животных. В среднем на жилище приходится 9 особей. Такие же данные —9 особей на жилище — получены Т. М. Потемкиной на поселении Камышное 1 [14, с. 316] Поскольку жилища ежегодно, скорее всего весной, вычищались от мусора, который выносился на зольник, то следует предположить, что накопление мусора и кухонных остатков происходило в течение зимнего периода времени и количество особей, обнаруженных здесь, соответствует количеству реально съеденных животных. Если наши предварительные рассуждения верны, то для воспроизводства 9 съеденных животных необходимо стадо в количестве 30—32 голов. Как видим, данные, полученные первым и вторым способом, близки между собой и свидетельствуют о достоверности наших вычислений.

Такое поголовье требовало больших усилий всех обитателей жилища по заготовке кормов. Из имеющихся в литературе сведений о нормах заготовки сена на зиму, пожалуй, наиболее близки для нас данные, приведенные С. И. Руденко о северо-восточных казахах. Он пишет, что для лошади заготавливалось 3 т сена, для коровы —1,5 т, для овцы — менее 1 т [26, с. 10]. Исходя из этих сведений, можно вычислить, что заготавливалось около 60 т кормов. По-видимому, значительным подспорьем являлась солома, которая должна была собираться на полях.

Основным источником для изучения скотоводства еловской культуры попрежнему остаются материалы Еловского поселения. Как известно, его материалы неоднородны. Они относятся к двум последовательным этапам развития культуры эпохи поздней бронзы, но не разделены стратиграфически. В. И. Матющенко при реконструкции хозяйства ирменского этапа перенес состав стада и соотношение диких и домашних животных на материалы Еловки, а те же сведения по еловскому этапу вычислил по остатку. Если принять во внимание, что два этих памятника находятся в разных природных зонах (лиственные леса и лесостепь), то будет ясна неправомерность подобного метода исследования. «Несмотря на различия во времени и принадлежности к разным культурам, памятники, имеющие более или менее одинаковые экономические условия, дают сходные результаты при анализе костных остатков. С другой стороны, в пределах одной культуры, одного времени, но в памятниках, расположенных в разнотипных по природным условиям местностях, состав костных остатков может быть весьма различен» [17, с. 196] Поэтому, с нашей точки зрения, более верным будет использование смешанной коллекции для характеристики обоих этапов рассматриваемой эпохи.

Судя по остеологической коллекции, скотоводство еловцев было близко скотоводству носителей ирменской культуры. Вместе с тем имеются определенные различия. Они заключаются в несколько большей роли крупного рогатого скота (52% по костям и 56% по количеству особей). Соответственно сокращается количество мелкого рогатого скота до 18,4—29,4% и в какой-то мере лошади (29,1—14,7%). Ярким отличием еловского животноводства от ирменского является наличие свиней, хотя и в небольшом количестве (2,6—1,35%). Этот вид домашных животных, с нашей точки зрения, является культурным индикатором, позволяющим в какой-то мере приблизиться к решению проблемы происхождения еловского скотоводства. Сравнительное изучение остеологических коллекций из памятников Западной Сибири показывает, что обнаружение костей свиньи на Еловском поселении не случайность.

Кроме Еловки они присутствуют в остеологических коллекциях Приобья, в Кижировском городище, пос. Ордынское-9. В Прииртышье они встречены на городищах I тыс. до н. э. —I тыс. н. э.: Каргановском, Богдановском, Битые горки [27, с. 185], Мурлинском [28, с. 188]. Они имеются и в материалах

Зауралья, в частности на ряде Черкаскульских памятников [29, с. 370], на Воробьевском городище [30, с. 32]. Как правило, кости свиньи встречены в незначительном количестве и составляют 1—6% от общего остеологического комплекса.

Картографирование вышеперечисленных памятников позволяет отметить одну интересную закономерность. Абсолютное большинство их концентрируется в зоне северной лесостепи и на юге тайги. В южной части лесостепи и степной зоне, как уже отмечалось, кости свиньи отсутствуют. Этот факт ставит под сомнение происхождение еловского скотоводства от андроновского, как считалось ранее. Более вероятным следует считать, что свинья, а скорее всего и весь комплекс производящего хозяйства на юге таежной зоны появился еще до андроновской экспансии.

С нашей точки зрения, появление свиноводства следует связывать с проникновением за Урал носителей абашевской культуры [29, с. 140], состав стада у которых в какой-то мере близок составу стада черкаскульцев и еловцев. По-видимому, распространение некоторых элементов производящего хозяйства на указанной территории связано с их культурным влиянием.

Это предположение подтверждается близким процентным соотношением видов домашних животных в еловской и черкаскульской культурах, на что уже обращал внимание М. Ф. Косарев [5, с. 116—117] Он отметил, что характерной особенностью скотоводства южнотаежного ареала является значительное сокращение овцеводства за счет увеличения крупного рогатого скота, причем чем дальше на север, тем выше доля лошади в этом ареале. Интересно, что собственно в таежной зоне лошадь остается единственным используемым домашним животным начиная с эпохи бронзы [31, с. 108]

Хозяйственное использование домашних животных в целом, по-видимому, близко таковому у ирменцев, хотя можно предположить по аналогии со скотоводами — обитателями севера лесостепи в Европе, что крупный рогатый скот в большей степени использовался на мясо.

Переходный период. Новые материалы значительно дополняют имеющиеся сведения по скотоводству завьяловской культуры. Ведущую роль в стаде играла лошадь. Ей принадлежат 53,5% костей и не менее 47,2% особей. Кости крупного рогатого скота представлены 22,2% не менее чем от 30,6% особей. Кости мелкого рогатого скота представлены овцой в размере 24,3% не менее чем от 22,2% особей. Кости коз и свиней на городище Завьялово-5 не обнаружены.

Рассматриваемый период на широких пространствах евразийской степи характеризуется коренными изменениями в хозяйстве — переходом к кочевому скотоводству [2]. Сравнение структуры стада ирменской и еловской культур с завьяловской показывает, что и в лесостепном Приобье происходят определенные изменения, которые выразились в снижении поголовья овцы и в какой-то мере крупного рогатого скота за счет резкого увеличения доли лошади в стаде. Такое стадо более характерно для севера рассматриваемого нами региона [5, с. 121] Незначительное количество мелкого рогатого скота заставляет отвергнуть возможность существования здесь кочевого или отгонного скотоводства. Другие данные: насыщенность и характер культурного слоя на городище Завьялово-5, тип жилищ — подтверждают этот вывод.

Появление северного типа скотоводства в 60 км к югу от широты Новосибирска, с нашей точки зрения, объясняется как определенными климатическими изменениями (обводнение поймы Оби), так и миграцией северных племен — носителей керамики с крестовым штампом — с территории Средней Оби, где лошадь являлась единственным домашним животным.

Интересной особенностью завьяловской культуры, подтверждающей ее северные связи, является использование собаки. В остеологической коллекции встречено значительное количество (31) костей этого вида животного не менее чем от 6 особей. Эти кости встречены среди кухонных остатков — дробленых костей других видов животных — и по внешнему виду и характеру залегания

сами также являются кухонными остатками. Это свидетельствует о том, что собака наряду с лошадью и рогатым скотом использовалась в пищу.

Новые данные для характеристики скотоводства большереченского этапа большереченской культуры отсутствуют. М. П. Грязнов реконструирует его как оседлое, пастушеское, где основную роль в стаде играл крупный рогатый скот [19, с. 73, 74]. Большое значение имело получение и использование молочных продуктов. Автор предполагает наличие колесного транспорта и использование тягловой силы быков и лошадей, констатирует появление всадничества. Большинство признаков указывает на близость скотоводства большереченского этапа большереченской культуры ирменскому. Отсутствие статистически сравнимых остеологических коллекций не позволяет сопоставить скотоводство рассматриваемого этапа с завьяловским. Исходя из общего характера культуры, можно согласиться с основными выводами М. П. Грязнова и признать тесную связь большереченского и ирменского скотоводства.

Таким образом, скотоводство переходного периода можно рассматривать как результат слияния двух традиций — местной ирменской лесостепной и северной таежной. Этот вывод прекрасно подтверждается другими материалами, в частности керамикой [32, с. 66, 67].

Ранний железный век. Изучены материалы кижировской, большереченской и кулайской культур.

Скотоводство кижировской культуры рассматривается на материалах двух памятников — городищ Каменный Мыс и Кижирово. Для первого памятника, расположенного на южной кромке распространения кижировской культуры, характерен следующий состав стада: крупный рогатый скот —33,3%, лошадь — 25%, свинья —4,16%. По-иному выглядят остеологические определения материалов Кижировского городища. Количество лошади достигает здесь 80%. Крупный, мелкий рогатый скот и свиньи составляют соответственно по 6,6% от общего комплекса. Такое большое количество лошади в коллекции, возможно, объясняется не только более северным расположением памятника, но и его двухслойностью. По-видимому, верхний слой эпохи средневековья содержал значительное количество костей лошади, и попадание их в слой эпохи раннего железа несколько исказило соотношение видов домашних животных в Кижировском городище. Наше предположение подтверждается определениями костных остатков из других памятников эпохи средневековья, в частности поселения и городища у дер. Могильники [33, с. 218]

Рассмотренные материалы говорят о сохранении старых еловских традиций в животноводстве кижировской культуры. По сравнению с еловской возрастает количество лошади за счет сокращения крупного рогатого скота в стаде. Тенденция увеличения роли лошади в стаде сохраняется на севере лесостепной и юге таежной зоны вплоть до средневековья, что хорошо видно на материалах Мурлинского городища и других памятников Прииртышья I тыс. н. э. [28, с. 188]

Причины роста поголовья лошади на севере рассматриваемой нами зоны в настоящее время ясны. Исследователи уже отмечали, что это связано со способностью лошади к тебеневке даже по сравнительно глубокому снегу.

Основным источником для изучения скотоводства бийского этапа являются материалы поселения Ордынское-9. Здесь обнаружено следующее соотношение видов домашних животных. Ведущее место в стаде занимает мелкий рогатый скот — 42,1%. Второе место принадлежит лошади — 28,9 особей. Количество крупного рогатого скота составляет 26,3%. Отмечены также кости свиньи — 2,6% особей. Ордынское-9 — самый южный памятник I тыс. до н. э. в Западной Сибири, где найдены кости свиньи. Во всех остальных случаях остатки этого животного обнаружены, как уже указывалось, значительно севернее — на границе с таежной зоной. Этот факт позволяет предположить случайный характер находки, тем более что поселение занято огородами с. Чернаково. В остальном соотношение видов домашних животных близко ирменскому. Вместе с тем имеются некоторые отличия, которые характеризуют дальнейшее разви-

тие скотоводства на юге Приобской лесостепи. Они заключаются в сокращении процентного соотношения крупного рогатого скота на 6—15%. Соответственно несколько увеличивается количество лошади при сохранении большой роли мелкого рогатого скота. Такие изменения характерны не только для большереченской культуры, но и для всей западносибирской лесостепи рассматриваемого периода. Близкое процентное соотношение отмечено на городище «Чудаки» в Зауралье [34, с. 236], Кононовском поселении в Прииртышье [27] и других памятниках. Авторы исследований расходятся в интерпретации этих остеологических коллекций. Т. Н. Троицкая считает, что скотоводство большереченской культуры по-прежнему сохраняет пастушеский характер, изменяется только способ содержания скота. Теперь он в зимнее время содержится хотя и на поселении, но за пределами жилищ [4, с. 158] В. А. Могильников, проанализировав скотоводство саргатской культуры, высказал предположение о переходе к отгонному скотоводству. Он считает, что увеличение роли лошади в стаде связано с увеличением роли тебеневки [27, с. 178, 179]

С нашей точки зрения, изменения, отмеченные в стаде большереченской культуры, позволяют говорить о существовании элементов отгонного скотоводства. Какая-то часть стада (лошади, мелкий рогатый скот) перегонялась летом на отдаленные пастбища. Другая часть оставалась на ближних выпасах и на ночь возвращалась на поселение. В целом рассматриваемый вид хозяйства можно охарактеризовать как пастушеское скотоводство с развитыми элементами отгона.

Для характеристики скотоводства кулайской культуры на севере лесостепной зоны большой интерес представляют материалы городища Дубровинский Борок-3. Собранная здесь костная коллекция, хотя и невелика (остатки 6 особей домашних животных), позволяет охарактеризовать изменения в хозяйстве, произошедшие, у таежных мигрантов в новых природных условиях.

В Васюганской метрополии кулайской культуры единственным домашним животным являлась лошадь. Н. М. Ермолова отмечает, что на Саровском городище найдено 17 костей этого вида не менее чем от 3 особей. Она допускает, что у кулайцев могли существовать и другие виды домашних животных, считая Саровское городище не стационарным поселением, а местом отхожего промысла на пушного зверя [35, с. 12] Однако такая интерпретация памятника вряд ли правомерна. Она расходится с точкой зрения автора раскопок и имеющимся фактическим материалом [36, с. 64—67]. Наличие мощных оборонительных укреплений, следов длительного обитания в виде жилищ, насыщенность культурного слоя обломками керамики, костями, а также свидетельства производственной деятельности в виде шлаков и тиглей-льячек позволяют считать рассматриваемый памятник местом постоянного обитания. В пользу этого говорит и наличие больших скоплений чешуи рыбы, накопление которой происходило в основном в весенне-летний период. Л. А. Чиндина указывает также на существование культового места на городище [36, с. 67—69] Исходя из характера памятника, можно думать, что лошадь являлась единственным домашним животным в собственно таежной зоне. Как известно, эта традиция появляется еще в эпоху бронзы [31, с. 130] Н. М. Ермолова совершенно справедливо предполагает, что в тайге лошадь в основном использовалась как транспортное животное [35, с. 12]

Дубровинский Борок-3 показывает, что у южной группы носителей кулайской культуры произошли значительные изменения в хозяйстве. Наряду с костями лошади в остеологической коллекции присутствуют кости крупного и мелкого рогатого скота [37, с. 53, 54], что свидетельствует о появлении у них скотоводства. К сожалению, размеры коллекции не позволяют произвести статистического сравнения с памятниками предшествующих периодов и других территорий, но можно надеяться, что сохраняются характерные черты, отмеченные для скотоводства еловской и кижировской культур. Есть сведения, что у носителей

кулайской культуры в животноводстве сохраняется свинья [37, с. 54].

Основные выводы из всего изложенного следующие. Ирменское скотоводство было пастушеским скотоводством. 60% реального стада — это крупный рогатый скот, который содержался для получения молочных продуктов, мяса, использовался в качестве тягловой силы. Примерно одинаковую роль играли лошадь и мелкий рогатый скот. В развитии ирменского скотоводства наблюдается тенденция к уменьшению роли крупного рогатого скота за счет увеличения количества лошадей, коз и овец, которая более отчетливо проявляется в раннем железном веке. Анализ возрастных определений остатков лошади позволяет говорить об ее интенсивном хозяйственном использовании. Не исключено, что в рассматриваемый период появляется отгон мелкого рогатого скота на отдаленные пастбища. В среднем на жилище, по-видимому, приходилось 30—35 голов скота.

Основными отличиями еловского скотоводства от ирменского являются значительно меньшая роль мелкого рогатого скота, чем на юге, и наличие в хозяйстве свиньи. Эти особенности позволяют высказать гипотезу о западном влиянии в становлении производящего хозяйства Западной Сибири и связать его с проникновением абашевцев за Урал.

Резкое увеличение количества лошади в стаде за счет сокращения мелкого и в какой-то мере крупного рогатого скота характерно и для завьяловской культуры. С нашей точки зрения, эти изменения связаны с переселением из таежной зоны носителей керамики с крестовым штампом, принесших с собой традиции коневодства.

В середине I тыс. до н. э. на севере рассматриваемой зоны наблюдается увеличение количества лошади в стаде при сокращении крупного и мелкого рогатого скота и сохранении свиньи. Для юга характерно сохранение старых ирменских традиций в использовании домашних животных. Сохраняется и тенденция сокращения количества крупного рогатого скота при дальнейшем увеличении поголовья лошади и большом значении мелкого рогатого скота. Эти тенденции указывают на рост подвижности домашнего стада и, следовательно, на увеличение роли отгона. Однако в целом скотоводство сохраняет пастушеский характер.

В конце I тыс. до н. э., с проникновением на юг кулайских племен, старая подтаежная традиция комплексного скотоводства сохраняется.

Рассмотренные материалы позволяют говорить о двух типах скотоводства, которые существовали в подтаежной и лесостепной зонах Приобья на протяжении всего I тыс. до н. э.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Грязнов М. П.* К вопросу о культурах эпохи поздней бронзы Сибири // КСИИМК. 1956. Вып. 64.
2. *Грязнов М. П.* Этапы развития хозяйства скотоводческих племен Казахстана и Южной Сибири в эпоху бронзы // КСИЭ. 1957 Вып. XXVI.
3. *Матющенко В. И.* Древняя история лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век) // ИИС. 1974. Вып. 13.
4. *Троицкая Т Н.* Развитие скотоводства у племен Новосибирского Приобья в I тыс. до н. э.— V в. н. э. // ИИС. 1976. Вып. 21.
5. *Косарев М. Ф.* Западная Сибирь в древности. М.: Наука, 1984.
6. *Горюнова Е. И.* К вопросу об остеологической статистике // КСИИМК. 1950. Вып. 35.
7. *Громова В. И.* Остатки млекопитающих из раннеславянских городищ вблизи г. Воронежа // МИА. 1948. № 8.
8. *Паавер К. Л.* К методике определения относительного значения видов групп млекопитающих в остеологическом материале из раскопок археологических памятников // Изв. АН ЭССР. 1958. Сер. биол. Т. VII. № 4.
9. *Цалкин В. И.* Древнее животноводство племен Восточной Европы // МИА. 1966. № 135.
10. *Цалкин В. И.* Некоторые итоги изучения костных остатков животных из раскопок археологических памятников позднего бронзового века // КСИА. 1964. Вып. 101.
11. *Макарова Л. А.* Характеристика костного материала из поселения Саргары // Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата, 1976.
12. *Черников С. С.* Восточный Казахстан в эпоху бронзы // МИА. 1961. № 88.

13. *Зданович С. Я.* Новые материалы к истории скотоводства в Зауралье и Северном Казахстане в эпоху финальной бронзы // Материалы по хозяйству и общественному строю племен Южного Урала. Уфа, 1981.
14. *Потемкина Т. М.* Бронзовый век лесостепного Притоболья. М.: Наука, 1985.
15. *Цалкин В. И.* Животноводство и охота в лесной полосе Восточной Европы // МИА. 1962. № 107
16. *Андреева Е. Г* Животные Прикамья ананьинского времени по костным остаткам из археологических памятников // Уч. зап. Перм. ун-та. 1967. № 148.
17. *Петренко А. Г* Материалы к истории животноводства в эпоху поздней бронзы и раннего железа на территории Средней Волги и Низовий Камы // Уч. зап. Перм. ун-та. 1967 № 148.
18. *Галкин Л. Л.* Одно из древнейших практических приспособлений скотоводов // СА. 1975. № 3.
19. *Грязнов М. П.* История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка // МИА. 1956. № 48.
20. *Смирнов К. Ф.* О древних всадниках поволжско-уральских степей // СА. 1961. № 1.
21. *Вадецкая Э. Б., Леонтьев Н. В., Максименков Г А.* Памятники окуневской культуры. Л.: Наука, 1980.
22. *Краснов Ю. А.* Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы. М.: Наука, 1971.
23. *Алексеев А. В.* Основы животноводства. М.: Высш. шк., 1972.
24. Корова от А до Я // Приусадебное хозяйство. 1984. № 1.
25. *Марк Порций Катон.* Земледелие. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1950.
26. *Руденко С. И.* Очерк быта северо-восточных казаков // Казаки. Вып. 15. Л., 1930.
27 *Могильников В. А.* Некоторые аспекты хозяйства племен лесостепи Западной Сибири эпохи раннего железа // ИИС. 1976. Вып. 21.
28. *Шемякина А. С.* К вопросу о хозяйстве в лесном Прииртышье в I тыс. н. э. // ИИС. 1976. Вып. 21.
29. *Сальников К. В.* Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука, 1967.
30. *Косинцев П. А., Шорин А. Ф.* Новые данные по териофауне из раскопок археологических памятников эпохи бронзы восточного склона Южного Урала // Млекопитающие Уральских гор. Свердловск, 1979.
31. *Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М.* Производство орудий и типы хозяйства в Васюганье в эпоху бронзы // ИИС, 1976. Вып. 21.
32. *Троицкая Т Н.* Завьяловская культура и ее место среди лесостепных культур Западной Сибири // Западная Сибирь в древности и средневековье. Тюмень, 1985.
33. *Плетнева Л. М.* Поселения и городища у дер. Могильники // ИИС. 1976. Вып. 21.
34. *Сальников К. В.* Городище «Чудаки» Челябинской области по раскопкам 1937 г. // СА. 1947 Т. IX.
35. *Ермолова Н. М.* К изучению хозяйства кулайской культуры // Вопросы этнокультурной истории Сибири. Томск, 1980.
36. *Чиндина Л. А.* Саровское городище // Вопросы археологии и этнографии Сибири. Томск, 1978.
37. *Троицкая Т Н.* Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука, 1979.

E. A. Sidorov

CATTLEBREEDING IN THE FOREST-STEPPE BELT OF THE OB BASIN IN THE FIRST MILLENNIUM B. C.

Summary

Throughout the first millennium B. C. the population was engaged in pastoral complex cattlebreeding. In the late Bronze period horned cattle predominated in the herds of the Irmen culture. There were no swine, the horse and small cattle were of more or less equal number; sheep predominated. Further development led to a greater number of horses and small cattle. In winter cattle was kept in auxiliary premises in dwellings. Small cattle was less important in the Elovo culture that was situated farther north where pigs were also breeded. This probably speaks of a western influence in consolidating producing economy. The period transitional to the Iron Age was marked by a sharp increase of horses that was brought about by the northern taiga origin of the Zavyalovo culture. Mixture of two traditions — the local, Irmen and the alien, northern — was evident in that period.

In the Early Iron Age (in the mid-first millennium B. C.) the number of horses grew in the north while the number of horned and small cattle decreased; swine population remained unchanged. In the south, the old Irmen traditions persisted. These trends indicate that pasturing of cattle had become more prominent by that time. In the late first millennium B. C. when the forest tribes of the Kulai culture had infiltrated the forest-steppe zone and introduced their own traditions the number of horses increased and pigs appeared. By the first centuries A. D. the shift to pastoral cattlebreeding began.

КП 15207
ОА 114

Е. И. БЕСПАЛЫЙ, Н. Н. ГОЛОВКОВА, П. А. ЛАРЕНОК

ПОМИНАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ IV В. ДО Н. Э. — III В. Н. Э. ДОНО-КАГАЛЬНИЦКОГО ВОДОРАЗДЕЛА

С 1976 г. экспедиции Азовского краеведческого музея ведут исследование курганных могильников в зоне строительства приморской оросительной системы в Азовском р-не Ростовской обл. на территории водораздела рек Дон и Кагальник (рис. 1).

Среди курганов железного века выделяется группа, не содержащая погребений, которые были бы связаны со временем сооружения самой насыпи. Эти памятники мы предлагаем назвать поминальными насыпями.

В 1976 г экспедиция под руководством С. И. Лукьяшко начала исследование курганов группы Высочино I. К северу от кургана 14 было вскрыто всхолмление, на поверхности которого и в самой насыпи были собраны многочисленные фрагменты эллинистических амфор (рис. 1, *г*). Погребений обнаружено не было. В коллекцию Азовского музея поступил ящик керамики с шифром Высочино I, развал, 2, инв. № / 6,7 (рис. 2, *2, 7—9, 12*). Найденные ножки амфор по форме и глине могут быть отнесены к херсонесским. Глина содержит известковые включения, что является характерной особенностью «всех без исключения херсонесских амфор» [1, с. 175; 2, с. 98]. В тесте ножки одной из амфор (рис. 2, *2*) присутствуют мелкие фрагменты кварца, что также свойственно херсонесским амфорам [3, с. 101]. Ножка другой амфоры по форме наиболее близка к ножке амфоры из Панское I, относимой авторами к I типу херсонесских амфор, датируемому последними десятилетиями IV — началом III в. до н. э. [4, с. 95—98, 102 рис. 2, *1*].

В этом же году в группе Высочино I исследовался курган 16 (рис. 2, *1*) В насыпи на разной глубине, преимущественно в южной полé, обнаружены фрагменты не менее пяти светлоглиняных амфор типа С-Д (рис. 2, *4—6, 10, 11*). В восточной полé кургана сконцентрировано скопление различных вещей; остатки меча с кольцевым навершием и прямым перекрестием и двух кинжалов с кольцевидными навершиями, лепной сосуд (рис. 2, *3*) и другие предметы. В отчете С. И. Лукьяшко это скопление зафиксировано как погребение 1 [5, с. 20, 21], а в альбоме иллюстраций [6, с. 101] — как тризна. Костей человека в кургане не найдено [1]

В 1981 г. Приморским отрядом под руководством Е. И. Беспалого было начато исследование группы Высочино VII. Курган 13, насыпь подовальная (55×35 м), вытянута по линии СВ—ЮЗ, высота 0,8 м. В центральной части кургана прослежен котлован овальной формы (25×18 м, глубина 0,7 м) (рис. 2, *14*). В северо-западной части под насыпью найден развал амфоры (рис. 2, *16*) с розовым черепком, хорошо отмученной глиной, в примеси мелкий песок, поверхность покрыта белым ангобом, ручка круглая в сечении. Полностью профиль амфоры не восстанавливается. Возможно, форма ее сделана в подражание амфорам Родоса (?) [2, с. 159, рис. 49 б] Помимо черепков амфо-

[1] В связи с построением экспозиции залов археологии Азовского краеведческого музея полностью комплекс находок из кургана 16 оказался недоступным для исследования.

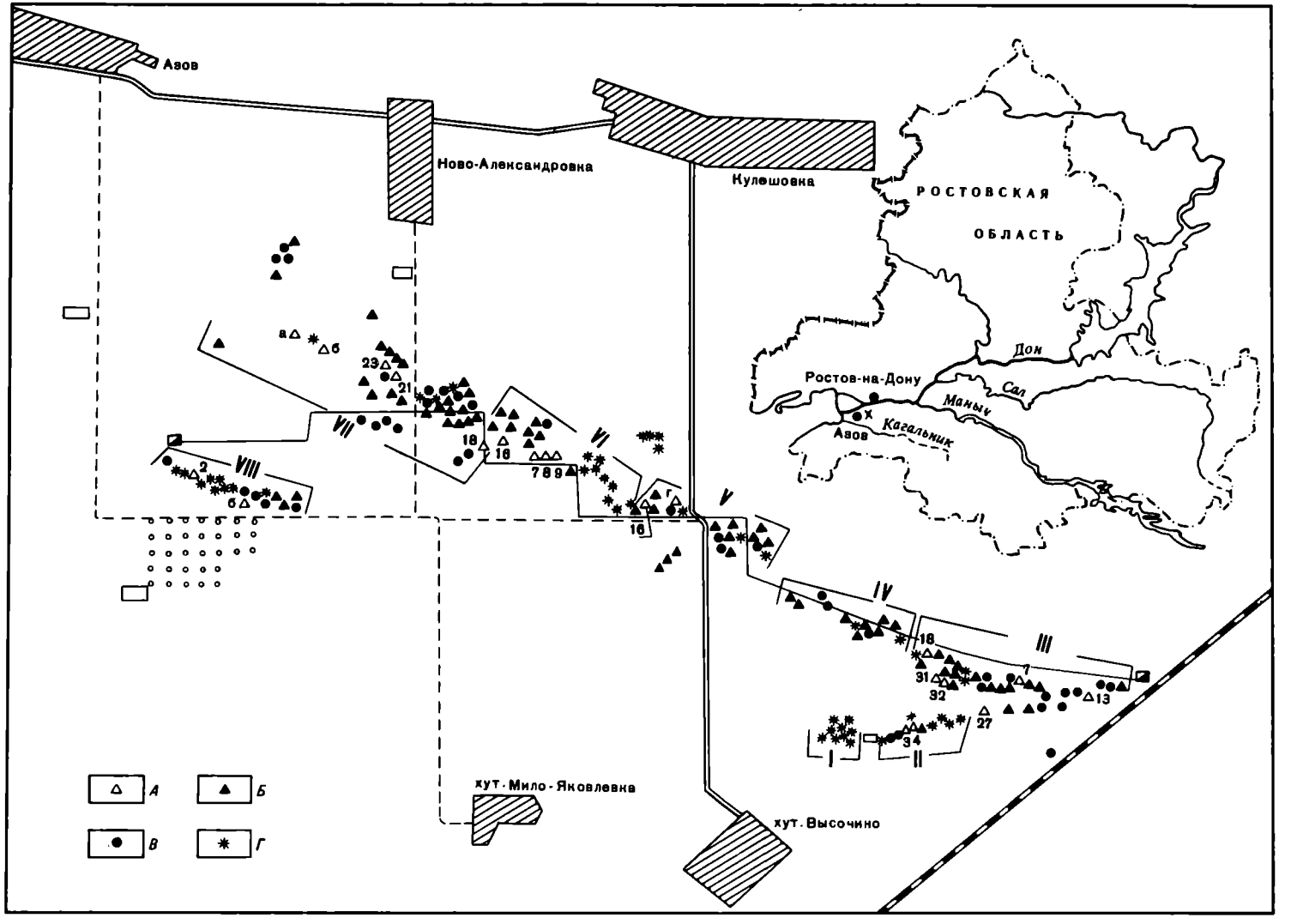


Рис. 1 Картосхема расположения памятников Доно-Кагальницкого водораздела. I — Высочино III; II — Высочино VI; III — Высочино VII; IV — Высочино II; V — Высочино I; VI — Высочино V; VII — Новоалександровка I; VIII — Красногоровка I. Арабскими цифрами обозначены раскопанные поминальные насыпи (по их порядковым номерам в каждой группе); *а* — *в* — нераскопанные поминальные насыпи; *г* — курган, не вошедший в отчет С. И. Лукьяшко за 1976 г. *А* — поминальные насыпи; *Б* — курганы раннего железного века; *В* — курганы эпохи бронзы и средневековья; *Г* — нераскопанные курганы

ры встречены кости животных и их обломки — метоподии лошади, астрагалы овцы.

В тот же год исследованы еще поминальные насыпи. Курган 18 (высота 0,2, диаметр 20 м) был сооружен над тризной из разбитых в древности более 10 светлоглиняных амфор типа С-Д. Курган 7 (высота 0,65, диаметр 30 м) сложен из однородного серого грунта. Под насыпью слой погребенной почвы мощностью до 0,5 м, находок на уровне погребенной почвы не обнаружено.

В 1982 г.исследовались курганы группы Высочино VI и VII. В группе Высочино VI открыты две поминальные насыпи. Курган 3 (высота 0,25, диамер 20 м): под пахотным слоем в центральной части кургана найдена профилированная ручка светлоглиняной амфоры типа С (рис. 3, *1*). В 3 м к юго-востоку от репера на глубине 0,5 м — скопление камней различной величины, в плане подпрямоугольной формы (1,8×0,8 м), ориентировано по линии С—Ю. Камни залегали в один слой. Под камнями следов могильной ямы не обнаружено. Курган 4 (высота 0,2, диаметр 20 м): к юго-востоку от репера располагалась прямоугольная в плане яма (2,2×1,8 м, глубина 0,62 м), ориентирована по линии С—Ю, заполнение ямы плотное, черного цвета, в нем встречены древесные угольки.

Интересен курган 27 (высота 0,3, диаметр 20 м) в группе Высочино VII, исследованный в 1982 г. (рис. 3, *3*). Под насыпью, вероятно, в неглубокой яме (границы не прослежены) на глубине 0,72 м найдена амфора с утраченной в древности ножкой и затертым клеймом на ручке (рис. 3, *20*), которую мы относим к фасосским биконическим [2, с. 144, табл. VIII] Севернее амфоры прослежена яма впускного ограбленного погребения первых веков нашей эры. В заполнении ямы найдено: три золотые пронизки в виде гофрированных трубок, золотая бляшка из фольги в виде стилизованной головы барана, обломок костяной накладки, крупная бусина с внутренней позолотой, две гагатовые бусины и обломок белой пастовой бусины, фрагменты стенок и обломок профилированной ручки светлоглиняной амфоры типа В (рис. 3, *18*), фрагменты лощеных сосудов (рис. 3, *19*), обломок железной изогнутой пластины с заклепкой (рис. 3, *17*).

В 1983 г. в группе Высочино VII исследованы две поминальные насыпи.

Курган 31 (высота 0,2, диаметр 16 м): под насыпью котлован подовальной формы (12×9 м), ориентированный по линии ВЮВ—ЗСЗ. В северной части котлована на глубине 0,62 м найден фрагментированный лепной сосуд с подъяйцевидным туловом, низким слегка отогнутым наружу горлом. Венчик украшен рядом тонких круглых вдавлений концом палочки. У основания горла прочерчена горизонтальная прерывистая линия. В тесте примесь песка и шамота (рис. 3, *13*). Там же находился фрагментированный жертвенник из плитки желто-серого песчаника (рис. 3, *14*), фрагменты двух лепных сосудов, один с прочерченным по плечу орнаментом (рис. 3, *15, 16*), два абразива и фрагменты ручек амфор и стенок с желтоватой внешней поверхностью, оранжево-красным на изломе черепком с примесью песка.

Курган 32 (высота 0,1, диаметр около 16 м): под насыпью котлован глубиной 0,75 м, подовальной формы (8×6), вытянут по линии С—Ю, находок нет.

В этом же году исследованы три аналогичных памятника в группе Высочино V

Курган 7 (высота 0,25, диаметр 20 м): под пахотным слоем прослежены два котлована, впущенные в материк. Западный котлован имеет диаметр около 7, глубину 0,8 м; восточный котлован подовальной формы (10×6,5 м), вытянут с востока на запад, глубина его 1 м. На распаханной насыпи собрано несколько мелких обломков стенок светлоглиняных амфор.

Курган 8 (высота 0,11, диаметр около 20 м): котлован подовальный (10×6 м), вытянут с востока на запад, глубина его 1 м, в восточной части котлована фрагменты двух (?) лощеных сосудов.

Курган 9 (высота 0,22, диаметр около 32) (рис. 3, *2*): под насыпью два слившихся котлована. Западный котлован округлый в плане (диаметр около 8,5,

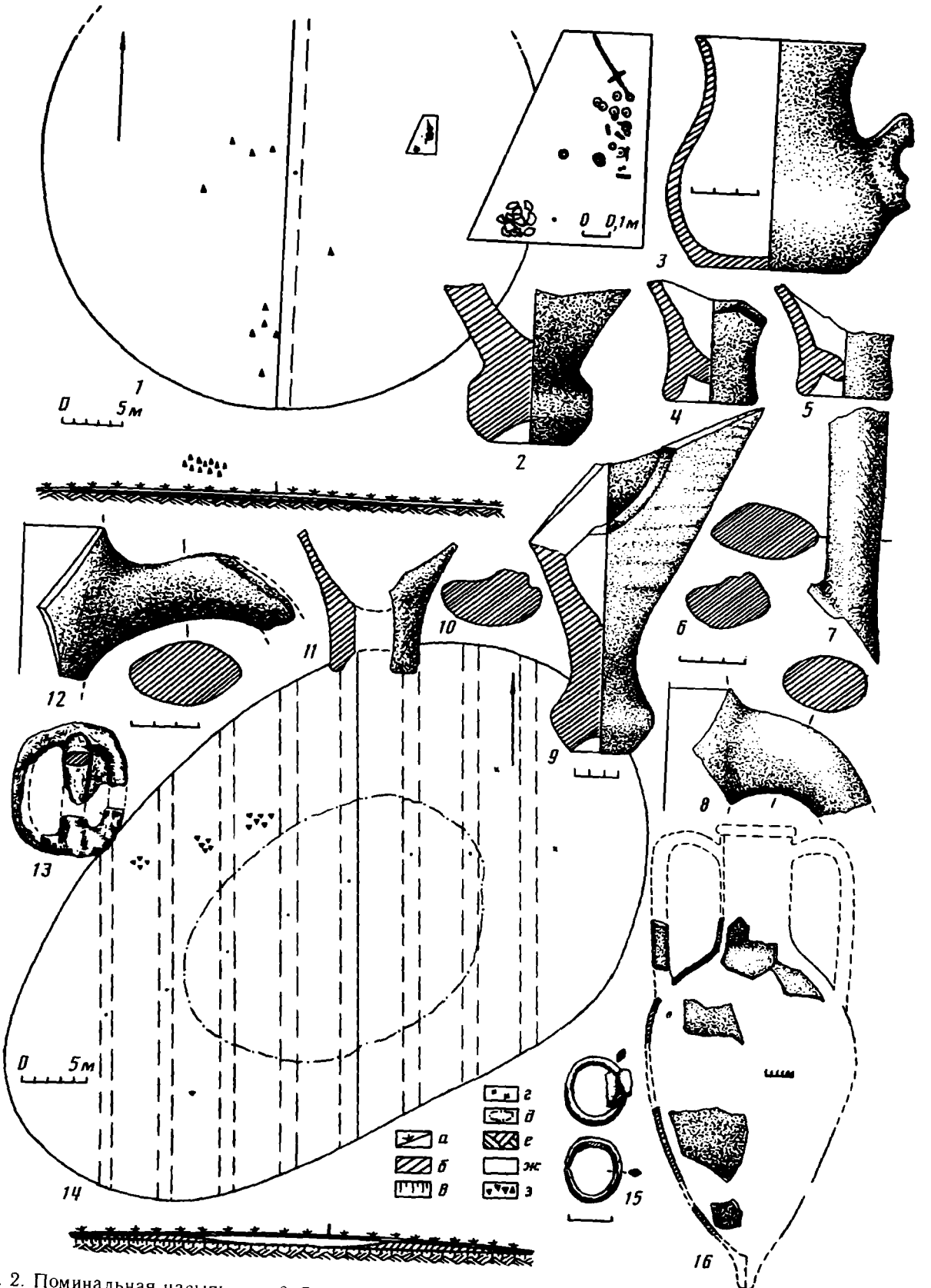


Рис. 2. Поминальная насыпь «г»: *2, 7—9, 12* — фрагменты амфор; Высочино I, кург 16: *1* — план, *3* — сосуд; *13* — пряжка (железо); *15* — кольца (бронза); *4—6, 10, 11* — фрагменты светлоглиняных амфор. Высочино VII, кург 13: *14* — план, *16* — амфора (реконструкция) *а* — пахотный слой; *б* — насыпь; *в* — погребенная почва, слившаяся с предматериком; *г* — кости животных под насыпью; *д* — границы котлована, *е* — материк; *ж* — заполнение котлована; *з* — скопление амфорных фрагментов

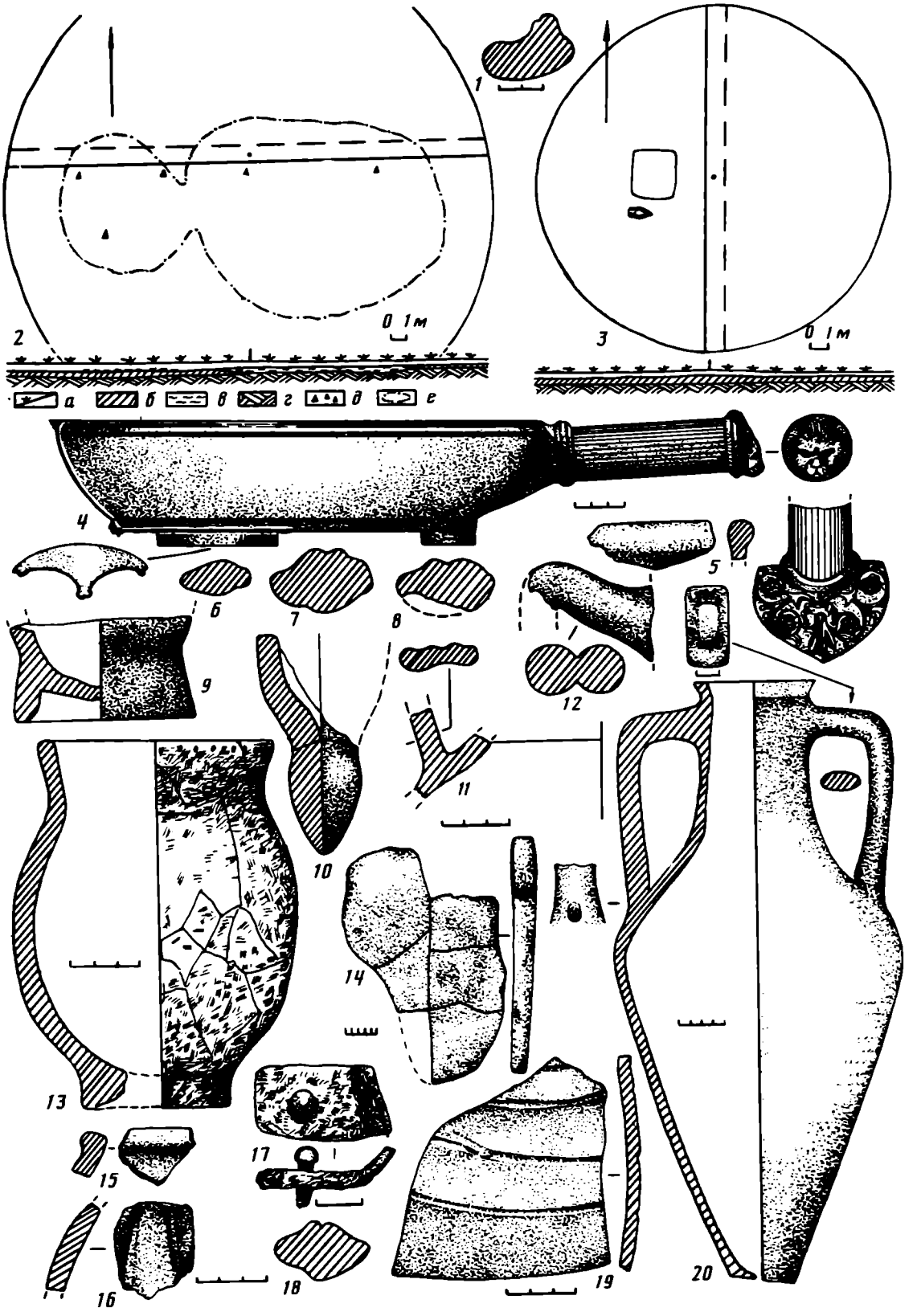


Рис. 3. Высочино VI, кург 3: *1* — ручка амфоры (сечение). Высочино VII, кург 27: *3* — план; *17* — *19* — находки из погребения 1, *20* — амфора. Высочино VII, кург 31 *13* — сосуд; *15*—*16* — фрагменты лепных сосудов, *14*—жертвенник (песчаник) Высочино V кург 9: *2* — план; *4* — патера (бронза), *5*—*10, 12* — фрагменты светлоглиняных амфор; *11* — фрагмент светлоглиняного кувшина

глубина 0,35 м); восточный — овальный (17×12 м, глубина около 1 м), вытянут с востока на запад. Северная часть котлована насыщена находками — фрагментами двухствольных светлоглиняных амфор (рис. 3,*5,10,12*) не менее чем от двух сосудов и светлоглиняных амфор типа А и АВ от 3—5 сосудов] (рис. 3, *6—9*). Найден фрагмент плеча с нижним прилепом профилированной уплощенной ручки светлоглиняного кувшина (рис. 3, *11*), обломки серолощеной керамики и бронзовая патера (рис. 3, *4*) на трех низких секировидных ножках с канелированной цилиндрической ручкой, украшенной у основания растительным рельефным орнаментом и заглушенной с торца рельефным медальоном с изображением морды льва, на дне следы ремонта в древности. В 1984 г. поминальные насыпи исследованы в курганных группах Высочино V, Новоалександровка I и Красногоровка I.

Высочино V, курган 16 (высота 0,3, диаметр около 20 м): в центре кургана грабительская воронка диаметром 2,5, глубиной около 1 м. В насыпи кургана найдены фрагменты светлоглиняной амфоры типа С-Д.

В группе Новоалександровка I исследованы три аналогичных памятника. В кургане 18 (высота 0,1, диаметр 20 м) (часть насыпи уничтожена при рекультивации) (рис. 4, 1) в центральной части прослежена грабительская воронка. В северо-западной части кургана — яма с остатками опорного столба от деревянного половецкого изваяния. В южной части кургана зафиксировано скопление светлоглиняных амфор типа С не менее чем от двух сосудов (рис. 4, *3—5, 7*) и фрагменты венчика лепного сосуда (рис. 4, *2*)

Курган 21 (высота 0,12, диаметр около 20 м): под насыпью подовальный котлован (10,5×8,5 м), вытянут с севера на юг, глубина его 1,1 м (рис. 4, *11*). В южной части кургана и частично в самом котловане скопление фрагментов светлоглиняных амфор не менее чем от семи сосудов типа С (рис. 4, *6, 9, 10, 15, 21*) и большой амфоры типа розовоглиняных с широкими горлами (рис. 4,*12*) [2, с. 170, рис. 83], а также обломки серолощеного кувшина и плитка светло-коричнево-серого песчаника.

Курган 23 (высота 0,2, диаметр около 20 м): под насыпью подовальный котлован (11×8 м), вытянут с севера на юг, глубина его 1 м. В южной части скопление светлоглиняных амфор типа С (рис. 4, *8, 13, 14, 16, 17, 20*) не менее чем от 18 сосудов, фрагменты крупного серолощеного сосуда (рис. 4,*19*).

В группе Новоалександровка I зафиксированы два таких памятника. На поверхности одного всхолмления собраны фрагменты двухствольных амфор и амфор типа А (рис. 5, *10, 11, 14, 15*); на другом находки представлены развалом красноглиняной амфоры с круглой в сечении ручкой II — III вв. н. э. (рис. 5,*16*) [2]

В группе Красногоровка I выявлены также два таких памятника. В кургане 2 вскрыт котлован подовальной формы (14×10 м), вытянутый с востока на запад, глубиной 0,95 м (рис. 5, *1*). Тризна представлена 12—13 светлоглиняными амфорами типа С (рис. 5, *2—9*), бортиком серолощеной миски и фрагментами гончарного кувшина. Поминальная насыпь «Б» не раскапывалась. На ее поверхности собрано значительное количество фрагментов амфор типа С (рис. 5, *12, 13*).

Таким образом, к настоящему времени нам известна 21 поминальная насыпь, среди которых выделяются две группы: с котлованами и без котлованов.

Первая группа наиболее многочисленна. Наблюдается различная насыщенность тризн, сопровождавших котлованы: от одного-двух сосудов до нескольких десятков. Предположительно это может отражать социальную дифферен-

---

[2] Поминальные насыпи небольшой высоты отличаются от курганов еще до раскопок по скоплению на пахоте большого количества фрагментов амфор и отсутствию распаханного выкида.

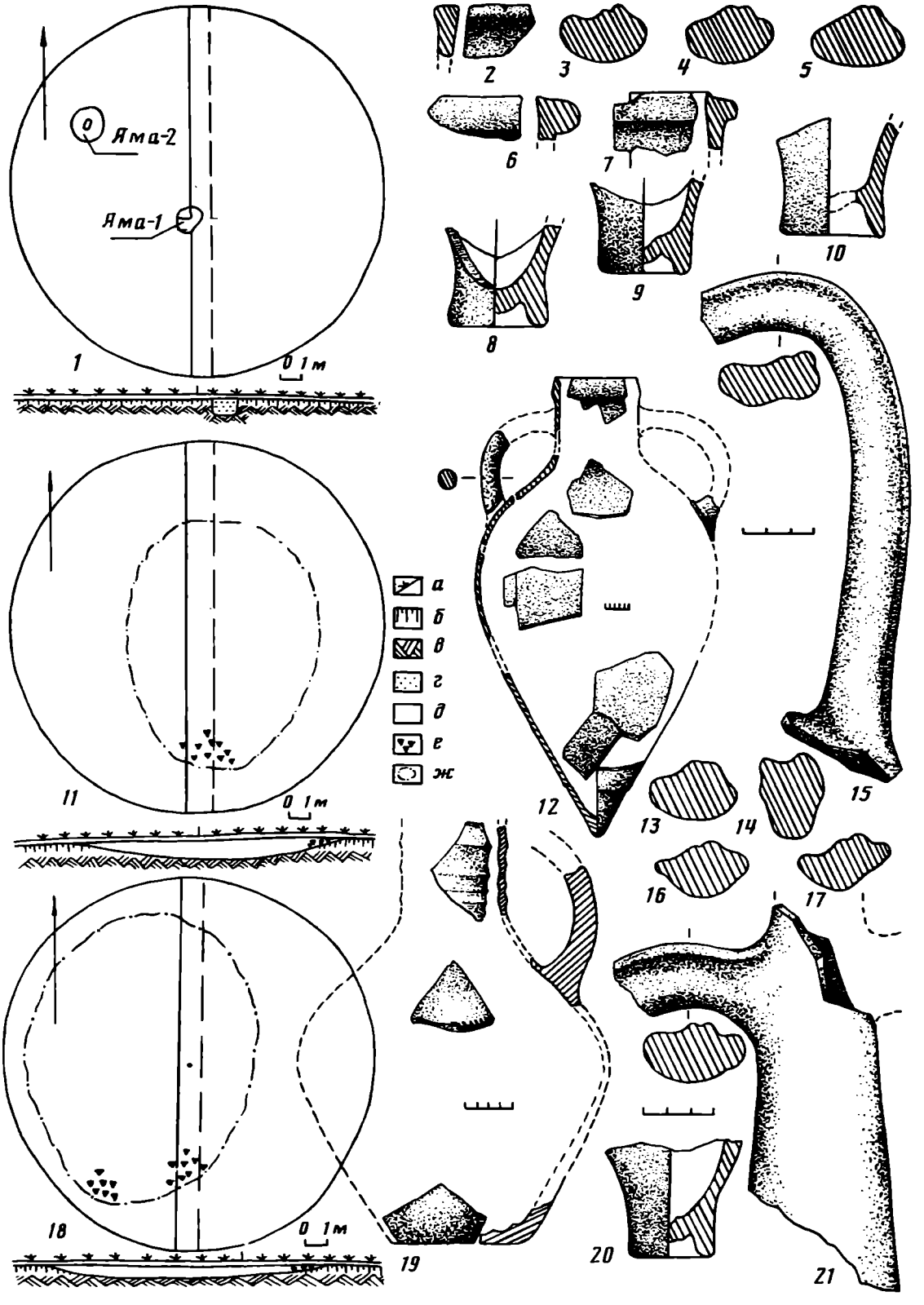


Рис. 4. Новоалександровка 1: *1* — план; *2* — фрагмент лепного сосуда; *3—5, 7* — фрагменты светлоглиняных амфор. Кург 21: *11* — план; *12* — красноглиняная амфора (реконструкция): *6, 9, 10, 15, 21* — фрагменты светлоглиняных амфор. Кург 23: *8, 13, 14, 16, 17, 20* — фрагменты светлоглиняных амфор; *19* — фрагмент серолощеного сосуда. *а* — пахотный слой; *б* — презматерик; *в* — материк; *г* — заполнение ям; *д* — заполнение котлованов; *е* — скопление керамики; *ж* — граница котлована

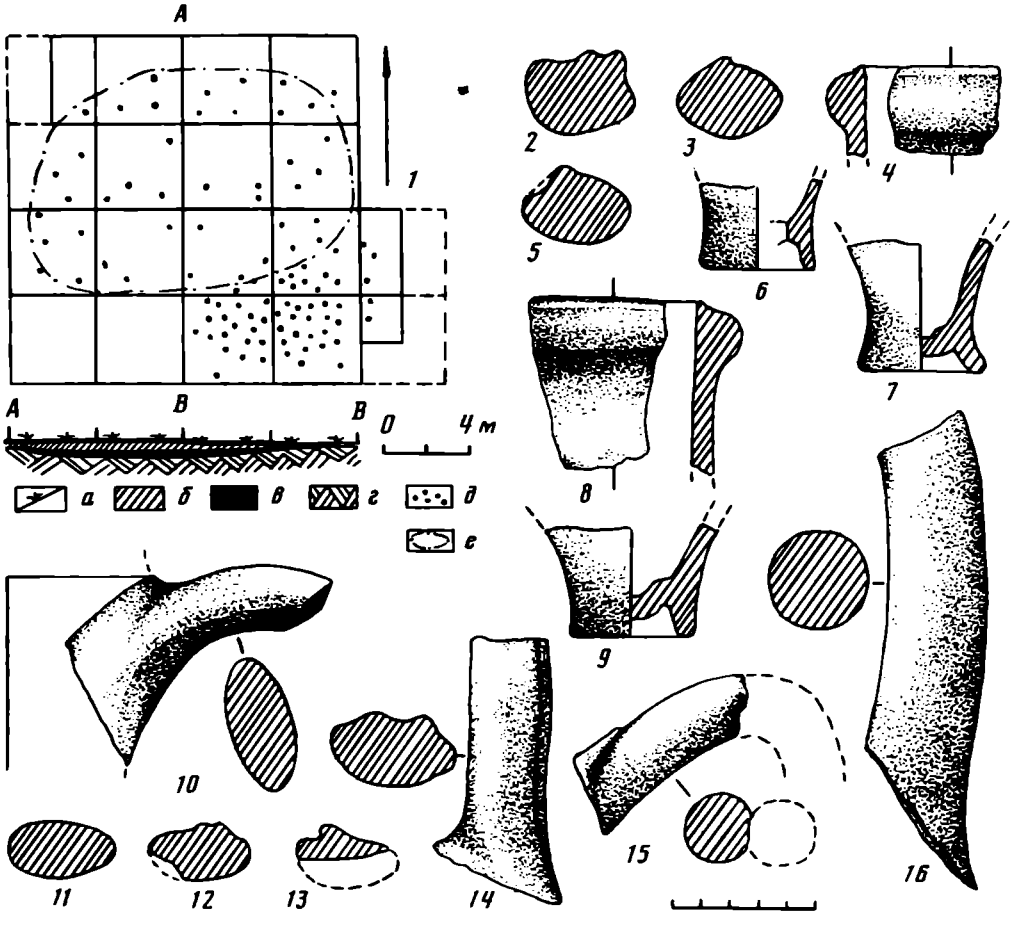


Рис. 5. Красногоровка I, кург. 2: *1* — план; *2—9* — фрагменты светлоглиняных амфор; *10—16* — фрагменты амфор из нераскопанных поминальных насыпей. *а* — пахотный слой; *б* — насыпь; *в* — слой «чистого» затека; *г* — материк; *д* — скопление керамики; *е* — граница котлована

циацию кочевого общества В дальнейшем, видимо, удастся выделить определенные типы этих памятников. Так, например, стратиграфия кургана 13 в группе Высочино VII позволяет предполагать, что над тризной был сооружен кольцевой вал подовальной формы, внутренняя часть которого долгое время стояла открытой, а в дальнейшем, видимо, была перекрыта насыпью. У остальных же поминальных памятников котлованы в виде чашеобразного углубления впущены в материк.

По находкам амфор время появления поминальных насыпей относится к IV в. до н. э.; традиция их сооружения на Доно-Кагальницком водоразделе продолжалась до III в. н. э. и, возможно, в первой половине III в. Время появления поминальных насыпей совпадает с временем появления погребений раннего железного века с индивидуальными насыпями (погребения VII—V вв. до н. э., как правило, впускались в курганы, насыпанные в эпоху бронзы). Топографически ранние поминальные памятники концентрируются в восточной части территории, а памятники I—III вв. н. э.— в западной. Отметим некоторые общие детали для поминальных тризн: остеологический материал обычно малочисленный и представлен костями лошади и овцы; часто тризны сопровождаются плитками песчаника; для памятников II — III вв. н. э. характерна концентрация находок с южной стороны котлована. Возможно, что на исследуемой территории кочевала одна этническая группа, стойко придерживающаяся в течение многих веков традиции сооружения поминальных памятников с котлованами.

В то же время не исключена возможность, что поминальные памятники несли различную смысловую нагрузку. На эту мысль нас наводит аналогичный курган 20, исследованный у с. Семеновка в Поднестровье, комплекс находок которого авторы толкуют как «следы тризны, совершенной в конце IV — начале III в. до н. э. в честь скифского бога Арея» [7, с. 108—111].

Вторая группа — насыпи без котлованов — предположительно может быть отнесена к первым векам нашей эры, судя по находке ручки амфоры типа С в кургане 3 группы Высочино VI (раскопки 1982 г.). В данной публикации нами приведены только четыре памятника этой группы. На самом деле количество таких «пустых насыпей» больше, но они не могут рассматриваться как бесспорные поминальные насыпи. Дело в том, что большинство насыпей на исследуемой территории в различное время подверглось ограблению. Грабительские воронки зачастую полностью уничтожили подкурганные сооружения. Отсутствие в грабительских воронках костей человека, а также отсутствие выкида на погребенной почве как будто бы свидетельствует о том, что это поминальная насыпь. Но эти признаки, на наш взгляд, нужно расценивать как альтернативные.

Традиция сооружения поминальных памятников в виде курганов на Нижнем Дону хорошо прослежена в курганном могильнике Танаиса, где они представлены насыпями, окруженными ровиками с остатками тризны [8]. Таким образом, намечается территориальное различие в распространении различных групп поминальных подкурганных памятников.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ахмеров Р. Б.* Амфоры древнегреческого Херсонеса // ВДИ. 1947. № 1.
2. *Зеест И. Б.* Керамическая тара Боспора // МИА. 1960. № 83.
3. *Борисова В. В.* Керамические клейма Херсонеса и классификация херсонесских амфор // НЭ. 1974. № XI.
4. *Кац В. И., Монахов С. Ю.* Амфоры эллинистического Херсонеса (с поселения Панское I в Северо-Западном Крыму) // Античный мир и археология. Вып. 3. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1977.
5. *Лукьяшко С. И.* Отчет о работе Приморского отряда Азово-Донецкой археологической экспедиции в 1976 г. // Архив АКМ. Квф 10190 / 24.
6. *Лукьяшко С. И.* Альбом к отчету о работе Приморского отряда Азово-Донецкой экспедиции за 1976 г. // Архив АКМ. Квф 10190 / 25.
7. *Субботин Л. В., Охотников С. Б.* Скифские погребения Нижнего Поднестровья // Древности Северо-Западного Причерноморья. Киев: Наук. думка, 1981.
8. *Гугуев В. К.* Новые подкурганные захоронения в Танаисе и их этническая принадлежность // Проблемы хронологии археологических памятников степной зоны Северного Кавказа. Ростов н / Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1983.

E. I. Bespaly, N. N. Golovkova, P. A. Larenok

CENOTAPHS OF THE 4th CENTURY B. C.— 3rd CENTURY A. D. IN THE DON-KAGALNIK INTERFLUVE

Summary

Since 1976 expeditions of the Azov Museum have been studying the mounds in the Don-Kagalnik interfluve (Azov District, Rostov Region). Cenotaph mounds can be divided into two groups: cenotaphs with pits under them and traces of funeral feasts and "empty mounds". They were erected between the 4th century B. C. and the 3rd century A. D. and coincided with the appearance of burial constructions in the Iron Age under individual mounds.

И. А. БАЖАН, С. Ю. КАРГАПОЛЬЦЕВ

ОБ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ УКРАШЕНИЙ-АМУЛЕТОВ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Небольшие, в основном железные или бронзовые поделки в виде ведерок (Eimerberlock) довольно часто встречаются на памятниках римского времени как в Восточной, так и в Центральной Европе. Эти украшения имеют различные пропорции: то более узкие и вытянутые, то более широкие и низкие, и чаще всего встречаются в погребениях в качестве одиночной подвески, реже в виде целого набора в составе ожерелья. Изредка они соединены попарно, а иногда несколько цилиндриков составляют целую розетку. Известны подвески и в виде небольших треугольных коробочек.

Способ изготовления украшений различный, одни сделаны из тонкой металлической пластины, другие из спирально скрученной и расплюснутой проволоки. Различаются они и по декору: иногда это тоненькая напаянная проволочка, иногда штампованная имитация обручей и (или) ряды зерни.

Мы не будем сейчас останавливаться на вопросах классификации этих украшений по форме, пропорциям, материалу и технике изготовления. Нас занимает другое — когда и каким образом появилась сама идея ведерковидных подвесок у различных групп населения Восточной Европы, в частности у носителей черняховской культуры, где они были распространены особенно широко и являлись своего рода этническим атрибутом. Форма подвесок слишком специфична, чтобы возникать спорадически и спонтанно в различных регионах. Передача самой идеи должна была осуществляться в ходе этнокультурных контактов различных групп населения, поэтому анализ динамики ее во времени и пространстве может способствовать локализации этих групп.

Что касается ведерковидных подвесок черняховской культуры, то по поводу их происхождения существуют две прямо противоположные точки зрения. В своей работе, вышедшей в 1912 г., Э. Блюме сформулировал первую, высказав мысль, что находки этих украшений в Причерноморье свидетельствуют о проникновении туда германских (готских) племен [1, с. 97, 98]. О готском происхождении подвесок в черняховской культуре говорил и Ю. В. Кухаренко [2, с. 82] С европейскими влияниями связывал появление этих вещей на памятниках Днестровско-Прутского междуречья Э. А. Рикман [3, с. 30]. В. В. Кропоткин прямо связывает появление подвесок в ареале черняховской культуры с походами готов [4, с. 156, 157].

Другого мнения придерживался Э. А. Сымонович, отрицавший какую бы то ни было связь между находками на черняховских памятниках и «далекими западными аналогиями». Указывая на то, что подвески такого типа встречаются на нижнеднепровских позднескифских городищах и у сарматов, он пишет: «...и если искать истоки происхождения ведерковидных подвесок в черняховской культуре, то больше всего оснований предполагать их заимствование от местного населения, жившего здесь в прошлом, а не в далеких северо-западных областях» [15, с. 72]

Чтобы разобраться в том, кто из вышеназванных исследователей подошел ближе к истине, необходимо уяснить, во-первых, когда впервые идея подвесок-ведерок появилась в Северном Причерноморье, какими культурными группами

была воспринята и как долго существовала в их среде. Во-вторых, необходимо установить время появления этой идеи в Центральной Европе, откуда она могла быть заимствована носителями черняховской культуры.

Самые ранние находки происходят из Северного Причерноморья, так погребение 180 из Танаиса (рис. 1, *1*) содержит пару золотых ведерочек совместно с дутыми золотыми сережками, украшенными ложной зернью и псевдофилигранью [6, с. 21, табл. XXXI, *1, 2*; 7, с. 146]. Подобные сережки широко распространены во II—I вв. до н. э. по всему эллинистическому миру [8, с. 19, табл. VIII, *5*; 9, табл. 47, 48; 10, с. 56, 57, рис. 15, *1—3*]. Концом II в. до н. э. датируется и пара ведерочек из Окницы в Румынии [11, с. 32—38]. Железное ведерочко, обнаруженное в могильнике типа Поянешти-Лукашевка у с. Долиняны [12, с. 195, рис. 3, 5], хорошо датируется по совместной находке с фибулой среднелатенской схемы (тип Е, по Ю. Костшевскому) периода Laten D_1 [13, с. 19, рис. 5]. Экземпляр из погребения 93 могильника Заветное датируется I в. до н. э. [14, рис. 4, *16*] Таким образом, находки рассматриваемых украшений позднепредримского времени весьма немногочисленны и не дают целостной картины.

В I в. н. э. количество комплексов с подвесками-ведерками резко возросло. Это и золотая подвеска из Танаиса, найденная совместно с краснолаковой чашей [7, табл. XXXV, *5*], и бронзовая из Беляуского некрополя в комплексе с гладкопроволочными витыми сережками [15, с. 95, рис. 4, *1*]. Пять экземпляров одиночных и спаренных бронзовых подвесок (рис. 1, *4, 5*), обнаруженных совместно с фибулами 12-й и 15-й групп, по А. К. Амброзу [16, с. 43, 44], происходят из некрополя Золотое [10, табл. XI, *2, 18,* XVII, *15*, XXII, *15*]. К этому же времени относятся и находки из Ольвии [17, с. 255, рис. 78], Кыз-Аула [18, с. 191], Херсонеса [19, с. 112, 113, рис. 284], причем в последнем из одного комплекса с монетами I в. н. э. [20, табл. XXXVII, *37*], а также из погребений 134 и 144 могильника Бельбек IV [21, рис. 8, *25, 26, 34, 35*].

Истоки рассматриваемых украшений следует искать, вероятно, в античном мире — в подвесках-трубочках, предназначавшихся для хранения ароматических веществ, каких-либо амулетов или «абракадабры» — папируса с заклинаниями, при этом не исключена и генетическая связь между трубочками и ведерками [8, с. 59, 60].

В первой половине I в. н. э., в ходе постоянных контактов с античными центрами, сарматы восприняли ведерочки, как, впрочем, и трубочки-амулетницы. Назовем находки из впускного погребения Курджипского кургана [22, с. 49, рис. 1, *1—4*], Липовца Киевской обл. [23, с. 48; 24, с. 262], Усть-Каменского могильника [25, с. 29, рис. 12], список можно продолжить.

Примерно в это же время ведерки попали и к поздним скифам, целый ряд их обнаружен в комплексах второй половины I—II вв. некрополя Неаполя Скифского (рис. 1, *3, 10*) [26, табл. XLV, *6—13*]. Выразительная коллекция происходит из Золотобалковского могильника, где три комплекса надежно датированы I в. н. э. (рис. 1, *6, 7*) [27, с. 19—56, рис. 12, *8*, 21, *10*, 71, *1, 5, 11*]. С сарматами этот тип украшений распространяется в Северо-Западном Причерноморье [28, с. 73—77, рис. 11, 12] и в Молдавии [29, с. 66, 67].

В литературе утвердилось мнение о проникновении ведерковидных подвесок в Центральную Европу из Северного Причерноморья под влиянием скифо-сарматского населения [27, с. 153—155; 30, с. 140]. Если так, то произойти это могло не раньше ступени B_1.

В конце I — начале II в. в результате активного взаимодействия культуры поянешти-выртешкой с сарматским миром, ведерковидные подвески распространяются и на территории Румынии. Здесь, у карпов, а именно им приписываются памятники культуры поянешти-выртешкой, вырабатывается своеобразный декоративный стиль — орнаментация роскошной зернью некоторых экземпляров украшений. Довольно часто встречаются на памятниках этой культуры

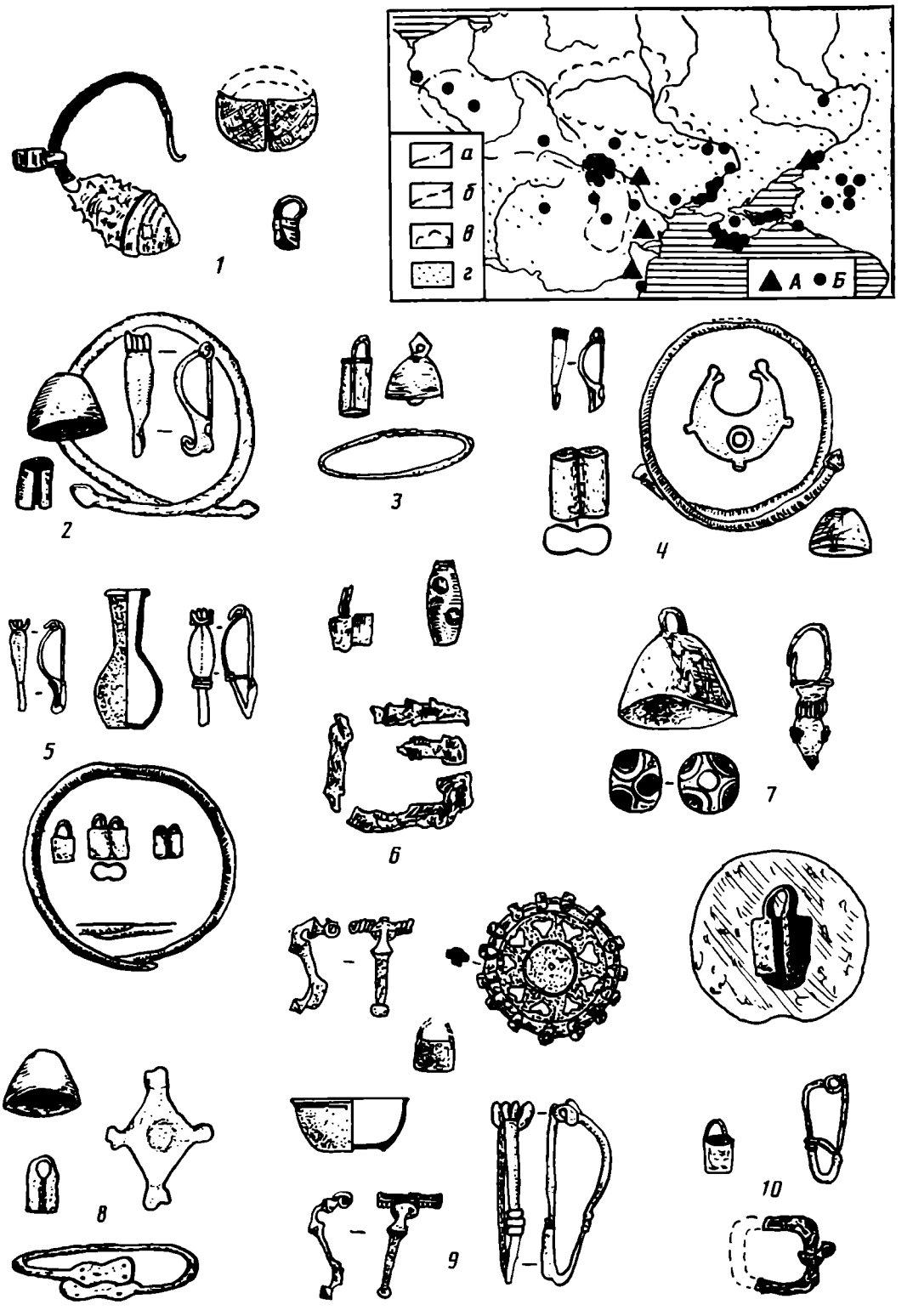


Рис. 1. Распространение комплексов с ведерковидными подвесками во II—I вв. до н. э. — I в. н. э. *А* — находки II—I вв. до н. э.; *Б* — находки I в. н. э.; *а* — пшеворская культура; *б* — поянешти-выртешской; *в* — зарубинецкая; *г* — сарматские древности. *1* — Танаис, погр. 180; *2* — Ново-Отрадное, мог. 9; *3* — Неаполь Скифский, погр. 9; *4* — Золотое, мог. 38; *5* — Золотое, мог 168; *6* — Золотая Балка, мог. 26; *7* — Золотая Балка, мог 51; *8* — Семеновка; *9* — Молога II, склеп 2; *10* — Неаполь Скифский, погр. 98

и золотые корзинковидные подвески [31, с. 104—112, табл. CLXIV, *7—10*, CLXXVIII, CLXXIX].

На территории пшеворской культуры единичные находки ведерковидных подвесок относятся еще к ступени B_1. Достаточно назвать погребение 4 в Собоциско [32, с. 225] и погребение 486 в Задовице, где такая подвеска обнаружена совместно с застежкой А-68 (рил. 2, *6*) [33, с. 115, 116 рис. 7]. Фибулы этой серии появляются на основе позднелатенских прототипов на территории римских провинций Норик и Паннония и дааируются сороковыми — семидесятыми годами I в. н. э. (B_1 b) [34, с. 128, 131].

Несколько больше их в период B_2 [35, табл. I, *30—32*, XXII; 36, с. 66, рис. 6]. Однако наиболее массовое распространение в европейских древностях они получают в период C_1—C_2, изредка доживая до ступени D (рис. 3), причем для последней, как считает К. Годловский, характерны отдельные удлиненные подвески на проволочном кольце [35, с. 40, табл. IX, *17*, XII, *14*]. В целом для Центральной Европы этого времени известно до двухсот комплексов с ведерковидными подвесками в древностях пшеворской, любошицкой, вельбарской и др. культур (см., например, [30, с. 139—141, табл. 17, 21; 35, табл. II, *9*, IV, *10*, V, *14*, VII, *22*, XX, *21*, XXII; 37 табл. XVI, *12*, XXIII, *74*, XXXVII, *13*, XXXVIII, *19*; 38, с. 84; 39]).

В Причерноморье же нам неизвестны находки подвесок-ведерок для конца II — первой половины III в., т. е. того времени, когда мода на них охватывает весь центральноевропейский Barbaricum, к этому времени здесь они просто вышли из употребления (рис. 2). На стадиях C_{1a} и C_{1b} наблюдаются две волны проникновения носителей вельбарской культуры на юго-восток, в Причерноморье, что сыграло свою роль в формировании здесь черняховской культуры. Это движение соответствует известиям письменных источников о переселении готов [40, с. 135—144]. С готами связывали и появление в черняховской культуре ведерковидных подвесок [4, с. 156, 157, 162, 163]. Хотя на собственно вельбарских памятниках Белоруссии и Украины такие украшения пока не зафиксированы, на ранней фазе черняховской культуры (фазе Ружичанка — Раковец — Привольное), начало которой относится к стадии C_{1b}, они уже известны [40, с. 151—153, рис. 6]. Не исключена возможность заимствования этих амулетов и у союзных тогда готам карпов, известных нам как носители культуры поянешти-выртешкой, прекратившей свое существование где-то в самом начале IV в. При этом комплексы в Зернешты [41, с. 47], Ханска-Лутэрия [42, с. 119, рис. 51, *18*], Будешты [3, с. 92, рис. 6, 11; 13; 14] и др. похоже указывают, что подвески эти в черняховское время появились сначала в Молдавии. Так, на могильнике Данчены они характеризуют второй этап, который с большой долей вероятности синхронизируется с горизонтом Лейна-Хасслебен. Как предполагают М. Б. Шукин и Т. А. Щербакова, возможен еще один культурный импульс стадии C_2 со стороны носителей этих древностей при формировании облика черняховской культуры [43, с. 208—212, рис. 6, 7, 10].

На могильнике Каборга IV Николаевской обл. ведерковидные подвески зафиксированы в погребениях 5 и 8 (рис. 3, *2*) с вещами «северо-западного круга», в том числе с железной треугольной корзинковидной подвеской [44, табл. VII, VIII, IX]. Такие амулеты практически неизвестны для Восточной Европы, в Польше же они встречаются в комплексах позднеримского времени [35 табл. III, *26*; 37, с. 102, 103, табл. XVIII, *7*]. По-видимому, с готами ведерки попадают в Крым [4, с. 156, 157] и даже на Кавказ, в далекую Цебельду [45, с. 191, 192, рис. 7, 9].

Особенно хорошо иллюстрирует движение ведерковидных подвесок на юго-восток картографирование железных и корзинковидных подвесок, находки которых широко представлены на западе и единичны на нашей территории [35, табл. III, *25*, V, *27*, IX, *18*, XV, *17*, XXII; 37 табл. XVIII, *3, 6*; 46, с. 260, 261]. Таким образом, чрезвычайно широко распространенные на черняховских памят-

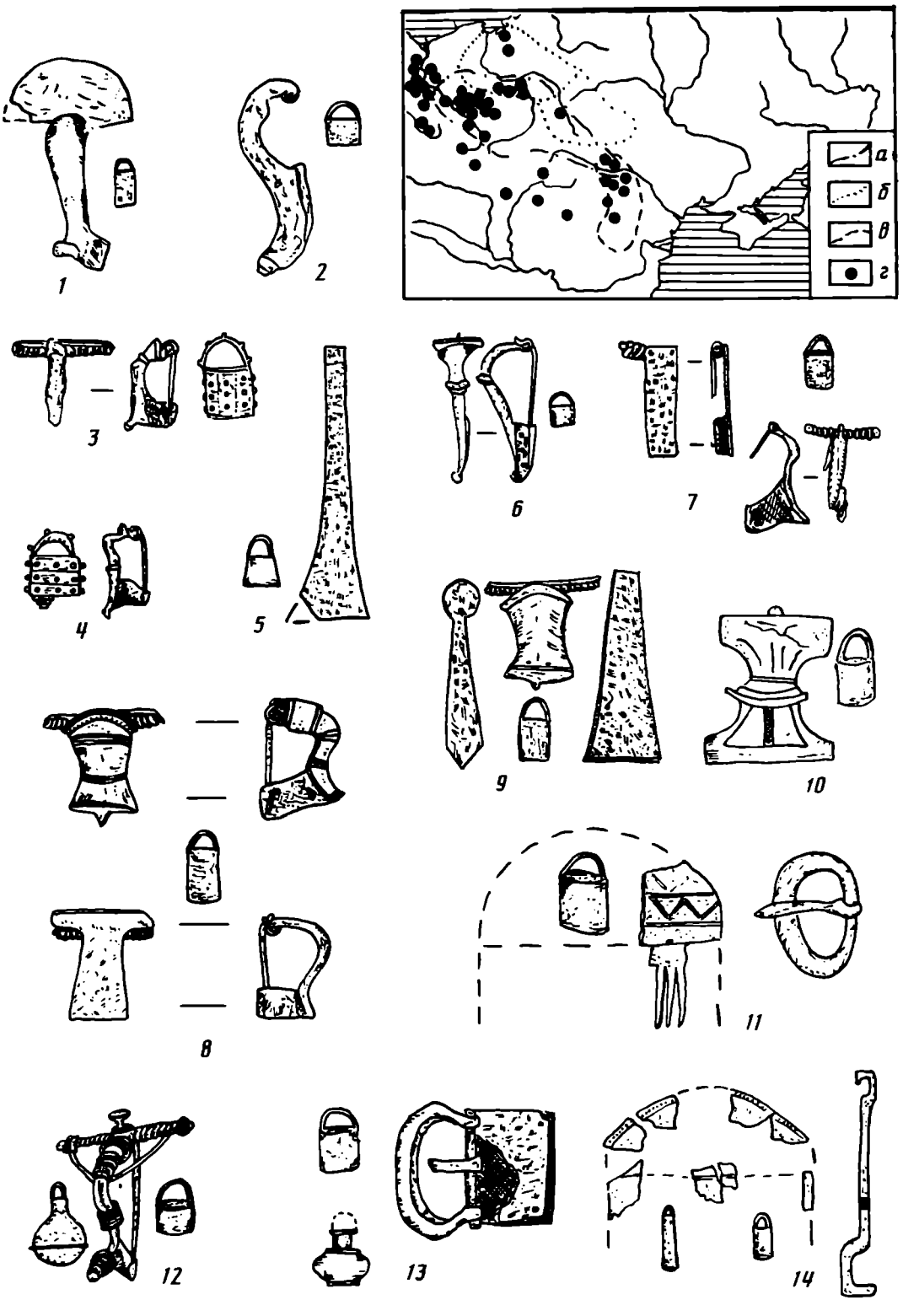


Рис. 2. Распространение комплексов с ведерковидными подвесками в период B_1/B_2 — C_1 (50—250 гг.). *а* — пшеворская культура; *б* — вельбарская; *в* — поянешти-выртешкой; *г* — места находок. *1* — Кишкорош, погр. 6; *2* — Притц, погр. 36; *3* — Локутени, мог. 162; *4* — Локутени, мог 177; *5* — Тарнов, погр. 105; *6* — Задовице, погр. 486; *7* — Притц, погр. 28; *8* — Аарнов, погр. 58; *9* — Криспинов, погр. 10; *10* — Чагов; *11* — Гзимица; *12* — Приморск; *13* — Притц, погр. 162; *14* — Притц, погр. 123

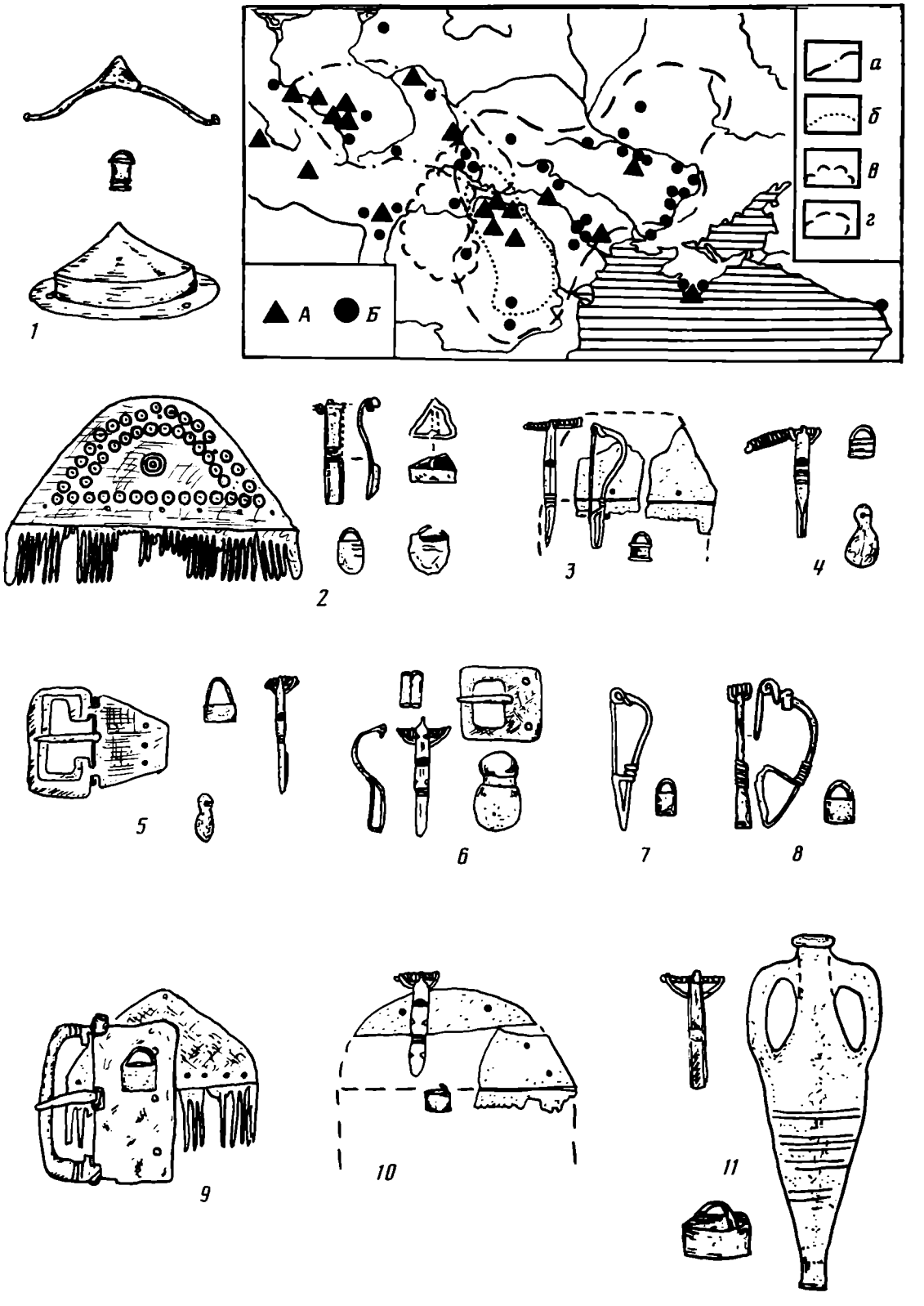


Рис. 3. Распространение комплексов с ведерковидными подвесками в период C_2—C_3/D (250—375 гг.). *А* — находки ступени C_2; *Б* — находки ступеней C_3/D; *а* — пшеворская культура; *б* — поянешти-выртешкой; *в* — карпатских курганов; *г* — черняховская. *1* — Братово; *2* — Каборга IV, погр. 8; *3* — Ромашки, погр. 41; *4* — Бережанка, погр. 4; *5* — Ружичанка, погр. 57; *6* — Косаново, погр. 22; *7* — Бережанка, погр. 5; *8* — Цебельда, Грушевый Холм-1, погр. 46; *9* — Ружичанка, погр. 44; *10*—Ромашки, погр. 42; *11* — Городок Николаевка, могила М

никах ступеней C_2—C_3, к середине IV в. они, как и в Центральной Европе, практически выходят из употребления.

Вышеизложенное позволяет заключить, что по поводу происхождения ведерковидных подвесок в Причерноморье правы и сторонники их скифо-сарматской принадлежности, и те, кто считает их принесенными с северо-запада. Краеугольным здесь является вопрос хронологический.

Появившись где-то в северопричерноморских античных центрах в позднепредримское время, к рубежу нашей эры они достигли здесь широкого распространения и были заимствованы сарматами, вместе с которыми и попали далеко на запад, где в свою очередь были усвоены носителями культур поянешти-выртешкой и пшеворской (рис. 1). При этом последние, видимо, послужили передаточным звеном от сарматского к германскому кругу древностей (рис. 2). И вот уже обратно с северо-запада, с одной из волн переселения в C_2—C_3 они попадают сначала на территорию Молдавии и Румынии, где еще существовала культура поянешти-выртешкой, а затем и в ареал черняховских древностей (рис. 3). Здесь, на юго-востоке, как, впрочем, и во всей Европе, ведерковидные подвески доживают до начала ступени D — эпохи великого переселения народов, когда наряду с другими категориями вещей позднеримского времени исчезают уже навсегда.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Blume E.* Die Germanischen Stamme und die Kulturen zwischen Oder und Passarge zur Römischen Kaiserzeit. B. I. // Mannus-Bibliothek. № 8. Lpz, 1912.
2. Экономический строй и быт восточных славян в первой половине I тыс. н. э. // Очерки по истории СССР III—IX вв. М.: Изд-во АН СССР, 1958.
3. *Рикман Э. А.* Памятник эпохи великого переселения народов. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1967.
4. *Кропоткин В. В.* Черняховская культура и Северное Причерноморье // Проблемы советской археологии. М.: Наука, 1978.
5. *Сымонович Э. А.* Культура поздних скифов и черняховские памятники в Нижнем Поднепровье // МИА. 1971. № 177.
6. *Арсеньева Т. М.* Некрополь Танаиса. М.: Наука, 1977.
7. *Шелов Д. Б.* Танаис и Нижний Дон в III—I вв. до н. э. М.: Наука, 1970.
8. *Пятышева Н. В.* Ювелирные изделия Херсонеса // Тр. ГИМ. 1956. Вып. XVIII.
9. *Higgins R. A.* Greek and Roman Jewellery. L., 1961.
10. *Корпусова В. Н.* Некрополь Золотое. Киев: Наук. думка, 1983.
11. *Berciu D.* Morminte de înhumaţie la Ocniţa-Buridava // Thraco—Dacia. 1983. T. IV, № 1—2.
12. *Смирнова Г. И.* Могильник типа Поянешти-Лукашевка у с. Долиняны на Буковине // СА. 1981. № 3.
13. *Kostrzewski J.* Die Ostgermanische Kultur der Spätlateneziet. B. 2. Leipzig; Würzburg, 1919.
14. *Богданова Н. Д.* Могильник I ст. до н. е. —III ст. н. е. біля с. Завітне // Археологія, 1963. Т. XV
15. *Дашевская О. Д.* Земляной склеп на Беляусе // КСИА. 1980. Вып. 162.
16. *Амброз А. К.* Фибулы юга европейской части СССР // САИ. 1966. Вып. Д1-30.
17. *Pharmakowsky B.* Archäologische Funde im Jahre 1913 // Apchäologischer Anzeiger. 1914. B. XXIX.
18. *Гайдукевич В. Ф.* Некрополи некоторых боспорских городов // МИА. 1959. № 69.
19. ОАК за 1895. СПб, 1897.
20. *Зограф А. Н.* Античные монеты // МИА. 1951. № 16.
21. *Гущина И. И.* О локальных особенностях культуры населения Бельбекской долины Крыма в первые века н. э. // Тр. ГИМ. 1982. Вып. 54. Ч. 2.
22. *Галанина Л. К.* Впускное погребение Курджипского кургана // СА. 1973. № 2.
23. *Щукин М. Б.* Сарматские памятники Среднего Поднепровья и их соотношение с зарубинецкой культурой // АСГЭ. 1972. № 14.
24. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении // ЗРАО. 1899. Т. XI. Вып. 1—2.
25. *Махно С. В.* Розкопки пам'яток епохи бронзи та сарматського часу в с. Усть-Кам'янка // АП. 1960. Т. IX.
26. *Сымонович Э. А.* Население столицы позднескифского царства. Киев: Наук. думка, 1983.
27. *Вязьмитина М. И.* Золотобалковский могильник. Киев: Наук. думка, 1972.
28. *Гудкова А. В., Фокеев М. М.* Поселение и могильник римского времени Молога II // Памятники римского и средневекового времени в Северо-Западном Причерноморье. Киев: Наук. думка, 1982.

29. *Мелюкова А. И.* Памятники скифского времени на Среднем Днестре // КСИИМК. 1953. Вып. 51.
30. *Raddatz K.* Der Thorsberger Moorfund. Gürtelteile und Körperschmuck // Offa-Bücher. B. 13. Neumünster, 1957.
31. *Bichir Gh.* Archaeology and History of the Carpi from the Second to the Fourth Century A. D. // BAR. Suppl. Ser. 1976. 16 (ii).
32. *Kostrzewski J.* Wielkopolska w pradziejach. Warszawa; Wrocław, 1955.
33. *Kaszewska E.* Problem der Keltischen besiedlung in Mittel-und Nordpolen // Ausklang der Laténe-Zivilisation und anfänge der germanischen besiedlung im Mittleren Donaugebiet. Symposium. Bratislava, 1977.
34. *Kossack G.* Frühe Römische Fibeln aus Alpenvorland und ihre chronologische Bedeutung für die germanischen Kulturverhältnisse // Aus Bayerns Frühzeit. München, 1962.
35. *Godłowski K.* The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe // Prace Archeologiczne. T. II. Kraków, 1970.
36. *Godłowski K.* Das Gräberfeld in Kryspinow bei Kraków und Seine bedeutung für den übergang zwischen der Latene — und der Romischen Kaiserzeit in Kleinpolen // Ausklang der Laténe-Zivilisation und anfänge der germanischen besiedlung im Mittleren Donaugebiet. Symposium. Bratislava, 1977.
37. Prahistoria ziem Polskich. T. V Wroclaw etc, 1981.
38. *Schach-Dörges H.* Die Bodenfunde des 3 dis 6 Jahrhunderts nach Chr. zwischen untereh Elbe und Oder // Offa-Bücher B. 23. Neumünster, 1970.
39. *Domanski G.* Kultura Luboszycka między Taba a Odra w II—IV wieku. Wrocław etc, 1979.
40. *Szczukin M. B.* Zabytki wielbarskie a kultura czerniachowska // Problemy kultury wielbarskiej. Słupsk, 1981.
41. *Кетрару Н. А.* Археологические исследования в Кагульском районе в 1958 г. // Далекое прошлое Молдавии. Кишинев, 1969.
42. *Никулице И. Т., Рикман Э. А.* Могильник Ханска-Лутэрия II первых столетий н. э. // КСИА. 1973. Вып. 133.
43. *Шукин М. Б., Щербакова Т А.* К хронологии могильника Данчены // Рафалович И. А. Данчены. Могильник черняховской культуры III—IV вв. н. э. Кишинев: Штиинца, 1986.
44. *Магомедов Б. В.* Каборга IV (раскопки 1973—1974 гг.) // Могильники черняховской культуры. М.: Наука, 1979.
45. *Воронов Ю. Н., Юшин В. А.* Ранний горизонт (II—IV вв. н. э.) в могильниках цебельдинской культуры (Абхазия) // СА. 1979. № 1.
46. *Маркевич В. И., Рикман Э. А.* Клад III—IV вв. н. э. из Буковины // СА. 1973. № 4.

I. A. Bazhan, S. Y Kargapoltsev

ON ONE OF THE CATEGORIES OF AMULETS OF THE ROMAN TIME IN EASTERN EUROPE

Summary

The earliest finds of pail-shaped amulets in the North Pontic antique centres (Fig. 1) belong to the Late Roman time. Being out of use in the North Pontic zone by the 2nd century A. D. they became quite popular in the Poyanesti-Vyrteskoi, Przeworsk, Welbar and other cultures (Fig. 1, 2) where the Sarmatians had introduced them. The next stage of their use in the region coincided with the C_2—C_3 stages when they infiltrated the Chernyakhovo area with one of the migration waves moving from the North-West (Fig. 3). Just like in Central Europe, in the South-East pail-shaped amulets survived till the early stage D.

С. И. БЕЗУГЛОВ, В. П. КОПЫЛОВ

КАТАКОМБНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ III—IV ВВ. НА НИЖНЕМ ДОНУ

При работах Донского отряда археологической экспедиции Ростовского университета в 1975—1982 гг. в зоне строительства Донской оросительной системы (Цимлянский р-н Ростовской обл.) было исследовано несколько курганов III—IV вв. н. э. [1, с. 123; 2, с. 105]. Слабая изученность культуры донских кочевников этой эпохи делает актуальной публикацию этих материалов.

Район междуречья Дона и Сала обильно насыщен курганными памятниками, образующими длинные цепи из больших и малых компактных групп. Большое количество курганов концентрируется на водоразделе Дона и Сала; многие группы располагаются на склонах террас обеих рек.

Все рассматриваемые ниже погребения являются основными в курганах, входящих в состав разновременных групп.

Курганы III—IV вв. были обнаружены в составе четырех групп (IV и VI у пос. Центральный, Романовский II, Потайной II). В трех случаях в этих группах исследовано по одному кургану с катакомбными могилами. Лишь в могильнике Потайной II помимо катакомбы в кургане 13 обнаружены три синхронных подбойных могилы с невыразительным инвентарем.

Во всех случаях входные ямы катакомб ориентированы по меридиональной оси, иногда с отклонениями. Камеры сооружались в северных стенках входных ям. В трех случаях из четырех во входных ямах были ступеньки, иногда они вырезались на наклонном дне (Романовский II, кург. 4, рис. 1, *IVA*). Камеры катакомб прямоугольные или близкие к прямоугольнику, лишь одна имела неправильно-овальную форму (рис. 1, *III*, *IIIA*). Одна из катакомб имела единую длинную ось входной ямы и камеры (группа IV у пос. Центральный, кург. 14), в остальных случаях эти оси перпендикулярны или близки к перпендикуляру. В первом случае погребенный был ориентирован в меридиональном направлении, во втором — очевидно, в широтном. Все катакомбы ограблены в древности. Из общих для всей группы обрядовых черт следует отметить присутствие костей мелкого рогатого скота; во всех определенных случаях это были кости задней ноги.

Группа IV у пос. Центральный, кург. 14. Диаметр 28, высота 0,78. В северо-восточном секторе, на уровне древнего горизонта, на расстоянии 9,51 м от центра кургана найден железный двулезвийный меч, лежавший острием к юго-востоку (рис. 2, *1*). В верхней трети клинка найдены две золотые пряжки для крепления меча к портупее. Щиток большей пряжки овальной формы, исполнен в технике перегородчатой инкрустации. В качестве инкрустаций использован альмандин, маленькие круглые вставки изготовлены из белой стекловидной пасты. Рамка пряжки овальная, очень массивная, утолщена в передней части. Язычок массивный, слегка прогнут, у основания имеет срез-ступеньку и квадратную альмандиновую вставку (рис. 2, *2*). Вторая пряжка — с круглой, шестигранной в сечении рамкой; язычок прогнут в середине, у его основания — срез-ступенька (рис. 2, *3*).

Длина входной ямы катакомбы 2,6 м, ширина от 0,8 до 1,04 м. Во входной яме прослежены четыре ступеньки, с камерой она соединялась лазом длиной 0,42 м. Размеры камеры 3,01 × 2,76 м; вдоль западной ее стенки сооружена материковая лежанка шириной 0,98 и высотой 0,1 м (рис. 1, *1*, *1A*). Глубина камеры 3,56 м от

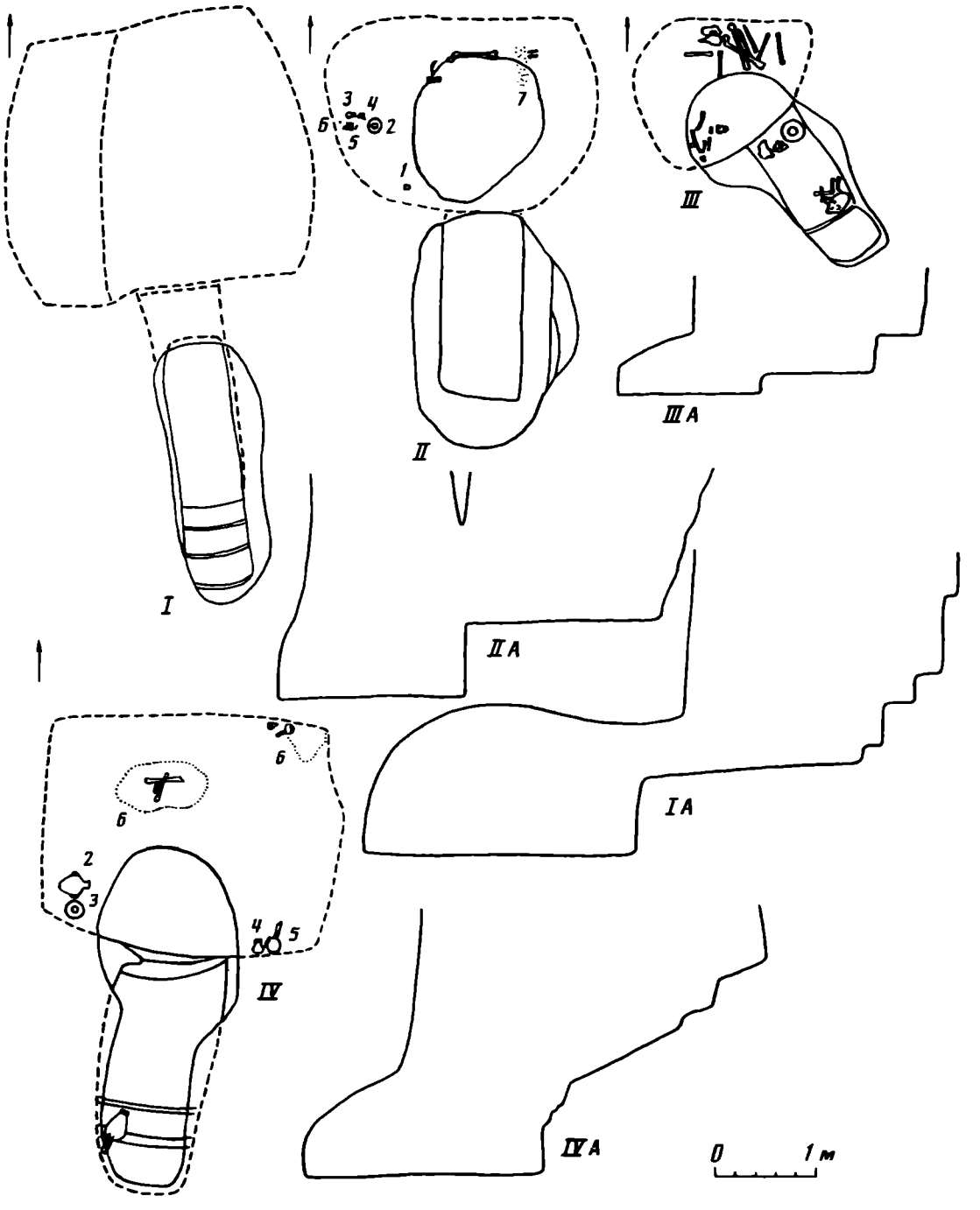


Рис. 1. *I*, *IA* — план и разрез катакомбы в кург. 14 (группа IV у пос. Центральный); *II*, *IIA* — катакомба из кург. 9 (группа VI у пос. Центральный); *1* — курильница; *2* — кувшин; *3* — флакон; *4* — фибулы и пряжки; *5* — зеркало, копоушка и ногтечистка; *6* — обломки ножа, *7* — бусы; *III*, *IIIA* — катакомба из кургана 13 (Потайной II). *1* — миска; *2* — лепной сосуд; *3* — жаровня. *IV*, *IVA* — катакомба из кург. 4 (Романовский II). *1* — амфора, *2* — кувшин; *3* — миска; *4* — лепной сосуд, *5* — гончарный сосуд; *6* — пятна красной краски

уровня погребенной почвы. Свод ее имел высоту до 1,6 м. В заполнении могилы обнаружены: фрагментированный лепной сосудик, украшенный по плечикам прочерченным орнаментом. Тесто сосуда грубое, с примесью шамота (реконструкция — рис. 3, *2*); гончарный серолощеный сосуд с налепными подковообразными ушками (одно не сохранилось). В ушке проделано вертикальное отверстие.

Рис. 2. Курган 14 (*1* — меч; *2, 3* — пряжки), курган 9 (*4—7* — фибулы; *8—9* — пряжки; *10* — игольник; *11—12* — копоушка и ногтечистка; *13* — флакон; *14* — зеркало; *15* — кремень; *18* — нож; *20—35* — бусы); кург 4 (*16* — шило; *17* — фрагмент ножа; *19* — пряжка) *1, 16—19* — железо; *2—3* — золото; *4—13* — серебро; *14* — бронза; *20—35* — кость, сердолик, паста, стекло

Тесто серое, грубоватое, с примесью крупного песка, мелкой слюды, известковых включений, черной дресвы (рис. 3, *1*).

Группа VI у пос. Центральный, кург. 9. Диаметр 23, высота 0,4 м. Входная яма катакомбы (1,99×0,79 м) перпендикулярно сопряжена с камерой (2,75×1,90 м, рис. 1, *II, IIA*). Глубина камеры 2,78 м от уровня погребенной почвы. В заполнении найдена гончарная серолощеная миска с загнутым внутрь бортиком,

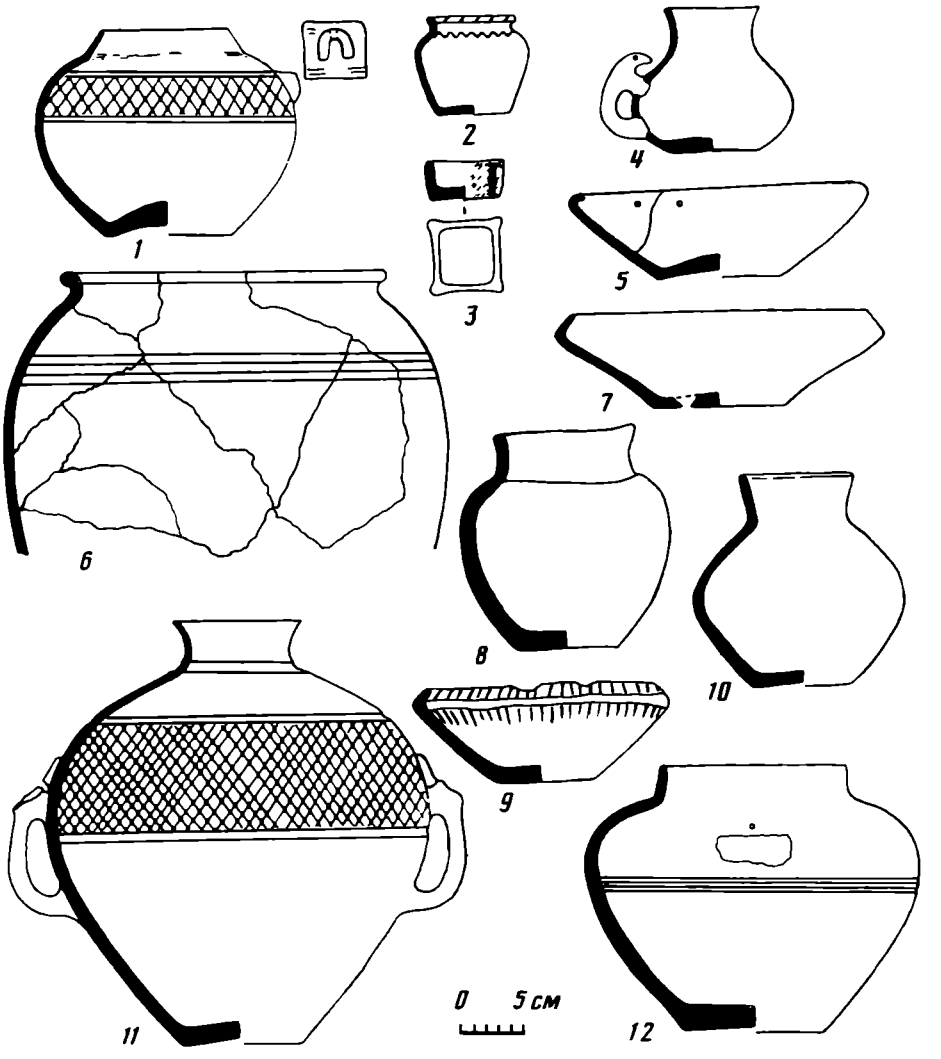


Рис. 3. Керамика из погребений. *1—2* — кург 14; *3—5* — кург. 9; *6—8* — кург 13; *19—12* — кург. 4

в тесте — примесь песка, слюды, известковых частиц, черной дресвы (рис. 3, *5*). По дну камеры прослежена органическая подстилка, посыпанная мелом. Судя по непотревоженным костям, погребенный лежал вытянуто на спине, головой на запад. В юго-западной части камеры обнаружены: низкая квадратная лепная курильница с выделенными углами, с примесью крупной дресвы в тесте (рис. 3, *3*); серолощеный (примесь песок, слюда, черная дресва) гончарный кувшинчик с зооморфной ручкой (рис. 3, *4*); рядом с кувшинчиком, в кучке — четыре фибулы: пара серебряных двучленных лучковых подвязных с фацетированными ножками (рис. 2, *5—6*), еще одна такая же, но крупнее и с пластинчатой спинкой (рис. 2, *4*), четвертая — серебряная, маленькая, сильно профилированная, без крючка для тетивы (рис. 2, *7*); рядом с фибулами — пара серебряных пряжек, одна без язычка (рис. 2, *8, 9*); здесь же — бронзовое зеркало с центральной петлей (из элементов рельефного орнамента сейчас различим лишь квадрат) (рис. 2, *14*); на зеркале найдены серебряные ногтечистка и копоушка из витой проволоки (рис. 2, *11, 12*). Под зеркалом лежал серебряный игольник из свернутой в трубочку тонкой пластинки, скрепленной двумя желобчатыми обоймами (рис. 2, *10*). В нем найдена сильно коррозированная железная игла. Рядом с зеркалом найден серебряный сферический флакончик с крышкой, спаянный из двух половинок; место спайки и горлышко обведены желобчатой ленточкой. На боках флакончика видны следы петель для

подвешивания (рис. 2, *13*). Здесь же найден фрагментированный железный нож (рис. 2, *18*), кремень со следами сработанности (рис. 2, *15*) и кусочки мела. Возле северной стенки прослежена полоса мелких бус; найдена подвеска из кости (рис 2, *20*). Бусы преимущественно кубические и цилиндрические, встречены двойные и тройные. Материал их различен — стекло (224 экз., рис. 2, *25—28, 31—32*), кость (51 экз., рис. 2, *20, 22*), паста (84 экз., рис. 2, *23, 24, 29, 30, 33—35*), сердолик (рис. 2, 21).

Группа Романовский II, кург. 4. Диаметр 40, высота 1,54 м. При снятии насыпи на уровне древнего горизонта к западу от могилы найдены челюсть быка и кости лошади[1] Во входной яме катакомбы (22×0,85 м) сооружены три ступеньки. На второй ступеньке у западной стенки найдена крупная узкогорлая светлоглиняная амфора с надписью красной краской. Высота амфоры 66,8 см (рис. 4). Камера размерами 2,95×2,45 м перпендикулярно сопряжена со входной ямой, глубина камеры 2,76 м от уровня погребенной почвы (рис. 1, *IV, IVA*). По дну камеры прослежен зеленоватый тлен, поверх него — тонкая органическая прослойка, посыпанная мелом. В центральной и северо восточной частях камеры обнаружены два пятна красной краски.

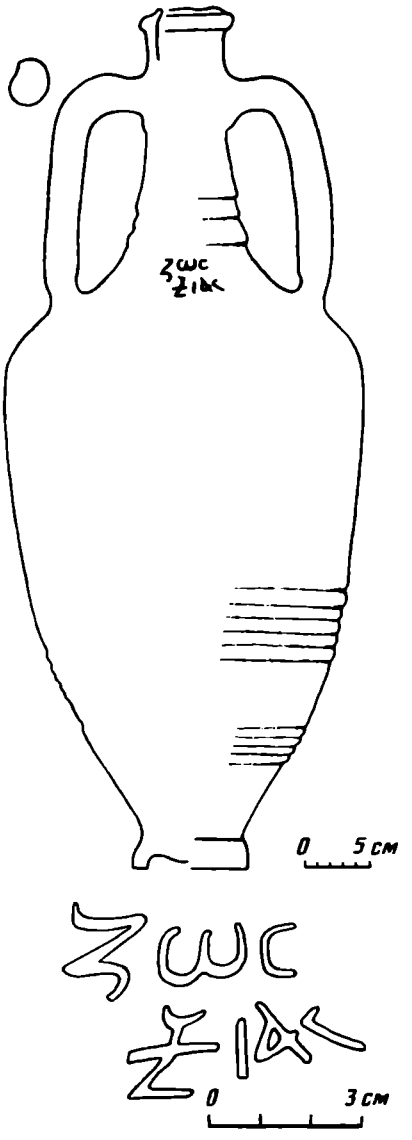


Рис. 4. Светлоглиняная амфора из кургана 4

В юго-восточной части камеры найдены два сосуда. Один из них — крупный гончарный чернолощенный, имел налепные ушки, но они утрачены еще в древности. В местах их прикрепления к сосуду проделаны отверстия. Тесто сосуда черное, с примесью крупного песка (рис. 3, *12*). При помещении в могилу по сосуду был нанесен удар, давший ряд трещин и сколы с внутренней стороны. Здесь же найден лежавший на боку лепной сосуд с примесью шамота и песка в тесте (рис. 3, *10*). В юго-западной части камеры найдены еще два сосуда. Первый — крупный гончарный серолошеный двуручный кувшин с лощеным орнаментом (рис. 3, *11*). Тесто плотное, с примесью мелкой слюды и известковых включений. Рядом с кувшином кверху дном, прикрывая собой горку древесных угольков, лежала грубая лепная миска с загнутым бортиком и прочерченным орнаментом. На поверхности миски — следы красной краски. В тесте примесь крупного шамота (рис. 3, *9*). Кроме того, в заполнении камеры найдены обломки железного шила (рис. 2, *16*) и ножа (рис. 2, *17*), железная пряжка (рис. 2, *19*).

Группа Потайной II, кург. 13. Диаметр 24, высота 0,59 м. Курган был окружен ровиком, не заглубленным в материк. Поэтому ровик был прослежен на небольшом отрезке, не дающем представления о его форме. В ровике найдены фрагменты широкодонного краснолощеного кувшина. В северо-западном секторе, в насыпи, обнаружена небольшая яма с золой диаметром 0,35 м. Во входной яме катакомбы (1,64×0,67 м) прослежена одна ступенька. В камере (1,97×1,45 м) и входной яме найдены хаотично залегавшие кости, в том числе дефор-

[1] Определения остеологического материала произведены в археологической лаборатории РГУ Е. Ф. Батиевой.

мированный череп, принадлежавший мужчине 35—40 лет (рис. 1, *III—IIIA*). У входа в камеру лежала жаровня — фрагмент крупного пифосообразного гончарного горшка. На поверхности фрагмента прослежена сажа и явные следы вторичного обжига (очевидно, уже в могиле). Цвет поверхности в зависимости от интенсивности вторичного обжига от густо-черного до светло-желтого. В тесте примесь черной дресвы, песка, слюды (рис. 3, *6*). Рядом найден лепной сосуд с примесью шамота в тесте (рис. 3, *8*). Рядом с ними, у северо-восточной стенки входной ямы, найдена лежавшая кверху дном серолощеная миска с загнутым внутрь бортиком и прогибом стенок у дна. В дне миски пробито отверстие, в тесте — примесь крупного песка и черной дресвы (рис. 3, *7*).

Датировке поддаются три из четырех комплексов — курганы 4, 9 и 14 [2]. Погребение в кургане 4 датируется найденной здесь светлоглиняной амфорой (рис. 4). На Дону такие амфоры известны в Танаисе, в комплексах, относящихся к периоду разгрома города (начало 50-х годов III в. н. э.) [3, с. 16—20, рис. 8; 4, с. 206—213, рис. 2, *2*; 5, с. 78, рис. 2, *6*]. Находки в подвалах Танаиса середины III в. дают убедительную нижнюю дату этого типа амфор. Сложнее с верхней хронологической границей, так как в последнее время появились данные о бытовании таких амфор у донских кочевников во второй половине III — начале IV в. [6, с. 139] Видимо, наиболее целесообразно датировать комплекс в кургане 4 серединой — второй половиной III в. Для второй половины III в. вопрос об источниках поступления этих амфор в степь пока остается открытым.

Основанием датировки кургана 9 служат найденные в нем фибулы (рис. 2, *4—7*). А. К. Амброз датировал проволочные двучленные лучковые фибулы с фасетками на ножках III в. н. э., оговаривая некоторую условность такой датировки и не исключая возможности захождения этих фибул в IV в. [7, с. 53]. Фибулы с пластинчатой спинкой, слегка расширяющейся к пружине и зауженной у завязки, А. К. Амброз относил к так называемой «лебяжьинской» серии и также датировал III или IV в. [7, с. 56, табл. 10, *8*]. А. С. Скрипкин на материалах кочевнических погребений Поволжья скорректировал дату двучленных лучковых фибул, отнеся их ко второй половине III в. н. э. [8, с. 108, 109]. Большое количество находок таких фибул происходит с Северного Кавказа. В многочисленных донских находках конца II — первой половины III в. они совершенно не представлены.

Четвертая фибула (рис. 2, *7*) представляет локальный северокавказский вариант причерноморских сильно профилированных фибул [7, с. 42, 43, табл. 8, *15—16, 19—22*; 9 табл. LXXII, *1—2*, табл. CXX, *15*, табл. CXXIII, *3*; 10, рис. 3, *12*, и др.] Типологически они очень далеки от своих прототипов — боспорских профилированных фибул II — первой половины III в.; промежуточным звеном эволюции типа можно считать фибулы из Алхасте, Котовой слободы и Новой Норки [11, рис. VI, *5—6*; 12, рис. 1, *5*, рис. 4, *5*] Они отличаются большими размерами и большей длиной спинки. А. С. Скрипкин датирует мелкие профилированные фибулы без крючка для тетивы второй половиной III в. [8, с. 114] Однако они существовали еще и в IV в.[3] В целом курган 9 следует датировать второй половиной III — началом IV в.

Важно отметить локальные особенности в бытовании фибул второй половины III—IV в. в донских степях. К западу от Дона в это время абсолютно преоблада-

---

[2] Поскольку номера курганов не дублируются, далее они приводятся без указания курганной группы.

[3] Такая фибула найдена при раскопках Е. И. Беспалого в 1982 г. у хут. Маяк Сальского р-на Ростовской обл. с черняховской серебряной фибулой (группа 16, серия 1, подгруппа 2, вариант 3 по А. К. Амброзу) [7, с. 63—66] и серебряных пряжек IV в.

ли прогнутые подвязные и иные типы фибул, характеризующие черняховскую культуру и ее связи. В Нижнем Поволжье во второй половине III в., как и на Дону, появляются двучленные лучковые фибулы, сменившиеся в волго-уральском регионе специфическими восточносарматскими коленчатыми фибулами с завитком на конце приемника [8, с. 115]. На Дону в кочевнических погребениях эти фибулы пока совершенно неизвестны; слабые следы употребления близких фибул населением Подонья известны в Танаисе [13, с. 255, табл. VI, *6*] В донские степи попадали западные фибулы — черняховские прогнутые подвязные, так называемые воинские, пружинные Т-образные; известны и их дериваты — местные или причерноморские. Западные фибулы чаще встречаются в комплексах IV в. Однако преобладающими на всем протяжении эпохи оставались северокавказские двучленные лучковые и мелкие профилированные. Поздние (IV в.) разновидности этих фибул пока никем не выделялись.

Наиболее выразительная в хронологическом отношении вещь из кургана 14 — золотая инкрустированная пряжка (рис. 2, *2*). Датирующими являются ее морфология и стиль исполнения. Морфологически она может быть отнесена к группе пряжек IV в. н. э. Наиболее характерны такие показатели, как массивная, резко утолщенная в передней части рамка, массивный язычок с высоким срезом-ступенькой у основания, едва выходящий за пределы рамки. Близки к пряжкам IV в. форма и пропорции щитка. Отнесение этих признаков к IV в. не вызывает особых сомнений, так как они отражают общую тенденцию, моду эпохи. Локальное своеобразие пряжкам придает их принадлежность к определенным центрам производства (Крым, черняховская культура, Северный Кавказ [14, с. 102]).

По стилистике декора щиток пряжки принадлежит к группе южнорусских перегородчатых инкрустаций. Вопрос о нижней хронологической границе изделий этого стиля требует специального рассмотрения. Традиционно хронология ранних (до второй половины V в.) перегородчатых инкрустаций базировалась на находках в керченских склепах, открытых в конце XIX — начале XX в. Керченские комплексы с вещами в стиле перегородчатой инкрустации раньше относили или к IV в. [15, с. 1—15], или к середине IV — рубежу IV—V вв. [16, с. 20—22] К догуннскому, гото-сарматскому времени относил складывание стиля перегородчатых инкрустаций и М. И. Ростовцев [17, с. 146, 147] И. П. Засецкая относит ранние керченские инкрустированные вещи к концу IV — первой половине V в. [18, с. 13, 14] С учетом хронологии центрально- и западноевропейских древностей, а также крымских могильников позднеримского времени А. К. Амброз скорректировал нижнюю хронологическую границу южнорусских перегородчатых инкрустаций на рубеж IV—V вв. [14, с. 102]. В позиции А. К. Амброза очень важно положение о синхронном распространении перегородчатой инкрустации и специфически степной полихромии гуннского круга (так называемая 1-я группа кочевнических древностей [14, с. 102]). Однако рассматриваемая нами пряжка из кургана 14 существенно отличается от пряжек первой половины V в. Последние хорошо известны на колоссальной территории от Средней Азии до Западной Европы. Как правило, это небольшие пряжечки с округлыми или прямоугольными щитками; инкрустационные композиции на них просты и состоят всего из нескольких элементов. Характерны узкие длинные петли для соединения рамки со щитком, округлые рамки, лишь слегка утолщенные спереди, длинные узкие язычки; нередки три боковых выступа (Новогригорьевка, Ахтанизовская [19, табл. 52, *3*, 53, *6*, 59, *27*], пос. Чикаренко [20, рис. 1, *1, 4*], Керчь [18, рис. 3, *9, 62*] и др.). Обычны такие пряжки в Центральной и Западной Европе (Батасек [21, рис. 4, *6, 7*], Якушовице, Хекрихт [19, табл. 16, *11, 13*, табл. 64, *9*], Унтерзибенбрунн [22, с. 86, рис. 2] и др.) и связаны, как правило, с яркими комплексами первой половины V в. Интересно, что более крупные инкрустированные пряжки первой половины V в. также отличаются от рассматриваемой и по основным типологическим признакам очень близки к охарактеризованным выше мелким пряжечкам. Таковы пряжки из Керчи [18, рис. 3, *60, 61*], из богатой находки в Вольфсхайме [19, табл. 4, *1*].

Помимо формы пряжка из кургана 14 отличается от степных, керченских и европейских изделий первой половины V в. довольно сложным декором, симметрично набранным из мелких камней. Гораздо ближе к ней по форме и стилистике пряжка из богатой Муслюмовской находки, прочно занявшей место в кругу памятников гуннской эпохи [23, с. 55—58, табл. III]. Однако в Муслюмове нет характерных форм вещей V в.— его дата основана только на факте наличия в комплексе перегородчатых инкрустаций. Ряд вещей (фибула, пряжки без инкрустаций, наконечники ремней, кольца удил с овальными зажимами) в большей степени сближает Муслюмово со степными догуннскими памятниками IV в. н. э., нежели с комплексами «гуннского» горизонта типа Новогригорьевки VIII—IX. Факт распространения стиля характерной геометрической перегородчатой инкрустации еще в догуннскую эпоху подтверждается и рядом других комплексов. Так, перекрестье кинжала, исполненное в этой технике, обнаружено в богатой тугозвоновской находке на Алтае [24, с. 140]. В одной из последних работ А. К. Амброз совершенно справедливо отнес этот комплекс к III—IV вв. н. э. [25, с. 57, 58]. Навершие меча связывает Тугозвоново с еще одним интересным комплексом, также относимым к гуннской эпохе — находкой у Брюхановского выселка [23, с. 53—55, № 35—38]. Обнаруженная там пряжка по всем признакам принадлежит к концу III—IV вв. и совсем несхожа с характерными в основных деталях пряжками V в.

В последние годы золотые вещи, исполненные в технике перегородчатой инкрустации, трижды найдены на Дону. Все эти находки, судя по сопровождающим их вещам, также относятся к догуннской поре. Это тем более очевидно при их сравнении с единственным степным донским комплексом, бесспорно относящимся к V в. и также содержащим перегородчатые инкрустации, в том числе и пряжку [26, с. 70—72, рис. 1—4]

Догуннский хронологический пласт перегородчатых инкрустаций хорошо выражен в богатых погребениях Грузии. Повторяющиеся в разных комплексах находки римских монет второй половины — конца III в. н. э. позволяют грузинским исследователям датировать ранние перегородчатые изделия концом III—IV в. [27, с. 68, табл. III; 28, табл. 55, 76—77; 29, с. 117, рис. 2, *1*, с. 120, рис. 5, *2*; 30, с. 198, рис. 5, *2*]. Есть ранние вещи этого стиля и в самой Керчи: это известное навершие кинжала из гробницы, исследованной А. Б. Ашиком в 1841 г. Погребение датируется серединой или второй половиной III в. двумя индикациями с монет Рискупорида III [17, с. 118, 122; 31, с. 114, 115, табл. С, *1*]. Для ранних перегородчатых изделий характерен более свободный подбор цвета вставок — на это указывал еще Л. А. Мацулевич [32, с. 65].

Таким образом, не претендуя на детальное рассмотрение вопроса о генезисе, распространении и хронологии вещей в технике перегородчатой инкрустации, отметим, что одного их наличия в комплексе недостаточно для отнесения его к гуннской эпохе. Видимо, возможно наметить круг изделий этого типа, непосредственно предшествующий неплохо изученным ныне полихромным перегородчатым древностям рубежа IV—V — первой половины V в. н. э. В свете этих данных более вероятным нам представляется догуннский возраст кургана 14. Очевидно, он датируется в пределах IV в. н. э. Вопрос о путях попадания перегородчатых инкрустаций конца III—IV в. в степь пока неясен.

Среди вещевых находок в катакомбах особый интерес представляет выразительная серия гончарной лощеной керамики, разделяющаяся на несколько функциональных групп.

Кувшины найдены в двух могилах. Небольшой кувшинчик из кургана 9 (рис. 3, *4*) по структуре теста, характеру обработки поверхности и составу примесей принадлежит к группе посуды, аналогии которой приведены ниже. По всей видимости, он связан с предкавказским очагом гончарства. Кувшин из кургана 4 (рис. 3, *11*) принадлежит к большой группе двуручных сосудов, подразделяющейся на варианты в зависимости от пропорций и оформления ручек. Происходят они в основном из кочевнических комплексов II—IV вв. [12, с. 152, рис. 7, *1*;

33, с. 36—40, рис. 32; 34, с. 145, рис. 16, с. 146; 35, с. 49, рис. 24; 36, с. 26; 37, с. 80, рис. 9, *2*]. На Дону такие кувшины найдены минимум в восьми пунктах. Ближайшие аналогии кувшину из кургана 4 происходят из донских комплексов середины III—IV вв. Для донского гончарства I—III вв. эти сосуды не характерны. Кувшины, модифицирующие тот же тип, известны в Центральном Предкавказье [9, табл. CXXVIII, *9,* CXXIX, *16;* 12, с. 151]

Очень любопытна находка двух сосудов с налепными ушками (рис. 3, *1, 12*). Эта специфическая разновидность посуды безусловно относится к продукции гончаров Центрального Предкавказья, так как здесь их находки известны и в погребальных комплексах [11, рис. 7, *1*; 38, с. 66, рис. 8; 39, с. 98—99, рис. 15, *3*], и в слоях городищ [40, с. 102, рис. 11, *6*] На донском левобережье в могилах III—IV вв. пока найдено восемь таких сосудов. Некоторые из них, как и в Предкавказье, имеют крышки.

Гончарные миски найдены в двух катакомбах, представляют один тип — с загнутым внутрь бортиком — и подразделяются на два варианта: с прогибом стенок у дна (рис. 3, *7*) и округло-выпуклыми стенками (рис. 3, *5*), по структуре теста и характеру примесей идентичны. Такие миски многими десятками находят в позднесарматских могилах Подонья, Калмыкии и прилегающего Поволжья. В первой половине I тыс. н. э. этот тип мисок абсолютно преобладал в Центральном и Северо-Восточном Предкавказье [41, с. 42, рис. 6, *13—17*; 42, с. 50, 51], где они и производились.

Гончарная керамика без дополнительной обработки поверхности представлена единственным фрагментированным сосудом из кургана 13 (рис. 3, *6*). Это один из крупных вариантов гончарных горшков, часто встречающихся в донских позднесарматских могилах конца II—IV в.; максимальное распространение этих сосудов приходится на середину III—IV в. Крупные и мелкие горшки этого типа, объединяемые рядом общих элементов технологии и стиля, обычны в находках на памятниках Центрального Предкавказья [39, рис. 13, *1—36*] Отметим, что в гончарной керамике донских городищ I—III вв. отсутствует примесь черной дресвы и крупного песка.

Лепная посуда в катакомбах представлена скромнее и однообразнее — в основном грубыми кухонными горшками, в малой степени обладающими культурно-хронологической спецификой (рис. 3, *2, 8, 10*). В силу единичности мало выразительна лепная миска (рис. 3, *9*), морфологически повторяющая гончарные.

Более интересна находка в кургане 9 квадратной лепной курильницы (рис. 3, *3*). Их появление на Дону связано с памятниками раннего пласта позднесарматской культуры II в.; большая часть погребений конца II — первой половины III в не содержит таких курильниц. Зато в комплексах второй половины III—IV в. они встречаются часто, иногда по 2—3 в погребении, и составляют особенность только катакомбных могил. Генетическое соотношение донских курильниц финального этапа позднесарматской культуры с поразительно близкими предметами волго-уральского сарматского ареала [43, с. 174, 175] и Средней Азии [44, с. 128, 129, табл. VII, *10—15*, и др.] неясно. Помимо курильниц в системе погребального обряда рассматриваемой группы широко применялись жаровни из крупных обломков сосудов (кург. 13) или целой миски (кург. 4). В синхронных подбойных погребениях ступень ритуала, связанная с курильницами и жаровнями, практически не выражена.

Оружие представлено лишь мечом из кургана 14 (рис. 2, *1*), принадлежащим к типу, наиболее популярному в степном сарматском мире во II—IV вв.

Украшения и предметы туалета представлены вещами из кургана 9. Типично для кочевнических комплексов III—IV вв. найденное здесь зеркало (рис. 2, *14*). Серебряный флакончик (рис. 2, *13*) входит в группу металлических туалетных сосудиков, широко распространенных на юге СССР в первой половине I тыс. н. э. Ранние находки металлических флаконов связаны с Боспором, Танаисом, курганами Подонья и Прикубанья [45, с. 127—132; 46, с. 296, 297]. К середине III в. они приобретают характерную форму и конструкцию — тулово флакона изго-

товляется из двух полусфер и скрепляется узким металлическим пояском с петлями. Из отдельных пластин металла изготовляются горлышко и крышка. Профилировка флаконов резкая, места соединения частей не маскируются под цельный металл, что более характерно для I—II вв. н. э. В такой модификации флакончики часто встречаются в древностях III—IV вв. и доживают на Кавказе вплоть до VII в. [47, с. 241, рис. 6, *1*]

Характерной принадлежностью женских кочевнических могил III—IV вв. становятся металлические (серебряные, бронзовые, железные) игольники — небольшие трубочки, часто скрепленные 2—3 обоймами (рис. 2. *10*). Ранние находки металлических игольников известны в позднесарматских могилах волго-донского междуречья и относятся к концу II — первой половине III в. н. э. [48, с. 3—5; 49, с. 58, 59]. Однако большинство таких игольников происходит из комплексов середины III—IV в. в Калмыкии и низовьях Волги, степном Поволжье [24, с. 148, № 15; 50, с. 59, рис. 2, *5*], Нижнем Подонье. Нередко они сочетаются со сферическими металлическими флаконами, бронзовыми зеркальцами с центральной петлей, комплектами из двух — четырех фибул, гранеными сердоликовыми и округлыми янтарными бусами, пряслицами. С большей или меньшей полнотой встречаемости эти вещи, а также керамика составляют основу женских инвентарных наборов. Структура их в целом близка, несмотря на разность типов погребальных сооружений (катакомбы, подбойные ямы).

Примечательна находка комплекта из копоушки и ногтечистки (рис. 2, *11—12*). В позднеримское время они распространяются в Причерноморье [18, с. 7, рис. 2, *19, 67*), а к началу средневековья традиция пользования такими наборами прочно приживается на Кавказе [51, с. 261, рис. 5, *5—6*; 52, с. 179, рис. 62, *28, 122, 146*, и др.]

Нам остается взглянуть на охарактеризованные выше комплексы с точки зрения культурной типологии.

В культурно-историческом аспекте период середины III—IV в. н. э. в донских степях очень своеобразен. Его качественное отличие от предшествующей эпохи II — первой половины III в. заключается в следующем.

В начале 50-х годов III в. н. э. подвергается разгрому Танаис; к этому же времени прекращают существование нижнедонские городища. Мощный центр оседлой культуры в Нижнем Подонье исчезает, следы небольших поселений второй половины III—IV в. известны пока лишь в дельте Дона.

В связи с этим происходит изменение связей донских кочевников, резко усиливается влияние на них культур Центрального Предкавказья. Все большую роль начинают играть и западные связи с черняховским культурным массивом.

Значительно изменяется и культурный облик собственно степных памятников; ощутимы перемены в системе погребальной обрядности. Важнейшими из них можно считать появление около курганов прямоугольных и округлых ровиков, изменение соотношения типов могильных ям, изменение структуры инвентарных наборов. Меняется система признаков, характеризующая группу погребений в подбойных ямах. Возрастает количество деформированных черепов. Широко распространяются катакомбные могилы.

Связь катакомб с синхронной им подбойной группой могил, через нее с кочевническими памятниками предшествующего времени — конца II — первой половины III в.— несомненна. Основными чертами этой связи можно считать: совместное, чересполосное расположение курганов с подбоями и катакомбами в составе могильников (например, Потайной II); наличие у курганов с подбоями и катакомбами конструктивно аналогичных ровиков; широкое распространение в обеих группах обычая искусственной деформации черепов; обычай положения в могилу задней ноги овцы; синхронность и близость типов находимых вещей. Все это не позволяет изолировать катакомбы от других синхронных типов погребальных сооружений. В то же время ряд признаков свидетельствует о качественном своеобразии катакомбной группы: сосуществование двух типов ориенти-

ровок — широтной (с преобладанием западной) и меридиональной (в большинстве случаев северной); наличие как узких, так и широких, больших по площади камер (в последних размещение погребенного могло быть произвольным — как в широтном, так и в меридиональном направлении); присутствие (спорадически) целого или разбитого сосуда во входной яме (курганы 4,13); наличие значительного количества керамики при погребенном и более свободное ее размещение относительно костяка в сравнении с подбойными могилами (в подбоях середины III—IV в. посуда стоит в изголовье погребенного); частое использование в ритуале одной — трех прямоугольных лепных курильниц; специальное использование жаровен с углями.

Все это позволяет рассматривать катакомбные могилы не как одну из частных разновидностей погребальных конструкций в единой системе ритуала, а как особый обрядовый тип. Ряд его признаков присущ и остальным синхронным типам погребальных сооружений, другие признаки специфичны.

Массовое распространение катакомбных могил в степном Подонье приходится на середину — вторую половину III в. н. э. Единичные катакомбы известны и в конце II — первой половине III в., но все они разные и пока не могут претендовать на роль генетического предшественника рассматриваемой группы. В отличие от погребений в подбоях донская катакомбная группа локальна. Район наибольшей концентрации катакомбных памятников середины III—IV в. приходится на донское левобережье, на междуречье Дона и Сала, бассейны Сала и Маныча. К низовьям Дона катакомбы III—IV вв. становятся реже. В последние годы все более отчетливо обозначаются правобережные кочевнические памятники середины III—IV в. Среди них пока преобладают катакомбные могилы (9 из 13). Отдельные катакомбы, принадлежащие кочевникам, известны и за пределами донского бассейна (лесостепное и степное левобережное Поднепровье, Нижнее Поволжье). Возможно, они родственны донским.

В генетическом аспекте очень важны юго-восточные связи кочевников Подонья. С гибелью Танаиса и нижнедонских городищ к середине III в. происходит переориентация кочевого населения на другие центры оседлой культуры. Некоторые виды вещей, в первую очередь гончарная посуда, а также отдельные виды украшений, предметов туалета и одежды позволяют локализовать эти центры более конкретно — в Центральном Предкавказье. Судя по материалам Танаиса, а также степным сарматским погребениям, этот регион уже во II — первой половине III в. играл важнейшую роль в экспорте посуды в Подонье, а с середины III в. центральнокавказская керамика безраздельно господствует в донских степях.

По той же линии — с северо-запада на юго-восток реализуются культурно-типологические связи. Полной аналогией донским являются синхронные (середина III—IV в.) катакомбные могилы, обнаруженные в степях Ставрополья [53, с. 77—80; 54, с. 89—91, 146—149; 55, с. 43, 44, 48, 49; 56] Там, однако, пока неизвестны другие типы могил этой эпохи. Следующее звено цепи связей — подкурганные катакомбы III—IV вв. в Центральном Предкавказье [10, с. 174—184; 57, с. 255—259; 58, с. 213—233; 59, с. 197—203] По целому ряду признаков они сходны с донскими и ставропольскими, но имеют и существенные отличия. К сожалению, количество хорошо документированных и опубликованных комплексов из Центрального Предкавказья очень невелико. Однако, думается, что раздельное, совершенно независимое существование донских и кавказских катакомбных погребений маловероятно. Важно отметить, что донские катакомбы типологически более неустойчивы, представлены большим количеством морфологических вариантов, чем монолитные предкавказские. По мере удаления от Предкавказья в катакомбах происходит как бы накопление степных черт, достигающее на Дону максимума. Объяснить конкретный механизм этого процесса очень трудно. Но также сложно и доказать резкое спонтанное возникновение катакомбного обряда у одной из локальных групп обширного позднесарматского мира на заключительном этапе его существования.

В методическом плане очень важным представляется ставшее сейчас возможным выделение хронологического горизонта середины III—IV в. в древностях донских кочевников. Их яркая и своеобразная культура может стать основой уточнения многих аспектов археологического изучения предгуннской эпохи в степной полосе Восточной Европы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Казакова Л. М., Копылов В. П., Науменко С. А.* Раскопки курганов у пос. Центральный // АО — 1975. М., 1976.
2. *Копылов В. П.* Раскопки курганов в Цимлянском районе // АО—1980. М., 1981.
3. *Шелов Д. Б.* Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков н. э. // КСИА. 1978. Вып. 156.
4. *Беттгер Б.* Амфоры с надписями из Танаиса // СА. 1981. № 4.
5. *Арсеньева Т. М., Науменко С. А.* Раскопки Танаиса в 1981—1985 гг. // КСИА. 1987. Вып. 191.
6. *Ильюков Л. С.* Курганные могильники в междуречье Сала и Маныча // АО—1985. М., 1987.
7. *Амброз А. К.* Фибулы юга Европейской части СССР II в. до н. э.— IV в. н. э. // САИ. 1966. Вып. Д1-30.
8. *Скрипкин А. С.* Фибулы Нижнего Поволжья // СА. 1977. № 2.
9. *Уварова П. С.* Могильники Северного Кавказа // МАК. 1900. Т. VIII.
10. *Мунчаев Р. М.* Новые сарматские памятники Чечено-Ингушетии // СА. 1965. № 2.
11. *Крупнов Е. И.* Археологические памятники Ассинского ущелья // Тр. ГИМ. 1941. Т. XII.
12. *Берхин И. П.* О трех находках позднесарматского времени в Нижнем Поволжье // АСГЭ. 1961. Вып. 2.
13. *Амброз А. К.* Фибулы из раскопок Танаиса // Античные древности Подонья-Приазовья. М., 1969.
14. *Амброз А. К.* Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // СА. 1971. № 2.
15. *Штерн Э. Р.* К вопросу о происхождении «готского стиля» предметов ювелирного искусства // ЗООИД. 1897. Т. XX.
16. *Мацулевич Л. А.* Серебряная чаша из Керчи. Л., 1926.
17. *Rostovtzeff M.* Une trouvaille de l'époque gréco-sarmate de Kertch au Louvre et au musée de Saint-Germain // Monuments et mémoires publiés par l'Academie des inscriptions et belles-lettres. T. 26. P 1923.
18. *Засецкая И. П.* Боспорские склепы гуннской эпохи как хронологический эталон для датировки памятников восточноевропейских степей // КСИА. 1979. Вып. 158.
19. *Werner J.* Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. München, 1956.
20. *Баранов И. А.* Погребение V в. н. э. в Северо-Восточном Крыму // СА. 1973. № 3.
21. *Ковриг И.* Погребение гуннского князя в Венгрии // Древности эпохи великого переселения народов V—VIII вв. М.: Наука, 1982.
22. *Кузнецов В. А., Пудовин В. К.* Аланы в Западной Европе в эпоху «Великого переселения народов» // СА. 1961. № 2.
23. *Засецкая И. П.* Золотые украшения гуннской эпохи. Л., 1975.
24. *Уманский А. П.* Погребение эпохи «великого переселения народов» на Чарыше // Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1978.
25. *Амброз А. К.* Кинжалы VI—VIII вв. с двумя выступами на ножнах // СА. 1986. № 3.
26. О поездке В. М. Сысоева в Сулин, Донской области // Древности. 1901. Т. XIX. Вып. II.
27. *Апакидзе А. М., Гобеджишвили Г. Ф., Каландадзе А. Н., Ломтатидзе Г. А.* Мцхета. Археологические памятники Армазис-хеви по раскопкам 1937—1946 гг. Тбилиси, 1958.
28. Ювелирные изделия и торевтика из музеев Грузии. Л.: Аврора, 1986.
29. *Рамишвили Р. М.* Новые открытия на новостройках Арагвского ущелья // КСИА. 1977. Вып. 151.
30. *Леквинадзе А. М.* Богатое погребение конца IV века из Уреки // СА. 1975. № 4.
31. *Linas Ch. de.* Les origines de l'orfévrerie cloisonnée. T. 2. P. 1878.
32. *Мацулевич Л. А.* Погребение варварского князя в Восточной Европе // Изв. ГАИМК. 1934. Т. 112.
33. *Rau P.* Prähistorische Ausgrabungen auf der Steppneseite des deutschen Wolgägebiets im Jahre 1926. Pokrowsk, 1927
34. *Рыков П. С.* Археологические раскопки курганов в урочище «Три брата» в Калмыцкой области, произведенные в 1933 и 1934 гг. // СА. 1936. № 1.
35. *Синицын И. В.* Памятники Нижнего Поволжья скифо-сарматского времени // Тр. СОМК. 1956. Вып. 1.
36. *Шилов В. П.* Отчет Астраханской археологической экспедиции за 1966 г. // Архив ИА АН СССР Р-1. № 4625.
37. *Багриков Г. И., Сенигова Т. Н.* Открытие гробниц в Западном Казахстане (II—IV и XIV вв.) // Изв. АН КазССР. Сер. обществ. 1968. № 2.
38. *Кузнецов В. А.* Археологические памятники на западной окраине г. Орджоникидзе // Вопросы осетинской археологии и этнографии. Вып. 1. Орджоникидзе, 1980.
39. *Кузнецов В. А.* Зилгинское городище в Северной Осетии // Новые материалы по археологии Центрального Кавказа. Орджоникидзе, 1986.

40. *Виноградов В. Б., Рунич А. П.* Новые данные по археологии Северного Кавказа // АЭС. 1969. Вып. III.
41. *Абрамова М. П.* К вопросу о связях населения Северного Кавказа сарматского времени // СА. 1979. № 2.
42. *Мошкова М. Г* К вопросу о месте производства некоторых групп сарматской лощеной керамики // КСИА. 1980. Вып. 162.
43. *Смирнов К. Ф.* Курильницы и туалетные сосудики Азиатской Сарматии // Кавказ и Восточная Европа в древности. М.: Наука, 1973.
44. *Лоховиц В. А., Хазанов А. М.* Подбойные и катакомбные погребения могильника Туз-гыр // Кочевники на границах Хорезма. М.: Наука, 1979.
45. *Скалон К. М.* О культурных связях Восточного Прикаспия в позднесарматское время // АСГЭ. 1961. Вып. 2.
46. *Шелов Д. Б.* Новгородская мирница и сарматские флаконы // Культура Древней Руси. М.: Наука, 1966.
47. *Рунич А. П.* Раннесредневековые склепы Пятигорья // СА. 1979. № 4.
48. *Шилов В. П.* Отчет о раскопках Волго-Донской археологической экспедиции ЛОИА АН СССР в 1975 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 6470.
49. *Шилов В. П., Лагоцкий К. С.* О раскопках Волго-Донской археологической экспедиции в 1976 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 6295.
50. *Скрипкин А. С.* Позднесарматское катакомбное погребение из Черноярского района Астраханской области // КСИА. 1974. Вып. 140.
51. *Рунич А. П.* Захоронение вождя эпохи раннего средневековья из Кисловодской котловины // СА. 1976. № 3.
52. *Ковалевская В. Б.* Северокавказские древности // Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981.
53. *Романовская М. А.* Аланское погребение из Ставрополья // КСИА. 1986. Вып. 186.
54. *Романовская М. А.* Отчет о работах Александровского отряда Ставропольской экспедиции в 1979 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 8489.
55. *Романовская М. А.* Отчет о раскопках курганных групп Веселая Роща II и III в сезон 1978 г // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 8488.
56. *Тихонов Б. Г.* Отчет о работе Александровского отряда Ставропольской экспедиции в 1977 г. // Архив ИА АН СССР. Р-1. № 8398.
57. ОАК за 1882—1888 гг СПб., 1891.
58. *Абрамова М. П.* Катакомбные погребения IV—V вв. из Северной Осетии // СА. 1975. № 1.
59. *Габуев Т. А.* Аланские погребения IV в. н. э. в Северной Осетии // СА. 1985. № 2.

S. I. Bezuglov, V P Kopylov

CATACOMB BURIALS OF THE 3rd-4th CENTURIES A. D. ON THE LOWER DON

Summary

The authors present new materials of the nomadic culture of the steppes of the left bank of the Don in the Late Roman time. They have identified a chronological horizon of the mid-3rd-4th cc. A. D. A clay amphora, fibulae and buckles date the complexes between the middle and second half of the 3rd century A. D., the second half of the 3rd and early 4th centuries, and to the 4th century A. D. A group of catacomb mound burials dated approximately to the middle of the 3rd century that coexisted with the burials that continued the cultural tradition of the 2nd century and the first half of the 3rd century reflected the cultural changes that occurred on the lower Don on the eve of the Hun invasion.

А. А. ЧАРИКОВ

НОВЫЕ НАХОДКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИЗВАЯНИЙ В КАЗАХСТАНЕ

На территории Казахской ССР к настоящему времени зафиксировано несколько сот каменных изваяний VI—XIV вв. У подавляющего большинства из них ноги никаким художественным приемом не проработаны. Определенная часть изваяний представлена в сидящей позе, главным образом со скрещенными ногами, обозначенными на плоскости монолита невысоким рельефом или прочерченным кочтуром. До последнего времени изваяний, явно «стоящих», т. е. с проработанными изображениями ног, не было известно в казахстанских степях. Это обстоятельство послужило основанием для некоторых исследователей считать, что все подобного рода памятники относятся к категории сидящих, независимо от того, изображены у изваяний ноги или нет [1, с. 26, прим. 11] Между тем стоящие статуи с необозначенными ногами достаточно четко определяются пропорциями самого монолита, когда нижняя его часть (ниже уровня пояса) примерно равна верхней. Пропорции сидящих фигур совершенно иные — нижняя часть составляет лишь около $^1/_3$ всего монолита, иногда и меньше. Кроме того, линия спины у стоящих скульптур, если смотреть сбоку, как правило, прямая или слегка вогнута, в то время как у сидящих часто наблюдается характерное утолщение в поясничной части или уступ у нижнего конца, недвусмысленно подчеркивающие сидящую позу изображенных.

Первым фактическим подтверждением существования в раннем средневековье стоящих изваяний стала находка в Южном Казахстане скульптурного портрета воина, датируемого VI—VIII вв. [2, с. 58—63, рис. 1],— ноги у скульптуры обозначены. Вскоре за этой находкой последовали и другие. Так, летом 1985 г были обследованы еще две стоящие статуи, у которых даны изображения ног, находящиеся ныне в экспозиции Казахского республиканского музея народных иструментов (г. Алма-Ата) [1] Материалом для изготовления этих скульптур послужили глыбы крупнозернистого гранита красноватого цвета. Лицевая сторона имеет следы шлифовки, сзади и по бокам поверхность подправлена неровными сколами. Одно из этих изваяний найдено на территории совхоза «Коммунизм» Чуйского р-на Джамбулской обл., в ущелье Унгурли. Оно изображает усатого мужчину с опущенными к поясу руками (рис. 1, *1*). На правой руке, по-видимому, ловчая птица из семейства орлиных, по очертаниям напоминающая степного орла. Расположением на руке — в том месте, где обычно и усаживают ловчих птиц во время охоты,— видимо, определяется функциональное назначение птицы. Вместе с тем нельзя исключить также и вероятность осмысления этого образа как тотемного животного. Известно, например, что онгонами огузских племен были в основном ловчие птицы [3, с. 181] А. Диваевым отмечены факты обращения казахских шаманов в своих песнопениях к орлу во время камлания [4, с. 165, 166] Возможно, что в данном случае в образе птицы заложена двойная смысловая нагрузка. Левой рукой мужчина прижимает к себе кувшиновидный (без ручки) сосуд с высоко выделенной продионной частью и широкой горловиной. Подобные сосуды воспроизведены на семиреченских изваяниях IX—XI вв. [5, с. 219, рис. 5, *3, 5,* с. 229, рис. 8, *3*] Двумя

[1] Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить директора музея М. К. Есбулатову и всех сотрудников за оказанное содействие в изучении изваяний.

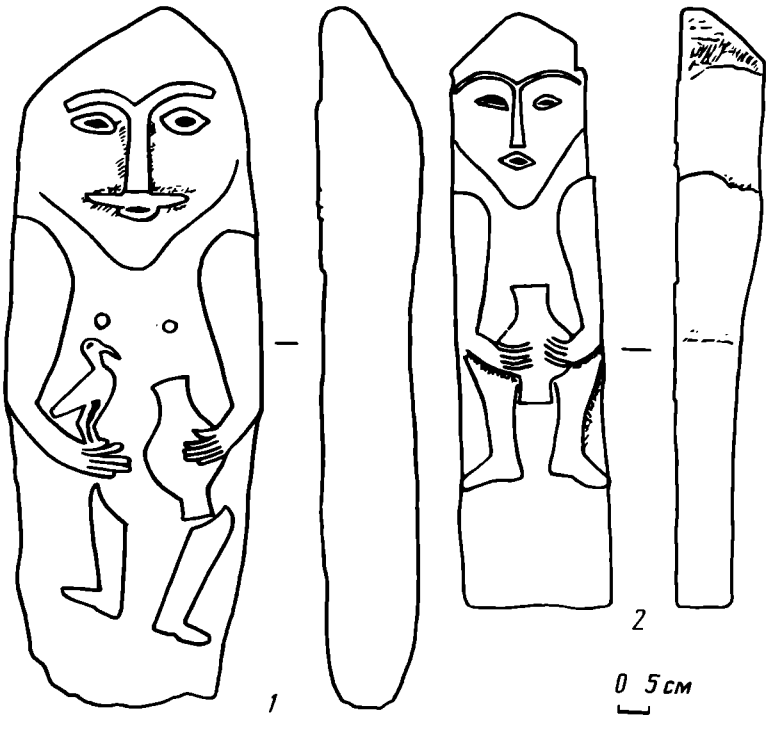


Рис. 1. Каменные изваяния в стоящей позе. *1* — Чуйский р-н Джамбульской обл.; *2* — Улутаусский р-н Джезказганской обл.

кружочками обозначена грудь. Поза свободная, правая нога прямая, левая расслаблена, чуть согнута в колене, носки врозь. Другая статуя — с безусым лицом, пол неопределенный — обнаружена близ р. Джангабыл в Улутаусском р-не Джезказганской обл. (рис. 1, 2)[2]. В опущенных к животу руках обозначен сосуд, аналогичный вышеописанному. Поза устойчивая, обе ноги прямые, носки врозь. Обувь на том и другом изваяниях практически однотипная — высокие сапоги со слегка намеченным уступом на подошве и характерным наколенным выступом. Различные варианты таких сапог (тәсі, саптама етік, дау етік, байпак, етік) отмечены среди этонографических материалов казахов [6, с. 74, 75, рис. 15] На основании формы изображенных сосудов, с учетом типологической принадлежности («половецкий» тип) оба эти памятника датируются IX—XI вв.

Как известно, бесспорно сидящие изваяния представлены на территории Казахстана четырьмя типами положения ног: 1 — «калачиком» (подошвами одна к другой); 2 — сложенные параллельно одна другой (колени врозь, левая ступня у правого колена, правая ступня у левого); 3 — скрещенные, с вертикально обозначенными ступнями, носками вниз; 4 — поджатые под себя, коленями вперед [7, с. 302, рис. 1, 2, с. 307] Наиболее характерен третий прием изображения ног, т. е. в скрещенном положении носками вниз. Именно такой, весьма показательный во всех отношениях образец изваяния поступил недавно в фонды Центрального республиканского музея КазССР (к сожалению, с отбитой, несохранившейся головой (рис. 2, *1*). Место находки — окрестности с. Ванновки Тюлькубасского р-на Чимкентской обл. Материал — желтовато-серый песчаник. В сущности, это изваяние, как и подавляющее большинство аналогичных произведений средневековых кочевников Казахстана, является барельефом на плоской стеле. Степень художественной обработки таких памятников побокам и с тыльной стороны сведена к минимуму. По-видимому, оно

[2] Других сведений об обстоятельствах находки и условиях расположения нет.

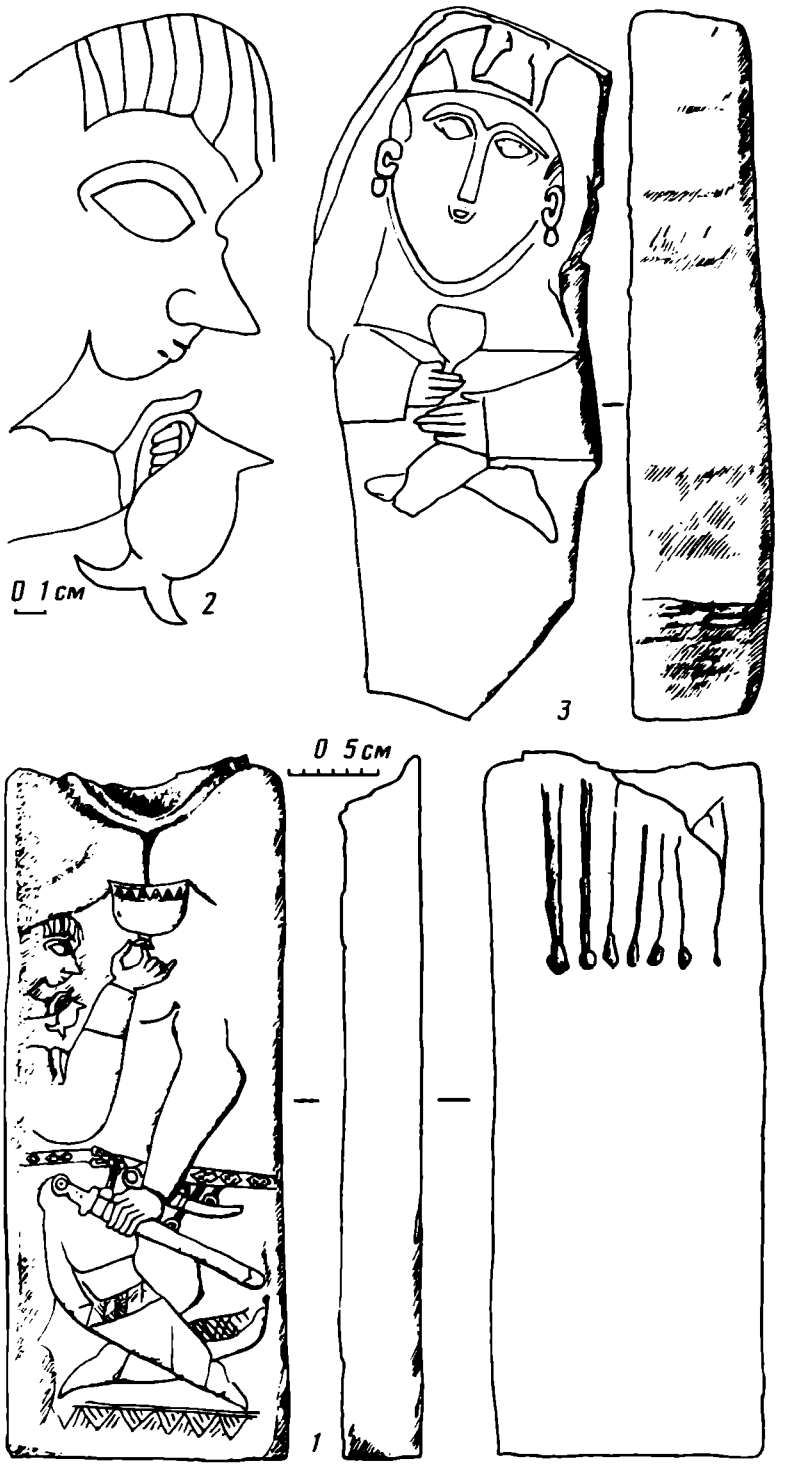


Рис. 2. Каменные изваяния в сидящей позе. *1* — окрестности с. Ванновки Тюлькубасского р-на Чимкентской обл.; *2* — то же, фрагмент (прислужник с кувшином); *3* — территория Сузакского р-на Чимкентской обл.

представляет собой портрет знатного воина в богатой одежде, с оружием и украшениями. На уровне плеч обозначена гладкая гривна с небольшим выступом-мыском в середине и зауженными концами. В согнутой правой руке кубок, удерживаемый за край ножки большим и указательным пальцами. По верхнему краю кубка полоса геометрического узора в виде ломаных линий (рис. 3, *17*).

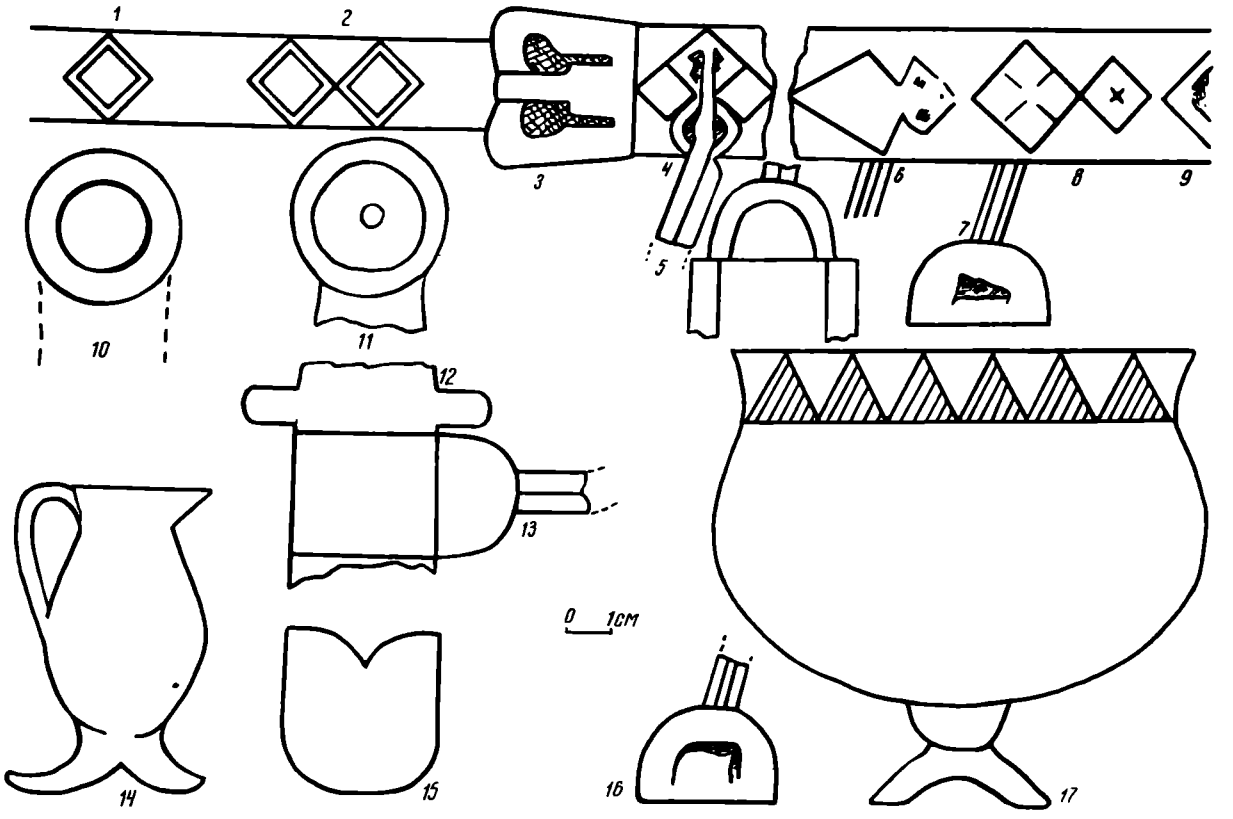


Рис. 3. Прорисовка вещей, изображенных на тюлькубасском изваянии. *1, 2, 4, 6, 8, 9* — поясные бляхи; *3* — пряжка поясная; *5, 7, 13, 16* — бляхи для подвешивания кинжала и меча (палаша?); *10, 11* — навершия кинжала и меча (палаша?); *12* — перекрестие меча; *14, 17* — сосуды; *15* — концевая бляха на ножнах меча

Близкий по форме кубок из золота имеется среди материалов Перещепинского клада [8, рис. на с. 14] В опущенной левой руке, судя по очертаниям полосы, зажат меч (палаш?) с прямым перекрестием и двумя полукруглыми бляхами-выступами на ножнах для подвешивания к поясу. Пальцы сжимают оружие не за рукоять, а за верхнюю часть полосы. Пояс украшен ромбовидными бляхами (рис. 3, *1, 2, 4, 6, 8, 9*). Аналогичные изделия встречены в раннесредневековых курганах [9, с. 123, 124, рис. 14, 31, 33—36] и на пенджикентских фресках [10, с. 95—97, рис. 67, *3, 6, 8, 9*], причем, как отмечает В. И. Распопова, «расположение предметов на поясах и на каменных изваяниях почти одинаковое» [10, с. 97] В тех же хронологических рамках датируется и поясная пряжка (рис. 3, *3*), изображенная на изваянии [11, табл. XVIII, 19] Чуть ниже пояса, почти параллельно ему, воспроизведен кинжал со слегка изогнутым клинком. Кинжал и меч имеют округлое (кольцевидное?) навершие и снабжены парой полукруглых блях-выступов на ножнах для крепления на подвесных ремешках к поясу (рис. 3, *5, 7, 10—13, 16*). По мнению А. К. Амброза, два выступа (бляхи) на ножнах кинжалов и мечей появились примерно с середины VI в., хотя полукруглые выступы на мечах пока зафиксированы лишь со второй половины VII в. [12, с. 53] Саблю (меч, палаш) в паре с кинжалом нередко можно встретить на памятниках «древнетюркского» типа [2, с. 60, рис. 1; 13, с. 222, рис. 2, 6, 8] При этом детали однородных изделий всегда исполнены в едином стиле (форма наверший, перекрестий, блях). Сабля с округлым навершием зафиксирована в числе предметов Перещепинского клада, датируемого VI—VIII вв. [8, с. 6], а также на ряде казахстанских изваяний, относящихся к этому же времени [2, с. 60, рис. 1, рис. 2, *9*; 13, с. 222, рис. 2, *8*] Скрещенные ноги (правая нога поверх левой) показаны в высоких сапогах типа казахских «саптама етік» [14, с. 98, рис. 14], украшенных по верхней части голенища узкой полосой геометри-

ческого узора. Обращают на себя внимание изображенные наколенники ромбовидной формы, подобные бытовавшим у казахов войлочным «байпак»[3] Близкие по очертаниям сапоги с наколенниками известны по раннесредневековым настенным росписям из Средней Азии [15, с. 216, 217, рис. 1]. По нижнему краю монолита проходит горизонтальная полоса из треугольников, имитирующая, по всей вероятности, постланный ковер. На спине обозначены семь прядей волос в виде неровных борозд, прочерченных от плеч к пояснице, оканчивающиеся округлыми или овальными ямками, возможно, передающими накосные украшения типа казахских «шолпы».

Исключительный интерес вызывает изображение на поверхности статуи-стелы прислужника с кувшином, воспроизведенное в области правой руки воина (рис. 2, *1*). Поза весьма динамична: погрудная фигурка (в сущности, голова) с услужливо протянутым в сторону «господина» (т. е., в сторону главного персонажа), слегка наклоненным кувшином дана в движении. Предельно лаконичная манера изображения (контурный силуэт головы в профиль, одна «работающая» рука) не мешает точному и однозначному восприятию образа. Узкое лицо, тонкие губы, широко раскрытый глаз, большой (торчащий) нос с заметной горбинкой — все это признаки чуждого для данной территории антропологического типа и вполне определенно указывает на иноземное происхождение изображенного (рис. 2, *2*). Следует отметить, что других подобных изваяний — с дополнительными человеческими фигурками — пока не зафиксировано в казахстанских степях. Только на одном тувинском памятнике в нижней части монолита барельефом даны силуэты двух, судя по всему, тоже прислуживающих людей, поскольку оба они, видимо, заняты тем, что наполняют из бурдюка сосуд для своего господина, представленного на изваянии основной фигурой [16, с. 21, 22, рис. 11, табл. I, *5*] Очевидно, следует напомнить, что это изваяние расположено на территории Юго-Западной Тувы, в урочище Монгун-Тайга, на правобережье р. Каргы, у восточного края квадратной (5,25×5,10 м) поминальной оградки, лицом на восток. Высота 186, ширина (в плечах) 40, толщина 13 см. Материал — светло-серый гранит (?). Скульптура изображает воина с сосудом в правой руке и саблей (подвешенной к поясу) — в левой. Чуть ниже сабли обозначен кинжал «уйбатского» типа. Барельефные фигурки двух прислужников, расположенные в нижней части изваяния, показаны сидящими «на корточках» друг против друга. В руках одного из них сосуд. Другой, сидящий правее, опустил руку в какое-то вместилище, напоминающее кожаный мешок, видимо, для того, чтобы зачерпнуть содержимое. Вряд ли в этих фигурках можно видеть полноправных участников поминального пиршества [17, с. 33] Против такой интерпретации свидетельствуют и подчеркнуто небольшие размеры изображенных людей, и их положение внизу — буквально в ногах главного персонажа, и наконец, их динамичные (в работе) фигуры, в отличие от статичной позы основного изваяния. Показательно в этом отношении полнейшее сходство изображенных сосудов — одного в правой руке тувинского воина, другого в руках его слуги (сходны и форма и размеры), дающее иллюзию непрерывного действия: сначала слуги наполняют кувшин, затем этот же сосуд как бы оказывается у их господина. В изобразительном искусстве средневековья такой прием использовался довольно широко [4]

---

[3] Выражаю свою глубокую благодарность научному сотруднику Института истории, археологии и этнографии АН КазССР З. С. Самашеву за сообщение этих сведений и постоянную помощь в поисках каменных изваяний.

[4] Взять хотя бы распространенный сюжет из древнерусской живописи — «Усекновение главы Иоанна Предтечи», согласно которому изображается замахнувшийся над головой стоящего (в согнутом положении) Иоанна палач и здесь же, как продолжение действия, показана уже отрубленная голова Предтечи [18, иллюстрация и католог № 82]

Что касается тюлькубасского изваяния, то сюжетные корни этого произведения в целом очень близки согдийским мотивам пиршества царей, запечатленным на серебряных блюдах. Так, на одном из них [19, рис. 10] царь изображен сидящим на ковре, опершись левой рукой о бедро, ноги сложены параллельно, коленями врозь, правая нога сверху (тип. 2). В правой руке — на уровне груди — кубок с короткой ножкой и широкой низкой чашечкой. Слева и справа расположены две фигурки прислуживающих людей, ниже — две фигурки (сидящие) музыкантов, в самом низу композиции — два льва с оскаленной пастью, обращенные в разные стороны. Поза царя практически идентична позе тюлькубасского воина. И здесь и там главный персонаж расположен сидящим на ковре. И здесь и там низкое социальное положение прислуживающих людей подчеркнуто значительным уменьшением их размеров относительно основной фигуры. Даже манера держать кубок большим и указательным пальцами за край ножки совершенно одинакова. Кувшин в левой руке одного из слуг по форме живо напоминает сосуд, воспроизведенный на изваянии в руке прислужника (рис. 2, *1, 2;* рис. 3, *14*). Кстати, подобные кувшины, главным образом из серебра, отмечены среди согдийских и сасанидских материалов [8, рис. на с. 13; 19, табл. 7, 8, 13].

На серебряном блюдце, найденном на территории Ямало-Ненецкого нац. округа [19, рис. 29, царь также изображен сидящим на постланном ковре — ноги «калачиком» (тип. 1), опершись левой рукой о бедро, в правой руке булава. Слева и справа фигурки двух прислуживающих людей в «двурогих» шапках; внизу (у ног) два лежащих льва, обращенные в разные стороны. Правой рукой один из слуг подает царю стакановидный бокал, в опущенной левой он держит за ручку кувшин, аналогичный воспроизведенному на тюлькубасской скульптуре (в руке слуги). Обращает на себя внимание явно монголоидное лицо царя, в отличие от вышеописанного изображения на блюде, в котором отчетливо видны европеоидные черты: большой нос, узкое лицо, густая вьющаяся борода.

Судя по привлеченным аналогиям, тюлькубасское изваяние следует датировать VII—VIII вв.

Еще одна сидящая статуя с воспроизведенными изображениями ног обнаружена недавно близ пос. Сузак Чимкентской обл. местными школьниками (рис. 2, *3*)[5] Материал — серый гранит. Голова чуть наклонена влево. На лицевой стороне прямоугольной шапки с плоским верхом прочерчены три сужающиеся к концам фигуры, что позволяет отнести ее к разряду «трехрогих» головных уборов, присущих женской одежде [20, с. 65—74, рис. 1—5] Этот признак дает также основание рассматривать сузакскую скульптуру как изображение женщины, имеющей отношение к отправлению определенных религиозных действий, возможно, связанных с культом богини Умай [21, с. 48, 49, 51, 53, рис. 4]

Поверх кафтана с широкими рукавами отчетливо видны очертания короткой нашивной «мантии», оставляющей открытой шею с обозначенной гривной. Подобный покрой отмечен на одной из женских половецких статуй, только линия обреза нашивной части там не прямая, а зигзагообразная [22, табл. 77, 1283]. Руки на уровне пояса согнуты под прямом углом в локтях, причем в правой руке, расположенной чуть выше левой, изображен кубок на высокой ножке, левая рука с вытянутой ладонью свободна. В ушах серьги с овальными подвесками. Весь комплекс обозначенных предметов датируется в рамках VI—VIII вв. Так, серьги с овальными подвесками, примыкающими непосредственно к уху (без стержня), воспроизведены на древнетюркских статуях Семиречья, Киргизии, Восточного Казахстана [1, табл. I, *1,* XIV, *57,* XVII, *72, 73;* 23, с. 132, рис. 1, *3, 5,* рис. 2, *3, 10*]. Кубки на длинной ножке также характерны для этого

[5] Хранится в школьном музее пос. Сузак. Точное первоначальное местонахождение изваяния неизвестно.

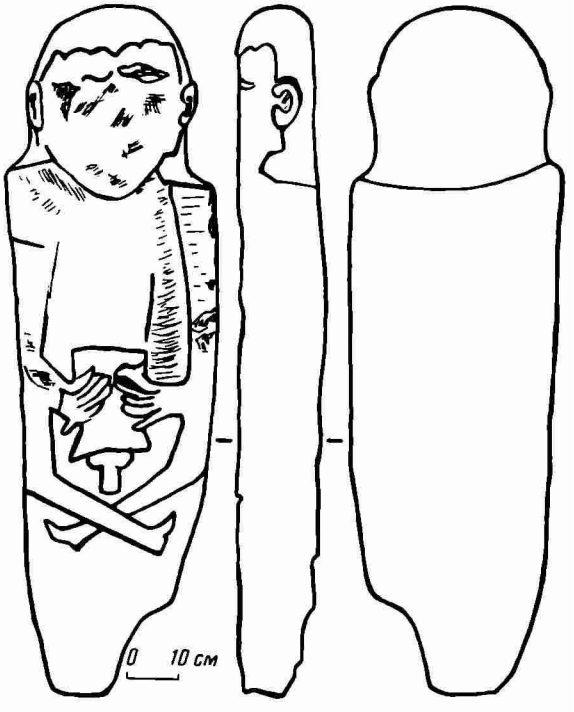


Рис. 4. Каменное изваяние в урочище Сынтас

Рис. 5. Фотография каменного изваяния в урочище Сынтас

периода [24, с. 185, рис. 5, *7—9, 12, 13*] Гривна не противоречит указанной дате, поскольку подобные изделия достаточно широко бытовали как во времени, так и в пространстве. Однако, принимая во внимание явную принадлежность к переходному типу — от «древнетюркского» к «половецкому» (отсутствие оружия, относительно низкое положение правой руки), наличие ряда изобразительных приемов (рот в виде ямки, окруженной валиком, несовпадение вертикальной оси туловища и головы), характерных для более поздних образцов [25, с. 93, рис. 2, *2—4*, с. 97—101], сузакское изваяние, вероятнее всего, следует датировать рубежом VIII—IX вв.

Необычным на этом изваянии является нестандартное положение скрещенных ног: носок правой ноги повернут вниз, что соответствует типу 3, а носок левой направлен вверх. В чистом виде такой изобразительный вариант типа 3 (скрещенные ноги носками вверх) представлен на изваянии (рис. 4; 5), расположенном в 18 км юго-западнее с. Мерке Джамбулской обл., в урочище Сынтас, у восточного края каменного кургана (диаметр 9 м, высота до 90 см), лицом на восток. В центре кургана воронкообразное углубление диаметром 3, глубиной около 1, 5 м[6]

По всей вероятности, изваяние установлено здесь значительно позже сооружения кургана. Об этом свидетельствует небольшая глубина, на которую была вкопана статуя, причем показательно, что она вкопана не в материк, а в слой уже расплывшейся (разрушенной) насыпи. Полная высота изваяния 142 см, ширина в плечах 41, толщина 15—16 см. Материал — красный гранит. Лицевая часть головы сильно повреждена сколами, тем не менее в области лба, а также

[6] Изваяние обследовано автором (прорисовка, составление описания, фотографирование и т. д.) в 1986 г на месте расположения памятника. Раскопки кургана не производились. Изваяние оставлено на месте находки.

по сторонам и сзади сохранились очертания шлема, слегка напоминающего казахский башлык [6, с. 66, рис. 13, *2*]. В опущенных к животу руках подпрямоугольный сосуд, по форме близкий некоторым образцам, воспроизведенным на скульптурах «половецкого» типа Евразии [22, табл. 9, *34*, табл. 14, *55*; 23, с. 133, рис. 1, *7*, рис. 2, *23*]. Под сосудом изображен фаллос. Непропорционально тонкие ноги показаны в сапогах с профилированными подошвами (верхний край голенищ не обозначен). Новым здесь является то, что обе скрещенные ноги (тип 3) обращены носками не книзу, а вверх. Ранее такой изобразительный прием не встречен на казахстанских статуях. По форме сосуда, а также учитывая принадлежность меркенского изваяния к «половецкому» типу, появляющемуся не ранее IX в., его следует датировать X—XII вв.

Итак, рассмотренные памятники с изображенными ногами разделяются по положению ног на две группы: стоящие (рис. 1, *1, 2*) и сидящие (рис. 2, *1, 3;* рис. 4, 5). Различаются они и хронологически. Судя по вышеприведенным аналогиям изображенным вещам и с учетом типологической принадлежности, тюлькубасское изваяние (рис. 2, *1*) относится к VII—VIII вв., сузакское (рис. 2, *3*) датируется концом VIII—началом IX в., изваяния из Чуйского, Улутаусского (рис. 1, *1, 2*) и Меркенского (рис. 4, 5) районов — X—XII вв. Безусловно, это является еще одним подтверждением того, что в разные хронологические периоды возводились и сидящие, и стоящие фигуры. Приемы изображения в данном случае не оставляют сомнений относительно позы. Положение изваяния здесь определено реалистическим воспроизведением ног. Другое дело статуи с необозначенными ногами. В необходимых случаях их принадлежность к категории сидящих или стоящих передавалось иными изобразительными средствами, главным образом за счет выделения некоторых элементов фигуры человека обобщенными контурами.

Таким образом, описанные пять каменных статуй из Казахстана дают наглядные примеры использования различных изобразительных средств при изготовлении сидящих или стоящих фигур. Очевидно, в ходу были два основных способа передачи позы: натуралистический (за счет изображения ног) и условный (обобщенный силуэт). Последний не является хронологическим признаком, поскольку отмечен как на ранних, так и на поздних памятниках. Натуралистическая же трактовка не встречена пока на стеловидных фигурах, но зафиксирована на статуях «древнетюркского» и «половецкого» типов.

В арсенале художественных средств древних ваятелей существовало несколько изобразительных приемов передачи позы в условном варианте (без натуралистического воспроизведения ног). Прежде всего — пропорции скульптуры. Не вызывает сомнения, что признаки, связанные с физическими особенностями изображаемого человека или с позой, вполне вероятно учитывались уже на стадии подборки монолита в каменоломне, где определялось и внутреннее членение будущего произведения в зависимости от сидящего или стоящего положения фигуры. При этом, если возникала необходимость, естественным контурам каменной глыбы придавались нужные очертания дополнительными сколами или условными линиями, чтобы подчеркнуть эти особенности фигуры в материале. Должному восприятию способствовала и изображенная одежда. Так, длиннополый кафтан, воспроизведенный на статуе с необозначенными ногами (но с прямой спиной), подчеркивает именно стоящую позу изваяния [13, с. 222, рис. 2, 8, рис. 3*а*] На сидящих скульптурах наряду с характерным утолщением монолита в нижней части нередко прочеркивались линии, условно передающее сложенные ноги [26, с. 158, рис. 6, 8, 9] Видимо, чтобы показать сидящую позу, иногда высекали уступ с задней стороны в нижней части статуи, как на некоторых известных образцах [26, с. 154, рис. 1, *3*, с. 158, рис. 6, *9*] Примечательно, что такой же уступ зафиксирован и на явно сидящем изваянии с обозначенными ногами [7, с. 302, рис. 1, *5*] Утолщение в самой верхней части монолита на спине соотносится со стоящим положением фигуры, если смотреть сбоку [23, с. 133, рис. 1, *10*; 26, с. 158, рис. 7, *12*]

Безусловно, факт одновременного существования сидящих и стоящих скульптур также требует объяснения. Причины этого явления пока не установлены достаточно определенно. Вероятнее всего, оно было вызвано этносоциальными различиями населения [22, с. 75—76]. Вместе с тем нельзя исключить и возможность влияния буддизма на иконографию некоторой части казахстанских изваяний в силу территориальной близости центров его распространения в раннем средневековье [27, с. 140]. Во всяком случае, будущее исследование, посвященное целенаправленной разработке этого вопроса, могло бы дать весьма интересные научные результаты.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шер Я. А.* Каменные изваяния Семиречья. М.; Л.: Наука, 1966.
2. *Чариков А. А.* Балтакольская скульптура // Западная Сибирь в эпоху средневековья. Томск, 1984.
3. *Агаджанов С. Г* Огузские племена Средней Азии IX—XIII вв. (историко-этнографический очерк) // Страны и народы Востока. Вып. X. М.: Наука, 1971.
4. *Басилов В. Н.* Некоторые материалы по казахскому шаманству // Полевые исследования Института этнографии 1976 г. М.: Наука, 1978.
5. *Чариков А. А.* Новая серия каменных статуй из Семиречья // Средневековые древности евразийских степей. М.: Наука, 1980.
6. *Захарова И. В., Ходжаева Р. Д.* Казахская национальная одежда. XIX — начало XX века. Алма-Ата: Наука, 1964.
7 *Чариков А. А.* Группа скульптур из Джамбула // СА. 1980. № 3
8. *Маршак Б. И., Скалон К. М.* Перещепинский клад. Л., 1972.
9. *Амброз А. К.* Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // СА. 1971. № 3.
10. *Распопова В. И.* Металлические изделия раннесредневекового Согда. Л.: Наука, 1980.
11. *Ковалевская В. Б.* Поясные наборы Евразии IV—IX вв. Пряжки // САИ. 1972. Вып. Е1-2.
12. *Амброз А. К.* Кинжалы VI—VIII вв. с двумя выступами на ножнах // СА. 1986. № 4.
13. *Арсланова Ф. Х., Чариков А. А.* Каменные изваяния Верхнего Прииртышья // СА. 1974. № 3.
14. *Касиманов С. К.* Қазақ халқының, коленері, Алматы: Қазақстан, 1969.
15. *Гафуров Б. Г* Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М.: Наука, 1972.
16. *Грач А. Д.* Древнетюркские изваяния Тувы. М.: Изд-во вост. лит., 1961.
17. *Кызласов Л. Р.* История Тувы в средние века. М.: Изд-во МГУ, 1969.
18. *Розанова Н. В.* Ростово-суздальская живопись XII—XVI вв.: Альбом. М.: Изобразительное искусство, 1970.
19. *Маршак Б. И.* Согдийское серебро. М.: Наука, 1971.
20. *Ахинжанов С. М.* Об этнической принадлежности каменных изваяний в «трехрогих» головных уборах из Семиречья // Археологические памятники Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1978.
21. *Кызласов Л. Р.* К истории шаманских верований на Алтае // КСИИМК, 1949. Вып. XXIX.
22. *Плетнева С. А.* Половецкие каменные изваяния // САИ. 1974. Вып. Е4-2.
23. *Чариков А. А.* Каменные скульптуры средневековых кочевников Прииртышья // Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1980.
24 *Чариков А. А.* О локальных особенностях каменных изваяний Прииртышья // СА. 1979. № 2.
25. *Чариков А. А.* Изобразительные особенности каменных изваяний Казахстана // СА. 1986. № 1.
26. *Чариков А. А.* Раннесредневековые скульптуры из Восточного Казахстана // СА. 1976. № 4.
27. *Кошеленко Г. А.* Исследования буддийских памятников в Мерве // Древние культуры Средней Азии и Индии. Л.: Наука, 1984.

A. A. Charikov

NEW FINDS OF MEDIAEVAL STATUES IN KAZAKHSTAN

Summary

The author publishes five newly discovered statues from Kazakhstan. He divides them into standing statues (Fig. 1, *1, 2*) and seated statues (Fig. 2, *1, 3,* 4; 5) and suggests thal there existed two modes of representing postures: true to life (by showing the legs) and generalised (by presenting an outline). The typological affiliation of the statues and some of the objects shown on them they can be related to the 7th-8th (Fig. 2, *1*), 8th-9th (Fig. 2, *3*), 10th-12th (Fig. 1, *1, 2;* 4; 5) centuries A. D. His own finds and the earlier finds from the same region have fed the author to a conclusion that both seated and standing statues were made during one and the same chronological periods. The composition found on the Tyul-Kubas stela that includes, among other things, a representation of a servant, merits special attention (Fig. 2, *1, 2*). Its subject is close to the motives of royal fests shown on silver dishes of the Sassanid Iran and Sogd.

Т. М. ДОСТИЕВ

ПОЛИВНАЯ КЕРАМИКА СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА ШАБРАНА (XI—XIII ВВ.)

Развалины средневекового города Шабрана находятся на территории Северо-Восточного Азербайджана. Располагаясь на торговом пути, соединяющем север с югом, город являлся одним из развитых торгово-ремесленных и культурных центров феодального Азербайджана.

В городе развивались различные ремесла, в том числе гончарное. Еще в 40-х годах В. Н. Левиатов на основе подъемного материала предполагал, что в Шабране было высоко развито керамическое производство [1, с. 87] Однако долгие годы по причине отсутствия археологических раскопок этот вопрос оставался неразработанным. Благодаря результатам археологических раскопок, проведенных с 1980 по 1983 г., было добыто значительное количество не только неполивной, но и высококачественной поливной керамики. Не вызывает сомнения, что поливная керамика является важным историческим источником при решении торгово-экономических и социальных вопросов феодального общества. Она составляет неотъемлемую часть декоративно-прикладного искусства народа. Это искусство непосредственно связано с бытом, однако, выполняя утилитарные функции, оно несет в себе также и большую идейно-художественную нагрузку. В нем были отражены мысли, чувства, восприятие окружающей действительности и художественный вкус народа. Средневековые мастера, не нарушая практическую функцию бытового предмета, с большой любовью украшали его декоративным красочным узором.

Проследить развитие поливной керамики Шабрана начиная с IX и по XVII в. в нашу задачу не входит, мы ограничимся изучением только одного этапа, относящегося к XI — началу XIII в. Как известно, в это время поливная керамика Азербайджана достигла расцвета. Небезынтересно отметить, что XII в., так же как и IX, являлся поворотным в истории исламской керамики. Если на раннем этапе важнейшими керамическими центрами были Багдад, Каир, то теперь ведущая роль принадлежала Северной Персии [2, с. 29]. Наряду с керамикой Ирана в это время славой пользовалась красноглиняная керамика Закавказья. Большие успехи делают такие керамические центры Азербайджана, как Байлакан, Зинджан, Ганджа и Шабран.

Для керамики Шабрана XI — начала XIII в. характерен кирпично-красный цвет черепка в изломе, свидетельствующий о высоком качестве обжига в окислительном пламени. Посуда богата разнообразием форм, приемов техники и мотивов декора.

В коллекции из Шабрана представлены кувшины, чаши, блюда, светильники и солонки.

Кувшины можно разделить на два типа. К I типу относятся экземпляры с низкой кольцевой ножкой, шаровидным корпусом, узким, невысоким горлом, сильно выступающим желобчатым сливом. Витая ручка с выступом одним концом прикреплена к плечику, другим — к горлу (рис. 1, *1*). Кувшин, по всей видимости, имеет сильно стилизованную зооморфную форму, возможно, мастер-керамист пытался передать образ мифического существа — дракона. В искусстве Азербайджана наиболее ранние изображения дракона относятся к XI—XII вв., т. е. ко времени завоевания страны сельджукидами. Можно пред-

Рис. 1. *1, 2* — поливные кувшины; *3, 4* — керамика с росписью ангобными красками

полагать, что шабранский кувшин является одним из самых ранних образцов этого мотива. Кувшин происходит из слоя, датируемого XI в.

II тип кувшинов характеризуется плоским дном, туловом, суживающимся ко дну, широким, почти цилиндрическим горлом. Ручка, овальная в сечении, отходит от горла к корпусу. Аналогичная форма поливных кувшинов известна из раскопок Старой Ганджи [3, с. 27, рис. 31].

Чаши преобладают среди поливной керамики. Продолжающиеся археологические раскопки на территории городища наверняка расширят наши представления об этой категории. Пока мы имеем возможность выделять следующие типы.

1-й тип — чаши отличаются низкой кольцевой ножкой, горизонтальными, чуть поднимающимися стенками и невысоким прямым бортиком. Этот тип хронологически относится к XI в. и продолжает форму чаши X в. Аналогичная форма чаш встречается в Байлакане [4, табл. VI], Двине [5, табл. V] и Северном Иране [6, рис. G]

2-й тип чаш характеризуется низкой кольцевой ножкой, горизонтальными, постепенно поднимающимися стенками и прямым бортом. Этот тип очень близок к 1-му типу, но отличается высокими стенками и бортиком. Датируется он XII в.

3-й тип включает глубокие чаши с низкой кольцевой ножкой, прямыми, чуть расходящимися высокими стенками. Этот тип относится к XII — XIII вв. Аналогичная форма чаши известна из раскопок Байлакана [4, рис. 2] и Северного Ирана [6, рис. E].

4-й тип. От низкой кольцевой ножки, плавно закругляясь, отходит стенка, которая постепенно переходит в высокий борт. Неширокий венчик чаши отогнут наружу. Аналогичная форма чаши имеется в Байлакане [4, табл. IX], Дманиси [7, табл. 40], Средней Азии [8, табл. XII] и Иране [6, рис. H]

Блюда. Выделяются два типа. 1-й тип блюда имеет низкую кольцевую ножку; стенки, расширяясь, не создавая изгиба, плавно поднимаются вверх; узкий венчик отогнут наружу. Аналогичная форма блюда встречается в Байлакане [4, рис. 2], Ани [7, табл. 40] и Северном Иране [6, рис. H]

2-й тип. От кольцевой ножки отходят стенки; не создавая изгиба, они переходят в высокий бортик; широкий венчик блюда отогнут наружу.

Поливные светильники (чирахи) повторяли форму простых светильников. Они, как правило, покрыты однотонной поливой и не имеют никаких узоров. Встречаются три основных типа.

1-й тип. Светильник с плоским дном, шаровидным корпусом, невысоким горлом с отогнутым наружу венчиком снабжен трубчатым носком, имеющим сверху на кончике отверстие для фитиля. Одним концом ленточная ручка прикреплена к венчику, другим — к корпусу сосуда. Светильник покрыт поливой коричневого цвета (рис. 2, *1*). Аналогичные поливные светильники имеются в Байлакане [9, с. 61, рис. 42], Старой Гандже [10, с. 24, рис. 14] и Двине [11, рис. 156]

2-й тип светильников состоит из двух чаш, расположенных одна над другой и соединенных в середине стержнем. От бортика верхней маленькой чашечки к борту нижней отходит ручка, овальная в сечении. Нижняя чаша является одновременно основанием светильника. По величине она значительно больше, чем верхняя. На краю венчика верхней чаши был расположен маленький слив для фитиля (рис. 2, *2*). Аналогичные светильники известны из раскопок Старой Ганджи [10, с. 25, рис. 16], Двина [11, с. 33, рис. 14] и Самарканда [8, с. 19, табл. XVII]. Следует отметить, что среднеазиатские светильники в отличие от шабранских имеют сравнительно неширокую нижнюю чашечку и снабжены петлями. Последнее показывает, что их подвешивали.

3-й тип светильников имеет невысокий поддон, чашечку с низкими вертикальными стенками. На краю венчика чаши для фитиля расположен маленький желобчатый слив (рис. 2, *3*). Аналогичный светильник известен из раскопок в Южном Иране [12, табл. IV]

Солонки можно разделить на три типа.

1-й тип имеет низкий поддон, невысокий бортик и утолщенный венчик с зубцами (рис. 2, *4*).

2-й тип отличается плоским дном, вертикальным бортиком. Посредине бортика идет вдавленная линия, создающая углубление.

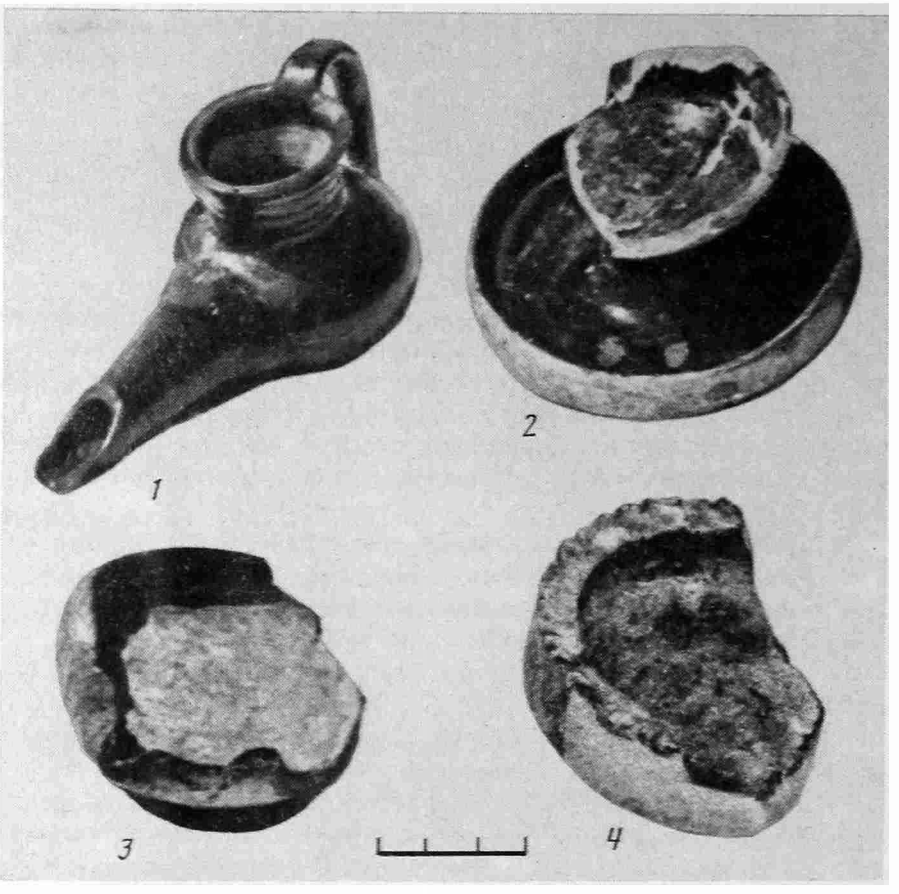


Рис. 2. *1—3* — поливные светильники; *4* — поливная солонка

3-й тип выделяется невысоким поддоном, туловом, суживающимся ко дну; украшен налепным валиком.

Все типы солонок покрыты однотонной поливой без всякого рисунка, орнамента.

Как было упомянуто выше, поливная керамика XI — начала XIII в. из Шабрана разнообразна по приемам техники и мотивам декора.

I группа поливной керамики выделяется росписью ангобными красками. В этот период мастера наряду с новыми приемами нанесения орнамента пользуются и старыми, в частности росписью ангобом по черепку. Этот прием был известен еще в IX—X вв. Белый рисунок под поливой создает большой декоративный эффект, достигаемый очень простыми средствами. Кружка баночного типа на низкой ножке с петлевидной ручкой с выступом расписана ангобной краской. Орнамент состоит из побегов спиралей (рис. 1, *4*).

Большой интерес представляет днище от чаши. На днище ангобом нанесены изображения водоплавающих птиц, скорее всего уток (рис. 1, *3*). Сосуд покрыт зеленой поливой. В центре фрагмента мы видим изображение утки, а вокруг нее на симметричном расстоянии восемь уток, образующих круг, как бы плавно движущихся вокруг центральной фигуры. Это усиливает живость изображения. Данный фрагмент пока является самым ранним из изобразительных мотивов, выполненных шабранскими мастерами. Он относится к XI в. Аналогичный мотив, сделанный ангобом, известен из Ирана [13, рис. 560 B]

II группа поливной керамики характеризуется монохромными изделиями, украшенными гравировкой. Это наиболее распространенная группа поливной керамики. Гравировка производилась по влажному слою ангоба через всю его толщу до красного черепка изделия. После того как сосуд покрывали глазурью, гравированные линии приобретали более темную окраску, чем глазурь, покры-

вающая белый ангобный слой. Таким образом, получались изящные графические рисунки.

Исследователи отмечают, что принцип графического декора керамики (graffito) генетически связан с гравировкой по металлу, широко распространенной уже в сасанидский период [14, с. 1505] В поливной керамике этот прием декорировки впервые появляется в Китае в эпоху Танской династии [15, с. 13] По мнению А. Л. Якобсона, появление такой керамики было вызвано необходимостью замены более дорогих блюд и чаш из благородных металлов [4, с. 282]

Эта группа поливной керамики украшена геометрическими, растительными и эпиграфическими орнаментами, нанесенными врезной линией, покрыта цветной глазурью желтого либо зеленого цвета. Наиболее простым орнаментом являлись завитки, спирали и сетки.

Одна из чаш 1-го типа украшена гравировкой. Парные тонкие линии, отходящие от центра сосуда, разделяют все поле чаши на четыре части, а в центре создают как бы квадрат. В квадрате и в каждой части тонкой врезной линией нанесено по одному замкнутому завитку (рис. 3, *1*). Чаша покрыта зеленой глазурью, четкие гравированные линии под зеленой глазурью эффектно выделяются. Близкий мотив с некоторыми отклонениями известен в керамике Армении [5, табл. XXIV] и Ирана [16, с. 21, табл. 9] Хронологически чаша относится к XI в.

На другом фрагменте чаши тонкой врезной линией нанесен рисунок, похожий на спираль, и покрыт светло-желтой глазурью (рис. 3, *2*). В некоторых местах глазурь и ангобный слой отпали, видимо, из-за воздействия щелочей и солей, находящихся в грунте.

В декоре керамических изделий различные сетки мы встречаем обычно на дне чаши, и они, как правило, занимают главное место в узоре. Интересен фрагмент блюда 1-го типа, украшенный по центру сеткой из прямых и волнистых линий, обрамленной кругом, стенка блюда имеет широкую кайму с чередующимися сильно геометризованными листьями (рис. 3, *5*). Аналогичную гравированную сетку на дне сосуда мы встречаем в керамике Старой Ганджи [3, с. 14, рис. 13].

Не менее интересна часть чаши 2-го типа, имеющая в центре многолепестковую розетку, нанесенную тонкой врезной линией, и занимающая почти всю центральную часть сосуда. На стенке чаши в широкой кайме толстой врезной линией нанесен растительный орнамент в виде побега стеблей. Композицию завершает бордюр из волнистой линии. Чаша покрыта желтой глазурью. Мастер для усиления декоративности в каждом лепестке сделал зеленое пятно (рис. 3, *3*). Многолепестковая розетка, занимая центральную часть чаши, является главной в композиции и подчиняет себе остальные орнаментальные элементы.

Чаша 4-го типа украшена гравированным семилепестковым цветочком, который занимает всю внутреннюю часть сосуда. Лепестки цветка имеют ланцетовидную форму, а свободное поле между лепестками заполнено замкнутым завитком. Чаша покрыта желтой поливой (рис. 3, *4*).

Одним из излюбленных мотивов в керамике XI—XIII вв. является изображение бутонов и веерных букетов. На горловине кувшина 2-го типа в орнаментальном поясе тонкой врезной линией нанесены чередующиеся бутоны и парные веерные букеты, соединенные между собой тонкими нитями (рис. 1, *2*). Аналогичные букеты встречаются на посуде из Средней Азии [8, с. 57, табл. XII]. Как известно, бутоны олицетворяли цветущую молодость. Не случайно мотив бутонов, как правило, дается в зеленом цвете, олицетворяющем возрождение, весну. Он считался священным. Мусульманское вероисповедание ассоциировало зеленый цвет с раем [17, с. 93]

Необходимо отметить, что цвет играл активную роль при декорировке предмета, придавая ему красоту, привлекательность и художественность. Учитывая это, средневековые мастера-керамисты умели не только получить комбинации

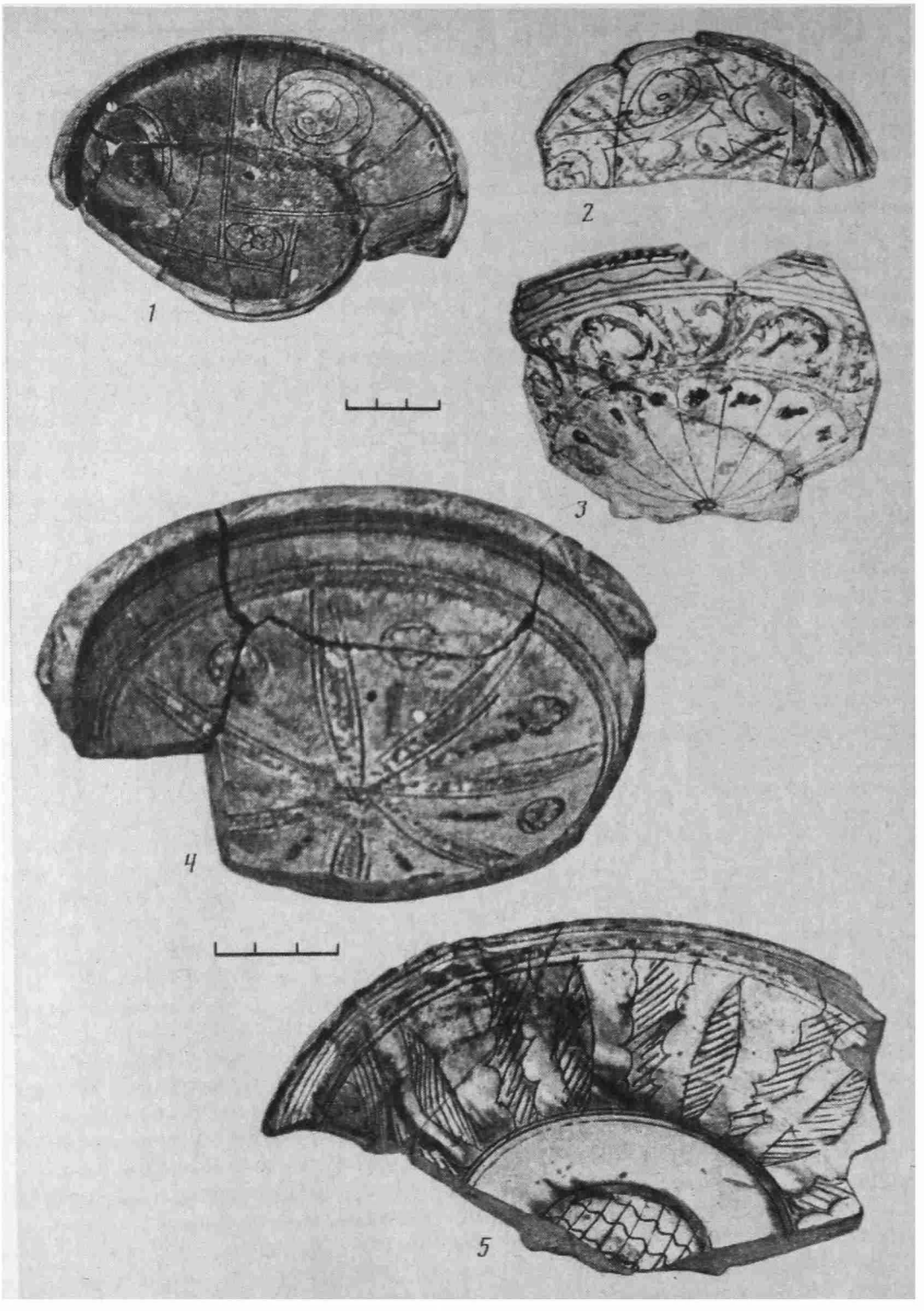


Рис. 3. Монохромные изделия, украшенные гравировкой

различных цветов, но и даже многообразную игру тонов одного цвета. Например, упомянутая часть блюда 1-го типа (рис. 3, *5*) меняет окраску от светлого тона до темно-изумрудного цвета.

Эпиграфическим орнаментом поливная керамика XI—XIII вв. из Шабрана небогата. Известен всего лишь один фрагмент, имеющий такой орнамент (рис. 4, *1*).

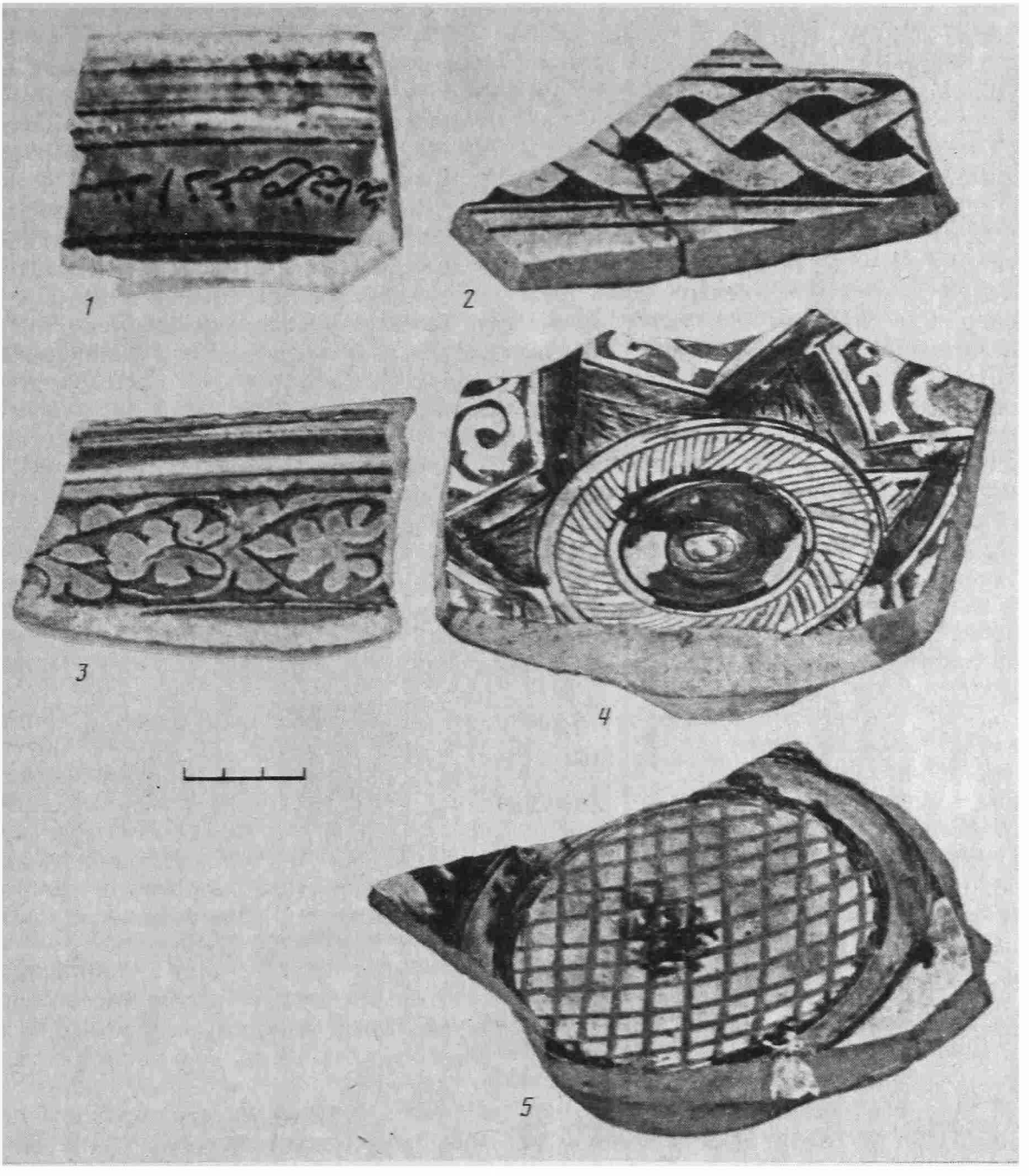


Рис. 4. *1* — фрагмент с эпиграфическим орнаментом; *2, 3* — керамика, украшенная выемчатой техникой; *4* — днище чаши, украшенное гравировкой и выемчатой техникой; *5* — полихромная поливная керамика

В XI в. в поливной керамике Азербайджана появляется новый прием украшения изделий так называемой выемчатой техникой. Изделия покрывали светлым ангобом и по влажному ангобу гравировали задуманный узор. Затем фон (т. е. ангобный слой) вокруг рисунка удалялся, а сосуд покрывали поливой и обжигали. Та часть поливной поверхности, которая приходилась на оставшийся ангоб, получала светлый оттенок, а та, которая попадала на обнаженную глину,— более темный. В результате создается впечатление двухтонности узора.

III группу поливной керамики составляют изделия, выполненные «в резерве». Эта группа представлена двумя фрагментами. На одном фрагменте мы видим геометрический орнамент в виде крупной плетенки под бесцветной поливой (рис. 4, *2*), который очень популярен в керамике Азербайджана [4, с. 250,

табл. XVI; 9, с. 59, рис. 38], Ирана [14, с. 1538—1539], Армении [11, с. 258, табл. XXIV] и Грузии [18, табл. XIV].

На другом фрагменте встречаем побег листьев под желтой поливой. Светлый тон, рельефность рисунка эффектно выделяют его на темном, углубленном фоне (рис. 4, *3*). Мотив растительных побегов, выполненный «в резерве», встречается в керамике Байлакана [4, с. 253, табл. XXIV], Грузии [18, табл. XIV] и Ирана [6, с. 92, рис. 2, *11*]

IV группа поливной керамики представлена фрагментом чаши открытой формы. Эта группа характеризуется украшением гравировкой и техникой «в резерве». Гравировкой на днище сосуда нанесена шестиконечная звезда, а внутри звезды концентрические круги, штрихованные косыми линиями. Поле вокруг шестиконечной звезды заполнено растительным орнаментом в виде вьющихся стеблей, выполненных выемчатой техникой, т. е. соскабливанием ангоба, оставляющим рисунок «в резерве» (рис. 4, *4*). Следует отметить, что орнамент в виде шестиконечной звезды был широко распространен не только в средневековом Азербайджане, но и в целом по всему мусульманскому Востоку. Этот орнамент, связанный с астральными представлениями, корнями уходит в глубокую древность. В условиях господствующего ислама такая популярность его, видимо, неразрывно связана с допущением исламом почитания астральных светил. Согласно Корану, небеса представляют собой семь возвышающихся друг над другом твердых сводов. Нижний свод без всяких щелей и трещин, и на нем размещаются солнце, луна и звезды. Светила должны служить украшением небесного свода и защитой его от дьяволов [19, с. 186]. Следовательно, этот орнамент на керамических изделиях имел магическое значение, был своего рода оберегом от злых духов.

V группа поливной керамики объединяет полихромные чаши и блюда. Сюда входят изделия, украшенные гравировкой и полихромной раскраской. Сетки из широких пересекающихся полос, с точками или кружочками в каждой ячейке, были очень характерны для Закавказья. Фрагмент от блюда имеет сетки из пересекающихся полос, обведенных тонкими гравированными контурными линиями, а полосы раскрашены изумрудным цветом. Кружочки, находящиеся в ячейках, расписаны краской коричневого, желтого и охряно-золотистого цвета (рис. 5, *1*). Аналогичные мотивы встречаются в керамике средневековых городов Азербайджана [10, с. 50, рис. 60, 61] и Грузии [18, табл. XI]

На другом фрагменте на днище чаши толстой врезной линией гравирована сетка из квадратов, обрамленная марганцевыми кругами, пространство между кругами окрашивалось светло-зеленой краской — окисью меди, после чего сосуд покрывался бесцветной глазурью (рис. 4, *5*). Аналогичная гравированная сетка нам известна из Старой Ганджи [3, с. 14, рис. 11]

Не менее интересно блюдо 2-го типа, украшенное гравировкой и полихромной росписью. В центре блюда тонкой врезной линией нанесена шестиконечная звезда, обрамленная кругом. Она разделена тремя полосами, раскрашенными зеленым цветом, на шесть секторов, в каждом из которых имеется маленький кружочек, а поля сектора заштрихованы. На стенке блюда нанесены орнаментальные пояса, в первом тонкой линией процарапаны треугольники с зелеными точками. Во втором поясе тонкой врезной линией нанесены чередующиеся миндалевидные фигуры с зелеными пятнами и без них. Свободное поле пояса заполнено заштрихованными косыми линиями. Бордюр, завершающий композицию, расписан расплывчатой волнистой линией с точками и треугольниками, нанесенными ангобом (рис. 5, *2*). Построение орнамента подчиняется кольцевой расчлененности композиции. Это усиливало как бы вращательное движение узоров. Следует отметить что расплывчатость красок узоров, небрежное нанесение линии в целом уменьшает эффектность узора.

Как известно, мусульманская религия открыла большие возможности для пышного развития каллиграфии и орнаментики. Совершенно в ином положении оказалось изобразительное искусство. Ислам не допускал изображения живых

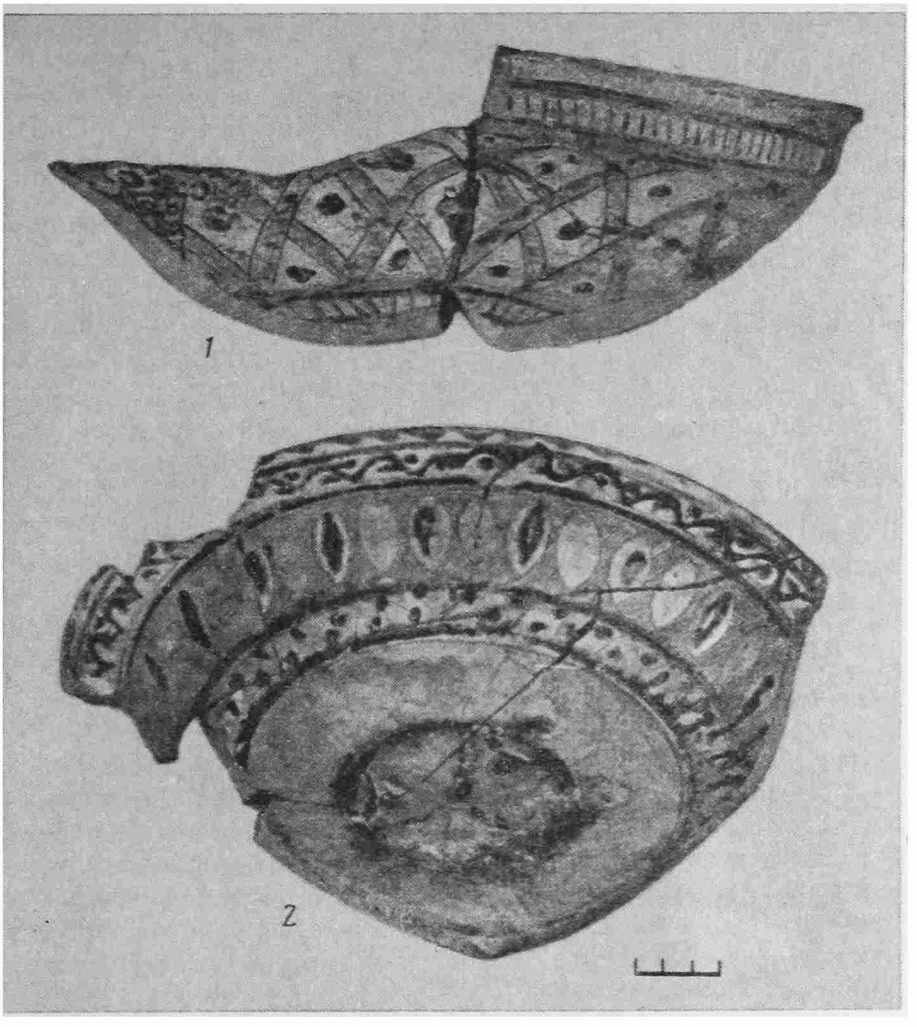


Рис. 5. Полихромные поливные блюда

существ и особенно человека. Правда, в Коране отсутствует прямое указание о запрещении изображать живые существа, однако уже в IX в. оно появляется в достоверных хадисах. Нельзя не отметить, что изобразительность, несмотря на преследование исламом, в прикладном искусстве существовала на протяжении всех веков. А в керамике Азербайджана она особенно пышно расцвела в XII—XIII вв. Изобразительные мотивы широко использовались в керамике Байлакана (различные сцены красочного изображения человека, животных и особенно пернатых).

Из раскопок Шабрана нам известно только пять фрагментов данного периода, имеющих изобразительные мотивы. Все они украшены изображениями птиц, которые являются излюбленной темой в средневековом прикладном искусстве Азербайджана. Изучение этих фрагментов показывает, что они входят в один круг с другими изделиями Южного Азербайджана и Закавказья. Характерными являются такие виды орнаментов, как раздвоенные ветви (элементы орнамента ислими), распускающиеся бутоны, три точки, изображения птиц в профиль в боевой позе, подчеркивающие их хищность или, наоборот, миролюбие.

В центре одной из чаш 2-го типа мы видим изображение павлина, нанесенное тонкой врезной линией, раскрашенное красками зеленого и охряно-золотистого цвета, а на фоне гравированы распускающиеся бутоны, раскрашенные зеленым цветом. Свободное поле заполнено точками, сгруппированными по три. Как мы видим, изображение павлина подвергнуто определенной стилизации: схематичны голова, глаза и хвост (рис. 6, *1*).

Рис. 6. Полихромные поливные чаши с изобразительным рисунком

В прикладном искусстве мусульманского Востока, а также Византии изображение павлина было очень популярным. Почитание павлина связано еще с древними языческими религиями. Но и в исламское время он был символом бессмертия, воскрешения, почитался как райская птица. Небезынтересен тот факт, что мы встречаем изображения павлина, как правило, во всех видах прикладного искусства, в керамике, миниатюрах, вышивках, и т. д., обычно на растительном фоне, который вполне соответствует представлениям о рае.

Интересна чаша 3-го типа, в центре которой тонкой врезной линией нанесено изображение хищника, скорее всего сокола, в боевой позе, грудь выступает вперед, голова резко повернута назад, глаза широко раскрыты. У него длинный клюв и мощные ноги Изображение выполнено красками светло-коричневого и изумрудного цвета. Вокруг птицы фон заполнен цветными кружочками. Для усиления декоративности мастер свободное поле чаши расписал концентрическими кругами, первые два из которых заштрихованы способом гравировки. Эти концентрические круги создают впечатление вращательности движения (рис. 6, *2*).

Таким образом, мастер простыми средствами добивался усиления декоративности и одновременно завершенности композиции. Близкие мотивы с некоторыми отклонениями встречаются в керамике Байлакана [9, с. 79, рис. 64] и Ирана [16, с. 26, рис. 5]. Без особого труда здесь прослеживается связь с сасанидским металлом [20, табл. 28, 29]. Высокохудожественное сасанидское искусство бесследно не исчезло, в памяти народа оно еще жило. Но было бы неверно думать, что мастера-керамисты слепо имитировали сасанидские мотивы. В соответствии с мировоззрением своего времени и используемым материалом

они их перерабатывали и создавали своеобразные, высокохудожественные изделия.

Не менее интересен фрагмент чаши с изображением птицы, нанесенным тонкой врезной линией. Птица изображена в профиль, грудь выступает вперед, голова приподнята, широко раскрыты круглые белые глаза с темными зрачками. Она раскрашена красками желтого и изумрудного цвета. Фон украшен элементами растительного орнамента «ислими». А все свободное поле заполняют точки, сгруппированные по три и по четыре (рис. 6, *3*). Они имели не только декоративное, но, на наш взгляд, и смысловое, видимо магическое, значение — играли роль оберега от дурного глаза [17, с. 92] Аналогичный мотив известен из Байлакана [9, с. 79, рис. 64], Старой Ганджи [3, с. 19, рис. 21], Кабалы [21, с. 51, рис. 33], Южного Азербайджана [13, рис. 607—610], Армении [22, с. 18, рис. 3] и Грузии [7, с. 25, табл. 12] Чаши с аналогичным мотивом А. Поупом были отнесены к XI в. [14, с. 1527], а Вилсон их датирует XIII в. [23, с. 17] На основе стратиграфических данных и анализа орнаментальных сюжетов мы склонны относить вышеупомянутый фрагмент к концу XI — началу XIII в.

Рассматривая фрагменты с изобразительными мотивами, мы отчетливо видим, что в их основе было два источника — высокохудожественное сасанидское искусство и природа. Природа изумляла и волновала человека, который стремился познавать и воспевать ее. И тут мы невольно вспоминаем слова средневекового трактата о живописи «Ганун-ас-совар»:

«Если искусство изображения станет твоей мечтой,
(Лишь) природа может быть твоим устадом» [24, с. 76]

VI группа включает изделия, расписанные марганцем по белому ангобу. Эта техника была широко распространена в XII—XIII вв. в Байлакане [9, с. 60] Среди орнаментальных мотивов доминируют геометрические элементы, но встречаются и растительные и изобразительные мотивы.

Интересен фрагмент чаши, украшенный сеткой, состоящей из шестиконечных звезд, в каждой ромбовидной ячейке имеется кружочек (рис. 7, *2*). Близкий мотив известен в Иране, но там в каждой ячейке в отличие от наших фрагментов имеется изображение человеческих и птичьих фигур [13, рис. 659 В]

Не менее интересен фрагмент от чаши, имеющей орнамент узла счастья в виде двух скрещенных и переплетающихся овалов (рис. 7, *1*). Этот орнамент был широко распространен по всему Востоку. Мы его встречаем в керамике Баку [25, с. 52, табл. XXVIII], Старой Ганджи [10, с. 52, рис. 66], Кабале [21, с. 51, рис. 33], в Средней Азии [26, с. 120], в Иране [13, рис. 583 В] и в Византии [27, с. 221, рис. 27]. Некоторые исследователи считают, что узел «счастья» — символ, перенятый из Китая. На месте словесного пожелания счастья появляется символ, который отражает воззрения эпохи и художественных идеалов [26, с. 120] Но вместе с тем следует отметить, что этот орнамент своими корнями уходит в глубь тысячелетий и, вероятно, был связан с языческими верованиями Элама: мы его встречаем в рельефе с обнаженными жрецами из Суза, на котором имеется прототип рассматриваемого орнамента [28, рис. 17]

Растительные орнаменты состоят из четырех- и многолепестковых цветочков (рис. 7, *5, 6,*).

Изобразительный мотив этой группы поливной керамики представлен небольшим фрагментом от чаши. По белому ангобу марганцем написана хищная птица, с большой приподнятой головой, широко раскрытыми глазами и длинным клювом. Фон изображения заполнен точками, сгруппированными по три (рис. 7, *7*). Близкий мотив имеется в керамике Грузии [18, табл. XXV]

VII группа поливной керамики Шабрана представлена фрагментом от чаши, украшенной гравировкой по марганцевой росписи. Техника исполнения украшения состоит в том, что чаши покрывали ангобом, затем расписывали марганцем, после чего по марганцевому полю гравировали задуманный рисунок,

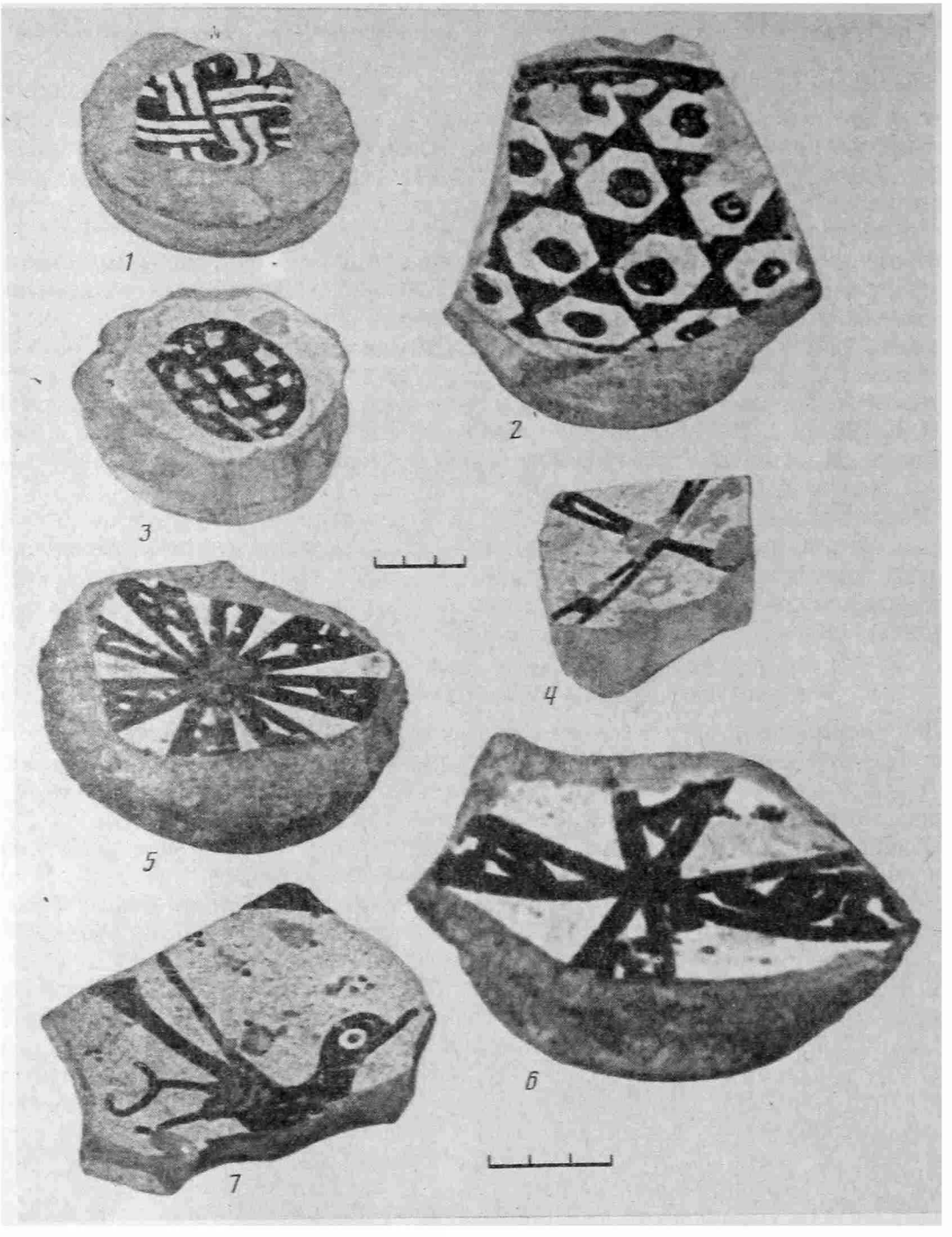


Рис. 7 Керамика, расписанная марганцем по белому ангобу

однако гравировка доводилась только до ангобного слоя, благодаря чему рисунок выделяется белыми линиями на темном марганцевом фоне. Эта группа керамики характерна для Байлакана. По мнению А. Л. Якобсона, она представляет собой, пожалуй, одно из наиболее интересных явлений в художественной культуре Орен-Кала предмонгольского времени [4, с. 273]

В рассматриваемом фрагменте чаши в центре марганцем расписан широкий круг, от которого отходят парные радиальные полосы. По марганцевому кругу тонкой врезной линией начерчен орнаментальный пояс, заполненный завитками (рис. 8, *1*). Близкий мотив известен из Байлакана, однако в отличие от фрагмента из Шабрана здесь орнаментальный пояс и свободное поле чаши заполнено эпиграфическим орнаментом [9, рис. 53].

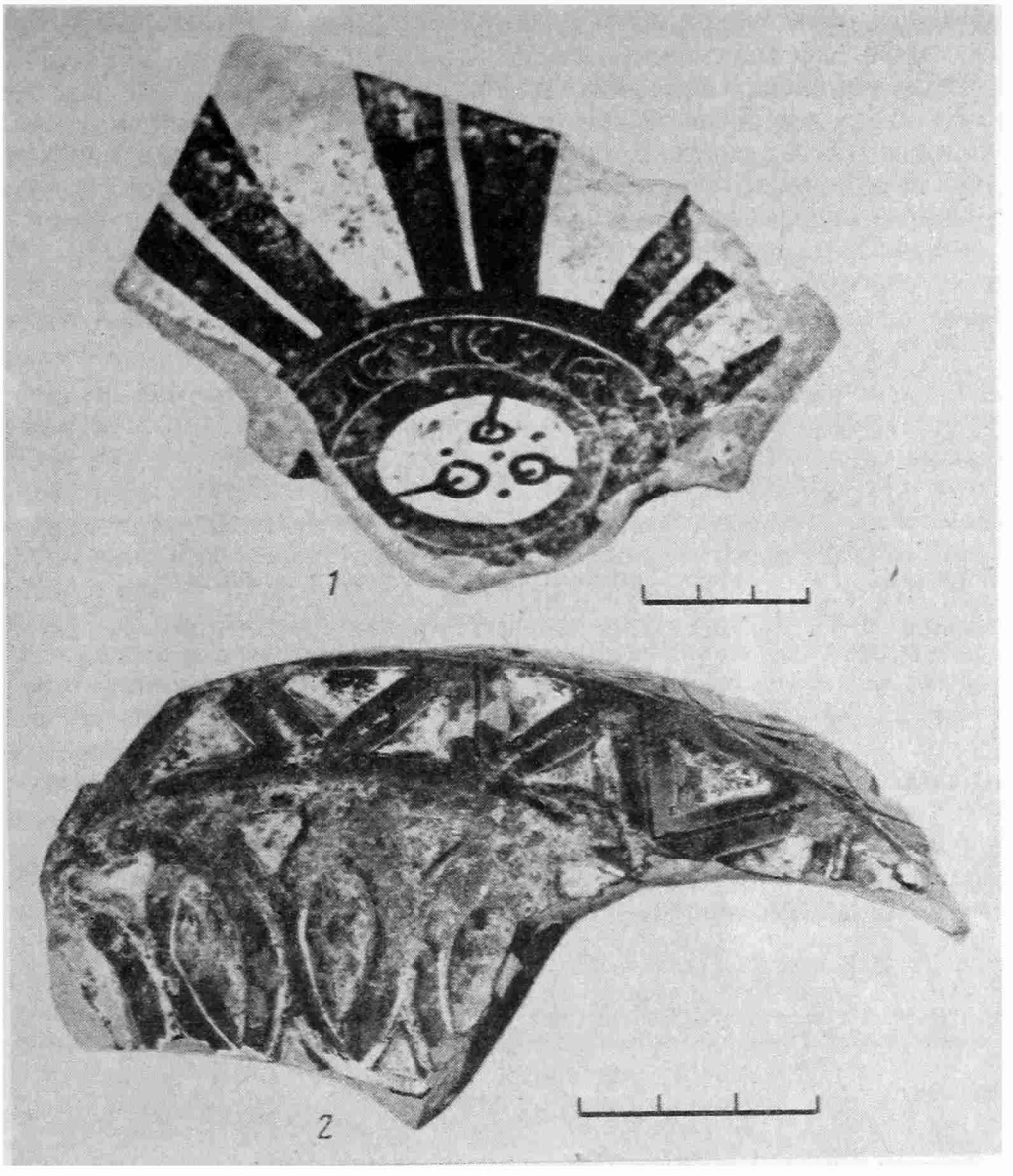


Рис. 8. *1* — керамика, украшенная гравировкой по марганцевой росписи; *2* — керамика, украшенная резьбой по обсушенной глине до обжига

VIII группа выделяется декором, выполненным техникой резьбы по обсушенной глине до обжига. По мнению исследователей, эта техника имитировала резьбу по дереву [4, с. 282; 29, с. 34] К таким изделиям относится фрагмент. украшенный треугольниками и миндалевидными фигурами, выполненными техникой резьбы по обсушенной глине и покрытыми светло-зеленой поливой (рис. 8, *2*). Аналогичные узоры, выполненные в той же технике, известны на посуде из Байлакана [4, табл. XXVII—XXVIII] и Двина [5, табл. XX, 5]

Подводя итоги изучения поливной керамики средневекового города Шабрана, мы отчетливо видим, что производство ее в XI — начале XIII в. являлось развитой отраслью городского ремесла. Средневековые мастера, изготовлявшие различные виды керамических изделий, в частности кувшины, чаши, блюда, светильники и солонки, покрывали их поливой. Среди этих изделий преобладают чаши.

Шабранские мастера овладели всеми основными приемами техники декорировки своего времени и создавали высокохудожественные, разнообразные и неповторимые образцы декоративно-прикладного искусства. В орнаментации

изделий главная роль принадлежит геометрическим и растительным мотивам, имеются также изобразительные сцены и эпиграфические орнаменты.

Исследуя поливную керамику Шабрана XI — начала XIII в., нетрудно проследить связи с керамикой средневековых городов Азербайджана, а также стран Ближнего и Среднего Востока. Но вместе с тем шабранская керамика по технике декорировки, по орнаментальным мотивам, построению композиции и выбору цветов отличается от продукции других керамических центров.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Левиатов В. Н.* Две марки керамических мастерских Шабрана // Докл. АН АзССР. 1946. Т. II. № 2.
2. *Lane A. A.* Early Islamic Pottery. L., 1947.
3. *Левиатов В. Н.* Керамика Старой Ганджи. Баку: Изд-во АН АзССР, 1940.
4. *Якобсон А. Л.* Художественная керамика Байлакана (Орен-Кала) // МИА. 1959. № 67.
5. *Кафадарян К. Г.* Город Двин и его раскопки. Т. II. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1982.
6. *Schnyder R.* Medieval Incised and Carved Wares from North-West Iran // The Art of Iran and Anatolia. L., 1974.
7. *Майсурадзе З.* Грузинская художественная керамика XI — XIII вв. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1954.
8. *Шишкина Г. В.* Глазурованная керамика Согда. Ташкент: Фан, 1969.
9. *Ахмедов Г. М.* Средневековый город Байлакан. Баку: Элм, 1979.
10. *Наджафова Н. Н.* Художественная керамика Азербайджана XII—XV вв. Баку: Изд-во АН АзССР, 1964.
11. *Кафадарян К. Г.* Город Двин и его раскопки. Т. I. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1952.
12. *Stein A.* Archaeological Reconnaissances in North-Western and South-Eastern Iran. L., 1937.
13. A. Survey of Persian Art / Ed. Pope A. U. V X. Tokyo, 1964—1965.
14. *Pope A. U.* The Ceramic Art in Islamic Times // A Survey of Persian Art. V IV Tokyo, 1964—1965.
15. *Hobson R. L.* Handbook of the Pottery and Porcelein of the Far East. L., 1948.
16. Islamic Pottery. L., 1956.
17. *Расим Эфенди.* Эмблематика и символика в декоративно-прикладном искусстве Азербайджана // Изв. АН АзССР 1967. № 2.
18. *Мицишвили М. Н.* Поливная керамика Древней Грузии (IX—XIII вв.). Тбилиси: Хелобнева, 1969.
19. *Ремпель Л. И.* Искусство Среднего Востока. М.: Сов. художник, 1978.
20. *Орбели И. А., Тревер К. В.* Сасанидский металл. М.; Л.. Academia, 1935.
21. *Бабаев И. А., Ахмадов Г. М.* Кабала. Баку: Элм, 1981.
22. *Шелковников Б. А.* Поливная керамика из раскопок города Ани. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1957.
23. Islamic Art. L., 1957.
24. *Садик-бек Афшар.* Ганун ас-сувар. Введение / Пер., коммент. и примеч. Казиева А. Ю. Баку: Изд-во АН АзССР, 1963.
25. *Исмизаде, Ибрагимов Ф. А.* Художественная штампованная керамика средневекового Баку. Баку: Элм, 1983.
26. *Ташходжаев Ш. С.* Художественная поливная керамика Самарканда. Ташкент: Фан, 1967.
27. *Rice D. T* The Pottery of Byzantium and the Islamic World // Studies in Islamic Arx and Architecture. In Honour of Prof. K. A. C. Creswell. L., 1965.
28. *Хинц В.* Государство Элам. М.: Наука, 1977.
29. *Федоров-Давыдов Г. А.* Золотая Орда и монгольский Иран // Вестн. МГУ, 1978. № 6.

T. M. Dostiev

GLAZED POTTERY FROM THE MEDIAEVAL TOWN OF SHABRAN

(the 11th-13th cc. A. D.)

Summary

The paper presents the results of the study of glazed pottery from the mediaeval town of Shabran. Mediaeval craftsmen glazed various types of bowls, jars, lamps and salt-cellars. Their main characteristic features were: reddish clay, slip lining, decorative technique of engraving, campleve, paintings with manganese on white slip. For the most part decorations were comparatively simple. Geometrical patterns consisted of six-pointed stars, nets, knots of happiness, etc. Floral ornaments consisted of leaves, stems and flowers. We have also encountered representations of birds. This variety testifies that between the 11th and 13th centuries pottery-making was flourishing in Shabran.

Дискуссии

Ю. Н. ЗАХАРУК

АРХЕОЛОГИЯ: НАУКА ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЛИ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ?

В журнале «Советская археология», в новом ее разделе дискуссий, опубликована статья Л. С. Клейна [1], в которой обосновывается концепция археологии как источниковедческой науки и подвергнута острой критике концепция археологии как науки исторической. Как отмечает автор, «в советской археологической науке давно ведется спор нескольких научных школ с разными представлениями о сути, границах, методической процедуре и результатах археологии» [1, с. 211]. Таких школ Л. С. Клейн усматривает — семь. Из них — две «господствующая» и представленная автором и его сторонниками — «занимают крайние места в описанном спектре» [1, с. 211] Но, как это явствует из другой статьи Л. С. Клейна и его соавторов [2], речь идет не столько о «научных школах», по-разному рассматривающих проблему статуса археологии как науки, сколько о некоторых направлениях исследований в археологии. Не случайно, когда Л. С. Клейн касается вопроса об общей их методологической основе он уже не говорит о «научных школах», а об основе, объединяющей «все направления в советской археологии» [1, с. 211]. Эту общую методологическую основу он усматривает в том, что «мы одинаково признаем, что процесс познания, к которому мы профессионально причастны, начинается с археологических памятников (материальных древностей) и ведет к освещению реальных обществ прошлого, их культурного облика и истории» [1, с. 211] Однако Л. С. Клейн не последователен, когда он, кроме того, усматривает общее «и в специальных представлениях о характере археологического познания» [1, с. 211] С этим никак не согласуется главная идея концепции Л. С. Клейна, которая зиждется не на общем, едином, а различном понимании статуса археологии как науки. «Расхождения,— по Л. С. Клейну,— начинаются с определения функций и компетенции археологии как отдельной науки в этом процессе» [1, с. 211] В данном случае имеется в виду процесс исторического познания.

Суть «господствующей» концепции (статуса археологии как исторической науки) Л. С. Клейн усматривает в том, что одной дисциплине приписывается возможность охвата всего процесса «от сбора и обработки материальных древностей до познания древних обществ, их истории и даже закономерностей их развития» [1, с. 211]. Л. С. Клейн отвергает такое понимание задач, статуса археологии. Он подчеркивает, что «общества прошлого, исторический процесс — объект (или предмет) *всего* общественно-исторического знания, но это не значит — каждой исторической дисциплины в частности» [1, с. 212] По Л. С. Клейну, частные исторические науки не могут иметь предметом своего познания социальное прошлое. Оно является целью познания всех общественно-исторических наук. Такова исходная позиция концепции Л. С. Клейна.

Категорически отвергая концепцию частных наук с историческими задачами, Л. С. Клейн утверждает, что такое понимание их предмета «сжимает процесс познания, побуждает перескакивать через промежуточные этапы и стимулирует упрощенные трактовки» [1, с. 211] Таковы претензии Л. С. Клейна к концепции

археологии как исторической науки. При этом Л. С. Клейн не считает нужным объяснить, почему эта концепция «сжимает процесс познания»; в чем это выражается; почему она «побуждает перескакивать через промежуточные этапы»; почему «стимулирует упрощенные трактовки»? Вместо этого, свое неприятие концепции статуса археологии как исторической науки, Л. С. Клейн пытается обосновать ссылкой на ущербность ее археологических источников. Он утверждает, что «археологические источники слишком односторонни, лакунарны, фрагментированны, информация о прошлом в них преобразована, искажена. На основе одних лишь археологических источников исторический процесс реконструировать опасно: он получится однобоким, искаженным, недостоверным» [1, с. 211]. В этих исходных, основополагающих утверждениях Л. С. Клейна не все однозначно и далеко не все обосновано. Оспаривать лакунарность (и, что то же самое, фрагментарность) и как следствие этого односторонность археологических источников не приходится. Вряд ли можно оспаривать односторонность и ограниченность реконструкции прошлого на основе каких-либо *одних* источников, в том числе и археологических. Однако из этого никак не следует, что реконструировать прошлое на основании археологических источников опасно и что такая реконструкция будет *искаженной* и *недостоверной*. Не только археологические, но и все другие виды исторических памятников каждый по-своему — односторонни и неполны. Но это никак не значит, что они недостоверны и искажают исторический процесс. Если бы это было так, то, в этом случае, они лишились бы статуса исторических источников. Равным образом парадоксально вслед за Л. С. Клейном полагать, что искажающие социальное прошлое исторические источники в совокупности обретают статус источников исторических. Напротив, именно в силу своей специфики и неизбежной односторонности исторические источники в их синтезе являются взаимодополняющими и незаменимыми в историческом познании. Благодаря этому компенсируется их фрагментарность и односторонность. Если согласиться с утверждением Л. С. Клейна, что каждый вид исторических источников дает искаженную историческую информацию, то, в этом случае, они не только лишаются статуса исторических источников, но и отпадает сама возможность их исторического синтеза.

В свою очередь, в силу специфичности и неизбежно связанной с этим односторонности различных видов исторических источников, было бы ошибочно абсолютизировать, придавать исключительное источниковедческое значение какому-либо одному из них. В равной мере это касается и письменных источников. Однако Л. С. Клейн в этом вопросе придерживается иной точки зрения. Он считает, что «только одна из этих наук в силу специфики своих источников, очень разносторонних и имеющих один код с историей, вправе (и то в определенных границах) реконструировать весь исторический процесс — та, что ведает письменными источниками» [1, с. 211] Л. С. Клейн при этом не счел нужным объяснить: благодаря какой именно специфике письменные источники обретают привилегию на реконструкцию исторического процесса? В чем особая разносторонность письменных источников? В том, что они обладают одним кодом с историей? Разве этнографические или историко-лингвистические источники не обладают тем же кодом? И наконец, если письменная история, как полагает Л. С. Клейн, реконструирует исторический процесс «в определенных границах», не лишне было бы уточнить, в каких именно. В связи с тезисом Л. С. Клейна об исключительной роли науки и письменных источников в историческом познании следует напомнить точку зрения академиков Б. Д. Грекова и М. Н. Тихомирова на проблему статуса исторических наук (по их терминологии — дисциплин) в историческом познании (комплексной исторической науки) Они считали, что «историческая наука — это наука комплексная, основанная на всех достижениях истории, археографии, археологии, лингвистики, этнографии, и только недалекие люди могут думать о приоритете какой-либо из этих исторических дисциплин» [3, с. 54]

В свете рассматриваемых различных концепций статуса археологии как науки проблема научно-познавательных возможностей археологических источников приобретает первостепенное, если не решающее значение. С этой проблемой тесно связан ряд других вопросов, касающихся специфики археологических источников, их незаменимого значения как источников исторических и решаемых на их основе задач археологического исследования. Л. С. Клейн в ряде своих работ и в своей монографии, посвященной археологическим источникам [4], специально касался этих вопросов. Он выразил скептическое отношение к двум версиям, рассматривающим статус археологических источников: одной — *признающей* и другой — *отрицающей* значение археологических источников как источников исторических. Обе эти версии он объявил упрощенными и предложил свою — «срединную» версию, согласно которой «археологические источники — и не безоговорочно исторические, и не только исторические» [4, с. 25] Он не только высказал сомнение в научно-познавательных возможностях археологических источников, но и счел возможным и нужным поставить вопрос о том, а «есть ли в исторических источниках историческая информация?» [4, с. 36] Резонно в таком случае спросить — если в исторических источниках нет исторической информации, на каком основании они провозглашаются историческими источниками? И еще один, принципиально важный вопрос: что же, по Л. С. Клейну, следует считать историческим источником? Оказывается, все-таки, что исторический источник это «объект... содержащий... *информацию о фактах прошлого, имеющих познавательно-историческое значение (характеризующих исторический процесс)*» [4, с. 38] Если Л. С. Клейн считает, что исторический источник действительно содержит историческую информацию, то к чему сама постановка парадоксального вопроса об исторических источниках без исторической информации? И, наконец, как согласовать различное, взаимоисключающее понимание Л. С. Клейном задач археологии. В одном случае, по Л. С. Клейну, археологии как науке следует «сугубо ограничить свои выводы» и заняться «нужными и сложными процедурами», а также предлагать «полуфабрикаты, над которыми еще работать и работать» [1, с. 215]. В другом случае Л. С. Клейн считает, что предметом археологии являются археологические источники, а «ее непосредственная цель — та информация о прошлом, которую можно из них извлечь» [1, с. 212] Удивительная противоречивость в исходных принципах, их обосновании и выводах!

Л. С. Клейн справедливо заметил, что «процесс научного познания (в данном случае — исторического познания. — *Ю. З.*) глубоко эшелонирован» [1, с. 212], равно как оправданно его предостережение против перескакивания в нем «через промежуточные этапы» [1, с. 211] Таких этапов можно было бы выделить — три: а — источниковедческий, б — реконструктивный, в — синтетический. Проблемы реконструкции социального прошлого, а также синтеза исторической информации в историческом познании являются важными и сложными логико-методологическими задачами всего исторического познания. Как же решаются эти задачи согласно концепции Л. С. Клейна? В одном случае, как уже отмечалось, исторический процесс, по Л. С. Клейну, является предметом «*всего* общественно-исторического знания, но это не значит — каждой исторической дисциплины в частности» [1, с. 212] И тут же, на этой странице, он уже утверждает противоположное, что исторический процесс реконструируют «*в рамках особой науки*» [1, с. 212] (курсив мой.— *Ю. З.*). Такой привилегией пользуется такая синтетическая наука, как *история*. Все частные исторические науки, за исключением истории, являются, по Л. С. Клейну, чисто источниковедческими науками, и поэтому реконструкция прошлого не входит в их задачу исследования. Тем не менее оказывается, что для «ранних этапов» (т. е. этапов дописьменной истории) такой же синтетической наукой является *еще одна наука*. «Для ранних этапов это, конечно, преистория» [1, с. 216] Почему —

конечно? И почему — преистория? Как известно, время становления и истории человечества охватывает огромнейший период, по крайней мере не менее 2,5 млн. лет. Не менее известно также, что письменные источники отражают крайне короткий период человеческой истории, насчитывающий всего лишь несколько тысячелетий, и то для весьма ограниченной территории. Л. С. Клейн полагает, что для этого длительного дописьменного периода, для которого известны, главным образом, археологические источники, такой синтетической наукой является — преистория. Последняя, однако, существенно отличается от истории, опирающейся на письменные источники, которым Л. С. Клейн придает решающее значение в определении статуса синтетической науки. Преистория в отличие от истории не располагает своими особыми источниками. Она в лучшем случае может опираться на археологические источники, информация которых, как подчеркивал Л. С. Клейн, недостоверна и искажена. Л. С. Клейн, как видим, отходит от своих исходных посылок: истории как единственной синтетической науки и об исключительной роли письменных источников в историческом познании.

Поскольку реконструкция социального прошлого на базе исторических источников является важным и непременным звеном в историческом познании, необходим четкий ответ на вопросы, *какие науки* и *как* решают задачу исторических реконструкций. Л. С. Клейн занимает в этих вопросах далеко не однозначную, непоследовательную позицию. Строго разделяя исторические науки на источниковедческие и синтетические, задачи исторических реконструкций он относит только к компетенции синтетических наук. Если, как в этом случае утверждает Л. С. Клейн, задачу реконструкции прошлого вполне решает такая синтетическая наука, как история, зачем понадобилось привлечение для решения этой задачи еще одной науки — преистории? Если же одной синтетической науке эта задача по каким-то причинам не под силу, важно было бы узнать, как эту задачу решает каждая из этих синтетических наук в отдельности и вместе. Л. С. Клейн, однако, не счел нужным коснуться этого вопроса.

Как известно, каждая частная историческая наука имеет дело со своими особыми источниками, которые, как справедливо заметил Л. С. Клейн, — «слишком специфичны», равно как и специфичны и «методы их изучения», которые требуют специальных «знаний и навыков», а также и «мастерства» [1, с. 212] Из этого бесспорного положения, казалось бы, логично должно было следовать заключение о том, что и решение проблемы реконструкции социального прошлого на базе каждого вида исторических источников представляется не менее специфичным, также требующим особых знаний, применения специальных методов и навыков, а также и мастерства. Если же овладение этими специальными знаниями и методами исторических реконструкций не входит в предметную область исследования каждой частной исторической науки, закономерно возникает вопрос о том, *каким образом* это удается одной или двум синтетическим наукам, имеющим дело со *всем разнообразием* специфических исторических источников? Л. С. Клейн всячески старался доказать, почему частные исторические науки не вправе реконструировать прошлое на базе своих источников. Он возражает против самой возможности постановки вопроса о реконструкции прошлого частными историческими науками. Ибо, если, по Л. С. Клейну, согласиться с такой возможностью — «сколько было бы историй и все однобокие и искаженные!» [1, с. 211] Напрасное беспокойство. Различные виды исторических источников отражают, как известно, не разные, а *одну и ту же, единственную историю*. Если бы они отражали разные истории, то в этом случае вообще было бы бессмысленно ставить вопрос о возможности синтеза исторической информации частных наук в историческом познании.

Концепция Л. С. Клейна о реконструкции социального прошлого особыми синтетическими науками на базе всех видов исторических источников противоречит практике исторического познания, развитию и опыту всех частных исторических наук. Как хорошо известно, основополагающим, фундаментальным

понятием археологии является понятие — «археологической культуры» (АК) Археологическое познание, что не менее известно, не ограничивается только источниковедческими задачами ее исследования, в частности, задачами выделения АК. Археология непременно исследует важную и сложную проблему, касающуюся атрибуции АК, определения ее историко-археологического содержания. Этой проблеме в археологической литературе посвящено немало исследований, в том числе и работы Л. С. Клейна [5, 6] Археология решает, вместе с тем, не менее сложную задачу разработки методов реконструкции прошлого на основании ее источников. Показательно, что последние годы все большее внимание уделяется исследованию теоретико-методологических проблем исторических реконструкций в археологии [7, 8] Отрыв задач исторических реконструкций от предметной области исследования частных исторических наук и отнесение их к задачам стоящих над ними синтетических наук противоречит традиционно установившимся предметным рубежам исследования частных исторических наук и сложившимся связям между ними.

В историческом познании наряду с проблемами исторических реконструкций не менее важное место занимают проблемы исторического синтеза данных всех исторических наук. Разделяет эту точку зрения и Л. С. Клейн. Кто же, по Л. С. Клейну, вправе посягать на привлечение данных источников других наук? Он отвечает: специалисты по синтезированию. «Посягать же на самостоятельное привлечение других источников археолог не должен: источники слишком специфичны, методы их изучения совершенно иные, у археолога нет таких знаний и навыков» [1, с. 211, 212]. Вместе с тем он считает, что «никто не возбраняет археологу овладеть этой второй профессией... Для этого он, археолог, должен вполне освоить ее методы и ее состоящий из результатов разных источниковедческих наук материал» [1, с. 212] Следует заметить, что привлечение материалов других исторических наук не связано непременно с овладением профессией этих наук. Если же речь идет о привлечении археологом других источников, то в этом случае, действительно, не обойтись без овладения другими профессиями. Это всецело зависит от желания самого исследователя. Можно привести немало примеров, когда ученый одной специальности овладевает профессиями других наук. Проблема, однако, не в том, должен ли или не должен *специалист* одной науки непосредственно привлекать источники других наук. Речь о другом — должна ли *наука*, базирующаяся на своих источниках (например, историческая наука на источниках письменных) непосредственно привлекать источники других наук. Л. С. Клейн усматривает коренное отличие источниковедческих наук от наук синтетических в том, что первые лишены этого права и только синтетические науки обладают этой привилегией. Если это так, то закономерно возникает вопрос — какой смысл представителям синтетических наук непосредственно привлекать источники других наук и для этого специально овладевать другими сложными профессиями и методами их исследования, если это профессионально и успешно осуществляют специальные источниковедческие науки? К чему такое неоправданное дублирование исследовательских задач источниковедческих наук науками синтетическими? Конечно, ни к чему. Суть проблемы, в конечном счете, не в непосредственном использовании одной наукой *источников* других наук, а в использовании одной наукой *исторической информации* других наук. А это совсем не одно и то же. По Л. С. Клейну правом привлечения исторической информации частных наук пользуются только синтетические науки. Источниковедческие науки, как уже отмечалось, ограничиваются, по Л. С. Клейну, поставкой синтетическим наукам только источниковедческих «полуфабрикатов». Но Л. С. Клейн и на сей раз непоследователен. Его концепция не согласуется, в частности, с другим важным его положением — об «*информации о прошлом*, которую поставляют археология, лингвистика, этнография и др. каждая после *проработки своих источников своими методами*» [1, с. 216] (курсив мой. — *Ю. З.*) Как видим, в свете этого принципиально важного положения сами источнико-

ведческие науки — археология, этнография, лингвистика и бесспорно также и история (опирающаяся на свои письменные источники) в историческом познании поставляют не какие-то там «полуфабрикаты», а историческую информацию о прошлом и тем самым вполне успешно решают те задачи, которые Л. С. Клейном объявлялись привилегией одних синтетических наук. Таким образом, отпадает основополагающий тезис концепции Л. С. Клейна об особой синтетической науке, обладающей привилегией исторических реконструкций и исторического синтеза, равно как и об историках — «специалистах по синтезированию», владеющих особыми «методами синтеза» всех видов исторических источников и на их основе реконструирующих и синтезирующих знание социального прошлого.

Как же решается или, точнее, должна решаться задача исторического синтеза в историческом познании? Прежде всего следует особо подчеркнуть, что, как уже отмечалось, проблема синтеза касается не синтеза источников, а исторической информации, которую поставляют частные исторические науки. Исторические источники, если воспользоваться термином Л. С. Клейна, представляют собой полуфабрикаты, над которыми действительно еще много надо работать, чтобы извлечь из них историческую информацию. И это успешно осуществляется в рамках каждой частной науки на базе своих исторических источников. Поскольку социальное прошлое получило свое отражение в различных видах исторических источников, решение генеральной задачи всего исторического познания — реконструкции истории человечества — непременно предполагает синтез всей исторической информации, поставляемой частными историческими науками. Общий уровень и достижения исторического познания впрямую зависит, прежде всего, от успехов и достижений каждой частной исторической науки, на что, как уже отмечалось, обращали внимание видные советские историки — академики Б. Д. Греков и М. Н. Тихомиров [3, с. 54] Поэтому важнейшей задачей каждой частной исторической науки является глубокая проработка их специфических источников с целью максимально полного извлечения из них исторической информации. Это достигается путем увеличения объема привлекаемых источников и совершенствования как источниковедческих, так и интерпретационных методов исследования. Однако этими задачами частных исторических наук не ограничиваются задачи исторического познания. Без привлечений всей исторической информации, поставляемой всеми частными историческими науками, невозможно максимально полно осуществить реконструкцию истории во всем ее многообразии и конкретности. Хотя каждая частная историческая наука при реконструкции прошлого, прежде всего, естественно, опирается на данные своих источников, она вместе с тем, не может игнорировать информацию других исторических наук, имеющую прямое отношение к их общему предмету исследования. В противном случае неизбежно произойдет искусственное членение единой истории на ряд не связанных между собой историй — «археологической», «письменной» и т. п. На уровне интерпретации своих источников и реконструкции на их основе прошлого каждая историческая наука включается в область исследования и разработок проблем общеисторического познания. Будь то первобытная, античная или средневековая история, археолог, «письменный» историк, лингвист в равной мере должны обладать историческими знаниями этих разделов истории и профессионально ориентироваться в их проблематике, быть в курсе того, что делается в этом отношении в сопредельных науках. Ибо, все они, археологи, «письменные» историки, лингвисты, этнографы являются не только специалистами-источниковедами, но и *историками*. Поэтому, когда речь идет, к примеру, о таких совместных, междисциплинарных исследованиях как антропосоциогенез, этногенез и т. п. бросается в глаза особая заинтересованность исследователей каждой исторической специальности в результатах исследований друг друга и их общее стремление к синтезу исторических достижений всех исторических наук. Этот синтез — не простое их сложение, суммирование. Каждый исследователь,

опираясь на результаты исследований других исторических наук, уточняет данные своих источников и сделанные на их основе выводы и вносит корректив в исторические реконструкции и общую картину исторического прошлого.

Л. С. Клейн не ограничился только обоснованием своей концепции статуса исторической науки как науки синтеза. Он попытался, кроме того, как он выразился, «определить социальную и психологическую базу» концепции археологии как науки исторической. Последняя, по его мнению, характеризуется «отраслевым индувидуализмом» и «самонадеянностью» Л. С. Клейн счел также важным «подумать над вопросом, в чем кроется секрет ее живучести» [1, с. 215] Ее основу он усматривает «в том, что в археологию постоянно вливается поток людей с широкими гуманитарными и социально-историческими интересами, но зачастую без достаточной археологической подготовки» [1, с. 215]. Конечно, очень плохо, когда в археологию «вливаются» люди с недостаточной археологической подготовкой. Но не менее прискорбно, что не всем оканчивающим университет и имеющим, надо полагать, неплохую археологическую подготовку, удается пополнить ряды археологов. Вряд ли следует усматривать как недостаток в подготовке археологов — их широкие гуманитарные и социально-исторические интересы. Конечно неприемлемо, когда археологи «стремятся решать социально-исторические проблемы, причем простыми приемами, и верят, что это возможно»; равным образом недопустимо, когда археологи «хотят ввести в само определение избранной науки свое право на простые методы и „дилетантские вылазки“» [1, с. 215] в другие области исторического познания. Концепция археологии как исторической науки, по Л. С. Клейну «предлагает готовые решения широких проблем», которые «то и дело оканчиваются банкротством», но «это ничему не учит энтузиастов скорых и простых решений» [1, с. 215] Какой примитивной, антинаучной по-существу выглядит в представлении Л. С. Клейна концепция археологии «возведенной в историю» [1, с. 215] Что можно сказать о самом определении Клейном ее «социальной» (!), «психологической» базы? Есть удивительно точные, для этого случая, слова самого Л. С. Клейна: «Беда не только в том, что эта декларация абсолютно голословна, она еще и по меньшей мере некорректна» [1, с. 218] В самом деле, если концепция археологии как исторической науки выглядит столь неприглядной, обанкротившейся, чем объяснить, что эта концепция стала, по Л. С. Клейну, *господствующей* в советской археологической науке? По причине легковесных взглядов, отсутствию научной требовательности у ее «энтузиастов»? В 1977 г. Л. С. Клейн пытался утверждать, что «отделение археологии от преистории, истории и социологии *находит сейчас все больше сторонников* в марксистской науке» [9, с. 9] Однако, как теперь признает Л. С. Клейн, в советской археологической науке господствующей является концепция историзма археологии.

В обоснование своей концепции — особой роли синтетических наук (истории и преистории) в историческом познании — Л. С. Клейн счел возможным сослаться на труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Критикуя взгляды В. Ф. Генинга, отвергающего концепцию особых синтетических наук, Л. С. Клейн замечает: «Теоретику-марксисту не грех бы припомнить, что на Западе Маркс и Энгельс не считали зазорным опираться *на эти науки* и *даже пользоваться терминами* „доистория“, „доисторический“» [1, с. 216] (курсив мой.— *Ю. З.*) Действительно, К. Маркс и Ф. Энгельс нередко пользовались указанными терминами. Но, значит ли это, что К. Маркс и Ф. Энгельс придавали им тот же смысл, что и Л. С. Клейн? К. Маркс, например, пишет о том, что историческая наука, опирающаяся на концепцию развития материального производства, делит «*„доисторические времена“* на соответствующие *периоды* „по материалу орудий и оружия“» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 191). К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» остро критиковали немецких идеалистов за игнорирование ими действительной основы истории и за надуманное ими противопоставление «предыстории» и «истории». Они же (немецкие идеалисты), как отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, не дали никаких разъяснений относительно

того, как совершается переход от этой «бессмысленной „предыстории“ к собственно истории» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 27). И в этом случае ни о каких науках «предыстории» и «истории» у К. Маркса и Ф. Энгельса нет и речи. Ф. Энгельс в своих работах также пользовался терминами «доисторический», «предыстория». Он пишет о «*доисторической* основе нашей письменной истории» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 26), о «*предыстории* человечества» (там же, с. 28) (курсив мой.— *Ю. З.*). Совершенно ясно, что в этих случаях шла речь о дописьменном периоде человеческой истории. Особо у Ф. Энгельса идет речь о «писаной истории» (там же, с. 26). Как видим, ни в одном случае ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс не пользовались терминами «предыстория», «доистория», «преистория» для обозначения особых синтетических наук. Вопреки утверждению Л. С. Клейна, К. Маркс и Ф. Энгельс не опирались «на эти науки» и не пользовались этими терминами в духе концепции Л. С. Клейна. Поэтому, не гоже, недопустимо теоретику, тем более марксисту, в обоснование своей концепции приписывать терминам, которыми пользовались К. Маркс и Ф. Энгельс, не соответствующее их пониманию содержание. Если уж действительно вспоминать К. Маркса, его понимание задач исторического познания и роли в нем исторических источников, не грех бы вспомнить известное, ставшее хрестоматийным его положение о важном значении такой категории археологических источников, как орудия труда, для «изучения исчезнувших социально-экономических формаций» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 191). Это положение имеет важное методологическое значение при рассмотрении проблемы статуса археологии как исторической науки и характера решаемых ею исторических задач. Весь опыт советской археологической науки убедительно свидетельствует о том, что вопросы реконструкции социального прошлого на основе археологических источников рассматривались подавляющим большинством археологов как важнейшая, генеральная задача нашей науки.

В заключение — одно замечание. В условиях, когда вопросы научной критики, полемики, дискуссий приобретают в археологической науке важнейшее, решающее значение для ее успешного развития, совершенно недопустимо нетерпимое отношение некоторых исследователей к критике их концепций, взглядов, равно как и оскорбительные для оппонентов форма, стиль и приемы ведения полемики. Поэтому необходимо повышать сам уровень ведения научных дискуссий, а также непременно дополнять их критическую часть перспективными идеями и конструктивными положениями.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Клейн Л. С.* О предмете археологии (в связи с выходом книги В. Ф. Генинга «Объект и предмет науки в археологии») // СА. 1986. № 3.
2. *Bulkin V. A., Klejn L. S., Lebedev G. S.* Attainments and Problems of Soviet Archaeology // World Archaeology. 1982. V 3. № 3.
3. *Тихомиров М. Н.* К пятилетию со дня смерти академика Бориса Дмитриевича Грекова // История СССР 1958. № 5.
4. *Клейн Л. С.* Археологические источники. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.
5. *Клейн Л. С.* Проблема определения археологической культуры // СА. 1970. № 2.
6. *Клейн Л. С.* Археология и этногенез (новый подход) // Методологические проблемы исследования этнических культур. Материалы симпозиума. Ереван, 1978.
7. Археология и методы исторических реконструкций. Киев, 1985.
8. Проблемы реконструкций в археологии. Новосибирск, 1985.
9. *Клейн Л. С.* Предмет археологии // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1977.

Y. N. Zakharuk

WHETHER ARCHAEOLOGY IS A HISTORICAL OR A SOURCE STUDY SCIENCE

Summary

The author offers his critical analysis of L. Klein's conception, its basic principles and propositions about archaeology being an auxiliary source study discipline with its findings being "semi-finished" products used by history and proto-history. He shows the futile nature of Klein's attempts to substantiate his views by references to Marx and Engels and maintains that archaeology is a historical science that presents humankind's social past on the basis of its own specific sources.

В. Ф. ГЕНИНГ

АРХЕОЛОГИЯ — ЦЕЛОСТНАЯ НАУЧНАЯ СИСТЕМА ИЛИ «ДИЛЕТАНТСКИЕ ВЫЛАЗКИ» И «ПОЛУФАБРИКАТ ЗНАНИЯ»?

(По поводу концепции объекта и предмета археологии Л. С. Клейна)

В современной археологии все большее внимание специалистов привлекают проблемы логико-методологического осмысления археологической науки, направленного на совершенствование как познавательного процесса, так и углубление знания, раскрывающего историю древних обществ. В этом проявляется насущная внутренняя потребность современной науки, возникшая в результате ее собственного развития, все более широкого внедрения исследований социально-исторических проблем, базой которого стало накопление огромного фонда источников, при катастрофическом отставании методов переработки и осмысления этих источников. Естественно, что решение подобных фундаментальных проблем науки, которые наиболее полно находят свое отражение в определениях объекта и предмета науки, а также построении уровневой системы знания, не может не вызывать оживленной дискуссии.

Включился в эту дискуссию и Л. С. Клейн. Исходя из своих представлений о сути, границах, целях, методической процедуре и результатах археологических исследований, он первоначально выделял в советской археологии четыре точки зрения [1, с. 5—7], а затем, в совместной работе с В. А. Булкиным и Г. С. Лебедевым,— семь школ [2, с. 211] На одном полюсе этой классификации находятся перечисленные авторы, считающие, что археология — источниковедческая дисциплина и в соответствии с этим ее предмет «не древние общества, не исторический процесс, а археологические источники; ее непосредственная цель — та информация о прошлом, которую можно из них извлечь» [2, с. 212], включение материальных древностей в систему культуры [1, с. 10] На другом полюсе, по их мнению, находится господствующая школа, в которой считают, что «для обеспечения целенаправленности, неразрывности и последовательности познания необходимо, чтобы *одна* научная дисциплина, в частности археология, охватывала весь этот процесс — от сбора и обработки материальных древностей до познания древних обществ, их истории и даже закономерностей их развития» [2, с. 211] Заметим, что это социологическое направление в археологии [3, с. 176 и сл.], однако Л. С. Клейн старательно не употребляет данный термин. Объектом критики этого направления Л. С. Клейн избрал мою монографию по проблемам объекта и предмета науки в археологии [4] Но критику эту нельзя назвать корректной, поскольку Л. С. Клейн позволяет себе выдергивать цитаты и вольно их толковать.

Против чего же выступает Л. С. Клейн? Против того, что археология как самостоятельная наука способна изучать проблемы социально-исторического развития древних обществ и — я бы сформулировал это шире — против историзма археологии, вопроса, который нам казался уже давно не дискуссионным и решенным для советской археологии самой жизнью. Но оказывается, сохранился и другой взгляд на науку. Однако, чтобы убедить в этом, необходим обстоятельный анализ и критика социологического направления в археологии, а этого у Л. С. Клейна нет. Можно ли считать серьезным аргументом утверждение о том, что в социологическом направлении сильно сжимается процесс

познания, что оно побуждает перескакивать через промежуточные этапы и стимулирует упрощенные решения? Или то, что археологические источники слишком неполны, информация в них искажена и реконструкция получается однобокой, ибо отбрасываются все связи с другими науками (этнографией, антропологией, письменными источниками и т. д.) [2, с. 211, 213]?

Остановимся вначале на некоторых приемах дискуссии Л. С. Клейна. «Лишь в свете законов формационного развития,— сказано в моей книге по поводу предельного уровня знания в археологии,— рассмотрение любого исторического явления может получить объективную оценку. Однако следует иметь в виду, что понятие „общественно-экономическая формация" — это философская категория, а теория общественной формации — область изучения законов, выражающих наиболее общие черты всемирно-исторического общественного развития. Поэтому исторический аспект общественной формации, который, конечно, будет иметь несколько иное содержание, некоторые авторы предлагают рассматривать в понятии „эпоха общественно-экономической формации" как категории исторической науки... Закономерности развития каждого общества определяются прежде всего ступенью общественно-экономической структуры в пределах определенной формации...» [4, с. 35, 36] Кажется, ясно, в каком аспекте понимаются категории формации в археологическом познании. Но Л. С. Клейн, найдя в книге фразу: «Археология изучает преимущественно ранние формации...», вырывает ее из контекста и глубокомысленно заключает: «Археология вообще не изучает формации. Их изучает политэкономия, по ним упорядочивает свой материал историческая социология и в известной мере история» [2, с. 213]. Таким способом Л. С. Клейн свободно отметает любые, даже самые фундаментальные положения марксистской исторической, в том числе и археологической науки. Что же касается его собственных контраргументов, то он весьма категоричен — по приведенному выше вопросу он считает, что здесь достаточно вспомнить «периодизацию, которая по праву называется „археологической": палеолит, мезолит, неолит, энеолит, бронзовый век» [2, с. 213]

Положение о том, что археология как историческая наука исследует жизнедеятельность древних обществ во всех сферах, в пределах сохранившихся остатков и следов этой деятельности, вызывает у Л. С. Клейна недоуменный вопрос: «...в силах ли археология собственными средствами изучать язык, танцы, музыку (не просто инструменты), философию древних обществ?» [2, с. 215] А разве история (письменная) изучает язык? Что же касается музыки, то, например, С. Н. Бибиков посвятил изучению ее в палеолите специальную монографию, приложив и пластинку с реконструированием музыки того времени [5] Но дело, по-видимому, не в этом. Конечно, далеко не всегда стороны жизнедеятельности древних обществ мы пока можем вскрыть вообще или же достаточно глубоко, но может ли Л. С. Клейн указать конкретно те сферы социальной жизни, которые должны быть выведены за пределы археологического познания по принципиальным соображениям? И еще: что значит «изучать музыку (не просто инструменты)»? А возможно ли изучать ремесло или земледелие, а не просто инструменты ремесла или земледелия?! Что же касается междисциплинарности в археологическом познании, т. е. привлечения данных других наук, в монографии действительно нет специальных разделов, посвященных этим вопросам [4] Это не значит, что «все отброшено», как пишет Л. С. Клейн [2, с. 215], поскольку это совершенно самостоятельная проблема, которая решается отнюдь не декларированием общих фраз.

Наиболее сильный аргумент против социологической направленности археологических исследований Л. С. Клейн видит, наверное, в том, что ему удалось «определить социальную и психологическую базу этой концепции» и вскрыть «секрет ее живучести», который, по его мнению, «заключается в том, что в археологию постоянно вливается поток людей с широкими гуманитарными и социально-историческими интересами, но зачастую без достаточной археоло-

гической подготовки. Они стремятся решать социально-исторические проблемы, причем простыми приемами, и верят, что это возможно. А им говорят: нет, займитесь-ка нужными и сложными процедурами, а в конце, будьте добры, сугубо ограничить свои выводы. Они хотят ввести в само определение избранной науки свое право на простые методы и широкие выводы, на „дилетантские вылазки" за традиционные границы» [2, с. 215] Неужели Л. С. Клейн действительно считает широкую историческую подготовку специалиста помехой для работы в области археологии и думает, что можно подавить насущные потребности науки в углублении социально-исторического знания и интереса к этому со стороны археологов? Не кажется ли Л. С. Клейну, что здесь он воюет с «ветряными мельницами» и тянет археологию назад, к XIX — началу XX в., когда процедуры упорядочения археологических источников довлели над всеми остальными? И уж совсем не к лицу выставлять сторонников социологического направления простаками, ибо именно они, как никто другой понимают архисложность проблем социально-исторического познания, трудность их решения и необходимость поиска в области теории и методов исследования.

Л. С. Клейн, не находя достаточно убедительных контраргументов социологическому направлению, использует ряд «оценочных» определений: «дилетантские вылазки в этнонимику, топонимику, фольклористику и т. д.» [1, с. 6] и «воинствующий дилетантизм» [2, с. 216], «готовые решения... оканчиваются банкротством» [2, с. 215], самонадеянность, перескакивание через промежуточные этапы и упрощенные трактовки и т. д. [2, с. 211—215] Свою позицию он видит как различие «между строгой (держащейся в границах своей компетенции) и не строгой (стремящейся к экспансии за эти границы)» [2, с. 217]

Но особенно яростные нападки вызвало то, что концепция Л. С. Клейна и ряда близких к нему авторов в моей монографии характеризовалась как ограничение археологических исследований лишь эмпирическим уровнем познания [4, с. 88—91, 163—177]. Кстати, к такому выводу фактически пришли и другие археологи (см.: [6, с. 200; 7, с. 257, 258; 8, с. 10, 11 и др.]). К сожалению, и в новой статье Л. С. Клейн не только не опровергает это заключение, а подтверждает его еще раз. В одном месте Л. С. Клейн пишет, что «процесс познания... начинается с археологических памятников (материальных древностей) и ведет к освещению реальных обществ прошлого, их культурного облика и истории» [2, с. 211]. Но ниже уже уточняет, что предмет археологии «не древние общества, не исторический процесс... Археология начинается с вещей и заканчивается системами и процессом» [2, с. 212], но отнюдь не историческим, как увидим ниже. Компетенция археологии, поскольку ее «источники слишком односторонни, лакунарны, фрагментированны и информация о прошлом в них преобразована, искажена» [2, с. 211], не выходит за пределы того, чтобы подготовить «полуфабрикаты, над которыми еще работать и работать» [2, с. 215], для передачи информации «специалистам по ее синтезированию, которые в рамках особой науки и реконструируют исторический процесс. Они-то и есть историки, их-то наука и есть история» [2, с. 212] Впрочем, не только история, выводы археологии можно передать также социологии, культурологии, истории культуры и т. д. [1, с. 11] Все сказано достаточно ясно, так же как и вывод: «...археология — *источниковедческая* наука..., ее предмет... археологические памятники..., непосредственная цель — информация о прошлом...» [2, с. 212]

В подобной трактовке археологии отводится роль только оперирования с вещами для получения первичной информации, а это и есть эмпирический уровень археологического знания. Если бы Л. С. Клейн не рассматривал философию как «дымовую завесу» [2, с. 212], а потрудился разобраться, что в философской литературе понимается под эмпирическим и теоретическим, а это категории, определяемые именно данной наукой, то мог бы найти четкое разъяснение: «В эмпирическом познании объект отражен со стороны его внешних связей и проявлений, доступных живому созерцанию... Эмпирическим путем познаются

явления, а не сущность... Теоретическое познание отражает объект со стороны внутренних связей и закономерностей движения, постигаемых путем рациональной обработки данных эмпирического знания» [9, с. 190, 191]

«Археология начинается с вещей,— резюмирует свое кредо Л. С. Клейн,— и заканчивает системами и процессом» [2, с. 212], но не историческими процессами, а какими-то иными. И это заставляет рассмотреть более подробно позицию Л. С. Клейна по проблемам объекта и предмета науки в археологии. Л. С. Клейн не определил достаточно четко, что он рассматривает в качестве объекта познания археологии, полагая, что эта категория вообще не нужна. Из контекста следует, что это археологические источники [2, с. 212], «материальные древности, рассматриваемые как источники познания жизни и культуры исчезнувших людей и их сообществ» [1, с. 5]. Но как в это можно поверить, если Л. С. Клейн пишет: «Археологические памятники большей частью вообще не содержат какой-либо компонент функционирующего общества, не содержат его предметный мир. Они зачастую представляют собой „негативную выборку" (термин Ю. Эггерса), т. е. как раз то, что *в функционирующем обществе отсутствовало, не существовало*» [2, с. 212] (курсив мой — *В. Г.*). При таком понимании содержания археологических памятников, вообще не ясно, как они *возникли* и как *можно* прийти к «освещению реальных обществ прошлого», имея то, что *не существовало у этих обществ?* Вот какую загадку задает Л. С. Клейн!

Обращаясь к рассмотрению предмета археологии, автор предостерегает, что археология должна оставаться в границах своей компетенции [2, с. 216, 217 и др.], и дает свое определение: «Право частной науки на обособление, на выделение собственного предмета определяется, во-первых, спецификой исходных материалов (источников), требующей особого методического аппарата, во-вторых, однородностью и связанностью всей цепочки методов (технических операций, процедур), ведущих от этих исходных материалов к целям познания, и, в-третьих, системной связью, цельностью, единством тех сущностей, которые являются целями познания» [1, с. 4, 5] Эти установки автор был обязан соблюсти при решении проблемы предмета науки. Первые два условия Л. С. Клейн не анализирует, считая, что уделял им достаточно внимания в прежних работах, и акцентирует все на третьем разделе — от вещей к системам и процессам [2. с. 212]

По мнению Л. С. Клейна, в предмет археологии необходимо включить «не только вещи с их простейшим порядком, но и систему более глубоких связей и отношений, в которую эти вещи включены» [1, с. 9] При этом он ссылается на статью Г П. Григорьева, который включает в систему связей *только связи в пределах археологических памятников* [10]. Неужели это и есть те единственные «глубокие связи и отношения», которые необходимо включать в систему предмета познания археологии, чтобы «определить рациональный предел, на котором проникновение археологии как особой науки в глубь этих связей и отношений должно остановиться» [1, с. 9]? Какой же это конкретно предел? По Л. С. Клейну, археология «начинает с вещей и заканчивает системами и процессом», причем какими именно не ясно и из другого замечания о том, что она «изучает источники не порознь, она их сводит в систему, а за ней ищет динамику» [2, с. 212] Но в более ранней работе Л. С. Клейн пишет, что познание «в рамках одной науки должно продолжаться до тех пор, пока не исчезнет разрозненность ее объектов, пока не обнаружится системная связь между материалами, пока совокупность фактов не предстанет в системе функциональных сцеплений» [1, с. 10] Уже в этом рассуждении обнаруживается существенное расхождение с собственными установками по поводу выделения частной наукой своего предмета. Там системная связь, цельность ставилась как условие для тех сущностей, которые являются целями познания, а здесь это условие предъявляется уже к материалам, фактам. Для перехода от материалов к цели требовалась лишь однородность, связанность всей цепочки методов. Однако и здесь не разъясняется, какие сущности или «функциональные сцепления» являются в археологии целями познания.

Рассмотрим далее, как решается вопрос о единстве, целостности системы. По Л. С. Клейну, «ни сумма древностей, ни реконструированная материальная культура не составляют целостной системы. Это — изолированные незамкнутые, выделенные по второстепенному признаку (материалу и сохранности) блоки цельной системы — культуры. Следовательно, археологам необходимо самим доводить изучение материальных древностей до того уровня, когда эти древности включаются в систему культуры, взятую в статике и динамике» [1, с. 10] Если реконструированная материальная культура не составляет целостность, то каким же образом мыслится автору доводить изучение материальных древностей до уровня включения в систему культуры? Если выделение древностей ведется по второстепенным признакам, то где главные признаки, почему их не используют исследователи? О какой культуре идет речь? От древностей к культуре как системе — путь только через реконструирование. Следовательно, и здесь вопрос остается открытым — до какого уровня культуры и какой культуры доводить изучение древностей? До уровня культуры! Но оказывается, что «в то же время культура в целом не может становиться предметом археологии, так как для ее адекватного изучения в статике и динамике требуется массовое привлечение и применение иных методов. В предмет археологии входит в качестве конечного звена лишь один аспект культуры — включение материальных древностей в систему ее функциональных связей» [1, с. 10] Во-первых, материальные древности *не могут быть включены* в систему функциональных связей культуры, это можно лишь мысленно реконструировать, во-вторых, культура как целостность (системная связь) исчезает, ибо берется лишь *один аспект* включения — функциональные связи. Рассмотрим далее, на основе каких *процессов* производится включение древностей в систему материальной культуры. Основой для этого служат «три процесса: 1) преемственное развитие культуры — с интеграцией, дезинтеграцией, конвергенцией и взаимодействием локальных культур; 2) опредмечивание идей и событий и 3) „археологизация", т. е. выход из жизни, трансформация результатов „опредмечивания" В этом деле есть свои причинно-следственные механизмы и есть свои закономерности...» [1, с. 10] Все это должно решить проблему — как в функциональную связь культуры включить материальные древности. Данный аспект решается здесь настолько путанно, что едва ли возможно что-либо понять. Что имеется в виду под «функциональной связью культуры»? Связь предполагает определенные компоненты и направленные отношения. Если это компоненты внутри культуры, то сами по себе они, как и культура в целом, без соотнесения с обществом, как субъектом деятельности, и самой деятельностью, как социальной активностью, направленной на удовлетворение потребностей общества, не могут обнаружить никаких функциональных связей. А вне этого функциональная связь материальных древностей выступает только в системе археологических памятников, а отнюдь не в системе «культуры». Надо заметить, что отношение археологии и культуры в работе Л. С. Клейна определено очень расплывчато: «История материальной культуры,— пишет он,— понимаемой как материальная фракция культуры вообще, действительно с трудом отделима от археологии, ибо связывает ее с историей и входит как в ту, так и в другую (разными своими аспектами)» [2, с. 212] Попробуйте извлечь из всего этого рациональную мысль.

Л. С. Клейн считает, что выдвинутая им концепция позволяет наметить в предмете археологии «три уровня глубины: 1) вещей и их соотношений; 2) явлений, событий прошлого; 3) их включения в систему культуры и в культурно-исторический процесс» [1, с. 10] Но встает вопрос: «глубины чего»? А исходя из «уровня глубины», Л. С. Клейн формулирует категориальный состав предмета археологии [1, с. 10]

Наконец, Л. С. Клейн заключает, что в компетенции археологии должно быть не только выделение археологических культур, но и формирование «генетических (трассовых) секвенций, т. е. тех рядов культур, в которых протекал

исторический процесс» [1, с. 10]. Эта задача, как главная цель археологии — изучение преемственности культур, была выдвинута Л. С. Клейном еще в одной из первых работ по методологии [11, с. 75—108], кстати, также без обоснования — почему именно данная проблема является основополагающей в археологии. Теперь эта позиция проясняется при сопоставлении задач археологии и источниковедения истории: «...квалифицированное источниковедение письменных текстов непременно *реконструирует историографическую традицию, как археология — развитие и смену археологических культур.* Такова наша концепция [2, с. 212] (курсив мой *В. Г*). Но здесь грубейшая и элементарнейшая ошибка. В источниковедении истории реконструкция историографических традиций относится к области *гносеологических проблем,* поскольку историография — это отрасль, изучающая не историю общества, а историю науки (накопление знания, смена методологических установок и т. п.). А реконструкция развития и смены археологических культур — это *онтологическая проблема,* поскольку она касается развития объективной реальности, а не вопросов, каким образом в различные периоды развития археологии изучалась данная проблема (это историография археологии). Такое сравнение абсолютно неправомерно, и не здесь ли истоки всех противоречий и путаницы в концепции Л. С. Клейна? Так, автор пишет, что «так называемые исторические реконструкции явлений (автохтонности, миграций, влияний, трансформаций и т. п.) — дело археолога, а не историка. А вот объяснение причин этих событий и выявление законов, по которым они происходили, специально занимает археолога только с одной стороны. Он прибегает к их разработке лишь постольку, поскольку это позволяет и помогает ему установить системную связь между его материалами, сформировать секвенции. В остальном... эти проблемы входят в ведение историка и социолога. Здесь пролегает рубеж» [1, с. 10] Парадоксальность подобного определения рубежа археологии удивительна — исторический процесс вначале исключался из предмета археологии, как и общества древности [2, с. 212], а теперь появляются исторические реконструкции явлений! Каким образом можно разрабатывать вопросы системной связи материалов, формировать секвенции без исследования причинно-следственных связей и закономерности развития процессов, которые обусловливают связь этих материалов? Что же археологии всецело отводится роль описательной науки? Но ведь главная функция науки — научное объяснение, в том числе и миграций, и влияний, и многих других явлений, для вскрытия *сущности* которых невозможно обойтись без выяснения их причинно-следственных связей. Из чего же тогда состоит системная связь между материалами, цельность, единство сущностей, которые являются целями познания,— как декларировал Л. С. Клейн в разделе о праве частных наук на свой собственный предмет? Недоумение вызывает и уточнение «исторических реконструкций» — почему именно автохтонность, миграции, влияния, трансформации? Впрочем, это не «открытие» Л. С. Клейна. В аналогичном стиле строит свою систему объяснений, например, Ж. К. Гарден [12, с. 151 и сл.], но он последователен в своей культурно-исторической концепции, поскольку считает, что именно эти факторы *объясняют исторический процесс*, также как и не мыслит археологию вне истории [12, с. 40, 89 и др.] Л. С. Клейн же, «позаимствовав» те же самые факторы, вывел исторический процесс за пределы предмета археологии.

Кроме того, в категориальном составе археологии был выделен раздел «закономерности и причинно-следственные механизмы, лежащие в основе связей и отношений» [1, с. 10], которые здесь по непонятным причинам выводятся за пределы компетенции археологов и передаются социологам и историкам. Каким образом будут эти историки и социологи (и какие?) исследовать законы и причинно-следственные механизмы явлений, описанных археологами? Почему это не будет для них «дилетантской вылазкой» в чужую область?

Хитросплетения идей, собранные Л. С. Клейном в понимание предмета науки, далеко не просто поддаются рациональному истолкованию. И как тут не

вспомнить фразу М. Эггерта из рецензии на книгу Л. С. Клейна «Археологическая типология», неоднократно упоминаемую им в последней статье: «После более чем 250 стр. прямого или косвенного обсуждения понятия типа и его содержания,— пишет М. Эггерт,— чувствуешь себя одураченным, когда вдруг провозглашается, что „многие типы" по своей структуре „не познаваемы как непосредственно данные", что делает излишней всякую специальную процедуру их выделения и содержательного определения» [13, с. 544]

Без излишней витиеватости концепция Л. С. Клейна сводится к следующему: объектом археологии являются материальные древности, предметом познания и целью — извлечение информации о прошлом (какого характера?) и включение материальных древностей в систему функциональных связей материальной культуры, для чего у археологии существуют свои специфические методы (какие?). Данное включение осуществляется на основе изучения трех процессов: преемственности, опредмечивания идей и археологизации опредмеченностей, имеющих свои причинно-следственные механизмы и закономерности (какие?).

В основе построений Л. С. Клейна [1] лежит идея изучения *культурно-исторического* процесса, вне социальных связей и отношений, который понимается, однако, в весьма усеченном виде, поскольку содержит лишь функциональные определения материальных древностей, вычленение археологических культур и включение их в генетические ряды. Этим ограничивается компетенция археологии в изучении прошлых обществ (впрочем, в концепции Л. С. Клейна понятия «общество» нет ни в объекте, ни в предмете науки археологии), и именно благодаря этому, считает Л. С. Клейн, археология становится «особой, методологически самостоятельной частной общественно-исторической дисциплиной», которую следует отнести к разряду источниковедческих наук.

Источниковедение, как первоначальное накопление, функциональное определение и упорядочение археологических материалов, является непременным разделом общей структуры археологического знания (я назвал это его ориентационной ступенью) (см. [14, с. 22 и сл.]). Но практика работы археологов показывает, что они никогда не ограничивают свою деятельность только этими процедурами. Даже на заре развития науки, выделяемой мною как «археология древностей», она решала проблемы естественного происхождения и развития человечества, изучая этот процесс по материальным остаткам его жизнедеятельности [15, с. 107; 16, с. 86] Последняя треть XIX в. и первая треть XX в. связаны с широким внедрением культурно-исторической концепции, согласно которой определяющим фактором развития истории человечества является эволюция его культуры, по которой и определяется уровень, совершенство и взаимодействие отдельных народов (культур) между собой. В целом, эта концепция шире, чем у Л. С. Клейна, поскольку не проводила никаких ограничений, рассматривая также вопросы хозяйства, этногенеза, общественной организации, духовной жизни, но всегда как отдельные элементы культуры, поэтому данный период и выделяется как период «культурархеологии» [16, с. 86]

---

[1] Л. С. Клейн взывает к тому, чтобы научные оппоненты дали анализ выдвигаемой им и его сторонниками концепции [2, с. 212]. Очевидно, те многочисленные замечания, которые были даны мной в рассматриваемой им книге [4, с. 89, 135, 143, 160, 164—176, 194], он считает недостойными внимания. Поэтому приведу лишь заключение из рецензии уже упомянутого М. Эггерта на книгу «Археологическая типология», изданную Л. С. Клейном в Оксфорде. Отмечая множество небрежностей и ошибок, допущенных при переводе текста на английский язык, рецензент в целом оценивает большинство разделов книги довольно скептически и отрицательно, особенно по форме изложения, и в заключение пишет: «у рецензента сложилось мнение, что международной репутации автора публикацией этой книги нанесен тяжелый ущерб. По моему мнению, этого можно избежать только за счет изъятия всего тиража (буквально: отправления в макулатуру) и переиздания рукописи» [13, с. 544].

Л. С. Клейн не понял (а, может быть, не захотел понять?), что в моей книге изложение концепции объекта и предмета науки дано с позиций *социологического направления* в археологии, начало которому было положено в советской археологии конца 20-х — начала 30-х гг. [3, с. 176], а на Западе в 60-х гг. XX в. Поэтому вопрос о том, способна ли археология выполнять социально-исторические исследования, состоит не в дискутировании проблемы, содержат ли археологические источники социально-историческую информацию, а в том, *с какой стороны и как рассматривать объект познания — общества прошлого и его предметные остатки* и с каких философских позиций вести эти исследования. И напрасно Л. С. Клейн пытается доказать, что все направления советской археологии имеют общую методологическую основу и общие специальные представления о характере археологического познания, хотя достаточно очевидно, что каждое из них формулирует свое понимание объекта и предмета познания, которые позволяют выделить основное, существенное и определить цель познания. В науке это достаточно длительный процесс, и сами эти представления не остаются неизменными.

Объектом археологии, как внешней реальностью, не зависимой от познания и противостоящей научной системе, являются конкретные общества прошлого. Но богатство и многообразие содержания сущностей социальных систем привело к дифференциации наук, исследующих этот сложный объект, в котором каждая наука выделяет свою определенную сторону объективной действительности, фиксируемую в основных понятиях данной науки. Поэтому общество как *объект познания* в социологии выступает в одном ракурсе, в истории — в другом, а в археологии — уже в третьем, что получает наиболее четкое выражение в категории «предмет науки», отражающей единство системы объективно существующих закономерностей и связей жизнедеятельности прошлых обществ и системы понятий, отражающих эти связи и законы, причем в каждой науке, в сфере той стороны объекта, которая избрана ею как объект познания. Дальнейший выбор — какие именно объективно существующие закономерности будут исследоваться в этой стороне — определяет уже различные направления в понимании объекта и предмета. То, что археология берет общества прошлого со стороны материализации их жизнедеятельности,— постоянная, константа в понимании ее объекта науки, но одно направление — когда материальные остатки рассматриваются как остатки культурной системы (это и есть культурархеология), и другое — когда они вводятся в социально-историческую систему (социоархеология).

Чем обусловлено формирование предмета археологии? Во-первых, как у науки исторического профиля, здесь отсутствует объект познания — общество прошлого как *целостность*, доступная непосредственному наблюдению, с которого обычно начинается научное исследование. Поэтому таким исходным объектом непосредственного исследования в археологии являются остатки *предметного мира* прошлых обществ, которые становятся источниками познания. Во-вторых, решающую роль в формировании предмета науки играет формулирование *познавательной* задачи науки, что в обществознании обусловлено прежде всего мировоззрением исследователя, ибо именно в этом отражается *степень адекватности* отражения исторического процесса изучаемых обществ, глубина и истинность раскрытия законов их развития. Для марксистской археологии цель познания — исследование социально-исторического развития отдельных обществ прошлого на методологической основе материалистического понимания истории и учения о социальных формациях. Каждое общество — это специфическое по своей конкретности образование, но в основе его развития как социально-исторического организма всегда лежит определенная система экономических, производственных отношений, составляющих его экономический базис, который в *конечном итоге* определяет все иные отношения и сам исторический тип общества, ступень его формационного развития. Поскольку система общественных отношений является фактором стабилизации качественно оп-

ределенной структуры социально-исторического организма в определенных пространственно-временных и социальных пределах, постольку решение этой проблемы и является той конечной целью, которой подчинены все исследования любого отдельного общества прошлого, в том числе и по археологическим источникам. Сложная, многоуровневая организация социальных систем, а в еще большей мере специфика их познания на различных уровнях предопределяют многоуровневую структуру построения социально-исторического знания археологии [4, с. 198—220; 14]

Специфика археологического познания как исторического, связанная с отсутствием целостного объекта, предопределяет, что в исходной части оно *реконструктивное*, восстанавливающее историческую действительность с позиций социальной (а не культурной!) системы. Эта посылка приобретает решающее значение, когда археологические источники вводятся в систему познания, поскольку они должны рассматриваться в качестве остатков органического компонента общества прошлого как социальной системы, иначе исследование не достигнет своей цели — адекватного отражения в знании объективной действительности — истории прошлых обществ. Исходя из этого, социальная система берется в субстанционально-компонентном срезе, когда ее элементами являются: предметный мир, социальные процессы (деятельность), духовные процессы (идеи, знания) и человек как носитель социальных системных качеств [4, с. 131 и сл.; 17, с. 21—24]

Этот подход наиболее универсальный, позволяющий начать исследование любой стороны социальной системы, причем определение конкретного содержания каждого компонента (в археологии путем реконструирования) придает исследованию конкретно-исторический характер. Для археологии этот подход оказывается единственно возможным шагом для введения материальных остатков жизнедеятельности прошлых обществ, как остатков предметного мира, в систему социально-исторического знания. В системе предмета науки этот аспект и формирует теорию опредмечивания как специфический логико-методологический компонент, присущий только археологии. Значимость теории опредмечивания состоит также в том, что она соединяет в целостность реконструктивные процессы исследования с социально-исторической интерпретацией их результатов, т. е. формирует целостное представление о предмете познания археологии.

Социологическое направление считает главным изучение процесса социально-исторического развития древних обществ на основе исследования археологических источников. Все это достаточно подробно изложено в моей книге, но не привлекло внимание Л. С. Клейна [4, с. 131 и сл., 182 и сл.]. *Социальное,* но не *культурное* является определяющим фактором в развитии общества, и к этому выводу пришли не только советские археологи в конце 20-х — начале 30-х гг., но и археологи на Западе с 60-х гг. (Л. Бинфорд, Г Кларк, К. Ренфрю и др.), хотя они и пытаются, по-прежнему, социальные исследования выполнять в категориях культуры (отсюда и социокультурное направление). Теоретико-методологической базой марксистской социоархеологии является учение о формациях, и адекватное отражение истории прошлых обществ можно получить, лишь основываясь на принципах историзма в исследовании социальных (а не культурных) систем. Поэтому объяснение научных фактов,— а это составляет *главную функцию науки,*— должно строиться прежде всего на базе социологических теорий развития общества. Поэтому напрасно в рецензии на мою книгу Л. С. Клейн пишет «о странном для археолога отрицании фундаментальности понятия „культура“ для археологии (без него ведь не определить и понятия „артефакт“» [2, с. 218]), а ведь в книге подробно анализируется эта проблема [4, с. 110—121, 130—151] Для социоархеологии таким понятием служит категория «предметный мир» социальной системы, а исходной единицей («начало науки») является «артефакт» — универсальный неделимый элемент социальной деятельности.

В чем порок концепции Л. С. Клейна? Прежде всего в том, что он упорно не желает выпускать археологию за пределы оперирования узко археологическими понятиями, отстаивает взгляды культурархеологии, которые отражают уже пройденный этап развития науки. Он назвал эту позицию — «держаться в строгих границах археологии», а я — «чистой археологией», соответствующей эмпирическому уровню исследования.

Л. С. Клейн считает, что обработанную информацию об археологических источниках следует передавать другим наукам. Но ведь само извлечение и обработка информации могут быть выполнены лишь в свете решения определенных содержательных задач. Получается парадоксальная ситуация: археологи обрабатывают материальные древности по каким-то своим канонам и в виде «полуфабриката» передают эту информацию другим наукам — истории, культурологии и т. п. Подобные манипуляции скорее суррогат, чем полуфабрикат!

С позиций социально-исторического подхода в археологических исследованиях выделяются два основных уровня: предметно-технологический и социально-исторический. Первый из них ставит задачу реконструкции жизнедеятельности прошлых обществ в ее реальном протекании на уровне образа жизни [14, с. 27 и сл.] Этот уровень отражает предметно-технологический способ жизнедеятельности, и реконструирование его представляет собой обычно описание фактов, явлений прошлого. В этом смысле данный уровень является эмпирическим. На базе реконструкций фактов прошлой исторической действительности ведется теоретическое исследование закономерностей социально-исторического развития конкретных обществ. Именно на этом уровне формулируются задачи, решаемые *научными объяснениями, выполняющими главную функцию науки, поскольку они направлены на раскрытие сущности изучаемого объекта посредством постижения законов его развития.* При построении научных объяснений эмпирическое и теоретическое знания интегрируются в целостной теоретической концепции, которая свидетельствует, что подлинно научное знание выступает всегда в единстве теоретического и эмпирического. Поэтому любые попытки выделить эмпирический (источниковедческий) уровень в качестве самостоятельной науки приводят к разрыву этого органического единства. Для того чтобы показать практическую невозможность подобных членений, как это делает Л. С. Клейн, и тем самым несостоятельность его концепции, рассмотрим структуру научных объяснений социально-исторического типа в археологии.

Проблема научного объяснения в археологии очень слабо разработана. На Западе этому вопросу стали уделять значительное внимание представители различных направлений. В культурно-историческом варианте об этом можно судить по фундаментальной разработке Ж. К. Гардена, переведенной на русский язык [12] Большое внимание этому уделяют и сторонники социокультурного направления, проведшие уже две специальные конференции в Шеффилде [18] и Саутгемптоне [19] Появились и специальные монографии [20].

Критический анализ показывает, что большинство моделей объяснений, предлагаемых в западной археологии, базируется на различных вариациях неопозитивистской философии, что, кстати, признают как археологи, так и философы. Заметим также, что, несмотря на большой разнобой в мировоззренческом и методологическом подходе к построению объяснений, все считают, что эти процедуры совершаются в рамках единой науки — археологии, и в отличие от Л. С. Клейна не отводят ей только роль «поставщика полуфабрикатов».

Сама процедура объяснения достаточно сложна и связана с выдвижением проблемы и альтернативным выбором различных гипотез и средств аргументации, с подбором археологических источников и различными вариантами их обработки. Для получения научного объяснения необходима максимальная мобилизация знания (так же как и таланта исследователя), причем знания различного характера, а для объяснения социальных явлений и знания различных наук.

В целом научное объяснение, как показали еще сторонники логического позитивизма [2], впервые уделившие этой процедуре особое внимание, состоит из двух частей, которые для археологии можно свести к следующему: *экспланандум* — высказывания, содержащие результаты наблюдений над комплексом артефактов и их свойств, составляющих эмпирический базис, который подлежит объяснению с точки зрения каких-то (заключенных в гипотезе) социальных явлений, и *эксплананс* — различные концепции, теории и данные, в том числе о преобразованном эмпирическом базисе, которые позволяют дать социально-историческую интерпретацию экспланандума в виде объяснения исторических явлений, событий, процессов, высказанных в гипотезе. Весьма схематически в экспланансе археологического объяснения можно выделить пять разделов, оставляя пока в стороне проблемы методов формирования каждого из них и особенно способа установления между ними логической связи. Первые три раздела формируют основание научной теории, которую философы определяют как «совокупность утверждений об идеализированных объектах, прежде всего фундаментальные понятия, характеризующие эти объекты, философские и специально-научные высказывания (или утверждения), т. е. такие теоретические конструкты, каковы принципы или аксиомы теории, гипотезы, фундаментальные факты, которые входят в теорию из эмпирии или другой науки как истинные, исходные, но в рамках данной теории специально не обосновываемые и принимаемые как интуитивно ясные» [22, с. 8]

Рассмотрим кратко каждый раздел экспланансa.

I. Бóльшая посылка. Исследуемое явление, процесс (выдвинутые как гипотеза) подводятся под наиболее общие законы, которые в марксистском познании социальных структур формулируются в историческом материализме и теории социальных формаций. Это и есть тот предельный уровень, до которого необходимо доводить археологическое познание исторического процесса. Соотнесение результатов частнонаучного познания социальных систем с формационными законами выступает в качестве критерия их истинности.

II. Меньшая посылка включает общетеоретические конструкции и модели различных сфер, процессов, явлений исторической действительности, о которых идет речь в гипотезе. Эти концепции интерпретируют общие абстрактные положения предшествующего уровня, а теоретические модели служат основой для формирования конкретного социально-исторического знания об отдельных обществах прошлого. Эти концепции и модели строятся на основе данных социологии, экономики, этнографии, естественных наук, фольклористики и других наук, причем они могут быть разного уровня общности, в зависимости от потребностей в решении конкретных познавательных задач. Известно, что археология со времен своего возникновения постоянно заимствовала из других наук различные сведения для объяснения археологических фактов. Обычно это выполнялось в виде привлечения аналогий. Но уже давно отмечено, что эффективность такого метода невелика. На смену таким разрозненным, вырванным из системы фактологическим аналогиям должны прийти общетеоретические конструкции и модели, интегрирующие данные различных наук (здесь решается проблема междисциплинарности, см. выше), как, впрочем, и опыт собственных исследований, в соответствии со спецификой и потребностями археологического познания. По отношению к социально-историческому знанию о конкретных обществах прошлого эти конструкции и модели выступают как внешние, принимаемые как интуитивно ясные, без специального обоснова-

---

[2] Схема объяснения, разработанная в этом направлении, особенно Гемпеля—Оппенгейма, подвергалась справедливой критике в нашей литературе [21, с. 130], поскольку не отражает творческий процесс и слабо связана с содержательным анализом. Но мы используем лишь ее структурную часть, которая позволяет получить общее представление о научном объяснении.

ния в каждом конкретном исследовании. Но для этого необходимо создание общетеоретических конструкций и моделей для археологии в целом.

III. Закономерности опредмечивания, отражающие переход предметно-практической деятельности человека, общества в предметный мир. Законы опредмечивания отображают одну из сторон предметно-технологического способа жизнедеятельности, на базе которого и необходимо их разрабатывать в системе археологического познания. Это специфическая область археологии, детерминированная характером непосредственного объекта исследования — остатками предметного мира, ставшими археологическими источниками. Предметный мир как непременный компонент социальной системы несет в себе информацию о всей системе в целом, что и позволяет реконструировать ее на базе исследования артефактов. Археология широко использует закономерности опредмечивания при реконструкции исторического прошлого на уровне образа жизни, где широко используется метод прямых предметных реконструкций, в основе которых лежат фундаментальные исследования по технологии производственной деятельности в различных сферах (камнеобработка, земледелие, скотоводство, металлургия и т. п.). Подобные исследования необходимы для всех сфер и сторон социальной деятельности (быта, общественной организации, этнических проблем и т. д.). Но еще острее ощущается потребность общеметодологической разработки проблемы опредмечивания, когда необходимо установить связь предметно-технологического и социально-исторического способов жизнедеятельности. В гносеологическом аспекте проблема опредмечивания оказывается центральным звеном, позволяющим соединить в органическом единстве эмпирическое и теоретическое знание археологии, когда необходимо раскрыть закономерности социально-исторического развития конкретных обществ прошлого.

IV Эмпирический базис научного объяснения составляют обобщения и обработки артефактов, привлекаемых в соответствии с экспланандумом и гипотезой. Данный компонент включает три основных раздела. 1. Сбор исходных данных как фиксированных признаков артефактов, используемых для решения данной конкретной задачи. 2. Процедура рационального преобразования исходных данных в соответствии с познавательной задачей и принятой (обоснованной) операциональной методикой. 3. Формирование собственно эмпирического базиса на основе результатов обработки исходных данных. Именно этот базис включается в объяснение — это то, что можно характеризовать как объективный исторический факт, получающий социально-историческое объяснение. Поскольку исторический факт всегда выступает опосредованно к социально-историческим закономерностям, постольку ясно, что истолкование фактов всецело зависит от теоретических положений, сформулированных в основании объяснения, описанных в трех первых разделах. Это же обрисовывает основные сложности и трудности данного компонента: правильный выбор признаков артефактов и построение операциональных процедур, которые включают в себя всевозможные операции: выделение функциональных признаков, классификации и систематизации, формализованно-статистические расчеты, построение корреляционных схем, графиков и т. д. Обобщения и предметно-технологические реконструкции на уровне образа жизни дают обычно суммарные описания тех или иных явлений и процессов. Вводя сюда *количественные показатели,* такие обобщения приобретают свойства системного описания, которые и служат эмпирическим базисом социально-исторических концепций. Исследования каждой сферы жизнедеятельности, как и каждого вида источников, требуют разработки и обоснования специальных программ, в тесной связи и на базе предыдущих двух разделов (примеры подобных разработок в общественной сфере см. [23, 24]).

V Предпосылкой социально-исторического объяснения являются культурно-хронологические определения артефактов, связанные с накоплением источников, соотнесением их с эпохами и археологическими культурами (см. [14,

с. 23]), в пределах которых и решаются основные проблемы социально-исторического развития отдельных обществ прошлого. В этом плане данный раздел в объяснении не требует нового специального обоснования.

Таковы в самых общих чертах основные компоненты археологических объяснений, которые в той или иной форме присутствуют как аргументы, объясняющие социально-исторические явления, события, процессы. И чем яснее они сформулированы и увязаны логически друг с другом, тем полнее будет раскрываться богатство и многообразие сущности истории прошлых обществ. Можно ли в этой достаточно целостной системе выделить в качестве самостоятельной научной дисциплины лишь вопросы извлечения информации и заключения древностей в систему функциональных связей, как это предлагает Л. С. Клейн? Да и нужен ли подобный сепаратизм, когда вся история развития как отечественной, так и зарубежной археологии [25] свидетельствует о стремлении науки к познанию исторического процесса прошлых обществ, как целостной системы [26, 27], а не к ограничению формальными манипулированиями с археологическими источниками. А практика, как известно, критерий истины!

ЛИТЕРАТУРА

1. *Клейн Л. С.* Предмет археологии // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1977.
2. *Клейн Л. С.* О предмете археологии // СА. 1986. № 3.
3. *Генинг В. Ф.* Очерки по истории советской археологии (У истоков формирования марксистских теоретических основ советской археологии. 20-е — первая половина 30-х годов). Киев: Наук. думка, 1982.
4. *Генинг В. Ф.* Объект и предмет науки в археологии. Киев: Наук. думка, 1982.
5. *Бибиков С. Н.* Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта. Киев: Наук. думка, 1981.
6. *Башилов В. А., Лооне Э. Н.* Об уровнях исследования и познавательных задачах археологии // СА. 1986. № 3.
7. *Деревянко А. П., Симанов А. Л.* Методологические проблемы археологического исследования // Методологические и философские проблемы истории. Новосибирск: Наука, 1983.
8. *Захарук Ю. Н.* Спорные вопросы объекта и предмета археологии // КСИА. 1978. Вып. 152.
9. *Копнин П. В.* Введение в марксистскую гносеологию. Киев, 1966.
10. *Григорьев Г. П.* О предмете археологии // Тезисы докл., посвященных проблемам полевых археологических исследований 1972 года в СССР. Ташкент, 1973.
11. *Клейн Л. С.* Проблема смены культур в современных археологических теориях // Вестн. ЛГУ 1975. № 8.
12. *Гарден Ж.-К.* Теоретическая археология. М.: Прогресс, 1983.
13. *Eggert M. K. H.* Rec.: Leo S. Klejn. Archaeological Typology / Transl. Dole P. BAR. Int. Ser. 1982. 153 // Rheinisches Landesmuseum. B. 185. Bonn, 1985.
14. *Генинг В. Ф.* Структура системы археологического знания (К вопросу о методологическом анализе уровней знания в археологии) // Методологические и методические вопросы археологии. Киев: Наук. думка, 1982.
15. *Генинг В. Ф.* Проблема научной революции и развитие археологического знания // Тезисы докл. Всесоюзной археологической конференции «Достижения советской археологии в XI пятилетке». Баку, 1985.
16. *Генинг В. Ф.* Научные революции в археологии // Урал и проблемы региональной историографии. Феодализм. Первобытнообщинный строй. Свердловск, 1986.
17. *Афанасьев В. Г.* Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981.
18. The Explanation of Culture Change: Models in prehistory / Ed. Renfrew C.-E. L., 1973.
19. Theory and Explanation in Archaeology / Ed. Renfrew C.-E. N. Y., 1982.
20. *Salmon M. H.* Prehistory and Archaeology Studies in Archaeology. N. Y; L., 1982.
21. *Юдин Б. Г.* Методологический анализ как направление изучения науки. М.: Наука, 1986.
22. *Разумовский О. С.* От конкурирования к альтернативам. Экстремальные принципы и проблема единства научного знания. Новосибирск: Наука, 1983.
23. *Генинг В. Ф.* Проблема социальной структуры общества кочевых скифов IV—III вв. до н. э. по археологическим данным // Фридрих Энгельс и проблемы истории древних обществ. Киев: Наук. думка, 1984.
24. *Бунятин Е. П.* Методика социальных реконструкций в археологии. На материале скифских могильников IV—III вв. до н. э. Киев: Наук. думка, 1985.
25. *Гражданников Е. Д.* Метод построения системной классификации наук. Новосибирск: Наука, 1987
26. Проблемная ситуация в современной археологии/Ред. Генинг В. Ф. Киев: Наук. думка, 1988.
27. *Генинг В. Ф.* Структура археологического познания // Проблемы социально-исторического исследования. Киев: Наук. думка, 1989.

V F. Gening

WHETHER ARCHAEOLOGY IS AN INTEGRAL SYSTEM OF KNOWLEDGE OR "DILETTANTE ATTEMPTS" AND "SEMI-FINISHED" KNOWLEDGE

(On L. Klein's Concept of the Object and Subject of Archaeology)

Summary

This is V Gening's responce to L. Klein's criticism [2] of his book on the object and subject of archaeology [4] Gening offers a detailed analysis of his opponent's stand on the problem and demonstrates that it is both contradictory and limited. Klein's position is basically cultural-archaeological, that is, he returns to the previous period when the process of history was explained by cultural development. Klein refers archaeology to the source study disciplines that supplies information to other sciences. Meanwhile, sociological approach practised today regards the object and subject of archaeology as a social development system. The archaeological sources are nothing else than material remnants of a social system that embraces human activity, ideas (knowledge) and man as a vehicle of systems quality. A study of the material world reconstructs the system as a whole. An integrity of a scientific system is best seen when a scientific explanation is analysed, that is, when a science performs is main function — that of explaining the past socio-historical development patterns. Archaeological explanation unites empirical and theoretical knowledge as a socio-historical concept of development of individual societies. The structure of such explanations shows that archaeological functions cannot be limited to empirical (source study) procedures.

Заметки

А. В. УТКИН

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА ИВАНОВСКОЕ VI

Стоянка Ивановское VI находилась на Ивановском болоте Переславского р-на Ярославской обл., в 1,8 км к юго-юго-востоку от одноименного поселка.

Памятник открыт случайно летом 1973 г. в ходе торфоразработок в центральной части болота (на девятой площадке фрезерного поля). Тогда же местный школьник А. Захаров собрал небольшую коллекцию костяных орудий. Через год Верхневолжской экспедицией ИА АН СССР под руководством Д. А. Крайнова на стоянке была проведена шурфовка и собран немногочисленный подъемный материал. В результате этого обследования установлено, что памятник полностью уничтожен. Культурный слой (очевидно, незначительный по мощности) был, по-видимому, приурочен к сильно опесоченному ольховому торфу, перекрывавшему небольшое возвышение аллювиального происхождения.

Со стоянки Ивановское VI происходит всего 59 предметов. Керамика немногочисленна (9 экз.). Два из них — обломки стенок льяловских сосудов с ямочно-гребенчатым орнаментом, а остальные 7 — фрагменты протоволосовской посуды, украшенной оттисками разнообразных гребенчатых штампов и большими (но не глубокими) ямчатыми вдавлениями, из которых составлены или строго зональные, или геометрические композиции рисунков.

Коллекция костяных орудий и их обломков насчитывает 39 экз. Наконечники стрел представлены двумя типами: игловидные (4 экз.) и биконические (19 экз.). Среди первых сохранился полностью только 1; он имеет форму короткого заостренного стержня со срезанным наискось основанием (рис. 1, *16*). Биконические наконечники по форме и размерам однообразны: острие и насад вырезаны в виде коротких конусов, причем острие всегда короче и круче насада, и они в большинстве случаев разграничены неглубокой кольцевой нарезкой (рис. 1, *1—8, 11—15*). Два наконечника имеют индивидуальные формы: у 1-го насад оформлен в виде многогранного черешка (рис. 1, *9*), у 2-го он плоский, а острие заканчивается небольшим утолщением (рис. 1, *10*).

Костяных заострений найдено 10 экз.: 2 под углом 45° (рис. 1, *19*), столько же с двусторонне заточенными рабочими концами (рис. 1, *18*), остальные в обломках. Прочие предметы из кости единичны. Это — обломок прямоугольного в сечении стержня с неглубоким продольным пазом по одному из краев (рис. 1, *17*), короткий нож с обоюдоострой заточкой и 4 осколка неясных орудий.

Коллекция кремневых и каменных орудий немногочисленна, маловыразительна и состоит из обломка ромбического наконечника стрелы, ретушированного с двух сторон (рис. 1, *20*); 2 скребков на отщепах (рис. 1, *21—22*); 2 небольших шлифованных тесел, одно — желобчатое (рис. 1, *23*), другое — прямолезвийное с толстым обушком; отщепа с нерегулярной обработкой; 2 сланцевых заготовок рубящих орудий и 2 шлифованных обломков.

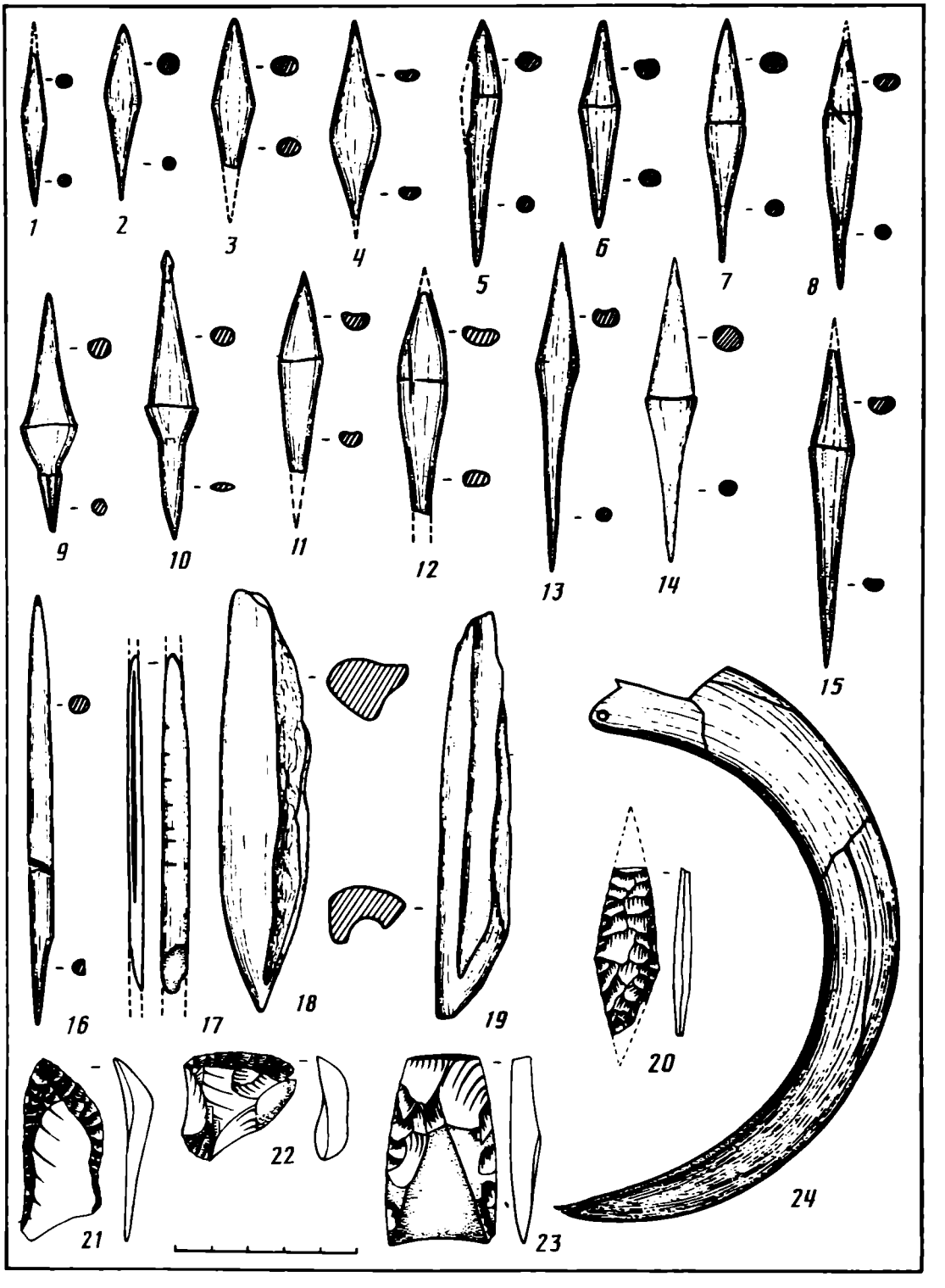


Рис. 1. Орудия (*1—23*) и подвеска (*24*)

И, наконец, наиболее впечатляющей находкой является частично обломанная подвеска из массивного, разрезанного вдоль кабаньего клыка со сквозным отверстием для подвешивания (рис. 1, *24*).

Неолитический возраст рассмотренных предметов не вызывает сомнений. Ближайшие им аналогии известны среди материалов соседних стоянок Ива-

новское II (раскоп II), III (II слой) и VII (раскоп I)[1], а также на памятниках Берендеевского болота (Берендеево I, IV и VIII [1—3]), которые в основном относятся к позднельяловской культуре и отчасти к протоволосовской и датируются по ^{14}C концом IV — первой половиной III тыс. до н. э. К этому времени скорее всего следует отнести и стоянку Ивановское VI.

[1] Раскопки Верхневолжской экспедиции стоянок Ивановское II (1982—1984 гг.), III (1972—1974, 1981 и 1986 гг.) и VII (1974 г.).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Никитин А. Л., Хотинский Н. А.* Свайное поселение на болоте Берендеево Ярославской области // Значение палинологического анализа для стратиграфии и палеофлористики. М.: Наука, 1966.
2. *Никитин А. Л.* Неолитическое поселение Берендеево I // СА. 1976. № 3.
3. *Уткин А. В.* Костяные изделия со стоянок Берендеево IV и VIII // КСИА. 1984. Вып. 177

Н. И. ШИШЛИНА

ПОГРЕБЕНИЕ ЭПОХИ БРОНЗЫ С ГЛИНЯНОЙ МАСКОЙ ИЗ КАЛМЫКИИ

В 1969 г. археологическая экспедиция под руководством И. В. Синицына исследовала могильник Кермен-Толга в Ики-Бурульском р-не Калмыцкой АССР [1]. Среди захоронений было обнаружено погребение с маской, анализу которого посвящена данная работа. Фрагменты маски хранятся в фондах Государственного Исторического музея.

К сегодняшнему дню собран значительный материал по погребениям с масками эпохи бронзы: количество их превысило 100 [2, с. 14]. Анализ последних, сопровождавшийся как реконструкцией технологии моделирования, так и определением социальной значимости выделяемой группы погребений [2, с. 147—149], позволил вплотную подойти к постановке проблемы реконструкции древних религиозных представлений и связанных с ними традиций погребального ритуала [3] в эпоху бронзового века.

Найденная в калмыцких степях маска расширяет круг исследуемых источников, внося некоторые коррективы.

Курган 43, диаметром 25 м и высотой 1,35 м, содержал три погребения. Основное погребение 3 располагалось в центре насыпи. На дне прямоугольной ямы, ориентированной длинными сторонами по линии запад — восток, лежал скелет мужчины на спине, со скорченными ногами, черепом обращенный на восток. Кости рук были вытянуты, кости ног упали влево. Все кости скелета были красными от охры. Лицевую часть черепа покрывала глиняная маска, закрывавшая щеки, подбородок, виски погребенного (рис. 1), оставляя открытым лоб. Все отверстия черепа — ушные, носовое, глазницы, ротовая полость — были залеплены глиной. На прямом со слегка очерченными ноздрями носу маски сохранились следы заглаживания и раскраски. Внутренняя поверхность маски окрашена в красный цвет, внешняя — в розовый с широкой красной полосой в центре (рис. 2).

Глазницы были прикрыты кусочками глины подовальной формы, на лицевую сторону которых были нанесены горизонтальные линии. Таким образом обозначались сомкнутые веки. С внутренней стороны эти детали грубые, с внешней — заглаженные, раскрашены краской (рис. 2).

Рис. 1 Могильник Кермен-Толга. Курган 43, погребение 3, деталь

Все остальные сохранившиеся детали маски либо толстые и массивные, толщиной до 1,8 см, либо тонкие и хрупкие — 0,3 см толщиной. Внешняя поверхность всех этих деталей гладкая, со следами заглаживания и раскраски. На некоторых из них видны ногтевые вдавления и отпечатки пальцев. Оборотная сторона грубая, шероховатая, также частично окрашена.

Никакого инвентаря, кроме маски, в погребении обнаружено не было.

Необходимо определить культурную принадлежность этого захоронения. В кургане оно перекрывалось двумя впускными погребениями. Погребение 2 представляло собой символическое захоронение в катакомбной могиле, входная яма которого частично нарушила погребальную конструкцию основного захоронения. Погребение 1 также было сооружено в катакомбной могиле, в камере которой помимо сосудов находились скелеты двух детей на левом боку, скорченно, черепами ориентированные на северо-восток и восток. Оба погребения относятся к предкавказской катакомбной культуре. Положение скелета в погребении 3, ориентировка его на восток, наличие в большом количестве охры — традиционные элементы погребального обряда населения эпохи ранней

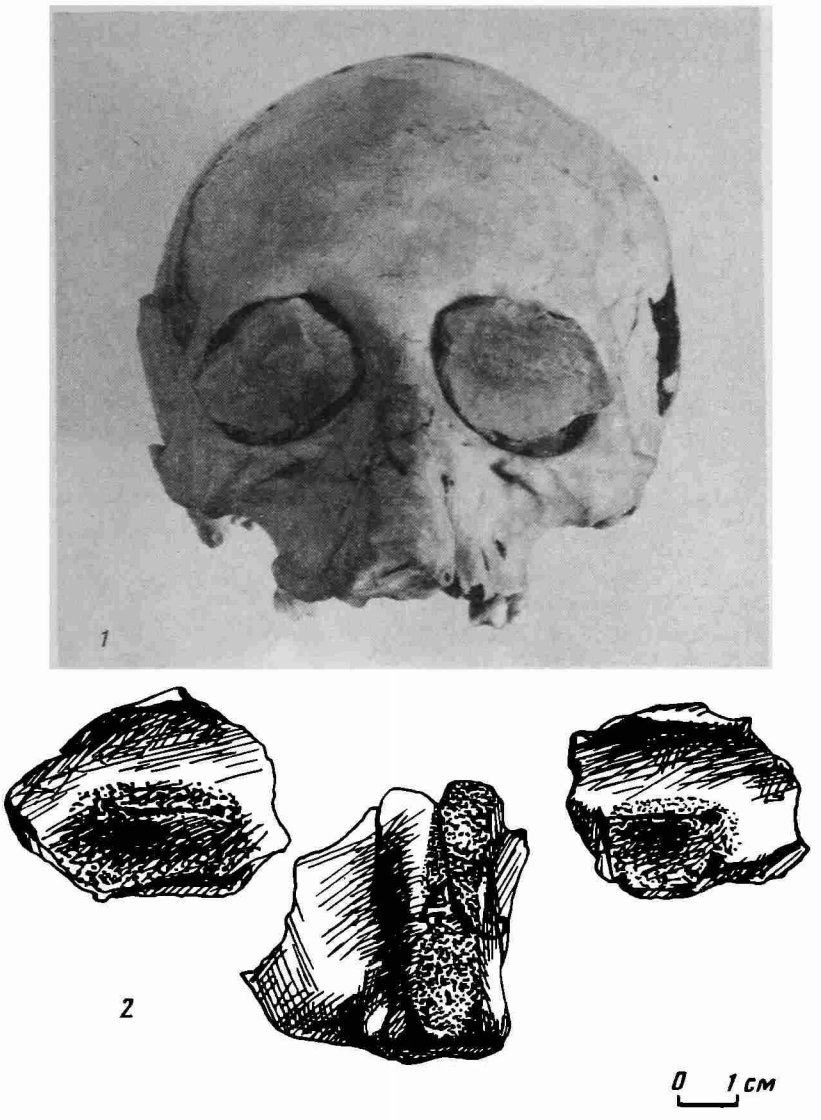


Рис. 2. Фрагменты маски и их прорисовка

бронзы в Калмыкии — позволяют отнести момент сооружения курганной насыпи к ямному времени.

В лаборатории истории керамики отдела теории и методики археологии ИА АН СССР Ю. Б. Цетлиным был проведен анализ фрагментов кермен-толгинской маски, показавший, что она была изготовлена из высокопластичной массы, представлявшей собой смесь трех глин: первичного каолина, ожелезненной глины с мелкими включениями бурого железняка и слабоожелезненной тугоплавкой глины. Внешняя поверхность маски была окрашена сплошным слоем охры, на внутренней стороне слой охры сохранился лишь на отдельных участках. Маска не была обожжена.

Изучение сохранившихся фрагментов маски позволяет предположить, что она была сделана в то время, когда на черепе уже отсутствовали мягкие ткани. При лепке носа кости носовой полости отсутствовали, в носовое отверстие был вставлен кусок глины, которому затем была придана форма носа. Судя по всему, сначала поверхность черепа была густо посыпана охрой, только после этого на нее нанесли слой глины и провели собственно моделировку лица по подготовленному «каркасу». Поверхность маски была заглажена, затем раскрашена красной и розовой краской.

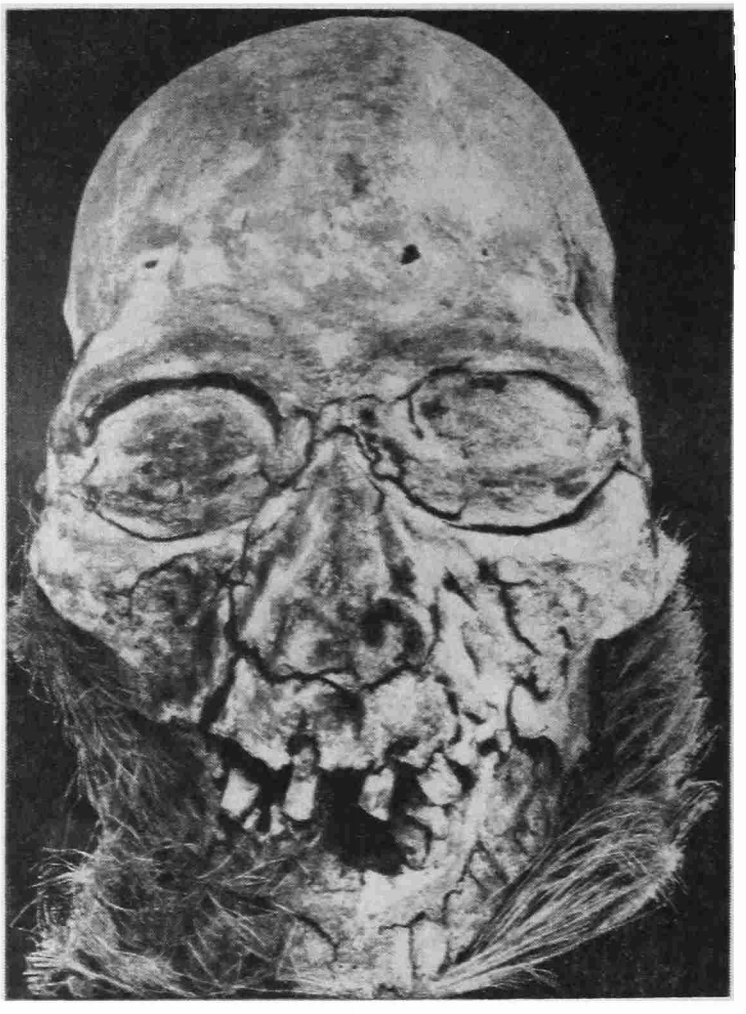


Рис. 3. Маска из человеческого черепа (Меланезия) (по А. Д. Авдееву)

Весь этот процесс изготовления маски требовал большого мастерства и, видимо, был известен не только в калмыцких степях, поскольку на Украине в ряде памятников катакомбной культуры были обнаружены погребения с подобными масками [4, с. 300, 301; 5, с. 293; 6, с. 270; 7; 8, с. 163, 164] Исследователи отмечают, что, вероятно, головы умерших отделяли от тела, а черты лица воспроизводились по черепу, освобожденному от мягких тканей, только после этого череп с маской присоединяли к скелету [2, с. 147; 4, с. 301]

Один из таких черепов был покрыт смесью глины с охрой таким образом, что глазницы, носовая и ротовая полости, слуховые отверстия оказались заполненными этой массой, тогда как лоб и скулы остались открытыми. При этом скелет был обильно окрашен охрой [8, с. 163—165]

Кроме катакомбной, погребальные маски известны в тагарской и таштыкской культурах [9, с. 448, 451], в Древнем Египте [9, с. 483], у энеолитических земледельцев Юго-Восточной Европы [10, с. 11, 12], в шахтовых гробницах Микен [11, рис. 10—12], в Новом Свете: в гробницах майя [12, с. 112] и Колумбии [13], в средневековой Европе [14] Как мы видим, ареал использования погребальных масок достаточно обширен. Их история начинается от эпохи энеолита и доживает до средневековья.

Этнографические параллели помогают объяснить функциональное назначение маски в погребении. Пиетет, с которым древние относились к умершим сородичам, породил культ предков и почитание их черепов. Широко распрост-

раненный некогда «культ черепов» сохранился до XX в. у народов Тропической Африки [15], Меланезии и Полинезии [16, с. 93], в языке которых понятие «маска» и «череп» выражаются одним словом. Изготовление масок здесь имеет достаточно древние традиции. И один из самых ранних типов — это так называемые «черепные маски» (рис. 3), основа которых — настоящий человеческий череп, глазные, носовое и другие отверстия которого тщательно замазаны. Лицевое оформление этих масок близко кермен-толгинскому.

Видимо, мы можем говорить и об идентичном принципе их создания: в обоих случаях очевидно стремление заткнуть все отверстия черепа, через которые душа погребенного могла бы вернуться обратно, что свидетельствует, в первую очередь, о страхе, который умерший внушал своим сородичам. Возможность общения с умершим допускалась, однако его старались избегать. Подобное отношение к умершим наблюдалось у хантов еще в XIX в.: они плотно обматывали голову покойника лоскутом шкуры, пришивая на месте отверстий медные пуговицы,— эта церемония должна была уничтожить способность человека видеть, слышать, говорить, таким образом, он окончательно отрывался от внешнего мира [17] и не таил более угрозы для живых.

С другой стороны, маска должна была, в свою очередь, предохранить умершего от внешнего беспокойства в потустороннем мире [14, с. 27]. Стремление к подобной изоляции сохранилось и в средневековых погребальных обрядах, когда, даже если в маске и имелись отверстия, их старались чем-нибудь заполнить [14, с. 27].

Любопытно, что у таджиков и сейчас сохранилось стремление оградить умершего от общения с живыми: когда у покойника остаются открытыми глаза, их закрывают и прижимают горсткой земли, напутствуя его при этом «не тянуться сердцем своим к этому миру» [18, с. 49]. Видимо, как и в древности, символ смерти связывается здесь с неспособностью видеть.

Однако отметим, что этот обряд не всегда соблюдался. В таштыкской культуре встречен ряд погребений, в которых под масками лежали кусочки ткани с прорезями на месте глаз и рта [9, с. 404]. Не исключено, что в этом случае контакт погребенных с внешним миром не только допускался, но даже поощрялся их сородичами.

Необходимо сказать также, что в погребениях с масками катакомбной культуры часто обнаруживается инвентарь, символизирующий власть: булавы, посохи [7,19], фиксирующие высокий социальный ранг умерших, которые могли быть вождями, жрецами [19, с. 37, 38].

Исследователи ограничивают район использования масок в погребениях катакомбной культуры Южным Бугом на западе, Кальмиусом на востоке, Орелью на севере и Северным Крымом на юге [2, с. 146, 147] Таким образом, хотя в калмыцких степях найдено пока только одно погребение с ритуальной маской, однако оно позволяет продвинуть к востоку границу распространения таких погребений.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Эрдниев У Э.* Археологические памятники Южных Ергиней. Элиста, 1982.
2. *Отрощенко В. В., Пустовалов С. Ж.* Моделирование лица по черепу у племен катакомбной общности // Религиозные представления в первобытном обществе: Тез. докл. конф. М., 1987
3. *Новикова Л. А., Шилов Ю. А.* Погребение с лицевыми накладками эпохи бронзы (Херсонская область) // СА. 1989. № 2.
4. *Отрощенко В. В.* Раскопки курганов в Запорожской области // АО —1981. М., 1983.
5. *Кубышев А. И.* Работа Херсонской экспедиции // АО —1979. М., 1980.
6. *Кубышев А. И.* Раскопки курганов в Присивашье // АО —1980. М., 1981.
7. *Рассомакин Ю. Я.* Исследования на реке Молочной // АО —1982. М., 1983.
8. *Данилова Е. И., Корпусова В. Н.* Катакомбное погребение с трепанированным черепом в Крыму // СА. 1981. № 1.
9. *Киселев С. В.* Древняя история Южной Сибири. М.: Наука, 1951.
10. *Авилова Л. И.* Погребальный обряд энеолитических земледельцев Юго-Восточной Европы // КСИА. 1986. № 105.

11. *Блаватская Т. В.* Ахейская Греция. М.: Наука, 1986.
12. *Галленкамп Ч.* Майя. Загадки исчезнувших цивилизаций. М.: Наука, 1966.
13. *Garlos Angulo Valdes.* La tradicion Malambo. Fundación de investigasiones Arqueológicas Nacionales. Banco de la República. Bogotá, 1981.
14. *Пятышева Н. В.* Железная маска из Херсонеса. К вопросу о происхождении и назначении кочевнических шлемов с масками. М., 1964.
15. *Громыко Ан. А.* Маски и скульптура Тропической Африки. М.: Искусство, 1985.
16. *Авдеев А. Д.* Происхождение театра. Л.; М.: Искусство, 1959.
17. *Росляков И. А.* Похоронные обряды остяков // Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. V. Тобольск, 1895—1896.
18. *Ершов Н. Н.* Похороны и поминки у таджиков Исфары // Этнография Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1985.
19. *Отрощенко В., Пустовалов С.* Портреты прошлого // Знание — сила. 1983. № 8.

И. В. СЕРГАЦКОВ

ПОГРЕБЕНИЕ СРЕДНЕСАРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ У СЕЛА ЦАРЕВ

В 1975 г. Приволжский археологический отряд Ленинградского отделения института археологии АН СССР под руководством В. И. Мамонтова проводил раскопки курганного могильника у с. Царев Ленинского р-на Волгоградской обл.[1] В кургане 23, относящемся к эпохе бронзы, было обнаружено впускное погребение 4 среднесарматского времени, которое представляет интерес для выяснения некоторых вопросов истории сарматских племен рубежа нашей эры.

Погребение находилось в центральной части кургана, на глубине 3 м от уровня современной поверхности. Яма имела прямоугольную в плане форму, ориентирована длинной осью по линии север — юг. Длина ямы 2,8, ширина — 2,1 м. На дне ямы был обнаружен скелет погребенного, лежащего на спине головой на юг. Левая рука слегка согнута в локте, правая — вытянута вдоль туловища, правая нога согнута в колене (рис. 1). У локтя левой руки лежала светлая прозрачная стеклянная кольцевидная бусина диаметром 0,4 см (рис. 2,*1*). Там же найдены 5 железных черешковых трехлопастных наконечников стрел (рис. 2,*2*).

У колена левой ноги лежала фляга со слегка выпуклыми боками. На одном из боков имеются следы четырех концентрических колец. Верхняя часть горла фляги отбита в древности. На противоположных сторонах основания горловины видны мелкие сквозные отверстия — следы починки. К горлу и тулову крепились короткие петлевидные ручки (одна из них отбита в древности, вторая — повреждена). Диаметр горловины 2,7 см, диаметр тулова 14,5 см, ширина его по краю 5 см (рис. 2,*3*). Материал, из которого сформована фляга, грязно-белого цвета с примесью мелкого песка. Поверхность покрыта пленкой типа поливы зеленовато-голубого цвета. По определению Ю. Л. Щаповой, фляга изготовлена из самоглазурующегося месопотамского фаянса.

У колена левой ноги обнаружено фрагментированное бронзовое зеркало дисковидной формы диаметром 6 см, толщиной 1 мм (рис. 2,*4*). Рядом с ним лежали фрагменты деревянного предмета конусовидной формы.

У левой стороны находился сероглиняный гончарный лощеный кувшин с плоским дном, шаровидным туловом, высоким цилиндрическим горлом, отогнутым наружу венчиком со сливом и небольшой дуговидной ручкой, украшенной снаружи косыми бороздками. Высота кувшина 20, диаметр венчика 9, диаметр дна 10 см. В месте перехода плечиков в тулово прочерчены

---

[1] Приношу благодарность В. И. Мамонтову за любезно предоставленные для публикации материалы раскопок.

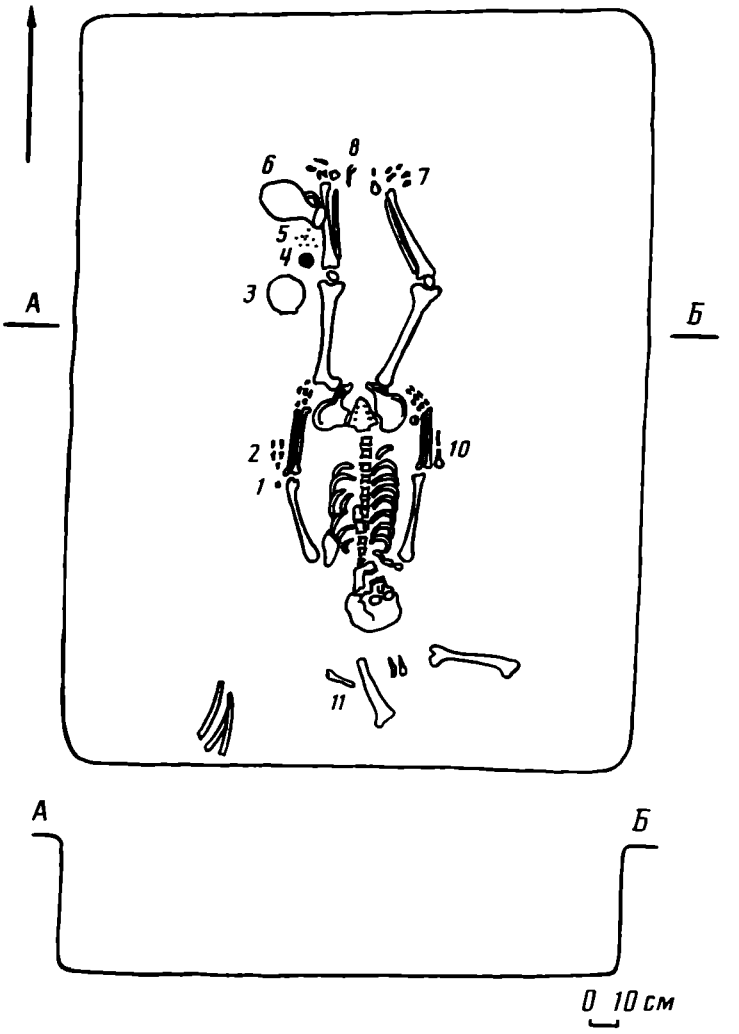


Рис. 1. План погребения 4. Нумерация на плане соответствует описанию в тексте

три круговые параллельные линии, между которыми проведены две зигзагообразные линии (рис. 3).

Между стопами погребенного лежали две золотые штампованные бляхи с изображением припавшей к земле львицы. Бляшки оттиснуты с разных матриц. На внутренней полости имеется пять золотых штифтов с загнутыми остриями. Сама полость залита смолистой массой. Длина бляшек 5,3, толщина — 0,4 см (рис. 2,*5*). У правой стопы обнаружена серебряная спираль из тонкой ленты на мелких фрагментах деревянного предмета. Сохранность ее очень плохая, она распалась на мелкие кусочки. Ширина спирали 0,2 см. Возле тазовых костей погребенного была найдена кольцевидная бронзовая пряжка с выступающим на одном из боков крючком и тремя кнопками-выступами на других сторонах. Диаметр пряжки 3 см (рис. 2,*6*).

У локтя правой руки лежал сильно окислившийся железный кинжал с кольцевым навершием, перекрестие не сохранилось. Клинок в сечении был, вероятно, ромбовидным, длина сохранившейся части 14,3 см (рис. 2,*7*). За головой погребенного в южной части могилы обнаружены кости крупного животного (коровы?).

Определить время погребения позволяют найденные в нем вещи. Железные черешковые трехлопастные наконечники стрел с треугольной головкой и лопастями, срезанными под тупым углом к черешку, относятся к шестому типу, по классификации А. М. Хазанова, и датируются им I в. до н. э.— I в. н. э. [1, с. 38, табл. XIX].

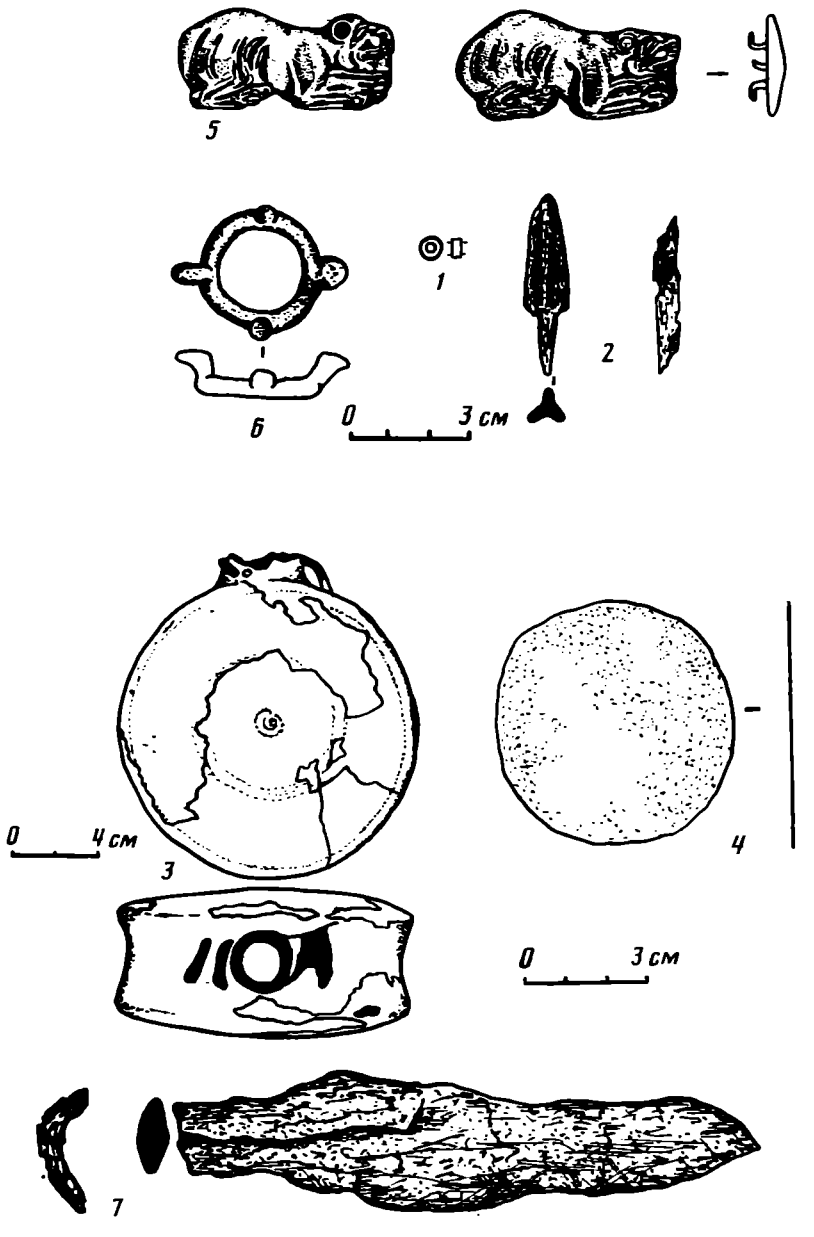


Рис. 2. Вещи из погребения 4. *1* — стеклянная бусина; *2* — наконечники стрел; *3* — фаянсовая фляга; *4* — бронзовое зеркало; *5* — золотые бляшки; *6* — бронзовая пряжка; *7* — фрагменты кинжала

Бронзовое зеркало из погребения принадлежит к VI типу, вариант В. Этот тип является господствующим в среднесарматское время [2, с. 64]. Ареал распространения таких зеркал очень широк. Бронзовая кольцевидная пряжка от портупеи или ремня датируется II—I вв. до н. э. [3, с. 297]. Пряжки этого типа хорошо известны на территории обитания сарматских племен и выходят за ее границы.

Сероглиняные кувшины с рифленой, ложновитой ручкой со сливом или без него довольно широко распространены в среднесарматское время. Видимо, они являются подражанием античным образцам с витой ручкой. В качестве аналогии царевскому сосуду можно привести кувшин из погребения 4 кургана 4 Бережновского могильника [4, рис. 37, *18*]. Кувшин идентичной формы и пропорций, но с другим орнаментом был обнаружен в погребении среднесарматского времени кургана 1 могильника Курпе-Бай в Западном Казахстане [5, с. 108, рис. 29, *2*]

Кинжал с кольцевым навершием и, вероятно, прямым перекрестием относится к господствующему в среднесарматское время типу и может датироваться I в. до н. э.— I в. н. э. Фляга, близкая по форме царевской, в 1982 г. была найдена в могильнике Эвдык на территории Калмыкии в сарматском погребении начала н. э. [6, с. 186]. К сожалению, в советской археологической литературе изделиям из месопотамского фаянса практически не уделялось внимания. Мне не удалось найти достаточно убедительных аналогий этой фляге ни в Средней Азии, ни в Южной Парфии, где сосредоточена большая часть находок из месопотамского фаянса. Это обстоятельство не позволяет пока

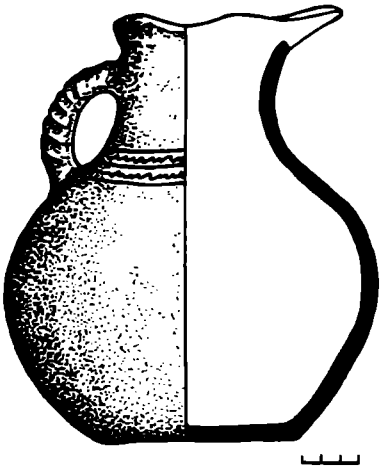


Рис. 3. Кувшин из погребения 4

использовать подобные вещи в качестве датирующего материала, тем более, что технология изготовления различных сосудов и украшений из самоглазурующегося фаянса существовала в районах Ближнего Востока длительное время. Что касается орнаментации фляги, то она традиционна для таких сосудов [7, табл. XXXIV].

В настоящее время трудно решить вопрос о путях проникновения этой фляги в Нижнее Поволжье, но она является еще одним свидетельством начала активизации контактов сарматов со Средней Азией и Закавказьем, а также увеличивает число и разнообразит ассортимент восточных импортов в сарматских памятниках.

Интересна находка в царевском погребении двух блях в виде припавшей к земле львицы, инкрустированных бирюзовыми вставками, находившимися в ушах и глазах. Ребра и круп животного подчеркнуты вертикальными бороздками, хвост пропущен между поджатыми задними лапами. Царевские бляхи весьма оригинальны и не имеют точных аналогий в кругу памятников сарматского звериного стиля. В наиболее близкой манере выполнены изображения хищников на бронзовой гривне из Сибирской коллекции Петра I [8, с. 17, рис. 10], однако и они не составляют царевским полных стилистических и композиционных аналогий.

Образ кошачьего хищника в сарматском искусстве был одним из наиболее популярных. Он используется как в качестве самостоятельного мотива, так присутствует и в сценах терзания. Обычно зверь изображался либо свернутым в кольцо, либо с перекрученным туловищем, причем голова всегда показана в фас. Поза животного на царевских бляхах резко отличается от указанных и, возможно, является поздней репликой сюжетов искусства скифо-савроматского периода. В то же время следует отметить, что по своим стилистическим особенностям (использование цветных вставок, заполнение внутренней полости смолистой массой, передача ребер бороздками, гипертрофированно увели-

ченные лапы, мягкие контуры тела животного) изображения на бляшках из Царевского могильника выполнены в традиционной для сарматского полихромного звериного стиля манере [9, с. 46] Изделия этого стиля происходят из погребений сармато-аланской знати волго-донских и причерноморских степей I—II вв. н. э.

В настоящее время вопрос о происхождении сарматского полихромного звериного стиля является дискуссионным и далек от своего разрешения. Весьма интересное предположение о стилистической близости сарматского искусства с иранским миром и о привнесении его в восточноевропейские степи новой волной ираноязычных кочевников восточного происхождения было выдвинуто И. П. Засецкой [9, с. 54] Очень соблазнительно связать это передвижение с аланами, но думается, что такой вывод был бы поспешным — крайне сложная аланская проблема может быть решена только на основе тщательного анализа массового археологического материала и письменных источников.

Исходя из материалов рассмотренного нами погребения, его можно датировать в общих рамках среднесарматского периода — I в. до н. э.— I в. н. э. Наличие восточных импортов в нем заставляет поднять вопрос о характере взаимоотношений сарматов Нижнего Поволжья со странами Востока.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Хазанов А. М.* Очерки военного дела сарматов. М.: Наука, 1971.
2. *Хазанов А. М.* Генезис сарматских бронзовых зеркал // СА. 1963. № 4.
3. *Мошкова М. Г* Раннесарматские бронзовые пряжки // МИА. 1960. № 78.
4. *Синицын И. В.* Археологические исследования Заволжского отряда (1951—1953 гг.) // МИА. 1959. № 60.
5. *Синицын И. В.* Археологические памятники на реке Малый Узень // КСИИМК. 1950. Вып. XXXII.
6. *Шилов В. П.* Работы Волго-Донской экспедиции // АО — 1982. М., 1984.
7 *Мандельштам А. М.* Кочевники на пути в Индию // МИА. 1966. № 136.
8. *Руденко С. И.* Сибирская коллекция Петра I // САИ. 1962. Вып. Д3-9.
9. *Засецкая И. П.* Изображение «пантеры» в сарматском искусстве // СА. 1980. № 1.

История науки

М. А. ДЭВЛЕТ

И. Т. САВЕНКОВ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПЕТРОГЛИФОВ ЕНИСЕЯ

Среди сибирских археологов-краеведов конца XIX— начала XX в. Иван Тимофеевич Савенков (1846—1914) — одна из наиболее колоритных фигур. Он был не только крупным исследователем каменного века, первооткрывателем палеолитических памятников на Енисее, но и автором единственной в дореволюционной России монографии о наскальных изображениях.

Интерес к деятельности И. Т. Савенкова в области археологии проявлял выдающийся знаток русской и зарубежной историографии А. В. Арциховский. Четверть века назад после выхода в свет моей первой историографической статьи он предложил мне написать для журнала «Советская археология», главным редактором которого он тогда являлся, статью, посвященную И. Т Савенкову как археологу. Начатую в то время работу я не завершила, и теперь вновь обратиться к теме побуждает меня знакомство с книгой Ю. Г Белокобыльского, вышедшей в свет в 1986 г., касающейся историографии бронзового и раннего железного веков Южной Сибири [1]

В работе Ю. Г Белокобыльского рассматривается более чем двухсотлетний период изучения древней истории Южной Сибири. Думаю, что Ю. Г Белокобыльскому как начинающему исследователю целесообразнее было бы заняться детальной разработкой какого-то более узкого вопроса, поскольку значительный хронологический охват работы предполагает углубленное знакомство автора не только с обширной литературой, но и самими археологическими материалами, с их современной трактовкой. Книги по историографии бывают ценны в том случае, если они исчерпывающе обобщают все известные работы, сопровождаются полной библиографией, или же в том случае, если это серьезный анализ идей наших предшественников. В работе Ю. Г Белокобыльского нет ни полного справочного материала, ни учета хотя бы основной литературы по данной теме, ни анализа идей, на что, судя по заглавию книги, автор претендует.

Содержание книги составляет поверхностный, бездумный пересказ работ предшественников с бесчисленным количеством неточных, заведомо неверных данных, досужих домыслов и ложных суждений. К примеру, Ю. Г Белокобыльский наивно полагает, что в истории науки Аммиан и Марцелин — два разных лица, и перечисляет их через запятую [1, с. 9], в то время как Плиний Птолемей — одно и то же лицо [1, с. 9] Грот Лорте во Франции на одной и той же странице он именует то Ларте, то Лортэ [1, с. 107], причем оба написания неправильны. Ю. Г Белокобыльский вводит некую никому доселе неизвестную «экономическую» культуру [1, с. 153] и пр. Книга изобилует неточными датами: Академия наук была основана в 1724 г., а не где-то до 1717 г., как полагает Ю. Г. Белокобыльский [1, с. 8]; Археологическая комиссия была создана в 1859 г., а не в 1851 г. [1, с. 41]; книга А. П. Степанова вышла в свет в 1835 г., а не в 1885 г. [1, с. 53] и т. д. и т. п. Эти и многие другие ляпсусы можно было бы принять за опечатки и отнести их на счет работников типографии Сибирского

отделения издательства «Наука», если бы неверные и неточные данные количественно не преобладали бы над позитивной частью работы, что я и попытаюсь показать на примере биографии И. Т. Савенкова.

Судя по тому, что И. Т. Савенков оказался единственным из исследователей прошлого, на архивные материалы которого имеются ссылки в книге Ю. Г Белокобыльского, можно было бы надеяться, что раздел, посвященный его жизни и деятельности, будет более обстоятельным по сравнению с остальными. К тому же именно ему, наряду с С. А. Теплоуховым, посвящено наибольшее число страниц рассматриваемого сочинения. Однако И. Т. Савенков не избежал печальной участи прочих авторов, упоминаемых Ю. Г Белокобыльским.

Не стесняемый грузом знаний, Ю. Г Белокобыльский одним росчерком бойкого пера произвольно перемещает И. Т. Савенкова во времени и в пространстве, нимало не заботясь о том, чтобы это хотя бы в какой-то степени совпадало с твердо установленными и хорошо известными биографическими данными ученого. Из семи приведенных Ю. Г Белокобыльским дат из жизни И. Т. Савенкова лишь одна, относительно «нейтральная», соответствует действительности. Ю. Г Белокобыльский сообщает, что в 1884 г. И. Т. Савенков совершил ряд поездок по Енисею. Да, это так. Так же как и в отдельные другие годы, в 1884 г. он действительно совершил ряд экскурсий.

Но обратимся к остальным датам произвольно конструируемого Ю. Г Белокобыльским жизненного пути И. Т. Савенкова. Смею утверждать, что они неверны. И. Т. Савенков уехал в Варшаву в 1893, а не в 1894 г. [1, с. 95], а возвратился оттуда в 1901, а не в 1904 г. [1, с. 95], причем вернулся в Москву, а не в Минусинск [1, с. 95]. Минусинским музеем И. Т. Савенков заведовал с 1907, а не с 1904 г. [1, с. 95] Палеолит на Афонтовой горе был открыт в 1884, а не в 1883 г. [1, с. 94]; составление археологической карты было в основном закончено в 1909, а не в 1886 г. [1, с. 95]. Неверно утверждение, что «с 1885 г. начинается детальное обследование наскальных рисунков — работа, ставшая смыслом его жизни, которой он посвятил 25 лет неустанного труда» [1, с. 95]. Обследование наскальных изображений И. Т. Савенков начал в 1875 г. В дальнейшем ему удалось совершить всего несколько краткосрочных поездок с этой целью. Приезд в Варшаву не способствовал работе над книгой, не «облегчил ему этот титанический труд» [1, с. 99] В последние годы жизни в Красноярске И. Т. Савенков не пересматривал свои взгляды относительно петроглифов Минусинской котловины [1, с. 99] Произведения мелкой пластики, по выражению Ю. Г Белокобыльского, «ставшие теперь классическими», найдены не на поселении Базаиха, а в погребении «Бор» на р. Базаиха [1, с. 94] и пр. и пр.

Подобное пренебрежение фактами, произвольное домысливание были бы в какой-то мере объяснимы, хотя и непростительны, если бы речь шла о малоизвестном или забытом исследователе, в биографии которого имеются «белые пятна». Между тем о И. Т. Савенкове писали много. В Минусинске и Ленинграде хранятся его архивы. В 1984 г. в Красноярске была организована специальная конференция, посвященная 100-летию открытия И. Т. Савенковым палеолита на Енисее [2]. На конференции были заслушаны в числе прочих доклады о жизни и деятельности И. Т. Савенкова.

Полагаю, что книги, подобные сочинению Ю. Г Белокобыльского, вносят дополнительную путаницу в и без того сложные и запутанные вопросы сибирской историографии.

Далее к тексту книги Ю. Г Белокобыльского я буду обращаться по ходу изложения статьи, в которой я останавливаюсь преимущественно на одной из сторон деятельности И. Т. Савенкова как археолога, а именно на его работах в области изучения петроглифов Енисея.

И. Т. Савенков родился в 1846 г. в г. Мариуполе. В 1865 г. он окончил гимназию в Иркутске и поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Получив диплом по естественному разряду со званием кандидата, И. Т. Савенков в 1871 г. возвратился в Сибирь и занял должность

учителя математики в красноярской гимназии, а с 1873 г., после того как в Красноярске была открыта учительская семинария, стал ее директором. Его супруга Екатерина Ивановна, мать семерых детей, была первой женщиной в Красноярске, поступившей на государственную службу.

На посту директора учительской семинарии И. Т. Савенков проявляет себя талантливым организатором, творчески решающим стоящие перед ним задачи воспитания подрастающего поколения и подготовки будущих народных учителей, наставником юношества, требовательным прежде всего к себе самому. Он вводит в семинарии ручной труд, организует столярную мастерскую, совершает экскурсии с учениками в окрестности города, на природу. Одновременно И. Т. Савенков углубленно изучает научную литературу по различным областям знаний.

Вполне закономерно, что именно в середине 1880-х годов прошлого столетия пытливый, наблюдательный ум И. Т. Савенкова обратился к вопросам изучения каменного века на берегах Енисея. Ведь именно это время ознаменовалось публикацией в России серии статей и книг, посвященных первобытной археологии [3, с. 4]. С другой стороны, 80-е годы прошлого столетия ознаменовались размахом краеведческих работ на Енисее, чему способствовало основание музея в г. Минусинске в 1877 г. провизором городской аптеки Н. М. Мартьяновым [4].

После того как книга А. С. Уварова «Каменный век» появилась на столе И. Т. Савенкова, мысль отыскать следы каменного века на Енисее увлекла его. По его выражению, «окончательным толчком» для поисков памятников каменного века в окрестностях Красноярска была удачная экскурсия, совершенная в 1883 г. на дюнные пески в местности Бор близ д. Базаихи. Здесь И. Т. Савенкову посчастливилось открыть первое погребение, содержащее почти полный скелет человека с сохранившимся черепом и сопровождающим погребальным инвентарем (в виде изделий из камня, рога, кости, керамики). Среди скульптурных изображений животных из Базаихи имеются статуэтка лежащего лося с подогнутыми под брюхо ногами, вытянутой вперед шеей и плотно прижатыми ушами; вторая фигурка лося представлена стоящей, с опущенной к земле мордой, с длинными ногами, заканчивающимися тщательно моделированными копытами. Здесь же встречено изображение лосиной головки с открытой пастью и характерным подшейным клоком-«серьгой». Фигуры животных поражают совершенством и живостью исполнения. За прошедшие со времени этой находки И. Т. Савенкова 100 с лишним лет никому из археологов, работающих на Енисее, не посчастливилось найти столь высокохудожественные изделия мелкой пластики эпохи финального неолита — раннего энеолита. В конце того же 1883 г. И. Т. Савенков в глубокой промоине близ с. Ладейки обнаружил первые орудия палеолитического облика вместе с костями дикого быка.

Весной 1884 г. И. Т. Савенков вступил в члены Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества и получил средства на исследование стоянок древнего человека в окрестностях Красноярска и наскальных изображений по р. Мане и ее левому притоку — р. Колбе. В 1884 г. он вновь регулярно совершает экскурсии в окрестности города в поисках стоянок каменного века. 3 августа 1884 г. принято считать датой открытия палеолита на Енисее, когда И. Т. Савенков в нижнем карьере кирпичных заводов Афонтовой горы, возвышающейся над городом, обнаружил первое каменное орудие. Доказательством древности находок на Афонтовой горе он справедливо считал совместное залегание каменных орудий с костями ископаемых плейстоценовых животных.

С этого времени научно-исследовательская работа целиком захватила И. Т. Савенкова. Прежде в Красноярске он был душой местного общества: с успехом выступал в любительских спектаклях, сочинял пьесы и стихи для детей, занимался организацией спортивной работы, подавая личный пример молодежи. Он был лучшим шахматистом Красноярска, одним из сильнейших русских шахматистов конца XIX в., первым пловцом и стрелком в городе,

прекрасным гимнастом. И все эти занятия он успешно совмещал с основными обязанностями педагога и администратора. Теперь же он ищет уединения, чтобы с головой уйти в археологию. Еще недавно увлекавшая его светская жизнь кажется ему теперь бессмысленной и нелепой, «захолустной пародией на жизнь». В записной книжке-дневнике за 1884 г. И. Т. Савенков делает программную запись: «... от спектаклей, чтений и т. п. самым твердым образом уклониться» (цит. по [5, с. 166]). О том, что эта программа была им успешно реализована, мы можем заключить на основании записи, сделанной спустя восемь лет: «От общественной сумятицы ради сосредоточения, а следовательно, и большей продуктивности работы я почти совсем уклонился» [6, л. 8].

Одновременно с поисками памятников каменного века И. Т. Савенков занимается изучением наскальных изображений. Еще в июле 1875 г. И. Т. Савенков посетил писаницы на р. Мане. Копии наскальных рисунков, выполненные во время этой поездки, не опубликованы, они хранятся в архиве И. Т. Савенкова в г. Минусинске. Их сопровождает подпись: «Рисунок сделан наизусть г. Матвеевым 2.VII.75» [7] Что же означает «наизусть» — по памяти или «на глазок», остается неясным. В июне 1884 г. И. Т. Савенков вторично совершил поездку по р. Мане и ее левому притоку — р. Колбе, где обследовал писаницы, выполненные охрой. В предварительном сообщении Восточно-Сибирскому отделу РГО он информировал, что кроме прежних, открытых в 1875 г. местонахождений наскальных рисунков, удалось найти еще два; всего было скопировано семь писаниц [8, л. 24]

В 1885 г. И. Т Савенков продолжал обследование наскальных рисунков на средства, полученные от Восточно-Сибирского отдела РГО. Маршрут начался в Минусинске, где он присоединился к экскурсии, предпринятой прибывшим из Иркутска геологом И. Д. Черским. Во время этой экскурсии были скопированы изображения известной Майдашинской писаницы. Затем И. Т. Савенков вместе со своим постоянным спутником орнитологом М. Е. Кибортом обследовал петроглифы на правом притоке Енисея — р. Тубе. После этого, спускаясь на лодке по Енисею до Красноярска, И. Т. Савенков и его спутники по пути осматривали берега, описывали памятники древности. Во время поездки И. Т. Савенков обнаружил серию стоянок древнего человека, составил общий список местонахождений «фигурных письмен», дополнив личные наблюдения опросными и в дальнейшем литературными данными, скопировал значительное число наскальных рисунков.

В полевом дневнике И. Т. Савенков сделал зарисовки наиболее интересных, с его точки зрения, наскальных изображений. Копии петроглифов, выполненные И. Т. Савенковым, были неточны и примитивны, они лишь весьма отдаленно напоминали оригиналы. При отсутствии художественных способностей И. Т. Савенков воспроизводил наскальные изображения «на глазок», стараясь, по его выражению, «„влезть в шкуру“ доисторического рисовальщика, отдать ему свою руку в полное распоряжение и копировать, не мудрствуя лукаво...» [9, с. 89] Именно эти несовершенные, неудовлетворительные даже для того времени копии были опубликованы с небольшими добавлениями четверть века спустя в монографии И. Т. Савенкова «О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее» [9].

Между тем современникам И. Т. Савенкова уже был знаком метод эстампирования петроглифов. Такой, как в то время говорили, «механический» метод применяли, в частности, финские археологи при копировании надписей и наскальных рисунков на камнях, хранящихся в Минусинском музее. Они использовали для этой цели особо обработанный картон, который смачивался водой перед наложением на камень. «Получаемые таким путем оттиски поражают своей отчетливостью и верностью», — свидетельствовал директор Минусинского музея Н. М. Мартьянов, наблюдавший за работой финских исследователей [10, л. 665]. Вариантом этого метода явился способ снятия эстампажей на коленкоре, разработанный академиком В. В. Радловым для копирования

древних надписей и опубликованный им в 1896 г. [11, с. 169—181]. Этот предложенный В. В. Радловым прекрасный, хотя и дорогостоящий способ применялся при фиксации петроглифов в конце прошлого века в Туве [12, табл. 96] Рекомендованный председателем Московского археологического общества П. С. Уваровой прием копирования наскальных изображений при помощи «пропускной» бумаги использовал впоследствии А. В. Адрианов. Разновидностью этих методов является широко применяемый ныне способ копирования петроглифов на микалентной бумаге.

Вероятно, в 1885 г. И. Т. Савенков еще не был знаком с методом изготовления эстампажей с наскальных изображений, но и в дальнейшем не счел нужным им воспользоваться. «Механические копии, — писал он, — имеют несомненные научные преимущества, но они мешкотны и требуют больших материальных затрат» [9, с. 79]. Таким образом, в отношении техники копирования И. Т. Савенков значительно отставал от своих современников.

Результаты поездки 1885 г. были изложены И. Т. Савенковым в статье, опубликованной в «Известиях» Восточно-Сибирского отдела РГО. В начале статьи И. Т. Савенков как будто не предполагает приводить обоснования датировки петроглифов. «Как мы определяем старшинство писаниц, долго рассказывать и трудно передать, просим пока поверить на слово» [13, с. 53]. При дальнейшем изложении он тем не менее привел целый ряд соображений в отношении хронологического определения наскальных рисунков, из которых одни не выдержали проверки временем, другие сохраняют свое значение до сих пор.

В наши дни исследователи неоднократно подчеркивали, что для установления абсолютной хронологии благоприятны случаи, когда петроглифы находят соответствие в предметах погребального инвентаря, в том числе важное значение для датировки наскальных изображений придается сопоставлению с произведениями мелкой пластики, полученными в результате раскопок. И. Т. Савенков справедливо подметил стилистическое сходство базаихских костяных фигурок животных, которые он обнаружил при раскопках, и наскальных изображений Шалаболинской и других писаниц [13, с. 54, 55]. Эта линия аналогий в дальнейшем получила развитие в трудах А. П. Окладникова.

Заслуживает внимания попытка И. Т. Савенкова выделить хронологические пласты петроглифов на основании изучения сюжета. В целом справедлива его мысль, что среди наскальных изображений фигуры животных на ранних этапах первобытного творчества преобладают. «Мы объясняем это тем, что природа подавляла человека, воспринимаемые им представления и особенно образ жизни животных овладевали всеми мыслями человека, в субъективном анализе он был не силен, своего я на первый план не ставил, он мыслил образами, его воображение было полностью полно охотничьими лесными представлениями» [13, с. 54]. Древнейшие рисунки, по его мнению, принадлежат народу, только что начавшему переходить от бродячего образа жизни к оседлости [13, с. 53], они в художественном отношении совершеннее тех, которые были созданы в более поздние эпохи.

И. Т. Савенков пытался также датировать петроглифы на основании изучения техники их исполнения. Первоначально анализу технических приемов исследователи придавали серьезное значение, возлагая большие надежды на этот перспективный метод. Однако, как показали современные исследования, этот метод не всеобъемлющ и пользоваться им надо с осторожностью. В настоящее время может считаться доказанным, что в одну и ту же историческую эпоху на Среднем Енисее существуют наскальные изображения выбитые, прошлифованные, нанесенные минеральной краской. Однако в определенные эпохи все же преобладали конкретные технические приемы создания петроглифов. Савенков пришел к заключению, что позднейшие наскальные рисунки, к которым, например, относятся многие из Майдашинских, выбиты пунктиром, а древние довольно глубокою сплошною непрерывающейся линией. На примере

Сисимской писаницы И. Т Савенков рассмотрел возможные варианты способов создания выполненных краской изображений [13, с. 91, 92]. Что же касается орудий, которыми выбивались изображения: «Медь, железо, если и были, то их было жаль, они были дороги» [13, с. 51] Полагаю, что эта точка зрения вполне справедлива.

В значительной мере датировки И. Т. Савенкова были интуитивными, однако интуиция его подводила редко. Приведу пример ошибочного заключения И. Т Савенкова в отношении датировки петроглифов. К топографии наскальных изображений и надписей он подходил как к топографии памятников каменного века, ставя в зависимость возраст петроглифов, находящихся на берегу реки, от их высотных отметок. В отношении «начертаний» Копенской писаницы он писал: «На низкое положение письмен просим обратить внимание — это признак, для их древности весьма неблагоприятный» [13, с. 72]. Эту точку зрения И. Т. Савенков мотивировал тем, что древнейшие письмена не заливает водою, они расположены много выше позднейших [13, с. 75].

Мысленный взгляд исследователя обращен в будущее, он видит своих последователей, занимающихся на берегах сибирской реки изучением петроглифов во всеоружии знаний. «Мы уверены, что антрополог-специалист с широким взглядом на задачи своей науки будет бродить по этим живописным берегам Тубы, рассматривать рисунки прото-тубинцев, всматриваться в контуры диких и домашних животных, людей и т. п., будет уяснять себе способ работы этих художественных произведений (просим не смеяться, увидя их), будет изучать приемы и манеру рисования и при этом, поверьте нам, будет испытывать точно такое же, если не большее ощущение живейшего удовольствия, какое испытывает современный любитель и знаток живописи, бродя по залам какой-нибудь знаменитой художественной галереи. Странно это может показаться, но это так; последний (т. е. ценитель современной живописи) стоит, так сказать, у устья реки, а антропологу приятно и дорого уловить источники, ему важно узнать, как началось это великое и важное для современного человека искусство живописи» [13, с. 53].

Свои взгляды на происхождение и назначение наскальных изображений И. Т. Савенков формулирует в этой статье в следующих словах: «Древние надписи на береговых утесах Енисея не начала письменности, а скорее начало живописи — таково наше мнение» [13, с. 51]. И. Т. Савенков обращал внимание на многие аспекты изучения петроглифов. Статья дает представление об авторе как о вдумчивом, наблюдательном, творчески мыслящем исследователе, она как будто является заявкой на большую и серьезную работу о петроглифах.

И все же статья И. Т. Савенкова производит двойственное, противоречивое впечатление. С одной стороны, ценные мысли, тонкие наблюдения. С другой, многословие, повторения, отвлечение в области, не имеющие прямого отношения к теме. И эта сторона работы вызывала недоумение и у современников И. Т. Савенкова, и теперь, 100 лет спустя после ее выхода. Мне представляется, что частые повторения в этой статье, так же как и в позднейшей монографии, были обусловлены отчасти характером служебных занятий И. Т. Савенкова. Воспитывая и обучая подрастающее поколение будущих учителей, он, очевидно, имел обыкновение неустанно повторять одно и то же и не смог отойти от этой профессиональной привычки в научном отчете Восточно-Сибирскому отделу РГО, что и вызвало конфликт между автором и издателями.

Как уже отмечалось выше, исследования в 1884—1885 гг. И. Т. Савенков производил на средства, предоставленные Восточно-Сибирским отделом РГО. Ревизионная комиссия общества в апреле 1888 г. вынесла резкое «Заключение» по поводу его статьи в «Известиях» Восточно-Сибирского отдела. Заключение комиссии было направлено И. Т. Савенкову вместе с письмом правителя дел ВСОРГО Г Н. Потанина, в котором последний уведомлял И. Т. Савенкова о гонораре за статью в размере 108 рублей. В «Заключении» ревизионной комиссии говорилось, что статья «в том виде, в каком она появилась в издании

Отдела, вызывает крайнее изумление Ревизионной комиссии... Ревизионная комиссия полагает, что не нужно даже быть специалистом, чтобы видеть, что утомительное многословие, описание совсем неидущих к предмету исследования г. археолога подробностей, уклонение его в области, по-видимому ему мало знакомые, расширяют несоразмерно объем этой статьи... Ревизионная Комиссия принуждена указать Распорядительному Комитету на подобный недосмотр в редактировании изданий Отдела, так как вследствие подобного отношения к делу не только страдают самые статьи, но и теряется научное достоинство изданий отдела» [14, л. 44, 45].

Получив «Заключение» ревизионной комиссии, И. Т. Савенков был взбешен. Чтобы как-то оправдаться в предоставлении небрежно подготовленной рукописи, И. Т. Савенкову оставалось только утверждать, что отчет не предназначался для печати. В этой связи его биограф Н. К. Ауэрбах писал: «Для И. Т. такое заключение, по существу, конечно, правильное, но в то же время тактически недопустимое, раз отчет не предназначался И. Т. для печати, было личным оскорблением» [5, с. 182]. В. Е. Ларичев по поводу версии И. Т. Савенкова писал, что «ревизионная комиссия дала незаслуженно резкий отзыв на его отчет 1885 г., напечатанный в „Известиях" без ведома автора. Неблаговидную роль при этом сыграл, очевидно, Н. И. Витковский, болезненно воспринявший сообщения об успехах красноярского археолога» [15, с. 46] Думаю, что зависть крупного ученого к успехам коллеги тут ни при чем. Действительно, И. Т. Савенков допустил небрежное отношение к рукописи, но отнестись с пониманием к справедливой, хотя и резкой критике он не захотел. Его утверждение, что рукопись для печати не предназначалась, не соответствует действительности. В архиве И. Т. Савенкова сохранилась копия письма, отправленного в адрес Восточно-Сибирского отдела РГО, где он писал: «Три тетради с отчетом 1885 г. возвращаю. Все лишнее вычеркнуто. Извиняюсь в том, что переписать не имел времени и средств. Думаю, что опытные и внимательные наборщики и корректоры справятся с этой рукописью, полною помарок» [16, л. 37] Отсюда следует, что уже однажды рукописные полевые дневники, посланные И. Т. Савенковым для публикации, были возвращены ему для доработки, он же не нашел нужным хотя бы переписать их. Такое странное нежелание доводить рукопись до необходимого для публикации уровня наблюдалось у И. Т. Савенкова и впоследствии при работе над монографией.

Позднее, в 1892 г., Д. А. Клеменц, бывший в то время правителем дел Восточно-Сибирского отдела РГО, в переписке с И. Т. Савенковым возвращается к этой теме: «Неприятное столкновение Ваше с Отделом мне приходилось просматривать... Черновые тетради можно издавать только после смерти автора... Молодежь, которая попала после этого в Отдел, со свойственной ей горячностью вздумала подтянуть стариков, и Вы стали невольной жертвой этого увлеченья, которое в основе все-таки имело здоровые задачи» [17, л. 3]

Воспользовавшись конфликтной ситуацией с Восточно-Сибирским отделом, И. Т. Савенков решил не отдавать в Иркутск коллекции, собранные «по поручению и на средства» отдела. В архиве И. Т Савенкова сохранилась переписка с представителями Восточно-Сибирского отдела по поводу передачи коллекций. Руководители отдела просят, требуют принадлежащие отделу коллекции, но И. Т. Савенков никак не реагирует на запросы. Он решает передать коллекции в Академию наук и передает по частям, при этом не забывая упомянуть, что Академия тоже должна пойти ему навстречу в его делах.

В 1886 г. и в последующие годы И. Т. Савенков продолжает заниматься подготовкой археологической карты, целеустремленно собирает материалы по каменному веку и геологии четвертичных отложений. С 1889 г. он проявляет интерес к горько-соленым озерам Минусинского края, ведет краеведческую работу в окрестностях оз. Шира. В эти же годы И. Т. Савенков работает над рукописью «К материалам по археологии Минусинского края. О курганах

и доисторических могилах». Эта работа так и не была завершена. Особый интерес представляет раздел «Опыт критического обзора курганных классификаций», где он анализирует работы своих предшественников и приводит свои соображения по этому вопросу [18; 19, с. 25]

В 1892 г. в Москве состоялся Международный конгресс по доисторической археологии и антропологии. Доклад И. Т Савенкова находился в центре внимания участников конгресса. Особенно восторженно он был встречен французским археологом Ж. де-Баем, который, вернувшись с конгресса во Францию, в Академии наук сделал доклад об открытии палеолита на Енисее. В дальнейшем Ж. де-Бай посещал Красноярск для осмотра на месте памятников, открытых И. Т. Савенковым, а также для знакомства с коллекциями.

Наряду с Ж. де-Баем большую роль в жизни И. Т. Савенкова сыграла председатель Московского археологического общества графиня П. С. Уварова, вдова известного археолога. Она заинтересовалась работами И. Т. Савенкова еще в середине 80-х гг. и просила Д. А. Клеменца сообщить сведения о них [20, л. 3]. Д. А. Клеменц написал об этом И. Т. Савенкову, того это известие обрадовало, поскольку он надеялся, по его словам, «выбраться хотя бы в будущем из-под кабалы местного отдела Географического общества» [21, л. 4] Завязалась оживленная переписка. «Воспоминание о самом светлом дне моей жизни, — писал он графине, — будет неразрывно связано с воспоминаниями о Вашей любви к археологии, Вашей энергии. Открытый Вашим сиятельством доступ к богатой библиотеке незабвенного деятеля на поприще русской археологии, покойного мужа Вашего, досточтимого графа Алексея Сергеевича, я буду вспоминать с благоговением» [22, л. 20] На протяжении всей жизни П. С. Уварова оказывала И. Т. Савенкову, как, впрочем, и другим археологам, действенную помощь и поддержку. Именно благодаря ее содействию ему удалось в 1896 г. издать книгу «Каменный век в Минусинском крае», а в конце жизни — грандиозный, крупноформатный фолиант, посвященный петроглифам Енисея.

В декабре 1889 г. Савенков послал на Московский археологический съезд 20 таблиц, на которых были размещены копии наскальных изображений, срисованные им с соответствующим уменьшением (8 больших таблиц и 12 рисунков в формате обычной писчей бумаги). Однако эти копии енисейских петроглифов не экспонировались на выставке, поскольку были утеряны. И. Т. Савенков подозревал, что они похищены, и в письме к Н. Л. Гондатти недвусмысленно на это намекал: «Если заинтересованные лица вместо ссылок друг на друга потрудятся над пересмотром всех своих библиотек и кабинетов, я уверен, мои 20 таблиц найдутся, но... упросите, уговорите: окажите посильную помощь» [23, л. 2] П. С. Уваровой он писал по поводу пропажи рисунков: «Вы не поверите, как дорог для меня теперь этот материал... Я утешаюсь только тем, что рисунки **потеряны только для меня** (не может быть, чтобы они были уничтожены), а **для науки** они сохранены каким-либо археологом, жаждущим получить интересный материал, особенно в уверенности, что захолустный любитель археологии не может иметь надежного научного вооружения, не может понимать всего значения собранного им материала... Моя скромная попытка, конечно, скоро забудется. Прискорбно, но что же делать — на то ученые щуки в море науки, чтобы глупые караси-археологи не дремали» [22, л. 20] В полевых дневниках И. Т. Савенкова оставались оригиналы рисунков, поэтому неясно, почему он так трагически отнесся к потере таблиц, ведь он мог их легко восстановить, выполнив заново.

Для того чтобы как-то уладить дело, П. С. Уварова сделала запрос о расходах на поездку, предполагая предоставить И. Т. Савенкову возможность повторно скопировать петроглифы и тем самым восстановить утраченные графические материалы [23, л. 2] Дать согласие на полевые исследования И. Т. Савенков не мог, так как уже собирался переезжать в Варшаву и был, по его словам, «намерен честно и добросовестно ликвидировать свои не только служебные, но и научные дела» [6, л. 8].

В конце 1893 г. И. Т. Савенков был переведен на службу в Варшаву на должность инспектора народных училищ. На чужбине И. Т. Савенков тосковал по научной деятельности и своей второй родине — Енисею. «Без Енисея я, как рыба без воды. Его немного суровая, но для натуралиста глубоко привлекательная природа влечет меня назад. Такого интересного района для научной деятельности, соответствующей моим силам и моему скромному научному вооружению, я нигде не найду. Старый друг, Енисей, много лучше нового друга, Вислы и Немана», — писал он из Варшавы Ж. де-Баю в 1896 г. [24, л. 9] В том же году он писал Д. Н. Анучину: «Я стою здесь на каторжной работе, непосильной для одного человека... Слишком многое противоречит моим служебным убеждениям, некоторые явления в служебной практике возмущают душу, расстраивают нервы... Я здесь лишен общения с природою и наукою, служба берет все время, берет все силы и убивает этим научную энергию... Это лишение для меня самое тяжелое и непереносимое. Я мечтаю о возвращении в Сибирь. Теки здесь реки медом и млеком, а меня все тянуло бы на Енисей: сжился я с ним, с его природою, с его людьми. Мне хочется продолжать собирание антропологических, геологических и географических материалов, — я прервал это собирание вопреки моему желанию» [25, л. 2]

Поскольку таблицы копий петроглифов И. Т Савенков считал безвозвратно утраченными и официально объявил о том, что у него нет дубликатов, он, по-видимому, находясь в Варшаве, не планировал в дальнейшем заниматься наскальными изображениями Енисея, во всяком случае, в числе возможных тем, которые он предполагал разрабатывать после возвращения в Россию, эту тему в своей научной переписке он не упоминал.

В отличие от А. В. Адрианова, работавшего на Енисее одновременно с И. Т. Савенковым, который жертвовал всем в своей жизни, в том числе интересами большой, многодетной семьи, ради исследовательской деятельности, ради науки в высоком значении этого слова, И. Т. Савенков на первый план в своей жизни ставил интересы семьи. В переписке И. Т. Савенков неоднократно подчеркивал, что переехал в Варшаву и оставался там в то время, когда уже мог выйти на пенсию и вернуться в Сибирь, ради материального благополучия и обеспечения будущего детей.

По возвращении из Варшавы в конце 1901 г. И. Т. Савенков поселился в Москве. Он вышел в отставку и поступил на службу к сибирскому золотопромышленнику Некрасову на должность уполномоченного по управлению рудниками, где он состоял до осени 1906 г. Он надеялся использовать поездки по службе для научных изысканий, однако такой возможности он почти не имел. Затем, по его собственному выражению, он стал «чуть ли не английским подданным», согласившись сотрудничать с англичанами-концессионерами. В 1907 г. И. Т. Савенков при содействии П. С. Уваровой приступил к заведованию Минусинским музеем.

Сразу же по возвращении из Варшавы И. Т. Савенков возобновляет связь с Московским археологическим обществом. В первом же письме к И. Т. Савенкову графиня П. С. Уварова предложила ему участвовать в заседаниях и изданиях общества. К письму было приложено 5 таблиц с рисунками петроглифов из тех 20, которые были утеряны перед отъездом И. Т. Савенкова из Красноярска в Варшаву. В 1904 г. нашлись все таблицы, кроме первых двух [26, л. 1] Впоследствии, видимо, и эти две таблицы были найдены, о чем можно судить по графическим материалам, хранящимся в архиве И. Т. Савенкова.

В 1904 г. И. Т. Савенков информирует П. С. Уварову, что подготовил сообщение о петроглифах Енисея, которое планирует доложить на заседании Московского археологического общества [27, л. 22] В феврале 1906 г. на заседании этого общества состоялся доклад И. Т. Савенкова на тему: «О доисторических памятниках изобразительного искусства на Енисее». Во время доклада он демонстрировал 10 таблиц иллюстративного материала. На заседании было вынесено решение доклад опубликовать [28, л. 8] Факт подготовки работы

к печати от сибирских исследователей И. Т. Савенков сохранил в тайне. В эти годы на Енисее активную работу по фиксации петроглифов, несопоставимую по масштабам и научному уровню с тем, что было сделано И. Т. Савенковым, проводил А. В. Адрианов, и И. Т. Савенков, вероятно, именно от него хотел скрыть свои планы в отношении издания книги.

В октябре 1906 г. И. Т. Савенков информировал П. С. Уварову, что «листов 5 печатных готово. Я продолжал и продолжаю работать: в этом мое освежение и отдых от негеологической стороны работы. Сравнительно недавно работа финляндского ученого Доннера буквально поставила меня в необходимость составить параллельную таблицу известных мне петроглифических начертаний, родовых знаков, клейм, тавр, тамг и т. п. с древнейшими алфавитами Малой Азии, южносемитическими, эфиопскими, индийскими алфавитами, алфавитами Греции, Рима и рунами» [29, л. 38]. В апреле 1908 г. в «Справке о положении работ по статье И. Т. Савенкова „О доисторических памятниках изобразительного искусства на Енисее“» он сообщает, что всего в книге текста 15 или немногим больше печатных листов, что из них страниц 200 уже можно пустить в набор [30, л. 42]

В июле 1908 г. уже была напечатана корректура части рукописи. Однако книга была еще недописана. Типография высылала автору один экземпляр гранок. И. Т. Савенков обратился в типографию с просьбой к издателям высылать дополнительный экземпляр, поскольку у него не оказалось авторского экземпляра рукописи. Создавалась парадоксальная ситуация: автор печатал и писал книгу одновременно, не имея на руках полного текста своей работы. Этим обстоятельством, видимо, в значительной степени обусловлены многочисленные повторения, перепевы одного и того же, в изобилии встречающиеся в книге.

И. Т Савенков располагал небольшими собственными полевыми материалами, ограниченность которых он сам вынужден был признать. «Описывая имеющийся у нас небольшой материал, собранный двумя-тремя рекогносцировочными краткосрочными поездками, кроме общей археолого-этнографической стороны, в пределах возможности мы коснемся попутно и предварительных хронологических соображений и отметим петроглифы, религиозное, общественное, психологическое и этнографо-историческое значение которых выражено наиболее ясно» [9, с. 79]. Он публикует девять таблиц наскальных рисунков и аналогий им. Причем петроглифы Сулекской и некоторых других писаниц он приводит в собственном воспроизведении, значительно уступающем копиям финских исследователей, которые в то время уже были частично опубликованы.

В своей ранней статье И. Т. Савенков рассматривал петроглифы в связи с вопросами зарождения изобразительного искусства. «Странно, по нашему мнению, каждую древнюю фигуру, каждое древнее изображение обязательно превращать в божество и утверждать, что этому изображению воздавались божеские почести. Несправедливо по отношению древнего человека ставить каждый рисунок в строку и обязательно, нахмурив лоб, наморщив чело, угадывать таинственный и навсегда для нас утерянный смысл сложных сочетаний фигурных письмен. Древние „писаницы“, точнее, рисунки мы не уподобляем премированным ребусам иллюстрированных изданий» [13, с. 52]. Теперь же взгляды Савенкова полностью эволюционировали. Такой пересмотр взглядов произошел в связи с тем, что в 1893 г. датским ученым В. Томсеном был найден ключ к чтению орхонских надписей и И. Т. Савенков задался целью отыскать местные корни енисейской письменности в наскальных рисунках.

В 1910 г. монография И. Т. Савенкова «О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее» вышла в свет в «Трудах» XIV Археологического съезда в Чернигове в 1908 г., хотя на съезде доклад зачитан не был. В этой работе, привлекая самые отдаленные во времени и пространстве аналогии, И. Т. Савенков пытался наметить путь эволюции языка от «языка движений» до алфавитного письма.

При всей наукообразности идеи И. Т. Савенкова были во многом наивны, бездоказательны, не подкреплялись конкретными фактами, хотя и в настоящее время многие специалисты допускают гипотезу о том, что в истории письма имеет место развитие от пиктографии (передачи информации с помощью целых рисунков) к идеографическому письму (т. е. фиксации сообщений с помощью отдельных рисуночных знаков-идеограмм), далее к словесному, затем к словесно-слоговому, слоговому, от него к буквенному [31, с. 9, 10] [1]

Этот пухлый фолиант, как мне представляется, явился в определенном смысле шагом назад по сравнению с ранней статьей И. Т. Савенкова «К разведочным материалам по археологии среднего течения Енисея», написанной по материалам поездки 1885 г. Сравнение двух работ И. Т. Савенкова, которые разделяют четверть века, поучительно в том отношении, что исследователь высказывал свежие, интересные мысли, делал тонкие наблюдения лишь при непосредственном общении с объектом исследования — петроглифами Енисея.

Схоластические измышления, мудрствования, которым предавался И. Т. Савенков в этой монографии, теперь витиевато излагаются Ю. Г Белокобыльским. Цитирую уже не И. Т. Савенкова, а самого Ю. Г Белокобыльского: «От верхней линии личины вверх идут две извилистые черты, обозначающие рога, что свидетельствует о праве души на непосредственное общение с богами и о возможном получении душой благословения. Но овал рук или ног верхней личины ограничивает эти права и не позволяет душе, минуя изображенное выше божество, снестись с верховным божеством. Заключив в свои „объятия“ душу, божество само обращается с просьбой сопроводить душу в потусторонний мир» [1, с. 106] Или же: «С помощью рук человек обращается к хтоническим божествам, а рога шапки просят милости у небесных богов» [1, с. 104]; «Спираль была, по мнению И. Т. Савенкова, более совершенным прибором, так как в кольце или круге молитва-обращение гасилась ниспосланным божеством благословением, они встречались в замкнутой фигуре, ослабляя друг друга» [1, с. 105]; «На Абакано-Перевозинской писанице есть символ молитвы небожителям, представленный рисунком головы с шеей. Туловище и ноги не прорисованы, так как в молитве никакого участия не принимают» [1, с. 104]; «Обращение человека с молитвой к верхним божествам выражают поднятые вверх руки. По ним же, сверху вниз, прийдет к человеку благословение. Дугообразность рук, по мнению И. Т. Савенкова, выражает обязательность получения человеком благословения бога в каких-то делах. А в конически выбитой голове выражена идея полученного благословения» [1, с. 103]

Думаю, что приведенных цитат достаточно, чтобы составить представление не только о исследовательском аспекте книги, но и о Ю. Г Белокобыльском как о комментаторе И. Т. Савенкова. Ю. Г Белокобыльский подчеркивает, что основная идея И. Т. Савенкова заслуживает серьезного внимания: «ни один штрих, ни один рисунок, тем более поза изображенного человека или животного, не являются случайными — все имеет определенный смысл...» [1, с. 109]

Авторизованное изложение монографии И. Т. Савенкова Ю. Г Белокобыльским лишено анализа, в результате чего читателю остается неясным, что в ней соответствует нашим современным представлениям, что нет, с чем согласен автор, что вызывает возражение. Этот пересказ прочитанного не безобиден, поскольку подобный прецедент прокладывает, расчищает дорогу на страницы научных изданий ненаучным домыслам, которые ныне авторы в погоне за дешевой сенсацией публикуют в газетных и журнальных статьях.

Книга И. Т Савенкова «О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее» даже для своего времени обладала многими существенными недостатками. Внешний вид книги И. Т. Савенкова, огромного, богато изданного

---

[1] Приношу глубокую благодарность Вяч. Вс. Иванову за консультацию по этому вопросу.

фолианта, до наших дней порой оказывает гипнотическое воздействие на читателя, создавая впечатление солидного фундаментального труда. В. А. Городцов не поддался внешнему впечатлению. Проницательно подметив недостатки этой работы, В. А. Городцов писал в 1926 г.: «К сожалению, автор, очевидно, стремясь ко всестороннему и полному освещению скальных рисунков и знаков, смешал несколько совершенно самостоятельных тем в одну и дал досадную смесь, для пользования которой требуется масса непроизводительного труда и траты времени» [32, с. 64].

Возможность использовать наскальные изображения Енисея в качестве полноценного исторического источника появилась лишь после того, как археология как наука достигла определенного уровня развития, когда были выделены археологические культуры, разработаны вопросы их относительной и абсолютной хронологии. Поэтому неудивительно, что предпринятая И. Т. Савенковым попытка интерпретации петроглифов в отрыве от хронологии и культурной принадлежности была обречена на неудачу.

С 1907 по 1911 гг. И. Т. Савенков заведовал Минусинским музеем. Здесь в музее он дописывает книгу, изучает каменные изваяния, совершает разведочные маршруты, производит раскопки курганов, готовится к своим последним раскопкам. Он работает над составлением «Археологической карты средней части долины реки Енисея», которая предназначалась для публикации в книге о петроглифах, но не была подготовлена в срок и в издание не вошла. На этой карте различными условными обозначениями помечены археологические памятники, в том числе многочисленные писаницы.

Затем И. Т. Савенков переезжает в Петербург, где много времени уделяет обработке переданных в Музей антропологии и этнографии коллекций каменных орудий. В 1914 г., составив широкую программу исследования палеолитических поселений на Афонтовой горе, И. Т. Савенков приезжает в Красноярск. Перед отъездом из Петербурга он заболел тифом и так полностью и не оправился. Л. Я. Штернберг вспоминает, что вместо прежнего Ивана Тимофеевича, поражавшего его товарищей юношеской бодростью, крепостью организма, «перед нами был болезненно осунувшийся старик, с трудом взбиравшийся по лестнице» [33, с. XIII] Несмотря на недомогание, И. Т. Савенков производит на Афонтовой горе раскопки на высоком методическом уровне. Завершив раскопки, осенью 1914 г. И. Т. Савенков скончался в Красноярске.

Благодаря работам И. Т. Савенкова, получившим широкий международный резонанс, стоянки Афонтовой горы стали эталонными памятниками не только для енисейского, но и для всего сибирского палеолита. В результате деятельности И. Т. Савенкова, пионера сибирской археологии каменного века, было доказано заселение Сибири в эпоху палеолита, разработаны основы методики раскопок палеолитических поселений. Карта, составленная И. Т. Савенковым, сохраняет свое значение наиболее полной сводки памятников наскального искусства до наших дней.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Белокобыльский Ю. Г* Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири. Новосибирск: Наука, 1986.
2. Проблемы исследования каменного века Евразии. К 100-летию открытия палеолита на Енисее // Тез. докл. краевой конференции. Красноярск, 1984.
3. *Формозов А. А.* Начало изучения каменного века в России. М.: Наука, 1983.
4. *Дэвлет М. А.* Очерк комплектования, изучения и экспонирования археологических коллекций Минусинского музея (1877—1917) // Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 5. М., 1963.
5. *Ауэрбах Н. К.* Первый период археологической деятельности И. Т. Савенкова. Материалы к биографии // Ежегодник Гос. музея им. Н. М. Мартьянова. Т. 6. Вып. 2. Минусинск, 1929.
6. *Савенков И. Т* Письмо И. М. от 14 ноября 1892 г // Архив ММ. Фонд И. Т. Савенкова. Оп. 3. Д. 7.
7. *Савенков И. Т* Описание Манских писаниц // Архив ММ. Фонд И. Т. Савенкова. Оп. 3. Д. 85.

8. *Савенков И. Т* Письмо в ВСОРГО от 12 июля 1884 г. // Архив ММ. Фонд И. Т. Савенкова. Оп. 3. Д. 98.
9. *Савенков И. Т* О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее. Сравнительные археолого-этнографические очерки // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове в 1908 г. М., 1910.
10. *Мартьянов Н. М.* Письмо П. С. Уваровой от 3 декабря 1887 г. // Отдел письменных источников ГИМ. Ф. 17. Ед. хр. 558.
11. *Радлов В. В.* О новом способе приготовления эстампажей с надписей на камнях // Зап. Восточного отд. РАО, Т. 7. СПб., 1893.
12. Атлас древностей Монголии. Издан по поручению Академии наук В. В. Радловым. Вып. 3. СПб., 1896.
13. *Савенков И. Т.* К разведочным материалам по археологии среднего течения Енисея // Изв. ВСОРГО. Т. 17. № 3—4. Иркутск, 1886.
14. Выписка из «Заключения Ревизионной Комиссии» от 28 апреля 1888 г. // Архив ММ. Фонд И. Т. Савенкова. Оп. 3. Д. 98.
15. *Ларичев В. Е.* Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Ч. 1. Новосибирск: Наука, 1969.
16. *Савенков И. Т* Письмо в Распорядительный Комитет ВСОРГО от 23 февраля 1887 г. // Архив ММ. Фонд. И. Т. Савенкова. Оп. 3. Д. 98.
17. *Клеменц Д. А.* Письмо И. Т. Савенкову от 9 декабря 1892 г. // Архив ММ. Фонд. И. Т Савенкова. Оп. 3. Д. 16.
18. *Савенков И. Т* К материалам по археологии Минусинского края. О курганах. Гл. II. Опыт критического обзора курганных классификаций // Архив ММ. Фонд И. Т. Савенкова. 1886 г. Д. 66.
19. *Дэвлет М. А.* К истории исследования памятников тагарской культуры // Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпоху. Кемерово, 1976.
20. *Клеменц Д. А.* Письмо И. Т. Савенкову от 27 февраля 1887 г. // Архив ММ. Фонд И. Т. Савенкова. Оп. 3. Д. 110.
21. *Савенков И. Т* Письмо Д. А. Клеменцу от 28 марта 1887 г. // Архив ММ. Фонд И. Т Савенкова. Оп. 3. Д. 110.
22. *Савенков И. Т.* Письмо П. С. Уваровой от 11 августа 1892 г. // Отдел письменных источников ГИМ. Ф. 17 Ед. хр. 568.
23. *Савенков И. Т.* Письмо Н. Л. Гондатти от 15 октября 1892 г. // Архив ММ. Фонд И. Т Савенкова. Оп. 3. Д. 13.
24. *Савенков И. Т* Письмо Ж. де-Баю от 15 марта 1896 г. // Архив ММ. Фонд И. Т Савенкова. Оп. 3. Д. 7
25. *Савенков И. Т.* Письмо Д. Н. Анучину // Архив ММ. Фонд И. Т. Савенкова. Оп. 3. Д. 10.
26. *Уварова П. С.* Письмо И. Т. Савенкову от 15 декабря 1901 г. // Архив ММ. Фонд И. Т Савенкова. Оп. 3. Д. 22.
27. *Савенков И. Т.* Письмо П. С. Уваровой от 16 августа 1904 г. // Отдел письменных источников ГИМ. Ф. 17. Ед. хр. 568.
28. *Савенков И. Т.* Письмо Н. И. Тропину от 14 октября 1906 г. // Архив ММ. Фонд И. Т Савенкова. Оп. 3. Д. 115.
29. *Савенков И. Т.* Письмо П. С. Уваровой от 25 апреля 1906 г. // Отдел письменных источников ГИМ. Ф. 17. Ед. хр. 568.
30. *Савенков И. Т* Справка о положении работ по статье Савенкова «О доисторических памятниках изобразительного искусства на Енисее» в Московское археологическое общество от 12 апреля 1908 г. // Отдел письменных источников ГИМ. Ф. 17 Ед. хр. 568.
31. *Дьяконов И. М.* Предисловие // *Фридрих И.* История письма. М.: Наука, 1979.
32. *Городцов В. А.* Скальные рисунки Тургайской области // Тр. ГИМ. 1926. Вып. 1. Разряд археологический.
33. *Штернберг Л. Я.* Иван Тимофеевич Савенков // СМАЭ. 1916. Т. III.

П. И. БОРИСКОВСКИЙ

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ЕФИМЕНКО. ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКА

Осень 1927 г. в Ленинграде была насыщена событиями. Состоялась торжественная сессия ЦИК СССР, приуроченная к 10-летию Октябрьской социалистической революции. В Доме работников просвещения была проведена серия лекций крупнейших ученых, посвященных достижениям советской науки за 10 лет Советской власти. Мы, университетские комсомольцы, бегали на эти лекции, благо вход был свободным. Как же было пропустить возможность увидеть и услышать академиков С. Ф. Платонова, В. И. Вернадского, А. Е. Ферс-

мана, Е. В. Тарле и других корифеев отечественной науки? Тогда же, к десятилетию Октября, в Ленинград приехал Маяковский и читал свою октябрьскую поэму «Хорошо» в том же Доме работников просвещения. Разумеется, мы были и там и потом с восторгом вспоминали, как толпа студентов смяла контроль и заполнила зал, рассевшись где придется, как Маяковский повесил свой пиджак на стул, а затем под аплодисменты уступил этот стул одной из студенток, сидевшей на барьере, как остроумно отвечал он на записки.

Все это, конечно, не могло заслонить от нас, археологов-первокурсников, основного: в какой области специализироваться? В области триполья или палеолита, гальштатта или иконописи? Чьи лекции посещать: О. Ф. Вальдгауэра или Г. И. Боровки, Б. Л. Богаевского или А. А. Спицына, Б. В. Фармаковского или Д. В. Айналова?

Этой же осенью 1927 г. вместе с друзьями и сверстниками Е. Ю. Кричевским, А. П. Кругловым, Я. В. Станкевич, робкими, но в то же время веселыми и озорными первокурсниками, мы переступили порог ленинградской университетской аудитории, в которой доцент Петр Петрович Ефименко вел свой просеминар по каменному веку. И с того времени в течение 43 лет вплоть до 1969 г. не прекращалось мое учение у Петра Петровича, не прекращались наши отношения ученика и учителя.

В этих заметках не ставится задача осветить всю многогранную деятельность П. П. Ефименко. Я остановлюсь только на некоторых чертах его биографии, поделюсь отдельными воспоминаниями о нем, а также постараюсь кратко охарактеризовать некоторые направления исследовательской деятельности Петра Петровича в области палеолита.

П. П. Ефименко начал свою археологическую деятельность еще до Октябрьской революции. За 15 предреволюционных лет им было опубликовано девять научных работ. Я думаю, что не навлеку на себя нарекания, если скажу, что среди представителей дореволюционной официальной русской археологической науки (графа Бобринского, графини Уваровой, лояльного верноподданного А. А. Спицына) Петр Петрович выглядел белой вороной. Со своими коллегами у него не было ничего общего идейно. Он был сыном видного участника студенческого революционного движения начала 60-х годов XIX в. Петра Саввича Ефименко, политического ссыльного, носившего среди друзей кличку «царедавенко». П. П. Ефименко был близким родственником верного соратника Владимира Ильича Ленина, профессионального революционера В. Л. Шанцера-Марата. Наконец, сам Петр Петрович в начале 900-х годов под партийной кличкой «капитан» являлся активным деятелем харьковского социал-демократического подполья, участвовал в революционных выступлениях, неоднократно арестовывался царской полицией.

Эта демократическая, разночинская, революционная закваска П. П. Ефименко в значительной степени предопределила быстрое, активное включение его в первые же послереволюционные годы в процесс строительства советской археологической науки.

Демократическая, разночинская закваска и впоследствии накладывала определенный отпечаток на облик Петра Петровича. Интересен такой штрих. Еще не закончились бои гражданской войны, а П. П. Ефименко производил раскопки в Рязанской губернии, используя в качестве землекопов предоставленных ему пленных белогвардейских офицеров, которых он не считал «братьями по классу». Характерно, что он пренебрежительно относился к Пушкину, но зато обожал Некрасова. Из современных ему поэтов больше всего нравился Саша Черный. В экспедициях он любил петь старые революционные песни и всегда открыто отрицательно относился к религии и к священнослужителям всех вероисповеданий. Он был стопроцентным интернационалистом. Во время многочисленных откровенных бесед в экспедициях и дома я ни разу не слышал от него враждебного или иронического высказывания о той или иной нации, хотя Петр Петрович был человеком довольно жестким и колючим и нередко давал

весьма резкие характеристики отдельным своим коллегам.

В экспедиционном быту Петр Петрович был очень требователен к своим сотрудникам. Работа у него в экспедиции шла напряженно. О том, чтобы опоздать на раскоп, не могло быть и речи. Даже опоздание к завтраку считалось серьезным проступком, который при повторении мог повлечь за собой отправку из экспедиции. Но в то же время мы — студенты жили с Петром Петровичем в одном доме, спали на соломе в одной и той же комнате, питались за одним столом, из одного котла. Это составляло резкий контраст с субординацией, существовавшей, скажем, в Кобяковской экспедиции А. А. Миллера, принадлежавшего к высшей петербургской аристократии (он был адъютантом одного из великих князей).

А. А. Миллер был выдающимся советским археологом. Он создал целую археологическую школу, школу исключительно сильную. М. И. Артамонов, А. А. Иессен, Б. Б. Пиотровский, А. П. Круглов, Г В. Подгаецкий — это все ближайшие питомцы и ученики А. А. Миллера. Однако в его экспедиции нагрузка, особенно физическая, на сотрудников и студентов была гораздо меньше, чем в экспедиции П. П. Ефименко. Строго соблюдалась чисто внешняя субординация. Так, студент Б. Б. Пиотровский в экспедиции А. А. Миллера не садился за общий обеденный стол с аспирантами А. А. Иессеном и М. И. Артамоновым, а аспиранты А. А. Иессен и М. И. Артамонов не садились за обеденный стол с профессором А. А. Миллером.

Суровый разночинский демократизм сочетался в характере Петра Петровича с отвращением к риторике, к лицемерию. Требовательность была лишена дидактизма. В частности, он никогда не ставил в пример своим сотрудникам и ученикам ни самого себя, ни других сотрудников и учеников; он предпочитал действовать самим примером, а не словами. Так, в предисловии к вышедшему в Киеве 3-му изданию своей известной книги «Первобытное общество» Петр Петрович упоминает добрым словом всех основных советских исследователей, так много содействовавших успехам советского палеолитоведения. Здесь названы С. Н. Замятнин, М. В. Воеводский, М. Я. Рудинский, И. Г Пидопличко, С. Н. Бибиков, И. Ф. Левицкий, А. В. Добровольский, А. П. Черныш и многие другие. Но имени В. А. Городцова в этом перечне нет, хотя его вклад в науку о палеолите весьма значителен. Петр Петрович считал, что было бы лицемерием распинаться в почтении к Городцову, раз у них в течение многих десятилетий были открыто враждебные взаимоотношения.

Весьма существен вклад Петра Петровича как воспитателя молодежи. Вопрос этот очень важен, так как Петр Петрович вырастил целую школу исследователей каменного века, начиная с таких крупнейших ученых, как А. П.Окладников. Ученики Петра Петровича, а теперь уже ученики его учеников занимают ведущее положение в современной советской археологии каменного века. Таким образом, речь идет не просто об учениках, а о школе с устойчивыми научными традициями, с устойчивым научным почерком. В таких условиях естественно, что все особенности, все, пусть даже мелкие детали этого искусства воспитания заслуживают нашего пристального внимания.

Для стиля руководства Петра Петровича учениками была характерна опять-таки суровость. Никакой излишней опеки, никаких еженедельных или ежемесячных опросов: «Что Вы сделали? Как идет изучение Вами такой-то литературы, подготовка к такому-то экзамену?» Ничего этого не было. Аспирант определял вместе с Петром Петровичем тему своей диссертации, получал некоторые советы по литературе, по кругу источников, а затем на равных включался в работу руководимого учителем сектора: участвовал в обсуждении докладов, сам делал те или иные сообщения — по теме диссертации, рецензии и т. п. В определенные периоды, когда сектор оказывался слишком громоздким и солидным и это стесняло научную молодежь, с благословения Петра Петровича, создавался «Орден Рыцарей Круглого Стола». В одной из камеральных мастерских Академии истории материальной культуры в Ленинграде за большим круглым столом

собирались лаборанты, аспиранты, студенты-старшекурсники, вообще молодежь и делали научные доклады, которые затем весьма оживленно, без какой-либо оглядки обсуждались. Петр Петрович присутствовал на этих заседаниях, но в качестве рядового их участника. Другие сотрудники, уже «остепененные», маститые, отсутствовали. Из этих заседаний «Рыцарей Круглого Стола» вышел целый ряд ценных исследований, в частности известная книга П. Н. Третьякова «Костромские курганы».

Петр Петрович не брал читать по главам работы своих учеников. Ученик должен был как следует побарахтаться сам в научной проблематике, чтобы научиться плавать. Только когда работа была уже закончена, Петр Петрович знакомился с нею в рукописи или в устном изложении автора. И тут нередко следовала суровая критика и рекомендация переделки тех или иных разделов или же работы в целом.

Я уж не говорю о других, но даже А. П. Окладников, имевший за плечами к моменту окончания аспирантуры несколько десятков печатных работ и ряд блестящих полевых открытий, должен был по требованию Петра Петровича несколько раз переделывать свою кандидатскую диссертацию «Неолитические могильники долины р. Ангары».

Но эта суровая требовательность не имела ничего общего с недоброжелательством. Сбрасывая порой своих учеников с небес на землю, Петр Петрович в то же время энергично поддерживал все новое интересное, фундаментальное в их работе. Ученики, когда они этого заслуживали, быстро выдвигались Петром Петровичем на самостоятельную работу, получали свой материал. Вот характерный пример.

Только один полевой сезон, 1934 г., А. Н. Рогачев участвовал в экспедиции Петра Петровича, в раскопках Костенок I. Петр Петрович сразу же распознал выдающиеся способности и преданность археологии А. Н. Рогачева. И уже в следующем сезоне А. Н. Рогачев самостоятельно, под общим руководством Петра Петровича продолжал раскопки Костенок I и получил право опубликовать в пятом томе «Советской археологии» отчет об этих раскопках [1]. Отчет был опубликован за одной фамилией А. Н. Рогачева, без какого-либо соавторства. А в 1937 и 1938 гг. последовали целиком самостоятельные раскопки А. Н. Рогачевым Костенок IV, подытоженные в его известной книге [2]

Для Петра Петровича, как для исследователя, всегда было характерно чувство нового, тесная связь с коллективом, умение учить, воспитывать коллектив и в то же время учиться на опыте учеников, сотрудников, прислушаться к самостоятельному голосу и критике, отказываться от тех или иных своих положений, исправляя их опытом учеников.

Скажу теперь несколько слов о вкладе Петра Петровича в методику раскопок палеолитических поселений. До 1930 г. П. П. Ефименко применял при раскопках костенковско-боршевских позднепалеолитических поселений кессонную методику. Точно так же в те же годы раскапывал Журавку и Мезин М. Я. Рудинский [3]. Площадь раскопа, иногда весьма обширная, разбивалась на метровые квадраты. Культурный слой в каждом квадрате расчищался изолированно. Делались соответствующие дневниковые записи по каждому квадрату. Находки из квадрата запаковывались. Площадь квадрата прокапывалась на 1—1,5 м ниже культурного слоя; а затем переходили к такой же разработке следующих квадратов. Таким образом разборка культурного слоя велась очень тщательно, ножами, шильями, кистями. Все находки тщательно сберегались. Но палеолитические жилые комплексы, землянки, ямы, мастерские при такой методике оставались непонятыми, расчлененными на отдельные не связанные между собой метровые квадраты, фактически оказывались погубленными.

И вот, начиная с 1931 г., одновременно с выдвижением перед исследователями палеолита задач исторического освещения палеолитических памятников, подхода к ним как к историческим источникам, одновременно с началом широкой разработки проблем позднепалеолитических жилищ, Петр Петрович в

процессе раскопок Костенок стал создавать новую методику раскопок палеолитических поселений. Этой методике П. П. Ефименко, что кстати, очень характерно для него, не дал никакого звучного наименования.

Проходивший на рубеже 20-х и 30-х гг. бурный процесс историзации советской археологии палеолита, в котором П. П. Ефименко сыграл ведущую, определяющую роль, процесс ликвидации разрыва между археологией палеолита, с одной стороны, и историей первобытной культуры и социологией, с другой стороны, был неразрывно связан с выработкой новой методики раскопок палеолитических поселений. Последняя являлась одним из звеньев этого процесса.

Новая методика раскопок палеолитических поселений, выработанная Петром Петровичем Ефименко около 60 лет тому назад, и по сей день, с теми или иными видоизменениями и усовершенствованиями, применяется нами. Она требует вскрытия памятников широкими площадями. Но не это главное. Она требует оставлять в процессе расчистки культурного слоя на местах своего первоначального залегания все или важнейшие находки. Но и не это опять-таки главное. Основное, как подчеркивает Петр Петрович, это методика раскрытия палеолитических поселений *путем расчистки древнего пола жилья* [4]

В отчете о раскопках Костенок I в 1933 г. П. П. Ефименко пишет: «Культурные напластования в действительности лишь прикрывают остатки обширного жилья, следы которого имели вид разного рода углублений и ям, часто правильной формы и достаточно глубоких, рассеянных поблизости одна от другой на всей площади раскопок. Эти ямы должны были составлять обстановку внутренней части палеолитического жилья». И далее: «Таким образом, центр тяжести исследования стоянки должен был переместиться от изучения „слоя" к изучению всего комплекса находок в их естественной связи, что являлось совершенно новым моментом для методики изучения палеолитических памятников» [5]

И уже подытоживая свой полевой опыт, в книге «Костенки I» Петр Петрович пишет: «Культурный слой, который принято рассматривать как главный предмет изучения, равнозначный самому палеолитическому поселению, в Костенках I в действительности в значительной своей части являлся лишь каким-то последующим наплывом отбросов, скоплявшихся где-то на месте жилья... Только расчистив и удалив культурный слой, мы могли получить должное представление о характере обжитого человеком пространства» [4].

Постановка такой задачи требовала очень большой научной смелости. Следовало порвать с устоявшимися, получившими характер аксиомы представлениями советской и зарубежной науки о палеолите, согласно которым основные результаты раскопок палеолитического памятника выражаются в коллекции каменных изделий, в коллекции фаунистических остатков плюс профиль, стратиграфия памятника. Следовало порвать с устоявшимися представлениями, что основным объектом изучения является палеолитический культурный слой. Но в то же время научный авторитет П. П. Ефименко, как признанного главы советской школы исследователей палеолита, уже тогда, на рубеже 20-х и 30-х гг. был столь велик, а его аргументы были столь серьезны, что выработанная и примененная им и его учениками новая методика раскопок не вызвала сколько-нибудь серьезных возражений и постепенно стала распространяться все шире и шире. В данном случае нет основания рисовать драматическую картину борьбы Петра Петровича с научными противниками и его окончательной победы. Такой драматической борьбы не было.

В то же время не нужно приуменьшать трудности выработки и применения такой методики раскопок. Последовательно примененная Петром Петровичем при исследовании огромного жилого комплекса верхнего культурного слоя Костенок I, а также ставшей хрестоматийной землянки верхнего культурного слоя Тельманской стоянки, эта методика, разумеется, была создана не сразу.

Более или менее легко, хотя порой тоже не без потерь, осуществлялась круглосуточная охрана раскопа со всеми вскрытыми в нем кремнями, костями, очагами, ямами-хранилищами. При кессонной методике раскопок этого, как

правило, не требовалось. Но вот приемы расчистки и определения древнего пола, стенок древних ям вырабатывались постепенно и с большим трудом. Дело осложнялось и тем, что большинство палеолитических слоев в Костенках прорезано кротовинами и исследователя всегда подстерегала опасность спутать кротовину с древней ямой. Одновременно возникал вопрос: что считать ямой, заполненной костями, а что — кучей костей. Этот вопрос опять-таки упирался в прослеживание древнего пола, что порой удавалось осуществить не на всех участках раскопа.

Для характеристики подобных трудностей достаточно напомнить, что после окончания раскопок Костенок I в 1931 г. П. П. Ефименко полагал, что перед ним какая-то большая жилая западина, а не остатки крупного наземного жилища, как оказалось впоследствии. Об этом можно прочесть в его отчете о раскопах Костенок I в 1931 г., опубликованном в «Сообщениях ГАИМК» [6]. В процессе создания методики были и озарения, были и отдельные ошибки. Шел естественный процесс научного творчества.

И по сей день остаются крайне острыми многие проблемы развития выработанной П. П. Ефименко методики раскопок: трудности прослеживания древнего пола и допускаемые при этом ошибки, вопросы соотношения плана и профиля, вопросы микростратиграфии. Всем этим и многим другим вопросам посвящена обширная литература.

Перейду теперь к вопросам планиграфии. Эта проблематика плодотворно разрабатывается в настоящее время советской и зарубежной наукой о палеолите [7,8] Но, занимаясь планиграфией палеолита, мы как-то недостаточно отдаем себе отчет в том, что планиграфические исследования советских археологов восходят именно к П. П. Ефименко и ни к кому другому.

После выработки в первой половине 30-х гг. методики раскопок долговременных позднепалеолитических поселений с мощным культурным слоем и с полом, содержащим разного рода ямки, землянки и очаги, Петру Петровичу стало ясно, что бездумный перенос такой методики на раскопки временных, сезонных стойбищ с тонким, бедным находками культурным слоем не будет плодотворным. И вот, как своеобразная антитеза проводившимся тогда же раскопкам Костенок I им были задуманы широкие раскопки стоянки Боршево II, при которых на местах своего первоначального залегания должно было оставляться все, вплоть до мелких крупинок охры и единичных угольков. Такие раскопки Боршево II, согласно задуманному Петром Петровичем плану и сформулированным им методическим приемам, были проведены в 1936 г. под его общим руководством [9] А в 1937 и 1938 гг. подобную методику, вероятно самостоятельно им выработанную, применил М. В. Воеводский при раскопах стоянки Чулатово II [10].

Но Петр Петрович стоял не только у колыбели планиграфии палеолита. Он имел самое непосредственное отношение к созданию и к первым шагам трасологии, или функциологии палеолита. Как известно, методы трасологического изучения первобытных каменных и костяных орудий были созданы С. А. Семеновым в 1930-х годах [11]. С. А. Семенов был тогда аспирантом Петра Петровича, работал в секторе палеолита ГАИМК. П. П. Ефименко сразу же высоко оценил открытия С. А. Семенова и стал широко применять их в своей исследовательской работе. За довоенные годы им были изучены под бинокулярной лупой многие сотни палеолитических каменных орудий из Костенковско-Боршевских стоянок. Впоследствии результаты этого изучения были опубликованы в монографиях Петра Петровича, посвященных Костенкам I и Тельмановской стоянке. Такая высокая оценка главой советской школы изучения палеолита новаторских изысканий С. А. Семенова, только начинавшего тогда свою исследовательскую деятельность, и применение результатов этих изысканий на практике, несомненно, стимулировали трасологические работы С. А. Семенова, способствовали их все более широкому развитию.

Естественно, что в работах П. П. Ефименко, как и в работах других крупных ученых, многое сейчас признается устаревшим. Но стиль, традиции, методика, характер воспитания научной школы имеют непреходящее значение и остаются с нами.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Рогачев А. Н.* Предварительное сообщение о работах Костенковской экспедиции в 1936 г. // СА. 1940. Т. V
2. *Рогачев А. Н.* Александровское поселение древнекаменного века у села Костенки на Дону. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955.
3. *Рудинський М. Я.* Журавка // Антропологія. 1929. III. Киев, 1930.
4. *Ефименко П. П.* Костенки I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958.
5. *Ефименко П. П.* Итоги работ в Костенках (август—сентябрь 1933 г.) // ПИДО. 1934. № 4.
6. *Ефименко П. П.* Костенки I (из итогов экспедиции 1931 г.) // Сообщ. ГАИМК. 1931. № 11—12.
7. *Леонова Н. Б.* Закономерности распределения кремневого инвентаря на верхнепалеолитических стоянках и отражение в них специфики палеолитических поселений: Автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.06. М., 1977.
8. *Гречкина Т Ю.* Реконструкция видов производственной деятельности в позднем палеолите (по данным планиграфии и ремонтажа материалов Кокоревских стоянок): Автореф. дис. канд. ист. наук. 07.00.06. Л., 1984.
9. *Ефименко П. П., Борисковский П. И.* Палеолитическая стоянка Боршево II // МИА. 1953. № 39.
10. *Воеводский М. В.* Палеолитическая стоянка Рабочий Ров (Чулатово II) // Уч. зап. МГУ 1952. Вып. 158.
11. *Семенов С. А.* Изучение следов работы на каменных орудиях // КСИИМК. 1940. Вып. 4.

Критика и библиография

В. А. Алекшин. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ (по археологическим материалам Средней Азии и Ближнего Востока). Л.: Наука, 1986. 191 с.

Цель рецензируемой работы — реконструкция «общественного строя ранних земледельцев Средней Азии и Ближнего Востока по данным погребальных обрядов» (с. 3). Она представляет собой дополненный и переработанный вариант кандидатской диссертации, защищенной в 1977 г. Территориальный и хронологический диапазон рассматриваемых в книге материалов очень широк — они происходят из Малой Азии, Месопотамии, Ирана и Средней Азии, начиная с эпохи неолита, первых этапов существования земледельческих культур, до поры сложения раннеклассовых обществ в Малой Азии и Месопотамии. Автором собран и обобщен огромный материал, разбросанный по множеству изданий, как правило, периодического характера. Уже одно это обстоятельство должно привлечь к работе большое внимание. Однако, как нам кажется, она представляет интерес не столько благодаря обилию привлекаемых данных, сколько важности поднимаемых автором вопросов. Принципиально важен и заслуживает анализа подход к материалу, те способы, пользуясь которыми В. А. Алекшин стремится извлечь из него информацию о структуре древних обществ. Исследования такого рода, тем более монографические, все еще немногочисленны в нашей науке, хотя актуальность их как будто широко признана. Исследование поднимает множество вопросов; размеры рецензии позволяют нам остановиться лишь на некоторых из них.

Сразу следует оговорить, что степень изученности археологического материала ставит перед исследователем погребального обряда ряд трудностей. Главная из них — отсутствие во многих случаях антропологических определений и вообще несистематическая публикация данных. Интенсивные раскопки послевоенных лет лишь в малой степени нашли отражение в исчерпывающих публикациях: как правило, их результаты содержатся в разного рода предварительных отчетах. Неполнота данных не может не сказываться на результатах исследования. Вторая трудность — необходимость проработки множества публикаций. Использованная автором литература в основном ограничивается изданиями до 1977 г.; исключения крайне немногочисленны — монография В. М. Массона «Алтын-депе» определяет позднейший рубеж — 1981 г. Ни для кого не секрет, что работы по археологии подолгу лежат в издательствах, и за это время появляются новые исследования, которые авторы по тем или иным причинам не учитывают. Но в данном случае непонятно, почему в книге, вышедшей в 1986 г., не использован ряд работ, опубликованных в начале 80-х годов. Ограничимся здесь упоминанием лишь публикаций материалов раскопок Советско-иракской экспедиции [1, 2], представляющих для темы рецензируемой книги несомненный интерес.

Погребальный обряд — археологический источник особого рода. Лишь он на основании массового материала позволяет судить об обрядовой практике носителей древних культур; через ее призму преломлялись различные явления общественной жизни. Весьма значительной остается роль этого источника и для реконструкций общественной жизни и культур раннеклассовых обществ. Это поистине неисчерпаемый источник, который, необходимо отметить, лишь в малой степени пока отдает нам заключенные в нем сведения. Поэтому так важна разработка методов, позволяющих извлекать эти сведения. Анализу погребального обряда как археологического источника посвящена первая глава книги.

Автор четко осознает, что при изучении погребального обряда археологи в немалой степени следуют за этнографами. Только «живой» материал способен отразить это комплексное явление во всей полноте. Помещению останков в земле предшествуют различные церемонии; следуют они и за этим актом. Согласно В. А. Алекшину, цель погребального обряда — отправить умершего в иной мир и обеспечить его загробное существование. Разные представления о переходе в этот мир, — считает

он, — определяют разнообразие погребального обряда. Он распадается на элементы двух классов: действия (остающиеся в большой мере за пределами археологических комплексов) и материальные элементы (погребальное сооружение, набор инвентаря, поза умершего). «Совокупность ритуальных действий и материальных элементов представляет стандартный (традиционный) погребальный обряд любой археологической культуры» (с. 6).

Нам представляется, что задачи исследования требуют более глубокого осмысления места погребального обряда в жизни древних обществ, чем это делается в книге. Его цель — не только отправка покойника на тот свет, но и сохранение с ним связи. Во всех действиях умерший воспринимается как член коллектива, обладающий особыми характеристиками. Носители земледельческой экономики, как о том свидетельствуют многочисленные материалы, собранные этнографами, заинтересованы в установлении с умершим хороших отношений, они как бы связаны взаимными обязательствами. Об этом же говорят и древние письменные памятники, ставшие в последнее время достоянием не только узких специалистов [3]. Тезисный стиль изложения позиций автора в первой главе особенно досаден, поскольку именно здесь дается характеристика исходных позиций всего исследования. Вероятно, следствие этого стиля — неточные и неполные заключения. Так, ясно, что разнообразие погребального обряда определяется не только разными представлениями о способе перехода в мир мертвых. Определение стандартного обряда археологической культуры позволяет ожидать такого рода реконструкций, однако на с. 7 говорится, что из поля зрения археолога выпадают ритуальные действия, совершаемые до похорон (а совершаемые после?), поэтому особое внимание следует уделять способу захоронения (ингумация, кремация), типу (одиночное, двойное, коллективное), форме погребального сооружения, ритуальным действиям в момент похорон и после них (! — *Е. А.*), инвентарю и позе.

Автор ничего не говорит о погребениях неполных костяков или костей, зафиксированных в разных частях исследуемого им региона. Такие погребения проливают некоторый свет на ритуальные действия, совершаемые до похорон. Игнорируя в последующем изложении такие сведения, В. А. Алекшин возражает Д. Меллаарту по поводу его заключения о вторичности захоронений Чатал Хююка, поскольку скелеты, «судя по опубликованным фотографиям» (! — *Е. А.*), лежат в анатомическом порядке. Не упоминаются и существовавшие погребения неполных костяков в Телль эс-Савване. Для характеристики обряда автор считает безразличным место захоронения — в пределах или за пределами домов, жилой застройки вообще и т. д. (с. 151).

В этой главе почти не говорится о неполноте доступной автору информации, с чем, естественно, связан предположительный характер ряда выводов. В результате у читателей, не знакомых с соответствующими публикациями, может создаться впечатление безусловности и окончательности авторских выводов.

Как уже говорилось, В. А. Алекшин в какой-то мере опирается на исследования этнографов или заключения археологов, сделанные на основании этнографических изысканий. Представляется, однако, что более основательное осмысление этих исследований позволило бы ему избежать той прямолинейности в интерпретации археологических данных, которой отмечены некоторые выводы. Трудно ожидать, что работы этнографов дадут ключ к исследованиям археологов (с. 11): у этнографической науки свои задачи. Цель археологов, как нам кажется, заключается в анализе этнографических данных со своих собственных позиций, с позиций археологической науки. Так, представляется весьма существенной отмечаемая этнографами вариативность в архаических культурах элементов погребального обряда, в том числе поз покойных, инвентаря. В погребальном обряде могут сохраняться разностадиальные напластования, и появление новых способов обращения с покойными, как правило, не влечет полного исчезновения старых. Очень важно отмечаемое рядом исследователей, в том числе цитируемых В. А. Алекшиным, отсутствие, по крайней мере на стадии первобытности, прямой зависимости между погребальным инвентарем и социальным статусом погребенного: инвентарь может выступать как необязательный вообще. Социальная реальность, прежде чем отразиться в погребальном комплексе, опосредствуется системой представлений, а не отражается зеркально (случаи несоответствия погребального инвентаря характеру хозяйства отмечаются автором, но рассматриваются им как нарушения некоего нормального состояния).

Разумеется, нельзя требовать от археолога исследования, по своему характеру междисциплинарного или приближающегося к таковому. Но этого можно ожидать, если автор ставит перед собой задачи, выходящие за пределы чисто археологической проблематики.

В. А. Алекшин предлагает свою методику изучения трех групп вопросов: 1) половозрастное деление; 2) социальная дифференциация; 3) эволюция семьи и брака. Прежде чем обратиться к

соответствующим разделам, остановимся на периодизации, согласно которой анализируются материалы конкретных памятников. Следуя за В. М. Массоном, автор выделяет четыре периода: архаической экономики, развитой экономики земледельческого типа, период ремесел, первый этап раннеклассовой формации. К первому этапу отнесена джейтунская культура, памятники Западного Ирана, Чатал Хююк. Вызывает недоумение отнесение Умм Дабагии и хассунской культуры к следующему этапу. Хассунская культура вместе с халафскими, самаррскими и прочими памятниками вплоть до убейда объединяется с памятниками Намазга I—IV, что вряд ли правомерно. Вызывает сомнение и отнесение к разным этапам Чатал Хююка и материалов хассунско-самаррского типа, хотя это и не столь существенно. Было бы желательно в то же время, чтобы автор последовательно проводил намеченную им линию: на с. 19 говорится, что весь облик материальной культуры Чатал Хююка свидетельствует о существовании развитой экономики, в то время как он относится к архаичной. Периодизация двух последних этапов не вызывает возражений.

Реконструкция половозрастной структуры осуществляется автором на основании корреляции погребального инвентаря с антропологическими данными. Внутри каждой группы могут быть выделены более мелкие подгруппы. «Для каждой половозрастной подгруппы следует определить характерный или стандартный погребальный обряд (ритуалы, форма погребального сооружения, набор инвентаря)» (с. 9). Если же различные половозрастные группы характеризуют один и тот же обряд, автор считает возможным признать, что половозрастные различия в погребальном обряде не отражены. На примере отдельных комплексов посмотрим, как реализуется этот подход в главе II.

Автор останавливается на небольшом числе погребений Средней Азии и Ирана периода архаической экономики. Их данные настолько немногочисленны, что не позволяют прийти, на наш взгляд, к каким-либо определенным выводам, хотя В. А. Алекшин считает, что погребения Али Коша дают для этого основания (с. 18). Материалы Чатал Хююка не опубликованы детально, поэтому не ясно, каким образом автору удается выявить стандартный набор инвентаря. Несмотря на неполноту публикаций, материалы Чатал Хююка все же позволяют сделать некоторые наблюдения о половозрастном делении. Так, женщин и мужчин хоронили в основном под разными глиняными лежанками — предположительно женскими и мужскими. Примечательно, что, как отмечает Дж. Меллаарт, в погребениях детей (вопреки утверждению В. А. Алекшина) встречаются орудия [4, с. 83], а в погребениях женщин — мотыжки [4, с. 96], что предполагает участие женщин не только в домашних работах, как полагает автор рецензируемой работы. Непонятно, почему многие важные данные, полученные при раскопках этого поселения, не нашли отражения в работе, а наблюдения автора раскопок не прокомментированы. Так, немалый интерес представляет факт обнаружения особых, церемониальных, по мнению Дж. Меллаарта, вещей, как при останках мужчин, так и женщин. Некоторые принадлежности костюма позволили предположить, что мужчин иногда хоронили в особой одежде. Пока, однако, нет оснований для вывода, который делает В. А. Алекшин, что исходя из погребального обряда Чатал Хююка можно считать мужчин этого поселения земледельцами. Находки оружия, как и характер изображений мужчин в стенописях, показывают, что в обряде они скорее выступали в облике охотников.

Данные о следующем периоде отличаются большей полнотой, что позволяет автору прийти к ряду интересных выводов, особенно относительно среднеазиатского региона. Это связано с наличием антропологических определений, редких в других комплексах. Авторы публикаций обычно выделяют 2—3 возрастные категории: дети (младенцы), подростки и взрослые. Очевидно, что данные, полученные лишь в некоторых поселениях, нельзя переносить на весь изучаемый регион, поэтому представляются некорректными заключения типа: «Во всех погребениях юношей (16—20 лет) зафиксированы „взрослые" наборы погребального инвентаря (Гавра, Сабз)» (с. 27). Еще более обширными материалами характеризуются памятники следующего периода. Возможности анализа возрастают, но, к сожалению, растет и количество выводов, сделанных на недостаточно представительных материалах. Ограничимся одним примером: 13 женских погребений из Сапаллитепа автор делит на четыре возрастные группы: 25—30 лет (более 4 погребений, но характер изложения не позволяет определить точную цифру); 35—40 лет (1 погребение); 40—50 лет (более 3 погребений) и более 60 лет (1 погребение). Автор считает, что такие дробные возрастные подразделения действительно существовали и делает заключения о характерных для них наборах инвентаря. Можно думать, что опора на более обширные комплексы и обращение к этнографической литературе были бы в данном случае небесполезными.

Характеризуя социальное положение различных групп именно этого периода в основном исходя

из инвентаря, В. А. Алекшин систематически употребляет понятия полноправный — неполноправный и высокий — низкий общественный статус. Отсутствие вещей в погребениях рассматривается как свидетельство низкого статуса. Таким образом, на юге Туркмении, где лишь чуть больше половины погребенных были наделены инвентарем, в эпоху бронзы почти половину взрослого населения следовало бы считать неполноправным. Такое положение, зафиксированное для поры поздней первобытности, не может, как нам кажется, признаваться вероятным. Нельзя признать убедительными и предположения о высоком статусе погребенных на основании нахождения в могилах таких предметов, как печати, назначение которых остается не вполне ясным. В качестве этого признака нельзя тем более рассматривать «псевдопечати», найденные в Тепе Гиссаре (существование статьи на эту тему освобождает нас от необходимости более детально характеризовать проблему печатей [5]). Категории права, когда речь идет об эгалитарном, хотя и структурированном обществе, должны употребляться с большими оговорками.

В результате анализа данных периода первобытности и первого этапа раннеклассовой формации В. А. Алекшин приходит к выводу, что в погребальном обряде, в первую очередь в погребальном инвентаре, отражалось половозрастное разделение труда; в нем прослеживается развитие патриархальных отношений и отражается иерархия половозрастных классов (с. 43, 44). Что касается первого пункта, то его доказательность не вызывает сомнений. Иное — в отношении двух последних. Неравномерность распределения инвентаря может быть истолкована по-разному; ясно, что в характеристике социального статуса человека первобытной эпохи он играл несравненно меньшую роль, чем в раннеклассовое время. Но и для столь позднего времени выводы, сделанные лишь на основании инвентаря, могут быть недостаточны. Нельзя не приветствовать стремления автора представить структуру раннеземледельческих обществ во всей сложности, но вряд ли правомерно упускать из вида, что члены первобытных коллективов не знали социального и имущественного неравенства в формах, присущих классовому обществу.

Второй аспект исследований — реконструкция социальной стратификации (некоторые ее элементы прослеживались и при анализе половозрастного деления). Здесь главная роль отводится данным трех видов: 1) набор погребального инвентаря; 2) погребальное сооружение; 3) поза умершего. Необходим также учет места захоронения в структуре могильника (следует отметить, что вряд ли можно называть могильником погребения в постройках, в том числе жилых: «могильник Чатал Хююка», «могильник Телль эс-Саввана»). Многообразие погребальных обрядов в пределах одного могильника рассматривается автором как отражение социальной дифференциации. В то же время отсутствие инвентаря или его бедность может быть и следствием особых условий смерти.

Один из главных критериев дифференциации — «богатство» инвентаря. Это понятие традиционно применяется в археологии как для характеристики количественного, так и качественного состава инвентаря. Ценностная окраска этого понятия особенно малоприемлема при характеристике комплексов поры первобытности. Нежелательность применения этого термина усиливается, если цель его использования — не просто характеристика материала, а его социологическая интерпретация. Автор полагает, что с незначительными оговорками (с. 12, 13) можно принять вывод: степень богатства погребального инвентаря отражает степень имущественного, а следовательно, и социального неравенства в обществе. При этом упускается из вида то различие, которое существовало в отношении к материальному богатству в жизни первобытного и раннеклассового общества.

Настораживает стремление автора подвести разнообразие инвентаря под три подразделения: стандартный, богатый и бедный. Характер монографии не позволяет выяснить, насколько это деление соответствует исследуемому материалу и не является ли лишь удобной рабочей моделью. Последнее, разумеется, допустимо, но в таком случае как следует относиться к сделанным на основании этого подразделения выводам о существовании в обществе патриархальных рабов, рядовых общинников, общинной знати (с. 70)? Трихотомичность выступает как искусственная и в других случаях, например при анализе погребений Месопотамии (с. 88—92). Рассмотрев три группы погребений первого этапа раннеклассовой формации, относящихся к периоду Урук—Джемдет Наср, В. А. Алекшин приходит к выводу, что в них погребены простые общинники разного уровня благосостояния (с. 100). Тогда почему же в погребениях поры первобытности он стремится видеть отражение различных социальных категорий? Особенно четко произвольность избранных автором критериев видна при анализе «царского» некрополя Ура, из которого явствует, что выделенные имущественные категории не соответствуют социальным (с. 104—109).

Нельзя не заключить, что автор слишком прямолинейно подходит к сложной и интересной

проблеме места имущества в жизни первобытных коллективов. Он не обращает внимания на отмеченный Д. Меллаартом факт сосуществования в пределах одного коллективного погребения в Чатал Хююке костяков с инвентарем и без него; на произвольность отношений между «богатством» захоронений и характером дома, где они найдены. Он считает, что в погребения детей до 1 года не клали инвентарь по той причине, что община не была обязана проявлять о них «хотя бы минимум заботы» (с. 46). Это о детях, которые в архаических обществах земледельцев, как правило, рассматриваются как залог существования коллектива!

И к членам первобытных коллективов, и к обитателям городов раннеклассовой Месопотамии автор практически подходит как к индивидам, лишь формально связанным с коллективом. Он не считает существенным тот факт, что «богатые» погребения, если они встречаются на первобытных поселениях, бывают обычно многочисленными, и в этом случае обильный инвентарь сопровождает погребения как мужчин, так женщин и детей. Богатство инвентаря отражает здесь, вероятно, не дифференциацию внутри общин, а различный уровень материального обеспечения разных общин.

Преждевременными представляются выводы о скорченных позах как отражающих неравноправное положение умерших. Известно, что в пределах одного коллективного погребения положения умерших иногда бывали различны, могли они различаться и на одном поселении. Для выяснения причин этого явления необходима отдельная работа, в которой прослеживалась бы, в частности, связь между позой, инвентарем и местом погребения. Насколько нам известно, подобная работа в исследуемом В. А. Алекшиным регионе еще не проводилась.

В рассматриваемой сейчас главе III, где приводятся сведения о множестве комплексов, особенно ощутимо отсутствие таблиц, глядя в которые читатель мог бы представить набор инвентаря, случаи встречаемости различных его видов. Без этого трудно оценить справедливость выводов, а проработанный В. А. Алекшиным материал лишь с трудом может быть использован в других исследованиях.

Особый интерес представляет выделение категорий вещей, позволяющих судить об особом социальном статусе погребенных. Если для раннеклассовой эпохи это могут быть не вызывающие сомнений престижные вещи (дорогое оружие, украшения и т. д.), то в комплексах погребального инвентаря поры первобытности такие вещи выделяются с трудом. Выше мы уже говорили о печатях, которые в некоторых комплексах, вероятно, можно рассматривать как свидетельства особого статуса человека (главы общины или семьи?). Примечательно, что в погребениях юга Туркмении эпохи бронзы (как и в погребениях неучтенного автором иранского поселения Шахр-и Сохте) печати встречаются в погребениях женщин. Не вполне ясно, можно ли рассматривать как свидетельство особого статуса умерших наличие в погребениях женских статуэток (существ женского пола). Во всяком случае, они встречаются в женских погребениях, как это установлено на Алтын-депе, а в Телль эс-Савване — в погребениях как взрослых, так и детей. Вероятно, знаки особых статусов в комплексах поры первобытности должны выявляться путем сопоставления инвентаря в пределах погребений одного поселения или культуры. Значимое с этой точки зрения в одном случае может оказаться лишенным значения в другом.

Собранные автором данные, как и происходящие из других областей Востока, Палестины и Сирии, позволяют, на наш взгляд, сделать некоторые предварительные выводы. Вплоть до «периода ремесел», т. е. до последнего этапа первобытнообщинного строя, погребальный инвентарь, как и другие характеристики погребений, свидетельствует скорее об эгалитарности общественных отношений. Безусловно прослеживается половозрастное членение общества. Варьирование «богатства» и «бедности» инвентаря может объясняться различными причинами, в том числе тем, что загробное существование обеспечивалось иными способами, чем помещение в могилу различных вещей. Не количество инвентаря, а наличие в нем особых предметов может указывать на особый общественный статус погребенного. В некоторых поселениях встречаются захоронения с предметами, которые могут указывать на то, что погребенные в них могли выступать в роли общественных лидеров. Эти погребения не отличаются богатством. Богатство инвентаря, т. е. большое количество предметов, в изготовление которых вложен значительный труд, обнаруживается лишь в погребениях раннеклассовых обществ. Имущественное неравенство до «периода ремесел», но во многих поселениях и в это время, прослеживается в основном не на внутриобщинном, а на межобщинном уровне.

Сказанное демонстрирует трудности социологических реконструкций, основанных только или по преимуществу на археологическом материале. Постоянно ощущается необходимость обращения к данным смежных наук, в том числе собственно истории, пользующейся письменными документами. Вероятно, без привлечения таких данный предположения о функциях, например,

жречества на Алтын-депе, о существовании здесь двух культовых центров (кстати, почему именно быку должен был быть посвящен один из них? Потому, что найдена золотая головка бычка?) останутся лишь малообоснованными предположениями.

Отдельная глава (IV) посвящена анализу погребений знати, раскопанных в Месопотамии и Малой Азии. В ней рассмотрен большой материал и проведено сопоставление комплексов погребений двух областей.

В последней, V главе исследуется третий интересующий автора аспект — эволюция форм семьи и рассматриваются некоторые закономерности и региональные особенности общественного развития древнеземледельческих племен по данным погребальных обрядов. Анализируя проблему локализации погребений, автор приходит к выводу о независимости расположения «могильников» на поселениях или за их пределами от социального строя на том основании, что и на ранних стадиях существовали некрополи вне поселений (Джармо, Хаджилар). Но сам он в то же время признает, что появление настоящих могильников происходит в период интенсивной социальной и имущественной дифференциации (с. 152). По непонятной причине В. А. Алекшин отрицает существование погребений в жилых постройках (с. 152), считая имеющиеся на этот счет сведения ошибкой археологов, раскапывающих соответствующие памятники. Действительно, в некоторых случаях трудно установить, погребали умерших в жилой или заброшенной постройке, хотя Чатал Хююк свидетельствует, что иногда хоронили и в жилых. Но даже если умерших помещали во временно или навсегда заброшенных домах, этот факт не может игнорироваться, так как он указывает на существование представлений о тесных отношениях умерших с жилищами живых, т. е. о стремлении обеспечить связь умерших с коллективом соплеменников. Основная тенденция, прослеживаемая на протяжении рассматриваемого в книге периода, — постепенное обособление погребений от жилого пространства, создание специальных некрополей (хотя возврат к погребениям в жилищах или в непосредственной близости от них отмечается в разных районах Ближнего и Среднего Востока и позже, как справедливо отмечает В. А. Алекшин).

Особое место в изучении форм семьи принадлежит коллективным захоронениям, вернее захоронениям множественным, поскольку покойники в них обычно помещались в разное время. По количеству погребенных автор выделяет погребения двух групп: до 8 человек — погребения членов малых семей, и от 9 до 40 человек — погребения членов большесемейных коллективов. Случайность цифр очевидна, и, делая выводы, вероятно, было бы целесообразно их округлить. Примечательно, что и в пору существования большесемейных общин (что подтверждается также формами жилой застройки) практиковали и «малосемейные», и индивидуальные погребения. Все это лишний раз говорит как о структурной сложности коллективов земледельцев и на стадии первобытности, так и об относительной самостоятельности погребального обряда.

В целом соглашаясь с выводами автора о принадлежности погребений с большим (более 10) количеством костяков большесемейным общинам, следует отметить, что возможны и иные варианты толкований. Так, погребения Чатал Хююка, которые В. А. Алекшин почему-то именует «семейными склепами» большесемейных общин, могли содержать погребения членов малых семей, а многочисленность костяков объясняется долговременностью существования жилых домов (кстати, их планировка указывает скорее на то, что они принадлежали именно малым семьям). Можно вспомнить, что в неолитическом Библе было найдено отдельно стоящее здание со множеством костяков — вероятно, погребение членов многих родственных малых семей [6, с. 95].

Количественные характеристики коллективных погребений, отражающие структуру семьи, ярко демонстрируют неравномерность общественного развития в разных частях изучаемого региона. Так, в Месопотамии коллективные погребения — вероятное свидетельство существования большесемейных общин — известны в самаррской культуре, но в убейде их уже нет, что говорит о быстрых темпах общественного развития в условиях формирования ирригационного земледелия, зафиксированного в самаррской культуре. Нельзя не согласиться с выводами автора о роли городов в развитии социальной структуры. Но стратификация общества раннединастического Шумера на основании погребального обряда вызывает некоторые возражения. В частности, представляется неправомерным выделение в отдельный слой «царей», поскольку так называемые «царские» погребения — явление особое, до сих пор не получившее однозначного истолкования, а шумерские правители, как известно из исследований историков, лишь условно могут быть названы царями — это скорее представители второго слоя, «знати».

Не вызывает сомнений (опять-таки на основании исследований историков) существование в раннединастическом Шумере чиновников и воинов. Однако выделение этих групп на основании

наличия в погребениях чиновников оружия и печатей, а в погребениях воинов оружия некорректно хотя бы потому, что и воины (впрочем как и представители других социальных слоев — ремесленники, торговцы) имели печати (что применительно к воинам зафиксировано в могильнике Ура). Оружие, как замечает сам В. А. Алекшин, было и у чиновников, но можно предположить, что его могли класть и в погребения ополченцев (такие формирования, насколько известно из письменных памятников, существовали в Шумере). Исследование погребений раннединастического Шумера показывает, что между социальной реальностью и погребальным обрядом стоит осмысление обществом различных социальных статусов и способы выражения такого осмысления. Лишь учет этих «опосредствующих факторов» позволит извлечь из погребального обряда информацию социологического характера. В этой части особенно остро ощущается желательность учета изысканий историков, тем более что именно советские исследователи внесли, по всеобщему признанию, наиболее ощутимый вклад в изучение общественной структуры древнего Двуречья.

Заслуживает анализа и позиция автора относительно роли войны в жизни раннеземледельческих обществ. «Если война становится неотъемлемой чертой эпохи разложения первобытнообщинного строя, то следствием этого должно было бы явиться поголовное вооружение всех свободных мужчин или формирование прослойки воинов» (с. 166) — пишет он. Действительно, если считать, что в погребальном инвентаре отражается существующая социальная реальность в нетрансформированном виде, следовало бы ожидать именно этого. Обрядовая же практика отстает от общественных изменений, отражает их с некоторым запозданием и, как мы уже неоднократно говорили, в специфически трансформированном виде. Вряд ли до ранних этапов формирования государства могли существовать профессиональные воины; кстати, отдельные погребения с оружием, хотя и немногочисленные, известны в убейдской культуре. Напряженная военная ситуация в раннединастическом Шумере дает основания полагать, что и на более ранних этапах были столкновения между разрастающимися общинами за лучшие земли или другие важные в ту пору ценности. Но эти столкновения, по всей вероятности, не носили систематического характера, и общинники играли роль воинов только в случае необходимости, иногда, оставаясь земледельцами, рыболовами и т. д., что до некоторой степени и отражается в их погребениях. И только в раннединастическое время существуют настоящие дружины, хотя появились они, вероятно, несколько раньше.

Построенная В. А. Алекшиным общая периодизация общественного развития населения юга Средней Азии, Ирана, Месопотамии и Анатолии соответствует выводам как историков, так и археологов, работающих в этих областях. Правомерен вывод о «периоде ремесел» как о переходной эпохе, предшествующей формированию раннеклассовых обществ. Вероятно, именно в это время наряду с выделением в самостоятельную сферу деятельности ремесла и развитием обмена резко возрастает роль функции управления, о чем свидетельствуют находки погребений предполагаемых лидеров (одно из них обнаружено на Алтын-депе).

Автор рецензируемой работы поставил перед собой сложную задачу, которую вряд ли можно разрешить в пределах относительно небольшой монографии. Однако важно и то, что обработав большой материал и во многом основательно его интерпретировав, он поставил множество вопросов, сделав тем самым важный шаг в исследовании погребального обряда. Отмеченные в рецензии моменты несогласия с автором не снимают тезиса о важности книги. Напротив, они свидетельствуют о ее современности, о том, насколько актуальны сейчас исторические, социологическое, культурологические и иные интерпретации археологических материалов.

Е. В. Антонова

ЛИТЕРАТУРА

1. *Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я.* Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии. М.: Наука, 1981.
2. *Мерперт Н. Я., Мунчаев Р. М.* Погребальный обряд племен халафской культуры (Месопотамия) // Археология Старого и Нового Света. М.: Наука, 1982.
3. Death in Mesopotamia / Ed. A. Alster (XXVI Rencontre assyriologique internationale). Copenhagen, 1980.
4. *Mellaart J.* Excavations at Çatal Hüyük, 1965. Fourth Preliminary Report // Anatolian Studies. 1966. V.XVI.
5. *Антонова Е. В.* К проблеме функций печатей первобытных земледельцев Востока // СА. 1984. № 4.
6. *Cauvin J.* Réligions néolitique de Syro-Palestine. Documents. P., 1972.

В. Р. Кабо. Первобытная доземледельческая община. М.: Наука, 1986. 270 с.

В рецензируемой книге В. Р. Кабо, выступая как этнограф-профессионал, поставил задачу на основе анализа и обобщения данных по известным в разных частях земного шара доземледельческим обществам, выявить общие черты, характеризующие первобытную доземледельческую общину. Как историк первобытного общества он пытается с привлечением археологических данных наметить перспективу исторического развития этой общины. Как теоретик первобытнообщинной формации В. Р. Кабо обосновывает на всем этом фундаменте статус первобытной доземледельческой общины как основной социально-экономической ячейки первобытного общества. В советской литературе это первый опыт такого монографического обобщения одной из важнейших проблем современной науки о первобытности, и уже поэтому выход в свет книги В. Р. Кабо имеет большое значение для развития разных дисциплин, связанных с изучением первобытного прошлого.

Работы В. Р. Кабо отличаются живым интересом к археологии, что не так уж характерно для этнографических исследований. Стремление проложить путь к реальному объединению этнографических и археологических данных в единое знание о первобытном прошлом явственно прослеживается и в рассматриваемой книге. Чем она может быть полезна для археологов? Нам кажется, в первую очередь тем, что книга эта пытается раскрыть некоторые общие закономерности первобытного общества. Причем выводы в ней строятся не на отдельных выхваченных примерах, чем зачастую грешат археологи, да и не только археологи, пытающиеся перейти к социологическим реконструкциям древнейшего прошлого, но на анализе обширного этнографического материала (Австралия и Тасмания, Южная Азия, Африка, Северная и Южная Америка), выполненном профессионалом высокого уровня. Выводы такого рода имеют для археологов большое эвристическое значение, в том числе и для решения некоторых специфических вопросов. К этому обстоятельству мы вернемся ниже, но прежде необходимо остановиться на самих теоретических положениях книги В. Р. Кабо, особенностях его концепции.

В рецензируемой работе В. Р Кабо впервые в советской литературе дает развернутое теоретическое и фактологическое обоснование статуса первобытной доземледельческой общины как основной социально-экономической ячейки первобытного общества. Идея о том, что именно община, а не род являлась основной социально-экономической ячейкой первобытности, развивалась в работах Н. А. Бутинова, а также В. М. Бахты и других политэкономистов. Но они рассматривают более развитую, земледельческую общину, тогда как на материалах охотников и собирателей эта проблема освещается только В. Р. Кабо, доказывающего, таким образом, что идея о примате производства, о том, что именно внутриобщинные производственные отношения являются фундаментом, базисом, определяющим и остальную структуру общества и его развитие, работает и на самых ранних ступенях первобытно-общинной формации. Итак, концепция, отстаиваемая В. Р. Кабо, оспаривает более распространенную в нашей литературе родовую теорию, согласно которой основной социально-экономической ячейкой первобытности выступает именно род.

Мы не ставим своей задачей всесторонне сравнить и оценить оба эти подхода. Но вместе с тем нам хотелось бы уделить особое внимание теоретическим вопросам, освещенным в рецензируемой работе, а не характеристике их фактологического обоснования, несмотря на то, что именно анализ этнографических фактов занимает большую часть объема книги (главы I—V): их компетентную оценку могут дать лишь этнографы-профессионалы. Кроме того, мы в свою очередь должны будем специально остановиться на главе VI («Первобытная община по данным археологии палеолита»). Итак, рассмотрим четыре вопроса, поднятые в книге В. Р. Кабо: 1) политэкономические основания изучения доземледельческой общины; 2) специфика общины как проявления базисных отношений первобытного общества; 3) этнический аспект общины; 4) реконструкция истории общины по данным археологии.

Излагая во «Введении» теоретические основы своего анализа, В. Р. Кабо совершенно справедливо указывает на то, что «компоненты первобытных культур образуют два крупных блока. Первый характеризуется бесконечной вариативностью элементов материальной и духовной культуры, второй, напротив,— однотипностью. Его характеризуют базисные, социально-экономические признаки» (с. 7). Во втором блоке главенствующую роль играет именно община: «...нет и не может быть первобытного общества без однотипной в своих признаках общины как ведущего социально-экономического института» (с. 7). Исходя из «принципа историко-материалистического монизма, утверждающего генетическую первичность материально-производственной деятельности и соответственно тех

структурных единиц общества, тех социальных институтов, в которых эта деятельность реализовалась», В. Р. Кабо полагает, что «первобытная община — это естественно сложившийся коллектив, который возник одновременно с возникновением самого человеческого общества, с возникновением производства», поскольку она является не просто «наиболее естественной формой общественной жизни людей на заре их истории...», но и «единственно возможной формой их существования» (с. 5, 6). «Первобытная община базируется на коллективной собственности на землю, которая выступает как главное условие и средство производства, источник всех материальных ресурсов, являющихся основой существования общины» (с. 8). Здесь, проводя четкую грань между общиной и родом (община первична, род — вторичен, община преследует экономические цели и состоит из совместно трудящихся семей, род таковых целей в основном не преследует и объединяет не семьи, а лиц, связанных кровным родством, община только иногда бывает экзогамной, род экзогамен по определению и т. д.), В. Р Кабо указывает на двусмысленность понятия «собственность» применительно к первобытности: «Первобытнообщинная собственность — объективное отношение, складывающееся внутри первобытной общины. Но оно воспринимается людьми субъективно; с оформлением родовой организации они рассматривают его сквозь призму последней. Это — одна из причин того, что общинная собственность порою выступает в сознании людей как собственность родовая» (с. 10). Фактологическому обоснованию тезиса о субъективности, иллюзорности понятия «родовая собственность» уделено много внимания и в последующих главах, рассматривающих конкретный этнографический материал.

По нашему мнению, В. Р. Кабо при анализе общины правильно использует исторические изменения содержания общих политэкономических категорий, в частности понятия «собственность». Действительно, когда мы рассматриваем начало какого-либо процесса, его основные характеристики — впоследствии, на высших стадиях этого процесса особенно богатые содержанием — выступают перед нами в наиболее абстрактном, простом содержании, бедном, неконкретном. В этом смысле вся «политэкономия» начальных этапов первобытнообщинной формации сводится к основному положению марксистской философии о материалистическом понимании истории: человеку, прежде чем он может чем бы то ни было заниматься, нужно обеспечить свое физическое существование. Производство средств к жизни и те отношения, в которые при этом вступают люди,— это основа, условие, залог самого существования общества. И если на первобытные производственные отношения смотреть не из клетки, сделанной из переплетения политэкономических категорий развитого товарного производства, а прямо и непредвзято, учитывая исторический контекст, если изучать факты, а не собственные умозрительные конструкции, то, очевидно, ничего особенно сложного в них не окажется. В основе любого общества лежит производство средств жизни; прежде чем что-то распределить, это что-то нужно произвести, поэтому в любом обществе в ряду: производство — распределение — обмен — потребление определяющим оказывается производство. В первобытном обществе, не являющимся, разумеется, исключением из этого правила, производственные отношения отличаются личностностью: они не замаскированы, как в капиталистическом обществе, отношениями вещей, а поэтому особенно очевидны. Здесь для первобытного присваивающего хозяйства мы имеем самую общую, простую обусловленность всей общественной жизни производством материальных благ, средств к существованию, а в связи с этим — абсолютное господство личностных отношений во всех сферах общественной жизни.

В. Р. Кабо хорошо показал, как отношения собственности проявляются и выражаются в производственных отношениях. В первобытных обществах собственность коллективна — а значит, здесь нет и не может быть случая, когда человек, использующий ее в производственных целях, оказывается отстраненным от результата своего труда. Если собственность на территорию коллективна,— а исторической основой, предысторией этого является изначально данное, естественное единство вида и его экологической ниши,— то она ни в какой связи и ни в каком отношении не оказывается частной. Поэтому вообще нет смысла говорить на этой стадии развития общества о каком-то ином субъекте собственности, чем совместно трудящийся коллектив. Если таким коллективом является община, то собственность общинная, если род, то родовая. Эта альтернатива решается фактами, и только фактами — именно они, развернутые В. Р. Кабо в главах I—V, позволяет ему убедительно обосновать свою гипотезу. Нет спора, гипотетический дислокальный и дисэкономический род, рассматриваемый как основная ячейка первобытной формации, например в работах Ю. И. Семенова, полностью соответствует вышеизложенному экономическому пониманию первичного коллектива, обеспечивающего себя средствами к жизни. Но дело в том, что гипотеза Ю. И. Семенова не подтверждается прямыми этнографическими данными и остается умозрительной конструкцией в отличие от концепции В. Р. Кабо.

На стадии присваивающего хозяйства категория «собственность» применима только в крайне абстрактной, самой простой, общей форме, поскольку все люди на этом этапе еще находятся в равном отношении к средствам производства. Поэтому понятие «субъект собственности» для данного уровня развития общества никакого экономического смысла не имеет. Те, кто признают общину как основную производственную ячейку первобытного общества и тем не менее утверждают, что субъект собственности — род, впадают в логическое противоречие, основанное на непонимании коллективной собственности. В связи с этим, по нашему мнению, В. Р. Кабо, говоря о разных формах собственности — экономической и не экономической, допускает терминологическую неточность. В качестве политэкономической категории термин «собственность» следует применять лишь относительно коллективной собственности на природные ресурсы территории, которые экономически осваиваются определенным коллективом (общиной). Что же касается так называемой неэкономической собственности, то смысл ее — вне предмета политэкономии. Ее разные виды относятся к надстроечным явлениям, причем разным. Так право пользоваться территорией с той или иной целью, раздел добычи и т. п. определяется обычаем, традиционными нормами и может рассматриваться как предыстория «собственности в юридическом смысле слова». А «тотемическая собственность» очень напоминает чувство родины и является «собственностью» в том же смысле, в каком мы говорим: «моя страна», «мой край». В отличие от собственности в экономическом смысле, которая есть отношение людей друг к другу по поводу производства и распределения материальных благ, здесь речь идет о чувстве, направленном на землю, природу, территорию. Наверное, не стоит называть одним словом «собственность» столь разные явления; наш понятийный аппарат должен быть как можно более дифференцированным и точным.

Помимо общих политэкономических основ,— раскрытия коллективной собственности первобытной общины,— в книге В. Р. Кабо содержится характеристика общины как общественного института, опять-таки выступающая не в качестве умозрительной, кабинетной концепции, но как результат анализа обширного этнографического материала. «Первобытная община,— пишет В. Р. Кабо,— форма социальной адаптации к условиям среды, как естественной, так и социальной. Это — наиболее динамичная организация самого первобытного социума. Пластичность, подвижность первобытной общины — вот в чем причина необычайной устойчивости этого института. Именно благодаря названным свойствам община дала первобытному обществу возможность сохраниться в самых неблагоприятных экологических условиях, в кризисных демографических ситуациях, пережить войны, эпидемии, голод и другие потрясения, эти свойства сделали общину ведущей общественной формой первобытнообщинного строя» (с. 6). Динамизм общины проявляется в том, что «в зависимости от местных природных условий, времени года, наличия или отсутствия продовольственных ресурсов и других факторов, она то кочует в полном составе, то распадается на хозяйственные группы, численность и состав которых периодически меняются» (с. 29). При этом в качестве обязательного интегрирующего фактора для общины выступает принадлежащая ей территория: «состав общины может быть нестабилен, но ее территория стабильна» (с. 259).

Здесь важно отметить, что первобытная доземельческая община как простейшая и наиболее общая форма объединения людей с целью производства средств к жизни, обнаруживает черты сходства как с более развитыми базисными структурами, так и с формами организации досоциальной жизни. В силу своей простоты она является и началом развития, и результатом возможного регресса (причем регресса с любого уровня развития). Более того, некоторые из определяющих признаков общины характеризуют не только ее, но и другие базисные образования человеческого общества. Например, адаптация к природной и социальной среде за счет изменения собственной структуры свойственна не только общине, но и современному промышленному предприятию. Этот же признак является общим и для общины, и для биологических популяций, которые меняют численность, концентрируются или рассеиваются в зависимости от условий среды. В. Р. Кабо отмечает в этой связи, что «...первобытная община выступает наследницей стадиально предшествующей системы — популяции» (с. 261). Может быть, здесь нечто большее — проявление универсального закона, свойственного всей живой природе, реализующегося как в биологических, так и социальных объединениях?

Теперь перейдем к положениям книги В. Р. Кабо, которые более тесно связаны с нашими археологическими интересами. По мнению автора, община является также первоначальным основным носителем этнических свойств. «Реализация относительно устойчивой внутренней структуры, относительной автономии и хозяйственной автаркии общины, концентрации информационных связей внутри ее в таких признаках, которые принято рассматривать как этнические (сложение языка или

диалекта внутригруппового общения, некоторые своеобразные явления в области материальной и духовной культуры, включая религиозные верования и обряды, противопоставление себя другим коллективам, общинное самосознание и самоназвание как его выражение)... Таким образом, община выступает исторически первой, наиболее ранней этнической общностью» (с. 260, 261). Принимая это положение безоговорочно, археолог открывает для себя возможность теоретически обосновать монокультурность и даже моноэтничность стоянки, после чего несложно вернуться к «этнической версии» археологической культуры. Однако, по мнению одного из авторов данной рецензии (М. В. Аниковича), этот тезис В. Р. Кабо не может приниматься безоговорочно. Основания для этого следующие. 1. Необходимо уточнить понятия «этнос», «этническое», и отграничить их от понятий «культура», «культурное». Если вторая пара понятий по своей природе имеет общеисторическое содержание (человеческое общество без культуры как специфически человеческого адаптивно-адаптирующего механизма немыслимо ни на каком этапе развития), то первая пара понятий является историческими категориями, т. е. отражает такую форму социокультурной общности, которая возникает в определенный момент истории человечества, существует, видоизменяясь на протяжении длительного отрезка этой истории, и в конце концов, по-видимому, обречена на исчезновение. 2. Действительно ли именно община на всех этапах истории первобытности выступала как носитель культурного, в том числе и этнического единства? Не выдвигались ли здесь на первый план, по крайней мере в определенные периоды, иные общественные группировки (тот же род, например) и не фиксировалось ли в таких случаях в рамках одной общины существование разных культурных традиций? Ответ на такие вопросы могут дать только специальные исследования. Но, к сожалению, в этнографических исследованиях именно этим сторонам уделяется мало внимания: культурные явления у разных исторических форм этносов в лучшем случае описываются с большей или меньшей полнотой, но почти не анализируются. Вот почему именно этот тезис В. Р. Кабо не выглядит фактологически обоснованным: он подтвержден отдельными примерами, но не системой анализа. Археология, со своей стороны, может помочь в разработке этого вопроса: ведь археологи, раскапывая стоянки и поселения, имеют дело с остатками жизнедеятельности именно общины. Но для того, чтобы помощь эта оказалась действенной, в практической работе вывод о монокультурности стоянки не должен предшествовать анализу материалов этой стоянки; перед археологом всегда должен стоять вопрос: прослеживается ли в этих материалах одна, или же разные системы традиций?

Культурно-генетические исследования — далеко не единственное направление археологического анализа вещественных источников, хотя сейчас можно констатировать преобладающую роль именно этого направления. Археологи понимают, что обнаруживаемые ими сходства и различия не укладываются в прокрустово ложе культурно-генетических и хронологических интерпретаций. Здесь нам может оказать существенную помощь осмысление, применительно к нашим материалам, многих наблюдений, связанных со структурой доземельных общин. Община как основная единица общества, распадающаяся в разные периоды на хозяйственные и целевые группы, но сохраняющая при этом какое-то культурное единство, связь общины с определенной территорией, сезонные различия в хозяйственной деятельности общины — все это ценное основание не только для осмысления уже известных сходств и различий археологического материала, но и для того, чтобы дальше структурировать наш источник, заметить такие черты, которые без этого оставались бы вне поля зрения. Так, например, сезонные различия хозяйственной деятельности и образа жизни (яркий пример — австралийцы племени викмункан, см. с. 55) наводят на размышления как о смысле морфологических различий изучаемого нами кремневого инвентаря, так и о критериях, используемых при чисто морфологических исследованиях. Но здесь, для того чтобы от общих соображений перейти к конкретному совершенствованию наших методик, необходимы новые аспекты в полевых исследованиях этнографов, способные осветить те объекты культуры живых первобытных обществ, которые могут прямо ассоциироваться с ископаемыми археологическими источниками.

Признавая, что община «возникла одновременно с возникновением самого человеческого общества» (с. 203), т. е. по меньшей мере около трех миллионов лет назад, В. Р. Кабо тем самым ставит перед собой задачу стадиальной классификации доземледельческих общин, ибо для историка невозможно согласиться с тем, что за столь долгий срок эта организация не претерпела никаких качественных изменений. Главное внимание автор здесь обращает на археологические данные, поскольку, по его мнению, этнографические данные в этом отношении недостаточно репрезентативны: даже выделив два типа родовых доземледельческих общин: 1) локально-родовую, основанную на локализованном роде, и 2) родовую гетерогенную, состоящую из представителей разных нелокализованных родов, и допуская, что «община второго типа, возникшая, вероятно, позднее общины первого типа, яв-

ляется дальнейшим развитием общинно-родовой организации», В. Р. Кабо тут же отмечает, что «убедительных доказательств такой последовательности у нас нет» (с. 270). Однако именно обращение его к археологическим данным (глава VI) является, по нашему мнению, самым слабым местом книги.

Поставив перед собой задачу восстановить самые ранние этапы истории первобытной общины по данным археологии, В. Р. Кабо рассматривает общину современных охотников и собирателей как модель, с помощью которой должна осуществиться реконструкция. Совершенно справедливо указывается, что эту модель нельзя механически проецировать в прошлое, т. к. первобытная община, подобно всем остальным социальным институтам, развивалась (с. 203). Прочитав эти и другие столь же верные замечания, предваряющие шестую главу, читатель вправе ожидать, что автору удалось найти способ, заставляющий работать археологические данные как исторические источники, что дальше перед ним раскроется картина конкретной истории развития общины, от ее возникновения у архантропов, до расцвета у неоантропов, и далее — к земледельческой общине. Но, к сожалению, надежды не оправдываются.

Во-первых, признав (или условившись), что современные охотники и собиратели репрезентативны для изучения социальной структуры охотников и собирателей, существовавших в древности, В. Р. Кабо традиционно определяет «стадиальную глубину» этих современных народов: палеолит — тасманийцы, мезолит — все остальные. А на каком основании? Потому, что тасманийцы — наиболее отсталый в культурном отношении народ? Но мы знаем, что позднепалеолитические общины в культурном отношении исключительно разнообразны, причем у многих, например у восточноевропейских охотников на мамонтов, уровень культуры был исключительно высок. И с другой стороны, есть прекрасный неолит безо всяких признаков производящего хозяйства, неолит тех же охотников и собирателей. Сейчас мы имеем как бы два параллельных ряда: археологический — олдувей, ашель, мустье, верхний палеолит, мезолит (не всеми признаваемый в качестве археологической эпохи), неолит, и этнографический — состоящий из типов обществ, расположенных по уровню их развития. У нас пока нет общего знаменателя для сравнения этих рядов. Мы можем лишь сопоставлять археологические эпохи и стадии развития общества, не претендуя при этом, что один ряд раскрывает сущность другого, что их соположение окажется закономерным в деталях, что каждая археологическая эпоха может быть раскрыта в терминах социально-экономических и социоструктурных изменений.

Во-вторых, в основу предложенной периодизации развития общины, в сущности, положена некритически воспринятая «теория двух скачков», критикуемая палеолитоведами за свой чисто умозрительный характер: первые две фазы — это еще «протообщины» (поскольку формировали их «неготовые люди» — архантропы и палеоантропы), подлинная община появляется лишь на третьей фазе, с появлением «готового человека» — неоантропа. Фактические основания для такой периодизации отсутствуют: почему, например, следует считать, что «возникновение индивидуальной собственности на орудия личного пользования», «формирование общинной экзогамии» возникает только с появлением палеоантропов (с. 269), а «появление специализации, как следующего (после половозрастного разделения труда) этапа в развитии внутриобщинного разделения труда и как следствия дальнейшего развития производительных сил и появления прибавочного продукта в условиях, благоприятных для развития личности и углубления индивидуальных различий между людьми» (с. 270) непременно соответствует верхнему палеолиту и человеку современного вида? Здесь одна умозрительная концепция накладывается на другую, столь же умозрительную теорию — и не более того.

Последнее обстоятельство явственно обнажается тем, как В. Р. Кабо в VI главе обращается с археологическими источниками. Казалось бы, обращение к ним должно подразумевать, что теоретически выведенные и проверенные этнографией положения относительно общины охотников и собирателей, которые по отношению к археологическим фактам являются гипотезой, нужно этими фактами доказать, нужно теоретически обоснованную гипотезу вывести из обобщения конкретных археологических данных, нужно чтобы эти данные конкретизировали, обогатили, а может быть, и изменили, скорректировали эту общую модель, наполнив ее конкретным содержанием. В книге же этого нет, факты, а точнее — мнения археологов об этих фактах, об их интерпретации, используются как примеры, иллюстрации теоретической конструкции. Мы хотим обратить особое внимание на то, что В. Р. Кабо оперирует не самими фактами археологии, а интерпретациями археологов, которые получены методом, чаще всего еще более нестрогим, чем проводимый в обсуждаемой работе. Даже самое понятие «жилище» в применении к археологическим данным является интерпретацией. В каждом случае — в особенности, если речь идет о нижнепалеолитических материалах — к этой интерпретации надо относиться критично: что дает нам право утверждать, что данная концентрация культурных

остатков связана именно с жилищем? Классическим примером наземного мустьерского жилища считается жилище в IV слое Молодова I, но и оно вызывает вопросы и сомнения.

Ни одно положение VI главы, касающееся археологического материала, не является выводом из этого материала, а всегда — проекцией на него общих рассуждений, причем рассуждений небесспорных. Например, на с. 205 мы читаем: «Наличие жилища является результатом процесса социальной консолидации». А норы, гнезда, хатки, термитники и другие «жилища» животных? Наличие жилища как относительно замкнутого, выделенного из окружающей среды объема, причем выделенного как искусственным, так и естественным способом (например, пещера),— это один из необходимых моментов жизни как человека, так и многих животных. Как же по форме, структуре (точнее, по остаткам этой формы и структуры, обычно нарушенным и замутненным естественными процессами) проследить грань между жилищем человека и жилищем животного, проследить развитие именно человеческого жилища? Это вопрос, который нельзя обходить, если использовать жилище как источник для реконструкции социально-экономической структуры.

Еще несколько примеров — из множества, которые можно видеть на каждой странице. Что дает основание говорить о локально-групповой экзогамии на примере олдувайского местонахождения ДК I, кроме соображений общего характера (с. 206)? Что дает право говорить об отличии структуры «протообщины» от общины кроме тех же общих соображений? На с. 208, 209 мы читаем: «Протообщина из Терра Амата не была стадом, в ней уже видны черты будущего человеческого общества, будущей общины». Интересно, как это удалось увидеть в материалах Терра Аматы «протообщину»? Какие археологические факты говорят о том, что общины, известные по этнографическим материалам, сформировались не ранее позднего палеолита? Такого рода предположения можно было бы проверить, сравнивая не общественно-экономическую структуру общества со структурой *материальных остатков* деятельности общества, а структуру материальных остатков деятельности этнографически наблюдаемых охотников и собирателей с таковой же, известной по данным археологии (вариант этноархеологического подхода).

Количество примеров того, что археологические данные здесь не работают как исторический источник, а используются как примеры и иллюстрации к теоретическим построениям, можно было бы умножить. В свете сказанного слова о том, что «данным археологии палеолита... принадлежит в освещении этого процесса (становления и развития первобытной доземледельческой общины — *Т. Д.* и *М. А.*) первостепенное место» (с. 231), выглядят крайне неубедительно. Опыт их использования лишний раз показал, что на сегодняшний день археологическим данным в освещении вопросов такого рода принадлежит не «первостепенное место», а, мы бы сказали, вообще никакое. Чтобы изменить эту ситуацию, нужно осознать, что археологические источники требуют такого же тщательного источниковедческого анализа, как и этнографические. Пока этот анализ не сделан, любые сопоставления с этнографическими и другими материалами преждевременны. Нужно вначале осуществить возможности археологии как источниковедческой дисциплины: максимально структурировать источник по всем параметрам, диктуемым его социальным происхождением и природным фоном существования. Книга В. Р. Кабо показала необходимость такого подхода к археологическим источникам с исчерпывающей ясностью.

Но это — наша задача, задача археологов-палеолитоведов! Вот почему замечания, касающиеся VI главы книги В. Р. Кабо, относятся не столько к автору, сколько к нам самим, а точнее — к современному состоянию дел в палеолитоведении.

Т. Н. Дмитриева, М. В. Аникович

Димитър Димитров. Прабългарите по Северното и Западното Черноморите. Варна, 1987. 303 с. 33 рис.

Рецензируемая книга Димитрова представляет собой фундаментальный труд, в котором автор попытался собрать и обобщить все сведения источников, все результаты исследований о древнем тюркоязычном этносе, называемом в источниках болгарами. Необходимость такой работы давно назрела, поскольку для того, чтобы двигаться дальше в изучении «проблемы праболгар», нужно прежде всего подвести итоги всему тому, что уже сделано, как по отдельным вопросам, так и по всей проблеме в целом.

Димитров последовательно, от раздела к разделу дает нам широкую и динамичную картину, начиная с наиболее сложного вопроса происхождения древних болгар и кончая формированием ими государств на территории Европы.

Книга состоит из трех частей-глав. Две первых посвящены исключительно рассмотрению материалов (письменных источников и археологических данных), которые автор считает возможным связывать с древними болгарами, обитавшими в I тыс. н. э. в степях Восточной Европы.

Не будем подробно останавливаться на его анализе и интерпретации письменных источников, тем более, что и в книге они занимают не главное место. Отметим только, что автор достаточно полно привлекает их в своем исследовании и прекрасно ориентируется в них. Кроме того, он осведомлен и о многочисленных трудах своих предшественников, занимавшихся в той или иной степени историей праболгар и пользовавшихся теми же, что и он, источниками: краткими, отрывочными, нередко крайне тенденциозными сведениями разноязыких средневековых авторов. Весьма существенно при этом, что при ссылках на предшественников и даже в случаях несогласия с ними Димитров не теряет благожелательного и тактичного тона по отношению к критикуемому им автору. Это очень украшает книгу и делает ее историографические разделы значительно более информативными, поскольку они дают верное и вполне объективное представление о развитии изучения праболгарской тематики как в Болгарии, так и в Советском Союзе.

Запутанные узлы сведений письменных источников каждый ученый пытается распутать по-своему. Иногда исследователю удается воссоздать более или менее вероятную и правдоподобную ситуацию или целую панораму жизни исследуемого этноса и государства. Димитров в своей книге использует разные точки зрения, присоединяясь то к одной, то к другой гипотезе, и его собственные построения, основанные на исследованиях крупнейших болгарских и русских ученых, а также и на своем анализе источников, как правило, не вызывают возражений.

Правда, мне представляется методически неверным широкое привлечение в исследование о болгарах сведений, касающихся родственных и синхронных им этносов: уногундуров, кутригуров, оногуров, барсилов, савиров и пр. Это были разные этносы, часть которых вошла в VII в. в Великую Болгарию. Однако следует помнить, что в единый болгарский этнос они не успели там сложиться. Этот процесс сложения болгарского этноса (а позднее — народа) из различных кочевых этносов под главенством болгар завершился только в государственных болгарских объединениях: Дунайской и Волжской Болгариях, а также внутри Хазарского каганата. Интересно, что хазары, как и болгары в Великой Болгарии, так и не успели объединить под своим именем этнос и народ: каганат включал в себя за все время своего существования массу различных племен и этносов. М. И. Артамонов прекрасно показал это в своем энциклопедическом исследовании [1]. Видимо, вслед за ним надо было, рассказывая о составных частях будущих болгарских объединений, подчеркивать их различия с собственно болгарами. Недопустимо, по-моему, путать болгар и барсил, помещаемых Димитровым в бассейн Кумы (ср. карты на рис. 1 и 2), произвольно переносить к праболгарам известную по Моисею Каганкатваци миссию христианского епископа Исраиля к савирам (с. 50) и т. д.

Впрочем, справедливость требует сказать, что некоторые натяжки и противоречия при анализе отрывочных сведений письменных источников свойственны практически всем ученым, работающим с этим очень зыбким материалом. Обычно сведения, которыми они оперируют, сильно запутаны, и кроме того, средневековые авторы, используя при написании своих трудов более ранние произведения, иногда создают невероятную хронологическую путаницу в описании событий и народов.

Именно поэтому в изучении всех бесписьменных народов, в том числе и раннесредневековых болгар, решающую роль играют археологические источники. Полное использование разнообразных археологических данных — неоспоримое достоинство книги Димитрова. Он знает все изданные (а иногда и неизданные) у нас в стране археологические материалы из восточноевропейских памятников и все основные, кажущиеся ему приемлемыми, гипотезы и выводы, которые делают советские археологи, работающие с этими материалами. В настоящее время советские исследователи накопили громадный материал по степным древностям. К сожалению, большая его часть еще не издана по-настоящему, то есть не превращена в исторический источник, а потому пользоваться большинством сообщений о раскопках и тем более — выводов из них, как это делает автор рецензируемой книги, без предварительной тщательной проверки (и обработки) данных не всегда правомерно. Приведу несколько примеров. После публикации статьи А. К. Амбро-

за в 1982 г. об интерпретации памятников типа Вознесенка-Глодосы [2], представляется вполне доказанным, что они являются поминальными храмами тюркских аристократов. Аналогии им хорошо известны в Монголии (на территории бывшего Тюркского каганата). До А. К. Амброза большинство ученых, практически без всяких оснований, поскольку остатков обряда трупосожжения человека обнаружить не удалось, эти памятники считали трупосожжениями [3, с. 106 и сл.]. Однако Димитров считает возможным повторять это безнадежно устаревшее мнение. Мало того — он прилагает к тексту карту (рис. 8), названную им «Памятники степного праболгарского населения второй половины VII — начала VIII в.», на которой помещены все памятники этого типа. Отсюда следует, очевидно, что автор приписывает праболгарам обряд трупосожжения. Или, возможно, он полагает, что это обряд кутригуров, так как на карте, составленной по письменным данным (рис. 3), он помещает здесь кутригуров. А тогда — разница этнического имени и обряда весомо и зримо говорит нам о том, что мы не имеем права отождествлять болгар и кутригуров и рассматривать их, постоянно «подменяя» одно наименование другим.

Второй пример такого же «выборочного» отношения к интерпретации материала касается близкого к Вознесенке памятника — Канцирского поселения и гончарных мастерских. В 1961 г. Т. М. Минаева, ознакомившись с керамическими материалами первых раскопок этого памятника, написала работу, в которой она датировала их VI—VII вв. и назвала аланскими. Тогда керамика салтово-маяцкой культуры была еще слабо изучена и поэтому сведения Т. М. Минаевой были приняты без критики. Сейчас совершенно ясно, что типы керамики и печей Канцирки идентичны «салтовским», а следовательно датировать их следует на два—три века позднее, то есть концом VIII — началом X в. Керамика же «пастырских» типов несопоставима с канцирской так же, как и салтовская керамика, имеющая совершенно иной облик сравнительно с пастырской.

Приведенные примеры некоторой «произвольности» или «выборочности» датировок относятся в основном к первой главе книги, в которой, по мысли автора, должны анализироваться материалы праболгар VI—VII вв. На самом деле материалы, которые можно было бы безусловно соотнести с праболгарским этносом этого периода, в книге отсутствуют. Ведь нельзя же считать трупосожжения могильников Борисовского и Дюрсо, Перещепинского «клада» и пеньковских поселений, неоднократно упоминавшихся в главе, праболгарскими! Для этого у нас нет никаких оснований.

Во второй главе рассматриваются археологические материалы восточноевропейских степей VIII—IX вв. Этот период значительно лучше у нас в стране представлен разнообразными материалами и несравненно лучше обработан, чем первый, памятники которого, хоть и выявлены хронологически [4], но только в отдельных случаях могут быть приписаны древним болгарам (несколько поселений и могильников в Крыму, следы «кочевий» в Приазовье и некоторые другие).

Димитров начинает эту главу с небольшого параграфа (с. 130—132) о соотношении салтово-маяцкой культуры и праболгар. Однако следует сказать, что не только один параграф, но и вся глава полностью фактически должна была бы называться так, поскольку построена она на материалах и памятниках именно этой культуры: от Тамани, Фанагории и Хумаринского городища на юге до Салтова, Дмитриевки и Маяцкого комплекса на севере. Автор с большим пиететом относится к советским исследователям, работавшим на памятниках салтово-маяцкой культуры. Однако и в этой главе всегда, где это представляется возможным, он пытается «занизить» дату памятника. Так, Хумаринское городище автор считает возможным относить к VIII в. по той причине, что оно могло быть построено как защита от арабов. Между тем, городище по материалу датируется IX — началом XI в. Пока нет оснований для пересмотра этой даты. То же следует сказать о котлах с внутренними ушками. Они очень разнообразны по типам, причем разные типы относятся к разным векам. Лепные — к VIII—IX вв., круговые «горшковидные» — к IX в., «казанообразные» котлы, к которым относятся в основном предкавказские типы, датируются X—XII вв. В. Б. Ковалевская абсолютно права, считая, что котлы не могут быть этническим индикатором [5]. По нашему мнению, они вообще появлялись там, где начиналось активное оседание (и параллельное ему — обнищание) кочевого населения [6, с. 54, 55]. Таким образом, этнически котлы могут быть чьи угодно, распространяясь по времени почти на 300 лет, а территориально — в степях от Волги до Дуная. Пожалуй, можно только допустить, что некоторые типы котлов отдела «горшковидных», вероятно, следует связывать с болгарским этносом. Дата их — IX в.

Все эти и некоторые другие хронологические разночтения и толкования, очевидно, возникли и утвердились в книге Димитрова потому, что огромное количество раскопанных к настоящему

времени материалов на Северном Кавказе, в степях, в Крыму все еще ждет своего исследователя или же публикации. Как правило, у нас в стране выходят книги и статьи, в которых даются результаты работы над материалом. Каков этот материал, сколько его, правильно ли он методически обработан, а значит, верны ли выводы — все это остается неясным читателю.

Очевидно, мы, советские археологи, специалисты по раннесредневековым древностям Восточной Европы, должны упорядочить имеющийся у нас в руках материал, издать памятники с весомыми доказательствами их датировок. Нужна серьезная и общая систематизация материалов. Работа Димитрова показала, что сделано в этом направлении еще очень немного. Именно для таких, казалось бы на первый взгляд, явно негативных выводов и нужны обобщающие работы, подобные рецензируемой книге. Они показывают нам наши недоработки, а значит практически дают направление для деятельности будущих поколений ученых. Сейчас же, на данном этапе исследования большинство исторических построений Димитрова, касающихся непосредственно восточноевропейских памятников и опирающихся на их шаткий фундамент, оспаривать трудно, поскольку нет (или мало) для этого материалов, правильно изданных и обработанных, которыми можно бы было оперировать в споре. Следует поэтому признать, что многие заключения его в настоящее время являются более или менее достоверными гипотезами.

Третья глава посвящена праболгарам в западном Причерноморье, то есть на территории Дунайской Болгарии, границы которой в значительной степени совпадают с нынешней северо-восточной Болгарией и частью юго-восточной Румынии. Глава начинается с определения численности Аспаруховой орды, пришедшей в VII в. на Дунай. Автор берет «среднюю» цифру — 100 тыс., в отличие от Златарского, писавшего о 20—30 тыс., и П. Петрова, считающего, что праболгар было 250—300 тыс. К этому хочу только добавить, что размер средневековой орды в источниках, упоминавших печенегов и половцев, как правило, не превышал 40 тыс. Возможно, что это был традиционный и максимальный размер экономической кочевой единицы и при подсчетах численности кочевых орд других этносов следует обратить на это внимание.

Димитров всю жизнь занимался исследованием раннесредневековых памятников Северо-Восточной Болгарии, многие из них он сам впервые обнаружил в разведках, все обследовал и в раскопках ряда из них или участвовал, или возглавлял экспедиции. Им лично накоплен громадный материал, обработанный, осмысленный и в значительной степени изданный. Опираясь на него и на некоторые добросовестно изданные материалы других исследователей, автор абсолютно, как мне представляется, верно датирует болгарские памятники. Здесь он ни разу не удревнил материал, он справедливо опровергает распространенное в Болгарии мнение, что Большой дворец в Плиске относится к аспаруховой эпохе [7, с. 92—96], верно датирует погребения (могильники) временем не ранее VIII в., а котлы с внутренними ушками — не ранее IX в. Очевидно, высокая требовательность к себе, научная принципиальность и блестящее знание материала ни разу не позволили Димитрову сфальшивить и как-то подтянуть ту или иную дату и археологический факт к известным по письменным источникам событиям.

Это весьма существенное для любого исследователя обстоятельство позволило ему верно установить наличие нескольких праболгарских «волн», набегавших периодически на западный берег Черного моря. Каждая волна приносила с собой новые черты культуры, сложившейся еще в восточноевропейских степях. «Теория волн» вполне согласуется с теми данными, которые удалось проследить и мне на восточноевропейских материалах, в значительной своей части заново передатированных мной со всевозможной доказательностью [8] Правда, Димитров не всегда согласен со мной относительно причин праболгарских передвижений с востока на запад, однако материал так крепко держит его, что «волны», устанавливаемые им и мной, фактически синхронны, а именно это и следует сделать археологам в первую очередь — поставить жесткие хронологические вехи.

Тщательное исследование могильников, а следовательно, и погребального обряда также привело автора к нескольким очень важным наблюдениям и выводам. Прежде всего в этой главе он, после некоторого колебания, приходит к заключению, что праболгарам не свойственно трупосожжение (с. 214). Хотя в заключении ко всей книге, возвращаясь к этому вопросу, он все-таки оставляет этот вопрос открытым (с. 270), во всяком случае ясно, что это и не славянский обряд. Чей же он? Это так и остается без ответа. Впрочем, может быть, автор и прав, не поднимая эту тему во всем ее объеме. Однако мне кажется, что не нужно было и касаться ее так, как это сделано в книге (в главе 1), поскольку очень внимательный читатель все-таки сделает заключение, что автор считает их праболгарскими, а в главе 3 он это как будто отрицает. Видимо, сам Димитров не

пришел к более определенным выводам: он пишет, что для окончательного решения нет еще достаточных данных (с. 214).

Второе наблюдение, сделанное Димитровым, касается обряда обезвреживания трупа (разрушения его скелета). Этот вопрос уже давно был поднят в советской литературе [9, с. 83; 10, с. 181, 182]. Обычай прослежен в сотнях погребений древних болгар и алан в восточноевропейских степях, в лесостепи и Предкавказье. Сейчас он установлен и для праболгар, заселивших Подунавье. Можно считать этот обычай в совокупности с другими чертами характерным этническим признаком древних болгар.

Очень интересен, перспективен и важен третий вывод, основанный на изучении могильников. Димитров четко проследил три группы могильников. Две из них представлены трупоположениями, ориентированными головами на Запад (первая) и Север (вторая). Тем самым Димитров выявляет две праболгарские группировки, называя одну «плискинской», а другую «котрагской». Географическое наименование несомненно верно (они сосредоточены в долине Плиски), этническое — гипотетично, однако факт очевиден: группировки выделяются. Мало того, автор проследил наличие их и в Восточной Европе (рис. 15). Правда, там могильники нанесены на карту без учета их единовременности, т. е. одни из них относятся к VII в., другие к IX, третьи к началу X вв. Это уже менее чистый результат, тем более что принадлежность ряда включенных в карту могильников праболгарам не доказана и вряд ли правомерна (Борисово, Дюрсо и др.). Между тем к вопросу о коррелировании хронологических данных с обрядовыми следует подходить крайне осторожно, поскольку мы знаем, что такая черта обряда, как западная (и даже северная) ориентировки распространены очень широко и только по ним приписывать погребения праболгарам невозможно. Однако это проскальзывает в книге, особенно в разделах, посвященных самой ранней истории праболгар, то есть периоду их истории, от которого не осталось легко находимых и видимых археологически следов.

Вопрос о причинах, по которым праболгарские памятники в массовом количестве мы находим только начиная со второй половины VIII в. (как на нашей территории, так и в Болгарии), не поднимается в книге. Работая с кочевническими материалами VII—VIII вв., я неоднократно сталкивалась со странным, периодически повторяющимся исчезновением памятников того или иного этноса, несомненно существовавшего и многократно зафиксированного на определенной территории в письменных источниках. Очень ярким примером такого «материального отсутствия» являются аспаруховы болгары, как известно, прибывшие на Дунай в VII в. и начавшие оставлять после себя памятники только со второй половины VIII в. Димитров был обязан как-то объяснить этот феномен. Он же его просто обходит. В одной из своих работ я предложила свою концепцию, согласно которой кочевники, находившиеся на первой стадии кочевания, не оставляли после себя ни поселений, ни даже постоянных могильников [6, с. 27, 28]. Мне кажется, что, если Димитров не согласен с таким простейшим объяснением, он должен был бы сказать об этом и дать какие-то свои соображения по поводу этого явления.

В заключение к этой главе следует еще раз подчеркнуть, что несмотря на частные замечания, в целом она прекрасно написана и источниковедчески в ней подкреплен буквально каждый тезис. В самой главе материал представлен сжато, но каждое положение, каждый упомянутый факт сопровождаются обширной библиографией. Приходится только пожалеть, что иногда автор ограничивается сноской на свою опубликованную работу и не дает в книге некоторых очень важных сведений. Так, сказав, что в настоящее время известно 200 праболгарских поселений в северо-восточной Болгарии, он не сопровождает это сообщение картами. А их можно было сделать и хронологическими (это подтвердило бы наглядно «теорию волн») и типологическими. Все это, возможно, позволило бы сделать дополнительные исторические выводы.

Итак, подводя итоги, следует прежде всего приветствовать появление этой книги. Написана она очень живо, с присущими автору энергией и задором. Она безусловно с большим интересом будет воспринята всей читающей публикой Болгарии. В ней с достаточной тактичностью, по-моему, поднимаются и в какой-то мере решаются спорные и порой становящиеся «болезненными» в науке вопросы взаимоотношения трех основных этносов, из которых сложился современный болгарский народ: славян, праболгар и потомков древнего фракийского населения. Из книги явствует, что праболгары, во всяком случае, не были основным этносом в этом союзе, но именно они сыграли главную роль в образовании Первого Болгарского царства.

Очень нужна монография и для советских археологов. Она демонстрирует нам прежде всего недостатки в нашей работе. Заключаются они в основном в отсутствии сводного большого источ-

никоведческого труда, посвященного типологии и хронологии степных древностей Восточной Европы. К сожалению, создать эту работу пока невозможно, поскольку громадное число раскопанных памятников не только не опубликовано, но и исследовано недостаточно квалифицированно, а о некоторых из них нет даже отчетов. Очевидна необходимость обработки и источниковедческой публикации памятников. Только после проведения этой титанической работы можно будет, опираясь на неопровержимые факты и сравнивая памятники между собой, написать по-новому то, что сделал Димитров в двух первых главах своей книги по материалам, которыми он располагал в настоящее время. Возможно, в будущем какие-то его положения удастся подтвердить, другие отпадут сами собой. Важно, что книга показала нам значительные пропуски в наших знаниях истории нашей страны, она явилась для нас своеобразным катализатором, ускоряющим серьезную работу с материалом, который мы (археологи-кочевниковеды) обязаны еще в этом тысячелетии превратить в исторический источник.

С. А. Плетнева

ЛИТЕРАТУРА

1. *Артамонов М. И.* История хазар. Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1962.
2. *Амброз А. К.* О Вознесенском комплексе VIII в. на Днепре — вопрос интерпретации // Древности эпохи великого переселения народов V—VIII веков. М.: Наука, 1982.
3. *Сміленко А. Т* Слов'яни та їх сусіди в степовому Подніпров'ї (II—XIII ст.). Київ: Наук. думка, 1975.
4. *Амброз А. К.* Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // СА. 1971. № 2, 3.
5. *Ковалевская В. В.* Археологические следы пребывания древних болгар на Северном Кавказе // Плиска — Преслав. № 2. София, 1981.
6. *Плетнева С. А.* Кочевники средневековья. Поиски исторических закономерностей. М.: Наука, 1982.
7. *Ваклинов Ст.* Формиране на старобългарската култура VI—XI век. София, 1977.
8. *Плетнева С. А.* Древние болгары в бассейне Дона и в Приазовье // Плиска — Преслав. № 2. София, 1981.
9. *Плетнева С. А.* От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.: Наука, 1967
10. *Флёров В. С.* Маяцкий могильник // Маяцкое городище. М.: Наука, 1984.

Димитър Димитров. Прабългарите по Северното и Западното Черноморите. Варна, 1987. 303 с. 33 рис.

Рецензируемая книга Д. Димитрова, безвременно скончавшегося в 1988 г., написана на важную не только для археологии и истории Болгарии, но и для средневековой археологии и истории Восточной Европы тему — о роли праболгар (протоболгар) в истории преимущественно степных районов Восточной и Центральной Европы. Книга является первым и, следует сказать, удачным опытом историко-археологического синтеза практически всех известных материалов по данной теме.

Автор ее пришел к этой книге как после многолетних археологических исследований в Болгарии, так и в результате многократных посещений с углубленным изучением археологических материалов в СССР, и не только в Москве, Ленинграде, Киеве, Казани, но и непосредственно на местах пребывания праболгар — в Дагестане, Подонье, Среднем Поволжье и пр. Именно благодаря этому, а также огромной трудоспособности и великолепному знанию не только археологических, но и письменных исторических источников Димитрову удалось написать пока единственную в своем роде монографию о праболгарах и их культуре в Северном и Западном Причерноморье.

Книга представляет собой объемистую монографию, четко подразделенную на введение, три основные главы и заключение. К каждой главе, параграфу или разделу прилагаются исчерпывающие примечания, а в конце книги даны справочные указатели: именные (исторические личности, эпонимы, имена божеств, средневековые и современные авторы), географической, этнический, предметный. Кроме иллюстративных таблиц-вклеек в книге много карт и постраничных рисунков, что не только обогащает книгу, но и делает более достоверными и убедительными научные рассуждения автора. Уже во введении автор справедливо подчеркивает важность разрабатываемой им темы, к которой по-разному подходили разные ученые. В связи с этим Димитров справедливо отмечает

выдающуюся роль в изучении темы о праболгарах как болгарских ученых, среди которых особенно важна роль профессора Ст. Ваклинова, так и советских, прежде всего М. И. Артамонова и его ученицы С. А. Плетневой. Как высокую дань уважения своим предшественникам следует оценить посвящение книги памяти профессора Ст. Ваклинова.

В первой главе — «Праболгары в степях Восточной Европы до VII в.» рассматривается и в определенной степени решается один из наиболее сложных вопросов в истории и археологии праболгар — о времени и характере появления праболгар в Восточной Европе, об истоках и особенностях их культуры. Сложность и нерешенность, а отсюда и спорность проблемы особенно ярко выявляется автором в I разделе главы, где рассматривается состояние проблемы и несколько бегло вопрос о происхождении и значении этнонима «болгары».

Во втором разделе первой главы рассматриваются сообщения письменных источников о праболгарах и отмечается, что наиболее раннее упоминание о болгарах (vulgares) относится к 354 г. (с. 31). Вместе с тем Димитров в ряде мест своей монографии (с. 46, 47) как будто склоняется к поддержке предположения Б. Семеонова, высказанного в 1979 г., о возможном отождествлении с предками болгар племен бу-гу, пу-гу, упоминаемых китайскими источниками на рубеже нашей эры в Центральной Азии. Следует отметить, что эту точку зрения еще в начале 60-х годов высказывал чувашский историк В. Ф. Каховский [1, с. 126] и тогда же она была раскритикована историками.

На последующих страницах Димитров разбирает источники об оногурах, утигурах, кутригурах и других огурах, полагая, что это были также праболгарские племена (с. 31—38). Вместе с тем не совсем ясна позиция автора в отношении племен савир-сувар (с. 38), барсил-берсил-берсула (с. 39—41, 67), баранджар-беленджер (с. 42—44) и их принадлежности к праболгарскому этносу. Все эти племена в IX—X вв. известны в составе болгарских племен в Волго-Камье, причем барсилы или берсула, бывшие в Волжской Булгарии главенствующими племенами, нередко называются и серебряными болгарами, а баранджары-беленджеры отмечаются как оседлое население, возможно, легшее в основу населения столицы Волжской Булгарии в первой трети X в. [2, с. 107].

Оригинальные и достаточно убедительные мысли содержатся в разделе «Археологические данные о праболгарах в Северо-Восточном Предкавказье и Северном Дагестане» (с. 57—83). Здесь заслуживает внимания мысль автора о догуннском времени выхода предков праболгар в прикаспийско-предкавказские районы, хотя она и требует еще своего историко-археологического подтверждения. Разбирая археологические материалы, Димитров приходит к выводу, что в основе культуры праболгар лежит позднесарматская культура (с. 60), но этот тезис можно принять лишь с большой оговоркой, ибо в культуре праболгар, преимущественно в погребальном обряде, много особенностей (бедность погребального инвентаря, следы вторичных захоронений, последующая потревоженность погребенных и пр.), не свойственных сарматскому и даже позднесарматскому погребальному культу. Интересным и заслуживающим дальнейшей разработки является тезис о том, что в основе своей культура и этнос предков праболгар сложились в западной части Средней Азии (скорее в северо-западной степной, а не в пустынной и оазисной) на основе кочевых племен, активно контактировавших на рубеже н. э. с сарматами и населением Кушанской империи (с. 64, 65). В заключении раздела наиболее важным представляется вывод о том, что страна праболгар в V—VI вв. располагалась между Северо-Восточным Предкавказьем и Нижней Волгой (Атиль) и называлась Берсилией или страной Беленджер, нередко отождествляемой со страной Болгар-Булхар (с. 70—75). Если это так, то совершенно закономерен вывод о близких основах этноса тюрко-болгар на Дунае и Волге.

В северо-западной части древней Берсилии, приходящейся на степи Ставрополья между нижним течением Дона и Ергенями, с которыми Димитров убедительно отождествляет упоминаемые в письменных источниках Гиппейские, или Болгарские, горы (с. 41, 107), в VI в. располагались утигуры-болгары (в VII в. их называют уногундурами), впоследствии оставившие ряд интересных могильников у станиц Ново-Лабинская, Пашковская, пос. Дюрсо и др. (с. 84—87). В VII в. наблюдается консолидация этих племен, что, по мнению Димитрова, было связано с созданием «Великой Болгарии» Кубрата. В этой связи убедительной звучит критика ставшей как будто уже аксиомой точки зрения, что столицей этой кочевнической державы в VII в. была Фанагория (с. 89). Димитров справедливо утверждает, что именно в это время, т. е. в VII в., Фанагория находилась в запустении.

Хорошо и интересно аргументируется связь известных по письменным источникам болгар-кутригур, или котрагов, с археологическими памятниками Северного Приазовья и Причерноморья, особенно с могильниками типа Зливкинского (см. §5). Наряду с выделением характерных особенностей археологической культуры кутригур (западная ориентация погребенных, слабая деформация

головы и др.) Димитров справедливо отмечает общее сходство археологической культуры утигур, занимавших в начале VII в. земли восточнее Дона, и кутригур, кочевавших западнее Подонья.

В заключительном разделе первой главы Димитров останавливается на вопросе о «Великой Болгарии». Он отмечает, что борьба враждовавших между собой в VI в. утигур и кутригур с аварами (558 г.), затем тюркютами (576 г.), добавим — позднее с хазарами и арабами, привела враждующие племена к примирению и созданию союза племен или полукочевого государства «Великая Болгария» во главе с выдающимся политическим деятелем Кубратом (с. 101, 102). В вопросе о времени образования этого объединения Димитров поддерживает мнение М. И. Артамонова и считает, что это важное для всех праболгарских племен событие произошло не ранее второй четверти VII в. В анализируемом разделе имеется еще ряд интересных и убедительных критических замечаний и исправлений как будто устоявшихся представлений. Кроме отмеченного выше более убедительного отождествления Гиппейских (Болгарских) гор с Ергенями (с. 106, 107) и отрицания расположения столицы в Фанагории (с. 107) это и более аргументированная увязка р. Куфис не с Кубанью, а с Бугом (с. 104), локализация аспаруховых болгар не к западу от Дона, а к востоку (с. 106, 107), отождествление их не с котрагами-кутригурами, а с утигурами и др. Интересными, хотя и не бесспорными, являются попытки Димитрова увязать (вслед за Й. Вернером) Мало-Перещепинский клад с погребальным комплексом если не самого Кубрата (Хорвата), то с его ближайшими родичами (с. 109), а богатое погребение в обряде трупосожжения у с. Вознесенка в Запорожье (вслед за Ст. Ваклиновым) с захоронением самого Аспаруха (с. 111, 112).

Развивая идеи М. И. Артамонова об этнической принадлежности племен, оставивших памятники типа Пастырского городища и пеньковских селищ, болгарам-кутригурам, Дм. Димитров подходит к этой идее более радикально и считает, что эти памятники оставлены смешанным болгаро-черняховским населением (с. 115—118). Как известно, против идеи М. И. Артамонова активно выступали и выступают слависты [3, с. 24]. Мне думается, что более правы эти исследователи и следует полагать, что памятники типа пеньковских селищ оставлены славянскими племенами, но находившимися в тесном контакте с болгарами-котрагами. К этой мысли в заключении своей монографии приходит и Димитров, полагая, что кутригуры-болгары в начале VIII в. увлекли с собой в Подунавье пеньковцев-пастырцев, в основе своей славян (с. 269, 270). В таком случае следовало прийти к еще более важному выводу о том, что еще в степях Восточной Европы праболгары начали активно контактировать со славянами, и приход славяно-болгарских племен в Подунавье ускорил, если не обусловил, смешение тюрко-болгар со славянами и создание на этой основе староболгарского населения.

В относительно небольшой по объему второй главе «Праболгары в Северном Причерноморье в VIII—IX вв.» рассматривается вопрос об отношении праболгар к созданию широко известной салтово-маяцкой культуры. Этот вопрос Димитров решает однозначно, полагая, что именно праболгары, оставшиеся в VIII—IX вв. в Северном Причерноморье и Подонье, создали салтово-маяцкую культуру (с. 130—132). Мне думается, что более правы те исследователи (С. А. Плетнева и др.), которые рассматривают салтово-маяцкую культуру как более широкое явление, созданное не только праболгарами, но и хазарами, ранними венграми, аланами и другими племенами на обширной территории степей не только Причерноморья и Подонья, но и Предкавказья, Поволжья и Западного Приуралья.

Представляется весьма рациональной и убедительной мысль автора об усилении праболгар в Подонье за счет прихода сюда около середины VIII в. болгаро-аланских племен после разгрома их арабами в 30—40-е годы VIII в. (с. 147—163). Заслуживают внимания также тезисы автора о значительной булгаризации и тюркизации алан в этом процессе (с. 165), о начавшемся переходе праболгар к оседлости (с. 146, 147), о превращении Фанагории именно в это время, т. е. в VIII—IX вв., в праболгарский город и др. Интересна также мысль о том, что так называемые котлы с внутренними ушками, долгое время рассматривавшиеся исследователями как почти непременный атрибут праболгарской культуры, являются не праболгарскими, а скорее печенежскими (с. 136). Действительно, в Волго-Камье, где праболгары активно появляются около середины VIII в., а печенеги неизвестны, до сих пор нет ни одной находки котлов этого типа.

Для истории Болгарии на Дунае и современного болгарского народа чрезвычайно важной является третья глава, где на основе анализа массового археологического материала с широким привлечением письменных источников разбирается вопрос о праболгарах в Западном Причерноморье в VII—IX вв. (с. 184—259). Глава открывается аргументированным и новым для истории праболгар утверждением, что в земли Подунавья аспаруховы болгары-утигуры пришли не из Под-

непровья, а из Восточного Приазовья и задонских степей (с. 184—194). Димитрову удалось показать, что по пути своего движения аспаруховы праболгары переходили Дон, затем Днепр, затем Куфис (Буг), пока не дошли до места, названного Оглос-Онглос (с. 184). Последний топоним Димитров вслед за Рашо Рашевым [4] расшифровывает как «система укреплений» (с. 185) и приводит описание, а также схемы этих сложных систем укреплений, расположенных на современной территории Молдавии, Румынии и Восточной Болгарии (с. 187). Строительство таких сложных систем, состоящих из земляных валов с деревянными и каменными стенами и протянувшихся на многие сотни километров, требовало участия больших и хорошо организованных групп населения, причем не только кочевого, но и оседлого. Поэтому справедливо стремление Димитрова показать, что аспаруховы болгары численно представляли значительную массу (от 100 до 300 тыс. человек) (с. 180—191). Но думается, что в возведении описанных укреплений кроме праболгар участвовали и другие племена, прежде всего славяне, может быть, потомки фракийцев, даков и пр., ибо все они, безусловно уставшие от бесчисленных завоевательных походов византийцев, набегов кочевников, стремились жить в более спокойной обстановке, и эта обстановка для них была создана праболгарами. Этим и объясняется успех праболгар Аспаруха не только в строительстве укреплений, но и в создании Болгарского государства. На это, очевидно, следовало обратить большее внимание.

Димитров прав, утверждая, что в первые десятилетия после прихода в Подунавье праболгары кроме земляных укреплений не сумели создать ни крепостей, ни открытых поселений. Они в это время еще кочевали, да и строительство огромных земляных валов требовало постоянного передвижения населения. Но уже в первой половине VIII в. (при Тервеле и его преемниках) начинается оседание праболгар, это приводит к созданию обширных поселений (археологам известно до 200 селищ), а также к появлению грунтовых кладбищ-могильников (Димитровым учтено их более 20). Разбирая материалы исследования этих памятников, многие из которых открыты и изучены автором, Димитров приходит к интересному заключению, что Подунавье заселялось как утигурами (по правобережью), так и кутригурами (по левобережью). Среди последних, так же как и в могильниках, сосредоточенных около Варны (в основном они исследованы Димитровым), обычно сочетание трупоположения праболгарского типа с трупосожжением (с. 212, 213), что объясняется автором как результат болгаро-славянских смешений.

Еще более ярко этот процесс прослеживается при изучении селищ, где материальная культура проявляет больше «славянских» черт (с. 220), а гнездовое расположение жилищ, нередко юртообразных, — праболгарские особенности (с. 221—223). Так создавалась вначале синкретическая, а затем органически единая культура, легшая в основу культуры староболгарской народности. Эта идея проходит стержневой линией через всю главу и отчетливо завершается в заключении.

Конечно, как во всякой крупной и к тому же фундаментальной работе, в ней имеются и определенные недочеты, спорные моменты. На некоторые из них уже обращалось внимание. Отметим также не совсем четкие представления автора о времени переселения болгар в Волго-Камье — в одном случае (с. 108) предполагается VII в., в другом — IX в. (с. 272). По имеющимся материалам, в настоящее время мы можем утверждать, что праболгары в Среднем Поволжье появились не ранее середины VIII в., хотя затем были и другие переселения. Можно высказать частные замечания в отношении иллюстраций. На них в тексте практически нет ссылок, у некоторых рисунков (рис. 13, 14 и др.) нет подрисуночной подписи, у многих подпись и пагинация условных обозначений не совпадают. Но это замечания больше к техническому редактору, чем к автору.

Все эти замечания никоим образом не умаляют общей высокой оценки монографии Димитрова. Перед нами оригинальное исследование болгарского ученого, впервые монографически обобщившего результаты изучения археологических памятников праболгар на обширном пространстве степей Прикаспия и Причерноморья и убедительно сопоставившего их с данными анализа письменных исторических источников. Многие вопросы, поднятые в работе, поставлены и решены впервые не только в болгарской, но и советской археологии.

В качестве резюме к этой книге можно отметить статью Димитрова на русском языке «Об основных праболгарских группах в степях Восточной Европы в VI—VII вв.», опубликованную в первом номере журнала «Bulgaria Historical Review» за 1987 г.

А. Х. Халиков

ЛИТЕРАТУРА

1. *Каховский В. Ф.* Происхождение чувашского народа: Основные этапы этнической истории. Чебоксары, 1965.
2. *Греков Б. Д., Калинин Н. Ф.* Булгарское государство до монгольского завоевания // Материалы по истории Татарии. Вып. 1. Казань, 1948.
3. *Седов В. В.* Восточные славяне в VI—XIII вв. Археология СССР. М.: Наука, 1982.
4. *Рашев Р.* Старобългарски укрепления на Долния Дунав (VII—XI в.). Варна, 1982.

Хроника

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИИ И АРХЕОЛОГИИ КАМЕННОГО ВЕКА ЕВРАЗИИ» (К 80-ЛЕТИЮ М. М. ГЕРАСИМОВА) (Иркутск, 1947)

Иркутский университет совместно с отделением ВООПИК 9—12 декабря 1987 г. провел конференцию «Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии», посвященную 80-летию Михаила Михайловича Герасимова, археолога и антрополога, создателя метода восстановления лица по черепу и уникальной коллекции портретов ископаемых людей и портретов исторических деятелей, в течение 20 лет проработавшего в стенах Института этнографии АН СССР и возглавлявшего созданную им Лабораторию пластической реконструкции. Имя его широко известно и в нашей стране, и за ее пределами.

Археологическая деятельность ученого оставалась как бы в тени популярности Герасимова-антрополога, однако его земляки, иркутяне, считают, что основным стимулятором возрождения археологических исследований в Иркутском университете 30 лет назад был именно он, блестящий ученый и талантливый воспитатель.

В конференции приняли участие ученые из Москвы, Ленинграда, Омска, Красноярска, Новосибирска, Читы, Улан-Удэ и Якутска. Было заявлено более 50 докладов, 7 из которых были посвящены антропологической тематике. Предполагалось, что участники конференции подведут итоги многолетних исследований в антропологии и археологии, начало которым было заложено трудами М. М. Герасимова. К сожалению, обстоятельства сложились так, что антропология на этой конференции была представлена всего двумя докладами — Г. В. Лебединской и Н. Н. Мамоновой, и конференция вылилась в своеобразный итог сибирской археологической деятельности М. М. Герасимова.

Конференция была открыта экспозицией работ М. М. Герасимова, подготовленной сотрудниками Иркутского государственного объединенного музея. Затем с коллективным докладом (М. П. Аксенов, Г. И. Медведев, Н. А. Савельев, В. В. Свинин, Ю. С. Пархоменко, М. Г. Туров) «К 80-летию М. М. Герасимова. Археологическая деятельность в Сибири» выступил Г. И. Медведев. Отмечая вклад М. М. Герасимова в разработку всех основных проблем эпохи камня Сибири, подчеркивая роль Мальты в возрождении «иркутской школы археологии», докладчик особо остановился на той притягательной силе воздействия личности М. М. Герасимова-ученого, которая, захватив раз человека, уже не оставляет его впоследствии и возбуждает искреннее желание следовать именно этому примеру. Видимо поэтому из небольшого Мальтинского палеолитического отряда 50-х годов, связавшего крепким узлом оборвавшуюся, казалось, нить научной традиции, идущей от «народоведческой школы» Б. Э. Петри, выросло уже третье поколение иркутских археологов, работающих в вузах, музеях, научно-исследовательских институтах Сибири.

Н. Е. Бердникова выступила с докладом «К 60-летию исследования Усть-Белой». Стоянка была открыта М. М. Герасимовым в 1928 г. Излагая историю изучения этого интересного памятника, включающего в себя многослойную стоянку, разновременные могильники и одиночные погребения, Н. Е. Бердникова подчеркнула роль М. М. Герасимова, впервые в 1957 г. поставившего проблему артефактуального выделения сибирского мезолита. Результаты исследования мезолитических слоев Усть-Белой были обобщены в работах учеников М. М. Герасимова — Г. И. Медведева и М. П. Аксенова — и сразу же получили международное признание. Новый этап изучения Усть-Белой продолжил в настоящее время Иркутский университет: были уточнены стратиграфические позиции мезолитических горизонтов, XIV—XVI горизонты отнесены на границу 13 тыс. лет назад и т. д. Усть-Белая стала эталонным памятником.

На вечернем заседании 9 декабря были заслушаны три доклада: М. В. Константинова «Проблемы изучения древней истории Забайкалья», Л. В. Лбовой «Особенности размещения археологических памятников Южного Забайкалья» и Н. М. Черосова «Новые данные о нижнем палеолите Якутии». Анализ характера геолого-геоморфологических ситуаций, специфичных для памятников различных эпох в долине р. Хилок в Южном Забайкалье, с одной стороны, способствует составлению прогнозной карты размещения археологических памятников на малоизученных территориях, а с другой — представляет собой ту базу для составления карт исторических ландшафтов, без которой невозможно решение вопросов палеоэкологии человека.

В докладе Н. М. Черосова шла речь о двух новых раннепалеолитических местонахождениях в устье р. Олекмы и у пос. Юнкюр. По геоморфологическому положению, стратиграфической ситуации залегания находок и по их облику стоянка Усть-Олекма очень близка к нижнепалеолитическому местонахождению Дюринг-Юрях, материалы которого Ю. А. Мочанов относит к древнейшему этапу нижнего палеолита. Местонахождение Юнкюр содержит артефакты, представленные осколками битых галек, отщепами, отбойниками, желваками, чопперами, орудиями из галек, выполненными в чопперной технике, и т. д. Находки связаны с горизонтом ветрогранников, сильно корразированы, заключены в слое серого песка на глубине 10—11 м от дневной поверхности склонов. По своим технико-типологическим свойствам находки на Юнкюре отнесены докладчиком к раннему палеолиту, а по характеру вмещающих отложений имеют среднеплейстоценовый возраст. Доклад Н. М. Черосова вызвал наиболее оживленную дискуссию. Обсуждался возраст обнаруженных артефактов как на вновь открытых местонахождениях, так и в Дюринг-Юрях, а также проблема корразии изделий как индикатора экстремальных экологических ситуаций и время возникновения ветрогранников.

На следующий день на утреннем заседании был заслушан совместный доклад М. А. Бердникова, Г. И. Медведева и Ю. С. Пархоменко «О проблемах изучения эолово-коррадированных изделий архаичных форм из кварцита». Фактически этот доклад явился ответом на ряд вопросов, обсуждаемых в ходе дискуссии на предыдущем заседании, в частности о различных формах деструкции поверхности артефактов: десквамации, пустынном загаре и корразии, вызванной ветрами ураганной силы. Хотя по этому вопросу имеется значительная зарубежная литература, серии экспериментальных разработок и т. д., во многих наших исследованиях происходит путаница понятий, определяющих различные формы деструкции. С точки зрения авторов доклада, возраст сильно коррадированных артефактов архаического облика, экспонированных на высоких берегах речных долин в Южном Приангарье, не моложе среднего плейстоцена. Нижняя граница возраста пока открыта. Наблюдается морфологическое соответствие этих комплексов артефактов материалам из местонахождения Дюринг-Юрях. Если предполагаемый возраст якутских находок будет подкреплен геологическими доказательствами, то Северная Азия будет иметь опорный пункт для одного из наиболее ранних этапов палеолита. Наиболее определенной пока представляется ситуация со слабокоррадированными верхнепалеолитическими комплексами, фиксирующими последний в плейстоцене Северной Азии цикл экстремальных пустынных обстановок, — так называемым «макаровским пластом».

Следующая группа докладов и была посвящена проблемам «макаровского пласта» и изучению местонахождения Макарово IV в частности. В докладе Г. А. Воробьевой «Строение разреза на палеолитическом местонахождении Макарово IV» анализировалось строение рыхлой толщи отложений, содержащих обильный палеолитический материал. Толща состоит из четырех разновозрастных генетически разнородных пачек, в формировании которых принимали участие делювиальные, пролювиальные, эоловые и почвенные процессы. Артефакты обнаружены в кровле второй пачки отложений. Стратиграфические особенности положения Макарово IV (следы интерстадиальных потеплений в кровле I пачки и активизации эоловых и пролювиальных процессов в нижнем и верхнем слоях II пачки, эоловая корразия и характер разброса археологического материала по склону) хорошо согласуются с представлением о среднезырянском возрасте этой стоянки.

М. П. Аксенов посвятил свой доклад «Инвентарный комплекс Макарово IV» технолого-морфологической характеристике этого комплекса, где наиболее многочисленную группу артефактов составляют снятия (отщепы, пластинки и сегменты), затем одноплощадочные протопризматические нуклеусы, чопперы, скребла, ножи, остроконечники и проколки.

С коллективным докладом (М. П. Аксенов, М. А. Бердников, Г. И. Медведев, С. Н. Пержаков, А. Б. Федоренко) «Морфология и археологический возраст каменного инвентаря „макаровского пласта“» выступил Г. И. Медведев. Термин «макаровский пласт» был предложен для обозначения артефактов верхнепалеолитического облика со слабой и средней степенью выветривания из яшмы, аргилита, кремня и кристаллических пород. Понятие это предполагает известную механистичность объединения артефактов из различных уровней плейстоценовых отложений. В настоящий момент известно более 60 пунктов нахождения «макаровского» материала, переотложенного и перемещенного по склонам долин Байкало-Енисейской Сибири с отметками высоты 35—65 м; кроме того, «макаровский» материал прослеживается на стоянках Мальта и Буреть в качестве использованного верхнепалеолитическими людьми более древнего материала. Геологический возраст артефактов, вернее, время корразии их на 20—30 тыс. лет древнее, чем самые древние из известных до настоящего времени верхнепалеолитических местонахождений. Для «макаровского пласта» характерна полная смена сырья по сравнению с предшествующим временем. В технологии изготовления рабочего края орудий представлены отжимная техника, техника резцового скола, но отсутствует техника образивной ретуши, свойственная стоянкам Мальта и Буреть. «Макаровский пласт» представляет собой, таким образом, начальную фазу верхнего палеолита, может быть одновременную мустье, в диапазоне 40—50 тыс. лет от наших дней. Надо сказать, что такое удревнение возраста Макарово IV и всего «макаровского пласта» вызвало дискуссию, поскольку представляет собой прецедент для верхнепалеолитических индустрий. Авторы доклада предполагают наличие в Североазиатском регионе в качестве верхнего плейстоцена обширного пласта близких по традициям культур, носители которых, обладая высокой мобильностью, могли быть одними из ранних мигрантов в Новый Свет и на Японские острова.

Раннепалеолитическая тематика была продолжена докладами О. В. Задонина «О перспективах исследования раннего палеолита на Верхней Лене» и М. Шунькова «Палеогеографическая реконструкция среды обитания мустьерских обитателей Усть-Канской пещеры». В первом

из докладов анализировались артефакты, обнаруженные на левых склонах верхнеленской долины на высотных отметках 30—60 м, морфологически сопоставимые с раннепалеолитическими коррадированными артефактами Средней Сибири.

Широкое обсуждение вызвали доклады Е. В. Акимовой «Жилищный комплекс на палеолитической стоянке Лиственка» и Мещерина «Новое жилище Усть-Минза II».

К сожалению, нет возможности подробно остановиться на многих докладах, продолжающих палеолитическую тематику, достаточно интересных, но освещающих более или менее частные вопросы палеолитоведения. Необходимо отметить несколько докладов, выходящих за круг рассмотренных проблем. Прежде всего, это доклад Г. В. Лебединской, который был зачитан Т. С. Балуевой, — «М. М. Герасимов и антропологические реконструкции». Доклад был посвящен главным образом перспективам разработки и уточнения метода пластической реконструкции, изучению зонального распределения толщины мягких покровов лица методом ультразвукового зондирования. Второй, очень интересный доклад — «Древние связи Прибайкалья и Забайкалья» был сделан учеником М. М. Герасимова П. Б. Коноваловым. Доклад этот — дань памяти М. М. Герасимову, который предполагал ставить и разрабатывать проблему связи этих регионов. В основном доклад был построен на анализе литературных данных и касался вопросов формирования двух больших общностей, которые условно можно было бы назвать протомонгольской и прототунгусской. Изящная и в известной мере вольная интерпретация данных дает тем не менее большую обществоведческую информацию — то, что передал своим ученикам М. М. Герасимов, а именно воспитанное Б. Э. Петри умение видеть за археологическим материалом живое лицо человека, его событийно богатую жизнь. И наконец, совместный доклад Е. Д. Гражданникова, Ю. П. Холюшкина и А. Ф. Фелингер, посвященный методологическим проблемам археологии, — «Проблемы системной классификации разделов археологии». Авторами на базе универсальной классификационной модели предлагается построение классификационных фрагментов. В основе фрагмента лежит опорное понятие «О», в рассматриваемом случае — «Общая археология». Ему ставится в соответствие пара понятий (теза и антитеза) — «полевая археология» и «реконструктивная археология». Третий ряд понятий образует тройная группа (тезис, антитезис, синтез) — «искусствоведческая», «вещеведческая» и «технологическая» археология. Классификационный фрагмент «Археология» включает в себя также пятиэлементную классификационную группу, представленную пятью разделами, различающимися масштабами объекта исследования, начиная с локальной и кончая мировой археологией.

Следующий день конференции был посвящен неолитической проблематике. Открыл эту тему доклад Н. Н. Мамоновой «Место китойской культуры среди неолитических культур Прибайкалья по данным радиоуглеродного датирования». В основе доклада опыт применения абсолютного датирования погребений по костям погребенных в них людей, что в итоге позволило ответить на ряд вопросов чисто исторического плана, уточнить даты существования отдельных могильников и территориально-хронологических групп памятников. Представляют интерес ранние даты китойских погребений в Прибайкалье в диапазоне VI тыс. до н. э. В известной мере это делает объяснимым краниологическую специфику китойцев и подтверждает представление М. М. Герасимова о том, что китой — более ранний, чем знаменитое серово, но самостоятельный в культурном отношении комплекс.

В. И. Базалийский в докладе «Неолитические культуры Ангары в свете новых исследований», анализируя данные последних лет, полученные в результате раскопок китойского могильника Локомотив и исаковских погребений в устье р. Иды (что значительно увеличило источниковедческую базу китойской и исаковской культур), также пришел к выводу о ранненеолитическом возрасте китоя.

Доклад Т. В. Проклиной содержал результаты анализа орнамента на костяных и каменных изделиях из могильника Локомотив.

О. И. Горюнова в докладе «Серовские погребальные комплексы Приольхонья» познакомила с новым массовым материалом по серовским погребальным комплексам, которые отличаются от таковых в Приангарье целым рядом локальных особенностей (надмогильными сооружениями, ярусным размещением покойных в одной могиле и т. д.). В целом материал серовских погребений Приольхонья коррелируется с комплексами развитого неолита и датируется серединой III тыс до н. э.

Позволю себе на этом закончить краткий обзор сделанных докладов и подвести некоторые итоги. Как показала конференция, существует большой, дееспособный, активно работающий и интересно мыслящий отряд сибирских археологов. До недавнего времени все известные сибирские палеолитические памятники и типологически, и стратиграфически относились к верхнему палеолиту. В настоящий момент существует выверенный ряд археологических доказательств заселения Сибири человеком уже в нижнем палеолите. Находки же в Якутии снова ставят на повестку дня вопрос о возможности включения Центральной Азии в зону прародины человека. В Прибайкалье выявлен ряд верхнепалеолитических памятников так называемого «макаровского пласта», которые на 20—30 тыс. лет древнее знаменитых Мальты и Бурети. Важным моментом является артефактуальное выделение мезолита в Восточной Сибири. И наконец, уточнена относительная и абсолютная хронология неолитических погребальных памятников Прибайкалья.

Эти краткие итоги говорят о том, что конференция была очень интересной и плодотворной. Она была хорошо организована. Участники конференции были на экскурсии в Историко-этнографическом музее под открытым небом, на Байкале, на Верхоленской горе и на раскопках могильника Локомотив. Закончилась конференция лекцией автора настоящих строк о методе М. М. Герасимова восстановления внешнего облика ископаемых людей. Тезисы конференции вышли отдельной книжкой — «Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии» (Иркутск, 1987) с портретом

Михаила Михайловича во время раскопок в Мальте (линогравюра художника О. В. Беседина).

Остается только пожалеть, что институт, где Михаил Михайлович Герасимов проработал 20 лет, и Лаборатория пластической реконструкции, созданная им, в столь слабой степени откликнулась на 80-летие ученого.

М. М. Герасимова

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Я. РУДИНСКОГО (Полтава, 1987)

С 26 по 28 марта 1987 г. в Полтаве состоялась научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения М. Я. Рудинского — видного советского археолога и зачинателя музейного строительства на Полтавщине. Инициаторами ее проведения являлись Полтавский краеведческий музей, Институт археологии АН УССР и Полтавская областная организация Украинского общества охраны памятников истории и культуры. В работе конференции приняли участие делегация ученых Института археологии АН УССР, представители других академических учреждений республики, сотрудники музеев и краеведы Вологды, Киева, Кременчуга, Мелитополя, Полтавы и Чернигова [1]

Конференцию открыл заведующий отделом Центральной научной библиотеки АН УССР И. Г. Шовкопляс, познакомивший присутствующих с основными вехами жизни и научной биографией известного советского археолога, организатора и руководителя археологической науки в республике, доктора исторических наук, заведующего отделом первобытной археологии ИА АН УССР Михаила Яковлевича Рудинского. Докладчик отметил значительный вклад в изучение памятников каменного, медно-бронзового и раннего железного веков на территории УССР, в организацию археологов республик в 1925—1931 гг. вокруг Всеукраинского археологического комитета и Кабинета антропологии ВУАН, создание Института истории материальной культуры АН УССР, деятельность Института археологии АН УССР, поделился воспоминаниями о совместной работе в ряде экспедиций.

На конференции было прочитано 22 доклада и сообщения, отразивших в той или иной степени широкий круг проблем, над которыми работал М. Я. Рудинский. Ряд докладов был посвящен отдельным периодам жизни и исследовательской деятельности ученого.

Воспоминаниями о М. Я. Рудинском — учителе и старшем товарище поделились И. Н. Шарафутдинова и старейший сотрудник ИА АН УССР Е. В. Махно. В докладе А. Б. Супруненко «М. Я. Рудинский и Полтавский краеведческий музей» освещена разносторонняя деятельность ученого во время пребывания в Полтаве (1917—1924 гг.). Являясь заведующим Музеем искусств, а затем директором и заведующим археологическим отделом Центрального пролетарского музея Полтавщины, М. Я. Рудинский создает его первую советскую экспозицию, наводит порядок в хранении археологических коллекций и издает их краткий иллюстрированный обзор [2, с. 29—62], атрибутирует произведения искусства, проводит археологические и историко-этнографические исследования. В докладе К. В. Гладыша «Вклад М. Я. Рудинского в изучение памятников архитектуры г. Полтавы» раскрыта малоизвестная сторона деятельности ученого, первым из исследователей давшего архитектурную характеристику застройки города и впервые детально описавшего многие памятники архитектуры Полтавы XVII—XIX вв. [3] В сообщении Е. Н. Бондаренко освещено участие М. Я. Рудинского в организации и деятельности одного из первых в стране обществ охраны и исследования памятников истории и культуры в Полтаве, его содействие советским органам в деле сохранения историко-культурного наследия в годы гражданской войны.

Участию М. Я. Рудинского в организации и работах Днепрогэсовской экспедиции (1927—1932 гг.) посвящен доклад Ч. Ф. Ковалевой, на широком документальном материале показавшей крупный вклад ученого в создание экспедиции, организацию комплексных обследований территории Надпорожья до ее затопления и личное участие исследователя в работах на Лоханском острове, у Вовнижского порога и на других памятниках. Доклад С. С. Березанской «О вкладе М. Я. Рудинского в изучение эпохи бронзы» раскрывает наиболее значительные результаты его деятельности, направленной на изучение бронзового века на территории республики: выделение памятников борисовского типа — одной из наиболее ярких групп развитого триполья, комплексные исследования петроглифов Каменной Могилы, выделение марьяновской культуры, введение в научный оборот комплекса Кабаковского клада срубной культуры. С. С. Березанская подчеркнула, что основные выводы М. Я. Рудинского в области изучения эпохи бронзы выдержали испытание временем и новыми материалами, не потеряв своего значения. Выступление Т. Г. Мовши было посвящено исследовательской деятельности М. Я. Рудинского в Среднем Поднестровье. Сообщение И. Ф. Никитинского «М. Я. Рудинский на Вологодском Севере» посвящено его участию в конце 30—40-х гг. в работах Вологодского областного краеведческого музея. Проблемам происхождения племен раннего желез-

---

[1] К началу конференции выпущен сборник тезисов докладов и сообщений [1] и ее программа.

ного века в Лесостепном Днепровском Левобережье в работах М. Я. Рудинского посвящено выступление П. А. Гавриша.

Доклад Е. Н. Титовой «М. Я. Рудинский — исследователь наскальных изображений с Каменной Могилы» осветил последний и наиболее напряженный период неутомимой исследовательской деятельности ученого — изучение петроглифического комплекса Каменной Могилы. Открыв значительное количество новых изображений, проанализировав технику их нанесения на песчаниковые плиты, их семантику, материалы, обнаруженные при раскопках холма и его окрестностей, ученый пришел к выводу о возможности выделения нескольких хронологических пластов изображений: эпох неолита и бронзы, сарматского времени. Сводная работа М. Я. Рудинского [4] о петроглифах Каменной Могилы является полноценным источником, а многие выводы, сделанные в ней, не потеряли значения и в настоящее время, пополняясь новыми данными. А. М. Шовкопляс ознакомила присутствующих с материалами из коллекций раскопок и разведок М. Я. Рудинского, хранящихся в фондах Государственного исторического музея УССР.

Вторую группу составили доклады и сообщения, посвященные исследованию памятников каменного века, энеолита, бронзового и раннего железного веков на территории УССР и на Полтавщине.

В. И. Неприна в докладе «О неолитических традициях в марьяновской культуре на Северо-Востоке Украины» намечает непрерывную цепь развития от неолитических культур к марьяновской на материалах IV—III тыс. до н. э. Сообщение И. Н. Гавриленко посвящено культурно-хронологической атрибуции новых местонахождений мезо-неолитического времени в Нижнем Поворсклье, открытых работами Полтавского музея. В докладе Е. В. Цвек «Памятники борисовского типа в системе восточного ареала Триполье — Кукутенской области» основное внимание уделено выделению территориальных групп и хронологических ступеней поселений борисовского типа, рассматриваемых исследователем в качестве главного компонента восточного ареала Триполье — Кукутенской области, отражающего ранний этап его развития.

Истории изучения уникальнейшего памятника Приазовских степей — Каменной Могилы, роли М. Я. Рудинского в его исследовании и сохранении посвящен доклад Б. Д. Михайлова. Он также поделился результатами новых исследований гротов и пещер памятника с рисунками эпохи неолита — бронзы, проведенных историко-археологическим музеем-заповедником «Каменная Могила» в 1984—1985 гг.

В сообщении А. Е. Пуздровского «К вопросу о причинах миграций населения лесостепного Правобережья в предскифское и раннескифское время» одной из важнейших причин миграций выделяется климатический фактор. По мнению докладчика, часто повторяющиеся засухи и неурожаи, а также участившиеся набеги степняков могли стать толчком к перенаселению части жителей Правобережья в области с большей увлажненностью, одной из которых и явилось Поворсклье.

В докладе Л. Н. Луговой «Археологические исследования Полтавского краеведческого музея (1977—1986 гг.)» показана деятельность научно-исследовательского сектора археологии по подготовке материалов для Свода памятников истории и культуры Полтавской области, уделено внимание охранным раскопкам курганов в зонах мелиоративных строительств, участию музея в работе комплексных экспедиций институтов археологии АН СССР и АН УССР.

Выступления И. Н. Кулатовой, И. С. Мельниковой и Е. Е. Черненко были посвящены результатам охранных исследований новостроечной экспедиции музея, итогам разведок и интерпретации материалов раскопок курганов скифского времени на Полтавщине.

В единогласно принятой резолюции по итогам конференции была признана необходимость продолжить в дальнейшем практику проведения подобных конференций, способствующих развитию археологии на Полтавщине. Заседания конференции вновь продемонстрировали, какое большое значение имеют работы М. Я. Рудинского для изучения первобытной и раннесредневековой археологии республики и Юго-Восточной Европы.

Участники конференции ознакомились с экспозициями музеев Полтавы, в которых работал ученый, побывали в доме по ул. Короленко, 1, где он жил, а также посетили некоторые археологические памятники, где производил исследования М. Я. Рудинский.

А. Б. Супруненко

ЛИТЕРАТУРА

1. Областная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения М. Я. Рудинского: Тез. докл. и сообщ. (26—28 марта 1987 г.). Полтава, 1987
2. *Рудинський М. Я.* Археологічні збірки Полтавського музею // Збірник, присвячений 35-річчю музею. Т. 1. Полтава, 1928.
3. *Рудинський М. Я.* Архітектурные обличчя Полтави. Полтава, 1919.
4. *Рудинський М. Я.* Кам'яна Могила. (Корпус наскельних рисунків). Київ: Вид-во АН УРСР, 1961.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «750-ЛЕТИЕ БЕРЛИНА — ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВЫ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ В СРЕДНЕЙ ЕВРОПЕ И НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКИХ ФЕОДАЛЬНЫХ ГОРОДОВ» (Берлин, 1987)

Симпозиум был организован и проведен Центральным институтом древней истории и археологии АН ГДР 6—10 апреля 1987 г. в Гарцау, находящемся в окрестностях Берлина. В 1987 г. Берлин отмечал свое 750-летие (первое упоминание о нем в письменных документах относится к 1237 г.). Этому юбилею и был посвящен симпозиум, темой которого стала одна из важнейших проблем европейской медиевистики — становление и развитие феодального города и городской жизни в Европе. В работе симпозиума приняло участие свыше 60 ученых — археологов и историков из 18 европейских стран. Было прочитано и обсуждено 36 докладов, в которых получило отражение современное состояние проблемы европейского раннефеодального города на основе новейших археологических данных и на широком территориальном фоне — от Ирландии на западе до Москвы на востоке и от Фенно-Скандии на севере до Балканского полуострова на юге. За пределами интересов симпозиума остались лишь города Византии, Апеннинского и Пиренейского полуостровов, поскольку их эволюция происходила в условиях континуитета с римскими и античными городами.

На открытии симпозиума с краткой вступительной речью выступил вице-президент Академии наук ГДР В. Кальвейт.

С большим вниманием были выслушаны доклады, посвященные археологии и начальной истории Берлина. Предыстории этого города и первым страницам его истории был посвящен доклад Й. Херрманна (ГДР) «Предгородские поселения и исторические предпосылки развития Берлина». На основе археологических материалов докладчик показал, что регион будущего города в начале средневековья оказался в центре пучка торговых путей, тянущихся из разных сторон Европы. Здесь формируется центр транзитной торговли и одновременно наблюдается концентрация поселений. В раннем средневековье этот регион был заселен славянами. Наиболее исследованными славянскими поселениями на территории нынешнего Берлина являются Кёпеник и Шпандау. В XII в. археология фиксирует здесь множество селений, вокруг которых образовались ополья среди лесных массивов.

Город Берлин сложился из двух частей. Одно поселение, с кирхой Николая и торгом, находилось на правом берегу Шпрее, другое — на левобережье, с кирхой Петра и своим торгом. Последнее поселение и упомянуто в документе 1237 г. Около 1240 г. обе части города были окружены укреплениями. Начальная история Берлина протекала в условиях контакта славян с германским населением. После возникновения Берлина значительно увеличивается число земледельческих поселений в его округе. По подсчетам Й. Херрманна, сельскохозяйственная округа в состоянии была прокормить продукцией своего труда свыше 20 тысяч человек.

В докладе «Результаты археологических исследований в Берлине» Г Зейер (ГДР) кратко остановился на истории раскопок в древнем городе и подробно рассказал о новейших раскопках около кирхи Николая, выстроенной в XIII в. Исследовались древние фундаменты и могильник, относящийся ко времени до строительства храма. Открыто 92—93 захоронения по обряду трупоположения. Ко второй половине XIII в. относится постройка кирхи Марии, около которой возникает новый торг. Здесь также производились небольшие раскопки.

В. Х. Фритце (Западный Берлин) в докладе «Кирха св. Николая в Берлине — романская постройка» рассмотрел романские детали, сохранившиеся при перестройке здания в готическом стиле. На основе деталей исследователь создает реконструкцию древнего храма. Ближайшей аналогией ему, по мнению В. Х. Фритце, является романская кирха (Марии или Николая) в Любеке. Оба строения имеют в своей основе саксонское начало. Докладчик ставит вопрос, кем построена была романская церковь Николая в Берлине — маркграфом или бюргерами, и затрудняется решить его. Исследователь полагает, что эта церковь была выстроена в 30-х годах XIII в.

В дискуссии по этим докладам было отмечено, что могильник под кирхой Николая безусловно древнее ее и, может быть, относится к XII в. Здесь, видимо, уже существовало поселение в это время. К сожалению, этническая принадлежность погребенных пока не может быть определена ни антропологически ввиду недостаточности сравнительного материала, ни по вещем. В. Х. Фритце отметил, что в подобных трупоположениях, раскопанных в Шпандау, имелись славянские височные кольца. Один из выступавших утверждал, что романская кирха Николая имеет более близкие аналогии среди некоторых построек в Магдебургском округе. Скорее всего, она выстроена магдебургским епископом.

В работе симпозиума много внимания было уделено проблеме становления средневекового города в славянском мире. Условия возникновения одного из городов Великой Моравии — Нитры — проанализировал Б. Хроповский (Чехословакия). Предысторией этого города является концентрация поселений в его регионе, которая наблюдается в VIII—IX вв. В IX в. Нитра становится епископским поселением Великой Моравии с местом пребывания князя Прибины. Это было большое укрепленное поселение в окружении множества городищ и селищ. Раскопками выявлены остатки каменной церкви Прибины. В X—XII вв. поселение площадью 300 га обносится деревянной оградой и становится раннесредневековым городом.

Начальной истории Праги посвятил свой доклад М. Рихтер (Чехословакия). Зачатки города в виде концентрации поселений и могильников восходят еще к VI—VII вв. Позднее центр перемещается в Вышеград. Затем наблюдается концентрация поселений и находок уже на территории средневековой Праги. Здесь возникает торговая площадь, строятся костелы. Следующий этап эволюции города датируется позднероманским периодом и характеризуется активным строительством различ-

ных каменных зданий: костелов, торговых домов, дворцовых строений. Вскоре вокруг всего этого поселения площадью около 40 га возникают укрепления.

В докладе «Начало городов у восточных славян и ранняя история Москвы» В. В. Седов (СССР) охарактеризовал четыре этапа в становлении и развитии городов на Руси. Первый этап (VII—VIII вв.) — появление протогородов — ремесленно-торговых поселений, многие из которых были защищены валами и рвами. На втором этапе (IX—X вв.) те из протогородов, которые несли административные функции, т. е. были племенными центрами, превращаются в города. Следующий этап (вторая половина X — первая половина XII в.) характеризуется стихийным возникновением малых городов в зонах плодородных почв и концентрации земледельческого населения для обеспечения последнего ремесленной продукцией. На четвертом этапе (вторая половина XII — первая треть XIII в.), когда Русь разделилась на полтора десятка самостоятельных княжеств, основная роль в строительстве новых городов принадлежит князьям и их администрации.

Возникновение Москвы как города относится к этому периоду. В 1156 г. поселение, до 1147 г. принадлежавшее одному из племенных старейшин вятичей, по повелению Юрия Долгорукого значительно расширяется и укрепляется мощным валом и рвом. За укреплениями быстро растет посад, населенный ремесленниками и торговым людом.

Начальная история славянских городов Вроцлава, Ополе и Ленчицы получила освещение в докладе Л. Лецеевича (Польша) «Ранние города Силезии и их культурные функции». Начало этих городов датируется XI в. Это были административные центры более или менее крупных регионов. Вместе с тем постепенно эти города сосредоточили в себе культурные ценности, стали культурными центрами раннего средневековья.

Условия становления городов в Польском Поморье анализировались в выступлении В. Филиповяка (Польша) «Начало городской жизни в Померании». Исследователь показал, что первые признаки зарождения городских поселений в этом регионе проявляются в VII—IX вв. Это видно по концентрации поселений в местах будущих городов, распространению арабских и византийских монет и установлению тесных связей со Скандинавией. Далее В. Филиповяк рассмотрел конкретные условия начальной истории Волина (торговое поселение функционирует с IX в.), Щецина и Старгарда. В основе последнего лежит поселение IX — первой половины X в., которое во второй половине X в. занимало площадь около 600×600 м. Третья часть его (град и предградье) была укреплена.

О ситуации, сложившейся в догородской период на побережье Мекленбурга, речь шла в докладе Д. Варнке (ГДР) «Раннее городское развитие на южном побережье Балтики». Она была аналогична той, что изложена В. Филиповяком. Здесь также наблюдаются микрорегионы концентрации поселений и широкие контакты со Скандинавией. В докладе конкретно были проанализированы окрестности Ральсвиека, Менцлина, Деркова, Ростока.

Начальной истории Братиславы было посвящено выступление А. Хабовштиака (Чехословакия). В основе этого города находится славянское поселение, существующее с VII в. Оно стало предградьем, а по соседству возникает укрепленный бург. Дальнейшее развитие Братиславы обусловлено строительством церквей и монастырей, вокруг которых и сосредоточивалось средневековое городское население.

В Северной и Центральной Европе зарождение средневековых городов, как и в основной части славянского мира, протекало независимо от античной и римской цивилизаций.

Роль торговли в становлении средневекового города Средней Европы исследовалось в докладе Г.-Ю. Брахманна (ГДР) «Торговое место как зародыш средневекового города». Составленные докладчиком карты торговых путей и монетных находок в междуречье Эльбы и Одера по этапам, начиная с VIII в., показывают, что города начали развиваться прежде всего в районах скрещения торговых дорог, в районах концентрации привозных вещей. На основании письменных документов Х. Верниke (ГДР) рассмотрел роль купечества в становлении и развитии городов XII—XIII вв. в Балтийском регионе. Докладчик утверждал, что купцами были и славяне, и скандинавы, и немцы, и они имели свои организации внутри городов.

Д. Эллмерс (ФРГ) в докладе «Роль речного судоходства в становлении средневекового города» рассмотрел два вопроса. Во-первых, он утверждал, что торговые связи по среднеевропейским рекам в период становления городов (до 1200—1300 гг.) были более развитыми, чем это представлялось до сих пор. Во-вторых, он пытался показать, что в средневековье имелись торговые пункты, которые не были ни городами, ни поселками. Это были отдельно стоящий костел и торговая площадь около него, обозначенная каменным крестом. Докладчик демонстрировал одно из таких торговых мест около Бремерхафена и высказал предположение, что торг при кирхе Николая в Берлине первоначально был именно таким пунктом.

Раннему шведскому городу было посвящено два доклада. Х. Андерссон (Швеция) рассказал о возникновении раннесредневековых городов Швеции. К 1200 г. здесь было семь городов, и все они находились близ побережья, что говорит о большой роли торговли в их истории. Некоторые из них эволюционировали из поселений викингов. Только начиная со второй половины XIII в. города появляются во внутренних районах Швеции.

Городам области Меларен посвятил свое выступление Б. Амброзиани (Швеция). Возникновение и ранняя история городов тесно связаны здесь с развитием торговли. Таково начало Стокгольма, первоначально являвшегося пунктом приема товаров с моря и распределения их в разные регионы Швеции. Хельго было племенным убежищем, но здесь перекрещивались торговые пути и развивались ремесла. Бирка эволюционировала из протогорода.

С развитием морских путей связана история городов Норвегии. Этой теме был посвящен доклад П. Молауг (Норвегия) «Норвежский город в средневековье». Более подробно была охарактеризована история Осло, где становление города происходило в условиях борьбы королей с племенными

вождями. Много информации дают археологические раскопки в Осло и других норвежских городах.

В докладе К. Я. Гардберга (Финляндия) «Раннесредневековые торговые места в Финляндии» продемонстрировано развитие торговых связей в южной Финляндии накануне появление городов, чему в какой-то степени способствовала и шведская колонизация. Первые города-крепости возникают к XIII в., важную роль в их становлении играли административные функции.

Раннесредневековые города Голландии получили характеристику в докладе Г. Сарфатий (Нидерланды) «Становление средневековых городов в Нидерландах (VIII—XIII вв.)». Исследователь рассказал о результатах раскопочных работ и показал, что одни города эволюционировали из поселений с церковью и торгом, другие образовались в условиях разрастания и слияния нескольких близко расположенных селений. Торговые функции были ведущими в развитии городов.

В. Тимпель (ГДР) в докладе «Археологическое изучение ранней истории городов Тюрингии» показал на конкретных материалах становление Эрфурта, Арнштадта, Мюльхаузена и Нордхаузена. Они образовались посредством объединения нескольких поселений в условиях зарождения ремесла и торговли и христианизации населения. Х. Фогт (ГДР) в докладе «К ранней истории саксонских городов» рассказал об условиях возникновения Альтенберга, Лейпцига, Мейсена, Баутцена, Дрездена и др. Большинство из них сложились на основе небольшого укрепленного поселка в результате разрастания неукрепленных селений. В нижних горизонтах культурных отложений саксонских городов обнаруживается раннеславянская или позднеславянская керамика.

С большим интересом слушались доклады, посвященные начальной истории отдельных городов и основанные на результатах многолетних раскопок. К. Шетцель (ФРГ) в докладе «Хайхабу — раннесредневековая гавань» рассказал об исследованиях древней пристани, произведенных кессонным способом. Исследованы остатки причальных мостков, амбары для хранения имущества. Большое количество вещевых находок свидетельствует об очень широких связях со многими странами. Импортировались железное сырье, бронзовые палочки, оружие, норвежский сланец, моржовая кость и др. Около 25% керамики является славянской. Найдены остатки корабля, нижняя часть которого выполнена по славянской модели, верх оформлен скандинавскими мастерами.

История Любека от ободритского городища, около которого первоначально разросся торгово-ремесленный посад, до города развитого средневековья была рассмотрена в докладе Г Феринг (ФРГ). Темой доклада Г Андерсена (Дания) была «Орхус в раннем средневековье». Исследователь познакомил участников симпозиума с результатами раскопок этого поселения и проследил его историю от IX в. до развитого средневековья, когда Орхус стал одним из административных центров Ютландии. Р. -Г Верлих (ГДР) прочитал доклад о ранней истории Копенгагена. Развитие последнего обусловлено выгодным географическим положением на пути в Скандинавию. Город стал центром епископства. Источники по истории города содержат интересные данные о взаимоотношениях власти епископа с волей бюргеров.

Доклад К. Фритце (ГДР) «Процесс урбанизации на юго-западном побережье Балтики в XII—XV вв.» целиком основывался на письменных источниках. В нем анализировался рост городов количественно, территориально и по числу населения в Мекленбурге и Ютландии на протяжении трех-четырех столетий. Докладчик утверждал, что в становлении городов имелись местные предпосылки, но инициаторами процесса градообразования были купцы.

М. Мюллер-Вилле (ФРГ) посвятил выступление изучению округи раннесредневекового города на примерах Хайтхабу и Рибе. Исследователь проследил развитие поселений в округе Хайтхабу с 500 до 1200 г., затронув вопросы домостроительства, сельского хозяйства, взаимоотношения славянского и германского этносов.

Средневековые города в более южной полосе Европы, составлявшей ранее провинции Римской империи, развивались в условиях континуитета или некоторой зависимости от римского города. Однако конкретные условия эволюции каждого города здесь были специфичными. Серия докладов на симпозиуме, посвященных становлению средневековых городов в этой зоне, имеет большое значение для общего познания европейского градообразования и была выслушана с исключительным вниманием.

Г. Эбнер (Австрия) в докладе «Ранняя история Вены» показал, что в основе Вены лежит римский город. По соседству возникает германское поселение. Когда римляне оставили крепость, в нее вошли германцы. Стены крепости использовались до XIII в. В VI—VIII вв. имел место некоторый перерыв в жизни города, однако не исключено, что позднеантичная церковь Петра функционировала и в это время. Около остатков римской крепости археологами открыты аварские памятники, вероятно, здесь же жили славяне и баварцы.

Примерно в конце VIII в. в регионе Вены фиксируются отдельные разрозненные поселения с костелом в центре. Постепенно растет значение торговли, поселения сливаются и обносятся общей крепостной стеной. С XII в. Вену можно считать городом. Она становится резиденцией династии Бабенбергеров, получает городское право, что способствовало развитию торговли и культуры.

В докладе Р. Д'ожурд'уи (Швейцария) «Развитие города Базеля» прослежена его предистория от массового укрепления I в. до н. э. и поселений римского времени, когда здесь осуществлялась переправа через Рейн, до средневековой поры. Начиная с VII в. возникает несколько поселений с костелами в центре, одно из которых было епископским. Городской стеной все они были обнесены в XII в. Археологическими раскопками в Базеле были изучены рыночная площадь, несколько костелов и городские дома XI—XIII вв.

В докладе Ф. Велай (Франция) «Становление и раннее развитие города Парижа (I в. до н. э.— IX в. н. э.)» прослежена история поселения начиная с островного оппидума I в. до н. э., населенного галлами. Остров пересекали торговые пути, здесь осуществлялась переправа через Сену. В римское время на острове существовали амфитеатр, несколько храмов и множество иных строений.

Во II—III вв. н. э. застраивается территория южнее острова. В эпоху меровингов город продолжает жить. Археологически зафиксировано храмовое строительство в южной части города, но осваивается его северная часть, где находилась меровингская базилика с некрополем, в котором исследованы каменные саркофаги. Постепенно центр перемещается на северный берег Сены. Островную часть поселения с его южной и северной частью связывали мосты. Докладчиком продемонстрированы реконструируемые виды поселения в разные периоды его эволюции.

Городские поселения средневековой Бельгии также ведут свое начало от укрепленных селений римского времени. Эта тема рассматривалась в докладе Ф. Ферхаеге (Бельгия) «Раннесредневековый город в Бельгии». В становлении средневековых городов существенное значение имели скрещение торговых путей и церковная администрация. Далее докладчик подробно остановился на предистории Турне, Гента, Антверпена и Оудебурга. Он показал, что непрерывность в развитии поселений имеет место, но говорить о непосредственной эволюции раннесредневекового города из римского кастела нельзя. В начале средневековья наблюдается некоторое запустение поселений и возрождение их с X в.

В докладе Й. Шофельд (Англия) «Лондон в раннем средневековье» прослеживалась история этого поселения с римского периода (I в. н. э.). Докладчик показал, что план поселения и его валы сохранялись с римского времени до XVI в. Однако с V в. наблюдается запустение, но крепостные укрепления и дороги сохранялись: очевидно, древнее поселение использовалось теперь как убежище. Культурный слой средневековой поры датируется с X в., но имеется немало вещевых находок VIII—IX вв. Их картография свидетельствует о том, что в это время жизнь была сосредоточена в западной части римской крепости. В XI в. город растет вдоль Темзы, укрепляется набережная, реконструируются дома. В городе в XII в. имелось 107 церквей, около 20 каменных монастырей окружали город. В XI—XII вв. насчитывалось около 40 тысяч жителей. Это был прежде всего крупный торговый центр, в меньшей степени — ремесленное поселение.

Основная часть раннесредневековых городов Англии не восходит к римским поселениям. Становлению их был посвящен доклад Е. Кларке (Англия) «К ранней истории английских городов». V—IX века определяются как время зарождения городов. Основная масса населения жила в селах, занимаясь земледелием и скотоводством. В V—VII вв. среди них выделялись административные центры, при основании которых иногда использовались руины римских крепостей. Каких-либо свидетельств о развитии торговли и ремесел в них не имеется. С VII в. в связи с распространением христианства возникают религиозно-административные центры. Параллельно вне административных центров появляются ремесленные поселения, которые в IX в. становятся городами. Таковы Саутгемптон с уличной застройкой, Ипсуин — центр керамического производства, занимавший площадь 50—60 га, Колчестер, Стамфорд — центр керамического производства и торговли и многие другие. Во второй половине X в., после нападения данов, города укрепляются. Одним из наиболее исследованных укрепленных поселений X—XI вв. является Винчестер с уличной застройкой, королевским дворцом и церквами.

С интереснейшими результатами раскопок 1960—1986 гг. в Дублине ознакомил участников симпозиума П. Валлаце (Ирландия). В докладе «Дублин в эпоху викингов» было показано, что в основе этого поселения находится кельтская крепость. В X—XI вв. город обносится каменной стеной, строятся прибрежные деревянные укрепления. Раскопки дали важные материалы по домостроительству X—XIV вв.

Археологии и истории Дублина был посвящен также доклад А. Симмс (Ирландия), в котором прослеживалась его эволюция от поселения викингов (по мнению докладчицы, это был протогород или ранняя форма города) до города развитого средневековья.

К средневековым городам, выросшим из античных, принадлежит София. Ее история рассматривалась В. Велковым (Болгария) в докладе «София между античностью и средневековьем». Предшественником Софии была Сердика — один из городов римской провинции Дакия. Это был большой город, пестрый в этническом отношении, но в значительной степени романизированный. В эпоху Юстиниана здесь строится базилика святой Софии, остатки которой исследованы раскопками. В IX в. в городе (теперь он называется Сердец) основывается епископство, очевидно, славянами. Раннесредневековый город сохраняет часть древних улиц и античные здания.

В докладе Ш. Олтеану (Румыния) «Генезис средневековых городов» было показано, что преемственность средневекового города с античным имела место в Добрудже. В других местах территории Румынии города возникали на основе румынских или славянских поселений, которые концентрировались вокруг бывших византийских крепостей, резиденций церковных владык или монастырей.

При обсуждении докладов, рассматривавших проблему континуитета средневековых городов от античных, римских или кельтских, было замечено, что при ее изучении целесообразно раздельно рассматривать вопрос о непрерывности развития поселения-места и вопрос об его населении, которое могло неоднократно меняться. В. Х. Фритце отметил, что под континуитетом можно понимать лишь развитие поселения, но экономические функции городов заметно изменялись со временем.

В программу симпозиума входили две экскурсии. Одна — в Берлин, в древнейшую его часть, где участники симпозиума смогли ознакомиться с памятниками архитектуры, в том числе с реставрационно-строительными работами, проводимыми в кирхе Николая и окружающих ее строениях, а также с археологическими материалами. Во время второй экскурсии были осмотрены город Бернау, в котором сохранились средневековые строения и крепостные укрепления, славянское городище Одерберг, монастырь XIV в. в Хорине и памятники средневековой архитектуры во Франкфурте на Одере.

Симпозиум был хорошо организован. Его материалы будут опубликованы отдельной книгой АН ГДР.

В. В. Седов

СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИЙ СИМПОЗИУМ «ДРЕВНЕЙШАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ СТАРОГО СВЕТА»

(Тбилиси — Сигнахи, 1988)

Симпозиум «Древнейшая металлургия Старого Света» состоялся в городах Тбилиси и Сигнахи 28 сентября — 7 октября 1988 г. Он был четвертым в ряду рабочих встреч советских и американских археологов, которые проводились в рамках соглашения о сотрудничестве между ИА АН СССР и Союзом познавательных обществ США. Предшествующие симпозиумы посвящались таким проблемам, как возникновение протогородских и раннегородских цивилизаций, роль культурного обмена в развитии человеческого общества. Тема данного симпозиума касалась развития металлургии и металлообработки цветного и черного металла в период от появления металлов до позднего бронзового века включительно. Затрагивались также некоторые аспекты развития древних технологий, проблемы передачи технологических навыков и формирования технологических традиций. В силу данной тематики особенностью симпозиума явилось широкое обращение к результатам применения естественнонаучных методов в археологических исследованиях.

Симпозиум был открыт докладом акад. АН ГССР А. М. Апакидзе (Тбилиси) «О некоторых главных направлениях археологических исследований в Грузинской ССР», где были освещены основные достижения археологической науки в Грузии за последние годы, центральные проблемы и перспективы ее развития.

Доклад Г. Е. Арешяна (Ереван) «Освоение меди и железа в Передней Азии как объект сравнительно-исторического исследования» носил теоретический характер. Было предпринято сравнение моделей социального и культурного развития, по которым шло освоение металлов как новых материалов в древнем обществе. Автор вычленил ряд последовательных стадий этого процесса: 1) полное отсутствие использования металла; 2) редкое и случайное включение его в процесс человеческой деятельности, причем металл впервые становится предметом человеческого опыта; 3) вовлечение металла в цикл производства — распределения — потребления на правах вторичного компонента, при этом он становится природным ресурсом общества; 4) новый материал получает решающее значение в производственной деятельности, происходят крупнейшие сдвиги в технологии его обработки и осмыслении его социальной значимости; 5) стабильное использование с постепенным развитием технологии; 6) упадок социальной значимости металла, стагнация и затем утрата технологических навыков. Г. Е. Арешян подчеркнул закономерный характер смены индустрии бронзы железом, связанный с определенными стадиями развития общества, более «демократический» характер последнего в сравнении с бронзой.

Доклад К. К. Ламберг-Карловского (Филадельфия, Пибоди-музей) «Пиротехнология до открытия керамики и металла» касался важнейшей темы в изучении древних производств — освоения огня человеком, первых стадий его использования. Применение случайно полученного огня для приготовления пищи является первой биологической революцией, давшей возможность Homo sapiens гибко приспосабливаться к окружающей природной среде. Вторым экспериментом было применение огня в эпоху верхнего палеолита для обжига некоторых предметов (глиняных фигурок, окислов железа, использовавшихся в качестве красителей), относящихся к культовой сфере. Третий этап применения огня ознаменован его использованием в производственной сфере. Это первая ступень развития пиротехнологии — изготовление пластических глиняных и гипсовых обмазок в памятниках докерамического неолита Ближнего Востока, начиная с XII тыс. до н. э. Сложность и трудоемкость производства обмазки и разнообразие ее применения дают обширные возможности для социально-экономических реконструкций. Весьма многозначительно и сделанное автором наблюдение о том, что памятники с широким развитием технологии обмазок дают и наиболее ранние свидетельства металлургии и металлообработки. Таким образом, ранняя пиротехнология была необходимым фоном, основой для зарождения новых производств.

Бóльшая часть докладов была посвящена различным аспектам изучения древних бронз — периоду бронзового века.

Выступление Т. Стек (Филадельфия, Пенсильванский ун-т) «Ранний этап развития металлургии меди и бронзы в Месопотамии и Анатолии» касалось проблем развития технологии металлообработки и ее места в культуре в целом начиная с первого появления меди в VIII — VII тыс. до н. э. Автор вычленила характерную черту этих первых опытов металлообработки — отсутствие какого-либо прогресса в области технологии в течение весьма длительного времени. Было выдвинуто предположение о том, что материалом, с которого началась выплавка металлов, был свинец, добывавшийся из галенитовых руд (массовые находки свинцовых сосудов в могильнике Ура периода Джемдет Наср и др.). Вплоть до IV тыс. до н. э. включительно оба региона (Месопотамия и Анатолия) выглядят независимыми друг от друга в области развития металлургии. Положение меняется в III тыс. до н. э., анализ массовых находок дает сходную картину развития металлургии для обеих территорий: использование чистой меди, мышьяковой меди (или мышьяковой бронзы, по терминологии, принятой в СССР) и оловянной бронзы. Изделия из последней концентрируются в основном в захоронениях (Ур, Киш, Аладжа, Хороз-Тепе, позже Кюль-Тепе); это дало автору основание предположить, что оловянная бронза была символическим металлом, маркирующим высокий социальный статус погребенного. При этом его технологические качества игнорировались древним населением. Данное утверждение вызвало оживленную полемику. В целом, как считает Т. Стек, металлургия не являлась движущей культурной силой, но была одним из ее проявлений.

В докладе Дж. Мюли (Филадельфия, Пенсильванский ун-т) «Металлургия меди и бронзы

на Кипре и в Восточном Средиземноморье» были рассмотрены проблемы ранней металлургии (в основном оловянных бронз) в Леванте.

Первое употребление металла — меди и золота — фиксируется в Греции с позднего неолита (V тыс. до н. э.); массовое его распространение датируется периодом ранней бронзы (3100—2200 гг. до н. э.). На Кипре в среднем халколите (ок. 3500 г. до н. э.) известны следы обработки самородной меди, а возникновение местной металлургии связано с культурой Филиа, датируемой началом РБВ Кипра (2600 г. до н. э.). Картина развития металлургии в Анатолии (на основании работ Я. Якара) аналогична той, что наблюдается в материковой Греции, т. е. и здесь массовое использование металла падает на период ранней бронзы (3100—2200 гг. до н. э.).

Для всех этих регионов типичен переход от использования мышьяковой меди к собственно бронзам — оловянным сплавам. Хотя способы изготовления мышьяковой меди пока недостаточно ясны, считает Дж. Мюли, можно предполагать, что она выплавлялась из мышьяковосодержащих руд типа домейкита, хорошо известных на Ближнем Востоке (Талмесси). Мышьяковые руды известны на о. Китнос и на Кипре. Информации об источниках олова гораздо меньше. Наиболее убедительным кажется автору мнение об использовании оловорудных месторождений Афганистана, в частности в период раннеминойский III — среднеминойский I. Однако количество предметов из оловянных бронз во II тыс. до н. э. и особенно в позднеминойском I периоде столь велико, что заставляет предполагать наличие более близких источников олова. Можно лишь указать разработки в Болкардаге (Киликия), использование которых в период бронзового века весьма сомнительно; то же касается и месторождений на территории Югославии и Чехословакии. Существует еще вероятность поступления олова на Кипр из Корнуэлла (Юго-Западная Англия).

В период позднего бронзового века происходят резкие изменения в характере обмена Кипра с более западными территориями. Как показали свинцово-изотопные анализы, в период позднеэлладский IIIB (XIII в. до н. э.) слитки в виде бычьей шкуры из Микен отливались из кипрской меди, из нее же сделаны слитки, найденные в Сардинии. Анализы материалов Кипра, Крита, Сардинии, мыса Гелидония и Улу Буруна подтверждают эти выводы. Центром производства металла в период позднекипрский I—II было поселение Энкоми, идентифицируемое со столицей царства Алашия, которое фигурирует в египетских, хеттских и месопотамских текстах как поставщик бронзы. Но в период позднекипрский IIC происходит резкое расширение масштабов производства: оно охватывает целый ряд памятников вдоль южного побережья острова. Этот период (1300—1100 гг. до н. э.) характеризуется усилением внешних контактов, ростом богатств; именно в это время кипрское общество достигает действительно городского уровня. Усиливается удельный вес торговли с западными территориями — Эгеей, Сардинией. Остатки кораблекрушения XIII в. до н. э. у мыса Гелидония и Улу Буруна отражают этот процесс экспансии кипрской меди в западном направлении.

В. Пиготт (Филадельфия, Пенсильванский ун-т, Центр использования прикладных наук в археологии) в своем докладе «Использование металла на Иранском плато» подводит итоги 30-летним исследованиям истории применения меди и ее сплавов, а также железа начиная с древнейших этапов металлургии, относящихся к VII тыс. до н. э., и до I тыс. до н. э. Как явствует из археологических и аналитических данных, самые ранние образцы изделий из металла в регионе происходят из поселений позднего неолита (Аликош, Заге — 6500—6000 гг. до н. э.) и изготовлены холодной ковкой из самородной меди.

В последующий энеолитический период (5500—3200 гг. до н. э.) медь имеет металлургическое происхождение. Металлические изделия встречаются в нижних слоях таких поселений, как Сузы, Мальян, Тепе Яхья, Таль-и-иблис, Сиалк, Гиссар. Используется мышьяковая медная руда, источником которой, как полагают, служили месторождения Талмесси, Мескани, расположенные вдоль западного хребта Дашт-и-Кавир.

Производство мышьяковой меди традиционно продолжало существовать здесь на протяжении всего периода бронзы (3200—1450 гг. до н. э.). Оловянная бронза появляется на плато лишь с началом железного века. Этот факт особенно примечателен, как отмечает В. Пиготт, поскольку олово, имевшее высокий статус экзотического металла у шумерского населения Месопотамии, вместе с лазуритом и золотом шло по торговым путям через плато на восток.

В период РЖВ I (1450 / 1350—1100 гг. до н. э.) оловянная бронза становится преобладающим сплавом на медной основе, хотя мышьяковая медь еще не выходит из употребления. Железо впервые появляется в западной части Иранского плато в период РЖВ II (1100—800/750 гг. до н. э.) на рубеже X и IX вв. до н. э. Появление его связывают с ассирийским влиянием. Новый металл сначала используется в декоративных целях, затем в качестве деталей биметаллических изделий, и только к началу периода РЖВ III функциональное назначение его становится более определенным.

Металлографические анализы материалов VIII в. до н. э. из Хасанлу свидетельствуют, что при изготовлении орудий труда и оружия использовалось в основном железо и мягкая или неравномерно науглероженная сырцовая сталь. По данным автора доказательств целенаправленного получения стали в это время нет.

Доклад Р. Райт (Нью-Йорк, Уильям-энд-Мэри-колледж) «Технологическое исследование керамики с территории Ирана и Индии: пути распространения технологий» был связан с углубленным изучением путей и способов передачи технологической информации на основе сопоставления керамической продукции двух культурных групп Ирана и Северной Индии в III тыс. до н. э. Сосуды типов Эмир и Файс Мухаммед были подвергнуты макро- и микроскопическому исследованию с последующей статистической обработкой методом кластерного анализа. Особенности облика посуды, в целом довольно сходной, оказались обусловлены разной последовательностью технологических приемов ее изготовления, хотя сами приемы были идентичны. Автор предложила осмысливать эти данные в свете теории классического диффузионизма, считая ее несправедливо отвер-

гаемой в последнее время. Р. Райт подчеркнула, что именно передача технологических знаний служила, по ее мнению, началом других, более углубленных и интенсивных контактов рассматриваемых регионов. Последний тезис вызвал возражения: Г. Е. Арешян и В. М. Массон указали, что, по их мнению, передача технологии фиксируется здесь значительно позже, чем простой торговый обмен и другие виды культурных связей.

В докладе А. И. Джавахишвили, О. М. Джапаридзе, Т. В. Кигурадзе (Тбилиси) «Основные этапы развития культур Грузии эпохи неолита — бронзы» была представлена сложившаяся к настоящему времени точка зрения на ход культурного развития в регионе, начиная с появления производящего хозяйства, распространения земледельческих комплексов шулаверишомутепинской культуры под влиянием переднеазиатских импульсов. С поздней стадией данной культуры, синхронной северному Убейду (Техут), связано первое употребление меди. Во второй половине IV тыс. до н. э. происходит сложение на местной традиции куро-аракской культуры в Восточном Закавказье. С расцветом этой общности связано развитие металлургии Кавказа на базе местных руд, из которых изготавливались мышьяковые бронзы — господствующий тип сплава в данной культуре. Наиболее вероятной авторам кажется кавказская этническая принадлежность куро-аракских древностей. Конец культуры и появление ранних курганов марткопской и беденской групп во второй половине III тыс. до н. э. авторы связывают с кризисом земледельческой экономики. В это же время металлургия и металлообработка переживают подъем, ознаменованный, в частности, появлением оловянных бронз. Курганную традицию продолжает триалетская культура в Восточной Грузии, относимая авторами к среднему бронзовому веку и характеризующаяся новыми формами металлического инвентаря и высоким уровнем развития ювелирного дела.

Г. Л. Кавтарадзе в своем докладе «К хронологии эпохи ранних металлов Кавказа» продемонстрировал результаты систематизации ряда археологических культур Грузии с позиции применения калиброванных радиоуглеродных датировок и сопоставления с хронологией ближневосточных культур. Имеющиеся для памятников Закавказья датировки по ^{14}C распределены неравномерно, и их основная часть относится к периоду поздней бронзы. Автором была предложена существенная передатировка практически всей последовательности археологических культур энеолита — бронзового века. Так, шулавери-шомутепинская культура переносится им в VI тыс. до н. э.; куро-аракские древности датируются началом IV — серединой III тыс. до н. э. (а не III тыс. до н. э., как обычно считается); марткопская и беденская культуры отнесены к первой половине III тыс. до н. э., триалетская — ко второй половине III — началу II тыс. до н. э., причем последняя включается в эпоху ранней бронзы.

Такое удревнение, в частности куро-аракской культуры, связано с традиционной датировкой раннего пласта аналогичных ей памятников на Ближнем Востоке концом IV тыс. до н. э. (поздний Урук — Джемдет Наср). Предложенный Г. Л. Кавтарадзе пересмотр датировок колонки археологических культур Закавказья, при несомненной перспективности самого метода, требует накопления новых значительных серий радиоуглеродных дат, особенно для ранних периодов.

В докладе М. Р. Абрамишвили (Тбилиси) «Некоторые вопросы реконструкции истории развития металлургии» было обращено особое внимание на связи Закавказья с Анатолией. Автор придерживается точки зрения об определяющей роли технологической традиции, аккумуляции опыта в развитии металлургии конкретных регионов. Исходным центром зарождения металлургии он считает Восточную Анатолию; отсюда, по его мнению, происходят и приемы производства оловянной бронзы (ранние находки конца V — начала IV тыс. до н. э. из энеолитического поселения Делиси). Для куро-аракской культуры, как ранней, так и поздней, типична мышьяковая бронза, а традиция массового производства оловянных сплавов возникает лишь в курганных культурах типа Бедени. М. Р. Абрамишвили предполагает происхождение беденской и хирбет-кераксой культур от гипотетического общего предка — культуры с чернолощенной керамикой и высокоразвитой металлургией, локализуемой им в Северо-Восточной Анатолии. Отсюда же, считает автор, пришла на Кавказ и индустрия железа. Развернутые доказательства этих тезисов, однако, могут стать возможными лишь после широких иеследований в Северо-Восточной Анатолии — одном из наименее изученных археологически регионов.

Период позднего бронзового века был освещен в докладе К. Н. Пицхелаури «Генезис материальной культуры эпохи поздней бронзы — раннего железа на Кавказе»; в качестве основной задачи своего исследования автор выделил поиск корней высокоразвитой Кавказской металлургической провинции периода поздней бронзы. К. Н. Пицхелаури подчеркнул, что основой прогрессивного развития культуры на Кавказе в III—II тыс. до н. э. были именно достижения металлургии. До начала III тыс. до н. э. уровень развития Кавказа и Ближнего Востока был в целом одинаков; ситуация резко меняется в III тыс. до н. э., когда в связи с появлением инородных этнических групп возникают ранние курганные культуры. Два этих фактора — историко-культурный и производственный — привели к сложению в середине II тыс. до н. э. Кавказской металлургической провинции с ее специфическими формами металлических изделий и набором сплавов, замкнутым характером связей. Бурное внутреннее развитие региона в эпоху поздней бронзы явилось предпосылкой для быстрого перехода к индустрии железа. Таким образом, на материалах Кавказа не получает подтверждения неоднократно предлагавшийся тезис о кризисе бронзовой металлургии как причине перехода к железному веку.

Иной точки зрения на этот вопрос придерживается В. С. Бочкарев (Ленинград). В докладе «Экономическая и социальная роль металлообрабатывающего производства в эпоху поздней бронзы (по материалам южных культур Восточной Европы)» он дал анализ массовых металлических находок с территории Северного Причерноморья с точки зрения инноваций в металлообработке. Рез-

кий подъем металлургии и металлообработки эпохи поздней бронзы он связал с распространением в среде племен срубной культуры техники тонкостенного литья, употреблением оловянных бронз, использованием каменных долговременных литейных форм. Это придало производству серийный характер и в корне изменило все сферы металлообработки — от производства до применения. Устойчивый импорт металла с Балкан, Урала и Северо-Западного Кавказа позволил создать ряд металлообрабатывающих центров в безрудных зонах. Анализ состава кладов привел автора к заключению о том, что металлообработка была подчинена сельскохозяйственному циклу. Однако окончательное решение этого вопроса может быть найдено лишь после изучения хозяйственных систем степного населения поздней бронзы. В. С. Бочкарев предложил в качестве объяснения кризиса белозерской металлообработки вторжение гальштатских племен с Балкан; именно поэтому, по его мнению, Северное Причерноморье опередило Кавказ в переходе к железному веку. Отметим при этом, что ничто не препятствовало получению уральского и кавказского металла, поэтому предложенное объяснение кризиса производства бронзы недостатком сырья не универсально; сомнения вызывает и тезис о хронологическом приоритете индустрии железа в Северном Причерноморье по сравнению с Кавказом.

Р. М. Абрамишвили (Тбилиси) в своем докладе «Производство медно-бронзовых и железных изделий на территории Закавказья в эпоху поздней бронзы — раннего железа» остановился на выделении и характеристике трех производственно-исторических областей, охватывающих: 1) Западный и Центральный Кавказ, Западное Закавказье и северо-западную часть Восточной Грузии; 2) Центральное Закавказье (включая Восточную Грузию, западную часть Азербайджанской ССР и всю территорию Армянской ССР) и восточную часть Северного Кавказа; 3) южную часть Муганской степи и Талыш.

Основанием послужило типологическое исследование и картографирование разновидностей металлических предметов и производственных остатков, относящихся ко второй половине II — первой половине I тыс. до н. э. Выделенные области подразделяются автором на крупные производственные районы, а затем на производственные очаги. Так, на территории распространения колхидской культуры, по мнению автора, функционировало несколько производственных очагов, к числу которых относятся: Юго-Западная Колхида, колхидская низменность, Северо-Западная Колхида, северо-западная часть Восточной Грузии.

В ареале самтаврской культуры автор выделяет два крупных очага: Шида-Картли (северо-западная часть Восточной Грузии) и Квемо-Картли (южная часть Восточной Грузии). На территории распространения лчашен-цителгорской культуры исследователь намечает два очага: один включает территорию Армянской ССР, крайнюю западную часть Азербайджанской ССР и прилегающие к ним районы Восточной Грузии; второй — Иоро-Алазанский бассейн.

Освоение железа в Закавказье начинается, по мнению автора, не позднее середины II тыс. до н. э. (Квемо-Картли и прилегающая к ней территория) под влиянием Восточной Анатолии. Древнейший железный предмет происходит из кургана I в сел. Звели, содержавшего материал, отражающий контакты с Малой Азией.

Доклад Т. П. Муджири (Тбилиси) был посвящен важной проблеме освоения рудных месторождений Кавказа в эпоху раннего металла. Автор ознакомил с результатами исследования древнейших рудников на территории Грузии, где функционировало шесть горно-металлургических очагов в эпоху раннего металла (наиболее крупные из них — в Раче, Сванетии, Абхазии). Конструкция древних рудников Грузии, так же как техника и технология горного дела, имеют параллели, отметил докладчик, в Армении, на Северном Кавказе, что свидетельствует об общем высоком техническом уровне и общих закономерностях развития всего горно-металлургического производства Кавказа как системы.

Автором разработаны принципиально новые методы классификации, периодизации и сравнительно-исторических оценок (на базе экспериментально-расчетного моделирования показателей производства) системы древнего горно-металлургического производства. Это позволило, в частности, установить, что ряд рудников Рачи, Абхазии и Северного Кавказа, относящихся ко II — началу I тыс. до н. э., по своим конструктивно-технологическим параметрам не имели аналогов в мировой практике древнего горного дела.

Развитию производства цветного металла в Средней Азии был посвящен доклад А. А. Аскарова, В. Д. Рузанова (Самарканд) «Очаги металлургии и металлообработки Средней Азии эпохи бронзы». Авторы представили следующую схему развития.

В эпоху ранней бронзы металлообработка здесь характеризуется металлическими комплексами из памятников земледельческих племен трех областей: Юго-Западной Туркмении (могильник Пархай II), подгорной полосы Копетдага (поселения Алтын-депе, Намазга-депе, Анау), долины Зеравшана (поселение Саразм в Западном Таджикистане). Прослеживаются генетические связи с металлом предшествующей эпохи из тех же областей.

В эпоху средней бронзы появляются новые очаги в Мургабском и Приамударьинском оазисах — мургабский и сапаллинский. При значительном сходстве продукции этих очагов заметна разница в использовании оловянистых сплавов — доля их в сапаллинских материалах в 4 раза выше. В конце III — начале II тыс. до н. э. на севере Средней Азии в Кызылкумских горах начинается разработка местных месторождений, послуживших базой для собственной металлургии.

В эпоху поздней бронзы происходит разделение Средней Азии на две зоны, которые оказались втянутыми в состав двух обширных металлургических провинций — Ирано-Туркменистанской и Евразийской. Характерной особенностью металлообработки у степных племен Средней Азии является широкое использование оловянистых бронз. Взаимные воздействия Евразийской и Ирано-Туркменистанской провинций приводят в конце II — начале I тыс. до н. э. к трансформации метал-

лообрабатывающих производств в южных районах Средней Азии, где наблюдается спад производства, меняется рецептура сплавов, отмечаются изменения в ориентации связей.

Г Ф. Коробкова (Ленинград) прочла доклад на тему «Металлургия и каменные орудия: трансформация и адаптация традиционной техники в условиях технологического прогресса». На основании трасологического метода и физического моделирования производственных операций автор выделяет в коллекциях каменного инвентаря эпохи палеометалла из памятников Средней Азии и Кавказа орудия, связанные с металлургическим и металлообрабатывающим производством. Так, на материалах из Алтын-депе показано, что функционирование этих производств в эпоху средней и поздней бронзы, как и в предшествующий период, обеспечивалось орудиями из камня. Планиграфический анализ концентрации определенных групп изделий позволил говорить о существовании специализированных мастерских на поселении.

Большое разнообразие каменных орудий, используемых в металлообрабатывающем производстве, выявлено в материалах из могильников майкопской культуры (молоты, молотки, подставки-наковаленки, гладилки-выпрямители, абразивы и др.).

Каменный инвентарь срубной и сабатиновской культур степной бронзы дает, как отмечает автор, богатый набор горнорудных, металлургических и металлообрабатывающих инструментов, находки которых фиксируются в пределах поселков.

Исследователь подчеркивает, что каменные орудия, претерпев определенную трансформацию и адаптацию к новым технико-технологическим условиям, сохраняют роль важного элемента хозяйственно-производственной системы обществ эпохи палеометалла.

Доклад В. И. Молодина (Новосибирск) «Металлургия кротовской культуры» был посвящен исследованию металлургии в среде лесных племен Западной Сибири в середине II тыс. до н. э. Высокий уровень развития местного бронзолитейного производства характеризуется как продукцией, где выделяются сейминско-турбинские, евразийские и андроновские типы изделий, так и многочисленными остатками литейного инструментария и отходов производства. Особый интерес представляют погребения литейщиков в могильниках Сопка 2, Ростовка, демонстрирующие собой социальный статус погребенных. Источники сырья для местной металлообработки локализуются в Казахстане или на Рудном Алтае, что и определило интенсивные контакты кротовского населения с андроновскими племенами.

Лаборатория естественнонаучных методов ИА АН СССР (Москва) была представлена тремя докладами, охватывающими проблемы цветной и черной металлургии. Два из них были построены на базе спектрального анализа древних бронз и объединялись общей методикой исследования, основанной на функционально-типологическом, спектральном и математико-статистическом анализе. В первом докладе — «Циркумпонтийская металлургическая провинция как система» Е. Н. Черных, Л. И. Авиловой, Т. Б. Барцевой, Л. Б. Орловской и Т. О. Тенейшвили был дан анализ ЦМП как центральной культурно-производственной системы периода раннего и среднего бронзового века на основе морфологии изделий и рецептов сплавов, технологии литья, вычленения зон и центров выплавки металла и изготовления изделий из него, характеристик масштабов производства и его культурно-исторического содержания. Механизм сложения провинции пока неясен, она возникает в середине IV тыс. до н. э., не имея единой культурной, этнической и производственной основы; расцвет ее связан с периодом СБВ, когда металлургическое производство переживает взрывоподобный рост, а к началу ПБВ провинция распадается. Все это было представлено на широком фоне сопоставления с моделями развития древней металлургии иных регионов и периодов.

Второй доклад — «Евразийская металлургическая провинция как система» Е. Н. Черных, С. А. Агапова и С. В. Кузьминых был посвящен обширному культурно-производственному объединению, существовавшему в эпоху поздней бронзы на территории от Поднепровья до Алтая. Единый подход к исследованию позволил выявить существенные особенности данной провинции как производственного, так и культурного плана. ЕАМП характеризуется прежде всего сложностью механизма формирования (в основе его абашевская общность и подвижный сейминско-турбинский компонент) и крайним динамизмом развития. В состав провинции в период ее расцвета и стабилизации входят андроново-алакульская и срубная общности; на поздней фазе происходит обособление обширной общности с валиковой керамикой в степной зоне и цепи лесных культур; провинция распадается в X—IX вв. до н. э.

Целый ряд докладов на симпозиуме был посвящен проблемам древнейшей истории железа в различных регионах мира.

В докладе Дж. Уолдбаум (Милуоки, Ун-т штата Висконсин) «Начало использования железа в Восточном Средиземноморье» были освещены результаты археотехнологических исследований, проводившихся в течение последних 20 лет, параллельно были рассмотрены различные гипотезы относительно причин замены бронзы железом, истоков его появления и путях распространения, взаимосвязи появления нового металла с конкретными культурно-историческими условиями.

Автор отвергает теорию хеттской монополии на производство железа, так как ни количество находок, ни их качество, ни сфера использования не дают, по ее мнению, оснований для такого предположения. Технология выплавки железа существовала не только в Анатолии у хеттов, но и в Греции в период поздней бронзы, и, возможно, в Сиро-Палестине. Автор опирается на данные, свидетельствующие, что изделия из метеоритного и металлургического железа использовались в данном регионе на протяжении всего бронзового века и даже ранее, хотя и редко и в основном в ритуально-церемониальной сфере. Более доступным железо становится здесь после 1200 г. до н. э., когда оно начинает использоваться в бытовых и военных целях. К началу X в. до н. э. оно широко распространяется, но вытеснение бронзы железом проходило разными темпами в различных областях.

Дж. Уолдбаум критически относится к гипотезе о том, что распространению железа в Восточном Средиземноморье способствовали завоевания дорийцев или филистимлян, владевших новым лучшим оружием. Именно в районе, считающемся родиной дорийцев, замечает автор, железо появляется на 300 лет позже, чем в Греции, поэтому наступление железного века здесь не зависит от северных захватчиков. То же, по мнению Дж. Уолдбаум, относится и к филистимлянам, у которых железо стало доминирующим материалом не ранее, чем это произошло в других районах Палестины.

Наиболее популярная до недавнего времени «экономическая» гипотеза, объясняющая причину замены бронзы железом прекращением доступа к олову в результате политических изменений 1200 г. до н. э., поставлена в настоящее время под сомнение: есть данные об источниках олова в Юго-Восточной Турции; кроме того, нет сведений об уменьшении содержания олова в изделиях, датируемых позже 1200 г. до н. э.

Требует более детального изучения, по мнению автора, и «экологическая» теория, согласно которой теплотехника, вырубка лесов и террасное земледелие привели к обезлесению Средиземноморья, и выплавка железа, требующая меньше топлива, стала более экономичной. В последнее время появилась «технологическая» гипотеза, отстаивающая приоритет Кипра в открытии и систематическом использовании приемов закалки стали, после чего черный металл смог вытеснить бронзу. Дж. Уолдбаум подчеркнула, что в настоящее время нет безусловных доказательств, подтверждающих или опровергающих ту или иную теорию.

Г Поссел (Филадельфия, Университетский музей, Пенсильванский ун-т) в докладе «Начало железного века в Индии» рассмотрел такие важные проблемы, как вероятность самостоятельного и независимого от внешних влияний перехода Индии и Пакистана к железному веку; технологическая и экономическая база становления эпохи железа в Южной Азии; историко-социальные сдвиги, связанные с этим процессом. Докладчик показал, что уровень технического и производственного развития древней Индии (развитость теплотехники и соответствующего оборудования в керамическом и фаянсовом производствах цивилизации Хараппы) создавали объективные возможности для открытия и развития технологии обработки железа. Этому способствовало и наличие здесь большого количества железных руд. Есть убедительные археологические доказательства того, что металлургическое железо было известно в Индии в конце III — начале II тыс. до н. э. Наступление железного века, по мнению автора, связано не столько с техническими открытиями и изобретениями, сколько с социальными и историческими условиями для разработки и широкого внедрения данной технологии.

Главное преимущество железа по сравнению с медью и особенно с бронзой — его большие запасы и сравнительная легкость добычи. Медь, а тем более бронза не могли быть тем сплавом, которым пользовались широкие слои населения. Подчеркивая, что сам факт появления железа и даже открытия технологии его выплавки вовсе не означал начала железного века, Г Поссел обратил внимание на необходимость выработки объективных критериев, позволяющих в конкретных культурно-исторических контекстах определять тот уровень или ту форму технологического развития, которая означает наступление железного века.

В докладе Б. Бронсона (Чикаго, Полевой музей естественной истории) «Переход к железному веку в древнем Китае» подверглись обсуждению многие спорные вопросы в истории развития китайской черной металлургии, в частности возможность перехода от цветной металлургии непосредственно к выплавке чугуна и затем уже к производству железа путем переплавки и обезуглероживания чугуна, минуя, таким образом, известный во всем остальном мире сыродутный способ. Автор, как и ряд других исследователей, считает, что в Китае для этого существовали причины: чугун часто получали случайно в шахтных печах бронзового века при использовании железных руд в качестве флюса; самые большие из таких печей работали при температуре до 1350°, а технология литья являлась для китайских мастеров более традиционной, чем ковка. Это позволило им быстро оценить свойства чугуна; при переплавке чугунных чушек и отходов могло образовываться некоторое количество железа.

Б. Бронсон подчеркнул, что до сих пор нет ни одного достоверного археологического свидетельства существования древних сыродутных горнов на территории Китая; отсутствуют и письменные сведения о них.

Поскольку железо появляется в Китае сравнительно поздно (по последним данным, всего несколько находок относятся к VI в. до н. э., до конца V в. до н. э. железо встречается крайне редко), не исключено, что сама идея производства железа могла быть заимствована извне, считает автор, однако развитие технологии пошло по совершенно оригинальному пути, не имеющему аналогий в других регионах мира.

Докладчик продемонстрировал также диапозитивы с интереснейшими этнографическими данными о способе получения чугуна на Филиппинах в наши дни, весьма напоминающем древнее китайское производство.

Советские ученые, занимающиеся проблемами ранней истории железа, представили на симпозиуме ряд докладов, посвященных развитию железопроизводства на Кавказе.

Д. А. Хахутайшвили (Батуми) в докладе «К проблеме возникновения и становления металлургии железа на Кавказе и Переднем Востоке» коснулся одного из наименее разработанных аспектов истории черного металла — характеристики железоплавильных горнов, — отметив, что ни в одном из регионов древнего мира не представлено соответствующее масштабам производства железа количество производственных комплексов, датированных ранее VII в. до н. э. Автор привел данные об уникальном районе предгорной полосы Восточного Причерноморья, где за последние 30 лет было выявлено около 400 горнов, связанных с производством железа. Четыре основных производственных очага объединены в Колхидский горно-металлургический центр. Изучены конструк-

тивные особенности печей, сырьевая база и виды топлива. Автор наметил хронологическую последовательность бытования печей разной конструкции, связав производственные комплексы с синхронными поселениями. Древнейшие комплексы датированы по радиокарбону XVIII в. до н. э., печи сходной конструкции бытуют до VI—V вв. до н. э.

По мнению Д. А. Хахутайшвили, производство железа в Колхиде имеет основой традиции производства меди — бронзы, генетически восходящие к малоазийским производственным традициям. Отсутствие следов производства железа на Переднем Востоке (хетты, ассирийцы, митанийцы и др.) до VII в. до н. э. вместе с его широким использованием, зафиксированным археологическими находками, дает автору основание считать предгорную субтропическую зону Восточного и Юго-Восточного Причерноморья основным производителем и экспортером железа в развитые страны Кавказа и Передней Азии вплоть до VII—VI вв. до н. э.

Технологическому анализу древнейших железных изделий Кавказа был посвящен доклад Г В. Инанишвили (Тбилиси) «Обработка железа в древней Грузии». Древнейшие изделия из железа происходят из Квемо- и Шида-Картли (XIV—XII вв. до н. э.). Металлографическое исследование показало, что они изготовлены из малоуглеродистой стали, иногда отмечаются следы поверхностной цементации. Фиксируются структуры отожженной и нормализованной стали. Период XI—VIII вв. до н. э. автор рассматривает как эпоху широкого освоения железа. С конца II тыс. до н. э. во всех регионах Восточной Грузии наблюдается высокий уровень обработки железа и стали, в частности применяется химико-термическая обработка (цементация) и термообработка (закалка, отпуск, нормализация, отжиг). В период VII—VI вв. до н. э. резко возрастают масштабы производства железа и стали, меняются формы изделий, налаживается серийное производство, в результате железо окончательно вытесняет бронзу. Отдельные качественные изделия изготовляются в сложных технологических схемах (цементация — закалка — отпуск), применяются разнообразные режимы ковки.

Проблемы ранней истории железа на Северном Кавказе рассмотрены в докладе Н. Н. Тереховой (ИА АН СССР, лаборатория естественно научных методов) «Древнейшее железообрабатывающее производство на Северном Кавказе». На основании металлографического исследования массовых серий разнообразного железного инвентаря (в основном с территории распространения кобанской культуры и из Прикубанья) автор прослеживает этапы развития здесь технологии обработки черных металлов.

В предскифский период используется в основном мягкая сырцовая сталь и железо. Применяется кузнечная сварка однородного металла, известен прием цементации. Термическая обработка не зафиксирована.

Резкий качественный скачок в развитии железообработки происходит в конце VII — начале VI в. до н. э.; характерной чертой является использование стали высокого качества, получаемой путем цементации полосовых заготовок. Такая сталь в сочетании с мягкой сырцовой применялась в сварных конструкциях (топоры, ножи). Используются разнообразные приемы цементации готового изделия. Появляются дифференцированные приемы термической обработки стальных изделий.

Автор связывает производственные инновации с каким-то мощным импульсом из Закавказья (возможно, с инфильтрацией групп мастеров). Дальнейшее развитие техники железообработки на Северном Кавказе (VI—V вв. до н. э.) подчинялось возросшим потребностям в черном металле — доля сложных и трудоемких процессов резко снижается, уступая место более рациональным (широко используются, в частности, «монолитные» заготовки из неравномерно науглероженной сырцовой стали).

Кузнечная продукция из памятников Прикубанья (Келермесские и Ульские курганы, Келермесский грунтовой могильник) в целом вписывается в производственную сферу северокавказского очага, хотя и имеет некоторые технологические особенности.

На симпозиуме были заслушаны сообщения и доклады, посвященные новейшим археологическим находкам. Г Е. Арешян ознакомил аудиторию с уникальным комплексом кургана Карашамб на р. Раздан, где в захоронении триалетской культуры обнаружено погребение с трупосожжением. В состав инвентаря входило парадное оружие, в том числе серебряный топор-секира, два панциря, бронзовый котел, множество золотых украшений и серебряные орнаментированные кубки. На одном из них в пяти фризах помещены изображения мифологических, культовых и военных сцен. Предложенная датировка комплекса — время III династии Ура (XXI—XX вв. до н. э.) — опирается на месопотамские и переднеазиатские аналогии, что влечет за собой удревнение ряда традиционных датировок для триалетской и куро-аракской культур, а также памятников типа Марткопи и Бедени.

М. В. Барамидзе (Тбилиси) продемонстрировал материалы из открытого на поселении Пичори (Абхазия) центра бронзолитейного производства. Здесь в слое конца III тыс. до н. э. найдено уникальное скопление литейных форм для отливки втульчатых топоров, мотыг, долот с упором и др., а также изготовленные в них предметы.

И. Нариманов (Баку) рассказал о новых раскопках поселения Лейла-Тепе и металлических находках энеолитического времени, подчеркнув связи региона с Северным Убейдом.

Заключительная дискуссия, проведенная в конце работы симпозиума, продемонстрировала чрезвычайно большой интерес, проявленный всеми участниками к материалам и гипотезам, прозвучавшим в докладах. Все выступавшие подчеркивали недостаточность информации о работах, проводимых исследователями древней металлургии в различных регионах, сильное запаздывание публикаций. Очевидной стала насущная необходимость не только систематического обмена информацией, но и практического сотрудничества, которое проводилось бы по определенным, совместно разработанным программам, причем программы должны быть комплексными. В них, несомненно, должны быть включены совместные полевые исследования памятников; серьезные серии аналитических и лабораторных работ; обмен опытом и информацией о последних достижениях во всех областях изучения древней металлургии.

Л. И. Авилова, Н. Н. Терехова

ПАМЯТИ ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА РАППОПОРТА

В расцвете творческих сил 11 сентября 1988 г. оборвалась жизнь доктора исторических наук Павла Александровича Раппопорта, замечательного исследователя в области древнерусского зодчества, руководителя фундаментального научного направления — архитектурной археологии, автора более чем 180 научных работ (включая 9 монографий), ветерана Великой Отечественной войны.

П. А. Раппопорт родился 29 июня 1913 г. в Петербурге. Путь исследователя начался в 1939 г., когда он, молодой архитектор, выпускник Ленинградского инженерно-строительного института, поступил в аспирантуру Института истории материальной культуры Академии наук СССР, став учеником выдающегося исследователя древнерусской культуры Н. Н. Воронина. Под его руководством П. А. Раппопорт начинает работу, посвященную изучению шатрового зодчества XVI в.

Однако через два года работа, захватившая исследователя, была прервана. Началась Великая Отечественная война. С первых же дней войны Павел Александрович в рядах защитников города Ленинграда. Офицер штаба инженерных войск Краснознаменного Балтийского флота, он был одним из тех, кто сооружал укрепления легендарного Ораниенбаумского плацдарма. За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, он был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». И так уж получилось, что первыми публикациями не аспиранта, а инженер-капитана П. А Раппопорта оказались две статьи, посвященные обобщению опыта Великой Отечественной войны по строительству оборонительных сооружений и опубликованные в одном из специальных военных журналов.

Задуманную в 1939 г. кандидатскую диссертацию о русском шатровом зодчестве XVI в. П. А. Раппопорт защитил в 1947 г. Уже в этой работе проявились наиболее характерные особенности метода исследователя — подробный анализ архитектурных форм, строительных приемов древних зодчих, умение связать факты о постройке архитектурных сооружений с историческими событиями. Это позволило ученому не только сделать обобщающие заключения, но и выявить особенности творчества отдельных зодчих, о которых ничего не сообщают летописи и другие источники.

В эти же годы исследователь приступает к изучению древнерусской фортификации. Работа, проведенная П. А. Раппопортом по изучению средневековых укреплений, была поистине всеохватывающей — ему удалось обследовать более 800 древнерусских крепостей и их остатков на территории от Карельского перешейка до Карпат и от Псковщины до Костромского Поволжья. На многих из них были проведены раскопки, а значительный ряд древнейших крепостей и городов был идентифицирован П. А. Раппопортом впервые. Среди изучавшихся Павлом Александровичем крепостей укрепления Киева, Галича, Владимира, Суздаля, Старой Ладоги, Порхова и многих других. Итогом изучения древнерусской фортификации стало фундаментальное исследование, три тома которого — «Очерки по истории русского военного зодчества X—XIII вв.», «Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X—XIV вв.» и «Военное зодчество западнорусских земель X—XIV вв.» — были опубликованы в 1956, 1961 и 1967 гг. В них П. А. Раппопорту удалось выявить основные закономерности развития древнерусских оборонительных сооружений и связать их с изменениями социальных отношений, с эволюцией военной техники и оружия.

Большая часть этой работы, озаглавленная «Военное зодчество древней Руси», была защищена П. А. Раппопортом в 1965 г. в качестве докторской диссертации.

Следующим этапом работы ученого стало исследование древнерусских жилищ. П. А. Раппопортом были выделены характерные для отдельных районов Руси типы жилищ, прослежены пути развития жилого строительства в X—XIII вв. Результаты этой работы были обобщены в книге «Древнерусское жилище», вышедшей в 1975 г.

В 1962 г. Н. Н. Воронин и П. А. Раппопорт начинают исследование Смоленска. Организовывается Смоленская архитектурно-археологическая экспедиция, которая с 1962 по 1967 г. возглавлялась Н. Н. Ворониным, а с 1972 по 1975 г.— П. А. Раппопортом. За это время были раскопаны остатки 10 неизвестных до этого памятников смоленского зодчества XII—XIII вв. Вместе с сохранившимися зданиями и постройками, изучавшимися ранее, их стало 19. Благодаря работам в Смоленске удалось составить представление о целой школе древнего зодчества. Об этом рассказано в книге Н. Н. Воронина и П. А. Раппопорта «Зодчество Смоленска XII—XIII вв.», вышедшей в 1979 г.

С 1975 г. П. А. Раппопорт возглавил Архитектурно-археологическую экспедицию Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Целью этой экспедиции являлись раскопки в тех городах, где в том или ином виде сохранились памятники архитектуры XI—XIII вв. Отряды этой экспедиции, включавшие в свой состав специалистов Ленинградского университета и Эрмитажа, результативно работали в Старой Ладоге, Новгороде, Калинине, Ростове, Угличе, Ярославле, Полоцке, Витебске, Гродно, Львове, Луцке, Владимире-Волынском, Галиче (Ивано-Франковской области), Чернигове, Новгороде-Северском. Эти изыскания способствовали сложению под руководством П. А. Раппопорта творческой группы по архитектурной археологии. Стараниями этого коллектива и прежде всего его руководителя удалось осуществить максимально полный подсчет каменных построек домонгольской Руси. Их оказалось около 250. Полная сводка этого материала впервые представлена в книге П. А. Раппопорта «Русская архитектура X—XIII вв.», вышедшей в 1982 г.

В 1970—1980 гг. творчество П. А. Раппопорта достигло особой отточенности. Он выдвинул новаторские разработки основополагающих проблем древнерусского зодчества. Так, на примере памятников Киева, Чернигова, Новгорода-Северского, Овруча, Полоцка, Смоленска и других городов ученому удалось всесторонне обосновать общерусский этап истории русской архитектуры XII—XIII вв., который знаменовался полной переработкой и даже отрицанием византийских традиций и сложением национальных русских архитектурных форм.

Наряду с типом сооружения, его композицией, декоративной отделкой внимание П. А. Раппопорта привлекли техника кладки построек, их конструкции и строительные материалы. Им впервые было осуществлено детальное изучение системы кладки, качества и формата кирпича, состава строительного раствора, конструкций фундаментов. Начала вырисовываться картина развития древнерусской строительной техники. Удалось выяснить, какими были состав древнерусской строительной артели, характер организации работ, социальное положение зодчих. Тщательный анализ технических приемов позволил исследователю выделить «почерк» различных артелей, а это в свою очередь дало возможность понять, где и когда работали различные мастера, как и в какое время они переезжали из одного русского княжества в другое, каковы были взаимосвязи между разными архитектурными школами. В результате появилась возможность реконструировать ход и последовательность каменного строительства в городах Руси, определить его авторство и даже прогнозировать существование ненайденных сооружений. Изучение формата кирпича открыло возможность достаточно точной датировки памятников, порой в пределах 10 лет. Все эти научные достижения суммированы П. А. Раппопортом в его пока неопубликованных книгах «Строительное производство древней Руси» и «Очерк истории русского Зодчества X—XIII вв.».

Много внимания П. А. Раппопорт уделял воспитанию студентов и молодых ученых. В Институте им. И. Е. Репина Академии художеств СССР он читал курс истории средневековой архитектуры. В 1969 г увидела свет его книга «Древнерусская архитектура», предназначенная для самых широких кругов читателей. В ней отражен полный исканий путь развития древнерусского монументального зодчества с X по конец XVII в.

Почти полвека плодотворно трудился П. А. Раппопорт в ЛОИА АН СССР. Его научная деятельность неуклонно развивалась по восходящей линии. Он работал очень организованно и целенаправленно, достиг высокого мастерства и мудрой зрелости.

П. А. Раппопорт отличался исключительной порядочностью. Он всегда был корректен в спорах, внимателен к товарищам, четок, последователен и доброжелателен в своих оценках и выступлениях. Его никогда не видели гневным, хотя на его долю выпало немало несправедливостей.

Богатое научное наследие П. А. Раппопорта, взлет наших знаний в отношении древнерусской архитектуры обязывают к сохранению и дальнейшему развитию того дела, которому он посвятил свою жизнь, — архитектурной археологии. Память о Павле Александровиче — талантливом ученом, товарище и учителе с благодарностью сохранят все знавшие его.

А. Н. Кирпичников

Список работ П. А. Раппопорта

1. В секторе теории и истории архитектуры ЛОССА // Архитектура и строительство Ленинграда. 1947. Октябрь. С. 44—46: ил.
2. Годуновская церковь в Борисове городке // КСИИМК. 1947. Вып. 18. С. 66—69: ил.
3. Борисов городок // Вокруг света. 1948. № 6. С. 64.
4. Очерк хронологии русского шатрового зодчества // КСИИМК. 1949. Вып. 30. С. 82—92: ил.
5. Русское шатровое зодчество конца XVI в.: Автореф. канд. дис. // КСИИМК. 1949. Вып. 25. С. 139—142.
6. Русское шатровое зодчество конца XVI в. // МИА. 1949. № 12. С. 238—301: ил.
7. «Борисов городок» — неизвестный замок Бориса Годунова: Автореф. докл. // Изв. ВГО. 1950. Т. 82. № 1. С. 96.
8. Оборонительные сооружения на городище в селе Старые Безрадичи // КСИИМК. 1951. Вып. 41. С. 114—118: ил.
9. Волынские башни // МИА. 1952. № 31. С. 202—223: ил.
10. Заметки о датировке некоторых типов городищ Поднепровья // КСИИМК. 1952. Вып. 48. С. 107—115: ил.
11. Из истории военно-инженерного искусства Древней Руси: (Старая Ладога, Порхов, Изборск, Остров) // МИА. 1952. № 31. С. 133—201: ил.
12. Обследование городищ в районе Киева в 1950 г // Археологія. 1952. № 7. С. 142—149: ил. На укр. яз. Рез. рус.
13. Древнерусские оборонительные конструкции с применением сырцовой кладки // КСИИМК. 1953. Вып. 52. С. 17—24: ил.
14. Археологические заметки о двух русских оборонительных сооружениях XII в. // КСИИМК. 1954. Вып. 54. С. 180—186: ил.
15. Гродненская крепость в XIII—XIV вв. // *Воронин Н. Н.* Древнее Гродно // МИА. 1954. № 41. Гл. 7. § 5. С. 183—195: ил. (совместно с Н. Н. Ворониным).
16. К вопросу о системе обороны Киевской земли: По материалам разведочно-маршрутного отряда экспедиции «Большой Киев» // КСИА АН УССР. 1954. Вып. 3. С. 21—26: карт.
17. Холм // СА. 1954. Т. XX. С. 313—323: ил.
18. Борисов городок: Материалы к истории строительства Бориса Годунова // МИА. 1955. № 44. С. 59—76: ил.
19. Города Болоховской земли // КСИИМК. 1955. Вып. 57. С. 52—59: ил.
20. К вопросу о периодизации истории древнерусского военного зодчества // КСИИМК. 1955. Вып. 59. С. 22—28 (совместно с В. В. Косточкиным).
21. Конструкции древнерусских оборонительных сооружений X—XIII вв. // КСИА АН УССР. 1955. Вып. 4. С. 21, 22.
22. Очерки по истории русского военного зодчества X—XIII вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 184 с. 3л. ил., карт.: ил. (МИА, № 52).
23. Обследование раннемосковских городищ в 1954 г. // КСИИМК. 1956. Вып. 62, С. 118—128: ил.
24. Перси псковского крома // КСИИМК. 1956. Вып. 62. С. 56—58.
25. Новые данные по истории древнерусского крепостного зодчества // Докл. XV науч. конф. ЛИСИ. Л., 1957. С. 203—205.
26. Укрепления раннемосковских городищ // КСИИМК. 1958. Вып. 71. С. 12—17: ил.
27. Хабаров городок // СА. 1958. № 3. С. 225—228: ил.
28. Рец.: *Toy S.* A History of Fortification from 3000 B. C. to A. D. 1700. L., 1955. // СА. 1958. № 3. С. 253.
29. Изучение крепостей, проведенное отрядом среднерусской археологической экспедиции 1956 г. // КСИИМК. 1959. Вып. 74. С. 87, 88: ил.
30. Крепостные сооружения Саркела // МИА. 1959. № 75. С. 9—39: ил.
31. Круглые и полукруглые городища Северо-Восточной Руси // СА. 1959. № 1. С. 115—123: ил.
32. Оборонительные сооружения Галича Мерьского // КСИИМК. 1959. Вып. 77. С. 3—9: ил.
33. Группа славяно-русской археологии ЛОИИМК [в 1958 г.] // КСИА. 1960. Вып. 81. С. 130—132.
34. Основные этапы развития древнерусского военного зодчества // СА. 1960. № 2. С. 56—62: ил.
35. Работы Среднерусской экспедиции в 1957 г.: Отряд по изучению крепостей // КСИИМК. 1960. Вып. 79. С. 91, 92.
36. Среднерусская экспедиция: Отряд по изучению крепостей // КСИА. 1960. Вып. 81. С. 90—92: ил.
37. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X—XV вв. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 242 с. 3 л. ил., карт.: ил., карт. (МИА. № 105).
38. Памятка по обмерам архитектурных сооружений при археологических раскопках. Л., 1961. 12 с.
39. Новые данные об укреплениях Новгородского острога // Памятники культуры. Исследование и реставрация. Т 3. М., 1961. С. 68—76: ил (совместно с В. В. Косточкиным, С. Н. Орловым).
40. Оборонительные сооружения Торопца // КСИА. 1961. Вып. 86. С. 11—20: ил.
41. Археологические исследования памятников русского зодчества X—XIII вв. // СА. 1962. № 2. С. 61—80: ил.
42. Группа славяно-русской археологии ЛОИА в 1959 г. // КСИА. 1962. Вып. 87 С. 123, 124.
43. Группа славяно-русской археологии ЛОИА в 1960 г. // КСИА. 1962. Вып. 87. С. 125, 126; Вып. 90. С. 10—11.

44. Мстибогов городок // КСИА. 1962. Вып. 87. С. 105—107: ил.
45. Оборонительные сооружения Западной Волыни XIII—XIV вв. // Swiatowit. 1962. T. 24. S. 619—627: ill.
46. Археологические и архитектурные заметки: (из работ отряда по изучению крепостей, 1959—1961 гг.) // КСИА. 1963. Вып. 96. с. 32—36: ил.
47. Археологическое изучение древнерусского города // КСИА. 1963. Вып. 96. С. 3—17 (совместно с Н. Н. Ворониным).
48. Группа славяно-русской археологии ЛОИА АН СССР в 1961 г.// КСИА. 1963. Вып. 96. С. 124—126.
49. Обследование городищ Прикарпатья и Закарпатья на территории Советского Союза: (итоги работ 1962 г.) // Acta archaeologica Carpathica. 1963. T. 5. F. 1/2. P. 61—76: ill. Рез. польск., фр.
50. Раскопки в Волковыске в 1959 г. // СА. 1963. № 1. С. 237—240: ил.
51. Рец.: *Шноре Э. Д.* Асотское городище. Рига, 1961 // СА. 1963. № 4. С. 282, 283 (совместно с Ф. Д. Гуревич).
52. Военное зодчество Древней Руси: Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Л.: ИА АН СССР, 1964. 20 с.
53. Новые данные по исторической географии Волыни // КСИА. 1964. Вып. 99. С. 54—58.
54. Древние русские крепости. М.: Наука, 1965. 87 с.: ил. (Сер. «Из истории мировой культуры»). Библиогр.: с. 86.
55. Закарпатские средневековые замки // Archaeologiai Értesitő. 1965. T. 92. № 1. P. 61—65: ill. Рез. рус.
56. Зодчий Бориса Годунова // Вопросы теории, истории и практики архитектуры и градостроительства. Л., 1965. С. 33, 34.
57. К вопросу о Плеснеске // СА. 1965. № 4. С. 92—103: ил.
58. О терминологическом словаре древнерусского строительного дела // Acta baltico-Slavica. 1965. № 2. P. 297—301.
59. Планировка западнорусских городищ X—XI вв. // Тез. докл. Сов. делегации на I Междунар. конгрессе славянской археологии М., 1965. с. 52, 53.
60. Археологическое обследование восточного побережья Чудского озера // Ледовое побоище 1242 г. М.; Л.: Наука, 1966. с. 33—59: ил. (совместно с Я. В. Станкевич, И. К. Голуновой).
61. Зодчий Бориса Годунова // Культура древней Руси. М.: Наука, 1966. с. 215—221: ил.
62. Из истории Южной Руси XI—XII вв. // История СССР. 1966. № 5. С. 113—116.
63. Изучение древнерусских жилищ // АО — 1965. М., 1966. С. 169, 170.
64. О типологии городищ Галицкой Руси // Acta archaeologica Carpathica. 1966. T. 8, F 1/2. S. 213—217: ill.
65. Основные этапы развития древнерусского военного зодчества // Докл. и сообщ. археологов СССР на 7-м Междунар. конгрессе доисториков и протоисториков. М., 1966. С. 225—234.
66. Рец.: *Рабинович М. Г* О древней Москве. М., 1964 // СА. 1966. № 2. С. 340, 341.
67. Рец.: *Петров В. П.* Історична топографія Києва (історичні джерела та їх використання. Вип. 1. Київ, 1964) // СА. 1966. № 4. С. 227—229 (совместно с Г. Ф. Корзухиной).
68. Военное зодчество западнорусских земель X—XIV вв. // Л.: Наука, 1967. 241 с.: ил. (МИА. № 140).
69. Новые материалы о Борисове городке // Культура и искусство Древней Руси. Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. С. №131—137.
70. О типологии древнерусских поселений // КСИА. 1967. Вып. 110. С. 3—9.
71. Смоленский детинец и его памятники // СА. 1967. № 3. С. 287—302: ил. (совместно с Н. Н. Ворониным).
72. Die altussischen Bugrwälle // Zeitschrift für Archäologie. 1967. B. 1. S. 61—87: ill.
73. Зодчий Бориса Годунова // Нева. 1968. № 6. С. 144—147.
74. К вопросу о сложении галицкой архитектурной школы // Славяне и Русь. М.: Наука, 1968. С. 459—462.
75. Некоторые вопросы методики изучения памятников древнерусского зодчества при археологических раскопках // Состояние и задачи изучения древнерусского искусства: Тез. докл. науч. конф. М., 1968. С. 23, 24.
76. Планировка западнорусских городищ X—XI вв. // I Miedzynarodowy kongress archeol. słowianckiej: Komunikaty. T. 4. Warszawa, 1968. S. 47—54.
77. Раскопки Ленковецкого поселения // АО—1967. М., 1968. С. 242 (совместно с М. В. Малевской, Б. А. Тимощуком).
78. Город Рай // Acta Baltico-Slavica. 1969. № 6. S. 175—179.
79. Про развиток планової структури древньоруських жител лісостепової смуги // Слав'яно-руські старожитності. Київ: Наук. думка, 1969. С. 104—107.
80. Раскопки в Данилове // АО—1968. М., 1969. С. 337 (совместно с К. В. Павловой, М. И. Островским).
81. Раскопки в Смоленске в 1966 г. // СА. 1969. № 2. С. 200—216: ил. (совместно с Н. Н. Ворониным)
82. Ю. П. Спегальский: [Некролог] // СА. 1969. № 4. С. 318 (совместно с О. В. Овсянниковым).
83. Russian Medieval Military architecture // Gladius. 1969. T. 8. S. 39—62: ill.
84. Древнерусская архитектура. М.: Наука. 144 с.; ил.. Библиогр.: с. 137—141.
85. Городище Осовик // АО—1969. М., С. 72, 73 (совместно с К. В. Павловой).

86. Некоторые вопросы истории русской архитектуры конца XII — первой половины XIII в. // Старинар. 1970. Кн. 20. С. 339—345: ил.
87. О взаимосвязи русских архитектурных школ в XII в. // ТИЖСА. 1970. Архитектура. Вып. 3. С. 3—25.
88. Оборонительные сооружения Древней Руси // ВИ. 1970. № 11. С. 56—64.
89. Основные итоги изучения восточнославянских жилищ лесостепной зоны // Тез. докл. сов. делегации на II Междунар. конгрессе славянской археологии в Берлине. М., 1970. С. 39—42.
90. Раскопки на Ленковецком поселении в 1967 г. // СА. 1970. № 4. С. 112—127: ил. (совместно с М. В. Малевской, Б. А. Тимощуком).
91. Страна городов // НиЖ. 1970. № 6. С. 61—64: ил. (совместно с А. Н. Кирпичниковым).
92. Рец.: Историко-этнографический атлас «Русские». М., 1967 // СЭ. 1970. № 1. С. 181—182.
93. Данилов // КСИА. 1971. Вып. 125. С. 82—86: ил.
94. Картографирование типов древнерусского жилища по археологическим данным // Ареальные исследования в языкознании и этнографии: Тез. докл. семинара. Л., 1971. С. 17, 18.
95. Монументальная живопись древнего Смоленска [Буклет]. Л., 1971. 8 с.: ил.
96. Основные этапы развития древнерусского военного зодчества // Actes du 7-me Congrès intern. des sciences prehist. et protohist. T. 2. Prague, 1971. S. 1135—1137.
97. Раскопки в Смоленске в 1967 г. //СА. 1971. № 2. С. 179—195: ил. (совместно с Н. Н. Ворониным).
98. Раскопки на городище Старая Рязань // АО—1970. М., 1971. С. 81—85: ил. (совместно с В. П. Даркевичем, Т. А. Кравченко, А. Л. Монгайтом).
99. Церковь скандинавского типа в древнем Смоленске // Тез. докл. конф. Сканд 5. Ч. 1. М., 1971. С. 24—25.
100. Археологические исследования памятников архитектуры древнего Смоленска // Тез. докл. на сессии и пленумах, посвящ. итогам полевых исслед. в 1971 г. М., 1972. С. 53—55.
101. Вступительная статья // *Спегальский Ю. П.* Псков. 2-е изд. Л.: Лениздат, 1972.
102. «Латинская церковь» в древнем Смоленске // Новое в археологии. М., 1972. С. 283—289: ил.
103. О местоположении смоленского города Заруба // КСИА. 1972. Вып. 129. С. 21—23.
104. Раскопки в Трубчевске // АО—1971. М., 1972. С. 105, 106 (совместно с В. А. Падиным, Е. В. Шолоховой).
105. Церковь Василия в Овруче // СА. 1972. № 1. С. 82—97: ил. Рез. фр.
106. Die ostslawischen Wohnbauten des 6.—13. Jh. in der Waldsteppenzone // Zeitschrift für Archäologie. 1972. Jg. 6. Hf. 2. S. 228—239: ill.
107. Городище Осовик // СА. 1973. № 1. С. 200—216: ил. Рез. фр. (совместно с К. В. Павловой).
108. О методике археологических раскопок памятников древнерусского зодчества // КСИА. 1973. Вып. 135. С. 17—22.
109. Ориентация древнерусских церквей // Тез. докл. сессии, посвящ. итогам полевых археол. исслед. 1972 г. в СССР. Ташкент, 1973. С. 264.
110. Развитие типов древнерусского жилища на территории Белоруссии // Этногенез белорусов: Тез. докл. науч. конф. Минск, 1973. С. 175—177.
111. Смоленская архитектурно-археологическая экспедиция // АО—1972. М., 1973. С. 84.
112. Трубчевск // СА. 1973. № 4. С. 205—217: ил. Рез. фр.
113. Картографирование типов древнерусских жилищ // Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974. С. 221—227: карт.
114. Новые материалы о жилищах Старой Рязани // Археология Рязанской земли. М.: 1974. С. 72—75: ил.
115. Ориентация древнерусских церквей // КСИА. 1974. Вып. 139. С. 43—48.
116. Смоленская архитектурно-археологическая экспедиция // АО—1973. М., 1974. С. 75, 76.
117. Церковь Нового Ольгова городка // Культура средневековой Руси. Л.: Наука, 1974. С. 163—169 (совместно с А. Л. Монгайтом, М. Б. Чернышевым).
118. Древнерусское жилище // САИ. 1975. Вып. Е1-32. 179 с.: ил.
119. Древнерусское жилище // Древнее жилище народов Восточной Европы. М.: Наука, 1975. С. 104—155: ил.
120. Метод датирования памятников древнерусского зодчества по формату их кирпича // Новейшие открытия советских археологов: Тез. докл. Киев, 1975. С. 87, 88.
121. Раскопки церкви у устья р. Чуриловки в Смоленске // КСИА. 1975. Вып. 144. С. 75—80: ил. (совместно с Е. В. Шолоховой).
122. Русская архитектура рубежа XII—XIII вв. // Тез. докл. сов. делегации на III Междунар. конгрессе славянской археологии М., 1975. С. 77—79.
123. Смоленская архитектурно-археологическая экспедиция // АО—1974. М., 1975. С. 74, 75 (совместно с Г. А. Усовой, Е. В. Шолоховой).
124. Собор Троицкого монастыря на Кловке в Смоленске // СА. 1975. № 4. С. 235—248: ил. Рез. фр.
125. Архитектурные достопримечательности Смоленска. М.: Моск. рабочий, 1976. 96 с.: ил. (совместно с А. Т. Смирновой).
126. Метод датирования памятников древнего смоленского зодчества по формату кирпича // СА. 1976. № 2. С. 83—93: ил. Рез. фр.
127. Раскопки в Рославле // АО—1975. М., 1976. С. 83, 84 (совместно с Е. В. Шолоховой).
128. Раскопки церкви на Большой Краснофлотской улице в Смоленске // Средневековая Русь. М.: Наука, 1976. С. 216—221: ил.
129. Раскопки церкви «Старая кафедра» во Владимире-Волынском // АО—1975. М., 1976. С. 384, 385.

130. Знаки на плинфе // КСИА. 1977. Вып. 150. С. 28—33: ил.
131. Мстиславов храм во Владимире-Волынском // Зограф. 1977. № 7. С. 17—22: ил. Рез. фр.
132. Основы периодизации истории средневекового русского зодчества // 3-я респ. науч. конф. по проблемам культуры и искусства Армении. Тез. докл. Ереван, 1977. С. 152—154.
133. Раскопки памятников архитектуры в Полоцке // АО—1976. М., 1977. С. 400, 401 (совместно с В. А. Булкиным, Г. М. Штендером).
134. Русская архитектура на рубеже XII—XIII веков // Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М.: Наука, 1977. С. 12—29: ил.
135. Архитектура: (X—XVII вв.) // История русского искусства. 1978. Т. 1. С. 7—14, 21—34, 43—49, 63—67, 83—98: ил. (совместно с Н. Н. Ворониным).
136. Вступительная статья // *Спегальский Ю. П.* Псков. 2-е изд. доп. Л.: Искусство, 1978. С. 5—14.
137. Декоративные керамические плитки древнего Галича // Slovenská archeológia. 1978. R. 26, Č. 1. S. 87—98: ill. Рез. нем.
138. Зодчие и строители древнего Смоленска // Древняя Русь и славяне. М.: Наука, 1978. С. 402—407
139. Изучение древнесмоленских строительных растворов // КСИА. 1978. Вып. 155. С. 44—56 (совместно с Е. Ю. Медниковой, Н. Б. Селивановой).
140. Письмо в редакцию (По поводу информации о докладе П. Н. Аркатова) // КСИА. 1978. Вып. 155. С. 104, 105.
141. Раскопки памятников архитектуры в Полоцке // АО—1977. М., 1978. С. 410, 411 (совместно с В. А. Булкиным, Е. В. Шолоховой).
142. Собор Духова монастыря в Смоленске — памятник зодчества XVI века // Проблемы советской археологии. М.: Наука, 1978. С. 230—235: ил.
143. Рец.: *Розадеев Б. А., Сомина Р. А., Клещева А. С.* Кронштадт: Архитектурный очерк. Л., 1977 // Строительство и архитектура Ленинграда. 1978. № 5. С. 45.
144. Зодчество Смоленска XII—XIII вв. Л.: Наука, 1979. 414 с.: ил. (совместно с Н. Н. Ворониным).
145. Архитектура городов древней Руси рубежа XII—XIII вв. // Советская археология в 10-й пятилетке. Тез. докл. Всесоюз. конф. Л., 1979. С. 44—47.
146. Архитектурные раскопки в Новгороде // АО—1978. М., 1979. С. 32, 33 (совместно с А. А. Песковой).
147 Древний Смоленск // СА. 1979. № 1. С. 73—88: ил. (совместно с Н. Н. Ворониным).
148. Искусство X — начала XII века. Введение. Архитектура // История русского искусства. Т. 1. М.: Изобр. искусство, 1979. С. 7—14 (совместно с Н. Н. Ворониным).
149. Русская архитектура рубежа XII—XIII веков // Rapp. du 3e CIAS. T. 1. Bratislava, 1979. С. 643—646.
150. Церковь Михаила в Переяславле // Зограф. 1979. № 10. С. 30—39 (совместно с М. В. Малевской).
151. Рец.: *Джандиери М. И., Лежава Г. И.* Народная башенная архитектура. М., 1976. // Изв. АН ГССР Сер. ист., археол., этногр. и ист. искусства. 1979. № 4. С. 201, 202.
152. Полоцкое зодчество XII века // СА. 1980. № 3. С. 142—161: ил.
153. Раскопки церквей в Новгороде и Старой Ладоге // АО — 1979. М., 1980. С. 28, 29.
154. Спасская церковь Евфросиньева монастыря в Полоцке // ПКНО—1979. М., 1980. С. 459—468: ил. (совместно с Г. М. Штендером).
155. Дворец в Полоцке // КСИА. 1981. Вып. 164. С. 91—99: ил. (совместно с Е. В. Шолоховой).
156. Роль памятников архитектуры в изучении истории древнерусских городов // Gesellschaft und Kultur Russlands im Frühen Mittelalter. Halle. 1981. S. 196—201.
157. Русская архитектура X—XIII вв.: Каталог памятников // САИ. 1982. Вып. Е1-47. 136 с.: ил.
158. Археологические исследования памятников древнего новгородского зодчества // НИС. 1982. Вып. 1(11) С. 189—202: ил.
159. Архитектура Древней Руси и археология // КСИА. 1982. Вып. 172. С. 3—9: ил.
160. Из истории строительного производства в Древней Руси // Зограф. 1982. № 13. С. 49—52: ил.
161. К вопросу о сложении новгородской архитектурной школы // СА. 1982. № 3. С. 35—46: ил. Рез. англ. (совместно с А. А. Песковой, Г. М. Штендером).
162. Церковь Пантелеймона в Новгороде // КСИА. 1982. Вып. 172. С. 79—82: л.
163. Древнерусские строительные растворы // СА. 1983. № 2. С. 152—161. Рез. англ. (совместно с Е. Ю. Медниковой, Н. Б. Селивановой).
164. Зодчество XII в. на территории Белоруссии // Древнерусское государство и славяне. Минск: Наука и техника, 1983. С. 116—118: ил.
165. Обмер архитектурных сооружений при археологических раскопках: Инструкция // Методика полевых археол. исследований. М., 1983. С. 72—77: ил.
166. Еще раз о галереях церкви Покрова на Нерли // Архитектура СССР. 1984. № 1. С. 106.
167. Из истории киево-черниговского зодчества XII в. // КСИА. 1984. Вып. 179. С. 59—63.
168. О некоторых нерешенных вопросах истории древнего киевского зодчества // Древнерусский город. Киев: Наук. думка, 1984. С. 105, 106.
169. О роли византийского влияния в развитии древнерусской архитектуры // Византийский временник. 1984. Вып. 45. С. 185—191.
170. Рец.: *Булкин В. А., Овсянников О. В.* Ученый, зодчий, каменщик. Л., 1983 // Ленингр. панорама. 1984. № 12. С. 30.
171. Жилище. Архитектура // Древняя Русь: Город, замок, село. Археология СССР. М.: Наука, 1985. С. 136—169: ил. (совместно с В. А. Колчиным, А. В. Кузой).

172. Золотые ворота в Киеве // Архитектура СССР. 1985. № 3. С. 105—107: ил. (совместно с В. В. Косточкиным, А. Н. Кирпичниковым, А. А. Тиц).
173. О датировке памятников киево-черниговского зодчества XII—XIII вв. // Историко-археол. семинар «Чернигов и его округа в IX—XIII вв.»: Тез. докл. Чернигов, 1985. С. 11—14.
174. О некоторых теоретических вопросах истории архитектуры // Проблемы синтеза искусств и архитектуры. 1985. Вып. 19. С. 3—15.
175. Памяти Анатолия Леопольдовича Якобсона // СА. 1985. № 3. С. 317, 318.
176. Раскопки церкви Климента в Старой Ладоге // Новое в археологии Северо-Запада СССР Л.: Наука, 1985. С. 111—116: ил. (совместно с Л. Н. Большаковым).
177. Строительное производство Древней Руси // Тез. докл. сов. делегации на 5-м Междунар. конгрессе славянской археологии. М., 1985. С. 163, 164.
178. Строительные артели Древней Руси и их заказчики // СА. 1985. № 4. С. 80—89.
179. Зодчество Древней Руси. Л.: Наука, 1986. 160 с.: ил., карт. (Сер.: Из истории мировой культуры). Библиогр.: с. 157—159.
180. Неизвестный памятник волынского зодчества XII в. // ПКНО—1986. М., 1987 С. 541—546: ил. (совместно с А. А. Песковой).
181. Петр Милонег — гродненский архитектор XII в. // Памятники истории и культуры Белоруссии. 1987 № 4. С. 21, 22. На белорус. яз. Рез. рус., англ.
182. Строительное производство Древней Руси // Тр. 5-го Междунар. конгресса славянской археологии. Т. III. Вып. 2б. Секц. VI. М., 1987. С. 76—84.
183. Строительное производство Древней Руси // Russia mediaevalis. 1987. Т. 6. S. 90—134.
184. Церковь Благовещения в Витебске // ПКНО — 1985. М., 1987 С. 522—528: ил.
185. К вопросу о строительстве Софийского собора // Строительство и архитектура. 1988. № 3. С. 25, 26.
186. Киевское зодчество рубежа XII—XIII вв. // Литература и искусство в системе культуры. М.: Наука, 1988. С. 272—281: ил.
187. Новые данные об архитектуре древнего Гродно // Древнерусское искусство. Художественная культура X — первой половины XII вв. М.: Наука, 1988. С. 64—72: ил.
188. О методике изучения древнерусского зодчества // СА. 1988. № 3. С. 118—129. Рез. англ. Библиогр.: с. 128, 129.
189. Основные итоги и проблемы изучения зодчества Древней Руси // Древнерусское искусство. Художественная культура X — первой половины XII в. М.: Наука, 1988. С. 7—12.
190. Памятники древнерусского зодчества в гродненском детинце // ПКНО — 1987. М., 1988. С. 461—467 (совместно с Л. Н. Большаковым, О. А. Трусовым, М. А. Ткачевым).
191. «Плинфотворители» Древней Руси // Историко-археол. семинар «Чернигов и его округа в IX—XIII вв.»: Тез. докл. Чернигов, 1988. С. 13—15.
192. О времени появления брускового кирпича на Руси // СА. 1989. № 4.

Составил Л. М. Всевиов

К читателям и подписчикам журнала

Редколлегия и редакция журнала, обращаясь ко всем археологам, специалистам по древней истории и любителям старины, сообщает, **что подписка на журнал «СОВЕТСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ» принимается всеми почтовыми отделениями страны с любого номера.** Стоимость годовой подписки — 11 руб 20 коп. Индекс журнала — 70822.

В 1990 г. в журнале предполагается напечатать ряд остродискуссионных статей, в том числе пролежавшую в архиве 20 лет статью М. И. Артамонова о сложении русского государства; проблемные статьи, касающиеся в основном этно-социальных (также нередко очень спорных) вопросов; итоговые публикации материалов нескольких интересных памятников эпох камня, бронзы, средневековья.

С этого года в журнале будет открыт новый раздел «Охрана памятников», в котором будут публиковаться данные о гибнущих археологических памятниках и архивах, и деятельности археологов по их спасению, а также статьи, посвященные связи архитектурно-реставрационных работ с археологическими исследованиями памятников и т. д.

Уведомляем, что с № 4 впервые в библиографическом отделе начнется публикация полной сводки работ советских ученых (монографий и статей) за 1988 год. В последующие годы в каждом последнем номере журнала будут помещаться подобные публикации.

Редколлегия и редакция